Леонид Видгоф

Книга-экскурсия

«Но люблю мою курву-Москву»

Осип Мандельштам: поэт и город

▪ Андрей Белый ▪ Анна Ахматова ▪ Лев Бруни ▪ Михаил Булгаков ▪ Эмма Герштейн ▪ Лев Гумилев ▪ Сергей Клычков ▪ Борис Кузин ▪ Семен Липкин ▪ Владимир Нарбут ▪ Борис Пастернак ▪ Мария Петровых ▪ Александр Осмеркин ▪ Еликонида Попова (Яхонтова) ▪ Арсений Тарковский ▪ Александр Тышлер ▪ Марина Цветаева ▪ Виктор Шкловский ▪ Мария Юдина ▪ Владимир Яхонтов ▪

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга Леонида Видгофа о Мандельштаме – явление уникальное. «Москвоведение» помогает понять стихи гениального поэта, стихи дают возможность понять Москву во всей ее исторической многослойности. Поэт родился в Варшаве, рос и учился в Петербурге, там пришла к нему первая слава – но с Москвой он был связан всеми своими нервами: от ненависти до любви, ощущая себя то петербуржцем «в столице непотребной», то безымянной «трамвайной вишенкой», то вольным городским «воробьем». Важная часть исследования Л. Видгофа – реконструкция отношений поэта с московскими обитателями: М. Цветаевой, В. Яхонтовым, М. Петровых, Б. Пастернаком, С. Клычковым, С. Липкиным, А. Осмеркиным, Л. Бруни…

- Леонид Видгоф
  - Вступление

Леонид Видгоф
«Но люблю мою курву-Москву» Осип Мандельштам: поэт и город

Посвящаю
Екатерине Сергеевне Петровых (Чердынцевой),
Нине Константиновне Бруни,
Людмиле Константиновне Корниловой (Наппельбаум),
Александру Александровичу Мандельштаму
и всем, кто рассказал о том, что знал и помнил.

Родненькая, я хожу по улицам московским и вспоминаю всю нашу милую трудную родную жизнь.

Осип Мандельштам. Письмо Надежде Мандельштам от 17 марта 1926 года [1]

Язык булыжника мне голубя понятней…

1923

Вступление

Эта книга о поэте и городе – о поэте-горожанине. Недавно закончился XX век, наше и его столетие. Время оглянуться назад.

XX век все еще уходит от нас; подобно поезду, набирающему скорость, он скользит вдоль перрона, утягиваясь в дождливую темноту вечности, и мы поднимаем руки в прощальном жесте, и печально улыбаемся, и вглядываемся в лица за окнами состава. XX век уходит по календарному расписанию, но он еще нас не покинул.

Это был век Города. Город, его дух, его культура, его власть определяли все. Урбанизм – вероятно, именно из этого слова, как ни из какого другого, можно вывести важнейшие особенности века, который еще так непривычно называть прошлым, закончившимся: логически вытянуть их одну за другой, подобно тому как фокусник вытаскивает нескончаемую ленту из своего цилиндра. В этом слове – «урбанизм», – как в сложенном веере, заключено готовое к развертыванию многослойное понятие «XX век».

И если завершившееся столетие прошло под знаком урбанизма, то, думается, одним из самых – если не самым – родственных веку поэтов был в нашей стране Осип Эмильевич Мандельштам. Он с полным правом заявил:

Пора вам знать: я тоже современник…
И он, в сущности, не шутил, говоря:
Я человек эпохи Москвошвея…

«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето»

Мандельштам совершенно органичен в своем урбанизме: он о нем и не думает, город – естественная среда обитания для него, и ему нет нужды демонстрировать свою приверженность городской вселенной. Как точно заметил в беседе с автором этих строк литературовед В.Г. Перельмутер, литература XIX века воспринимала горожанина по большей части как жертву неестественной, калечащей городской жизни; футуристы же, напротив, славили технизацию и урбанистический грядущий век. Мандельштам мало верил в социально-технические утопии и уж во всяком случае не видел места для себя в этом электрифицированном Эдеме:

В стеклянные дворцы на курьих ножках

Я даже тенью легкой не войду.

«Сегодня можно снять декалькомани…»

При этом поэт отнюдь не ощущает себя жертвой города-Молоха; улицы, площади, трамваи – здесь он чувствует себя как рыба в воде. Истый горожанин, Мандельштам не выпячивает, но сознает это свое качество и ценит его в любимых поэтах, от которых ведет свое родство: Данте, Вийоне, Батюшкове («Ты, горожанин и друг горожан», – обращается к нему Мандельштам).

В жизни «кровного» горожанина Мандельштама наибольшую роль сыграли, с нашей точки зрения, такие города, как Петербург, Москва и Воронеж (сказанное, разумеется, вовсе не означает, что для него ничего не значили Гейдельберг, Париж, Варшава, Киев, Ереван, Тбилиси или Феодосия). Петербург, город, «знакомый до слез, / До прожилок, до детских припухлых желез» – лучше не скажешь, – всегда был и оставался его родовым гнездом – настоящим отечеством поэта, которое, как всякое отечество, только одно. «Мой город», – сказал поэт. Но в 1914 году начался «не календарный – / Настоящий двадцатый век» (Ахматова), и после мировой войны, падения монархии и большевистского переворота петербургский период русской истории навсегда закончился. Пути назад не было, и Мандельштам рано и определенно осознал бесповоротный конец Петербурга, который мог быть лишь трагической имперской столицей и ничем другим. «Твой брат, Петрополь, умирает», – писал Мандельштам в 1918 году, и в 1931-м он подтверждает: «В Петербурге жить – словно спать в гробу».

Что касается Воронежа, то он дал поэту, помимо всего остального, чувство земли, «чернозема», российской глубины, степного могучего пространства.

Чем была для Мандельштама Москва? Как он воспринимал ее и как жил в ней?

Этому, в сущности, и посвящена книга.

Анна Ахматова, знавшая и понимавшая Мандельштама как никто другой, однажды заметила: «Я чувствую Петербург, Пастернак – Москву, а Осипу дано и то и другое» (из разговора с Михаилом Ардовым [2]).

Действительно, Москва в жизни Мандельштама значила очень много. Забегая вперед, скажем, что она открыла ему непетербургскую Россию. Она увлекала его и отталкивала: бывали минуты, когда он любовался ее пестротой, ее безалаберной запутанной жизнью; в другое время она нередко раздражала, мучила и пугала поэта – грозящую «курву-Москву» поминает он, к примеру, в стихах 1931 года («Нет, не спрятаться мне от великой муры…»).

Восхищение, раздражение, тревогу, тоску, иронию, негодование, страх мы обнаруживаем в «московских» стихах и прозе Мандельштама; не найти в них только ровного, холодного равнодушия, безразличия или ленивого, безличного «интереса». Мандельштам великолепно чувствовал Москву, воспринимал ее как огромное живое существо со своим характером и статью. Он прижился в этом городе и в определенной мере сделал его своим. Неслучайно в «Стансах» 1935 года он назвал Москву «сестрой»:

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока…

Автор книги выбрал для названия цитату из Мандельштама. Да, для поэта Москва была страшной и чуждой ему «курвой»; да, в другие минуты он любовался этим городом, тосковал по нему в воронежской ссылке, где нашел для Москвы ласковое «сестра моя».

В отношении поэта к Москве существовало противоречие, напряжение, приятие-неприятие – и это отразилось в том, что Мандельштам писал, в его московской теме. «Из Москвы наши бытовые писатели ездят за материалом в Самарканд, а Москвы не могут увидеть», – как-то сказал Мандельштам. А он видел, видел зорко и нетривиально. Поэт создал свой, мандельштамовский образ Москвы, не менее, с нашей точки зрения, выразительный и интересный, чем, к примеру, Москва чеховская, толстовская или пастернаковская.

Москва Мандельштама – это город столь же громадный и плотно населенный, как и реальная Москва. Это вокзалы, «разъезды скворчащих трамваев», бульвары, «пятиглавые московские соборы» и «великовозрастная колокольня» – Иван Великий, гостиница «Метрополь» и «иудины окна» Дома Герцена, коридоры Госиздата и «пустая, без всяких затей» квартира, последняя мандельштамовская квартира на улице Фурманова (Нащокинский переулок); это «купальщики заводы и сады / Замоскворецкие», «базаров бабья ширина» и «вертепы чудные музеев»; это новое метро и «толстые дорические колонны» Большого театра (правда, на самом деле капители Большого театра сложного, или композитного, ордера), тихие дорожки Нескучного сада и «часов кремлевские бои, – / Язык пространства, сжатого до точки…».

Хотелось бы построить эту книгу как экскурсию по мандельштамовской Москве. Не кощунство ли это по отношению к поэту-мученику? Нет ли в самом таком намерении того

привкуса неуместности, о котором писал С.С. Аверинцев, имея в виду идею проведения посвященной Мандельштаму конференции в Воронеже: «Город изгнания, город беды, в самом имени которого поэту примерещились слова “ворон” и “нож”,– как место очередных Мандельштамовских чтений? Не дай нам Господь вконец утратить способность пугаться таких поворотов. До чего же быстро все становится историей, эрудицией, цитатой. Мы, сытые, достойно любознательные, станем ходить по улицам, где его караулила бородавчатая темь той самой ямы с обледенелой водокачкой…» [3]

Но что же делать? Не говорить о Мандельштаме, боясь затрепать и опошлить великое имя (ведь такая опасность действительно реальна и всегда существует)? Молчать, не рассказывать о нем? Только читать его стихи и прозу, не примешивая к ним своих речей? В этом были бы свои красота и благородство, бесспорно. Но это невозможно. Ведь и Мандельштамовские чтения (замечательные чтения 1994 года) были в Воронеже проведены. Ведь – и это главное – сам Мандельштам настроен на собеседника (статья «О собеседнике»), на отклик, на ответную реплику – и так до выкрика в Воронеже: «На лестнице колючей разговора б!» («Куда мне деться в этом январе?..») Достойны ли мы сказать что-то, есть ли нам что сказать – это уже другой вопрос.

Что касается экскурсии – смотря как ее провести. Экскурсия, представляется нам, – специфический жанр, пограничный между наукой и искусством, историей и культурологией, «поэзией» и «правдой». Экскурсия, жанр, родившийся в контексте городской культуры, очень подходит, думается, для рассказа о поэте-горожанине. Мы не видим Мандельштама сидящим за письменным столом в кабинете (у него никогда и не было кабинета) – мы видим его идущим по улице, едущим в трамвае… Есть разные дороги к постижению художника; можно, как известно, войти в мир Достоевского и Диккенса через Петербург и Лондон. Во всяком случае, невозможно их понять по-настоящему вне атмосферы этих городов. А разве сам Мандельштам не идет к Вийону и Данте («Виллону» и «Данту», как бы он написал) через их города? Вспомним: «Виллон был парижанин. Он любил город и праздность.

К природе он не питал никакой нежности и даже издевался над нею. Уже в XV веке Париж был тем морем, в котором можно было плавать, не испытывая скуки и позабыв об остальной вселенной» (статья «Франсуа Виллон»). «Inferno – это ломбард, в котором заложены без выкупа все известные Данту страны и города. <…> Городолюбие, городострастие,

городоненавистничество – вот материя Inferno. Кольца ада – не что иное, как сатурновы круги эмиграции. Для изгнанника свой единственный, запрещенный и безвозвратно утраченный город развеян всюду; он им окружен. Мне хочется сказать, что Inferno окружен Флоренцией. Итальянские города у Данта – Пиза, Флоренция, Лукка, Верона – эти малые [4] гражданские планеты – вытянуты в чудовищное кольцо [5] , растянуты в пояса, возвращены в туманное, газообразное состояние» («Разговор о Данте»).

Попробуем, насколько это удастся, пойти именно таким путем. Попробуем увидеть Мандельштама в Москве, Москву его глазами, а его самого – понять через Москву. Постараемся быть точными – насколько сможем. Говоря о городе, Мандельштам любит и ценит точность (хотя иногда – причем по большей части сознательно – ее нарушает). Адреса, телефоны, номера трамваев – разве это противоречит поэзии? Вовсе нет.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса [6] ,
По которым найду мертвецов голоса.
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»

А вот слова из московского очерка «Холодное лето»: «Тот не любит города, кто не ценит его рубища, его скромных и жалких адресов…»

Читатель обнаружит в книге большое количество цитат из самых разных авторов. Автору представляется это важным по двум причинам. Первая – очень проста: автор хочет быть максимально точным, и не только в отношении городской топографии. И зачем пересказывать мемуаристов или исследователей, если они написали о том, что они желали сказать, в тех словах, которые ими самими и были найдены для выражения их чувств и мыслей? Ссылаясь на многочисленные источники, автор вдобавок ведь и сообщает о книгах, которые, может быть, читатель не всегда знает, – таким образом они попадают в поле читательского зрения, а это само по себе хорошо. Но главная причина, определившая обильное цитирование в нашей книге, не в этом. О Мандельштаме трудно написать иначе. Его творчество принципиально диалогично; он насквозь «цитатен» – и это как раз одна из важнейших черт его оригинальности.

В своем «Разговоре о Данте» – опять разговор, беседа – Мандельштам написал: «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает». В стихах и прозе Мандельштама

вскрикивают, поют, плачут и смеются другие авторы, с которыми он вступил в диалог, звучат другие речи, которые он сделал неотъемлемо своими. Пусть и в нашей книге звучат, вступают в разговор разные голоса.

И еще одно обстоятельство. Некоторые цитаты (в большинстве из Мандельштама, но не только) появляются при этом в тексте не единожды. И это тоже неслучайно. В сущности, всё, что написал Мандельштам, можно рассматривать как единый текст.

В творческом мире Мандельштама все темы и мотивы накрепко связаны; это мир исключительно цельный – мир, в котором отдельные произведения, стихи, проза, статьи (и даже в определенной мере письма!) живут в неразрывном единстве, «неумолкаемо» перекликаясь друг с другом. Все сцеплено, соединено; образы и словесные конструкции повторяются вновь и вновь, меняясь, приобретая новые акценты, вступая в новые связи с другими текстами, попадая в иное словесное окружение, но сохраняя в то же время свою глубинную идентичность. Говоря о Мандельштаме, мы невольно втягиваемся в силовое поле такой стилистики, такого подхода к организации текста.

Итак, мы начинаем нашу книгу-экскурсию. Естественно и логично будет начать ее с первого приезда и – еще конкретнее – с въезда в город.

Исторический и городской фон [7] **1915 год**

30 декабря. Николай II, ставший еще в августе Верховным главнокомандующим, выехал из Царского Села в действующую армию.

1916 год

10 января. Прекращено на неделю пассажирское сообщение между Москвой и Петроградом для улучшения подвоза товаров, в особенности каменного угля.

18 января . Движение пассажирских поездов между Москвой и Петроградом восстановлено. На Николаевском вокзале (ныне Ленинградский) столпотворение.

20 января . Отправлен в отставку глава правительства И. Горемыкин (77 лет). Председателем Совета министров стал Б. Штюрмер (68 лет).

4 февраля . Недовольство рабочих в Петрограде. Волнения на Путиловском заводе.

Не позднее 9 февраля . Наложен штраф в 3000 рублей на содержателя кофейни «Москва» на Тверском бульваре за хранение и продажу спиртного. (Сухой закон вступил в действие с началом войны в июле 1914 года.)

17 февраля . В Москве открыт завод искусственных

конечностей.

19 февраля . На Новинском бульваре во дворце князя Гагарина организовано масленичное гулянье – благотворительный базар для детей. Были устроены катание с горок, выступление кукольного театра с Петрушкой, открыты «Пряничный домик» и «Волшебная избушка». Сбор «на нужды детей, призреваемых Арбатским попечительством».

28 февраля . Во 2-м Крестовском переулке у 1-й Мещанской улицы (ныне проспект Мира), в доме Кедровых, открыто «трудовое убежище для увечных воинов». На открытии присутствовала великая княгиня Елизавета Федоровна.

6 марта . В Москве умер художник Василий Суриков. Отпевание состоялось в церкви Космы и Дамиана в Космодамианском переулке (ныне Старосадский переулок).

7 марта . В Политехническом музее состоялось выступление революционера и мыслителя Н. Морозова; он прочитал лекцию «Крылатая эра», посвященную перспективам воздухоплавания.

12 марта . В Москву прибыли очередные санитарные поезда с ранеными и увечными солдатами.

30 марта . Состоялось заседание Московского религиозно-философского общества, посвященное памяти Владимира Соловьева. Поэт Вячеслав Иванов выступил с докладом «на тему “Человек”».

6 апреля . Постановлением московского губернатора запрещено хранение кокаина.

11–17 (24–30 н. ст.) апреля . Кинтальская конференция левых социалистов Европы (проходила в Швейцарии) осуждает войну как империалистическую и призывает к миру «без аннексий и контрибуций».

19 апреля . Общество борьбы с туберкулезом проводит в Москве «кружечный сбор» «День белой ромашки».

11 мая . Англо-русско-французское заявление о геноциде армян в Турции.

22 мая (4 июня н. ст.) . Начало Брусиловского прорыва. Русские войска начинают наступление в Галиции.

28 мая . Московский градоначальник В. Шебеко и городские власти обсуждают вопрос о продаже в городе мяса и сахара по карточкам.

17–18 и 26–29 октября . Антивоенные выступления и забастовки в Петрограде. Солдаты 181-го полка поддерживают рабочих.

В сравнении с данными на начало войны к осени 1916 года цены на продукты первой необходимости выросли в среднем в три раза.

1916: первая встреча с городом. Марина Цветаева. Кремль

Итак, начнем с въезда в город.

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой

Мы ехали огромною Москвой.
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил.
Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли.

1916

Так в ранних, первых московских стихах обозначено знакомство поэта с Москвой, «погружение» его в густую жизнь Москвы.

В первый раз Осип Мандельштам был в Москве в конце января 1916 года. Затем он снова приехал в феврале, и после этого не раз приезжал весной (до июня). Ему шел уже двадцать шестой год, он был явным петербуржцем. Москва, древний русский город, совершенно не похожий на блестящий «европеистый» Петербург, сильно подействовала на его душу. Отмечалось (в частности, С. Аверинцевым), что в стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой…» движение «от Воробьевых гор до церковки знакомой» есть спуск, а именно погружение в некую хтоническую, обволакивающую, поглощающую область. Москва, словно огромная воронка, засасывает. Интересно, что господствующий в первом четверостишии звук «о», обозначающий, как нам видится, в сочетании со звуками «р» и «г(к)» темы «горы» и «рока» («на РОзвальнях», «РоГОжей РоКовОй», «От ВоРобьЕвых ГОР», «оГРОмною»), оттесняется с первого плана – по мере спуска – скрыто-жалующимся, «жалобящимся» «а» и звуками «и – ы»:

И нИкогдА он РИма не любИл.

НЫрЯли сАни в чернЫе ухАбы, (произносим: «черныИ»)

И возвращАлся с гульбИща народ.

ХудЫе мужИкИ И злЫе бАбЫ (сплошные «ы» – «и» в стихе!)

ПереминАлись у ворот. (вариант: «ЛущИли семя у ворот»)

СЫрАя дАль от птИчьИх стАй чернела… (произносим: «чИрнела»)

И наконец, последний стих:

И рЫжую солому подожглИ.

Как это объяснить? Думается, что, во-первых, звук «ы» мог быть вызван восприятием Москвы как города «скифского», «варварского», противоположного по духу европейской культуре, восходящей в своих корнях к античному Средиземноморью. В повести «Египетская марка» (1928) автор говорит о певшей в пятидесятых годах XIX века на петербургской сцене итальянской певице Анджолине Бозио: «И наконец, Россия… Защекочут ей маленькие уши: “Крещатик”,“щастие” и “щавель”. Будет ей рот раздирать до ушей небывалый, невозможный звук “ы”».

Добавим, что нагнетание шипящих, о которых упоминается в «Египетской марке», в процитированном месте стихотворения «На розвальнях…» очевидно.

Город деревянный, непрочный, обреченный огню и воде (пламя в стихотворении подспудно разгорается: «теплятся» – «горели» – и «подожгли», последнее слово стихотворения; но одновременно с этим в стихах важную роль играют «водяные» ассоциации: «ныряли», «сырая даль», на это работает в определенной мере и слово «затекли»). Все если не сгорит, как солома, то потонет в чавкающей – и отсюда тоже эти «а»! – весенней грязи. Очень может быть, кстати, что мандельштамовское «Ныряли сани в черные ухабы» имеет связь с блоковским «И вязнут спицы расписные / В расхлябанные колеи» с теми же «а – я(ja)» и «и – ы» («Россия» – «Опять, как в годы золотые…»). Москва – город, противоположный каменному кружеву и динамике готики, столь любимой поэтом; противоречащий каменной торжественности Петербурга. «Камень» – так назывался первый сборник стихов Мандельштама, и именно камень был для него тогда олицетворением культуры.

Розвальни, деревянные дома – все это скрипит или, как говорили ранее, «скрыпит»: начинает играть звуками «и – ы» и шипящими мандельштамовский стих. Это во-вторых.

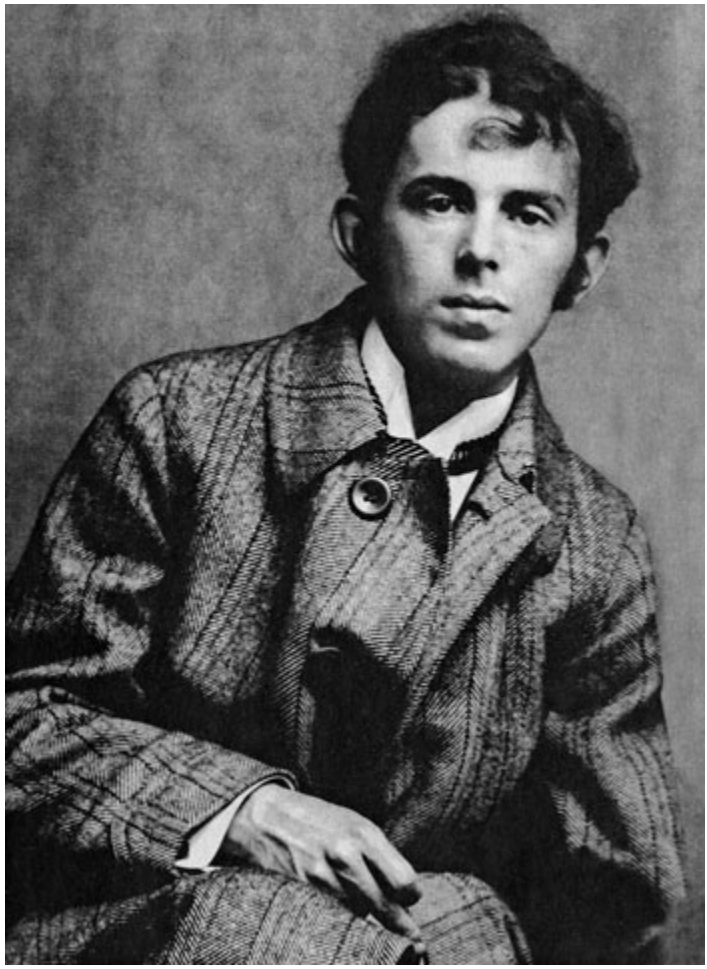
Процитированное выше стихотворение предвосхитило стилистику авангардного кинематографа XX века: одна картина мгновенно сменяется другой, показом совсем иного места, последовательность кадров определяется логикой, которая

становится нам понятна далеко не сразу. В первом четверостишии мы узнаем только, что действие происходит в Москве и что герои прикрыты «рогожей роковой». Эти слова не оставляют сомнений в том, что происходит нечто страшное, хотя мы и не знаем, что именно. В начале следующей строфы мы вдруг оказываемся в Угличе, даны только две пасторальные детали, но Углич – город, с которым в русской истории связано в первую очередь событие известное и трагическое, и чувство тревоги, появившееся у нас ранее, сохраняется и поддерживается. Однако поэт так же мгновенно переносит нас снова в Москву, мы видим его героя едущим по городу «без шапки» и замечающим горящие по покойнику три свечи в часовне. Чувство неблагополучия происходящего нарастает.

Московский булыжник

В третьем четверостишии ситуация продолжает осложняться: горящие свечи уподоблены трем встречам, причем «четвертой не бывать». Неизбежно приходит на память «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать», да о Риме тут же сказано четко и недвусмысленно. Если ранее герой говорил от первого лица, то в этом, центральном месте стихотворения (и по расположению, и по значению) мы смотрим на него со стороны – «никогда он Рима не любил». Автор так о себе, о неизменной нелюбви к Риму,

очевидно, сказать не может: совсем недавно Мандельштам прошел через увлечение католичеством. (Предположение, что «он» в данном случае обозначает Бога, не кажется нам убедительным: все в этих стихах «привязано» к единому центру – герою, чьими глазами показано происходящее; но в заявлении о нелюбви к Риму автор стихотворения на мгновение отделяет себя от своего персонажа.) Речь идет о серьезном, обязывающем выборе, о приятии Москвы, признании ее значения, причем со всеми связанными с понятием «Москва» славянофильскими и мистическими коннотациями. Чрезвычайно важно при этом иметь в виду, что это приятие Москвы, представление о ней сопровождаются мотивами смерти и страха. Эта связь у Мандельштама закрепится. Свечи горят по покойнику, «народ», «худые мужики и злые бабы», не обнаруживают никакого сочувствия к тем, кого везут по «черным ухабам» в розвальнях, «уложенных соломой». Последний кадр: горящая, подожженная солома. Натянутая ткань напряжения прорывается – разгорается пламя. Что происходит? Враждебная толпа народа набрасывается на седоков и поджигает солому? Стихи вроде бы не оставляют нам никакой другой возможности истолкования, и все же такое самоуправство толпы по отношению к царевичу, которого, очевидно, пленила и которым распоряжается некая власть, представляется чрезмерным буйством. (О том, что везут именно царевича, мы узнаем только в предпоследнем стихе.) Известна финальная черновая строка стихотворения: «Сжигает масленица корабли» [8] . (В строке нашло отражение, думается, известное выражение «сжечь корабли»: отречение от Рима ради Москвы бесповоротно.) Конец Масленицы был в 1916 году 20 февраля; «черные ухабы» начинавшего оседать снега вошли в стихи. Черновая строка объясняет происходящее, однако Мандельштам предпочел ей завершающий образ, удерживающий читателя в напряжении сомнения и не дающий однозначного решения. Точно так же только в конце стихотворения мы узнаем о том, кого везут, – везут связанного царевича, но это ставит перед нами новый вопрос: кто конкретно имеется в виду?



Осип Мандельштам. 1914

Оставим пока этот вопрос без ответа, как оставляет нас без ответа поэт. Остановимся на том, что царевич принимает Москву вопреки ее неблагообразию, грязи, страху и самым мрачным, судя по всему, личным перспективам – принимает роль жертвы. Эта составляющая в отношениях Мандельштама с Москвой сохранится навсегда, то уходя в тень, на периферию образа, то снова выходя на передний план. Через много лет, в 1933 году, в стихотворении «Квартира тиха, как бумага…» Мандельштам напишет: «И вместо ключа Ипокрены / Давнишнего страха струя / Ворвется в халтурные стены / Московского злого жилья».

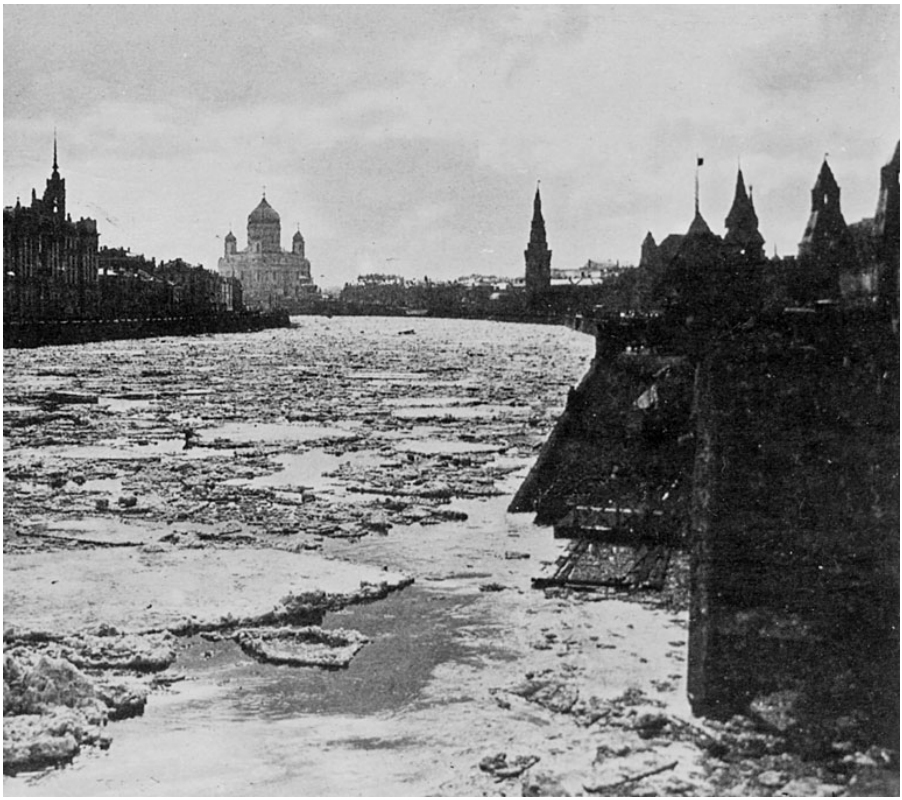
В атмосфере этого стихотворения господствует сознание (точнее, сознание-чувство), что происходит нечто страшное и непоправимое, неотвратимое, гибельное. Мрачная тональность находит выражение и в характерной для Мандельштама, в тех случаях, когда в его произведениях звучит трагический мотив, цветовой гамме – сочетании черного и желтого: рыжая солома,

даль, темнеющая от птичьих стай, черные ухабы, пламя поминальных свечей в темноте часовни… Нет однозначного, точного объяснения, почему именно это контрастное сочетание окрасило для поэта представление о трагическом и переживание его. Есть только предположения. Так, есть мнение, что контраст черного и желтого в качестве устойчивого символа чего-либо страшного и неблагополучного (причем, как правило, имеющий отношение к иудейской теме) появился у Мандельштама под детским впечатлением от желтоватого с темной каймой талеса (молитвенного покрывала) деда. Действительно, в автобиографической прозе «Шум времени» (1923–1924) Мандельштам пишет: «Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно».

Рискнем высказать предположение, что закреплению контраста желтого и черного как своего рода эмблемы мог способствовать и колорит русской иконы с ее золотым фоном, смуглыми телами и темными ликами. Во всяком случае, у нас есть прямые свидетельства об интересе Мандельштама к иконописи. Надежда Яковлевна Мандельштам упоминает иконы «старинные, которые мы любили» [9] . Н.Е. Штемпель сообщает: «…Мы пошли в Третьяковскую галерею… Но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким. Осип Эмильевич, не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он и шел» [10] .

Не покидает ощущение, что каким-то образом в стихи Мандельштама вошел черно-желтый контраст Иерусалима, где ему никогда не довелось побывать. Ю.Г. Милославский отмечает: «Если прожить в Иерусалиме лет десять-пятнадцать, не отводя от него глаз, начинаешь понимать, что живописным первообразом православной иконы была и остается полуденная Иудея в часы Распятия, когда отвесное солнце расшибается о блеклый лещадник, порождая этим непроницаемый золотой фон, и всякий предмет либо фигура оконтуриваются черным, и черным же нагнетает складки одежд. Таково свечение Иерусалима…» [11]

И все же – вернемся к стихотворению «На розвальнях…»: несмотря на страх и неотвратимую угрозу, Москва принимается, это заявлено твердо.



Ледоход на Москве-реке

Мандельштам приезжал в Москву к Марине Цветаевой, и «На розвальнях…» посвящено ей. Познакомились они в 1915 году (встретились у М. Волошина в Коктебеле), а затем виделись в начале 1916 года в Петрограде. «Когда 20 января Цветаева вернулась домой, Мандельштам поехал за ней и пробыл в Москве около двух недель» (В.А. Швейцер) [12] . (Ранее 18 января выехать из Петрограда было невозможно: пассажирские поезда между новой и старой столицей не ходили в течение недели.) Начавшийся роман был недолгим (с января по июнь), но бурным. Мандельштам приезжал в Москву, уезжал обратно в Северную столицу, возвращался. Позднее Цветаева писала, имея в виду мандельштамовские любовные стихи той поры: «…весь тот период… мой, чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Мандельштаму дарила Москву. Не так много мне в жизни писали хороших стихов, а главное: не так часто поэт вдохновляется поэтом…» [13] Цветаева знакомила Мандельштама с Москвой и олицетворила для него Москву. Вспомним, въезд в Москву в выше цитированных стихах – это спуск в низину, низину сырую, с тающими черными сугробами, влажной весенней далью… Это погружение в пучину, приобщение к стихии, стихии воды и цветаевской страсти, противостоящей и угрожающей

строгой выверенности камня, архитектуры. «Камень» – чрезвычайно важное понятие для Мандельштама, и не только в то время, о котором идет речь. Строгость и выверенность архитектуры в качестве образца, установка на классичность, благородную сдержанность выражения (при возможном драматизме содержания) – важные черты поэтического мира раннего Мандельштама. В Москве поэт увидел и почувствовал нечто совершенно иное. Низина – пучина – стихия – Марина… Имя Цветаевой проглядывает в звучании стихотворения «На розвальнях…», оно слышится именно в той строке, где заявлено отречение героя от Рима: «И никогда он Рима не любил». «Рима не» – «Марине»! Не утверждаем, что в данном случае имя вплетено в ткань стихотворения сознательно, но это не меняет дела. О чем можно говорить с полной уверенностью, так это о том, что в поэзии Мандельштама звук играет важнейшую роль, и о том, что он вводил имена в скрытом виде в свои стихи (в этом нам еще предстоит убедиться). Так или иначе, и само морское, водное имя Цветаевой, и знакомство с ней именно на «большой воде», и ее стихийный характер – не сомневаемся, что всё это окрасило первоначальное восприятие Москвы Осипом Мандельштамом. В мартовских стихах 1916 года Цветаева с присущей ей широтой дарит Мандельштаму свой город:

Из рук моих – нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По церковке – все сорок сороков
И реющих над ними голубков;
И Спасские – с цветами – ворота,
Где шапка православного снята;
Часовню звездную – приют от зол —
Где вытертый – от поцелуев – пол;
Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.
К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.
Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,
И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,
И встанешь ты, исполнен дивных сил…
– Ты не раскаешься, что ты меня любил.
31 марта 1916 [14]

«Часовня звездная» здесь – Иверская часовня у Красной площади, «пятисоборный несравненный круг» – конечно, Соборная площадь Кремля; «Нечаянная Радость» – речь также о

Кремле, о церкви, стоявшей в кремлевском саду, у одной из башен. О ней – чуть ниже.

Мандельштам принимает это щедрый дар с благодарностью и трепетом.

Иверская часовня. Открытка

Каким виделся Марине Цветаевой приезжавший к ней петербуржец? Об этом говорят в первую очередь ее стихи. «Странный… прекрасный брат», «древний, вдохновенный друг», «чужеземный» гость с высоко поднятой головой, «царевич». «Брат» по русской поэзии, еврей-«чужеземец» (даром что вырос в

Петербурге), за которым уходящие в глубь веков поколения кочевников, пастухов древней Иудеи, купцов, книжников и раввинов – он был для Цветаевой притягателен. Брат-поэт с душой странника: фамилия Мандельштам значит «миндальный ствол» – можно отождествить его с посохом; неоседлой цветаевской натуре подходил такой товарищ. Его притягивало к ней русское, московское; ее влекло к нему еврейское, библейское (и петербургское, конечно). Внешность Мандельштама в описании Цветаевой – вполне экзотическая: «У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи – головная посадка верблюда. <…> Распахнутые глаза у Мандельштама – звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей» [15] .

Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!
Позвякивая карбованцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.
Чьи руки бережные нежили
Твои ресницы, красота,
И по каким терновалежиям
Лавровая твоя верста… —
Не спрашиваю. Дух мой алчущий
Переборол уже мечту.
В тебе божественного мальчика —
Десятилетнего я чту.
Помедлим у реки, полощущей
Цветные бусы фонарей.
Я доведу тебя до площади,
Видавшей отроков-царей…
Мальчишескую боль высвистывай
И сердце зажимай в горсти…
– Мой хладнокровный, мой неистовый
Вольноотпущенник – прости!

18 февраля 1916 [16]

Рядом с возлюбленным-«чужеземцем» и сама героиня этих стихов чувствует себя иностранкой. «Позвякивая карбованцами…»

– звон монет в этой строке нельзя не услышать, а «карбова́нцами» звучит как «пиастрами» или «рупиями». («Карбованец» в словаре Даля – «серебряный рубль, целковый: звонкая монета».) Так они и бродили по городу, который Цветаева знала отлично, «каждый камень» (по свидетельству Э.Л. Миндлина). В это же день Цветаева пишет другое стихотворение, исполненное удивленной нежности к «певцу захожему»:

Откуда такая нежность?
Не первые эти кудри
Разглаживаю и губы
Знавала темней твоих.
Всходили и гасли звезды —
Откуда такая нежность? —
Всходили и гасли очи
У самых моих очей.
Еще не такие гимны
Я слушала ночью темной,
Венчаемая – о нежность! —
На самой груди певца.
Откуда такая нежность,
И что с нею делать, отрок
Лукавый, певец захожий,
С ресницами – нет длинней?
18 февраля 1916 [17]

И на этого «вдохновенного друга» Цветаева смотрела в определенном смысле снизу вверх. Она безошибочно услышала мощь и торжественность в его поэтическом голосе, почувствовала, что это дыхание не короткое, силы хватит на многие годы. Незадолго до встречи с Цветаевой в Северной столице было отпечатано второе издание его сборника стихов «Камень». Книга вышла в декабре 1915 года (хотя на титуле указан 1916-й); в январе Мандельштам делает дарственную надпись на экземпляре, который дарит Цветаевой: «Марине Цветаевой – камень-памятка. Осип Мандельштам. Петербург, 10 января 1916». Стихов такого уровня, такой глубины и красоты, какие она могла обнаружить в подаренной книге, сама Цветаева ко времени ее встречи с Мандельштамом еще не писала. Для впечатления, которое произвели на нее стихи Мандельштама, Цветаева нашла очень весомые слова: «молодой Державин». Так она обращается к Мандельштаму в стихотворении, написанном в связи с его первым отъездом из Москвы, первым их московским расставанием. (Потом, как уже было сказано, он будет не раз возвращаться и снова уезжать к себе, в Питер.) Цветаева благословляет Мандельштама на долгую и славную дорогу:

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих верст.
Я знаю, наш дар – неравен.
Мой голос впервые – тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь, —
Юный ли взгляд мой тяжел?
Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед…
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих лет.
12 февраля 1916 [18]

В цветаевских стихах 1916 года, имеющих отношение к Мандельштаму, нарисован портрет поэта в момент поэтического забытья в романтическом и потенциально опасном соседстве с орлами:

Приключилась с ним странная хворь,
И сладчайшая на него нашла оторопь.
Все стоит и смотрит ввысь,
И не видит ни звезд, ни зорь
Зорким оком своим – отрок.
А задремлет – к нему орлы
Шумнокрылые слетаются с клекотом
И ведут о нем дивный спор.
И один – властелин скалы —
Клювом кудри ему треплет.
Но, дремучие очи сомкнув,
Но уста полураскрыв – спит себе.
И не слышит ночных гостей,
И не видит, как зоркий клюв
Златоокая вострит птица.
20 марта 1916 [19]

И еще одна важная черта образа – «мальчик», «отрок», «лебеденок» (несмотря на то что ему двадцать пять, а ей двадцать три). Это объяснимо: во-первых, любовный опыт Цветаевой был к 1916 году более богатым, чем у Мандельштама, и в их любви она была, думается, «старшей». С 1912 года она была замужем за С.Я. Эфроном, в этом же году родила дочь. Любовные отношения Цветаевой с поэтессой С.Я. Парнок продолжались с 1914 по 1916

год; прекратились они как раз в начале романа с Мандельштамом, в феврале 1916-го. Любовь к Мандельштаму не мешала кратковременному увлечению поэтом Тихоном Чурилиным, «вороненком» в ее стихах. «Был ли между ними роман в настоящем смысле слова? Да, и для Мандельштама эти отношения значили больше, чем для Цветаевой, – пишет автор книги “Быт и бытие Марины Цветаевой” В.А. Швейцер. – “Божественный мальчик” и “прекрасный брат” в Мандельштаме были для нее важнее возлюбленного, хотя встреча с ним поставила окончательную точку в разрыве с Парнок. Надежда Мандельштам писала, что именно Цветаева научила Мандельштама любить» [20] . Кроме того, «материнское» чувство Цветаевой в ее отношении к возлюбленному объясняется и тем, что она остро чувствовала хрупкость, уязвимость этого «захожего певца» с высоко поднятой головой. Отсюда – боязнь за него, предчувствие высокого, но уж никак не беспечального его будущего. Цветаева «прочитала» ждавшую Мандельштама трагическую судьбу.

Гибель от женщины. Вóт знáк
На ладони твоей, юноша.
Долу глаза! Молись! Берегись! Враг
Бдит в полуночи.
Не спасет ни песен
Небесный дар, ни надменнейший вырез губ.
Тем ты и люб,
Что небесен.
Ах, запрокинута твоя голова,
Полузакрыты глаза – что? – знача.
Ах, запрокинется твоя голова —
Иначе.
Голыми руками возьмут – ретив! упрям! —
Криком твоим всю ночь будет край звонок!
Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам,
Серафим! – Орленок!
17 марта 1916 [21]

Предсказание «гибели от женщины» кажется ошибочным, но наше знание о том, что привело Мандельштама к смерти, о причинах и поводах двух его арестов не настолько велико, чтобы мы могли трактовать поэтическое пророчество Цветаевой как несостоятельное. Еще одна важная особенность московского романа Мандельштама. Цветаева была увлечена яркими личностями Марины Мнишек и Лжедмитрия, которых она воспевает в эти же дни 1916 года в стихотворении «Димитрий! Марина! В мире…». В стихах, посвященных этой паре, проводится

мысль о том, что Самозванец был, вероятно, не лже-, а подлинным царевичем. Уместно в связи с этим принять во внимание, что у Мандельштама в стихотворении «На розвальнях…» в потоке сознания его героя вспыхивает воспоминание об Угличе – таким образом, у читателя появляется возможность предположить, что речь идет о подлинном, не погибшем сыне Ивана Грозного. Стихотворение Цветаевой написано в конце марта, и мандельштамовское «На розвальнях…» – вероятно, тоже мартовские стихи (два известных автографа помечены «март 1916») [22] . К Марине Мнишек Цветаева обращается так: «Славное твое имя / Славно ношу»:

Димитрий! Марина! В мире
Согласнее нету ваших
Единой волною вскинутых,
Единой волною смытых
Судеб! Имен!
……
Марина! Димитрий! С миром,
Мятежники, спите, милые.
Над нежной гробницей ангельской
За вас в соборе Архангельском
Большая свеча горит.

«Димитрий! Марина! В мире…», 29–30 марта 1916 [23]

В романе с Цветаевой Мандельштаму выпадала, таким образом, как бы роль Димитрия. Но на эту авантюрно-героическую роль он не годился. Образы «певца захожего», «странного брата», «отрока»-царевича, «мальчика» были более органичными. А.И. Цветаева, вспоминая Мандельштама той поры, говорила, что он был похож на принца в изгнании и одновременно на птенца, выпавшего из гнезда.

Вернемся к стихотворению «На розвальнях…». Образ пленного царевича соотносится не только с Самозванцем (которого пленным в Москву никак не ввозили), но и, очевидно, с другими историческими фигурами. Думается, что, например, с «Ворёнком» – малолетним сыном Марины Мнишек Иваном, удавленным в Москве. Но несчастный Ивашка никакого отношения ни к Угличу, ни тем более к Риму не имел. А вот Алексея Петровича, сына Петра Первого, доставили из-за границы именно в Москву, где состоялась его встреча с грозным отцом. Мандельштам создает в данном случае свою собственную контаминированную историческую мифологию (и такое создание синтетических образов вообще ему свойственно). «Совершенно очевидно, – пишет К.Ф. Тарановский, – что царевич, названный в пятой строфе, не историческая личность, а скорее просто

обобщенный тип “царевичей”, появля-вшихся в эпоху Смутного времени (несколько Димитриев, Петр, Иван и др.). Единственный царевич, привезенный в Москву пленником, под стрелецким конвоем (в 1614 году), был сын Марины Мнишек от Тушинского вора» [24] . Мандельштам создает собирательный образ царевича-жертвы, одной из повторяющихся фигур русской истории (и не только в Смутное время).

Думается, что в стихотворении имеется и некая подспудная, непроявленная связь с библейским Иосифом, тезкой автора стихов. Мандельштам получил при рождении имя Иосиф; Ося – домашнее имя, Осипом Мандельштамом он навсегда останется в литературе. Примем во внимание, что Мандельштам уже обращался к образу Иосифа, говоря о себе:

Отравлен хлеб, и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!
«Отравлен хлеб, и воздух выпит…», 1913

Подобно Иосифу, пленным, со связанными руками въезжает герой стихотворения «На розвальнях…» в новый Египет, претендующий на звание Рима, – в Москву, город, в котором он хочет и нудит себя увидеть новый Рим и которого боится, город, с которым Мандельштам со временем сроднится и срастется накрепко и который он хоть и не безоглядно, но полюбит. Розвальни движутся по Москве «от Воробьевых гор до церковки знакомой» – какая церковь имеется в виду, сказать трудно. Может быть, Иверская часовня, упомянутая в цветаевских стихах («приют от зол»). Во всяком случае, это проезд к московскому центру.

Сердцевина Москвы – Кремль, и здесь неожиданно в этом странном полуазиатском городе возник перед Мандельштамом образ всегда дорогого для него Средиземноморья – Италии… «И никогда он Рима не любил» – это отречение от Рима, от католической стройности, иерархии и державной мощи Запада, которыми поэт был очень увлечен совсем недавно, вопреки категоричности этого стиха; отречение, демонстративно заявленное, от Рима первого ради «Третьего», но не от Италии: Италию поэт обнаружил в Москве, в ее кремлевских соборах XV века. Московский Кремль, создание итальянских и русских зодчих, – именно это в первую очередь опознал поэт в Москве как свое, близкое, родное. И восприятие Кремля соединилось неотрывно с обликом любимой женщины.

Собственно говоря, ее имя в скрытом, прикровенном виде звучит в первом, февральском, ниже приводимом стихотворении Мандельштама, обращенном к возлюбленной. У Мандельштама

было строгое отношение к называнию имен. В прямом упоминании имени в стихах он, видимо, чувствовал нечто обнажающее, нецеломудренное. С. Аверинцев указывает, что в основе мандельштамовской поэтики лежит ветхозаветное представление о непроизнесении имени Божия всуе. «Не так просто назвать даже имя человеческое, – продолжает Аверинцев. – …По черновым вариантам видно, как Мандельштам в работе над своими стихами исключал уже введенные имена» [25] . Прямые упоминания претили мандельштамовскому чувству, но в неявном виде, как бы под покровом, имена в стихах у Мандельштама присутствуют. Образ и имя Цветаевой растворены в картине Московского Кремля.

(О том, что Мандельштам был необыкновенно чуток к речевому звучанию вообще, к звучанию имен в частности, что он многократно обыгрывал звучание и собственного имени, и других имен в своих стихах, – об этом говорить почти не надо, это неоднократно показано многочисленными исследователями. Мандельштам-акмеист называет свой сборник «Камень», используя и преобразуя и звук, и смысл слова «акмэ» (острая оконечность камня, вершина, расцвет); узнав о том, что Ахматова была у Булгаковых (уже в 1930-е годы), Мандельштам повторяет: «Как оторвать Ахматову от МХАТа!», – как бы пробуя на вкус созвучие «Ахматова – МХАТ»; свое собственное имя он соотносит не только с библейским Иосифом, но также с осью и осами – таких примеров множество.)

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.
Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.
И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне – явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.
1916

Все в этом кремлевском пейзаже говорит о любимой женщине. Просвечивающий сквозь церковную архитектуру

женский облик («НЕЖные», «НЕЖное»: ЖЕНское) дополняется просвечивающим именем: «Флоренция», то есть «цветущая», прямо соотносится с фамилией «Цветаева» (отмечено В.М. Борисовым). (Но и фамилия строителя Успенского собора, Аристотеля Фиораванти, также происходит от итальянского слова «цветок» – «фиоре»!) Таким образом, цветение поименовано трижды (причем два имени – в подтексте): Цветаева – Флоренция – Фиораванти. Введение имен в ткань стиха, еще раз скажем (но в сокровенном, не торчащем виде), являлось сознательной установкой для Мандельштама, об этом свидетельствует его собственное «признание»:

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;
Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других…
«Нашедший подкову», 1923

Величавая строка «Напоминают мне – явление Авроры…» представляется отголоском пушкинского: «Напоминают мне оне / Другую жизнь и берег дальный» («Не пой, красавица, при мне…»). Ведь и московские соборы напоминают «другую жизнь и берег дальный». Поэт поднимается на Боровицкий холм, смотрит на город «с укрепленного архангелами вала» (конечно, имеются в виду архангелы Гавриил и Михаил: Архангельский и Благовещенский соборы, фланкирующие вход на Соборную площадь, стоят неподалеку от крутого ската холма, высоко поднимающегося в этом месте над кремлевской стеной и Москвой-рекой). «Печаль меня снедала…» Печаль оттого, что он не русский, не причастен полностью, «кровно» русской судьбе? Видимо, так. Однако, не будучи «родным» сыном, он как свою судьбу принимает Москву и Россию с ее катастрофическим, кровавым и великим путем. Ведь он уже пророчески писал:

Россия, ты, на камне и крови,
Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови!
«Заснула чернь! Зияет площадь аркой…», 1913

Еще недавно, в статье «Петр Чаадаев» (1914), Мандельштам так интерпретировал взгляды своего героя: «…понимание Чаадаевым истории исключает возможность всякого вступления на исторический путь. В духе этого понимания, на историческом пути можно находиться только ранее всякого начала. История – это лестница Иакова, по которой ангелы сходят с неба на землю. Священной должна она называться на основании преемственности духа благодати, который в ней живет. Поэтому Чаадаев и словом не обмолвился о “Москве – третьем Риме”. В этой идее он мог увидеть только чахлую выдумку киевских

монахов». Народам уготованы – изначально – разные судьбы, и Москва не может быть Римом, ей это не суждено. «Лучший цветок» русской земли – по той же статье Мандельштама – нравственная свобода, свобода свободного выбора своей жизненной судьбы. С европейской четкостью, выработанностью социальных и культурных форм России не тягаться; единственное преимущество русского культурного человека, менее прикрепленного к определенной традиции, менее, так сказать, оседлого в культурном смысле, – это необходимость и свобода самостроительства, включая и свободу отречения от культурного и религиозного наследства (или по крайней мере критического пересмотра его): русского наследства, как понимает Мандельштам чаадаевский путь, или иудейского – в случае самого поэта. Русский человек, по Мандельштаму, – человек без гнезда, скиталец, и в этом его преимущество.

В основе здесь, думается, идея Достоевского, вложенная в уста его героя Версилова в «Подростке»:

«Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает. И, кажется, еще пока знать не хочет. И понятно: они несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен.

<…> Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень [26] в ней мил и дорог. Европа также была отечеством нашим, как и Россия» [27] .

Эта свобода, говорит Мандельштам в статье «Петр Чаадаев», «стоит величия, застывшего в архитектурных формах, она равноценна всему, что создал Запад в области материальной культуры…». Не отказываясь от последнего утверждения, Мандельштам 1916 года, каким он предстает в стихах, адресованных Цветаевой, видел Россию существенно иначе, чем в период увлечения католичеством, отразившегося в статье о Чаадаеве. В Третий Рим ему хотелось поверить – и именно так реализовать упомянутую выше свободу. «Выбор самого поэта был таким, каким он описал путь Чаадаева – “идейно побывавшего на Западе и нашедшего дорогу обратно”», – пишет Е.А. Тоддес [28] . Под воздействием любви к москвичке Цветаевой народничество Мандельштама, которое он усвоил в эсеровской, в основном, интерпретации в годы обучения в Тенишевском училище в Петербурге (1899–1907), окрашивается в стихах 1916 года в «славянофильские» тона. Влияет и политическая ситуация: Россия ведет войну, и хотя в мандельштамовском стихотворении «Зверинец» (1916), уже написанном ко времени первого приезда в Москву, недвусмысленно выражен призыв к миру и братству

европейских народов, все же атмосферу военного времени надо принимать во внимание.

И еще одно мандельштамовское стихотворение о Кремле той поры:

О, этот воздух, смутой пьяный
На черной площади Кремля!
Качают шаткий мир смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.
Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,
Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.
А в запечатанных соборах,
Где и прохладно, и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.
Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый
И, мнится, заворкует вдруг.
Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь…
1916

Кремлевские соборы, созданные итальянскими и русскими зодчими, – амфоры, в которых хранится вино иудейско-христианской культуры, ставшее русским вином, голубятни, где воркует дух Божий? – так это видится поэту.

Стихотворение вызывает определенные вопросы. Во-первых, какой кремлевский собор Воскресения имеется в виду? В Московском Кремле собора Воскресения нет. Попробуем дать ответ на этот вопрос. «Пятисоборный несравненный круг» «подарила» Мандельштаму Марина Цветаева. Пять соборов – это, несомненно, Успенский, Архангельский, Благовещенский, церковь Двенадцати Апостолов при Патриаршем дворце (часто называвшаяся собором) и Верхоспасский, чьи главки поднимаются над той частью царского Теремного дворца XVII века, которая видна с Соборной площади. Мандельштам прямо называет в своих стихах Успенский, Благовещенский и Архангельский; косвенно – можно предположить – упомянут им в другом стихотворении, «В разноголосице девического хора…», и собор Двенадцати апостолов: «И пятиглавые московские соборы…» (собор Двенадцати Апостолов имеет, подобно

Успенскому и Архангельскому и в отличие от Благовещенского, пять глав). Таким образом, под собором Воскресения в стихах Мандельштама должен пониматься Верхоспасский собор.

Имелись ли у поэта основания назвать его так? Представляется, что да. Дело в том, что в Теремном дворце находится не одна церковь; одиннадцать нарядных, украшенных изразцами главок, стоящих при этом в одном ряду, относятся не к одному храму, а к трем, а именно: пять глав – к Верхоспасскому собору (другое его название – Спас за Золотой Решеткой), одна – к церкви Распятия (Воздвижения Креста Господня) и пять – к церкви Воскресения Словущего. В книге С.П. Бартенева «Большой Кремлевский дворец, дворцовые церкви и придворные соборы», опубликованной в 1916 году (год первых приездов Мандельштама в Москву), сообщается: «На Верхоспасской площадке, направо от входа, находится собор Нерукотворенного Спаса за Золотой Решеткой, или Верхоспасский собор…» И ниже: «Церковь Воскресения Словущего отделяется узким коридором от Верхоспасского собора и расположена в уровень с ним с северной стороны. Пять ее глав находятся рядом с главою церкви Распятия и главами Верхоспасского собора на общей с ними кровле (всего 11 глав)» [29] . Как мы видим, Верхоспасский собор и церковь Воскресения Словущего соседствуют в Теремах и имеют даже как бы «общие» главы. Неудивительно, что Мандельштам в период первоначального знакомства с Москвой мог ошибиться и перенести в своем стихотворении название кремлевской церкви Воскресения на соседствующий собор. Ошибку поэта отрицать не приходится, но она, как представляется, вполне объяснима.

Правда, в Кремле был тогда еще и собор Вознесения, но в другом месте – на территории позднее снесенного (в 1929 году) Вознесенского девичьего монастыря. Неоднократно перестраивавшийся, он к началу XX столетия имел архитектурные формы, имевшие очень мало общего с древним московским зодчеством, и вряд ли мог произвести на Мандельштама впечатление, сравнимое с тем, которое поэт получил от «пятисоборного несравненного круга». Нет никаких оснований предполагать, что, перечисляя в своих стихах храмы Соборной площади, Мандельштам упоминает наряду с ними и собор Вознесенского монастыря, на ней не находившийся, и при этом «переименовывая» его.

В этом же мандельштамовском стихотворении вызывает интерес еще одна деталь: упоминание о немоте главной московской колокольни – Ивана Великого:

Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.

В черновых вариантах к этому стихотворению: «Все шире праздник безъязыкий / Иль вор на колокольню влез / Ему сродни разбоя крики / И перекладин черный лес»; «Соборов восковые лики / Спят; и разбойничать привык / Без голоса Иван Великий / Как виселица прям и дик…»; «Без голоса Иван Великий – / Колоколов дремучий лес / Спит, и разбойник безъязыкий…».

Колокола на месте, а колокольня молчит. В чем причина?

По нашему мнению, дело в том, что в цитируемых мандельштамовских стихах отразилось впечатление от Кремля во время Великого поста. В этот период используются в основном особые колокола, так называемые постный и часовой. На Иване Великом с пристройкой было более тридцати колоколов, но они молчали – слышался в положенное время только скупой звон, который так и называют – «постный». Первый день Пасхи в 1916 году пришелся на 10 апреля (по старому стилю): «10 апреля. В первый день Пасхи в Успенском соборе было совершено торжественное богослужение…» [30] В бумагах С.П. Каблукова, близкого знакомого Мандельштама, стихотворение, о котором идет речь, отмечено датировкой: «Апрель 1916. Москва» [31] . Это подтверждает наше предположение. Подобно финальной черновой строке в стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой…» – «Сжигает масленица корабли…», настойчивое упоминание «немоты» Ивана Великого в интересующих нас в данном случае других стихах того же года если и не позволяет установить точную дату написания стихотворения, то, во всяком случае, дает возможность определить тот период церковного календаря, который нашел отражение в произведении: это время до 10 апреля – дни Великого поста.

Благовещенская церковь в Кремле («Нечаянная Радость»). Открытка

(Вышесказанное не означает, конечно, что образ молчащей колокольни, которую Мандельштам настойчиво сравнивает с разбойником, не имеет отношения к истории углического колокола. Толпа в Угличе, оповещенная колокольным звоном о смерти царевича, расправилась с предполагаемыми убийцами. Набатному колоколу, известившему горожан о гибели мальчика, отрубили одно ухо, вырвали язык и сослали. Поступили, как с разбойником, но смуту это не предотвратило, и в лице Димитрия Самозванца – «вора», как его называли, – смута явилась в Кремль мстить Годунову. Безусловно, молчавший Иван Великий мог

вызвать в памяти Мандельштама эту историю.)

Колокольня безгласна, но Благовещенский собор «мнится, заворкует вдруг». Почему заворковать может именно Благовещенский собор, объяснить нетрудно: ведь на Благовещение принято было выпускать из клеток голубей: голубь – символ Святого Духа. Выпускали на волю и других птиц. Благовещение приходится на 25 марта (по старому стилю). Газета «Московский листок» в субботнем номере от 26 марта 1916 года (прибавление к № 70) сообщала: «Вчера на Трубной площади состоялся традиционный птичий торг. <…> Многие покупали птичек, которых тут же выпускали на волю. В общем, вчерашний птичий торг прошел крайне оживленно при громаднейшем стечении публики» (заметка «На Трубной площади», с. 1–2).

В мандельштамовском стихотворении Благовещенский собор «зеленый», и однозначного объяснения этой цветовой характеристике у нас нет. Возможно, в апрельском стихотворении отразились впечатления от Вербного воскресенья (в 1916 году Вербное воскресенье было 3 апреля; въезжавшего в Иерусалим Иисуса, по преданию, народ встречал с пальмовыми ветвями в руках; верба в России заменяет пальмовую ветвь и символизирует, наряду с прочим, пробуждение природы, приход весны); может быть, надо принять во внимание, что зеленый – цвет возрождающейся жизни – символический цвет Святого Духа; добавим, что, согласно западной живописной традиции, сообщающий Марии благую весть архангел Гавриил изображается с цветущей ветвью: или «райской», или оливковой, или ветвью с цветущими лилиями. 3 апреля – Вербное воскресенье, 10 апреля – первый день Пасхи, весна, ледоход… Цветаева заканчивает свое стихотворение «Канун Благовещения…» (24–25 марта 1916) так:

Я же весело
Как волны валкие
Народ расталкиваю.
Бегу к Москва́-реке
Смотреть, как лед идет [32] .

Не воплощены ли все эти детали и обстоятельства в эпитете «зеленый»?

Сказано, что Благовещенский собор может заворковать, но в стихотворении соборы – «голубятни», в которых «гнездится» Божий дух, – в сущности, уже «воркуют»: активная роль звуков «р» и «г» («к») в сочетании с «у» и «о» передают это воркование. В частности, в рифмующихся словах третьего и четвертого четверостиший ударения падают только на «у» и «о»; отметим также ударные «у» в словах, предшествующих рифмующимся в этих четверостишиях, – причем в финальных стихах обоих

катренов: «а в запечатанных собОРах, / где и пРохладно, и темнО, / как в нежных Глиняных амфОРах, / иГРает РУсское винО. // Успенский, дивно оКРУГлЕнный, / весь Удивленье Райских дУГ (прозносим: «дук»), / и Благовещенский – зелЕный / и, мнится, завоРКУет вдРУГ…» (произносим «вдрук»). Разве не воркуют эти «Г», «Р», «О», «ОР», «КРУ», «РУ»?

Образ собора – птичьего жилища станет устойчивым для Мандельштама. Например, в очерке «Холодное лето» (1923): «белые скворешники Кремля». Или в стихотворении «Сегодня можно снять декалькомани…» (1931) также о кремлевских храмах: «фисташковые голубятни».

Вернемся к цветаевскому стихотворению «Из рук моих нерукотворный град…»:

К Нечаянныя Радости в саду

Я гостя чужеземного сведу.

Под этим именем была широко известна Благовещенская церковь в Нижнем саду Кремля (не путать с Благовещенским собором!). Церковь была пристроена к Благовещенской башне. В ней находилась очень почитаемая икона Нечаянная Радость. По иконе и сама церковь часто именовалась так. В начале века была отпечатана открытка с ее изображением и надписью: «Церковь Нечаянная Радость в Кремле». В книге И.К. Кондратьева «Московский Кремль: святыни и достопримечательности» (М., 1910) сообщается об этой иконе: «В древнее время к башне, возле которой находится церковь, примыкал житный царский двор, где ссыпался в житницы хлеб для царского двора. В той же башне содержали и преступников. По преданию, в башне был заключен один воевода в царствование Иоанна Грозного и проводил все время заключения в молитве. В одну ночь явилась к нему Пресвятая Богородица и приказала просить царя о свободе, после чего он и решился ходатайствовать перед царем об освобождении и был прощен. Когда посланные за ним пришли, то на стене башни увидели икону, и сказали об этом царю, и тогда при образе была устроена деревянная часовня. <…> В 1730 году императрица Анна Иоанновна приказала устроить при часовне каменную церковь во имя Благовещения так, чтобы стена башни, на которой явилась икона, находилась внутри церкви» [33] .

На праздник Благовещения в 1916 году церковь посетило множество людей. 24 марта 1916 года «Московский листок» (№ 69, с. 1) поместил следующее объявление:

«В Кремле, близ Боровицких ворот, под горою, в храме Благовещение Пр. Богородицы, на Житном дворе, где находится чудотворный образ Благовещения Пр. Богородицы, самоизобразившийся на Кремлевской стене, в день храмового

праздника, 25 марта, будут совершены: ранняя литургия в 61/2 час. утра, поздняя литургия в 10 часов, а накануне праздника в 4 часа вечерня и молебен, в 6 часов всенощная.

Протоиерей Н. Лебедев».

На другой день, 25 марта, «Московский листок» (№ 70, с. 3) в заметке «Торжественные богослужения» упоминает о прошедшем накануне богослужении в интересующем нас храме:

«Масса молящихся переполняла вчера храм Благовещения на Житном дворе, пред чудотворным образом Благовещения Богородицы служились молебны. Вечерня с акафистом празднику и всенощная были совершены соборным служением, при большом стечении богомольцев».

Судя по дате написания стихотворения «Из рук моих – нерукотворный град…» (31 марта), Цветаева и Мандельштам побывали в этой церкви, видимо, уже после храмового праздника. Хотя, естественно, мы не знаем точно, было ли намерение Цветаевой «свести» «чужеземного гостя» «к Нечаянныя Радости в саду» выполнено.

Благовещенская церковь на Житном дворе была снесена в начале 1930-х годов.

Восхищенное приятие кремлевских храмов – душа откликнулась, открылась им как близким и родным – соединено у Мандельштама с тревожной нотой.

Он чувствовал хрупкость, непрочность этого эллинско-италийского наследства на северных равнинах Евразии. «Аврора в шубке меховой» – это «золотой покров», «покров, накинутый над бездной», говоря словами любимого Мандельштамом Тютчева. Думается, что с мыслями такого свойства связан устойчивый мотив кремлевских стихов Мандельштама, как тень появляющийся и следующий за первым («соборы – амфоры священного вина»), – мотив смуты, разбоя, разбойной власти и мятежа. «О, этот воздух, смутой пьяный…» – в первой же строке выше приведенного стихотворения звучит эта нота; Иван Великий вызывает устойчивое сравнение с разбойником.

И еще один подход к теме в варианте этого же стихотворения:

О государстве слишком раннем
Еще печалится земля…

Государство «слишком раннее», непрочное, бунтовщики-смутьяны «качают шаткий мир» («мир» здесь в значении «община», «общество» – «мiр»).

Всем знакома великолепная панорама Кремля. Она растиражирована во множестве картин, гравюр, рекламных и прочих фотографий; по этой причине вид Кремля покрыт в нашем

восприятии неким открыточным глянцем. Приехавший из Петербурга Мандельштам увидел в этих стройных островерхих башнях, в прямом и безыскусном, при всей его архитектурной значимости, Иване Великом ту средневековую крутую нравом и грозную Москву, которая, «слезам не веря», тяжкой десницей усмиряла княжества и племена, собирая их под власть самодержавного государя («царя» – наследника, как мыслилось, римских цезарей, монарха Третьего Рима). Суровая, часто неправедная власть и, как ее дополнение, смута…

Очевидно, этот мотив кремлевских стихов Мандельштама связан с темами пушкинского «Бориса Годунова». Слово «смута» на это указывает прямо. Вероятно, основа для восприятия Кремля была заложена у Мандельштама отроческим чтением «Бориса Годунова», и на эту основу уже позднее накладывались и знакомство с реальным Кремлем, и отношения с Цветаевой (по схеме «Марина – Димитрий»). Еще в 1906 году ученик Тенишевского училища в Петербурге Осип Мандельштам писал в сочинении «Преступление и наказание в “Борисе Годунове”»: «Крик отвратительной, слепой ненависти, который вырывается у мужика на амвоне: “вязать Борисова щенка!” – заставляет нас окончательно разувериться в какой бы то ни было нравственной миссии народа» [34] .

Позднее Мандельштам перефразирует этот крик из пушкинской пьесы, который стал для него символом слепой народной ярости, в стихотворении ноября 1917 года, посвященном Керенскому:

Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
Вязать его, щенка Петрова!

«Когда октябрьский нам готовил временщик…»

Вполне понятно, почему встреча с реальным Кремлем вызвала у Мандельштама именно «годуновские» ассоциации. Могло ли этого не быть? Представим себе: Мандельштам и Цветаева входят в Кремль. Надо всем в Кремле вознесена глава Ивана Великого с трехъярусной надписью под куполом, сообщающей о том, что верхняя часть колокольни возведена по повелению царя Бориса Годунова и его сына Федора Борисовича. Имена царя-душегуба, царя-убийцы (по версии пушкинского «Бориса Годунова») и убиенного царевича Федора (еще одного царевича-жертвы) парят над Кремлем. Надпись на Иване Великом напоминает о разбойной власти и разбойном народе, и это объясняет настойчивое отождествление колокольни в мандельштамовских стихах с разбойником.

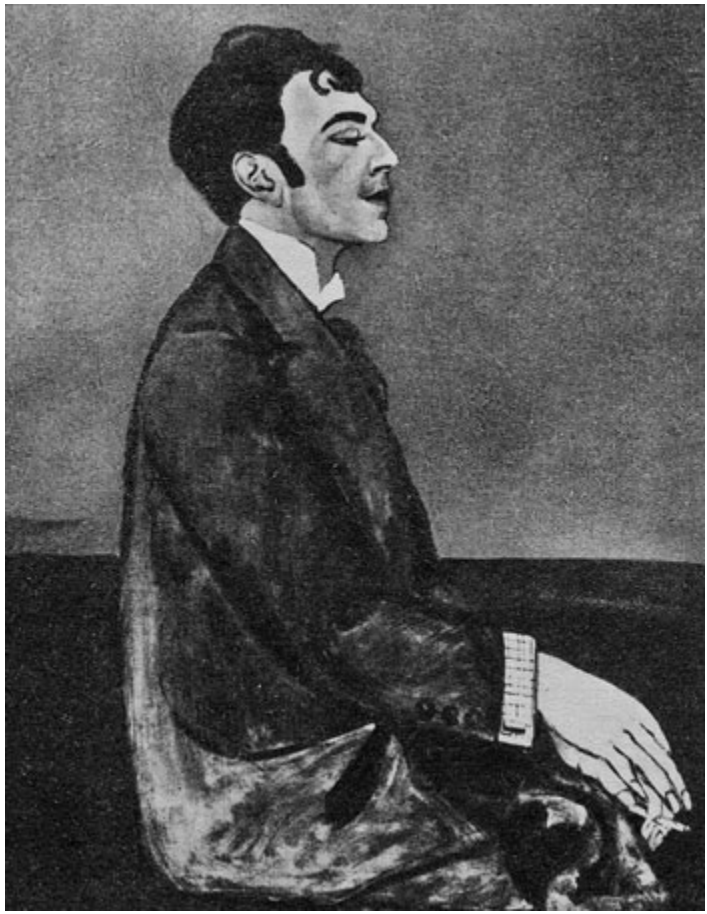
Весенняя Москва сыграла важнейшую роль во взаимоотношениях Цветаевой и Мандельштама – она «соучаствовала» в их любви. Позднее Цветаева писала А. Бахраху: «Для любви я стара, это детское дело. Стара не из-за своих 30 лет – мне было 20, я то же говорила Вашему любимому поэту Мандельштаму: “Что Марина – когда Москва?! Марина – когда Весна?! – О, Вы меня действительно не любите!”» [35] . А у Мандельштама в черновом варианте стихотворения «О, этот воздух, смутой пьяный…» сказано: «Люблю Москву, и воздух свеж».

Мандельштам подумывал тогда о переходе в православие. Отголоском романа с Цветаевой является запись в дневнике С.П. Каблукова:

«Понедельник, 2 января 1917 года. Новый год встретил у себя за беседой с Мандельштамом, обедавшим у меня 31-го. <…> Темой беседы были его последние стихи, явно эротические, отражающие его переживания последних месяцев.

Какая-то женщина явно вошла в его жизнь. Религия и эротика сочетаются в его душе какою-то связью, мне представляющейся кощунственной. Эту связь признал и он сам, говорил, что пол особенно опасен ему, как ушедшему из еврейства, что он сам знает, что находится на опасном пути, что положение его ужасно, но сил сойти с этого пути не имеет и даже не может заставить себя перестать сочинять стихи во время этого эротического безумия и не видит выхода из этого положения, кроме скорейшего перехода в православие» [36] .

«Пол», сила эротического связывается Мандельштамом с «еврейством» – это, видимо, отражение мыслей В. Розанова о важности половой сферы в иудаизме.



А. Зельманова. Портрет Осипа Мандельштама. 1913(?)

М.И. Цветаева

Среди «эротических» стихов Мандельштама упомянуто Каблуковым в дневнике и стихотворение «Не веря воскресенья чуду…», адресованное Цветаевой.

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
– Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы
……
……
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной

Остаться – значит, быть беде.
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой,
Я знаю: он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.
1916

В стихотворении нашел отражение финал романа – встреча в Александрове (Владимирской губернии); там Мандельштам гостил у Цветаевой в конце мая – начале июня. Цветаева только что побывала в Коктебеле; Мандельштам отправился туда после встречи с ней (он приехал в Коктебель 7 июня 1916 года). Стихотворение написано уже в Коктебеле. Две не вошедшие в стихи строки, пятая и шестая, – возможно, сочиненные по просьбе Мандельштама кем-то другим, может быть, М. Лозинским: «Я через овиди степные / Тянулся в каменистый Крым». «Овидь», согласно словарю Даля, – горизонт, кругозор. «Не отрываясь целовала» – как пояснила Цветаева, речь идет о распятии [37] . «Нам остается только имя…» Остались не только имена, в одном из которых слышится море и цветение, а в другом – странник Иосиф с миндальным посохом; остались не засыпанные песком времени стихи.

В православие Мандельштам не перешел. Но его поэтический горизонт расширился. И хотя позднее он резко припечатал «богородичное рукоделие Марины Цветаевой» (статья «Литературная Москва», 1922), а она не менее резко отозвалась о нем самом и его прозе («Мой ответ Осипу Мандельштаму», горячий спор с мандельштамовской прозой «Шум времени» и «Феодосия») – это было позднее. В 1916 году цветаевские дары – ее любовь и ее город – действительно стали для Мандельштама «нечаянной радостью» (ведь позволено употребить это выражение не только в религиозном значении). В мандельштамовской поэзии появилась Москва; укрепилось чувство причастности российской

судьбе.

В 1916 году Мандельштам, кроме Цветаевой, у которой он, очевидно, бывал в Борисоглебском переулке, посещает дважды Вячеслава Иванова – Иванову он писал письма и посылал свои стихи еще в 1909–1911 годах. Иванов отозвался о новом сборнике «Камень» положительно. Мандельштам бывал также у М.Р. Сегаловой, которая пыталась найти ему работу в банке в Москве или Петербурге. М. Сегалова писала С.П. Каблукову 18 апреля 1916 года о приездах и отъездах Мандельштама: «Что до Мандельштама, то он был у меня несколько раз. <…> Так как О. Эм. хотел бы остаться в Москве, то я обещала ему узнать о месте для него в Московском банке. <…> Если он так часто ездит из Москвы в Петербург и обратно, то не возьмет ли он место и там и здесь? Или он уже служит на Николаевской железной дороге? Не человек, а самолет» [38] . Речь шла о месте для человека со знанием иностранных языков, специальных банковских знаний не требовалось. В один из первых своих московских дней Мандельштам побывал в гостях у матери Максимилиана Волошина: «26 января (8 февраля), вт. <…> ЕО [39] в Москве описывает вчерашний прием у себя: были Оболенская, Нахман, М. Цветаева с мужем, О. Мандельштам, Е. и М. Фельдштейны» [40] . В альбоме А.И. Ходасевич, жены поэта В.Ф. Ходасевича, появляется запись стихотворения Мандельштама «Императорский виссон…» (под заголовком «Зимний дворец») с возможной датой записи: «Москва, 30 января 1916 года». В воспоминаниях поэта Тихона Чурилина Мандельштам упомянут в кругу московских литераторов: «Еще встретились мы в 1916 году, когда уже год как вышла моя “Весна”… [41] Был апрель, весна, около меня была тогда разномастная поэтическая компания: Шманкевичи 1-ый и 2-ой, Глоба, Цветаева, Парнок, Мандельштам, Ландау, Куфтин… <…> Следующие встречи с Велемиром бывали у меня в кафе “Сиу” на Кузнецком мосту, где тогда бывали поэты: Цветаева, Парнок, Мандельштам… <…> Последняя встреча моя с Велемиром была в том же 1916 году в марте месяце [42] . У писателя Горбова, бывшего тогда еще студентом и писавшего стишки, собралось слушать мою пьесу “Последний визит”… большое литературное общество. Тут были: С. Парнок, М. Цветаева, О. Мандельштам, Ландау, Б. Зайцев, Б. Грифцов, критик П. Ярцев…» [43] . В марте – апреле 1916 года мог Мандельштам побывать и на выставке художников-футуристов «Магазин», одним из участников которой был его питерский знакомый Лев Бруни (выставка проходила в магазине на Петровке, в доме 17, – отсюда и ее название).

Борисоглебский переулок. Дом, где жила М. Цветаева

Где останавливался, приезжая в Москву в 1916 году, Осип Мандельштам, остается неизвестным – может быть, в гостинице «Селект» на Большой Лубянке. Так предполагал булгаковед Б.С. Мягков, однако подтверждений этому не обнаружено. (Подробнее об этих и других упоминаемых адресах – в прилагаемом «Списке адресов и других памятных мест мандельштамовской Москвы».) В 1918 году поэт вновь оказывается в Москве – об этом времени его жизни речь пойдет в основном ниже. Здесь же нельзя не сказать о стихотворении, которое возникло под впечатлением от новой встречи с Москвой и Кремлем – «Все чуждо нам в столице непотребной…».

Все чуждо нам в столице непотребной —
Ее сухая черствая земля,
И буйный торг на Сухаревке хлебной,
И страшный вид разбойного Кремля.
Она, дремучая, всем миром правит.
Мильонами скрипучих арб она
Качнулась в путь – и полвселенной давит
Ее базаров бабья ширина.
Ее церквей благоуханных соты —
Как дикий мед, заброшенный в леса,
И птичьих стай густые перелеты
Угрюмые волнуют небеса.
Она в торговле хитрая лисица,
А перед князем – жалкая раба.
Удельной речки мутная водица
Течет, как встарь, в сухие желоба.

1918 [44]

Мы узнаем здесь устойчивые детали, восходящие к стихам 1916 года, включая зловеще парящих в небе бесчисленных птиц, – сравним со стихотворением «На розвальнях, уложенных соломой…»: «Сырая даль от птичьих стай чернела…». Образы стихов 1916 года сплавляются воедино в лаконичном стихе:

И страшный вид разбойного Кремля.

Очарование, которым в 1916 году наделила Москву любимая женщина, в 1918-м отсутствовало, а новая жесткая власть заставила вспомнить о средневековых самодержцах.

Определяющие черты городского образа в стихах 1918 года – «сухость» и «дикость»; последняя проявляется, в частности, как буйство. Заявление о сухости делается в очень значимых местах стихотворения – в начале и конце его (парадоксальным образом «желоба», в которые течет вода Москвы-реки, характеризуются как «сухие» – жизненной основой для данного образа послужила, видимо, Бабьегородская плотина). «Сухость» у Мандельштама нередко сопровождается представлением о бесплодии и смерти (об этом писала еще Л.Я. Гинзбург [45]). Так, в московском стихотворении 1916 года «На розвальнях, уложенных соломой…», в котором доминирует чувство неизбежной близящейся смерти (суда и казни), в первом и последнем стихах упомянута солома; в одном из вариантов стихотворения 1920 года, сочетающего тему потери возлюбленной и мотивы Троянской войны (произведение открывается ярко окрашенным стихом «Когда ты уходишь и тело лишится души…»; курсив мой. – Л.В.), – встречаем: «И мрак раздвигаю губами сухой и дремучий…» (здесь «сухость» и «дремучесть» – дикость, враждебность, угрожающая опасностью иррациональность – соседствуют, как в анализируемых стихах о Москве 1918 года); в другой версии на эту тему – «За то, что я руки твои не сумел удержать…» – несущие смерть стрелы «падают» «сухим деревянным дождем» (в этом же стихотворении находим не только парадоксальное «крови сухая возня» – речь идет о войне и смерти, и это «притягивает» связанную у Мандельштама со смертью сухость, – но и неизменную солому); сухие «от ревности» губы упомянуты в стихах, говорящих в той же мере о неспособности выразить свои чувства в слове (т. е. творческом бессилии), в какой они говорят о любви: «Не утоляет слово / Мне пересохших уст, / И без тебя мне снова / Дремучий воздух пуст» («Я наравне с другими…», 1920); в стихотворении, где поэт говорит о мучительном чувстве потери искомого слова («но я забыл, что я хочу сказать»), состояние утраты выражено, в частности, так: «В сухой реке пустой челнок плывет» («Я слово позабыл, что я хотел сказать…», 1920); в стихах

1916 года, обращенных к Саломее Андрониковой: «Соломка звонкая, соломинка сухая, / Всю смерть ты выпила и сделалась нежней…» («Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне…»); в стихотворении 1922 года «Как растет хлебов опара…», повествующем о некоем исторически-культурном оскудении, читаем: «И свое находит место / Черствый пасынок веков – / Усыхающий довесок / Прежде вынутых хлебов».

Вышеприведенных примеров вполне достаточно, чтобы признать сочетание «сухости», бесплодия в разных его проявлениях и смерти устойчивым элементом творческого мышления Мандельштама.

Вторая доминантная черта образа Москвы в стихах о «столице непотребной» 1918 года – «дикость», «буйство», некое «варварство», причем с восточным оттенком; отсюда упоминание «арб» вместо телег, да и «базаров» (в реальности ведь существовали Сухаревский и Смоленский рынки, а не базары). В стихотворении названы прямо только два места в городе – Кремль, олицетворяющий разрушительное насилие («страшный вид разбойного Кремля»), и Сухаревка, воплощающая московскую торговую хитрость, – и в последнем случае городское название приобретает символический смысл, обозначает одну из важнейших черт духовного облика города: московская земля – «сухая», «черствая», бесплодная. В стихе «И буйный торг на Сухаревке хлебной…» дикость (буйство) и бесплодие сведены воедино.

Поэт говорит не только от своего лица, он выражает мнение некой общности, к которой принадлежит: «Все чуждо нам в столице непотребной…» (курсив мой. – Л.В.) Позднее, в знаменитых антисталинских стихах 1933 года, он фактически повторит этот зачин: «Мы живем, под собою не чуя страны…», причем на противоположном полюсе в этом противостоянии находится, как и в 1918 году, Кремль – «кремлевский горец», разбойник («Там припомнят кремлевского горца, / Душегубца и мужикоборца…» – в одном из вариантов; курсив мой. – Л.В.).
Представление о базарах, торговле – с одной стороны, и буйстве и разбое – с другой не может не сопровождаться мыслью о людской разноголосой толпе. Важную роль в звуковом выражении этого образа играют в мандельштамовских стихах звуки «у» и «а». Приведем текст московского стихотворения 1918 года, выделив на этот раз определенные звуковые точки в его фонетической ткани.

Все чУждо [46] нАм в столице непотребной:
Ее сУхАя черствая землЯ,
И бУйный торг на СУхаревке хлебной,

И стрАшный вид разбойного КремлЯ.
ОнА, дремУчая, всем миром прАвит.
Мильонами скрипУчих Арб онА
КачнУлась в пУть – и полвселенной дАвит
Ее базАров бАбья ширинА.
Ее церквей благоУхАнных соты —
КАк дикий мед, заброшенный в лесА,
И птичьих стАй гУстые перелеты
УгрЮмые волнУЮт небесА.
ОнА в торговле – хитрая лисица,
А перед кнЯзем – жАлкая рабА.
Удельной речки мУтная водица
Течет, как встАрь, в сУхие желобА [47] .

(Схожую роль звук «у» исполняет в первом четверостишии пушкинского стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»: «Брожу ли я вдоль улиц шумных, / Вхожу ль во многолюдный храм, / Сижу ль меж юношей безумных, / Я предаюсь моим мечтам…». «Гудение» людского говора сходит на нет, когда Пушкин переходит от характеристики окружения к душевному состоянию лирического героя.)

Надо также отметить, что в мандельштамовских стихах о Москве 1918 года «у» нередко содержится именно в словах, выражающих определенную «дикость», «отсталость», «нецивилизованность»: «буйный», «дремучая», «скрипучих», «угрюмые»; сюда же, пожалуй, можно в данном случае отнести «удельной» и «мутная» – все это, как прямо сказано, автору «чуждо».

Относительно значения звука «а» в этих мандельштамовских стихах достаточно будет обратить внимание хотя бы на то, что на этот звук приходится последнее ударение в произведении, что «а» очевидно господствует в рифмовке (в каждом четверостишии одну из двух рифмующихся пар представляют слова с ударением на «а» – за исключением второго катрена, где во всех рифмующихся словах ударение падает на «а») и что серединная строка (восьмая из шестнадцати) представляет собой, в сущности, раскатившийся по обширному пространству непрерывный возглас – «Базаров бабья ширина…»: редуцированный звук – А ударное – редуцированный звук – А ударное – редуцированный звук – Ы – редуцированный звук – А ударное.

Только церкви не получают отрицательной характеристики в этой сплошь негативной картине, напротив, о них сказано с определенной теплотой, их мед – «дикий мед, заброшенный в леса». «Дикий мед» – образ неоднозначный: это мед «подлинный», в нем есть изначальная, природная свежесть.

Отношение Мандельштама к Октябрьской революции было двойственным. Первоначальная его реакция на большевистский переворот была резко отрицательной. К середине 1918 года он скорее (со всеми оговорками) принимал, чем отвергал Октябрь. Но стихотворение «Все чуждо нам в столице непотребной…» говорит о парадоксальном возврате допетровского средневековья, и эту особенность новой России Мандельштам почувствовал очень остро.

Кремлевская власть наводит страх на страну, но и ее действия, в свою очередь, определяются страхом, подобно тому как страхом порожден террор Бориса Годунова в пушкинской трагедии. «Все чуждо нам в столице непотребной…» написано, видимо, в мае – июне 1918 года, а в ночь на 17 июля этого года была уничтожена царская семья, в том числе и царевич Алексей, еще один царевич-жертва в русской истории. Все повторилось.

Отметив бесспорную связь московских стихов Мандельштама 1916–1918 годов с «Борисом Годуновым», рискнем высказать еще одно предположение: не исключено, что стихи этого времени соотносятся и с образом Кремля из книги А. де Кюстина «Россия в 1839 году». Как известно, книга маркиза де Кюстина, побывавшего в России в период правления Николая I, вызвала в свое время горячие споры, произвела эффект разорвавшейся бомбы – о ней писали Герцен и Хомяков, Тютчев и Чаадаев (все упомянутые были очень значимы для Мандельштама; под влиянием их сочинений формировались его представления о России). В 1910 году был издан русский перевод запретного в течение долгого времени сочинения. Очевидно, внимание Мандельштама могла привлечь эта книга (это, конечно, не значит, что Мандельштам не мог обратиться когда-либо и к французскому оригиналу). Заметим, что де Кюстин был убежденным католиком, сторонником независимой от светской власти сильной церкви – а Мандельштам испытал в недавнем прошлом достаточно сильное увлечение католичеством.

Так или иначе, совпадения могут быть отмечены. Памятники Кремля, пишет Кюстин, выражают «одну мысль, всюду господствующую здесь: война, поддерживаемая страхом»; «слава в рабстве – вот аллегория, изображаемая этим сатанинским монументом»; «жизнь в Кремле – не жизнь, а оборона; гнет создает возмущение, возмущение вызывает меры предосторожности, меры предосторожности усиливают опасность… и из этого рождается чудовище, абсолютизм, построивший себе в Москве дом – Кремль; вот и все» [48] . Конечно, многословная поверхностность де Кюстина несравнима с лаконизмом и емкостью Мандельштама, и все же сходство с

настойчиво звучащим в мандельштамовских стихах мотивом «разбойного Кремля» может быть, думается, отмечено.

В революционную эпоху все менялось с неслыханной быстротой. С 1922 года Мандельштам снова живет в Москве (о московской жизни начала 1920-х – в соответствующей главе). Гражданская война закончилась. Слово «Кремль» уже привычно воспринималось как обозначение власти победивших в России революционеров и символ мировой революции.

Отношение поэта к революции не было, как сказано выше, однозначным. Отвращение к крови, ненависть к насилию сочетались у него с пониманием, что социальный взрыв 1917 года никак не был случайностью, что старый мир рухнул потому, что он готов был рухнуть, что Ленин пришел, по великолепному определению из позднего стихотворения («Если б меня наши враги взяли…», 1937), «спелой грозой». Гроза созрела и разразилась. Ему ли, увлеченному с юности эсеровскими идеями и читавшему марксистов, было не понимать этого? Против идеи социализма как таковой у него не было возражений. «Ничего, ничего я там не оставил», – сказал однажды Мандельштам о мире, навсегда ушедшем в 1917-м (Эмме Герштейн).

Подобно Есенину, Клюеву, Блоку, Маяковскому, Хлебникову, Мандельштам почувствовал в революции волю народа, захотевшего изменить опостылевшую жизнь. Были не только кровь и грязь, но и «величавая явь Революции» («Холодное лето»), и стремление к всемирному братству. Мандельштам видел и чувствовал это. О том свидетельствует его отношение к крестьянской конференции, описание которой он оставил.

Шагнем на несколько лет вперед. Первая Международная крестьянская конференция проходила в Москве с 10 по 15 октября 1923 года. Местом работы конференции был Андреевский зал Большого Кремлевского дворца; 15 октября состоялось завершающее заседание конференции в Большом театре.

Попробуем, основываясь на двух вариантах мандельштамовского очерка о крестьянской конференции («Первая Международная крестьянская конференция. Набросок» и «Международная крестьянская конференция», оба – 1923), проследить путь поэта к Большому Кремлевскому дворцу, войти в Кремль, подняться в Андреевский зал и увидеть делегатов.

В «Международной крестьянской конференции» Мандельштам начинает рассказ со слов «Здание Коминтерна на Воздвиженке…». Адрес бывшего здания Коминтерна – улица Воздвиженка, д. 1; дом находится в непосредственной близости от Кутафьей башни и Троицких ворот в Кремль. Здесь жили участники крестьянского съезда, и здесь, вероятно, Мандельштам

мог взять интервью у вьетнамского делегата, позднее ставшего известным всему миру под революционным псевдонимом Хо Ши Мин – «просветитель» («Нюэн Ай-Как. В гостях у коминтернщика», 1923). Современная принятая русская транскрипция вьетнамского имени, которым озаглавлен очерк Мандельштама, – Нгуен Ай Куок. Это также один из псевдонимов, Нгуен-патриот. Настоящие имена революционера – Нгуен Синь Кунг и Нгуен Тать Тхань.

Затем – вход в Кремль и проход по Кремлю.

«Огибаем кавалерский корпус…» («Международная крестьянская конференция»). Кавалерские корпуса были выстроены в Кремле архитектором В.П. Стасовым в 1817 году. Располагались направо от Троицких ворот и вместе с Потешным дворцом образовывали Дворцовую улицу. Сохранились лишь частично: при строительстве хрущевского Дворца съездов были снесены Офицерский, Гренадерский и Кухонный корпуса, старое здание Оружейной палаты, здание Синодального управления и один из Кавалерских корпусов.

Таким образом, автор очерка идет от здания Коминтерна к ближайшему входу в Кремль – Троицким воротам, а затем по Дворцовой улице направляется к Большому Кремлевскому дворцу.

«Горой пухнет лестница, ведущая в Андреевский зал, и упирается в лубочную живопись: Александр III принимает волостных старшин. Огромное полотно, царь, похожий на лихача, окруженный старшими дворниками в поддевках и коронационными бурятами.

Мимо этого музейного сокровища, туда, где непомерно высокий зал с бальным светом приютил отважных разноязычных друзей, собравшихся к нам в гости для крепкой беседы» («Первая Международная крестьянская конференция. Набросок»).

Парадная лестница Большого Кремлевского дворца вела в аванзалу, где входящих встречала картина И.Е. Репина (в настоящее время в Третьяковской галерее). Картина изображает прием Александром III волостных старшин во внутреннем дворе московского Петровского дворца в 1883 году. Мандельштамовское восприятие эпохи Александра III как политически застойной и культурно затхлой отразилось в ироническом описании репинского полотна. Андреевский зал «с бальным светом» был двусветный, имел два ряда окон. В 1933–1934 годах Александровский и Андреевский залы Большого Кремлевского дворца были объединены и, после переоформления, стали Залом заседаний Верховного Совета СССР. Во второй половине 1990-х Андреевский и Александровский залы были восстановлены.

«…Гляжу на китайских делегатов. Ясно мне представляется огромный жизненный путь этих маленьких людей со спичечным худым телом и матовыми бледными лицами изможденных студентов» («Первая Международная крестьянская конференция. Набросок»). Одним из делегатов, представлявших на конференции народы Восточной и Юго-Восточной Азии, был, как сказано выше, вьетнамец Нгуен Ай Куок. Он был из числа упомянутых «студентов», учился в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока и принимал активное участие в работе конференции. «Правда» от 12 октября 1923 года (№ 231, с. 3) сообщала (речь идет о работе конференции 11 октября, имя вьетнамского представителя курьезным образом несколько испанизировано): от «крестьян колоний» выступил «Мигуэль-Аи-Квак». «Известия», № 233 (1970) от 12 октября 1923 года (с. 3), об этом же выступлении: «Представитель индо-китайского крестьянства Нэгуен-Аи-Квак говорит о тяжелом положении индо-китайского крестьянства, находящегося под игом французского капитала».

«Этим людям есть что друг другу сказать, – заключает Мандельштам. – Вот китаец положил руку на плечо молодого мексиканца. Оба удивленные и обрадованные» («Первая Международная крестьянская конференция. Набросок»).

«На трибуне я заметил голову, которая показалась мне центральной по крупной выразительности и значительности своей. То был председатель Вуазей, из французской делегации… Настоящий “большеголовый”, широкое лицо с лопатой бороды – словно с галереи Парижской коммуны сошел этот философ действия, серьезный и спокойный» («Международная крестьянская конференция»).

Видимо, имеется в виду один из ведущих деятелей крестьянского форума, которого в газетах, освещавших работу конференции, именовали также «Вуазье» и «Вазей». В день открытия конференции, 10 октября, «Правда» опубликовала статью Мариуса Вуазье «Крестьяне организуются» (№ 229, с. 1); 11 октября «Известия», № 232 (1969), помещают на первой странице рисунок, где изображены «тов. Вуазье – представитель Франции, тов. Домбаль – представитель Польши и тов. Гальван – президент штата Веракруз и президент лиги крестьян Мексики». 11 октября «т. Вазей» выступил на конференции с докладом «Обеспечение мира и борьба против войны».

Имя упомянутого в «Известиях» наряду с «тов. Вуазье» польского делегата Домбаля встречается в прозе Мандельштама, в очерке «Генеральская» (1923): в кинотеатре показывают польские достопримечательности – костел и «любимые местечки

какого-то польского короля»; кто-то из зрителей, не выдержав, кричит: «Даешь Домбаля!». Томаш Домбаль – деятель польского крестьянского движения, революционер, эмигрант. Работал в Белоруссии и Москве. Расстрелян в 1937 году.

Что значит эта характеристика Мандельштама, которую он дает «Вуазею»: «настоящий “большеголовый”»?

Это прежде всего автоцитирование. Несомненна связь очерка о крестьянской конференции со стихотворением о Париже «Язык булыжника мне голубя понятней…» (опубликовано в журнале «Огонек» в апреле того же, 1923 года):

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни – голуби, дома – как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские – событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки —
Клевали наскоро крупу свинцовых крох,
Фригийской бабушкой рассыпанный горох…
И в воздухе плывет забытая коринка,
И в памяти живет плетеная корзинка,
И тесные дома – зубов молочных ряд
На деснах старческих – как близнецы стоят.
Здесь клички месяцам давали, как котятам,
А молоко и кровь давали нежным львятам,
А подрастут они – то разве года два
Держалась на плечах большая голова!
Большеголовые – там руки поднимали
И клятвой на песке как яблоком играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу: я помню одного;
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И как ребенок, всем показывал занозу.
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора,
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой!

Париж, веселый, легкомысленный, загорающийся от газетных строк (клюющий «крупу свинцовых крох»), эгоистичный, обаятельный, прекрасный…

В стихотворении, в свою очередь, откликнулась работа Мандельштама над переводами из Огюста Барбье. «Льва» мы встречаем в строке из перевода стихотворения Барбье «Лев»: «Три

дня метался лев народного терпенья…» В другом переводе, «Это зыбь», волнение на море описывается так – с применением эпитета «большеголовый»: «Раздутым теменем большеголовой качки / Колотит крышу низких туч». В стихотворении «Язык булыжника мне голубя понятней…» речь идет, однако, не о деятелях Парижской коммуны (помянутых в очерке о крестьянской конференции) или Июльской революции 1830 года, поэтом которой был Барбье, а о неистовых трибунах Великой Французской революции. Их «большеголовость» выступает как одно из проявлений их «львиной» природы. Из комментария М.Л. Гаспарова к процитированному стихотворению: «Клички месяцам – революционный календарь 1793 года, клятва как яблоко (руки поднимали) – клятва верности общему делу “в зале для игры в мяч” в 1789 году (Jeu de paume созвучно со словом pomme, “яблоко”); львиная голова – обычно говорилось про внешность Мирабо и Дантона…» [49]

Крупные черты лица Мирабо и Дантона многократно упоминаются мемуаристами и воспроизведены портретистами. Мирабо сам называл свою голову «кабаньей». Известны и слова Дантона, сказанные, по преданию, палачу перед казнью: «Не забудь показать мою голову народу; такие головы не каждый день удается видеть».

«Председатель Вуазей», который «словно с галереи Парижской коммуны сошел», напоминает автору очерка, таким образом, не только деятелей Коммуны, но видится в перспективе всей богатой революционной традиции Франции.

Продолжим наше знакомство с работой крестьянского съезда. «На трибуне Наркомзем Теодорович. Он говорит с жаром молодого ученого перед мировым университетом. Чудесная, ясная лекция по крестьянскому вопросу в России, от Болотникова и Пугачева до наших дней, выпуклая, насыщенная исторической правдой» («Международная крестьянская конференция»). Теодорович И.А. (1875–1937) – большевик, партийный деятель. В октябре 1917 года – нарком по делам продовольствия. В 1920–1928 годах – член коллегии Наркомзема, заместитель наркома земледелия (наркомом земледелия был в период проведения крестьянской конференции А.П. Смирнов). В 1928–1930 годах И. Теодорович – генеральный секретарь Международного крестьянского совета (Крестинтерн). В 1930-е годы – редактор журнала «Каторга и ссылка». В 1937-м репрессирован и расстрелян.

На крестьянской конференции Теодорович выступил 12 октября с докладом «Результаты аграрной революции в России». Сравним впечатление Мандельштама от речи Теодоровича с

отчетом в «Правде» (№ 232 от 13 октября 1923 года, с. 3): «В обстоятельном красочном докладе оратор развертывает картину крестьянских движений в России, начиная с пугачевского, и иллюстрируя свои положения целым рядом данных, разъясняет механизм эксплоатации крестьянства самодержавием» [50] .

«Известия», № 234 (1971) от 13 октября 1923 года, с. 3, о докладе Теодоровича: «Оратор дает крайне содержательный исторический очерк положения русского крестьянства».

Есть все основания полагать, что Мандельштам был на заседании Международной крестьянской конференции 12 октября 1923 года: именно в этот день выступил со своей речью И.А. Теодорович и проходили также упоминаемые Мандельштамом прения по сделанному накануне докладу Е. Варги.

Сделаем еще один скачок во времени. С конца 1928 года Мандельштам живет по большей части в Москве. Город, в который его герой-царевич некогда въезжал со страхом и тоской, не перестал пугать и грозить, но все же стал ближе и яснее. Поэт «притерпелся» к Москве, она уже была ему привычна. И появляются стихи, в которых Москва предстает не экзотическим для петербуржца древним церковным градом и не чуждой «столицей непотребной», а как город, свой для поэта и ему знакомый, город, о котором он, глядя на Кремль из-за Москвы-реки, и говорит «по-свойски». Мандельштам не отказывается от образов ранних стихов, но звучит в его голосе и несомненная теплота:

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника-Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса…
А в недорослях кто? Иван Великий —
Великовозрастная колокольня.
Стоит себе еще болван болваном
Который век. Его бы за границу,
Чтоб доучился. Да куда там! стыдно!
Река Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый

город —

Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!..

Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно! Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу,
И, кажется, его я не увижу…

Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскочу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду…

Мне с каждым днем дышать все тяжелее,
А между тем нельзя повременить…
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня.

И Фауста бес, сухой и моложавый,
Вновь старику кидается в ребро
И подбивает взять почасно ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.

Ей некогда – она сегодня в няньках,
Все мечется – на сорок тысяч люлек

Она одна – и пряжа на руках…
Какое лето! Молодых рабочих
Татарские сверкающие спины
С девической полоской на хребтах,
Таинственные узкие лопатки
И детские ключицы…
Здравствуй, здравствуй,
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым поживем не век, не два!..

25 июня 1931

Соборы-«голубятни» вызывают восхищенное восклицание; «недоросль» Иван Великий, простоватый в сравнении с готикой, и «татарские» спины «молодых рабочих» свидетельствуют о молодости страны, ее потенциале, о «языческой» наивности и силе, о возможностях развития. Антибелогвардейский выпад сочетается при этом с иронией по отношению к «хрустальным дворцам» будущего. «Дворцы» отсылают, несомненно, к снам Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?», но также указывают на возводившийся на Мясницкой дом Ле Корбюзье (дом Центросоюза строился в 1929–1936 годах, первоначально его опоры были открытыми, дом стоял на сваях, «на курьих ножках»). Не случайно в этих стихах появляется вид на Кремль из Замоскворечья: Мандельштамы недолгое время жили в период «созревания» стихотворения за Москвой-рекой, в квартире юриста Цезаря Рысса (см. «Список адресов…»), в двух шагах от Водоотводного канала и неподалеку от дома, где проживал друг поэта Борис Кузин – о нем будет сказано ниже.

«Декалькомани» – вышедшее из употребления слово; так называли переводную картинку. В 1920-х годах в одном из переулков Зарядья (в Максимовском) работала производственная артель «Декалькомания». В Зарядье Мандельштам бывал – хотя бы потому, что там, во Псковском переулке, находилось некоторое время в те же 1920-е издательство «Земля и фабрика» (ЗИФ), с которым он сотрудничал в качестве переводчика. О Воробьевых горах, с которых в стихотворении 1916 года начинается роковой спуск пленного царевича в поглощающую низину Москвы, говорится теперь с разговорной, беззаботной (конечно, нарочито-беззаботной) интонацией, которая контрастирует со сделанным как бы вскользь, но звучащим весомо замечанием, что дышать становится с каждым днем «все тяжелее». И в этом стихотворении

просвечивает «годуновский» подтекст. Термин «недоросль» применительно к Ивану Великому (с его, напомним, годуновской надписью под куполом) указывает не столько на век XVIII, сколько на рубеж XVI–XVII веков – ведь именно царь Борис Федорович первым стал посылать юношей учиться на Запад, о чем Мандельштам писал в уже цитировавшейся статье «Петр Чаадаев»: «Когда Борис Годунов, предвосхищая мысль Петра, отправил за границу русских молодых людей, ни один из них не вернулся. Они не вернулись по той простой причине, что нет пути обратно от бытия к небытию, что в душной Москве задохнулись бы вкусившие бессмертной весны неумирающего Рима». (Один из восемнадцати посланных, согласно преданию, все же возвратился.) Как видится, «недоросль» Иван Великий находится в едином смысловом узле с кремлевскими образами 1916–1918 годов.

Дышалось все тяжелее, сгущалась ночь 1930-х годов. Уже в конце 1920-х Мандельштаму померещился Вий у стен Кремля: «Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека…» («Четвертая проза»). Разбойничья власть не ушла из Кремля, она сидела там, как встарь. По свидетельству Надежды Мандельштам, в раннем варианте знаменитого стихотворения о Сталине это было прямо заявлено:

Только слышно кремлевского горца —
Душегубца и мужикоборца [51] .

Душегубец – так и называют разбойников, бандитов. И если потом были минуты слабости, сомнения, отчаяния, если потом делались попытки заставить себя поверить в правду неправды и оправдать то, что невозможно оправдать, это ничего не меняет: дело было сделано – слово сказано. И в Воронеже, в ссылке, Мандельштам заявлял о своей неотъемлемой свободе – и эти слова нацелены на Москву:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета —
Губ шевелящихся отнять вы не могли.
1935

Обращаясь в стихах 1931 года к русскому языку, а следовательно, и к стране, Мандельштам написал:

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда…

Действительно, его речь стала неотъемлемой и драгоценной частью российской словесности. Навсегда останется в русской поэзии и мандельштамовский Кремль. Исторический и городской фон 1917 год

27 декабря . В Новочеркасске объявлено о создании Добровольческой армии для борьбы с большевиками.

1918 год

В ночь с 6 на 7 января ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет, избирался Всероссийским съездом Советов) постановил распустить Учредительное собрание.

Середина января . В Москве отмечено падение цен на различные товары. Причина – в очень низкой платежеспособности населения.

24 января . В России вводится западноевропейский календарь. Следующий после 31 января день объявлен 14-м февраля.

Последующие даты – по новому стилю.

25 февраля . Германские войска взяли Псков.

25 февраля . Добровольческая армия начала наступление на Кубань.

3 марта . Подписан Брестский мир. Территориальные потери России составили около миллиона кв. км.

4 марта . Вход в Кремль и выход из него возможен только при наличии пропуска.

12 марта . Москва провозглашена столицей Советской России.

14 марта . Анархисты в принудительном порядке заняли часть дома 10 на углу Малой Дмитровки и Настасьинского переулка. «Черная гвардия» разместилась на четвертом и пятом этажах. Жильцов перевели в другие квартиры.

14–15 марта . Четвертый Чрезвычайный съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов большинством голосов ратифицирует Брестский мирный договор. Левые эсеры в знак протеста выходят из состава революционного правительства.

1 апреля . Моссовет принимает решение об уплотнении жилой площади, занимаемой нетрудовыми слоями населения.

2 апреля . Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (ВЧК) запрещает ношение оружия и хранение взрывчатых веществ без соответствующего разрешения. Объявляется, что взятые на месте преступления грабители и убийцы будут расстреливаться в течение 24 часов.

13 апреля . Совет народных комиссаров (СНК) предписал убрать в столице памятники царям и их слугам. Будут установлены новые памятники, в честь революции и революционеров.

24 апреля . Подведены итоги переписи лошадей в Москве.

«Большинство животных очень тощие».

6 мая . В Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке арестована настоятельница великая княгиня Елизавета Федоровна.

13 мая . Подсчет населения Москвы определил число жителей в городе – 1 699 000 человек (без учета военного гарнизона). Это примерно на 8 % меньше, чем проживало в Москве в 1917 году.

13 мая . Нарком по продовольствию получает чрезвычайные полномочия. Организуются продотряды для изъятия «излишков» у «укрывающих хлебные запасы».

29 мая . Постановление ВЦИК о всеобщей мобилизации. В Москве вводится военное положение.

13 июня . ВЧК арестовывает участников конференции меньшевиков и правых эсеров. Конференция выступила за разрыв Брестского мира; Россия, по мнению участников собрания, созрела только для буржуазно-демократической революции, но не социалистической.

Не позднее середины июня . В связи с тем, что на Сухаревке процветает спекуляция, принято решение Сухаревку «перестроить». В частности, туда будет воспрещен вход «мешочникам» и «детям-папиросникам».

Не позднее 4 июля . Карманный вор, пойманный у Никольских ворот, был убит разъяренной толпой. Двое прохожих, сказавшие, что задержанного надо отвести в милицию (об этом молил и сам пойманный), были избиты до полусмерти, поскольку толпа посчитала их сообщниками схваченного.

4–10 июля . Пятый Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. Съезд поддерживает заключение Брестского мира. Принимается Конституция РСФСР, в которой провозглашается «диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства» в целях «водворения социализма».

6–7 июля . Восстание левых эсеров, противников Брестского мира.

Лето . Во всех садах и палисадниках в Москве вскопаны грядки. Вместо цветов высажены морковь, репа и т. п.

Ночь на 17 июля . Расстрел царской семьи в Екатеринбурге.

31 июля . Снос памятника Александру III у храма Христа Спасителя.

3 августа . Кофейня Филиппова на Тверской закрыта по причине дороговизны: телячья котлета стоила 30 рублей, котлета «демократическая» – 20. Вдобавок, по мнению властей, кофейня превратилась в притон проституции.

4 августа . Совнарком постановил закрыть все «буржуазные» газеты.

30 августа . Покушение на Ленина на заводе Михельсона в Москве. В Петрограде в этот же день поэт Л. Каннегисер убил председателя петроградской ЧК М. Урицкого.

5 сентября . В ответ на покушения на лидеров большевиков провозглашается политика «красного террора».

13 октября . Публикуется Декрет о введении нового правописания.

14 октября . Президиум Моссовета запрещает предприятиям торговли продавать обувь. Вся обувь передается в распоряжение Продовольственного отдела. Предполагается открыть советские магазины, в которых обувь будут продавать «только трудящимся».

3 ноября . Открыт памятник Робеспьеру в Александровском саду у Кремля. Не позднее 8 ноября он был уничтожен в ночное время неизвестными.

13 ноября . После революции в Германии и отречения Вильгельма II ВЦИК аннулирует Брестский мирный договор.

24 ноября . Патриарх Тихон подвергнут домашнему аресту (освобожден из-под ареста 6 января 1919 года).

25 декабря . Вследствие сильного снегопада и метелей в Москве на три дня прекращено движение трамваев.

1919 год **1 января** . В Москве начали продавать новый «кофе» – смесь цикория и свеклы.

«В разрушенной Москве». 1918–1919

В 1917 году произошло то, что предчувствовали все, кто могли что-либо чувствовать, чего ждали, боялись, что призывали и проклинали с почти религиозным восторгом и страхом, – в феврале в России разразилась революция. Она расколола людей на сказавших ей «да» и сказавших «нет» – несмотря на сложность и мучительность выбора, приходилось выбирать. Для Мандельштама, с его разночинской закваской, с его почти физическим ощущением косности и пошлости эпохи до 1905 года, с юношеским увлечением системностью и логической стройностью марксизма – «Разве Каутский – Тютчев? Разве дано

ему вызывать космические ощущения (“и паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде”)? А представьте, что для известного возраста и мгновенья Каутский (я называю его, конечно, к примеру; не он, так Маркс, Плеханов с гораздо большим правом) – тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущения, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной» («Шум времени»), – для Мандельштама, который видел эсеровских боевиков, готовых умереть за то, что им представлялось Правдой, и хотел быть с ними (в «бомбисты» он не попал – а вполне могло быть такое), – для Мандельштама невозможно было предать Революцию, хотя к 1917 году он был уже далеко не тем юношей, который зачитывался когда-то Эрфуртской программой социал-демократии и брошюрами эсеров.

Октябрьский переворот и последующие события вызвали у поэта сначала определенно негативную реакцию.

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ощетинился убийца-броневик,
И пулеметчик низколобый —
Керенского распять потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала, —
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
Чтоб сердце биться перестало!

«Когда октябрьский нам готовил временщик…», 1917

И в стихотворении, обращенном к Анне Ахматовой:

И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя…

«Кассандре», 1917

Позднее, отвечая на вопрос следователя после первого ареста, в мае 1934 года («Как складывались и как развивались ваши политические воззрения?»), Мандельштам вспоминал о своем тогдашнем отношении к происходившему: «Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков, и это находит свое выражение в моем опубликованном в “Воле народа” стихотворении “Керенский”. В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины: я идеализирую Керенского,

называя его птенцом Петра, а Ленина называю временщиком» [52] . Характерная оговорка Мандельштама: в процитированном выше стихотворении «Когда октябрьский нам готовил временщик…» упомянут не птенец, а щенок: «Вязать его, щенка Петрова!». Стихотворная строка указывает на «Бориса Годунова» («вязать Борисова щенка»), но содержит и отсылку к известной пушкинской формуле из «Полтавы»: «сии птенцы гнезда Петрова». Керенский – из петровского «гнезда»: сторонник европейски-ориентированной России.

Осип Мандельштам. 1919

Народ, по мнению поэта, ограбил сам себя. Он отверг непонятные ему западнические идеалы гражданской свободы, законности, парламентарной демократии и пошел своим катастрофическим путем. Тонкая пленка европейской культуры была прорвана таившейся под ней и разбушевавшейся народной стихией. Наступил хаос, выход из которого – это было очевидно – мог быть только в диктатуре, левой или правой. Реальная власть была у большевиков, и народ очень быстро почувствовал привычную и понятную тяжесть их власти. Что должен был делать поэт, который не хотел погибнуть от голода и для которого, при всей его внешней богемности, слова «гражданский долг» и «воля народа» никак не были пустым звуком? Речь шла о великой мечте

нового мира, о более близкой и насущной задаче цивилизовать стихию, о культурной работе. «Примерно через месяц я делаю резкий поворот к советским делам и людям, – продолжает в том же ответе следователю Мандельштам, – что находит выражение в моем включении в работу Наркомпроса по созданию новой школы» [53] . Позднее в статье об Александре Блоке – «А. Блок (7 августа 1921 г. – 7 августа 1922 г.)», 1922 – Мандельштам писал: «Душевный строй поэта располагает к катастрофе. Культ же и культура предполагают скрытый и защищенный источник энергии, равномерное и целесообразное движение: “любовь, которая движет солнцем и остальными светилами”. Поэтическая культура возникает из стремления предотвратить катастрофу, поставить ее в зависимость от центрального солнца всей системы, будь то любовь, о которой сказал Дант, или музыка, к которой в конце концов пришел Блок».

Поступив на советскую службу, Мандельштам работает в Наркомпросе, где становится заведующим сектором эстетического развития отдела реформы школы. Наркомпрос в 1918 году перебирается в новую столицу. «Совслужащий» Осип Мандельштам переезжает в Москву вместе со своим учреждением. Он поселяется сначала в Кремле, «у Горбунова», как пишет в своих воспоминаниях Н.Я. Мандельштам (Н.П. Горбунов был тогда секретарем Совнаркома РСФСР), но жил там очень недолго, несколько дней, а затем поселился в номере 253 гостиницы «Метрополь» [54] на Театральной тогда еще площади (площадью Свердлова она станет называться со следующего, 1919 года) – в то время в гостинице жили многие советские работники разных рангов. Представить живущего в Кремле Мандельштама трудно – «он всегда как-то по-мальчишески удирал от всякого соприкосновения с властью», по словам Н.Я. Мандельштам. «Однажды утром в общей столовой, куда он вышел завтракать, лакей, прежде дворцовый, а потом обслуживавший революционное правительство и не утративший почтительно лакейских манер, сообщил О.М., что сейчас сам Троцкий “выйдут кушать кофий”. О.М. схватил в охапку пальто и убежал, пожертвовав единственной возможностью поесть в голодном городе. Объяснить этот импульс к бегству он не мог никак: “Да ну его… Чтоб не завтракать с ним…”» [55] Дело, как представляется, не в самой личности Троцкого (в том же описании эволюции своих политических взглядов Мандельштам отметил и присущие ему в 1927 году не особенно глубокие, но достаточно горячие симпатии к троцкизму), а в свойственном поэту нежелании быть слишком близко к власти. Убежал, насколько известно, Мандельштам и от Г. Чичерина, хотя мог бы получить работу в

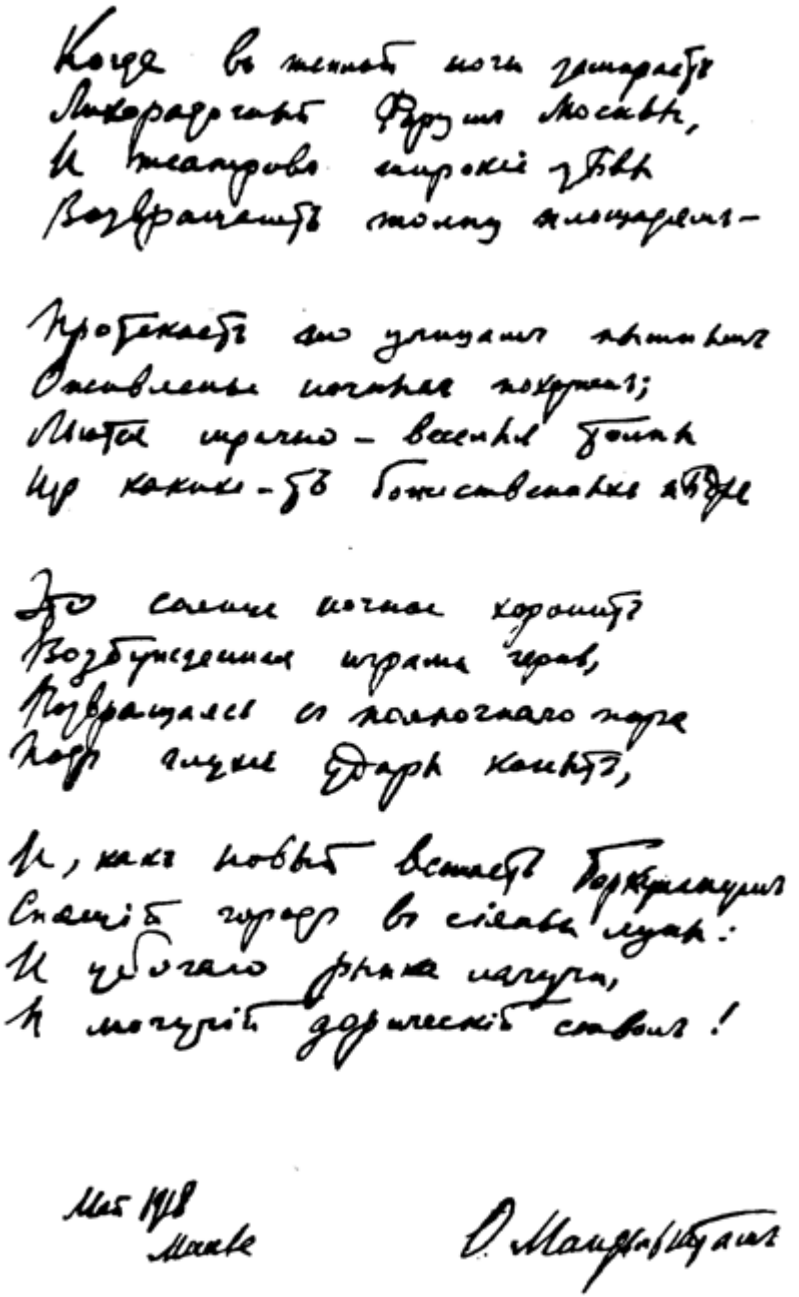
Наркомате иностранных дел.

Гостиница «Метрополь». 1917

Итак, Мандельштам живет в еще отмеченном следами от пуль и снарядов «Метрополе» (в 1917 году красногвардейцы выбивали отсюда юнкеров) – Втором доме Советов, как его тогда называли. Позднее он вспомнит об этом времени, соединив прошлые впечатления с настоящими, так: «Когда из пыльного урочища “Метрополя” – мировой гостиницы, где под стеклянным шатром я блуждал в коридорах улиц внутреннего города, изредка останавливаясь перед зеркальной засадой или отдыхая на спокойной лужайке с плетеной бамбуковой мебелью, я выхожу на площадь, еще слепой, глотая солнечный свет, мне ударяет в глаза величавая явь Революции и большая ария для сильного голоса покрывает гудки автомобильных сирен» («Холодное лето»). Живя в «Метрополе», Мандельштам мог видеть, как ночью, после разыгранного представления, выходят зрители из театра и идут по темной, несытой, бестранспортной (только редкие извозчики) Москве, мимо лавок Охотного ряда – и Москва, погруженная в безмолвную ночь, предстает в его стихах пустынно-торжественной и архаически далекой, подобной отрытым из лавы Везувия языческим городам Древнего Рима:

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный Форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям —
Протекает по улицам пышным
Оживленье ночных похорон:

Льются мрачно-веселые толпы
Из каких-то божественных недр.
Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь с полночного пира
Под глухие удары копыт.
И как новый встает Геркуланум
Спящий город в сиянье луны:
И убогого рынка лачуги,
И могучий дорический ствол.
1918



«Когда в теплой ночи замирает…» Автограф

«Дорический ствол» – так откликнулась у поэта колоннада Большого театра, «убогого рынка лачуги» – рынок в Охотном ряду. Стихи звучат торжественно-размеренно, протяжные «о» («Это сОлнце ночнОе хорОнит…») падают подобно ударам погребального колокола и вызывают в сознании звуковой образ приглушенных ночью и в то же время отчетливо слышных шагов и

копыт – Мандельштам ведет речь о похоронах прежней культуры, о конце эпохи. В пришедшем новом, однако, проглядывает дохристианская древность: революция поднимала древние пласты времени. В Москве 1918 года можно неожиданно увидеть как бы возвращение языческой античности: «И как новый встает Геркуланум…» (курсив мой. – Л.В.). В статье «Скрябин и христианство» (вероятно, конец 1916 – начало 1917 года) Мандельштам использует аналогичный образ похорон солнца: «Я вспомнил картину пушкинских похорон, чтобы вызвать в вашей памяти образ ночного Солнца, образ поздней греческой трагедии, созданный Еврипидом, видение несчастной Федры». В стихотворении 1915 года «Как этих покрывал и этого убора…» у Мандельштама появился образ черного солнца Федры, героини Еврипида и Расина, – солнца «страсти дикой»: «Любовью черною я солнце запятнала…» «Черное солнце» в этом стихотворении – пылающее солнце греха, вины и позора. Россия, на долю которой неслучайно выпали испытания и страдания Первой мировой войны и революции, видится Мандельштамом в образе Федры – в той же статье «Скрябин и христианство» это заявлено прямо: «Федра – Россия». Но в сознании и переживании греха есть залог спасения. Образ ночного солнца, контрастный и противоположный по значению «черному солнцу», олицетворяющий непреходящие и способные к возрождению ценности культуры и жизни, «золотой запас» ее, находится в тесной связи с «черным солнцем»: черное солнце вины способно превратиться, преобразоваться в ночное солнце искупления и надежды. В свою очередь, эти образы отсылают в творчестве Мандельштама этого периода к образу Анны Ахматовой. В стихотворении «Ахматова» (1914) Мандельштам увидел в ее облике нечто общее с Федрой:

Вполоборота – о печаль! —
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Зловещий голос – горький хмель —
Души расковывает недра:
Так – негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

А в статье «О современной поэзии (К выходу “Альманаха Муз”)» (написана не позднее февраля 1917 года) об Ахматовой сказано: «Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России». Ахматова, таким образом, олицетворяет Россию. Голос отречения – голос строгости

и покаяния. Как представляется, образы черного солнца и ночного солнца, выражающие мандельштамовское представление о современной России, и образ Ахматовой – «Кассандры»-пророчицы и «Федры» – находятся в одном смысловом узле. Полночные похороны и тьма на Театральной площади упомянуты и в другом московском стихотворении, загадочном стихотворении «Телефон», в котором возникает тема самоубийства.

На этом диком, страшном свете
Ты, друг полночных похорон,
В высоком строгом кабинете
Самоубийцы – телефон!
Асфальта черные озера
Изрыты яростью копыт,
И скоро будет солнце – скоро
Безумный петел прокричит.
А там дубовая Валгалла
И старый пиршественный сон;
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.
Весь воздух выпили тяжелые портьеры,
На театральной площади темно.
Звонок – и закружились сферы:
Самоубийство решено.
Куда бежать от жизни гулкой,
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!
И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты – избавленье и зарница
Самоубийства, телефон!
Июнь 1918

Ахматова назвала это стихотворение «таинственным». Действительно, реалии, отразившиеся в этих стихах, пока не известны. О.А. Лекманов предполагает, что прототипом «самоубийцы» мог быть комиссар, о котором сообщала газета «Раннее утро», где Мандельштам – видимо, не случайно – хотел напечатать это стихотворение. «Единственным сообщением о самоубийстве государственного чиновника, опубликованным в “Раннем утре” в мае – июне 1918 года, является следующая краткая заметка под заголовком “Самоубийство комиссара”,напечатанная в номере от 28 мая», – пишет О. Лекманов и приводит газетный текст: «В доме № 8, по

Ермолаевскому переулку, выстрелом из револьвера в висок покончил с собой на своей квартире комиссар по перевозке войск Р.Л. Чиркунов. Мотивы самоубийства не выяснены» [56] . Но в каких отношениях находился Мандельштам с этим человеком (если прототипом героя «Телефона» был он) и были ли они вообще знакомы, встречались ли они в «Метрополе» (Втором Доме Советов), где мог быть служебный кабинет комиссара, или были связаны как-то иначе – все это остается непроясненным. 1918 год. Наступали, казалось, «последние» времена, предвиденные Владимиром Соловьевым и Константином Леонтьевым. Еще в ноябре 1917-го Мандельштам написал стихи, в которых соседствуют упавшая на страну «ночь» и «разрушенная Москва»:

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи,
И среди бела дня останусь я в ночи,
И, зернами дыша рассыпанного мака,
На голову надену митру мрака,
Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове,
Чреватый слепотой и муками раздора,
Как Тихон – ставленник последнего собора!

Патриарх Тихон был избран 5 (18) ноября 1917 года. Революционные бои в Москве продолжались неделю, с 25 октября (7 ноября) по 2 (15) ноября 1917-го. Город сильно пострадал в результате боев, имелись многочисленные разрушения, в частности в Кремле. Живя в Москве, Мандельштам печатает в 1918 году в левоэсеровской газете «Знамя труда» два своих поэтических шедевра – «Сумерки свободы» (в номере от 11 (24) мая 1918 года) и «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (26 мая (8 июня) 1918 года).

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы —
О, солнце, судия, народ!
Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть – тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.
Мы в легионы боевые
Связали ласточек – и вот

Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети – сумерки густые —
Не видно солнца и земля плывет.
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

В «Знамени труда» стихи датированы: «Москва, май 1918».

(Не имея никаких текстологических аргументов, автор книги полагает, что более логичной была бы такая расстановка знаков препинания в средних стихах последней строфы: «Земля плывет. Мужайтесь, мужи, / Как плугом океан деля.»)

Первое, что необходимо сказать, – это что читателю довольно сложно определить, о каких сумерках идет речь, утренних или вечерних. Солнце восходит, и это свидетельствует о рассвете; но в то же время говорится о «сумрачном бремени» власти, и это, думается, с рассветом плохо вяжется. В статье М.Л. Гаспарова и О. Ронена, посвященной этим стихам, отмечено, что «стихотворение насыщено неоднозначными образами, поэтому всякая его реконструкция спорна». О чем говорится в первой строфе, какие сумерки имеются в виду, ставят вопрос авторы статьи, – «утренние или вечерние, dawn или twilight? Ключевое словосочетание (сумерки свободы, Freiheitsdämmerung как Götterdämmerung [57]) подсказывает понимание “вечерние, перед гибельной ночью”; но последующие образы “ночные воды – восходит солнце – народ” подсказывают понимание “предрассветные”… Видимо, это значит: “свобода” и “народ” – понятия не тождественные, а противоположные, привычная (“буржуазная”) свобода гибнет, кончается “великий год темной свободы”, а судия-народ несет новую, революционную свободу, страшную и не похожую на прежнюю (из носителя “кипящей” революции становится носителем власти)» [58] . В поддержку такого понимания можно добавить: власть, о которой сказано, что она то ли несет «невыносимый гнет», то ли ложится тяжким бременем на плечи ее обладателя (или является гнетом для других и бременем для носителя одновременно), – это власть именно народного вождя. Ясно одно: рождается новый мир, и понятие свободы в нем будет, во всяком случае, не тождественно тому, что подразумевалось под этим словом ранее.

Картина осложняется разнонаправленными движениями: ласточки, «запряженные» в сети (ласточки, вольные,

стремительные, «организованы» – связаны!), вытаскивают «ночное солнце» (в данном случае отождествленное с народом) из кипящих вод, корабль времени при этом тонет; земля плывет (так она видится с корабля), плывет корабль, пытающийся лечь на новый курс. Все сдвинулось с места. (Восходящее в сумерках солнце можно противопоставить «солнцу ночному» из процитированного стихотворения о Театральной площади «Когда в теплой ночи замирает…»: там движение солнца вниз – похороны; здесь движение вверх – усилия поднять солнце в небо.) Вообразить какую-либо цельную и непротиворечивую картину на основе описанного нелегко. Вероятно, можно увидеть происходящее так: плывущие на корабле времени пытаются с помощью связанных «в легионы боевые» ласточек извлечь солнце из воды, причем именно это солнце способно в качестве двигателя повести корабль дальше, в противном случае он утонет. Рискованный маневр удается: солнце, почти скрытое бесчисленными ласточками («сумерки»), поднимается, тянет за собой корабль; корабль начинает движение («земля плывет») к непредсказуемому будущему.

Ласточки, как видится автору книги, олицетворяют в данном случае творчество и жизнь, и в таком значении эта быстрая легкая птичка выступает у Мандельштама не только в «Сумерках свободы». «Мы», поднимающие солнце-народ при помощи ласточек, – люди творческие (в широком смысле), носители «слова». Это те же «мы», что в стихах 1918 года («все чуждо нам в столице непотребной…») и 1933-го («Мы живем, под собою не чуя страны…»).

Одической интонации стихотворения соответствует и звукопись: «Сумерки свободы» прошиты торжественно звучащими в рифмующихся словах ударными «о», в которых, кажется, слышен сам твердый, суровый голос эпохи (при этом в первой строфе, задающей тональность произведения, ударение в рифмовке падает только на «о»). Ударное «о» сходит на нет в завершающей части, и это оправданно: в ней действие вступает в новую фазу – корабль двинулся, и на первый план выходят шипящие звуки, в которых, в свою очередь, передаются и напряжение мускулов при повороте громоздкого руля, и затрудненный ход судна, преодолевающего сопротивление тяжелой воды. Вторжение шипящих в звуковую ткань стихотворения начинается, однако, уже в предпоследней строфе, где роение снующих птиц в воздухе представлено так: «вся стиХия / ЩебеЧет, двиЖеТСя, Живет».

В ком сердце есть – тот должен

слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет, —

говорит поэт. Время идет ко дну. Кончается историческое время европейско-христианского мира. Представляется несомненным, что эти строки связаны с Апокалипсисом: «времени уже не будет» («Откровение Иоанна Богослова», 10:6). (Подтекст отмечен в цитированном выше комментарии М. Гаспарова и О. Ронена.) Кажется также вероятной связь стихотворения Мандельштама с названием и тональностью книги стихов Е. Боратынского «Сумерки», проникнутой чувством конца.

Корабль времени тонет и может потонуть совсем. Но Мандельштам говорит и о надежде, о новой жизни. Пришло новое, неизведанное, грозное время. Народ, который безмолвствовал и покорялся, начал говорить и творить.

Об этом необыкновенном времени Мандельштам писал позднее (черновой вариант стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…», 1931):

Золотились чернила московской грязцы,
И пыхтел грузовик у ворот,
И по улицам шел на дворцы и морцы
Самопишущий черный народ.
шли труда чернецы,
Как шкодливые дети вперед

(Что такое «морцы» – непонятно: может быть, тюрьмы – от глагола «морить»?) Народ стал «самопишущим» и пошел «на дворцы». Он был готов и судить. У читателя русской поэзии слово «судия» из «Сумерек свободы» должно было вызывать в памяти в первую очередь лермонтовское «есть грозный судия» из стихотворения на смерть Пушкина. Стих из «Сумерек свободы» даже как бы рифмуется со строкой из «Смерти поэта»: «О, солнце, судия, народ» (Мандельштам) – «Есть грозный судия: он ждет» (Лермонтов). В мандельштамовское время вариант «Есть грозный судия: он ждет» воспринимался как вполне адекватный, несмотря на то что теперь многие специалисты рассматривают в качестве основного другой вариант лермонтовского стиха. «Лермонтовская энциклопедия» сообщает на этот счет: «По традиции, идущей от П.А. Ефремова (ссылавшегося на А. Меринского), стих 66 в некрых изданиях печатался в варианте: “Есть грозный судия: он ждет”. Ныне на основании дошедших списков принят др. вариант (“есть грозный суд”), в пользу кот-го высказывается И.

Андроников и др. исследователи» [59] .

В автобиографической прозе «Шум времени» Мандельштам описывает Лермонтова из домашнего, родительского «книжного шкапа» так: «У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар». Вряд ли можно точно установить, какое именно издание имеет в виду Мандельштам. К сожалению, оно утрачено, хотя еще в 1938 году, в последний год жизни поэта, «детский» Лермонтов Мандельштама существовал. Н.Я. Мандельштам вспоминала: «На нижней полке [60] стояли детские книги О.М. – Пушкин “в никакой ряске”, Лермонтов, Гоголь, “Илиада”… Они описаны в “Шуме времени” и случайно сохранились у отца О.М. Большинство из них пропало в Калинине, когда я бежала от немцев» [61] . Среди многочисленных изданий Лермонтова 1870–1890-х годов встречаются и книги с зеленым и зеленовато-синеватым переплетом. Например: Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова в двух томах. Под ред. В.В. Чуйко (оба тома в одной книге). СПб.; М.: Издательство товарищества М.О. Вольф, 1893. Книга представляет собой солидный толстый том, обложка зеленая, с узором. Или шестое издание «Сочинений М.Ю. Лермонтова» (в 2 т.), СПб., 1887 (издание «книгопродавца Глазунова», под редакцией П.А. Ефремова). Обложка зеленоватая (не темно-зеленая, а с синеватостью), с узором, напоминает шинельное сукно. В обоих случаях (как и в явном большинстве других изданий) в интересующем нас стихе Лермонтова мы встречаем слово «судия» (в «глазуновских» «Сочинениях» оно начинается со строчной буквы, а у Вольфа – с прописной).

Народ пришел судить, и судия этот будет «грозный». Здесь, в «Сумерках свободы», очевидно, в латентном виде звучит тема возмездия, неизбежной «кары», о которой Мандельштам написал пять лет назад, также в мае, в год трехсотлетия династии Романовых: «Курантов бой и тени государей… / Россия, ты, на камне и крови, / Участвовать в твоей железной каре / Хоть тяжестью меня благослови!» («Заснула чернь. Зияет площадь аркой…»)

В 1932 году в стихотворении «Дайте Тютчеву стрекóзу…» Мандельштам признается:

«А еще над нами волен / Лермонтов, мучитель наш…» Выскажем осторожное предположение, что и начало «Сумерек свободы» может представлять собой своего рода ответ юношескому «Предсказанию» (1830) Лермонтова – ср.: «Настанет год, России черный год / Когда царей корона упадет…» и мандельштамовское: «Прославим, братья, сумерки свободы, / Великий сумеречный год!» (курсив мой. – Л.В.).

Есть в «Сумерках свободы», думается, перекличка не только с Лермонтовым, но и с еще одним из самых значимых для Мандельштама поэтов – Тютчевым. Так, тютчевские строки отозвались в первой части стихотворения:

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..
[62]

«Над этой темною толпой…»

Тютчев задается вопросом о том, может ли взойти солнце свободы над темным (ср. у Мандельштама: «сумерки») народом. У Мандельштама иначе: поднимается сам народ (он же «солнце» и «судия») со своим представлением о свободе, а вот сохранение общественных свобод в их привычном, европейском смысле, как выше было отмечено, проблематично.

В последней строфе, в призыве «Мужайтесь, мужи» также обнаруживается тютчевский подтекст:

Два голоса

1
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы – молчат и оне.
Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец…
Для них нет победы, для них есть конец.
2
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.
Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец [63] .

Равнодушие холодных звезд к человеческому уделу – один из сквозных мотивов Мандельштама. Тютчевские «Два голоса» предвосхищают как этот мотив вообще, так и завершающее «Сумерки свободы» заявление, что, несмотря на человеческую смертность, борьба за преображение земли стоит «десяти небес». Мандельштам призывает к мужеству и верности земле с полным

сознанием того, что будущее отнюдь не будет безмятежным, а каждый человек мал и смертен.

В статье «О природе слова» (1920–1922) поэт утверждает и определяет понятие «мужа»: «В отличие от старой гражданской поэзии, новая русская поэзия должна воспитывать не только гражданина, но и “мужа”. Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный, характер поэзии обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире».

И еще один важный подтекст – из «Слова о полку Игореве». «Слово о полку Игореве» также начинается с обращения к «братьям»-современникам: «Не лепо ли ны бяшеть братие…» «Прославим» в «Сумерках свободы» не значит «восхвалим». «Прославим» – сотворим достойную событию песнь, подобно той, какую создал автор «Слова». «Слово о полку Игореве» входило для Мандельштама в число любимых книг, и неслучайно он в Воронеже, в ссылке, говоря о своем непотерянном поэтическом даре, вспомнил о нем: «Как “Слово о полку” струна моя туга…» («Стансы», 1935).

Снос памятника Александру III. 1918

В эпоху трагических перемен, ожесточения и раздора Мандельштам призывает не причитать и не проклинать; он провозглашает мужественное приятие эпохи, которая, будучи эпохой суровой власти, одновременно является временем

свободы: ведь кончилось привычное существование, кончился во многом сам быт, обнажилась глубина жизни – человек был отброшен к одинокой, страшной и величественной свободе, каждый оказался перед выбором, и было бы пошлостью и малодушием отвернуться от этой свободы и оказаться недостойным ее. Позже Мандельштам писал об Октябрьской революции: «Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту…» («Поэт о себе», 1928). Время было голодное, страшное – и необыкновенное. Трагедия перестала быть литературным жанром и стала жизнью. Это чувство избавления от привычного устоявшегося существования, чувство «перевернутой страницы» и сознание прихода чего-то пусть угрожающего, но небывалого и очистительного были свойственны в те революционные годы многим; они выражены, например, в написанном в 1921 году стихотворении Анны Ахматовой:

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?
Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес, —
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам…
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам [64] .

Мандельштам виделся с Ахматовой в Москве 1918 года. Встретиться они могли не ранее 15 августа – в этот день Ахматова с мужем, востоковедом В.К. Шилейко, поселились в доме № 3 по Третьему Зачатьевскому переулку вблизи Остоженки, приехав из Петрограда [65] . Наркомпрос, в котором служил Мандельштам, располагался тогда в бывшем Катковском лицее (Остоженка, 53) – в десяти минутах ходьбы от их дома.

Позднее Ахматова говорила об этой поездке в Москву П.Н. Лукницкому: «Ездила в Москву с В.К. Шилейко. У него был мандат, выданный отделом охраны памятников старины и подписанный Н. Троцкой, удостоверяющий, что ему и его жене (АА) предоставляется право осматривать различные предметы, имеющие художественную ценность, и накладывать на них печати»; «1918 <…> 1 или 2 августа АА уехала с Шилейко в Москву» [66] (даты в этой записи Лукницкого – по старому стилю. – Л.В.). Упомянутая в разговоре с П. Лукницким «Н.

Троцкая» – жена Л.Д. Троцкого Наталья Ивановна Седова-Троцкая. В мае 1918 года в Народном комиссариате просвещения был создан отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины («музейный отдел» Наркомпроса). Н.И. Троцкая возглавляла отдел с июня 1918 года в течение почти десяти лет. «Накладывать печати» на предметы, «имеющие художественную ценность», – значило ли это «готовить их к последующей реквизиции»? Судя по тому, что известно о работе музейного отдела, – дело обстояло так далеко не всегда. Напротив, во многих случаях работники отдела спасали от конфискации, разграбления и уничтожения памятники старины, книги, разного рода коллекции и прочее. И, вполне вероятно, Владимир Шилейко и Анна Ахматова могли участвовать в этой работе спасения.

Третий Зачатьевский переулок, д. 3. Здесь в 1918 г. жила Анна Ахматова. Фото автора

В записной книжке, которую Ахматова заполняла с весны 1961 по осень 1963 года (отдельные записи добавлялись в 1964-м), содержится план задуманной ею книги «Мои полвека» (1910–1960). План состоит из 20 пунктов. Пункты 12 и 18 фиксируют пребывание в Москве в 1918 году: «Москва в 1918 (3-й Зачатьевский)»; «Москва в 1914. (С вокзала на вокзал через Кремль. Накануне войны 1914.) В 1918 – Третий Зачатьевский. Голодная Москва» [67] . В дополнениях к «Листкам из дневника» Ахматова кратко упомянула встречу с Мандельштамом в 1918

году: «О.М. в 3-ем Зачатьевском» [68] , а в «Листках из дневника» сказано: «Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово народ не случайно фигурирует в его стихах» [69] . Очевидно, это отсылка к «Сумеркам свободы», с которыми Мандельштам несомненно познакомил Ахматову. Мандельштам был увлечен, захвачен трагическим величием происходящего. При полном сознании масштабности перемен Ахматова, думается, была настроена менее патетично. Еще в дни «революции Керенского» она говорила Б. Анрепу: «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже» [70] . Не исключено, что тогда же, в 1918 году, Ахматова могла узнать приведенное выше, в первой главе книги, стихотворение «Все чуждо нам в столице непотребной…». И, может быть, в ахматовских «Стансах» 1940 года («Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь…») отозвался «страшный вид разбойного Кремля» из этих мандельштамовских стихов:

«В Кремле не можно жить», – Преображенец прав.
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы
И Самозванца спесь – взамен народных прав [71] .

Фигура «народного вождя» в мандельштамовских «Сумерках свободы» вызывает естественный вопрос – кто, собственно, имеется в виду? Высказывались различные мнения на этот счет. При всем уважении к одному из самых авторитетных знатоков жизни и творчества Мандельштама А.А. Морозову мы не можем согласиться с тем, что прообразом «вождя» был Николай II. Стихотворение, проникнутое пафосом будущего и преображения жизни, никак не вяжется с образом отрешенного от власти монарха. Керенский, которым Мандельштам был очень, хотя и недолго, увлечен, к маю 1918 года также был уже политически в прошлом, хотя его, пожалуй, можно увидеть берущим власть «в слезах»; присуща была ему и мечта о новой, преображенной России. Ленин, конечно, был народным вождем, который вел российский корабль в небывалое будущее, но его как раз представить берущим власть в слезах очень трудно. Наиболее обоснованным кажется мнение, что трагическая фигура «народного вождя» ближе всего к новоизбранному патриарху Тихону (мнение А.Г. Меца). «Как представляется, – пишет А. Мец, – нам удалось найти точный источник этого образа. Это речь патриарха Тихона, произнесенная им сразу по избрании в патриархи на Всероссийском поместном соборе духовенства и мирян 5 (18) ноября 1917 года. В исторический момент восстановления патриаршества вновь избранный патриарх

произнес краткую речь: “Ваша весть об избрании меня в патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано «Плач и стон и горе», каковой свиток должен был съесть пророк Иезекииль. Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении… Подобно древнему вождю еврейского народа Моисею, и мне придется говорить Господу: «Зачем мучаешь раба Твоего и почему Ты возложил на меня бремя всего народа…»”. Из двух библейских цитат в речи патриарха текстуально складывается образ “народного вождя, в слезах берущего бремя власти”» [72] . Речь патриарха Тихона – это, очевидно, прямой источник мандельштамовского образа. (Выскажем предположение, что дополнительным источником мог в данном случае послужить все тот же важнейший для московской темы у Мандельштама 1916–1918 годов подтекст – пушкинский «Борис Годунов». Борис говорит боярам, принимая власть, что приемлет ее «со страхом и смиреньем», и добавляет: «Сколь тяжела обязанность моя!») Но, несомненно, правы и М.Л. Гаспаров, и О. Ронен, утверждая что народный вождь – образ обобщающий: «…прославления достоин всякий, кто в смутное время принимает ответственность за власть революционного народа» [73] . Это власть, неизбежно пришедшая вслед за послефевральской легкостью и легкомыслием, когда «стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство» и доверие к «исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству» («Египетская марка», 1928) уменьшалось стремительно.

Тяжкое бремя власти и требующая силы духа свобода – две существенные особенности наступившего времени.

«Ну что ж, попробуем…» Может быть, будет новое время вместо тонущего и другая жизнь. «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откровение Иоанна Богослова, 21:1).

«Сумерки свободы» активно читались и произвели сильное впечатление на многих. Илья Эренбург писал: «Поэты встретили русскую революцию буйными вскриками, кликушескими слезами, плачем, восторженным беснованием, проклятьями. Но Мандельштам – бедный Мандельштам, который никогда не пьет сырой воды и, проходя мимо участка-комиссариата, переходит на другую сторону, – один понял пафос событий. Мужи голосили, а маленький хлопотун петербургских и других кофеен, постигнув масштаб происходящего, величие истории, творимой после Баха и готики, прославил безумье современности: “Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля!”» [74] .

Отметим, что образы «Сумерек свободы» отзовутся у Мандельштама в его позднейшем переводе стихотворения Огюста

Барбье «1793» (опубликован в 1924 году):

Когда корабль столетний государства
Устал катать горох народной смуты,
Открытый всем, как решето дырявый,
В кромешный мрак, в барашковое море —
Террора ветер в парусах раздутых —
Он наудачу вышел за свободой…

Немногое известно о конкретной деятельности Мандельштама в период его работы в Наркомпросе. Вероятно, эта деятельность и не была слишком обширной. Уйдя в отпуск в начале июля 1918-го, он уехал в Петроград, а появился на службе только в августе, за что подвергся порицанию. Но, во всяком случае, Мандельштам думал тогда о введении в школе ритмического воспитания. Культура противостоит и обязана противостоять хаосу, и ритмическое воспитание, как видится Мандельштаму, – это один из способов организовать и гуманизировать новую жизнь, привить ей эллинскую гармоничность, превратить хаос в космос. В статье «Государство и ритм» (1918) поэт писал: «Организовывая общество, поднимая его из хаоса до стройного органического бытия, мы склонны забывать, что личность должна быть организована прежде всего. Аморфный, бесформенный человек, неорганизованная личность, есть величайший враг общества. <…> В настоящую минуту мы видим перед собой воспитателей-ритмистов, пока еще слабых и одиноких, предлагающих государству могущественное средство, завещанное им гармоническими веками, – ритм как орудие социального воспитания. <…> Что общего между государством и женщинами и детьми, исполняющими ритмические упражнения, между суровыми преградами, которые ставит нам грубая жизнь, и той шелковой веревочкой, которая протягивается во время этих грациозных упражнений? Здесь готовят победителей – вот в чем заключается эта связь. <…> Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины». (Описывая упражнения по ритмике, Мандельштам имел в виду в первую очередь популярную в то время систему Ж. Далькроза.)

8 декабря 1918 года Мандельштам выступает на обсуждении программы новой школы: «Утопия думать, что человек, представленный самому себе, в естественных условиях может развиваться только благодаря своим внутренним стимулам. Вырастающее поколение противостоит всей уже существующей культуре, и задача старого поколения – воспитать новое» [75] .

Можно отметить определенную близость Мандельштама, предлагавшего «ритмизацию» новой жизни, и Александра Блока, заявлявшего о необходимости быть верным «духу музыки»,

несмотря на всю разность содержания, которое они вкладывали в эти понятия.

В другом стихотворении, опубликованном в «Знамени труда», – «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (написано еще в 1917 году в Крыму) – все дышит любовью к вечной прелести эллинизма, к домашнему очагу, и говорится о недостижимости «золотого руна»:

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке,
В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
Золотых десятин благородные ржавые грядки.
Ну а в комнате белой – как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена —
Не Елена – другая – как долго она вышивала?
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Одиссей, как известно, в поход за золотым руном не ходил. Но Мандельштам относится к историческому и культурному наследию как к доставшемуся ему в наследство хозяйству и создает, в случае надобности, свою историю или свою мифологию. Такой подход был заявлен уже в 1914 году:

Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.
«Я не слыхал рассказов Оссиана…»

Обращаясь к «блуждающим снам» других писателей и художников, к историческим эпизодам и даже, в некоторых случаях, к топографии, Мандельштам относится к этому набору как к материалу, с которым он волен работать так, как требуют его творческие задачи. В случае необходимости можно соединить элементы различных мифов, как в только что процитированных стихах 1917 года, или создать обобщающую фигуру царевича-жертвы, как в стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой…».

М.Л. Гаспаров замечает, что у Мандельштама «“Моисей водопадом лежит” (контаминируясь с “Ночью” и

микельанджеловским четверостишием о ней), а Елену сбондили греки, а не троянцы: по-видимому, это методика» [76] . Несомненно, это методика, и Мандельштам ей следовал, используя ее преимущества (что, конечно, не исключает вероятности в каком-то случае и просто ошибки). И такая тактика изменения сюжетов, их контаминации, наложения одного сюжета на другой проходит через все творчество Мандельштама.

Широкое и сложное понятие эллинизма включает для Мандельштама, в частности, приятие жизни, отношение к ней, к «простой», обычной жизни как к высокому, священному дару, придание жизни организации в смысле гармонического строя; «эллинизм» означает естественное чувство красоты, представление о прекрасном как об одной из важнейших основ всего бытия и быта, а отнюдь не музейной ценности. Понятие эллинизма корреспондирует у Мандельштама с понятием гуманизма. В статье «О природе слова» поэт писал:
«Эллинизм – это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм – это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любым и с тем же самым чувством священной дрожи, с каким —

Как мерзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей прикрывали
Они святого старика [77] .

Эллинизм – это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. Эллинизм – это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло как родственное его внутреннему теплу».

В том же 1922 году Мандельштам пишет статью «Гуманизм и современность», где спрашивает: «Как оградить человеческое жилье от грозных потрясений, где застраховать его стены от подземных толчков истории, кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует?» И, с тревогой всматриваясь в будущее и хорошо сознавая пугающую «монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры», выражает осторожную надежду на то, что идея гуманизма не потеряна и имеет будущее: «Гуманистические ценности только ушли, спрятались, как золотая валюта, но, как золотой запас, они обеспечивают все идейное

обращение Европы и подспудно управляют им тем более властно».

Ощущение гибели дорогого времени, выразившееся в виде2нии ночных похорон культуры (при отказе, в отличие от Блока, признать «крушение гуманизма»), и, с другой стороны, надежда на гармонизацию возникающего мира – эта двойственность по отношению к революции была характерна для Мандельштама в те годы, и это отмечалось современниками. Так, Рюрик Ивнев пишет об этом, упоминая бытовые детали, относящиеся к жизни Мандельштама в Москве в 1918 году:

«Я никогда не встречал человека, который бы так, как Осип Мандельштам, одновременно и принимал бы революцию, и отвергал ее.

Он был похож на заблудившегося ребенка, который никак не может привыкнуть к новой обстановке, к новым условиям, но в отличие от ребенка он не хотел вернуться в свой дом, впрочем, быть может, потому, что у него никогда и не было дома.

Если это правда, что существует такая болезнь, при которой человек становится прожорлив от одной мысли, что продукты питания ограничены и достаются с трудом, то Мандельштам был болен именно этой болезнью… Я вспоминаю несколько сцен, свидетелем которых я был еще в 1918 году в Москве в “Метрополе”, где одно время жил Мандельштам (как раз когда я жил в этой гостинице): я видел “собственными глазами”, как Осип Эмильевич “уминал” буханку черного хлеба без единого глотка воды и как он грыз, точно белка, колотый сахар, но такие громадные куски, с которыми бы никакая белка не справилась» [78] .

В конце июня или начале июля 1918 года у Мандельштама случилось столкновение с левым эсером чекистом Яковом Блюмкиным, который вскоре, буквально через считаные дни, стал участником убийства германского посла Мирбаха, что послужило началом левоэсеровского мятежа – выступления против заключения Брестского мира. Мандельштам и Блюмкин были знакомы, видимо, до конфликта. Это очень вероятно. Мандельштам печатался в левоэсеровской газете «Знамя труда», бывал, очевидно, в редакции газеты в Леонтьевском переулке (см. «Список адресов») – в этом же доме помещался тогда и ЦК партии левых эсеров; мог бывать поэт и на квартире Вениамина Левина, который являлся, по его собственным словам, «фактическим руководителем… газеты». Перечислив близких к «Знамени труда» еще в Петрограде Иванова-Разумника, Александра Блока, Андрея Белого, Ремизова, Клюева, Есенина, Клычкова, Чапыгина и других литераторов, Левин сообщает о том, что и после переезда в

Москву его квартира была местом, которое посещали тяготевшие к левым эсерам писатели: «Мою работу в “Знамени труда” делила со мною моя жена Зинаида Вениаминовна. <…> Наша частная квартира в две комнаты была на Моховой улице, в отеле “Националь”, прекрасно благоустроенная, конечно, без кухни. Тем не менее мы имели возможность и там принимать наших гостей: Иванова-Разумника, Есенина и Зинаиду Райх» [79] .

Публикации Мандельштама в левоэсеровском издании не случайны. Выше была приведена выдержка из его показаний на допросе у следователя в 1934 году: поэт говорит о своей «эсеровщине». Действительно, в юности Мандельштам находился под влиянием идей социалистов-революционеров, сильное впечатление производила на него революционная отвага и готовность к самопожертвованию эсеровских боевиков. Ближайшим другом Мандельштама во время его обучения в Тенишевском училище в Петербурге был Борис Синани, отец которого был связан с виднейшими деятелями эсеровской партии, дом Синани посещали партийные «цекисты». Мандельштам выступал в то время в качестве эсеровского пропагандиста в рабочих кружках и мечтал о более активных действиях.

Вернемся в 1918 год. Если Мандельштама можно было встретить в московской левоэсеровской штаб-квартире, то Блюмкина, в свою очередь, нередко можно было видеть в кругу московских литераторов. Он был близко знаком с Есениным, Мариенгофом и другими будущими имажинистами, посещал богемные кафе, сам баловался писанием стихов. «Блюмкин был лириком, любил стишки, любил свою и чужую славу», – вспоминал Анатолий Мариенгоф [80] . Яркую язвительную характеристику людям этого типа дал Владислав Ходасевич: «Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам. Довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали непрестанно и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедовать революцию – и били их. Основным образом делились на два типа. Первый – мрачный брюнет с большой бородой. Второй – белокурый юноша с длинными волосами и серафимическим взором, слегка “нестеровского” облика. И те, и другие готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же ближнего – тут же расстрелять, если того “потребует революция”. Все писали стихи и все имели непосредственное касательство к ЧК» [81] . Тип «мрачного брюнета… с бородой» в этом описании

несомненно восходит к Блюмкину. Яркий, смелый, романтичный, авантюрный, любящий эффектные жесты, Блюмкин принадлежал к той категории людей, которая всегда появляется на переднем плане в начальный период любого социального переворота.

Следы октябрьских боев 1917 г. в Москве. Дом у Никитских ворот

Согласно показаниям арестованного в связи с левоэсеровским мятежом Петра Зайцева (от 10 июля 1918 года), он встретил Блюмкина в самом начале июля у гостиницы, где проживали тогда Блюмкин и Николай Андреев, второй будущий участник убийства Мирбаха. Зайцев встретил его у гостиницы «Эллит» (имеется в виду «Элит-отель», находившийся в Петровских линиях; позднее, в 1919 году, Блюмкин жил в том же Втором Доме Советов, бывшей гостинице «Метрополь», где в 1918 – начале 1919 года квартировал Мандельштам). Рядом с Блюмкиным Зайцев увидел двоих. Один из них, анархист Юрий Дубман, был Зайцеву знаком, другой нет. «Мне его представил Блюмкин поэтом Мандельштамом. <…> Завязался общий разговор. Между прочим Блюмкин отозвал в сторону анархиста Юрия и стал ему что-то говорить. Я расслышал только следующие слова: “Мандельштам может проболтаться – он дурак, скажи ему…”» «Никакого комментария к сказанному Зайцев, увы, не сделал», – сообщает публикатор показаний Зайцева, автор статьи о Блюмкине и Мандельштаме Я. Леонтьев [82] .

Могла ли идти речь о будущем покушении? Я. Леонтьев в этом сомневается, мотивируя свою точку зрения тем, что, по позднейшему рассказу Блюмкина, тот узнал о решении ЦК левых эсеров совершить убийство германского посла только 4 июля,

причем ЦК наметил в качестве исполнителей не Андреева и Блюмкина, а других членов партии (Блюмкин предложил в террористы себя и Андреева). Но ведь в этом же рассказе на собрании исторической секции Дома печати Блюмкин сообщил, что 4 июля на заседании ЦК левых социалистов-революционеров от него потребовали сведений о германском посольстве, и в статье Леонтьева приводятся данные, подтверждающие, что такое наблюдение Блюмкин действительно вел. Решение о теракте вполне могло стать известным Блюмкину лишь 4 июля, но ведь что-то явно назревало вокруг посольства Германии и ранее, и Блюмкин, любитель произвести впечатление и придать себе значительности, мог нечто на эту тему сообщить. Впрочем, здесь можно только гадать.

История самого столкновения поэта и чекиста отразилась в «Петербургских зимах» поэта Георгия Иванова, в мемуарах Н.Я. Мандельштам, в показаниях Ф. Дзержинского. Детали разнятся, но в главном сюжет события ясен: в одном из московских поэтических кафе (или в каком-то ином месте, где собирались поэты и «поклонники») Блюмкин, будучи в подпитии, стал показывать собеседникам то ли ордера на арест, то ли списки арестованных с объяснениями, кого из этих людей стоило бы «пустить в расход», «шлепнуть», а кого, может быть, и пощадить. Блюмкин, насколько можно судить об этом эпизоде, никакой особой кровожадности не проявлял – он просто показывал, что жизнь многих людей находится в его руках: как он решит, так и будет. (Я. Леонтьев указывает, что эту демонстрацию надо считать, вероятно, «очередным блефом Блюмкина», поскольку его тогдашняя должность в ЧК «не имела прямого отношения к расстрелам» [83] . Блюмкин занимался в ВЧК организацией контрразведки в целях борьбы с противниками режима.) В частности, Блюмкин упомянул о литераторе Пусловском. Мандельштам, хотя, предположительно, он не был знаком ни с Пусловским, ни с другими людьми, о власти над которыми заявил Блюмкин, выхватил, не думая о последствиях, – а они могли быть для него, очевидно, очень нелегкими – бумаги из рук чекиста и порвал их. На этом поэт не успокоился, а при помощи своей знакомой, писательницы Ларисы Рейснер, обратился к ее тогдашнему мужу, известному большевику Федору Раскольникову (впоследствии эмигранту и автору резко обличительного письма Сталину), и они поставили Дзержинского в известность насчет хмельных излияний работника его учреждения. Уже после подавления выступления левых эсеров Ф. Дзержинский давал показания в связи с обстоятельствами убийства германского посла: «За несколько дней, может быть, за неделю до покушения я

получил от Раскольникова и Мандельштама (в Петрограде работает у Луначарского) сведения, что этот тип [84] в разговорах позволяет себе говорить такие вещи: “Жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку – через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гражданин Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор”, – но если собеседнику нужна эта жизнь, он ее “оставит” и т. д. Когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что, если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами. Эти сведения я тотчас же передал Александровичу [85] , чтобы он взял от ЦК [86] объяснение и сведения о Блюмкине, чтобы предать его суду. В тот же день на собрании комиссии было решено по моему предложению нашу контрразведку распустить и Блюмкина пока оставить без должности» [87] . Вероятно, это было первое посещение Мандельштамом пресловутого ведомства на Лубянке, которое через двадцать лет убило его.

Как пишет в «Воспоминаниях» Надежда Мандельштам, поэт позднее вспоминал о том, что «Раскольников с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно – особняк, слуги, великолепно сервированный стол…» [88] . Но так или иначе, вмешательство Раскольникова и Рейснер помогло, может быть, Мандельштаму спасти людей от гибели. Пускай «прямого отношения к расстрелам» должность Блюмкина в ЧК не имела, но косвенные возможности такого рода у работника этого ведомства, вероятно, были. И в любом случае Мандельштам вряд ли разбирался в структуре карательного органа и конкретных обязанностях его служащих – он узнал о людях, которым грозила гибель, и постарался их спасти.

Кто такой загадочный Пусловский, упомянутый, по словам Дзержинского, Блюмкиным? Автору книги известно об этом незаурядном человеке следующее. Францишек Ксаверий Пусловский – польский аристократ, офицер, поэт, любитель искусства. Родился в 1875 году под Парижем. Был подданным России, но в восемнадцать лет сменил российское гражданство на австрийское. Служил в австрийской кавалерии, затем изучал право, штудировал в Берлине философию и историю искусств. Первая мировая война застала его в родном имении. Там у него базировались легионеры Ю. Пилсудского, сторонники отделения Польши от России и образования независимого польского государства. Имение было занято российскими войсками, Пусловского арестовали и через некоторое время привезли в Москву, где он был интернирован до конца войны. Живя в Москве, был, в частности, секретарем консула США и главой

художественной комиссии польского театра. Общался с польскими деятелями науки и культуры, был знаком с князем Феликсом Юсуповым, одним из убийц Г. Распутина. В 1918-м был арестован, приговорен к смертной казни. Освобожден Ф. Дзержинским по настоянию наркоминдела Г. Чичерина. В этом же году вернулся в Польшу, служил, был видным общественным деятелем, прожил еще пятьдесят лет и умер девяностотрехлетним в Кракове в 1968 году [89] .

Из газеты «Заря России» (№ 54 за 1918 год) мы узнаем, что арестован был Пусловский примерно в середине июня в той самой гостинице «Элит», где располагались незадолго до убийства Мирбаха Блюмкин и его подельник Н. Андреев; сидел арестованный Пусловский в Бутырках. Что могло связывать Блюмкина с Пусловским и связывало ли их что-либо, остается неясным. Вероятно, все было просто: Блюмкин занимался организацией контрразведки; попавший ему на глаза польский граф австрийского подданства мог показаться подозрительным, и Блюмкин арестовал «аристократа».

Таким образом, вполне вероятно, что вмешательство Мандельштама могло сыграть свою роль в деле Пусловского и способствовать его освобождению. Узнал ли поэт Пусловский, что, когда ему грозил расстрел на Лубянке, о нем хлопотал некий поэт Мандельштам? Видимо, это осталось ему неизвестным; впрочем, кто знает – может быть, ему об этом и было сообщено (тем же Дзержинским, например).

Где произошло столкновение поэта и чекиста? Н.Я. Мандельштам указывает, что «место действия – московское “Кафе поэтов”». Но какое? Футуристическое кафе поэтов вблизи Тверской (Настасьинский переулок, д. 1/52) закрылось уже в апреле 1918 года [90] . Может быть, дело происходило в поэтическом кафе, которое помещалось в доме на углу Петровки и Кузнецкого моста («Музыкальная табакерка», было открыто в марте 1918-го; называлось еще, по устраивавшимся выступлениям литераторов, «Живые альманахи»)? Возможно также, что имеется в виду «Бом» на Тверской улице – позднее там откроется кафе «Стойло Пегаса», штаб-квартира имажинистов. (Его содержал до революции М.А. Станевский – популярный клоун Бом; кстати, клоунов Бима и Бома упоминает Мандельштам в московских стихах 1931 года – «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…».) Немалой популярностью у поэтов и их поклонников пользовалось кафе «Питтореск» (Кузнецкий мост, 13; в октябре 1919 года оно стало называться «Красный петух»). О том, что Мандельштам выступал – читал свои стихи «в кафе на Кузнецком Мосту», вспоминала актриса Х.Ф. Бояджиева (речь идет о 1918-м

или начале 1919 года).

Мог ли Мандельштам порвать бумаги Блюмкина в кафе «Домино»? Позднее, с января 1919 года, в этом кафе была эстрада, а после этого – клуб Всероссийского союза поэтов (СОПО), почему его и называли «Кафе поэтов».

Это было наиболее известное кафе такого рода. Известно, что позднее в «Кафе поэтов» Мандельштам бывал, как, впрочем, и в «Стойле Пегаса». Блюмкин также нередко посещал «Кафе поэтов», бывшее «Домино», – это мы знаем, в частности, из мемуаров В. Шершеневича. Находилось кафе «Домино» неподалеку от гостиницы «Метрополь» – в несохранившемся доме 18 на Тверской (дом этот стоял напротив нынешнего Центрального телеграфа, на противоположной стороне улицы; телеграф тогда еще не был построен – на его месте располагалось старинное обширное здание бывшего Университетского благородного пансиона, где некогда, в частности, учился Лермонтов). Наконец, при самой гостинице «Элит» в Петровских линиях, у которой мы встречаем Блюмкина и Мандельштама в показаниях П. Зайцева, также было тогда литературное кафе (с таким же названием).

Мандельштам поступил вопреки очевидной житейской логике. Он сделал то, что никому из присутствовавших и в голову не могло прийти. Но он не мог поступить иначе. Этот поступок, как нам видится, был продиктован самой сутью его натуры, во всем противоположной насилию и смерти. В поступке, очевидно, не было никакой обдуманности – была немедленная реакция на то, чего он просто не мог терпеть. Мандельштаму, в каждом человеке видевшему неповторимое, уникальное творение («Не сравнивай: живущий несравним», – пишет он в 1937 году), особенно отвратительно и нетерпимо было это отношение власти к человеку, к конкретному человеку, как к объекту, к предмету, которым можно манипулировать и который можно просто уничтожить «за ненадобностью». Позднее он напишет: «Власть отвратительна, как руки брадобрея» («Ариост», 1933). Холодные, равнодушные пальцы парикмахера, которые бесцеремонно поворачивают вашу голову, наклоняют ее направо и налево, держа при этом бритву у вашего горла, – необыкновенно точный образ бесчеловечной власти. Все, что писал Мандельштам, одушевлено естественным, как дыхание, чувством свободы, не уживающейся ни с каким опредмечиванием. Но и в жизни Мандельштам был свободен, часто непредсказуем, не вписывался в расчерченные и понятные всем правила игры и жизненные схемы. Поступок в московском кафе 1918 года и стихи о Сталине 1933-го демонстрируют то единство жизненного поведения и слова, которое встречается редко и характеризует подвижников и

юродивых. Действительно, есть в этом выхватывании страшных бумаг и разрывании их какая-то сверхлогичная и в то же время детская прямота и правда. Лидия Гинзбург однажды заметила: «Мандельштам слывет сумасшедшим и действительно кажется сумасшедшим среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком. А.А. [91] говорит: “Осип – это ящик с сюрпризами”» [92] . На Руси никогда не переводились юродивые, и Мандельштам в определенные минуты своей жизни поднимался до праведности блаженных, о которых сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Случился конфликт с чекистом до или уже после той встречи у гостиницы «Элит», о которой рассказал в своих показаниях Петр Зайцев? Теоретически нельзя исключить и первого варианта. Блюмкин был позер, любитель поиграть револьвером, но мог, в силу своей общей импульсивности и «широты», пойти и на примирение с поэтом. Поэзию он любил, в поэтах видел людей особых, из толпы выделенных (как революционеры). Какого рода бумаги порвал Мандельштам, неизвестно. Возможно, они и не были столь важны для Блюмкина. В пользу этой версии говорят вроде бы и слова Блюмкина о «болтливости» Мандельштама («может разболтать» – побежал же «жаловаться» к Дзержинскому). А может быть, столкновение в кафе случилось уже после разговора у гостиницы. И это кажется более правдоподобным: вряд ли все же разъяренный Блюмкин и боявшийся его Мандельштам наладили бы отношения так быстро. В силу своей импульсивности Мандельштам был способен совершить безрассудно-смелый поступок. Но вслед за дерзостью могли последовать нервное потрясение или панический страх. Именно так и произошло в данном случае. И как-то трудно себе представить столь быстрое примирение и переход к нормальному общению с тем, кто угрожал поэту расправой. Зайцев показывал, что встреча у гостиницы состоялась «за 2–3 дня до съезда» [93] , а Пятый Всероссийский съезд Советов начал работу 4 июля 1918 года. При этом, согласно показаниям Дзержинского, он «предложил коллегии ВЧК в начале июля контрразведку распустить и Блюмкина оставить без должности, что и было сделано» [94] . Но ведь Дзержинский сообщал, что предложил отрешить Блюмкина от должности «в тот же день», когда к нему явились Мандельштам и Раскольников. Таким образом, эпизод в кафе надо, видимо, датировать началом июля или самым концом июня, то есть дело было буквально в самые последние дни перед левоэсеровским выступлением.

От Блюмкина можно было ждать чего угодно, и Мандельштам

имел все основания опасаться его мести. Он старается не попадаться Блюмкину на глаза и в начале июля исчезает из Москвы, получив отпуск, который, как было сказано выше, самовольно продлил.

После мятежа Блюмкин также бежит из Москвы, скрывается, продолжает революционную деятельность на Украине; в 1919 году он был амнистирован по делу об участии в событиях 6 июля 1918-го. Мандельштам и Блюмкин встречались, причем Блюмкин снова угрожал поэту, но револьвер так в ход и не пустил. Видимо, ему нравилось пугать людей. В московском «Кафе поэтов» он, например, однажды из-за пустяка направил свой браунинг на актера Игоря Ильинского (об этом эпизоде пишет в своих мемуарах Анатолий Мариенгоф). В середине 1920-х годов, согласно воспоминаниям Надежды Мандельштам, конфликт поэта с революционером закончился: Блюмкин при встрече протянул Мандельштаму руку.

Один из ярких персонажей эпохи революционного хмеля, Яков Блюмкин прожил жизнь, полную приключений и авантюр. Он стал большевиком, был близок к Троцкому, выполнял тайные миссии на Востоке и был расстрелян в Москве в 1929 году.

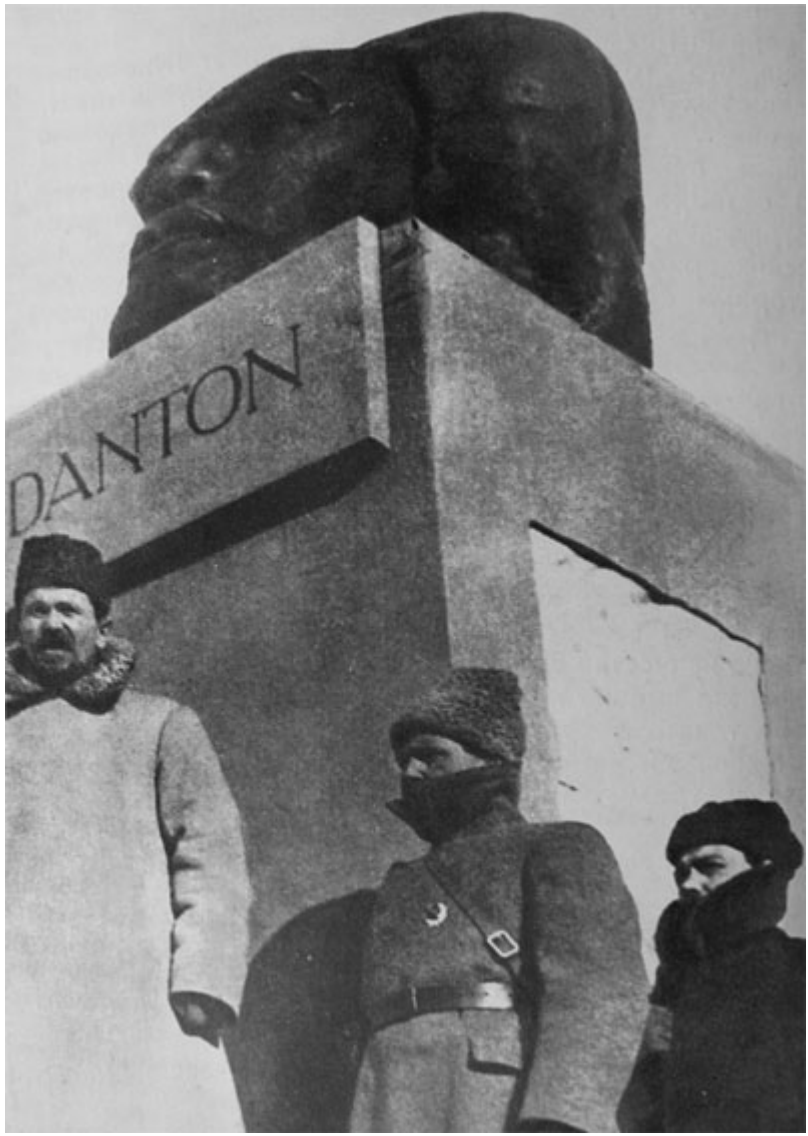
«Как нетрудно догадаться, – пишет А. Мариенгоф, – при первом удобном случае Сталин расстрелял Блюмкина… под пение, вернее, хрипение “Интернационала”.

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов! —

только и успел прокричать наш романтик.

Это мне рассказывал член коллегии ВЧК Агранов, впоследствии тоже расстрелянный» [95] .

Эту фамилию запомним: Я. Агранов подписал ордер на арест Мандельштама в 1934 году.



Открытие памятника Дантону. 1918

В августе 1918-го Мандельштам снова в Москве, работает в своем отделе Наркомпроса, выступает с докладом и предложениями по организации ритмического воспитания. Но в Москве не задерживается: незадолго до серьезного преследования левых эсеров, в газете которых, как уже было сказано, Мандельштам печатался, он в середине февраля 1919 года выезжает на юг – в Харьков. А 2 февраля 1919-го неподалеку от «Метрополя», между площадями Театральной и Революции, был открыт памятник Дантону работы Н.А. Андреева – массивная голова на постаменте. Увидев раз эту голову, забыть ее было трудно. Вероятно, впечатление от этого памятника могло позднее

отразиться в процитированных в первой главе стихотворении о Великой Французской революции «Язык булыжника мне голубя понятней…» и очерке о международной крестьянской конференции: «большеголовые», «настоящий “большеголовый”». Весной Мандельштам уже в Киеве, где знакомится с Надеждой Хазиной, которая станет его спутницей навсегда. В год знакомства Мандельштам писал ей: «Я радуюсь и Бога благодарю за то, что он дал мне тебя. Мне с тобой ничего не будет страшно, ничего не тяжело…» (письмо от 5 декабря 1919 года из Феодосии). Эти слова были оправданы всей дальнейшей их жизнью. Ему было тогда, в 1919 году, двадцать восемь, ей – около девятнадцати лет.

Через три года, весной 1922-го, после то совместной, то раздельной жизни на Украине, в Крыму, в Грузии и Петрограде Осип и Надежда поселяются в Москве – на Тверском бульваре, при Доме Герцена.

Исторический и городской фон 1922 год

Январь – февраль . В Москве один за другим открываются частные магазины. Поворот к новой экономической политике (нэп) был провозглашен в августе прошлого, 1921 года.

6 февраля . Ликвидируется ВЧК. Вместо нее создается Государственное политическое управление (ГПУ) в составе Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Руководство ГПУ возлагается на наркома внутренних дел, бывшего председателя ВЧК Ф. Дзержинского.

23 февраля . Декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей в целях закупки продовольствия для голодающих Поволжья.

10 марта . Открыт Центральный универсальный магазин (ЦУМ) на Петровке, в здании, где ранее располагался магазин «Мюр и Мерилиз».

19 марта . Начала действовать радиопередающая башня, построенная инженером В. Шуховым на Шаболовке («Шухова башня»).

3 апреля . Сталин становится Генеральным секретарем РКП(б).

16 апреля . В Рапалло под Генуей заключен советско-германский договор, предусматривающий восстановление дипломатических отношений между РСФСР и Германией.

5 мая . Патриарх Тихон арестован и заключен под домашний арест в Донском монастыре.

8 июня – 7 августа . Процесс над членами партии эсеров. 12 человек приговорены к смертной казни. Приговор был заменен тюремным заключением и ссылкой.

28 июня . В деревне Санталово в Новгородской губернии

умер поэт Велимир Хлебников.

31 августа . «Правда» публикует сообщение, в котором говорится, что за границу высылаются наиболее активные контрреволюционные элементы из профессуры, литераторы, врачи и пр. Высылки производились в сентябре и ноябре. За границей оказались Н. Бердяев, С. Франк, С. Трубецкой, А. Кизеветтер, М. Осоргин, И. Ильин, П. Сорокин, А. Пешехонов, Б. Вышеславцев, Н. Лосский, Л. Карсавин, Ф. Степун, Б. Бруцкус и др.

1 октября . В Москве состоялось выступление первого в РСФСР джаз-оркестра, организованного поэтом и танцовщиком Валентином Парнахом, знакомым Мандельштама и его соседом по Дому Герцена.

24 октября . Постановление СНК РСФСР о выпуске новой денежной единицы. В 1923 году постепенно вводится в обращение обеспеченный золотым запасом червонец.

16 октября . Постовые милиционеры в Москве получают жезлы красного цвета для регулировки уличного движения.

25 октября . Взятие Владивостока войсками Красной армии. Конец Гражданской войны.

29 октября . В Москве открыт Театр революции под руководством В. Мейерхольда (ныне – Театр имени В. Маяковского).

1 ноября . Население Москвы – свыше 1 800 000 человек (не считая детей до 15 лет).

10 декабря . Открытие памятников А. Герцену и Н. Огареву перед зданием Университета на Моховой улице (скульптор Н. Андреев).

30 декабря . Съезд Советов провозглашает образование СССР.

1923 год

На 1 января в Москве зарегистрировано более 55 000 безработных.

Январь . Введение государственной монополии на продажу алкоголя.

20 января . В Москву прибыл норвежский исследователь Арктики, один из организаторов помощи голодающим Поволжья Фритьоф Нансен. (В 1921–22 годах от голода и сопутствующих эпидемий умерло не менее 5 миллионов человек.)

Март . Начал выходить журнал Левого фронта искусств (ЛЕФ).

В ночь с 31 марта на 1 апреля по обвинению в контрреволюционной пропаганде и противодействии изъятию церковных ценностей расстрелян прелат католической церкви в

России К.-Р. Буткевич (Будкевич).

1 апреля . Вышел первый номер советского журнала «Огонек» (под редакцией М. Кольцова).

8 мая . Министр иностранных дел Великобритании Дж. Керзон обратился к правительству СССР с меморандумом, в котором действия советских агентов в Иране, Афганистане и Индии расценивались как противоречащие условиям торгового соглашения 1921 года. В случае невыполнения требований меморандума британское правительство угрожало разорвать торговое соглашение. Официальная реакция советских властей была примирительной, пропагандистская кампания против ультиматума Керзона – очень резкой.

10 мая . В Лозанне бывший белогвардеец М. Конради убил полпреда СССР в Италии В. Воровского.

12 мая . В Москве прошла массовая демонстрация против угроз «английских империалистов». Лозунги: «Не шутите с огнем, господин Керзон!», «Лордам – в морду!», «Убийство Воровского – смертный час европейской буржуазии» и др.

16 июня . Находящийся в заключении патриарх Тихон в письме в Верховный суд РСФСР заявляет о «раскаянии» и признании Советской власти.

20 июня . С 1 января 1924 года вводится удостоверение личности единого образца. Фотография могла быть вклеена по желанию владельца.

Июнь . Выходит первый номер журнала «На посту», орган группы «пролетарских» писателей.

6 июля . Принимается Конституция СССР.

15 июля . Открытие воздушного сообщения Москва – Нижний Новгород.

13 августа . В черту города вошли селения Лихоборы, Кожухово, Владыкино, Ростокино, Шелепиха и Алексеевское.

14 августа . Постановление о ликвидации неграмотности к 1927 году.

19 августа . В Москве открылась Первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка. На ее территории позднее будет образован Парк культуры и отдыха.

8 октября . Троцкий направляет письмо членам ЦК и ЦКК РКП(б), в котором заявляет о растущей бюрократизации партийного аппарата.

15 ноября . ГПУ выведено из состава НКВД и преобразовано в ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) при Совнаркоме СССР. Председатель ОГПУ – Ф. Дзержинский.

21 декабря . Малый Совнарком РСФСР принимает решение о

временном ограничении въезда в Москву на постоянное жительство (за исключением граждан, призываемых на постоянную работу).

При Доме Герцена. Тверской бульвар, 25. 1922–1923

В 1920 году исполнилось пятьдесят лет со дня смерти А.И. Герцена. Совнарком принял решение отдать старинную усадьбу Яковлевых, где началась жизнь автора «Былого и дум», в

распоряжение писателей. (Герцен появился на свет в доме своего дяди, Александра Алексеевича Яковлева.) У ворот во двор на массивном пилоне была установлена мемориальная доска работы скульптора Н. Андреева с профилем Герцена и датами: «1812. 1870. 1920» (годы рождения, смерти и установки доски). В настоящее время мемориальная доска на пилоне отсутствует. Привычного ныне памятника Герцену во дворе тогда не было – он появился только в 1959 году (работа скульптора М. Мильбергера).

В 1920 же году во флигелях были устроены писательские общежития (в общей сложности в двух зданиях под жилье было отведено тогда не более десяти комнат). Жили только в первом этаже. В главном здании до 1923 года писатели располагали лишь двумя залами вместимостью в общей сложности до 150 человек. В конце марта или в апреле 1922-го во флигеле, где в настоящее время находится приемная Литинститута (левый флигель от ворот во двор, если стоять на Тверском бульваре, лицом к главному зданию), получает жилье Осип Мандельштам. Ныне этот флигель отмечен со стороны бульвара мемориальной доской (открыта в год 100-летия Мандельштама, в 1991-м; автор – скульптор Д.М. Шаховской). До этого, приехав в Москву из Киева, где был зарегистрирован их брак, Мандельштам с женой жили некоторое время у филолога Н.К. Гудзия (см. «Список адресов»).

Мемориальная доска на флигеле Дома Герцена. Скульптор Д. Шаховской

Писатели получили в свое распоряжение весь главный дом усадьбы, как было сказано, не сразу. Не так легко было выселить из дома «Рауспирт» – районное управление государственными заводами винокуренной промышленности. Кроме того, в усадьбе помещалось также издательство товарищества «Братья А. и И. Гранат», выпускавшее известный энциклопедический словарь. Но тем не менее постепенно в Доме Герцена обосновались объединения писателей пролетарских и крестьянских, Всероссийский союз писателей («попутчики») и Всероссийский союз поэтов, объединения «Кузница», «Перевал», «Литературный особняк» и другие.

Флигель, в котором поселились Мандельштамы не позднее третьей декады апреля 1922 года, приобрел тот вид, который имеет сегодня, лишь в 1882 году. До революции в нем

располагался «Нижегородский поземельный банк в городе Москве». Интерьер банка отличался богатством отделки и буржуазной солидностью – «резные деревянные панели, которые украшали стены и потолки, красивые печи штучных изразцов…» [96] . Остатки этого великолепия были уничтожены лишь в 1970-е годы. А в ту пору, в начале 1920-х, рядом с резными панелями мореного дуба, зеркальными стеклами и изразцами появились примусы, зачадили сковородки, расположились продавленные матрасы и колченогие стулья, протянулись бельевые веревки… «Ведал этим флигелем, как, впрочем, и всем Домом Герцена, писатель А.И. Свирский, который официально именовался членом правления Всероссийского союза писателей и заведующим Домами им. Герцена. Он-то и выдавал ордера и ключи…», – пишет о доме на Тверском бульваре москвовед Б. Краевский [97] . («Дома им. Герцена» – имеются в виду главное здание усадьбы и флигеля.) Жили в «мандельштамовском» флигеле разные литераторы: Андрей Платонов, Всеволод Иванов, Сергей Клычков, Дмитрий Благой и другие. Жил Валентин Парнах, писатель и меломан, послуживший Мандельштаму одним из прообразов героя повести «Египетская марка», Парнока.

Как жили Мандельштамы? Сюрреалистический быт той поры встает из воспоминаний Надежды Мандельштам, Николая Чуковского, Эмилия Миндлина, Валентина Катаева, Льва Горнунга, Ирины Одоевцевой, Михаила Пришвина, писем самого Мандельштама.

Флигель Дома Герцена. Здесь Мандельштамы жили в 1922–1923 гг.

Николай Чуковский, который был у Мандельштама летом 1922 года, упоминает большую комнату на втором этаже. История

его появления у Мандельштама, по словам Чуковского, такова. Восемнадцатилетний Н. Чуковский издал сборник молодых поэтов «Ушкуйники» (в котором были помещены и его собственные стихи). В Петрограде пристроить все экземпляры сборника в книжные магазины не удалось, и Чуковский поехал, следуя совету, в Москву, где до этого никогда не бывал. Никто в Москве книгу не брал, есть было нечего и ночевать негде. Он лег спать на скамейке Тверского бульвара как раз напротив Дома Герцена. Утром он проснулся.

«Я открыл глаза. Надо мной стоял Осип Эмильевич Мандельштам, тревожно и внимательно разглядывая меня. <…> Несмотря на то что Осип Эмильевич знал меня мало и отношения его с нашей семьей были довольно поверхностные, он, увидя меня спящим на бульварной скамейке, отнесся ко мне сердечно и участливо. На его расспросы я, со сна, отвечал сбивчиво и не очень вразумительно, и он повел меня в сад Дома Герцена, за палисадник, и усадил там меня рядом с собой на скамейку, в тени под липой.

Мы начали прямо со стихов – все остальное нам казалось менее важным. Мандельштам читал много. Я тогда впервые услышал его стихотворение, которое начиналось:

Я по лесенке приставной…

Потом он попросил читать меня. <…>

Мандельштам слушал меня внимательно, и на лице его не отражалось ни одобрения, ни порицания. <…>

Когда я прочитал все, что мог, он сказал:

– Каким гуттаперчевым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие.

Это суждение было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи.

Однако отношение его ко мне нисколько не изменилось. Все так же участливо повел он меня к себе в комнату, на второй этаж.

Комната, в которой он жил, большая и светлая, была совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой высокий деревянный сундук с откинутой крышкой, а у раскрытого настежь окна – один венский стул. Вот и все предметы в комнате. На подоконнике рыжей горкой лежал табак. Он предложил мне свертывать и курить» [98] .

(Несмотря на то что Мандельштам «отнесся к “Ушкуйникам” с полным презрением», он отвел Чуковского к каким-то нэпманам-книгопродавцам, нуждавшимся в товаре для своих книжно-газетных ларьков, и они тут же «купили… накладную» на книгу и выплатили деньги.)

Сам же Мандельштам в письме брату Евгению (от 11 декабря

1922 года) сообщает: «До сих пор спали на ужасном узком кухонном столе. По приезде купили хороший пружинный матрац, поставленный на раму, наподобие турецкого дивана. <…> В комнате тепло и уютно, но ведется вечная борьба с шумом (соседство кухни)». То есть матрац появился не сразу.

Валентин Катаев в книге «Алмазный мой венец» говорит о первом этаже. Лев Горнунг, побывавший у Мандельштамов, как он сообщает, в июле 1923 года, определенно называет первый этаж: «За оградой на широком дворе перед Домом Герцена находились два двухэтажных флигеля. Один – в левой части двора, если смотреть с бульвара, другой, такой же, – в правой части. Мандельштам жил в левом флигеле, на первом этаже. Перед основным зданием, стоявшим в глубине, была большая лужайка, покрытая травой. На нее и выходили окна Мандельштама» [99] . Описание Л. Горнунга подтверждается воспоминаниями Н. Мандельштам: «Из нашей комнаты было видно, как зажигаются окна в Доме Герцена» [100] . Значит, окна комнаты выходили во двор. Кроме того, Н. Мандельштам упоминает о том, что шедшие в Дом Герцена нередко подходили к окну, и Мандельштам с ними разговаривал, не выходя из комнаты.

Л. Горнунг продолжает: «Меня впустили в большую комнату. <…> Осип Эмильевич лежал на голом матрасе, закинув руки за голову. Пока шла беседа, я окинул беглым взглядом комнату. Обстановка была очень простая и даже бедная… В одном углу комнаты на стене прикреплены кнопками картины явно левого направления. Такие же красочные листы с какими-то фигурками, написанными гуашью в коричневых тонах, были прикреплены на окнах вместо занавесок, чтобы посторонние не заглядывали в комнату со двора.

Поймав мой взгляд на эти своеобразные занавески, Осип Эмильевич сказал, что это работа его жены и что она брала уроки у художницы Александры Экстер» [101] .

Через сорок лет, в 1964 году, Лев Горнунг написал стихи, в которых вспоминал этот приход к поэту:

Сегодня я твою припомнил келью,
Мольберт жены, этюды на столе,
Простой матрац, служивший вам постелью,
Год двадцать третий, звавший к новоселью,
И доброе твое письмо ко мне [102] .

Итак, если Н. Чуковский не путает, Мандельштамы поселились, видимо, сначала в комнате на втором этаже (если помещение, куда Мандельштам привел Чуковского, было действительно той комнатой, в которой Осип Эмильевич и

Надежда Яковлевна тогда жили), но, очевидно, вскоре перебрались на первый.

Напротив, в другом флигеле, периодически проживал тогда, наезжая в Москву, Пришвин. Он спал на лавке, покрывая ее рыжей плешивой енотовой шубой Мандельштама. Шубу эту он нечаянно сжег – она загорелась от примуса. Именно эта шуба упоминается в небольшом очерке Мандельштама: «Тяжело мне в моей шубе, как тяжела сейчас всей Советской России случайная сытость, случайное тепло, нехорошее добро с чужого плеча. Я спешу пройти в ней поскорее мимо окна гастрономического магазина, спешу рассказать знакомым, что заплатил за нее недорого…» («Шуба», 1922). Рассказ Пришвина «Сопка Маира» доносит до нас облик Мандельштама той поры и повествует о характерной для поэта обостренной гордости:

«Сам поэт Мандельштам с женой лежал напротив во флигеле на столе. Вот он козликом-козликом, небритый и все-таки гордо запрокинув назад голову, бежит ко мне через двор Союза писателей от дерева к дереву, так странно, будто приближается пудель из “Фауста”.

“Не за шубой ли?” – в страхе думаю я. Слава Богу, за папироской и нет ли у меня одного только листа писчей бумаги.

<…>

Вот он, гордо запрокинув голову, козликом перебегает ко мне от дерева к дереву. На пепелище своей собственной шубы он опять ставит принципиальный вопрос: Америка выдает помощь писателям, но требует подписи: “благодарю” – не обидно ли так получать помощь русскому поэту? не поднять ли этот вопрос в Союзе писателей?

– А что выдают? – спросил я.

– Восхитительные вещи: по двадцать фунтов белоснежного рису, какао, сахар, чай…

– Вот что, – сказал я, – напишем благодарность по-грузински: шени чириме, сульши чириме, гульши чириме…

– Что это значит?

– Так благодарят грузины, это значит: беру твои болезни себе, болезни сердца, болезни души… все болезни беру себе, и войну, и голод, и тиф – все себе, а вы будьте богаты и счастливы.

На этом и порешили…» [103] .

Сюда, в этот флигель, к Мандельштамам приходил обедать голодный и неприкаянный Хлебников, не имевший ни пайка, ни жилья. Мандельштам пытался устроить его жить при Доме Герцена, но жилплощадь получить не удалось, и Хлебников вскоре уехал из Москвы и умер в глухой новгородской деревне.

А питались Мандельштамы и кормили Хлебникова так: «Раз в

месяц нам насыпали в мешочки крупу, муку и сахар, отваливали брусок масла и отвратительную свиную голову», – вспоминала Н. Мандельштам. Все отдавали старушке дворничихе, жившей в подвале главного дома. «Она кормила нас кашей и заливным, и мы старались забыть, из чего оно сделано» [104] .

Осип Мандельштам. Москва, 1923

Мандельштам не был человеком злопамятным. Он считал Хлебникова выдающимся поэтом и старался, как мог, помочь товарищу. А ведь в 1913 году в Петербурге он вызывал Хлебникова на дуэль, и по весьма чувствительному для Мандельштама поводу: его возмутила антисемитская позиция Хлебникова в отношении к делу Бейлиса. Дуэль не состоялась – конфликт уладил художник Павел Филонов. Хлебников же, по слухам, был автором достаточно злого, хотя и по-своему

выразительно-точного прозвища, которое «прилипло» к Мандельштаму: Мраморная Муха. (По другой версии, прозвище придумал поэт В. Гнедов.) Но в голодной Москве начала 1920-х годов Мандельштам хлопотал о Хлебникове и делился с ним тем, чем мог.

Позднее полуподвал главного дома превратился в писательский ресторан. Мандельштам писал жене в 1926 году со слов брата Евгения, приехавшего из Москвы (письмо от 27 февраля): «Свирский устроил в подвале на Тверском, где наша старушка-сторожиха Хлебникова угощала, грандиозный ресторан». В «Мастере и Маргарите» М.А. Булгаков превратил его в ресторан «дома Грибоедова».

Надежда Мандельштам. Москва, 1923

А в 1922–1923 годах в пустой комнате левого флигеля Дома Герцена Мандельштам работал, рядом на кухне шумели писательские жены, это его раздражало, и он жаловался коменданту – Свирскому.

Надежда Мандельштам писала об этом времени во «Второй книге»:

«Я вспоминаю убогие мечты мои и женщин моего поколения: домишко, вернее, комната в коммунальной квартире, кучка червонцев – хоть на неделю вперед, туфельки и хорошие чулки. Женщины, замужние и секретарши, – все мы бредили чулками.

Непрочные – из настоящего шелка, чуть прогнившего, – они рвались на второй день, и мы, глотая слезы, учились поднимать петли. А кто из нас не плакал настоящими слезами, когда ломался проклятый каблук, пришедший из совсем другой жизни, на единственных, любимых, ненаглядных, глупых лодочках, созданных, чтобы в них сделать два шага – из особняка в карету… Ведь и в той прежней, устойчивой жизни никаких особняков и карет у нас не было бы. Муж-банкир слишком дорогая плата за благополучие, да и банкиры за свое золото требовали лучшего товара, чем дуры в лодочках. И хоть единственная пара туфель и одна пара чулок, но все же она у нас была, и мы выпендривались, как хотели…

Дурень Булгаков – нашел над чем смеяться [105] : бедные нэповские женщины бросились за тряпками, потому что им надоело ходить в обносках, в дивных юбках из отцовских брюк. Да, надоело, и нищета надоела, а сколько усилий требовалось, чтобы помыться в огромном городе, где первым делом уничтожили все ванные комнаты. Мы мылись, стоя на одной ноге и сунув другую под кран с холодной водой. Если нам попадала в руки тряпка, тут же разыгрывалось необузданное воображение, как бы из нее, вожделенной, сделать нечто прекрасное и годное на все случаи жизни» [106] .

Москва, где он вновь оказался, была интересна поэту. Обретя пристанище при Доме Герцена, Мандельштам осваивает город начала 1920-х годов.

«…жить нам в Москве, сероглазой и курносой, с воробьиным холодком в июле…

А я люблю выбежать утром на омытую светлую улицу, через сад, где за ночь намело сугробы летнего снега, перины пуховых одуванчиков, – прямо в киоск, за “Правдой”.

Люблю, постукивая пустым жестяным бидоном, как мальчишка, путешествовать за керосином не в лавку, а в трущобу. О ней стоит рассказать: подворотня, потом налево, грубая, почти монастырская лестница, две открытых каменных террасы; гулкие шаги, потолок давит, плиты разворочены; двери забиты войлоком; протянуты снасти бечевок; лукавые заморенные дети в длинных платьях бросаются под ноги – настоящий итальянский двор.

А в одно из окошек из-за кучи барахла всегда глядит гречанка красоты неописуемой, из тех лиц, для которых Гоголь не щадил трескучих и великолепных сравнений» («Холодное лето»).

И еще одно описание. Позднее, в подготовительных записях к главе «Москва» своей книги «Путешествие в Армению» (1931–1932) Мандельштам дает такую картину знакомого двора в

Замоскворечье – Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна снимали в 1931 году комнату в доме на Большой Полянке у знакомого юриста Цезаря Рысса:

«Табаки на дворике торчали как восклицательные знаки. Цветы стояли, прикуривая друг у друга по старинному знакомству. Между клумбами был неприкосновенный воздух, свято принадлежавший небольшому жакту [107] . Дворик был проходной. Его любили почтальоны и мусорщики. И меня допекала его подноготная с конюшнями, сарайчиками и двумя престарелыми черствыми липами, давно состоявшими на коричневой пенсии. Их кроны давно отшумели. Старость ударила в них казнящей молнией».

Так может писать только человек с глубоким чувством города. Мандельштам пробует Москву 1920-х на вкус, на запах и на цвет. Анна Ахматова однажды заметила относительно книги «Шум времени», что Мандельштам неожиданно оказался последним бытописателем Петербурга. Можно добавить, что так же непреднамеренно Мандельштам сумел стать отчасти и бытописателем Москвы 1920-х годов. Он отличается точностью и остротой взгляда, яркость и грациозность его описаний чудесны. Он замечает все: что в Москве «извозчики в трактирах пьют чай, как греческие философы» (образ так выразителен, что мы и не вспоминаем о неизвестности чая в Древней Греции), что «папиросные мальчишки ходят стаями, как собаки в Константинополе, и не боятся конкуренции» («Литературная Москва»), что «в темном вестибюле зоологического музея на Никитской валяется без призору челюсть кита, напоминающая огромную соху» (в записях к «Путешествию в Армению»); Мандельштам говорит о Воспитательном доме: «безумный каменный пасьянс», «опьянение штукатуркой и окнами, правильное, как пчелиные соты, накопление размеров, лишенных величья» («Холодное лето») – и его архитектура определена; поэт видит, как на бульваре «спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном» и «арестованный медведь гуляет – / Самой природы вечный меньшевик» («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето», 1931); он слышит, «каким железным, скобяным товаром / Ночь зимняя гремит по улицам Москвы…» («1 января 1924»). Можно цитировать и цитировать…

А вот и сам Тверской бульвар – бульвар насквозь литературный, многократно со времен Пушкина и Лермонтова воплощенный в слове, так что описаний его, вероятно, больше, чем деревьев на нем, – и Мандельштам, подхватывая традицию, сохраняет для нас колорит Тверского первой половины 1920-х годов:

«Вечером начинается игрище и гульбище на густом, зеленом Тверском бульваре – от Пушкина до тимирязевского пустыря. Но до чего много неожиданностей таят эти зеленые ворота Москвы!

Мимо вечных несменяемых бутылок на лотерейных столиках, мимо трех слепеньких, в унисон поющих “Талисман”, к темной куче народа, сгрудившейся под деревом…

На дереве сидит человек, одной рукой поднимает на длинном шесте соломенную кошелку, а другой отчаянно трясет ствол. Что-то вьется вокруг макушки. Да это пчелы! Откуда-то слетел целый улей с маткой и сел на дерево. Упрямый улей коричневой губкой висит на ветке, а странный пасечник с Тверского бульвара все трясет свое дерево и подставляет пчелам кошелку» («Холодное лето»).

Выразительно передана здесь еще сохранявшаяся в это время некая «деревенскость» Москвы, ее наивно-домашний быт. «Талисман» – вероятно, имеется в виду популярный романс на стихи Пушкина с музыкой Н.С. Титова («Там, где море вечно плещет / На пустынные скалы…»). Романс был достаточно известен, включался в «народные» песенники, пелся и в 1920-е годы уличными певцами.

Памятник Тимирязеву в восприятии Мандельштама: «Самый спокойный памятник из всех, какие я видел. Он стоит у Никитских ворот, запеленутый в зернистый гранит. Фигура мыслителя, приговоренного к жизни» (из записей к «Путешествию в Армению»).

Поэт замечает все. Процитируем очерк «Пивные» (1923): «Сухопарый сгорбленный старик с козлиным лицом и оловянными бляхами глаз, неверной походкой, нагибаясь и покачиваясь, вылез из маленькой стеклянной дверцы отдельного кабинета и невидящим глазом окинул пивную. При его входе все стихло. Головы повернулись. Завсегдатаи объясняли новичкам: тридцать лет поет, всю программу знает. Вслед за ним вышел хор и аккомпанемент. Два гармониста в скрипучих сапогах и русских рубахах – просто парни с ярмарки – уселись на скамьи, усердно качаясь, растягивали и собирали свою жалобную пищалку. По бокам, по двое в профиль к публике окаменели певцы. Старик управлял хором. Подвижное хитрое лицо подмигивало, глаза щурились, указательный палец выразительно вытягивался, голова нервно качалась.

Это была его привилегия – козлиная выразительность. Остальные не шелохнулись.

<…>

Где сейчас лубки, куда перешли они со стен московских трактиров? Где машина “орган”? Это вывелось; все больше

ресторанов, все меньше трактиров, все чаще стакан вместо “пары чая”. Только пивные еще придерживаются старых обычаев, но уже и в них часто каменные лица хора сменяются бойким актерским заигрыванием и вместо “Не даром поэты…” – полугусарский, полуопереточный репертуар».

Это, конечно, не Тверской бульвар, а пивная «для окраин, для подмастерий и мелких дельцов».

«Машина “орган”», упомянутая Мандельштамом, – популярное в XIX – начале XX века механическое самоиграющее музыкальное устройство. Называлась также «оркестрион», «оркестрофон» или «оркестрина». Музыкальная пьеса фиксировалась в таких устройствах с помощью специальных выступов на вращающемся валике. «Машина», как часто называли оркестрион, встречалась, как правило, в богатых, солидных трактирах и была предметом гордости владельцев и половых. «Наше заведение – трактир чистый, хлебосольский, без девок и безобразия… Орган в нем музыку играет» (высказывание полового из московского трактира) [108] . «Парой чая» именовались два фарфоровых чайника, в одном из которых приносили заварку, а в другом кипяток. «…И вместо “Не даром поэты…”»: источник цитаты не установлен.

Мандельштам написал о пивных; известно, что собирался он писать очерк и о московских вывесках.

Поэт пишет, что не ищет следов старины «в потрясенном и горючем городе» – но он тем не менее эти следы находит: «… разве свадьба проедет на четырех извозчиках – жених мрачным именинником, невеста – белым куколем, разве на середину пивной, где к “Трехгорному” подают на блюдечке моченый горох с соленой корочкой, выйдет запевала, как дюжий диакон, и запоет вместе с хором черт знает какую обедню» («Холодное лето»). «Трехгорное» – популярный сорт пива; в первой публикации очерка певец был назван еще выразительней: не «запевала», а «запевало» (возможно, в цитируемом нами издании «запевала» появился по ошибке?).

В московских стихах начала 1920-х легкими красками зарисован город во время несильного, мягкого дождя:

Московский дождик

Он подает куда как скупо
Свой воробьиный холодок —
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.
И в темноте растет кипенье —
Чаинок легкая возня, —
Как бы воздушный муравейник

Пирует в темных зеленях;
И свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве —
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве!
1922

В стихотворении отразилось, вероятно, впечатление от Тверского бульвара – в другом варианте имеются еще четыре строки, фиксирующие начало дождя:

Бульварной Пропилеи шорох —
Лети, зеленая лапта
Во рту булавок свежий ворох,
Дробями дождь залепетал.

Москва – «лапчатая», большая, дородная, как гусыня, как индюшка. Очерк «Холодное лето» перекликается со стихотворением «Московский дождик»: «Словно мешок со льдом, – пишет Мандельштам о прохладном московском ливне, – который никак не может растаять, спрятан в густой зелени Нескучного, и оттуда ползет холодок по всей лапчатой Москве…» И в другом очерке того же года, «Сухаревка», старинная башня, один из символов Москвы, напоминает писателю крупную домашнюю птицу (а рядом с башней – приведенная на рынок в «большую деревню» чья-то Зорька или Милка): «Под самой Сухаревой башней, под башней-барыней, из нежного и розового кирпича, под башней-индюшкой, дородной, как сорокапятилетняя государыня [109] , к чахлому деревцу привязана холмогорская корова».

У Мандельштама появляется еще один устойчивый эпитет, характеризующий Москву. «Воробьиный холодок» из приведенных стихов; «воробьиная, курносая армия московских девушек: милых трудящихся машинисток, цветочниц, голоножек» – «в ливень они снимают башмачки и бегут по красноватой глине размытых бульваров, прижимая к груди драгоценные туфельки-лодочки…» («Холодное лето»); «воробьиный хмель» – в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…». Воробей – птица бойкая, легкая, непоседливая, дерзкая, веселая. Воробей – настоящий горожанин, скромный и вольный житель улиц и площадей. Его существование анонимно, он беден, но беззаботен. В Москве, в этом огромном многоцветном городе-мире, раскинувшемся на холмах («скучные-нескучные, как халва, холмы» – из стихотворения «Там, где купальни, бумагопрядильни…», 1932), на Воробьевых горах, можно было почувствовать себя таким городским воробьем, незаметной, «богемной», свободной птицей, которая живет «озоруючи», как

поэт написал позднее о любимом Вийоне («Чтоб, приятель и ветра и капель…», 1937).

Поэт был благодарен Москве за такую возможность. Не себя ли он описал на том же Тверском бульваре?

«Мировые города, как Париж, Москва, Лондон, удивительно деликатны по отношению к литературе. Они позволяют ей прятаться в какой-нибудь щели, пропадать без вести, жить без прописки, под чужим именем, не иметь адреса. <…>

Непредупрежденному человеку может показаться, что в Москве нет совсем литературы. Если он встретит случайно поэта, то тот замахает руками, сделает вид, что страшно куда-то спешит, и исчезнет в зеленые ворота бульвара, напутствуемый благословениями папиросных мальчишек, умеющих, как никто, оценить человека и угадать в нем самые скрытые возможности» («Литературная Москва», 1922).

Мандельштам бродил по городу, ездил на трамваях. Вокруг были интересные места. Неподалеку – несколько театров. Он ходил с Надеждой Яковлевной в соседний Камерный (ныне – Драматический театр им. Пушкина), в театр Мейерхольда, но, по словам Н. Мандельштам, театралами они не стали. В Камерном театре могло вспомниться Мандельштаму недавнее столкновение с поэтом Вадимом Шершеневичем. Тогда, в начале апреля 1921-го, Мандельштам ехал из Петербурга через Москву в Киев, к Надежде Хазиной. В театре между поэтами возникла ссора, оба дали друг другу по пощечине, и Мандельштам вызвал Шершеневича на дуэль. Христина Бояджиева, актриса Камерного театра, бывшая свидетельницей конфликта, писала позднее: «Я не забыла тот вечер, не забыла бледного человека хрупкого сложения, который мужественно боролся за честь» [110] . Дуэль не состоялась – Шершеневич от нее уклонился. В определенные моменты Мандельштам, который вообще не отличался слишком большой храбростью, проявлял настоящие твердость и смелость и шел до конца. Есть, однако, в этой истории и привкус смешного: дуэль в Москве в 1921 году! Нечто несообразное…

В мемуарах «Великолепный очевидец. Поэтические воспоминания 1910–1925 гг.», написанных в 1934–1936 годах, В.Г. Шершеневич так излагает свою версию случившегося.

«В стенах… Камерного театра со мной произошла история, за которую я краснею до сих пор.

Я всегда любил и до сих пор люблю поэта Мандельштама. Я люблю его нездешний пафос, его строгость, его “вкуснопахнущие” слова и редкое мастерство.

Не знаю почему, но из-за какой-то легкой ссоры с Мандельштамом на вечеринке Камерного театра я разгорячился и

дал ему пощечину. Нас растащили.

На другой день… ко мне явился поэт Ковалевский.

Он явился торжественно и передал мне торжественный вызов на дуэль от Мандельштама.

Вызов был смешон. Еще бы один день, и я пошел бы извиниться перед поэтом, которого я люблю, и человеком, которого я уважаю. <…>

Не помню точно, что я сказал, но смысл сохранился…Я коротко ответил, что никакой дуэли не будет, а если Мандельштам будет приставать, то я его изобью еще раз, и посоветовал по этому поводу больше ко мне не обращаться. <…>

В результате дуэли, конечно, не было. С Мандельштамом мы не кланяемся до сих пор, хотя я прекрасно сознаю вину» [111] .

С.В. Шумихин, автор комментария к мемуарам Шершеневича, замечает: «Обстоятельства несостоявшейся дуэли изложены Шершеневичем весьма далеко от истины. <…> Сохранился составленный В. Ковалевским “Протокол о поведении В. Шершеневича и его секундантов”, из которого следует, что Шершеневич, секундантами которого вызвались быть Кусиков и Есенин, уклонился и от дуэли, и от каких-либо объяснений с Мандельштамом, вел себя грубо и неэтично» [112] .

Вызов на дуэль вписывается в линию «юродивого» поведения Мандельштама, о котором уже говорилось выше. Вообще Мандельштам, с его невысоким ростом и запрокинутой назад головой, нищенской одеждой и «гусарской» обидчивостью, рассеянностью и непредсказуемыми реакциями, был «притчей во языцех». О нем рассказывали анекдоты, называли его Мраморной Мухой; для многих он был чем-то вроде «городского сумасшедшего». Известный сумасшедший – это ведь тоже одна из городских примет: всегда есть в городе, в разных слоях, люди, исполняющие эту роль. И Мандельштам, иногда по крайней мере, сам сознавал, как он выглядит в глазах холодной толпы. Так, однажды, будучи уже в ссылке в Воронеже, он сказал своему знакомому Я. Рогинскому: «Знаете, почти в каждом городе есть концертный сумасшедший. Здесь, в Воронеже – это я» [113] .

А между тем за чудаческим поведением поэта нередко стояло то, о чем пишет в своих воспоминаниях о Мандельштаме Б.С. Кузин: «Реже всяких других, вероятно, встречаются люди, способные тонко чувствовать, не имеющие в себе ничего фальшивого, не меряющие ничего и никого меркой корысти, рефлекторно отвечающие на любое событие благородным движением души, щадящие в каждом его человеческое достоинство, испытывающие боль от чужого страдания или

унижения. А Мандельштам, кроме того (а может быть, несмотря на то), что был он гениальный поэт, был целиком сделан из всего этого высшего благородства» [114] .

«Дом Нирнзее». Большой Гнездниковский переулок

Вернемся к Москве 1922–1923 годов. Мандельштам бывает в многочисленных редакциях, в частности в московской редакции берлинской «сменовеховской» газеты «Накануне». «Накануне»,

просоветская эмигрантская газета, ориентировавшая своих читателей на признание большевистской власти и возвращение на родину, имела представительство в Москве. Из Москвы произведения писателей, живущих в советской России, отправлялись в Германию и публиковались на страницах газеты (у «Накануне» было и литературное приложение). Московская контора «Накануне» с марта 1922 года располагалась на первом этаже знаменитого в ту пору московского «небоскреба» – дома Нирнзее, который так называли по дореволюционному владельцу-архитектору. Дом этот и сейчас стоит в Большом Гнездниковском переулке у Тверской, совсем близко от Дома Герцена (см. «Список адресов»). Полированное дерево перегородок и затянутый серым сукном пол редакции смотрелись уютно и солидно. В этом издании был напечатан ряд произведений Мандельштама, в частности такие программные вещи, как стихотворения «Нашедший подкову», «Грифельная ода» (оба – 1923), статьи «Пшеница человеческая» (1922) и «Гуманизм и современность» (1923). На крыше огромного десятиэтажного дома показывали кинофильмы. На верху дома располагалось и кафе. С крыши дома Нирнзее, с самой высокой тогда точки Москвы, открывался великолепный вид на город, там была устроена смотровая площадка [115] . Очевидно, Мандельштам поднимался туда, подобно многим, чтобы увидеть Москву с высоты. В статье «Литературная Москва» он, перечисляя приметы московской жизни, не забыл упомянуть и такую: «…здесь на плоской крыше небольшого небоскреба показывают ночью американскую сыщицкую драму».

О публикациях Мандельштама в «Накануне» пишет в своих мемуарах «Необыкновенные собеседники» Эмилий Миндлин, который в начале 1920-х годов был сотрудником московской редакции газеты. Он же оставил яркое описание чтения Мандельштамом своего стихотворения «Нашедший подкову» во флигеле Дома Герцена.

«Мандельштам тут же попросил жену переписать для меня “Нашедшего подкову”… Но еще прежде, чем она взяла в руки перо, он стал возле меня, держа левую руку, как обычно, в пиджачном кармане, а правой уже приготовился дирижировать. Он прислонился боком к спинке моего стула, словно не был уверен, что устоит. Сначала голос его зазвучал сдержанно и без дрожи. Он словно только набирал силы.

Это было начало как бы спокойно эпического повествования в прозе:

Глядим на лес и говорим:

– Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны,
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю,
Одинокими пиниями,
В разъяренном безлесном воздухе…

Но вот все напряженнее, все туже паруса, вздутые ветром. Полупустая комната с крашеным дощатым полом наполняется глухими раскатами органа. Напряжение передается мне так, словно это не он, а я читаю. <…>

Я слушаю, вжав голову в плечи. Кажется, читая, он выпивает весь воздух комнаты. Никогда прежде я не видел Мандельштама таким. Лицо его бело, глаза сухи и словно испуганны. Даже всегда дрожащая при чтении стихов нижняя губа его не дрожит…

В его легких уже не хватает воздуха. Задыхаясь, он произносит последние строки:

Время срезает меня, как монету,
И мне уже не хватает меня самого…

Будь еще хоть одна строка, он уже не сумел бы произнести ее.

Благовещенский переулок, д. 3. Здесь в начале 1920-х помещалась редакция журнала «Огонек»

Он замолкает. Некоторое время держится за спинку моего стула. Кровь постепенно приливает к его лицу, выпяченная губа слегка увлажняется. В глазах появляется улыбка. Мандельштам приходит в себя. Он доволен. Потом он опускается на край железной кровати и искренне удивляется, что Надя до сих пор не переписала для меня “Нашедшего подкову”. Спроси его, он не скажет сейчас, сколько длилось его отсутствие» [116] .

Запомнилось Э. Миндлину и чтение Мандельштамом стихотворения «Концерт на вокзале» в редакции «Огонька» – она находилась в течение некоторого времени в Благовещенском переулке (см. «Список адресов»).

«Нашедший подкову» – стихи о том, что всевластное время все превращает в окаменелость; эпоха уходит («хрупкое летосчисление нашей эры подходит к концу»), оставляя по себе следы, которые будут мало понятны или вовсе не понятны потомкам, даже если те будут их хранить, – новые поколения не смогут воскресить, почувствовать то время, когда эти «ископаемые» были живой трепетной жизнью. Однако так – и, может быть, только так – сохраняется от эпохи хоть что-то.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами —

Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром иноходца.
Так
Нашедший подкову
Сдувает с нее пыль
И растирает ее шерстью, пока она не заблестит.
Тогда
Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше ей уже не придется высекать искры из кремня.
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущенье тяжести,
Хотя кувшин наполовину расплескался, пока его несли домой.
То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы.

Слова, завершающие стихотворение «Нашедший подкову», – о том, что время срезает человека, «как монету», – откликаются на более ранние, с грустной усмешкой, стихи, где также звучит мотив бегущего неостановимого и невозвратимого времени:

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг,
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Все чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.
А ведь раньше лучше было,
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.
Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.
1922

Мандельштам вошел в пору зрелости и хорошо знал цену времени. Его творческая активность в этот период была очень высокой. Он пишет целый ряд стихотворений, в том числе «Европа» («С розовой пеной усталости у мягких губ…»), «Холодок щекочет темя…», «Я не знаю, с каких пор…», «Я по лесенке приставной…», «Ветер нам утешенье принес…», «Московский дождик», «Век», «Нашедший подкову», «Грифельная ода» (одно из сложнейших мандельштамовских стихотворений, в котором тема взаимоотношений художника и всепоглощающего времени также нашла свое выражение); он печатается в московских изданиях «Россия», «Москва», «Возрождение», «Гостиница для путешествующих в прекрасном», «Известия», «Красная новь», «Огонек» и других. В «Огоньке» появляются московские очерки «Холодное лето» и «Сухаревка», в «Трудовой копейке» – очерк «Пивные», в «Рабочей газете» – «Генеральская» (все – в 1923 году). «Огонек» же печатает мандельштамовские очерки «Международная крестьянская конференция» и «Нюэн Ай-Как. В гостях у коминтернщика» (о них шла речь выше); в журнале «Россия» публикуются статьи «А. Блок (7 августа 1921 г. – 7 августа 1922 г.)», «Литературная Москва» и «Литературная Москва. Рождение фабулы», а также «Борис Пастернак»; в «Русском искусстве» – «Vulgata (заметки о поэзии)»; в «Красной нови» – рецензия «Андрей Белый. Записки чудака». Статьи «Девятнадцатый век» и «Конец романа» появляются на страницах журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном» и альманаха «Паруса». В «Накануне» помещается ряд стихотворений и печатаются статьи «Пшеница человеческая» и «Гуманизм и современность». Летом 1922 года в русском издательстве “Petropolis” в Берлине выходит сборник стихов Мандельштама “Tristia”, которым поэт не был удовлетворен; составил сборник и дал ему название Михаил Кузмин. Авторский вариант второго

поэтического собрания под названием «Вторая книга» издается в конце мая 1923 года московским издательством «Круг». 11 мая 1922 года Мандельштам заключает с Госиздатом договор на издание сборника «Аониды» (не вышел). В июле 1923-го Госиздат выпускает третье издание «Камня».

Поэт работает над переводами из грузинской поэзии (Важа Пшавела), из французского средневекового эпоса. Еще 23 мая 1922 года переводы с французского (по крайней мере часть из них) сдаются в Госиздат (получают, правда, отрицательный отзыв). Лишь «Сыновья Аймона» (отрывок из поэмы «Четыре сына Аймона») публикуются в журнале «Россия» и альманахе «Наши дни» (обе публикации – в 1923 году). В мае 1923-го выходит драма немецкого писателя Э. Толлера «Человек-масса» в мандельштамовском переводе. Ранее, 30 января 1923-го, состоялась премьера спектакля по пьесе Толлера в Театре Революции. Пьеса шла в этом театре в 1923–1924 годах.

Журнал «Россия» заказывает Мандельштаму книгу автобиографической прозы. Основная работа над «Шумом времени» была проведена в конце лета – сентябре 1923 года в Крыму. Заканчивал поэт свой труд над книгой в Апрелевке под Москвой в 1924-м. (На страницах «России» «Шум времени» не появился – книга была опубликована в 1925 году ленинградским издательством «Время».)

Состоялся вечер Мандельштама во Всероссийском союзе писателей (в Доме Герцена) – это отметил в своем дневнике 10 апреля 1922 года литературовед И.Н. Розанов [117] . 24 мая 1922 года Мандельштам выступает на собрании «Литературного особняка» в ЦДРПИ – Центральном Доме работников просвещения и искусств в Леонтьевском переулке (см. «Список адресов»). Из отчета об этом выступлении в «Литературном приложении» к газете «Накануне»: «…читал стихи Мандельштам, произведший на слушателей исключительное впечатление. По общему мнению, последние стихи Мандельштама – изумительное явление в современной русской литературе» [118] . Состоялся вечер Мандельштама и в июле 1922 года на собрании Союза поэтов. В этот период его можно было видеть, хотя и не часто, в поэтических кафе «Кафе поэтов» и «Стойло Пегаса». Будучи членом Московского лингвистического кружка, поэт бывает на его собраниях. Устанавливается общение с рядом московских литераторов. И. Розанов сохранил в своей дневниковой записи от 18 апреля 1922 года важное высказывание Мандельштама на пушкинскую тему (Осип и Надежда Мандельштам были в гостях в доме литературоведа Н.К. Гудзия): «С Мандельшт<амом> очень долго беседовали. <…> Поэт дышит стихами. Слово “дыхание”

здесь самое уместное. Не надо пушкинизма и пушкинианства: у нас слишком много пишут о Пушкине и изучают его, а мало читают. Надо читать – только. Пушкин д<олжен> б<ыть> нашей кровью… Кровь должна струиться в жилах, но не проступать на поверхность…» [119]

«Пушкинская кровь» действительно струится в жилах поэзии Мандельштама. Причем обращение к пушкинским мотивам всегда серьезно мотивировано; Мандельштам не прибегает к Пушкину по незначительным поводам. В качестве примера можно привести одну из двух известных концовок стихотворения «О, как мы любим лицемерить…» (написано в мае 1932 года, в другой период жизни при Доме Герцена – см. об этом времени ниже).

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.
Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.
Но не хочу уснуть, как рыба
В глубоком обмороке вод,
И дорог мне свободный выбор
Моих страданий и забот.

Стихотворение об одиночестве и свободе; говоря об этом, поэт обращается в финальной части к Пушкину – сравним: «Но не хочу, о други, умирать. / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать…»

Раскинулась на обширном пространстве, вобравшем в себя полудеревенские окраины, заводы, бесчисленные церкви, сады, пивные, театры и рабочие клубы, бульвары, бывшие купеческие дома Замоскворечья и ампирные особняки пречистенских и арбатских переулков, огромная Москва. И литературный ландшафт ее был столь же обширен и разнообразен. Мандельштам пристально разглядывал этот пейзаж, обращая в первую очередь внимание на область поэзии. «Как от Таганки до Плющихи, раскинулась необъятно литературная Москва от “Мафа” до “Лирического круга”» (статья «Литературная Москва») [120] . В своих работах, посвященных поэзии, Мандельштам подводит итоги прошедшему периоду ее существования и намечает дальнейшие перспективы. Естественно, это не отстраненные рассуждения: что бы поэт ни писал на эту тему, это в конечном счете размышления о своем пути, своих возможностях, своих устремлениях. «Отныне русская поэзия первой четверти двадцатого века во всей своей совокупности уже

не воспринимается читателями как “модернизм” с присущей этому понятию двусмысленностью и подозрительностью, а просто как русская поэзия, – пишет Мандельштам в статье 1922–1923 годов “Буря и натиск”. – Произошло то, что можно назвать сращением позвоночника двух поэтических систем, двух поэтических эпох». Вся новая поэзия берет начало в символизме, и за символизмом навсегда сохранится честь вывода русской поэзии из доморощенной изоляции, за ним останется заслуга выхода к новой европейской культуре. «В конце прошлого века русская поэзия вышла из круга домашних напевов Фета и Голенищева-Кутузова, приобщилась к широкому кругу интересов европейской мысли и потребовала себе мирового значения. Все было внове для молодых сотрудников “Весов” – Брюсова, Эллиса, Зинаиды Гиппиус. До сих пор еще, перечитывая старые “Весы”, захватывает дух от радостного удивления и волнующей лихорадки открытия, которой была одержима эта эпоха» («Письмо о русской поэзии», 1922). Символизм – «лоно всей новой русской поэзии» (статья «Выпад», 1924). Но символизму мало было быть просто поэзией. Он претендовал на то, чтобы стать новым учением о жизни, новой философией и теософией, был устремлен к запредельному; поэзия превращалась в некое подобие мистического религиозного культа. Мандельштам оценивает такое стремление как ложное и нецеломудренное. Поэт не проповедник и не священник и не должен претендовать на эту роль. В мистическом тумане исчезает живая жизнь, слово теряет вещность и самоценность и становится лишь символом чего-то иного, якобы высшего. Иллюстрируя это утверждение, Мандельштам пишет в статье «О природе слова»: «Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Для символиста ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза – подобие солнца, солнце – подобие розы, голубка – подобие девушки, а девушка – подобие голубки. Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием». Русские символисты «запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления». «Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов…» (там же). Страдавший своего рода гигантоманией, самонадеянностью дать ответы на глубинные вопросы человеческого духа, символизм был поражен «болезненной водянкой мировых тем». Но работа ни одного из основоположников символизма «не пропала даром. У каждого есть чему учиться и в настоящую, и в какую угодно минуту» («Буря и натиск»).

Из символистов Мандельштам выделяет Блока. Блок, по его

мнению, подвел в русской поэзии итог XIX веку и сделал шаг в будущее. «Самое удобное – измерять наш символизм градусами поэзии Блока. Это живая ртуть, у него и тепло, и холодно, а там всегда жарко» («Письмо о русской поэзии»). «На вопрос, что хотел сказать поэт, – пишет Мандельштам в статье “А. Блок (7 августа 1921 г. – 7 августа 1922 г.)”, – критик может и не ответить, но на вопрос, откуда он пришел, отвечать обязан…» И Мандельштам отвечает на этот вопрос. Он слышит в поэзии Блока ритмы Некрасова и Аполлона Григорьева, мотивы цыганского романса, не говоря уже о влиянии Владимира Соловьева и Фета; но Блоку была открыта и внятна также Европа: «…он стал русским романтиком, умудренным германскими и английскими братьями, и, наконец, русским поэтом, который осуществил заветную мечту Пушкина – в просвещении стать с веком наравне» («Письмо о русской поэзии»). Блок «слушал подземную музыку русской истории», обладал великолепным историческим чутьем. (Тем же качеством обладал, по мнению автора данной книги, и сам Мандельштам.) «Из каждой строчки стихов Блока о России на нас глядят Костомаров, Соловьев и Ключевский…» («А. Блок. (7 августа 1921 г. – 7 августа 1922 г.)»). В поэме «Двенадцать» Блок сделал шаг вперед, введя в поэзию язык улицы революционного времени. «Поэма “Двенадцать” – монументальная драматическая частушка. <…> Независимо от различных праздных толкований поэма “Двенадцать” бессмертна, как фольклор» (там же).

Из поэтов старшего поколения Мандельштам отводит также особое место Иннокентию Анненскому, чье влияние «сказалось на последующей русской поэзии с необычайной силой» («Буря и натиск»).

Говоря об акмеистах, к которым и сам Мандельштам принадлежал, поэт отмечает, что они «отказались от мании грандиозного раннего символизма, заменив ее кто монументальностью приема, кто ясностью изложения, далеко не с одинаковым успехом» («Буря и натиск»). «Акмеизм возник из отталкивания: “Прочь от символизма, да здравствует живая роза!” – таков был его первоначальный лозунг» («О природе слова»).

Мандельштам, естественно, не ограничивается в своих статьях на данную тему подведением итогов прошедшего, но и отвечает на вопрос, что происходит в современной поэзии начала 1920-х годов (и, в частности, в Москве, где он в это время живет). Традиция и новаторство должны, по мнению Мандельштама, находиться в разумном соотношении. В Москве этого нет. Одной из важных особенностей современного положения в московской поэзии является явное преобладание новаторства. И в этом – проявление некоторого провинциализма: провинция всегда

готова схватить все «самое-самое» новое. «Изобретенье и воспоминанье идут в поэзии рука об руку, вспомнить – значит тоже изобрести, вспоминающий – тот же изобретатель. Коренная болезнь литературного вкуса Москвы – забвенье этой двойной правды. Москва специализировалась на изобретенье во что бы то ни стало» («Литературная Москва»). Нечто доморощенно-провинциальное видит Мандельштам в имажинизме: «Ныне мы стоим перед поздним шумным рецидивом символизма, поэзией московских школ, главным образом имажинистов, – тоже наивное явление, только хищническое и дикарское, – на этот раз не перед духовными ценностями культуры, а ее механическими игрушками. <…> Молодые московские дикари открыли еще одну Америку – метафору, простодушно смешали ее с образом и обогатили нашу литературу целым выводком ненужных растерзанных метафорических уподоблений» («Письмо о русской поэзии»).

В «лагере чистого изобретенья» располагаются и футуристы. Обновитель поэтического языка Маяковский, преследуя цель демократизации поэзии, стремится сделать ее максимально доступной для широкого читателя. Эта работа очень важная, но на этом пути Маяковского, по мнению Мандельштама, подстерегает серьезная опасность. «Великолепно осведомленный о богатстве и сложности мировой поэзии, Маяковский, основывая свою “поэзию для всех”, должен был послать к черту все непонятное, то есть предполагающее в слушателе малейшую поэтическую подготовку. Однако обращаться в стихах к совершенно поэтически неподготовленному слушателю – столь же неблагодарная задача, как попытаться усесться на кол. Совсем неподготовленный совсем ничего не поймет, или же поэзия, освобожденная от всякой культуры, перестанет вовсе быть поэзией и тогда уже по странному свойству человеческой природы станет доступной необъятному кругу слушателей» («Литературная Москва»).

Усмотрев, вероятно, в стихах Цветаевой того времени нечто «народно»-консервативно-стилизаторское, Мандельштам резко отзывается о них как о «лженародных и лжемосковских» («Литературная Москва»). В беседе с литературоведом И.Н. Розановым в доме Н. Гудзия (запись в дневнике Розанова от 18 апреля 1922 года) Мандельштам сказал: «Марина Цветаева все время говорит пословицами и присловьями: нельзя же так» [121] . (В этой же записи И. Розанов отмечает, имея в виду М. Цветаеву: «У нее Мандельштамы и поселились». Это маловероятно. О том, что Мандельштамы, приехав в Москву в 1922 году, какое-то время жили у Цветаевой, в других известных источниках сведений нет.)

Для Мандельштама педалируемая народность – тупиковый путь. Народность не в фольклоризаторстве. «И Хлебников, и Маяковский настолько народны, что, казалось бы, народничеству, то есть грубо подслащенному фольклору, рядом с ними нет места» («Буря и натиск»). Таковое фольклоризаторство Мандельштам усматривает в творчестве Есенина «и отчасти Клюева». Достоинство стихов Есенина и Клюева – «в их богатых провинциализмах», служащих обновлению поэтического языка.

Самое пристальное и сочувственное внимание вызывают у Мандельштама Хлебников и Пастернак. Хлебников – языкотворец, поэт уникального дара, ему современны все пласты языка, от архаики до злободневных речений. «Какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе – железнодорожный мост или “Слово о полку Игореве”. <…> Каждая его строчка – начало новой поэмы. Через каждые десять стихов афористическое изречение, ищущее камня или медной доски, на которой оно могло бы успокоиться. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень» («Буря и натиск»). О поэтической книге Бориса Пастернака «Сестра моя жизнь» Мандельштам отзывается восторженно: «Со времен Батюшкова в русской поэзии не звучало столь новой и зрелой гармонии. Пастернак не выдумщик и не фокусник, а зачинатель нового лада, нового строя русского стиха, соответствующего зрелости и мужественности, достигнутой языком» («Буря и натиск»). В первую очередь, как формулирует это Мандельштам, в Хлебникове и Пастернаке происходит «обмирщение» поэтического языка, то есть идет процесс отказа от усредненной интеллигентской речи (которую Мандельштам уподобляет церковнославянизмам монахов – «интеллигентов» средневековья, носителей византийской традиции) и расширение диапазона языковых средств. Такую же обновляющую роль вторжения в литературу живой речи выполнили в свое время «Слово о полку Игореве» и проза протопопа Аввакума (оба произведения были любимы Мандельштамом). «Когда прозвучала живая и образная речь “Слова о полку Игореве”, насквозь светская, мирская и русская в каждом повороте, – началась русская литература» («О природе слова»). Речь Хлебникова – «абсолютно светская и мирская русская речь». Так же характеризуются и стихи Пастернака: чтение его сборника «Сестра моя жизнь» дарит «чистую радость… освобожденной от внешних влияний мирской речи» («Vulgata (Заметки о поэзии)», 1922–1923). Поэзия Пастернака – оздоравливающее русскую поэзию средство. «Стихи Пастернака почитать – горло прочистить, дыханье укрепить,

обновить легкие: такие стихи должны быть целебны от туберкулеза. У нас нет сейчас более здоровой поэзии. Это – кумыс после американского молока» («Борис Пастернак», 1922–1923). Пастернак – москвич, теснейшим образом связанный с родным городом, и, соответственно, процесс обновления поэтического языка многим обязан Москве. Мандельштам сознавал это: «…с Петербургом неладно, он разучился говорить на языке времени и дикого меда» («Литературная Москва»). Вспомним, что «дикий мед» уже имел у Мандельштама «привязку» к Москве: «Ее церквей благоуханных соты – / Как дикий мед, заброшенный в леса…» («Все чуждо нам в столице непотребной…»)

Увлеченный творческими достижениями Хлебникова и Пастернака, Мандельштам пересматривает некоторые свои позиции. Вопреки тому, что он сам недавно писал об «эллинизме» русского языка, теперь поэт заявляет в статье «Vulgata (Заметки о поэзии)»: «Неверно, что в русской речи спит латынь, неверно, что спит в ней Эллада. <…> В русской речи спит она сама, и только она сама». И главная задача – «в последовательном обмирщении поэтической речи».

Говоря о Пастернаке и Хлебникове, Мандельштам намечает пути собственного движения, определяет основы своей новой поэтики.

Но в футуризме, в Крученых, в Хлебникове есть и соблазн – соблазн зауми, соблазн слова, отказавшегося от ясности, от смысла, некое лингвистическое буйство. В 1922 году Мандельштам написал два стихотворения, в первой публикации объединенные общим названием «Сеновал»; в этих стихах автор говорит об отношениях поэта с миром, о соотношении поэтического языка и мира.

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась —
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?
Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь – разбудить.
Раскидать бы за стогом стог
Шапку воздуха, что томит.
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.
Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная, нашлась

Через век, сеновал, сон.

Второе стихотворение «двойчатки» (мандельштамовское словцо):

Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, —
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.
И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?
Звезд в ковше Медведицы семь.
Добрых чувств на земле пять.
Набухает, звенит темь,
И растет, и звенит опять.
Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит.
Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит…
Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем,
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.
Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад —
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.
Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна – скрепясь,
А другая – в заумный сон.

В «Сеновале» противопоставляются хаос мироздания, олицетворенный во «всклоченном» стоге сена (он представляет собой картину жизни – звезды в стихотворении «Я по лесенке приставной…» именуются «млечной трухой»), и человек, поэт, который должен как-то определить свою позицию в мире. Вступая в диалог со стихотворением Б. Пастернака «Степь» (как показал К.Ф. Тарановский), автор «Сеновала», вероятно, мог держать в памяти и стихи Фета «На стоге сена ночью южной…» [122] , в концовке которых отчетливо звучит тревожная нота: «И с замираньем и смятеньем / Я взором мерил глубину, / В которой с каждым я мгновеньем / Все невозвратнее тону» [123] . Однако отношения лирического героя Мандельштама с окружающей его стихией мира имеют более напряженный, конфликтный характер.

«Сеновала древний хаóс» внеразумен, иррационален. Очевидно, что в стихах «Сеновала» звучит, наряду с другими нотами, и тютчевский мотив: «О, страшных песен сих не пой / Про древний хаос, про родимый! / Как жадно мир души ночной / Внимает повести любимой! // Из смертной рвется он груди, / Он с беспредельным жаждет слиться!.. / О, бурь заснувших не буди – / Под ними хаос шевелится!» («О чем ты воешь, ветр ночной?») [124]

Замечено исследователями, что эти мандельштамовские стихи могут иметь связь и с картиной Иеронима Босха «Воз сена». Действительность, какой она предстает в «Сеновале», иррациональна и изначально негармонична, представляет собой «вечную склоку». Признаками «дикости» и «хаоса» в стихотворении являются «сухость» («сухоньких трав звон», «травы сухорукий звон» – образы амбивалентные: с одной стороны, «сухорукость» не может не связываться с ущербностью, с другой – звон сухой травы является музыкой, не просветленной разумом поэзией самой природы) и «косматость», которым противопоставлена влага человеческой крови. Что делать с этим поэту? Каким языком возможно сказать об этой нечеловеческой жизни, какая речь будет ей адекватна? Не будет ли соответствовать ей в наибольшей степени речь столь же дисгармоничная, отдавшаяся прежде всего звуку, а не смыслу, освобожденная от оков поэтического строя, – речь заумной поэзии? Таковы вопросы, поставленные в «Сеновале». По мнению М.Л. Гаспарова, логика смыслового движения в «Сеновале» приводит поэта к следующим выводам: «…нет, упорядочить мир – дело безнадежное, нужно не сродниться с ним, а, наоборот, отстраниться, “откреститься” от него – чтобы розовая кровь осталась внутренней “связью” человека, а звон трав остался иррациональным бредом его внешнего окружения» [125] . «Осваивать такой мир безнадежно, от него можно только откреститься и оставить его в его иррациональной заумности», – продолжает свой анализ М. Гаспаров; «…не нужно возбуждать в нашей душе, в нашей крови темные чувства древнего хаоса – и наоборот, не нужно в хаосе мироздания ловить человеческую стройность поэзии (“эолийскую” – образ из “Памятника” Горация)»; «…отстраниться от мирового хаоса и даже больше: преодолеть соблазн слияния с ним…». Два стихотворения «Сеновала» отражают тяготение Мандельштама к зауми, футуристически-дионисийскому словесному буйству – и боязнь хаоса, отказ от него, указывает О. Ронен [126] .

В стремлении ряда поэтов к заумному языку есть своя правда, и в последующем творчестве Мандельштама есть черты зауми. Но

последовательная, идущая до конца заумь чревата распадом, это путь в тупик, к дикарству (неслучайно «косматость» из «Сеновала» перекликается с тем местом из написанного в следующем, 1923 году очерка «Сухаревка», где Мандельштам говорит об угрозе городского одичания: «Если дать базару волю, он перекинется в город и город обрастет шерстью»). Новая поэзия спешит (и это неслучайный глагол в «Сеновале»: слишком торопится) «обрасти косматым руном», но это «не своя чешуя». Как понять строку «Против шерсти мира поем»? Ведь казалось бы, все наоборот: «обрасти шерстью», отдаться зауми, иррациональному и значит как раз соответствовать внеразумной действительности, «возу сена». Автору данной книги видится разрешение этого противоречия таким: Мандельштам разводит в стихах о «Сеновале» «хаос» и «мир». Жизнь не сводится к «древнему хаосу»; в ней есть и другое начало, начало гармонии, и это – человеческая сфера. Слово «мир» в стихотворной «двойчатке» (так Мандельштам называл двухвариантные стихи) означает, по нашему мнению, не что иное, как противоположность хаосу – порядок, гармонический строй («эолийский чудесный строй»), аполлоническое начало («мiр»). Вселенная не сводится к хаосу: неслучайно воз сеновала «поперек вселенной торчит». «Обрасти косматым руном» и значит петь «против шерсти мира», в противоречии с началом гармонии. Этот этап поэзия проходит, и она должна его пройти, но на нем нельзя остановиться. Мандельштам говорит о Хлебникове: «Он наметил пути развития языка, переходные, промежуточные, и этот исторически не бывший путь российской речевой судьбы, осуществленный только в Хлебникове, закрепился в его зауми, которая есть не что иное, как переходные формы, не успевшие затянуться смысловой корой правильно и праведно развивающегося языка» («Vulgata (Заметки о поэзии)»). Не следует поспешно отказываться от разума. В том же 1922 году, когда были созданы стихи «Сеновала», Мандельштам закончил статью «Девятнадцатый век» такими словами: «Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум, ratio энциклопедистов – священный огонь Прометея».

Как воспринимал Мандельштам происходившее в стране и мире? Европа, только что пережившая страшную войну, должна, по его мнению, извлечь урок из случившегося: осознать свое единство, похоронить узкий национализм, обратить все силы на устройство более человечной жизни, более справедливого общества. «Ныне трижды благословенно все, что не есть политика в старом

значении слова, благословенна экономика с ее пафосом всемирной домашности, благословен кремневый топор классовой борьбы, все, что поглощено великой заботой об устроении мирового хозяйства, всяческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном, то есть совокупности утвари, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба, сейчас одно и то же. <…> Стыд вчерашнего мессианизма еще горит на лице европейских народов, и я не знаю более жгучего стыда после всего, что совершилось. Всякая национальная идея в современной Европе обречена на ничтожество, пока Европа не обретет себя как целое, не ощутит себя как нравственную личность. <…> В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось – вся масса литого золота исторических форм и идей; вернулась в состояние сплава, в жидкую золотую магму, не пропала, а то, что выдает себя за величие, – подмена, бутафория, папье-маше» («Пшеница человеческая»). В своем гимне переустройству жизни на новых началах Мандельштам доходит и до прославления «кремневого топора классовой борьбы» – «социалистов великая ересь» (Маяковский. «Революция. Поэтохроника») никак не была ему чужда. Шел 1922 год; какой невиданной несвободой обернется новое время, какой лес пойдет под этот топор – еще никто не осознавал в полной мере.

Чувство культурного братства Европы – очень важная составляющая мандельштамовского видения мира. В одной из своих лекций В.Б. Микушевич назвал Мандельштама «певцом европейского единства», и это точная характеристика. Неслучайно поэт подчеркивает, что символисты вывели русскую поэзию из доморощенного состояния; неслучайно Мандельштам, говоря об акмеизме, дал свое известное определение: «тоска по мировой культуре». Место России – в этой семье европейских народов, а не в изоляции, под каким бы флагом эта изоляция ни утверждалась. Наступила новая эпоха, и Европа увлекаема в будущее, непредсказуемое и тревожное:

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит – женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд

велик.

Изредка выскочит дельфина колесо

Да повстречается морской колючий еж.

Нежные руки Европы, берите все!

Где ты для выи желанней ярмо найдешь?

Горько внимает Европа могучий плеск,

Тучное море кругом закипает в ключ,

Видно, страшит ее вод маслянистый блеск

И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.

О, сколько раз ей милее уключин скрип,

Лоном широкая палуба, гурт овец

И за высокой кормою мельканье рыб!

С нею безвёсельный дальше плывет гребец.

1922

Согласно античному мифу, Зевс, влюбившись, похитил финикиянку Европу, приняв облик быка. Стихотворение Мандельштама приводит на память также известную картину Валентина Серова.

Надеясь на то, что новый мир может быть «очеловечен», Мандельштам в то же время ясно различал настораживающие особенности наступившего века: тоталитарные тенденции и резко увеличившиеся возможности уничтожения. В современности, явившейся на смену XIX столетию, просматривались черты отдаленной архаики, а технические новинки напоминали доисторических животных.

«В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может, египетской и ассирийской:

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.

В отношении к этому новому веку, огромному и жестоковыйному, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его теологическим теплом – вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк» («Девятнадцатый век», 1922). Мандельштам цитирует в статье первое четверостишие собственного стихотворения 1922 года «Ветер нам утешенье принес…», в котором стрекозы приводят на память боевые летающие машины. Продолжение стихотворения таково:

И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.
Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.
И, с трудом пробираясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

Военная гроза темнит небо, и ангел смерти Азраил берет его «под высокую руку».

Хорошо известно всеобщее увлечение авиацией в первые десятилетия XX века. В России авиационный энтузиазм был, возможно, еще более горячим, чем в Европе и Америке. Во-первых, Октябрьская революция осознавалась многими не только как социальный, но и космический переворот, положивший начало преображению Вселенной – от победы над смертью и планируемого улучшения биологической природы человека до освоения иных планет. «Мы ищем и находим подлинную сущность прекрасного, – провозглашала, например, вступительная статья к первому номеру журнала “Гостиница для путешествующих в прекрасном” (ноябрь 1922 года), – в катастрофических сотрясениях современного духа, в опасности Колумбова плавания к берегам нового миросознания (так понимаем мы революцию), в изобретательстве порядка космического» [127] . Во-вторых, советская Россия противопоставила себя всему остальному миру, который считался порабощенным господствующим в нем злом и подлежащим освобождению в неизбежной битве с эксплуататорами, – соответственно, Страна Советов должна была обладать мощной современной армией и, в частности, создать сильный военно-

воздушный флот. «Важнейшей силой, по мысли большевиков, авиация должна была стать… в будущей мировой пролетарской революции» [128] .

Развитию авиации уделялось в стране большое внимание. Приведем несколько фактов, дающих представление о бурном развитии воздухоплавания в начале 1920-х годов. 1 мая 1921 года начала функционировать первая в СССР воздушная линия Москва – Харьков. 11 ноября создается управление предприятиями Военно-воздушного флота – «Промвоздух». 1 мая 1922 года, также в праздничный день, открывается воздушная линия Москва – Кенигсберг. Вскоре, в этом же месяце, начинает действовать первый в РСФСР аэродром – имени Троцкого, позднее переименованный в честь Фрунзе. В мае же 1922-го проходят испытания первого советского самолета-триплана и моноплана АНТ-1 (конструктором моноплана был А.Н. Туполев). Активную исследовательскую работу проводит в начале двадцатых годов Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). В конце июля 1922 года совершается первый рейс Москва – Нижний Новгород; в августе – сентябре самолеты на этой линии обеспечивают быстрое сообщение столицы с нижегородской Всероссийской ярмаркой. (Постоянные рейсы на этом маршруте начнутся в следующем, 1923 году.) 12 сентября 1922 года состоялся групповой испытательный перелет семнадцати истребителей по маршруту Петроград – Москва. В течение двух недель, с 16 по 30 сентября, летчик Б. Веллинг совершает перелет на далекое расстояние: Москва – Смоленск – Витебск и далее, уже из Гомеля: Гомель – Одесса – Севастополь – Харьков – Серпухов – Москва. Он же в следующем, 1923 году с тремя пассажирами на борту летит по маршруту Москва – Бухара – Москва. В августе 1922-го в Москве начинает выходить журнал «Воздухоплавание». В начале октября И.И. Сидорин создает новый «авиационный» металл, так называемый кольчугалюминий (вид дюралюминия). В конце 1922-го, 23 ноября, образована на базе Института инженеров Красного воздушного флота Военно-воздушная инженерная академия имени Н.Е. Жуковского (Н. Жуковский умер в прошлом, 1921 году, 17 марта).

Агитационная скульптура «Пролетарий, строй воздушный флот!»

В следующем, 1923 году курс на всемерное развитие советской авиации был обозначен еще более определенно. В начале февраля проходит первая Неделя авиации под девизом: «Пролетарий, создавай воздушный флот!»; 9 февраля появляется Совет по гражданской авиации; в феврале же «Троцкий предлагает создать Общество друзей воздушного флота (ОДВФ), и это предложение утверждается Революционным военным советом СССР» [129] . 1 марта началась новая Неделя воздушного флота. В завершение агитационной недели, 8 марта, и создается в Москве ОДВФ. В руководящий совет общества входят, в частности, Антонов-Овсеенко, Дзержинский, Сталин, Молотов, Красин, Луначарский, Фрунзе. «Председателем общества был назначен А.И. Рыков, возглавлявший в то время Совнарком» [130] . Выдвигается лозунг «Трудовой народ, строй воздушный флот!» В «Известиях» было опубликовано объявление о приеме добровольных взносов на строительство самолетов. «К концу 1923 ОДВФ насчитывало 580 тыс. членов. В ноябре 1923 вышел первый номер печатного органа ОДВФ – журнала “Самолет”» [131] . Благодаря активной «добровольно-принудительной» кампании Общество аккумулирует немалые денежные средства. (За 1923–1924 годы было собрано около шести миллионов рублей.) 29 июня ОДВФ передает военным летчикам два самолета – «Известия ВЦИК» и «Московский большевик». В ответ на ультиматум Керзона создается эскадрилья «Ультиматум» (9 самолетов, 11 ноября они были торжественно переданы

авиаторам). В первой половине 1924 года Общество построило самолеты эскадрильи «Ленин».

17 марта 1923-го возникает «Добролет» – Российское общество добровольного воздушного флота, нацеленное на развитие пассажирской авиации. 19 октября Совет труда и обороны принимает трехлетний план развития гражданской авиации. Под конец года, в ноябре, в Крыму проходят (впервые) общесоюзные соревнования планеристов, завод «Каучук» приступает к строительству дирижабля, а группа конструкторов под руководством Н.Н. Поликарпова и И.М. Косткина завершает работу по созданию первого советского истребителя.

Многие из вышеперечисленных событий представляли собой важные явления не только жизни страны в целом, но и московской городской жизни; увлечение авиацией было более заметно в столице, чем в других местах. Здесь же, в центре, были во всю возможную ширь развернуты агитация и пропаганда, в том числе наглядная – плакаты, объявления, призывы и пр. На улицах и площадях устанавливались скульптуры, символизировавшие освоение небесных просторов, и модели самолетов. Они дополнялись соответствующими лозунгами: «Без победы в воздухе нет победы на земле!», «Даешь мотор!» и т. п.

Мандельштам, как известно, в это время находился по большей части в Москве, и всеобщий подъем должен был, очевидно, привлекать его внимание. Об этом можно говорить достаточно уверенно: сами стихи поэта свидетельствуют о его несомненной увлеченности «авиационной» темой.

В 1923 году московское издательство «Красная новь» выпустило сборник «авио-стихов» (именно так) «Лёт». В книге, вышедшей под редакцией Николая Асеева, представлены стихи двадцати восьми поэтов, в том числе самого редактора, В. Брюсова, С. Городецкого, В. Каменского, В. Кириллова, О. Мандельштама, В. Маяковского, М. Светлова, Н. Тихонова и др. В «Лёт» включены, помимо стихов, фотоработы А. Родченко: парящие в небе аэропланы и дирижабли. Сборник вышел под грифом «ОДВФ» – «Общества друзей воздушного флота». Четыре отдельных стихотворения Мандельштама, помещенные в этой книге, позднее были объединены в одно целое под заголовком «А небо будущим беременно…»:

Опять войны разноголосица
На древних плоскогорьях мира,
И лопастью пропеллер лоснится,
Как кость точеная тапира.
Крыла и смерти уравнение,
С алгебраических пирушек

Слетев, он помнит измерение
Других эбеновых игрушек,
Врагиню-ночь, рассадник вражеский
Существ коротких, ластоногих,
И молодую силу тяжести:
Так начиналась власть немногих…
Итак, готовьтесь жить во времени,
Где нет ни волка, ни тапира,
А небо будущим беременно —
Пшеницей сытого эфира.
А то сегодня победители
Кладбища лёта обходили,
Ломали крылья стрекозиные
И молоточками казнили.
Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Себастьяна Баха,
И на востоке и на западе
Органные поставим крылья!
Давайте бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам
И на стеклянном блюде облако
Поставим яств посередине.
Давайте все покроем заново
Камчатной скатертью пространства,
Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна.
На круговом, на мирном судьбище
Зарею кровь оледенится,
В беременном глубоком будущем
Жужжит большая медуница.
А вам, в безвременьи летающим
Под хлыст войны за власть немногих, —
Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть – ластоногих.
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.
Как шапка холода альпийского,
Из года в год, в жару и лето,
На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони.
А ты, глубокое и сытое,
Забременевшее лазурью,

Как чешуя, многоочитое,
И альфа и омега бури, —
Тебе – чужое и безбровое —
Из поколенья в поколение
Всегда высокое и новое
Передается удивление.
1923; 1929

«Медуница» в этих стихах – пчела; «…победители / Кладбища лёта обходили…» – речь идет, по всей вероятности, об уничтожении военной авиации поверженной в Первой мировой войне Германии. Надежде на мирное будущее единого человечества сопутствует опасливое отношение к машинам, воплотившим в себе последние достижения технической мысли и в то же время заставляющим вспомнить о доисторических летающих ящерах. «Крыла и смерти уравнение» в руках людей, которые «хуже зверя», способно причинить зло в масштабах, не сравнимых с разрушениями войн прошлого. Небо «беременно будущим», но в том, что плод этой беременности будет благотворен, нет полной уверенности.

Будущее, казалось, рождается в небесах. Именно эта связь и закреплена Мандельштамом в стихе «А небо будущим беременно…». И здесь мы находим очередное подтверждение верности того подхода к творчеству поэта, который был предложен Б.А. Успенским в его работе «Анатомия метафоры у Мандельштама». Успенский указал на очень характерный для Мандельштама способ создания метафоры путем «подстановки» в определенную и узнаваемую словесную конструкцию слова в метафорическом значении вместо слова в обычном значении; при этом первичное, «замененное» слово сохраняет в известной мере свое смысловое «теневое» присутствие в поэтическом тексте и нередко может быть опознано.

«…Очень часто, – пишет Б. Успенский, – здесь [132] мы можем не только определить значение слова в переносном значении, но и восстановить то слово, которое стоит за данным употреблением и которое задает, таким образом, контекст. Иначе говоря, слово в переносном значении (в метафорическом употреблении) может заменить у Мандельштама вполне конкретное слово (которое отвечает прямому употреблению); оба слова – реально употребленное и то, которое стоит за ним, – создают новый образ. Оба слова при этом обычно обнаруживают какое-то сходство – как правило, они изоритмичны и фонетически схожи». «Эти семантические поля – исходное (первичное) и окказиональное (вторичное) – могут, вообще говоря, объединяться воедино, и тогда значение слова расширяется,

включая в себя значение того слова, вместо которого оно выступает (и которое тем самым подспудно, парадигматически присутствует в тексте)» [133] .

Соответственно, чтобы понять мандельштамовскую метафору не только в ее очевидном значении, ее, так сказать, верхнем слое, но и почувствовать подспудную игру смыслов, следует во многих случаях найти и иметь в виду то исходное слово (или выражение), которое подверглось устранению (или, может быть, изменению) в процессе создания авторского поэтического образа. «…Мы должны, констатировав необычное, переносное употребление того или иного слова, подобрать то слово, которое отвечало бы прямому употреблению и при этом было бы фонетически созвучным и, по возможности, изоритмичным» [134] .

В отношении стиха «А небо будущим беременно…» мы можем утверждать вполне определенно, что исходным словом, замененным в мандельштамовской метафоре на «небо», было слово «время». Интересно, что в данном случае «небо» заменило слово не в прямом значении, а в метафорическом же. «Время беременно будущим» – старая метафора. Так говорили (по крайней мере писали) уже в пушкинскую эпоху. Мандельштам заменил «время» на изоритмичное и фонетически не совсем чуждое «небо», и произошло, если так будет позволено выразиться, оживление или остранение метафоры.

Мандельштам вообще очень эффективно пользуется приемом, одну из возможностей которого описал Б. Успенский, и достигает цели, экономично используя словесный материал. За одним словом нередко проглядывает другое, в звуковом отношении подобное. Так, забегая вперед, скажем, что в сатире на Сталина «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933) стих «Тараканьи смеются глазища…» неотвратимо и гарантированно вызывает в сознании читателя непроизнесенное «усища»: одним выстрелом поэт убивает двух зайцев.

XX век, век технического новаторства, массовых армий и спаянных единой жесткой идеологией коллективов может раздавить отдельного, затерявшегося в толпе человека. Это было ясно Мандельштаму.

«Бывают эпохи, – пишет Мандельштам, – которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством.

Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами

огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве.

Но есть другая социальная архитектура, ее масштабом, ее мерой тоже является человек, но она строит не из человека, а для человека, не на ничтожестве личности строит она свое величие, а на высшей целесообразности в соответствии с ее потребностями.

Все чувствуют монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры. Еще не видно горы, но она уже отбрасывает на нас свою тень, и, отвыкшие от монументальных форм общественной жизни, приученные к государственно-правовой плоскости девятнадцатого века, мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что это – крыло надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны вступить. <…>

Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон» («Гуманизм и современность»).

Значимость отдельного человека в новую эпоху явно понизилась. Мандельштам рассматривает это явление с разных точек зрения. Происходящие общественные изменения не могут, в частности, не сказаться в литературе. На это воздействие обращено внимание Мандельштама в статье «Конец романа» (1922). Европейский роман, занявший господствующее положение среди литературных жанров в XIX веке, представляет собой, в сущности, гимн отдельной личности и утверждение ее значимости. Но век XX несомненно понижает ценность человека и, следовательно, по мысли Мандельштама, уменьшает интерес к нему, обеспечивший расцвет романа.

«Вплоть до последних дней роман был центральной насущной необходимостью и организованной формой европейского искусства. “Манон Леско”, “Вертер”, “Анна Каренина”, “Давид Копперфилд”, “Rouge et Noir” [135] Стендаля, “Шагреневая кожа”, “Мадам Бовари” – были столько же художественными событиями, сколько и событиями в общественной жизни. <…>

Ясно, что, когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, когда борьба классов становится единственным настоящим и общепризнанным событием, акции личности в истории падают, и вместе с ними падают влияние и сила романа, для которого общепризнанная роль личности в истории служит как бы манометром,

показывающим давление социальной атмосферы».

Мандельштам пишет о том, что грядущее может стать «катастрофической гибелью биографии», и предполагает, что на первый план в литературе могут снова выйти эпос и нечто подобное житиям святых.

«Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения. <…>

Очевидно, силою вещей современный прозаик становится летописцем, и роман возвращается к своим истокам, к “Слову о полку Игореве”, к летописи, к агиографии, к “Четьи Минеи”».

Отметим, что это написано до сталинского и гитлеровского «больших стилей», грандиозных парадов и развернутого культа вождей и героев.

Как уже было упомянуто выше, в 1923 году, 30 января, в Театре Революции (см. «Список адресов») состоялась премьера спектакля по пьесе немецкого писателя Эрнста Толлера «Человек-масса». В статье 1922 года, посвященной произведению Толлера, которое он перевел, Мандельштам, указывая на достоинства и недостатки пьесы, видит ее смысловой центр в противоречии между принципом гуманизма и новой коллективистской моралью, для которой насилие над отдельной личностью оправдано ради достижения высокой цели, общего блага и т. п.

«В основу драматургической интриги “Masse-Mensch’a” взято совершенно реальное и правдоподобное положение: дама из хорошей буржуазной семьи, жена бюрократа, прокурора или видного адвоката, ушла в рабочее движение и готовится взять на свои плечи всю ответственность за беспощадные действия масс как руководительница и вдохновительница. Но в последнюю минуту решимость ее покидает, гуманистические предрассудки (все, что угодно, только не насилие) берут верх, и она сходит на нет. Ее никто не хочет слушать, настоящий беспощадный вождь отводит ее в сторону, она не годится в вожди… <…>

Он [136] с необычайной силой столкнул два начала: лучшее, что есть у старого мира, – гуманизм и преодолевший гуманизм ради действия новый коллективистический императив. Недаром слово “действие”, Tat, звучит у него как орга́н и покрывает весь шум голосов. В уста героини, погибающей от раздвоенности, он вложил самые сильные, самые огненные слова, какие мог произнести старый мир в защиту гуманизма. Трагедия женщины – трагедия самого Толлера. Он переборол и переболел в себе гуманизм во имя действия – вот почему так ценен его коллективистический порыв. Пьеса Эрнста Толлера “Masse-

Mensch" – один из самых благородных памятников германского революционного духа» («Революционер в театре»).

Несмотря на слова о необходимости преодоления гуманизма ради действия, ведущего к общему благу, сам Мандельштам отнюдь не разрешил обозначенное противоречие и не «преодолел гуманизм», несмотря на периодически возникавший соблазн согласиться с господствующими идеологическими постулатами и пойти со всеми в ногу.

Как воспринимал Мандельштам происходившее в стране? С осторожной надеждой. Прошлое прошло, гражданская война закончилась, и Мандельштаму хотелось поладить с новым временем. Как в 1918-м в «Сумерках свободы» он сказал: «Ну что ж, попробуем…» – так теперь он повторяет с такой же неуверенной интонацией:

Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.
«Нет, никогда, ничей я не был современник…», 1924

Но себя поэт ощущал связанным во многом с миром ушедшим. Он и сам был – и сознавал себя – одним их тех «потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк», о которых писал в статье «Девятнадцатый век».

Он чувствовал, что его жизнь, его век расколоты, раздроблены: старый мир ушел, а между старым и возникавшим новым, в который ему хотелось поверить и в котором он был намерен занять свое место, – роковой разлом:

Век

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.
Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческий земли.
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.
Чтобы вырвать век из плена,

Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.
И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.
1922

Залечить перелом, срастить два века, восстановить нарушенную связь – к этому призван художник («флейтою связать» – здесь несомненно перефразируется «флейта-позвоночник» Маяковского, а на более глубоком уровне присутствует отсылка к словам Гамлета о том, что «время вышло из сустава» и требуется его вправить: “The time is out of joint: O cursed spite, / That ever I was born to set it right!”). Отметим, что к этому же образу – позвоночника – обращается Мандельштам, когда пишет о произошедшем преодолении разрыва между старой и новой поэзией: выше приводились слова из статьи «Буря и натиск», где Мандельштам назвал это преодоление «сращением позвоночника двух поэтических систем». Тут, в «Веке», звучит и никогда не покидавшая Мандельштама тема жертвы поэта: «склеить» две эпохи придется, как сказано, «своею кровью». Поэт не хотел быть «захребетником» в новом мире, но некоторые черты становящегося общества его не могли радовать. Эпоха вызывала определенные сомнения в ее творческой новизне (несмотря на всю «футуристическую» яркость) и нравственной полноценности. Вопрос о том, не скрывается ли за революционной маской – как бы ни относиться к революции – парадоксальный возврат назад, к допетровским временам, к ориентации на Восток, не раз поднимается в стихах и прозе Мандельштама. Большевистская Россия ушла из европейской семьи народов, и перенос столицы в Москву был не просто переездом правительства; в этом акте нельзя было не различить и символический знак. Положение усугублялось тем, что новая Московия была нехристианской, более того – антихристианской (говоря шире – отказалась от всего «авраамического», иудейско-христианского наследства).

Произошел радикальный поворот, который можно было воспринять как поворот к Востоку. Живя в Москве, Мандельштам осознает это. Неслучайно, отталкиваясь, очевидно, от названия «Китай-город», он сравнивает Москву с Пекином:

«Москва – Пекин: здесь торжество материка, дух Срединного царства, здесь тяжелые канаты железнодорожных путей сплелись в тугой узел, здесь материк Евразии празднует свои вечные именины.

Кому не скучно в Срединном царстве, тот – желанный гость в Москве. Кому запах моря, кому запах мира» («Литературная Москва»).

О том, что сравнение с Пекином неслучайно, говорит его повторение в очерке «Сухаревка», где подчеркнута тема одичания:

«Сухаревка не сразу начинается. Подступы к ней широки и плавны, и постепенно втягивает буйный торг в свою свирепую воронку. Шершавеет мостовая, буграми и ухабами вскипает улица. <…>

Сухаревский рынок. 1920-е

Дикое зрелище – базар посредине города: здесь могут разорвать человека за украденный пирог и будут швыряться им, как резиновой куклой, – до кровавой пены; здесь люди – тесто, а дрожжи – вещи, и хочешь не хочешь, а будут тебя месить чьи-то загребистые руки. <…>

Недаром базары загоняют и отгораживают, как чумное место. Если дать волю базару, он перекинется в город и город обрастет шерстью… <…>

Такие базары, как Сухаревка, возможны лишь на материке – на самой сухой земле, как Пекин или Москва; только на сухой срединной земле, которую привыкли топтать ногами, возможен

этот свирепый, расплывающийся торг, кроющий матом эту самую землю». (Н. Мандельштам вспоминала, что не прошел в печать более острый вариант: «которую топчут, как мать» – конечно, от выражения «земля-мать».)

В написанном позднее «Путешествии в Армению», в главе со значимым названием «Москва» описание комнат соседей по замоскворецкой квартире (Мандельштамы жили в Замоскворечье дважды – см. «Список адресов») опять же неслучайно вызывает в сознании восточные молельни-кумирни – отмечается подобный китайскому «культ предков»; китайская тема подспудно вводится также через сравнение вечерних красок московского неба с цветом чая:

«Внутри их комнаты были убраны, как кустарные магазины, различными символами родства, долголетия и домашней верности. Преобладали белые слоны большой и малой величины, художественно исполненные собаки и раковины. Им не был чужд и культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. Казалось, эти люди с славянски-пресными и жестокими лицами ели и спали в фотографической молельне. <…>

Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России; кирпичный колорит москворецких закатов, цвет плиточного чая, приводил мне на память красную пыль Араратской долины.

Мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны и в гробу, и в труде».

Маленькая древняя христианская Армения, в которой Мандельштам побывал в 1930 году, противопоставлена здесь «китайской» Москве.

К концу 1920-х годов этот мотив выразится в устойчивом определении Москвы: «буддийская». К этому эпитету мы еще вернемся. В данном же месте книги отметим также «китайские» детали в «Четвертой прозе» (1929–1930), имеющие отношение к Дому Герцена:

«В Доме Герцена один молочный вегетарианец – филолог с головенкой китайца – этакий ходя – хао-хао, шанго-шанго, когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой – лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, – сторожит в специальном музее веревку удавленника – Сережи Есенина.

А я говорю – к китайцам Благого, в Шанхай его к китаёзам! Там ему место!»

Д.Д. Благой – филолог, пушкинист. «С 1926 занимался организацией литературного музея в Доме Герцена, где был отдел памяти С. Есенина», – сообщает в своем комментарии А.А.

Морозов [137] . Раздражительный выпад против Д. Благого, возможно, объясняется, помимо прочего, тем, что комната во флигеле Дома Герцена, о которой Мандельштам хлопотал для В. Хлебникова, досталась Благому. «Хао» – «хорошо» по-китайски. «Шанго» (искаженное китайское «шэнь хао», «очень хорошо») попало в русский язык во время русско-японской войны 1904–1905 годов, в дни мандельштамовской юности.

При этом в извращенном мире, который Мандельштам нарисовал в «Четвертой прозе», поэт и сам сознает себя совершенно чуждым окружающему – кем-то вроде китайца: «Я китаец – никто меня не понимает».

К «Четвертой прозе» мы еще обратимся ниже.

А в первой половине 1920-х Мандельштам пишет о том, как костенеет и набирает силу новый строй, усваивая особенности и черты старой российской государственности.

1 января 1924

Кто время целовал в измученное темя —
С сыновней нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших, —
Он слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.
Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.
О, глиняная жизнь! О, умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомóщная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль – искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И, с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.
Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина…
Снег пахнет яблоком, как встарь.

Мне хочется бежать от моего порога,
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.
По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко, собравшись как-нибудь,
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Все силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозный звук,
Не поддается петелька тугая,
Все время валится из рук.
Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых, как серебром плотвы.
Москва – опять Москва. Я говорю ей: «Здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я уважаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда».
Пылает на снегу аптечная малина,
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица, и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.
А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед,
Все шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?
Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех…
Но пишущих машин простая сонатина —
Лишь тень сонат могучих тех.

1924

Стихотворение создавалось в Киеве – там Осип и Надежда Мандельштам были в гостях у родителей Надежды Яковлевны. Но работа над стихами была, видимо, продолжена, когда Мандельштамы вернулись в Москву в середине января 1924 года, – продолжена после смерти В.И. Ленина (Ленин скончался 21 января). Новогодние стихи говорят о выборе и рубеже. В конце 1923 года приближался не только новый год, но и день рождения поэта – он родился 3 января (по новому стилю – 15-го) 1891 года: позднее в «Стихах о неизвестном солдате» Мандельштам написал: «Я рожден в ночь с второго на третье / Января в девяносто одном / Ненадежном году…» 3 (15) января 1924-го Мандельштаму исполнялось тридцать три года – возраст знаковый. Герой стихотворения совершенно один, никаких других лиц мы не видим, другие люди представлены только «спиной извозчика». Мир в стихотворении «рыбий», то есть немой: неслучайно помянуты и «рыбий мех», и «мерзлая рыба», и «серебро плотвы», не говоря уже о «щучьем суде» и «щучьей косточке». Лишен голоса и герой, потерявший слово. Стихи перекликаются с лермонтовским «Выхожу один я на дорогу…»: саму начальную строку стихотворения Лермонтова Мандельштам зарифмовал – «Мне хочется бежать от моего порога…»; во встающей в сознании героя блестящей от соли «мощеной дороге» отозвалась строка «Сквозь туман кремнистый путь блестит»; лермонтовские небеса, где «торжественно и чудно» и «звезда с звездою говорит», отзываются и опять же рифмуются с мандельштамовским пассажем: «в звездах небо козье / Рассыпалось и молоком горит». Небо названо «козьим» потому, что звезды в ночном небе напоминают освещенные луной камни «кремнистого пути» у Лермонтова – Млечный Путь подобен земному горному кавказскому каменистому пути; горные тропы – козьи тропы («1 января 1924» перекликается с написанным ранее, в 1923 году, стихотворением «Грифельная ода», в котором представлен горный пейзаж, каменные кручи получают название «крутые козьи города» и обозначенные детали лермонтовского подтекста приводят за собой к читателю лермонтовский вопрос, подспудно звучащий в стихах Мандельштама – и в «Грифельной оде», и в «1 января 1924»: «Что же мне так больно и так трудно?»).

В стихотворении «1 января 1924» три смысловых центра – герой, век и Москва. Век, время, закончившееся в 1917 году, все еще умирает. Это был век еще «глиняный» – определение вызывает в сознании ремесло, тепло человеческих рук, податливость глины и непрочность глиняных сосудов. Автор данной книги согласен с С.Г. Стратановским: «Старый, уходящий

век для поэта в первую очередь век гуманный. Выражено это через метафору глины… По преданию, первый человек Адам был сотворен из глины, и “глиняность” века говорит о его соизмеримости с человеком» [138] . Больной век потерял жизненную силу, его ценности и установки под сомнением. Стареющий сын умирающего века, герой стихотворения, болен, как и породивший его век. «Простая песенка» (отсылка к Полю Верлену), моцартианская поэтическая музыка в новом времени неуместна, ее оборвут. Ночная советская Москва в противоположность старому глиняному веку гремит железом, она сурова и морозна. «Крепкий» мороз у Мандельштама связан с представлением о русской государственности. Эта символика идет, несомненно, от Тютчева, который в стихотворении «14 декабря 1825» о крахе декабристов и их участи говорит: «О, жертвы мысли безрассудной, / Вы уповали, может быть, / Что хватит вашей крови скудной, / Чтоб вечный полюс растопить! / Едва, дымясь, она сверкнула / На вековой громаде льдов, / Зима железная дохнула – / И не осталось и следов» [139] – и также от Константина Леонтьева с его воспеванием жесткой власти и известным советом «подморозить» Россию. «Аптечная малина» – в витринах аптек выставляли стеклянные шары с малиновой водой; красный отсвет шара ложится на снег кровавым пятном (кровь на снегу, как в стихах Тютчева). Революция прошла, «могучие сонаты» отзвучали (ср. с характеристикой Герцена в «Шуме времени», «чья бурная политическая мысль всегда будет звучать, как бетховенская соната»). Остался только отзвук великих мелодий – сонатина пишущих машинок. Волна схлынула, вернулась бюрократия с ундервудами, устанавливается жесткая, как принято в Московии, власть и «щучий суд». Крепкий мороз и щучий суд в «братстве» – они связаны между собой прочно и никуда не делись. Образ хищной щуки имеет в русской литературе богатую традицию, и «щучий суд» приводит на память, как неоднократно отмечалось, и басню Крылова «Щука», и сказку «Карась-идеалист» Салтыкова-Щедрина (на это указывал, например, Е.Г. Эткинд), и повесть XVII века о Ерше Ершовиче, где среди судей находим «Щуку-трепетуху». Возвести «щучий суд» к какой-то одной из литературных щук, видимо, невозможно, хотя ближайшим источником послужило, по мнению О. Ронена, стихотворение Владимира Нарбута «Щука» (1921). В стихотворении Нарбута, правда, назван щучий «разбойничий, прямой покрой», но ни о каком щучьем суде не говорится – напротив, героиня стихотворения сама попала в уху. Однако в последней строке у Нарбута поминается «несносный суд шемяк».

С. Стратановский полагает, что «щучий суд» – это

«переозвученное выражение “стучкин суд”» (от фамилии первого наркома советской юстиции Петра Стучки). Если это так, то выражение «стучкин суд» все же могло добавить лишь новый злободневный оттенок к уже имевшемуся представлению о щучьем правосудии, оно явно с таким представлением соотносится.

Москва спит, «как деревянный ларь». Предположение Стратановского, что здесь имеются в виду запертые на ночь рынки Сухаревки и Охотного ряда, не лишено оснований. Но кроме того, что «деревенскость» и, соответственно, деревянность Москвы 1920-х годов были очевидны, в сравнении, видимо, отразилась и смерть Ленина. Москва спит, как гроб. Смерть Ленина знаменует конец эпохи революционного хмеля. Поэт писал о прощании с Лениным в очерке «Прибой у гроба» (1924):

«Необычна Москва в эти ночи. Морозный хруст шагов по завьюженным улицам. Тысячи шагов. Идут кучками: терпеливые пешеходы с Замоскворечья, с Плющихи, с Таганки… <…>

Двери аптек распахиваются: малиновая аптека пышет паром, там яблоку негде упасть – отогреваются…

Революция, ты сжилась с очередями. Ты мучилась и корчилась в очередях и в девятнадцатом, и в двадцатом: вот самая великая твоя очередь, вот последняя твоя очередь к ночному солнцу, к ночному гробу…

Мертвый Ленин в Москве! Как не почувствовать Москвы в эти минуты! Кому не хочется увидеть дорогое лицо, лицо самой России?»

Осип и Надежда Мандельштам прошли в бесконечной очереди прощавшихся с Лениным. В своих мемуарах Надежда Яковлевна вспоминает слова Мандельштама: он сказал ей, что люди пришли жаловаться Ленину на большевиков [140] . Крепли щучий суд и новая бюрократия. Но «совесть», прямо названная в «1 января 1924», не позволяет бежать. Соль («И словно сыплют соль мощеною дорогой, / Белеет совесть предо мной»), как указал уже О. Ронен в своей классической работе о данном стихотворении, – древний символ верности клятве или завету [141] .

Не раз отмечалось, что в этом месте стихотворения речь идет о нереализованной возможности эмиграции (О. Ронен и др.). Предки поэта жили в местечке Жагоры (Ковенская губерния; Ковно – современный Каунас), и посол независимой Литвы, поэт Юргис Балтрушайтис мог посодействовать Мандельштаму в получении литовского гражданства. Но Мандельштам отвергает эмигрантский шанс. Это решение было продиктовано рядом причин. Мандельштаму казалось предательством по отношению к

погибшим и замученным социалистам и революционерам прошлого, в первую очередь разночинцам-народникам, с которыми он всегда чувствовал свое родство, подвергать сомнению доброкачественность «нового мира»: «Ужели я предам позорному злословью – / Вновь пахнет яблоком мороз – / Присягу чудную четвертому сословью / И клятвы крупные до слез?» Присяга четвертому сословью – присяга пролетариату и всем трудящимся. Ведь эти дни звали и приближали народники и марксисты, социалисты всех направлений; ведь сам поэт в юности был эсеровским пропагандистом в рабочем кружке. «Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести», – пишет Мандельштам в «Шуме времени». Уехать теперь, когда наступило ожидаемое, было для Мандельштама неприемлемым выбором. Другая важнейшая причина, связанная с первой: в советской России происходили невиданные события, совершались самые важные в мире перемены, здесь звучала трагическая и величественная музыка истории, и Мандельштам не мог оставить страну в такую эпоху. С. Стратановский сформулировал эту позицию очень точно, заметив, что поэт ищет не где лучше, а где глубже. Для Мандельштама была характерна (не только в этот период) установка на героически-жертвенное приятие жизни, и решение остаться было избрано с полным сознанием вероятных нелегких последствий. Подобно Анне Ахматовой, написавшей:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух. —
«Когда в тоске самоубийства…» [142]

Мандельштам сам выбрал свою судьбу. Конечно, играла свою роль и связь с русским языком, непредставимость выхода из стихии живой и бурно обновляющейся речи в иноязычное (а в случае эмигрантского русского языка – как минимум разреженное и обедненное) языковое пространство.

Пытаться вжиться в новый век, найти в нем свое место и

передать то, что можно передать людям нового времени, значит собирать «ночные травы» культуры, целебные и влекущие, для «племени чужого» (здесь, конечно, слышится пушкинское «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»). И кто знает, все еще может повернуться к лучшему. Залогом служит то, что мороз пахнет и снег хрустит «яблоком». Трижды помянутое в стихотворении яблоко вводит не только тему молодости и свежести нового мира, но говорит о витальности, крепости, живучести и жизненных силах России вообще («Снег пахнет яблоком, как встарь»).

Не раз отмечалось, что этот мотив может быть соотнесен со строкой Хлебникова: «Русь, ты вся поцелуй на морозе! / Синеют ночные дорози. <…> / И ночь блестит умно и чёрно» (пейзаж и у Хлебникова ночной) [143] . Наконец, значение «щучьей косточки», о которой говорится в финале стихотворения, выяснил О. Ронен – это, по народным поверьям, оберег, талисман, способный отвести зло, уберечь от напасти. Детали пишущей машинки, ее внутренность, напоминают рыбий костяк, и это определяет зрительную сторону образа.

Но надежда на гуманизацию жизни, утверждавшейся после Октября 1917 года и Гражданской войны, не могла быть уверенной. Мандельштам видел и не мог не видеть того, что объективно происходило, как видели это и его современники. Михаил Булгаков в своем тайном дневнике «Под пятой» писал в том же 1924 году, когда создано «1 января 1924»: «Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза – все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть» [144] . В новом обществе резко понизилась цена человеческой жизни. Наступило время «оптовых смертей», как напишет Мандельштам в «Стихах о неизвестном солдате» в следующем десятилетии. По сравнению с тем, что будет, время 1920-х было относительно «вегетарианское» (пользуясь выражением Ахматовой), но это только в сравнении с ужасом 1930-х годов. Слово «расстрел» уже перестало обозначать нечто почти невозможное, смертная казнь стала одним из достаточно распространенных явлений жизни. Но поэт не мог привыкнуть к этому, как привыкли многие. Уже говорилось о столкновении Мандельштама с Блюмкиным в 1918 году. Подобным образом поэт поступил и через десять лет, когда узнал, что арестованы несколько банковских работников и им угрожает расстрел. Мандельштам сделал все, чтобы приговор был отменен, обращался к тем, кто, по его мнению, имел влияние и мог спасти людей, – в частности, к своему всегдашнему покровителю Н.И. Бухарину, которому послал только что вышедшую книгу

«Стихотворения» с надписью, гласившей, по словам Н. Мандельштам, что «в этой книге каждая строка говорит против того, что вы собираетесь сделать…». «Приговор отменили», – пишет Надежда Яковлевна [145] . Это будет в 1928 году, а в период жизни в левом флигеле Дома Герцена Мандельштам должен был хлопотать об освобождении арестованного брата Евгения. (Осип Эмильевич был старшим из трех братьев Мандельштамов. Он родился в 1891 году. В следующем, 1892-м, появился на свет брат Александр, а в 1898-м – Евгений.) Это был уже третий арест младшего брата. Арестовали его без всяких оснований. Может ли быть, что арест имел какое-то отношение к тому, что Евгений Мандельштам, юнкер Михайловского артиллерийского училища, оказался на дежурстве в Зимнем дворце 25 октября 1917 года, в день свержения Временного правительства (никакого сопротивления большевикам юнкера-михайловцы не оказали)? Это представляется маловероятным. Так или иначе, брата забрали, и Мандельштам обращался к Н. Бухарину за содействием. Он виделся с ним в гостинице «Метрополь» (Втором Доме Советов). Бухарин жил в этой гостинице в номере 229. В письме к отцу, Э.В. Мандельштаму, написанном ранней весной 1923 года, поэт сообщает:

«Дорогой папочка!

Сегодня к вам едет на 2–3 дня Шура [146] . Мне ехать сейчас бессмысленно, потому что я должен ждать ответа Бухарина. Я у него был вчера. Он был очень внимателен и сегодня говорит по телефону с Зиновьевым о Жене. <…>

Если можно, **достаньте из Комячейки института заявление, характеризующее Женю. Отзыв о его поведении и настроении за последний год** . (Очень важно!) Я передам его Бухарину, и это облегчит его действия».

Новое государство уже весьма внимательно следило не только за поведением, но и за «настроением» своих граждан. Евгений был арестован в Петрограде. Его перевезли, в числе других арестованных, в Москву. Сначала он сидел во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке. «Камеры мало чем отличались от камер на Гороховой [147] , – пишет в своих воспоминаниях Е.Э. Мандельштам. – Без дневного света, вентиляции, с полной изоляцией от внешнего мира, никаких прогулок. <…> Кто бы мог подумать, что через десять лет здесь окажется Осип. <…> Потом, по-прежнему без предъявления обвинения и без допроса, меня переместили в старую, заслуженную тюрьму Бутырки. <…> Осип и его жена делали все возможное, чтобы добиться моего освобождения. В пироге, посланном мне братом, я нашел крохотную записочку, успокаивающую меня. В ней было сказано,

что через несколько дней мы с Осипом и Надеждой Яковлевной увидимся. <…> Через дней пять меня, как говорят на тюремном жаргоне, “со всеми вещами” вызвали из камеры, опять отвезли во внутреннюю тюрьму, где я сразу попал к следователю, который вернул мне документы и освободил. Мандельштамы встретили меня с большой душевностью и старались сделать все, что могло быть мне приятно». «Приехав, я от брата узнал, каких усилий стоила ему борьба за мое освобождение».

Причину своего ареста Е. Мандельштам объясняет так: «Стало известно, что я подвергался большой опасности. Сталин, после процесса с.-р., решил такой же процесс провести с ЦК и активом меньшевиков. Было дано указание по имеющимся спискам арестовать по всей стране тех, кто числился в меньшевиках, отобрать из их числа наиболее активных и отправить в Москву, где велась подготовка к процессу». Е. Мандельштам указывает, что никогда меньшевиком не был. «Тем, что я вернулся домой… я всецело обязан брату», – пишет Е. Мандельштам [148] . Он сообщает, что по каким-то причинам тогда процесс против меньшевиков проведен не был, но тем не менее его товарищи по заключению отправились в ссылку или лагерь.

Надежда Яковлевна упоминает в мемуарах, что в связи с делом брата Мандельштам вторично, после эпизода с Блюмкиным, побывал на Лубянке у Дзержинского. Вообще здание на Лубянской площади отбрасывало отчетливую тень на жизнь страны. Все ходили в этой тени и знали это, но старались как бы не замечать. Страх стал привычным, он мог быть больше или меньше, но никогда не исчезал. Позднее Мандельштам скажет просто и прямо, не педалируя: «Давнишнего страха струя…» («Квартира тиха, как бумага…», 1933).

А в первой половине 1920-х еще можно было уговаривать самого себя и надеяться:

Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
«1 января 1924»

Тяжелое впечатление произвело на Мандельштама и изъятие во время голода в Поволжье церковных ценностей в храме неподалеку от Дома Герцена. Н. Мандельштам вспоминала: «Где-то в Богословском переулке – недалеко от нашего дома – стояла церквушка». Имеется в виду, очевидно, церковь Иоанна Богослова, которая и сейчас хорошо видна с Тверского бульвара рядом с Драматическим театром им. Пушкина.

Надежда Мандельштам описывает «изъятие» так: «Священник, пожилой, встрепанный, весь дрожал, и по лицу у него катились крупные слезы, когда сдирали ризы и грохали иконы прямо на

пол. Проводившие изъятие вели шумную антирелигиозную пропаганду под плач старух и улюлюканье толпы, развлекающейся невиданным зрелищем». Насилие и ложь, проявившиеся в этом эпизоде, неприятно поразили Мандельштама. Вернувшись домой, в писательский флигель, «он сказал, что дело не в ценностях. <…> Он сказал, что церковь действительно помогла бы голодающим, но предложение Тихона отклонили, а теперь вопят, что церковники не жалеют голодающих и прячут свои сокровища. Одним ударом убивали двух зайцев: загребали золото и порочили церковников» [149] . Директивы Ленина о проведении кампании по изъятию ценностей церкви (о которых поэт, естественно, тогда не знал) полностью подтверждают те выводы, которые сделал Мандельштам из увиденного.

Все менее нравилась ему и та атмосфера, которая постепенно устанавливалась в самом Доме Герцена. Силу в литературной жизни набирали «пролетарские писатели», члены Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП) и соответствующей московской ассоциации (МАПП). Представительства ВАПП И МАПП разместились в 1920-е годы в главном доме бывшей усадьбы, там же делался журнал объединения – «На посту» (позднее – «На литературном посту»). «Пролетарские» писатели подвергали нападкам фактически все, что выходило в литературе за рамки узких представлений о «классовости» и «партийности». Андрей Белый, Маяковский, Есенин, Пильняк, Бабель, Пришвин, Булгаков, Клюев, Ахматова, Шолохов и другие объявлялись или «буржуазными», или «дворянствующими», или «мужиковствующими», или «эстетами» и т. п. Шел процесс формирования командной системы в литературе.

На протяжении 1920-х годов дом, носивший имя писателя-философа, борца за свободу слова и создателя Вольной русской типографии, превращался в один из департаментов тоталитарного режима, где тон все более задавали чиновники от литературы и лояльные литераторы. Крутились при Доме Герцена и сомнительные окололитературные типы. Неслучайно именно этот дом изобразил М. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» как «Грибоедов», или дом Массолита. Борис Сергеевич Кузин, московский друг Мандельштама, характеризует Дом Герцена так: «Там все кишело всякой писательской шушерой и провокаторами» [150] . Да и сам Мандельштам упомянул однажды «типаж московского пройдохи из кабачка в Доме Герцена» (рецензия на фильм «Кукла с миллионами», 1929).

В конце 1920-х годов Мандельштаму пришлось немало общаться с литературными чиновниками в связи со своей работой

над переводом «Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера и обрушившимся на него обвинением в плагиате (об этой чрезвычайно значимой для поэта истории – в следующей главе). Отвращение, негодование и ярость, вызванные в его душе этим общением, отразились в «Четвертой прозе», написанной зимой 1929–1930 годов. В это время Мандельштамы уже давно не жили при Доме Герцена: они оставили комнату в левом флигеле еще в августе 1923 года – у Мандельштама произошел конфликт со Свирским, писателем-комендантом, и поэт отказался от комнаты. Мотивируя свой выход из Всероссийского Союза писателей и отказ от жилья, Мандельштам жалуется на беспорядок и шум и заявляет (в письме в правление Всероссийского союза писателей от 23 августа 1923 года):

«Превосходное помещение левого флигеля общежития на Тв<ерском> б<ульваре>, с хорошими комнатами и коридорной системой, благодаря небрежности Правленья, почти пропадает как рабочий дом писателя. Хозяйственная комиссия, не имея, очевидно, представленья о дисциплине культурного общежитья, соблюдаемой в любой приличной частной квартире, снисходительно предлагает людям два года подряд “ютиться” там, где они могли бы жить и работать. <…>

В теченье всей зимы по всему дому расхаживало с песнями и музыкой, свистом и гоготаньем до десяти, приблизительно, не имеющих ни малейшего отношенья к литературе молодых людей, считающих себя в гостях у сына Свирского и относящихся к общежитию как к своему клубу.

Далее, благодаря небрежности Свирского, который не сумел найти дворника, согласного смотреть за домом, двор Дома имени Герцена по вечерам и ночам является филиальным отделеньем Тверского бульвара. <…>

Означенные порядки в доме русских писателей, который должен и может быть не проходным двором, а рабочим домом, где каждая комната – писательский кабинет, не согласованы ни с именем Герцена, ни с обязательствами Союза перед обществом».

Таким образом, мысль о несоответствии порядков в литературной вотчине самому имени Герцена, мимо памятной доски которого, установленной в год пятидесятилетия со дня смерти писателя, Мандельштам проходил ежедневно, – мысль, нашедшая горько-ироническое воплощение в «Четвертой прозе», возникла в сознании Мандельштама уже в первой половине 1920-х годов.

В первой декаде августа 1923 года Мандельштамы уехали в Крым – оттуда поэт и направил письмо в правление Всероссийского союза писателей. Вернувшись в Москву,

Мандельштамы жили короткое время у брата Надежды Яковлевны Евгения Яковлевича Хазина в Савельевском переулке, а затем сняли комнату в доме на улице Большая Якиманка (см. «Список адресов»), где провели зиму.

В июле 1924 года Мандельштамы перебрались в Ленинград и с осени находились в основном в Ленинграде и под Ленинградом (но в январе 1924-го, как было упомянуто выше, они были в Москве, где отстояли очередь к Колонному залу во время прощания с Лениным и где, очень вероятно, заканчивалась работа над стихотворением «1 января 1924»). В Москве Мандельштамы снова поселяются на исходе 1928 года – живут с этого времени до конца 1931 года в разных местах, нередко в квартире среднего брата поэта, Александра Эмильевича, «Шуры», в Старосадском переулке. Рассказ об этом месте мандельштамовской Москвы – в следующей главе.

Исторический и городской фон 1929 год

18 января . Принято решение о высылке Троцкого из СССР «за антисоветскую деятельность».

5 февраля . Мороз в Москве: к утру этого дня температура понизилась до -39 градусов.

17 марта . Положение с хлебом и другими продуктами в городах напряженное. В связи с нехваткой хлеба в Москве введены хлебные карточки.

16–23 апреля . Пленум ЦК ВКП(б) осуждает «правый уклон» в партии. Лидеры «правых» Н. Бухарин, А. Рыков и М. Томский подвергнуты критике за оппортунизм.

22 апреля . Опубликован первый номер «Литературной газеты» – органа ФОСП (Федерации объединений советских писателей).

19 мая . На Тверском бульваре открыт традиционный ежегодный книжный базар.

11–15 июня . 2-й Всесоюзный съезд безбожников в Москве. Союз безбожников получил новое название – Союз воинствующих безбожников.

27 июня . Политбюро ЦК ВКП(б) принимает решение о создании сети исправительно-трудовых лагерей в ведении ОГПУ.

Московская частушка:

Синячище во все тело,
На всем боке ссадина.
На трамвае я висела,
Словно виноградина.

10 июля . Начало конфликта из-за КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога). Советские работники КВЖД подвергаются аресту, дорогу берут в свои руки китайские власти.

(В ноябре 1929 года Особая Дальневосточная армия освобождает КВЖД. В декабре советский контроль над дорогой был официально восстановлен, т. е. подтвержден статус дороги как совместного предприятия.)

В ночь с 29 на 30 июля снесена Иверская часовня у Красной площади.

3 августа . Введен в действие первый электропоезд. Маршрут первой электрички: Москва – Мытищи.

30 сентября . Согласно статистике, в Москве 110 000 неграмотных и малограмотных.

24–29 октября . Биржевой крах в США. Начало Великой депрессии, вызвавшей массовую безработицу в Америке и Европе и приведшей к росту популярности лево– и правоэкстремистских движений.

7 ноября . В «Правде» – статья Сталина «Год великого перелома».

20–27 декабря . В Москве состоялась 1-я Всесоюзная конференция аграрников-марксистов. Сталин провозглашает на конференции курс на сплошную коллективизацию в деревне.

21 декабря . Чествование 50-летия Сталина. По всей стране проходят юбилейные торжества.

1930 год

21 января . Взорваны собор и стены Симонова монастыря.

30 января . Моссовет запретил церковный колокольный звон.

6 февраля . ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) рассматривает проект реформы календаря, который предполагал начало летосчисления с 7 ноября 1917 года.

15 февраля . Митрополит Сергий Страгородский заявляет в интервью, что гонений на религию в СССР «никогда не было и нет».

2 марта . «Правда» публикует статью Сталина «Головокружение от успехов».

13 марта . Объявлено о конце безработицы в Москве.

18 марта . Переход на непрерывную производственную неделю (пятидневку). 360 дней года разбивались на пятидневки. Оставшиеся пять дней года объявлялись праздничными: 22 апреля (день рождения Ленина), 1–2 мая (майские праздники), 7–8 ноября (годовщина Октябрьской революции). После каждых четырех рабочих дней в пятидневке следовал выходной. При этом все работники распределялись по пяти группам, и за каждой группой закреплялся определенный день отдыха на все пятидневки года. В Москве постепенный переход на пятидневку начался еще в августе – сентябре 1929 года. 1 декабря 1931 года с

пятидневки перешли на шестидневку. Устанавливались общие для всех выходные 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го числа каждого месяца. Тридцать первые дни в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре оплачивались дополнительно. В феврале последний выходной выпадал на последний день месяца или переносился на 1 марта. Рабочий день длился семь часов. Возврат к семидневной рабочей неделе (шесть рабочих дней и выходной воскресенье) состоялся лишь в конце июня 1940 года.

14 апреля . Самоубийство В. Маяковского.

Конец мая . Прекратил существование рынок в Охотном ряду.

10 июня . Принято решение о строительстве Беломорско-Балтийского канала. К строительству планируется привлечь 120 000 заключенных ОГПУ.

Июль . Моссовет устанавливает порядок снабжения продуктами: «Сахар будет отпускаться по купонам 18 и 29, чай по купонам 19, макароны по купону 20, манная крупа для детей по купону 20 детского талона, разные крупы для взрослых по купону 21».

Июль . Дело «Трудовой крестьянской партии». Среди обвиняемых, объявленных руководителями контрреволюционной партии, – видные экономисты Н. Кондратьев и А. Чаянов, критически относившиеся к политике коллективизации.

1 октября . Взорван Чудов монастырь в Кремле.

10 ноября . Открыт третий, построенный из камня Мавзолей В. Ленина (архитектор А. Щусев). Предыдущие два были деревянными.

25 ноября – 7 декабря . Процесс по делу «Промышленной партии» («специалистов-вредителей») в Колонном зале Дома Союзов.

21 декабря . ЦК И ЦКК ВКП(б) принимают решение о создании закрытых распределителей, где смогут получать продовольственные и другие товары руководящие кадры и особо ценные специалисты.

1931 год

13 января . Вводится Всесоюзная карточная система: Наркомат снабжения СССР принимает постановление «О введении единой системы снабжения трудящихся по заборным книжкам в 1931 году».

1–9 марта . Процесс по делу так называемого «Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков)».

28 апреля . Открытие Турксиба (Туркестано-Сибирской железной дороги).

1 июня . На экраны вышел первый звуковой художественный

фильм «Путевка в жизнь» (режиссер Н. Экк).

21 июля . На Белорусско-Балтийском вокзале московские писатели встречают прибывшего в столицу Бернарда Шоу. 26 июля в Колонном зале торжественно празднуется его 75-летие.

21 сентября . С этого дня светофоры на столбах начинают менять на подвесные.

1 октября . Автомобильный завод в Москве (бывший АМО) получает имя Сталина и менуется с этого времени «ЗиС». В этот же день входит в строй Харьковский тракторный завод.

9 октября . На московских улицах появились новые коричневые такси американского производства.

11 ноября . ЦК ВКП(б) принимает постановление «О Колыме», определившее использование труда заключенных на золотых приисках.

5 декабря . Взрыв храма Христа Спасителя.

У «брата Шуры». Старосадский переулок, д. 10, кв. 3. Конец 1920-х – 1931

Недалеко от Варварской (потом – Ногина, теперь – Славянская) площади, на углу улицы Забелина (в мандельштамовское время – Большой Ивановский переулок) и Старосадского переулка, стоит примечательное здание. Оно

достаточно поместительно, выстроено «покоем». Такие солидные доходные дома появились в Москве во множестве во второй половине XIX – начале XX века. Здесь, в доме 10 по Старосадскому переулку, поселился Александр Эмильевич Мандельштам, средний из братьев Мандельштамов, вскоре после того как в 1927 году женился на художнице Элеоноре Гурвич. Тут, у «брата Шуры», многократно бывал, жил и работал Осип Мандельштам. Старосадский переулок, дом 10, – одно из важнейших мест мандельштамовской Москвы. В квартире «Шуры» написаны прекрасные стихи, шла работа и над прозой.

Дом находится в одном из живописных, сохранивших очарование московской старины мест города. Старосадский – это название советского времени; ранее переулок именовался Космодамианским (в просторечии Козьмодемьянским) по расположенной вблизи Маросейки церкви Космы и Дамиана. Напротив дома – церковь Святого Владимира в Старых Садех (XVI–XVII вв.), совсем рядом и Ивановский монастырь. Церковь в конце 1920-х – начале 1930-х годов выглядела запущенной и сиротливой, о судьбе монастыря речь еще будет. Купол главного храма монастыря, вариация купола собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции (архитектор М.Д. Быковский, 1879 год), мог напомнить Мандельштаму о всегда любимой Италии: еще одна «Флоренция в Москве».

Дом 10 имеет некороткую историю. По данным архива московского Музея архитектуры, еще в начале XIX века здесь было владение кн. М.А. Шаховской. Начиная с 1839 года усадьба принадлежала разным купцам. В 1879-м официальной хозяйкой участка стала жена купца первой гильдии Акулина Васильевна Красногорова. При ней в 1880–1881 годах были выстроены, в своей основе, корпуса ныне существующего здания. Но застройка была ниже современной: к началу XX века, когда хозяином участка был купец Иван Никифорович Блинов (Блиновым это угловое владение принадлежало до 1911 года), на данном месте находились двухэтажные каменные корпуса. В 1900 году, при Блинове, начинается перестройка владения, появляется третий этаж. Со временем дом приобретает современный вид (верхний этаж возведен в 1933 году). Непосредственно перед революцией 1917 года здание принадлежало Михаилу (Менделю) Даниловичу Броуде [151] .

Дом находится неподалеку от московской хоральной синагоги, и это обстоятельство сыграло определенную роль в его истории. Из воспоминаний Раисы Леоновны Сегал: «Мандельштама я видела всего один раз, в 1931 году. Мы жили тогда по адресу Москва, Старосадский переулок, 10, квартира 3.

Это была коммунальная квартира; очень большая; до революции наш дом принадлежал какому-то богатому еврею. Часть квартир он сдавал внаем, а наша была его собственной, поэтому она отличалась от остальных: там были итальянские цветные окна, широченный коридор, две кухни (в одной стирали, в другой готовили), и было девять комнат, в которых жило девять семей. На кухне гудело шестнадцать примусов» [152] .

Р.Л. Сегал (родилась в 1920 году) жила в квартире 3 с 1924 по 1932 годы, но и потом постоянно бывала там. В устной беседе Раиса Леоновна назвала запомнившихся ей жильцов квартиры. Сама Раиса Леоновна была дочерью Леона Исааковича Гольдмана, видного бундовца и меньшевика (партийная кличка Аким). Один из лидеров меньшевиков Либер (Михаил Гольдман) – его родной брат (расстрелян в 1937-м). Отец Раисы Леоновны был арестован в 1938-м и расстрелян в 1939-м. Жила в коммуналке семья Цирловых, молодая семья. Иосиф Павлович Цирлов был арестован во второй половине 1930-х годов, а семью выслали. Вспоминает Раиса Сегал семью Рабкиных. Глава семьи работал в еврейской газете (на идише) «Дер Эмес» («Правда»). Проживали в квартире сестры Змеёвы (одна из них была художницей), братья Беккерманы (о них ниже). Две большие комнаты занимали «коммунисты», как сказала Раиса Леоновна, Айзенштадты. На противоположной стороне, через коридор, – три семьи: братья Гольдберги (один из них был душевнобольным, он много говорил по телефону, уверяя, что разговаривал с Луначарским; братья переехали в другую квартиру в этом же доме); семья Толокновых (муж, видимо, работал в «органах»; его жена, Вера Павловна, была, по словам Р. Сегал, милая женщина и известная портниха; у них была дочь Инна); третью комнату по этой стороне занимала Сарра Хащеватская с сыном Марком – разведенная жена известного еврейского поэта Моисея Хащеватского (поэт погиб на фронте в 1943 году).

План квартиры 3 (Старосадский переулок, 10). По рисунку А.А. Мандельштама

Состав жильцов и планировка квартиры со временем менялись. (Согласно плану, нарисованному племянником поэта, сыном А.Э. Мандельштама Александром Александровичем Мандельштамом, который родился в 1931 году, в квартире проживало десять семей [153] . Ряд имен на его плане совпадают с названными Р. Сегал, но появились и новые жильцы.)

Мандельштам, бывавший и живший у брата, не знал, вероятно, что во время Первой мировой войны в соседней квартире помещалась организация, координировавшая помощь

евреям – беженцам и выселенным из западных губерний: «Адрес московского Еврейского общества помощи жертвам войны – Маросейка, Космодамианский пер., 10, кв. 4 (ныне Старосадский) …» [154] (По другим данным – согласно исследованию Д. Опарина, – Еврейское общество жертвам войны располагалось в квартире 22.)

Вообще дом был колоритный. В полуподвале, как помнится Р. Сегал, проживали «огромные» еврейские семьи; в одной из них было десять девочек, и мать семейства говорила, что не остановится, пока не родит мальчика. Кормились эти люди какими-то ремеслами. Раисе Леоновне запомнилось, что они сушили в садике при доме черные шнурки для ботинок.

В этом же подъезде («мандельштамовском») жил кантор (чтец и певчий – тот, кто ведет богослужение) соседней хоральной синагоги; фамилия его, по словам Р. Сегал, была Меламед. Он выехал с семьей в Чехословакию.

Двор дома в Старосадском переулке

Если Мандельштам шел со Старосадского переулка, то входил во двор (таким он был и тогда – пустым, без деревьев), проходил одноэтажное строение у дома слева, дворницкую (по воспоминаниям А.А. Мандельштама, дворник там в годы его сознательного детства уже не жил, а у Р. Сегал остались в памяти дворник «Финоген» и русская печь в его жилище – на Пасху в ней пекли куличи), и открывал дверь ближнего к Старосадскому переулку подъезда в левом крыле здания. (Чтобы избежать путаницы: левое крыло – если стоять в Старосадском переулке лицом к дому.) По просторной подъездной лестнице –

сохранилась лепнина и лестничные решетки под поручнями – поэт поднимался к нужной ему квартире 3 во втором этаже дома (если не считать полуподвального). Входил в длинный коридор коммуналки, направо и налево от которого располагались комнаты. Одна из дверей налево вела в комнату брата.

«И вот однажды вечером к дяде Шуре пришел гость, – продолжает Р. Сегал. – Он был, как мне тогда показалось, маленького роста (во всяком случае, меньше дяди Шуры), в нелепом пиджаке и со смешными, оттопыренными ушами. Все порывался с кем-нибудь заговорить. Помню его с папиросой в руках, стоящим в нашем огромном коридоре, куда вечно выходили курить соседи, звонил телефон и играли дети.

Кто-то мне шепнул:

– Это поэт, Осип Мандельштам» [155] .

Александр Эмильевич с женой занимали узкую пеналообразную комнату (17 кв. м, одно окно). Окно это выходит на противоположную по отношению к Старосадскому переулку сторону. За домом 10 имеется проход, отделенный от здания оградой и идущий от улицы Забелина параллельно Старосадскому переулку. Если обойти дом и посмотреть на него с тыльной стороны, с этого прохода, можно видеть окна бывшей коммунальной квартиры 3. Надо смотреть на окна третьего (считая и самый нижний) этажа ближней к улице Забелина, выступающей части здания. Окна обращены к упомянутому проходу. От левого угла этой ближней к улице Забелина части дома четвертое окно направо принадлежало комнате А.Э. Мандельштама (левый угол – по отношению к стоящему лицом к этой части здания; слепое окно при подсчете учитывается). Соседнее же окно левее (то есть третье, считая направо от левого угла этой части здания, если смотреть на дом сзади) относилось к другой комнате, в ней жил сосед А.Э. Мандельштама – Беккерман. Его мы еще вспомним.

В те годы, когда Осип и Надежда Мандельштам бывали у «брата Шуры» в Старосадском переулке – конец 1920-х – 1930-е годы, – Александр Эмильевич был служащим в области книгоиздательства: библиограф и распространитель КОГИЗа (Книжное объединение государственных издательств), «мелкий служащий Госиздата», по словам Н.Я. Мандельштам [156] . «Высокий, болезненно худой человек со спокойным и милым характером», – таким запомнился А.Э. Мандельштам Раисе Сегал [157] . Его жена, Элеонора Самойловна Гурвич, была художницей. По словам Раисы Леоновны, жена «Шуры» была очень красива. Она училась у В. Фаворского в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Выполняла в основном

оформительские работы по договорам с различными организациями. В сущности, это была работа от случая к случаю.

По этой лестнице Мандельштам поднимался к брату Александру

Таким образом, материальное положение «брата Шуры», как называл его Мандельштам, было весьма скромным. Нередко приходилось брать в долг. О небольших доходах свидетельствовала и обстановка комнаты, в которой Александр Эмильевич с Элеонорой Самойловной жили. Как вспоминал Александр Александрович Мандельштам, мебель была вся «приблудная», доставшаяся по случаю. Мебель не покупали. В комнате стояла кровать у одной стены, диван у другой, имелись фанерный шкаф, обеденный стол и большое кресло. В случае приезда из Ленинграда отца, Эмилия Вениаминовича, комнату перегораживали, и он проживал как бы «в своем углу».

Однако, несмотря на скромные доходы, Александр Эмильевич и Элеонора Самойловна периодически в тридцатые годы нанимали домработницу (чей труд тогда был достаточно дешев – в период проведения коллективизации и после ее завершения из деревни в города бежали десятки тысяч людей; домработницы нередко работали просто «за харчи»). Жили домработницы в этой же комнате, вместе с хозяевами.

Александр Александрович Мандельштам, родившийся в ноябре 1931 года, запомнил, что, когда приходили Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, становилось шумно, нередко появлялось пиво. Надежда Яковлевна была, по его словам, «внешне неинтересная», «морщинистая», как казалось маленькому Шурику, насмешливая, саркастичная. Она хорошо относилась к племяннику мужа, называла его Шуриком и учила английскому языку; Осип Эмильевич говорил о сыне брата: «наследник». Запомнилось также, что Мандельштам много говорил по телефону.

Н. Мандельштам (слева), О. Мандельштам, Э. Гурвич. Снимок уличного фотографа

Декабрем 1928 года датировано первое упоминание квартиры брата Александра в летописи жизни и творчества Мандельштама в его четырехтомном собрании сочинений. (адрес в этом издании – д. 3, кв. 10 – по ошибке указан неверно) [158] . Возможно, Мандельштамы начали бывать у Александра Эмильевича несколько ранее. Элеонора Самойловна вспоминала: «До моего замужества встречи с Осипом были эпизодическими. В 1927 году, увидев его в одном из московских издательств, я сказала, что вышла замуж за Александра. “Я очень рад, очень рад”, – сказал Ося и обеими руками сжал мне руку. Мы с Александром поселились в Старосадском переулке, и Осип с Надей, когда

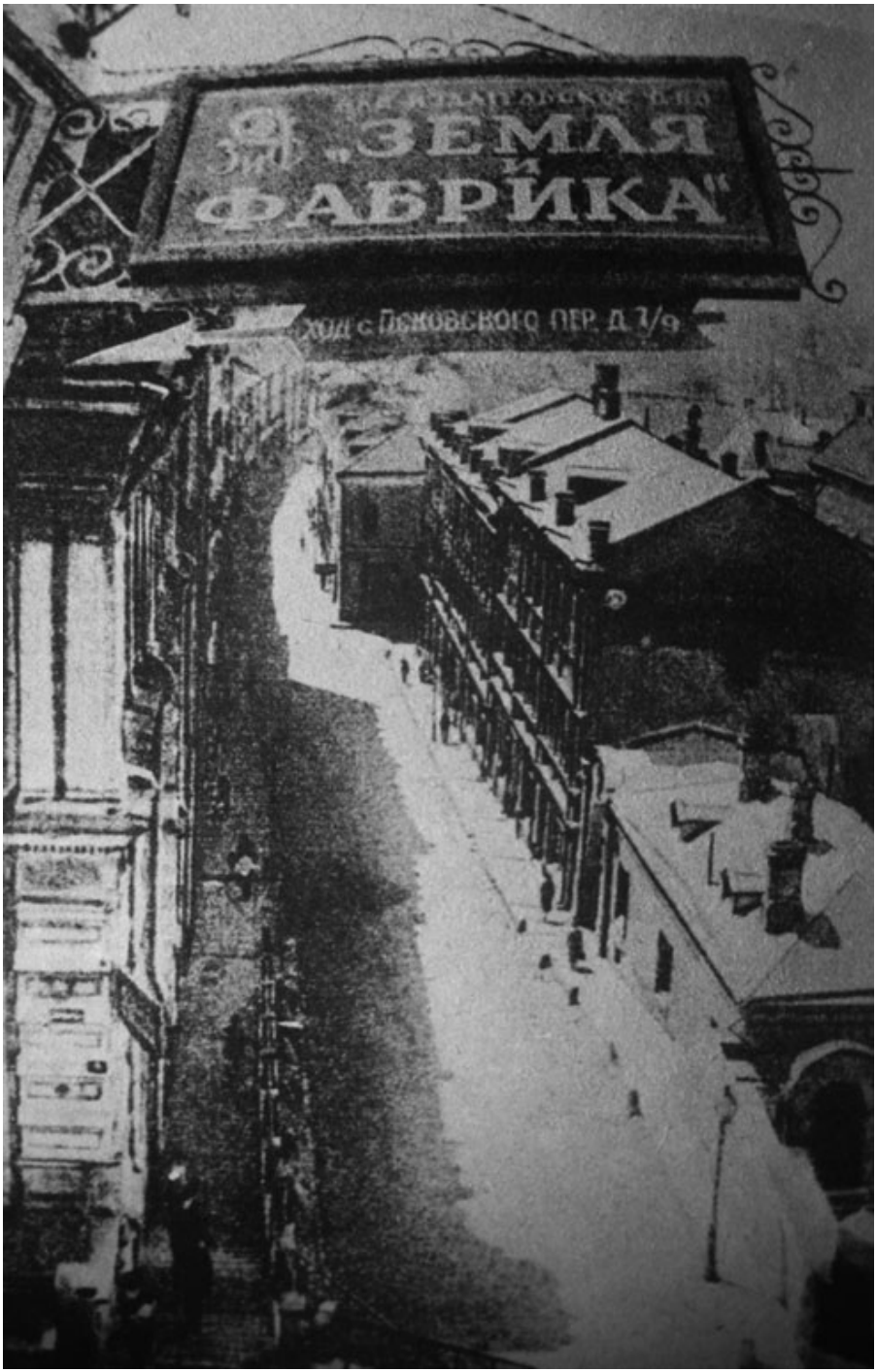
наезжали в Москву, жили у нас. Теснились мы все четверо в одной комнате большой коммунальной квартиры. Ося был очень нервозен, непрерывно курил, кричал “чаю! чаю!”, занимал подолгу общий телефон, вызывая протесты соседей. Звонил в Союз писателей, В. Ставскому, требовал. Часто к нему заходили гости, бывала Ахматова, Эмма Герштейн» [159] .

Фраза о звонках в Союз писателей относится, очевидно, уже к последнему периоду жизни поэта: В.П. Ставский стал генеральным секретарем Союза писателей СССР в 1936 году, после смерти Горького. Мандельштам, вернувшийся в мае 1937-го из воронежской ссылки, пытался как-то восстановить свое положение и получить работу в качестве переводчика – запомнившиеся мемуаристке телефонные разговоры могли, думается, иметь отношение к этим обстоятельствам.

Конец 1920-х – начало 1930-х годов – период, когда жизнь поэта наиболее тесно связана с домом в Старосадском переулке; это было для Мандельштама драматическое и переломное время.

В 1928 году вышло первое собрание стихотворений Мандельштама – книга «Стихотворения». В этом же году были напечатаны повесть «Египетская марка» и сборник статей «О поэзии». Эти публикации были очень важны для поэта. Однако в книгу стихов вошли произведения уже не новые; начиная с середины 1920-х годов Мандельштам стихов практически не писал. (В 1924–1926 годах, правда, вышли четыре мандельштамовских сборника стихотворений для детей: «Примус», «Два трамвая», «Кухня» и «Шары».) Поэтическая немота длилась годами. Дело усугублялось тем, что в литературной среде было достаточно распространено мнение, что Мандельштам – поэт «бывший», кончившийся, не созвучный советской эпохе, исписавшийся буржуазный эстет, которому уже нечего сказать. Сложившееся положение не могло не тревожить Мандельштама. Вдобавок в 1928–1929 годах поэт оказался втянутым в конфликт, который вызвал у него сильнейшее огорчение и негодование. В 1928 году издательство «Земля и фабрика» (ЗИФ) выпустило в свет перевод романа Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель». По оплошности издательства автором перевода был назван О. Мандельштам. Это было неверно; на самом деле Мандельштам лишь творчески переработал сделанные ранее переводы В.Н. Карякина и А.Г. Горнфельда. Такая практика в то время была в порядке вещей, в ней не было ничего незаконного, и издательство заказало Мандельштаму произвести «обработку», как это называлось, выполненных ранее переводов. Однако понятия «обработчик» и «переводчик», естественно, не могли не различаться. Как только роман вышел в свет и Мандельштам

узнал о произошедшей по вине издательства оплошности, он немедленно сам уведомил об этом А.Г. Горнфельда, старого известного литератора, критика и переводчика, некогда сотрудника В.Г. Короленко, причем выразил полную готовность предоставить ему часть гонорара.



Уличный указатель издательства «Земля и фабрика». Ул. Варварка, 1920-е

Мандельштам признавал невольную вину в случившемся. Умысла не было, но был недосмотр. Однако Горнфельд не счел

объяснения убедительными. 28 ноября 1928 года в ленинградской «Красной вечерней газете» появилось письмо Горнфельда, в котором он фактически обвинил Мандельштама в плагиате. Горнфельд убедительно указал на ряд дефектов в работе Мандельштама над книгой, но сравнение произошедшего с кражей чужого пальто, которое он позволил себе, характеризуя данный инцидент, было несправедливым и не могло не оскорбить поэта. Мандельштам был публично обвинен в воровстве, которого не совершал. 12 декабря 1928 года в газете «Вечерняя Москва» Мандельштам ответил своим письмом на письмо Горнфельда. Поэт отверг обвинение в плагиате, но «признал нелепую, досадную оплошность (свою и издательства)».

Однако на этом инцидент не был исчерпан. Журналист Д.И. Заславский в своих фельетонах выставил Мандельштама лицемерным плагиатором и литературным дельцом. Дело длилось достаточно долго. В. Карякин обратился с иском к Мандельштаму в Московский губернский суд (дело Карякин проиграл, в иске было отказано). Конфликт разбирался комиссией ФОСП (Федерация объединений советских писателей), еще в январе – феврале 1930 года рассмотрение дела продолжалось. У Мандельштама, с его повышенной возбудимостью, ранимостью и обостренным чувством чести, конфликт вызывал крайнее раздражение и возмущение. (Надо учитывать и то обстоятельство, что поэт в этот период зарабатывал на жизнь в основном переводами, и скандал, в который он был вовлечен, никак не способствовал работе на этом поприще.) Несмотря на то что о его поддержке заявил целый ряд видных писателей разных направлений (в том числе Вс. Иванов, Б. Пильняк, Б. Пастернак, А. Фадеев, Л. Авербах, Ю. Олеша, М. Зощенко и Л. Леонов), Мандельштам не мог отделаться от ощущения, что его вываляли в грязи. Участие в заседаниях конфликтной комиссии, общение с литературными начальниками было для него тягостным. Стали спрашивать попутно (уже в начале 1930-го) и о том, не работал ли он во время Гражданской войны в белых газетах, не имел ли отношений с белой разведкой. В декабре 1929 года писательская комиссия ФОСПа приняла половинчатое решение: с одной стороны, были признаны неуместными нападки Заславского, но, с другой, и Мандельштам признавался морально ответственным в истории с публикацией «Тиля Уленшпигеля». Мандельштам хотел недвусмысленной реабилитации и восстановления честного имени, публичного оправдания; добиться этого в полной мере ему не удалось. (Наиболее подробный и аргументированный анализ «дела о плагиате» содержится в книге О.А. Лекманова «Осип

Мандельштам: жизнь поэта» [160] .)

Слова из письма жене (от 13 марта 1930 года) дают представление о том, насколько остро и безысходно поэт воспринимал свое положение: «Запутали меня, как в тюрьме держат, свету нет. Все хочу ложь смахнуть – и не могу, все хочу грязь отмыть – и нельзя». Мандельштам заявил о своем отказе от членства в ФОСП; в «Открытом письме советским писателям» (начало 1930; черновое) он обвиняет: ФОСП «запятнала себя гнуснейшим преследованием писателя». «Мне стыдно, – продолжает Мандельштам, – что я, как нищий, месяцами умолял вас о расследовании. Если это общественность, я бегу от нее, как от чумы. Вы умеете не слышать, вы умеете не отвечать на прямые вопросы, вы умеете отводить заявления. Если собрать все, что я вам писал за эти месяцы, то получится настоящая книга – убийственная, позорная для нас всех. В историю советской литературы вы вписали главу, которая пахнет трупным разложением.

Я ухожу из Федерации советских писателей, я запрещаю себе отныне быть писателем, потому что я морально ответственен за то, что делаете вы».

Вышесказанное нельзя не принимать во внимание, говоря о том периоде в жизни поэта, когда судьба связала его с домом в Старосадском переулке. Разбирательство в связи с переводом «Тиля» имело чрезвычайно важные последствия: дело поставило Мандельштама в конфликтные отношения с теми, кто олицетворял для него власть в литературной среде. Он почувствовал себя в роли маргинала, странного субъекта, на которого с недоброжелательным недоумением смотрит «литературная общественность». «Дело о “Тиле”», вроде бы чисто литературное, послужило катализатором давно зревшего у Мандельштама неприятия как определенных особенностей советской жизни (например, растущей бюрократизации и смертной казни), так и некоторых, по крайней мере, положений официальной идеологии, обосновывавших государственную практику. А.К. Гладков подчеркивает, что дело о переводе «Тиля» привело в действие тот взрывчатый материал, который копился в душе поэта и был готов взорваться – нужен был лишь повод. «Невозможно правильно понять “Четвертую прозу” Мандельштама, объясняя ее биографическими фактами, связанными с обработкой перевода “Тиля Уленшпигеля” и фельетоном Заславского. Реакция настолько громче события, ее вызвавшего, что тут все кажется преувеличенным, раздутым, слишком обостренным, чересчур чувствительным. У кого из литераторов не случалось подобного: в плагиате обвиняли и

Тургенева, и Толстого. Но если соотнести накал и пафос обобщений “Четвертой прозы” со всей дальнейшей судьбой поэта, то она не покажется ни чрезмерной, ни преувеличенной…» [161] Мандельштам осознавал все явственнее, что ему уготована судьба отщепенца, одиночки, который отказывается идти в ногу с теми, кто присвоил себе право называться «писателями». Эту судьбу он принял. Его произведения, написанные в это время (в том числе в Старосадском переулке), многообразно, прямо либо опосредованно, связаны с «делом о “Тиле”».

В этот период в доме на Старосадском побывал литератор Павел Лукницкий, чья дневниковая запись хорошо передает состояние и положение поэта:

«18.06.1929. Москва…В 10 часов вечера я у О.Э. и Н.Я. Мандельштам, в квартире брата О.Э., около Маросейки. О.Э. – в ужасном состоянии, ненавидит всех окружающих, озлоблен страшно, без копейки денег и без всякой возможности их достать, голодает в буквальном смысле слова. Он живет отдельно от Н.Я. в общежитии ЦЕКУБУ (общежитие Центральной комиссии по улучшению быта ученых; см. «Список адресов». – Л.В.), денег не платит, за ним долг растет, не сегодня завтра его выселят. Оброс щетиной бороды, нервен, вспыльчив и раздражен. Говорить ни о чем, кроме своей истории, не может. Считает всех писателей врагами. Утверждает, что навсегда ушел из литературы, не напишет больше ни одной строки, разорвал все уже заключенные договоры с издательствами. <…>

Ушел вместе с О.Э. около часу ночи. Вместе ехали в трамвае до Николо-Песковского. Он в отчаянье говорил, что его после часа ночи не пустят в общежитие… О.Э. произвел на меня тягостнейшее впечатление» [162] .

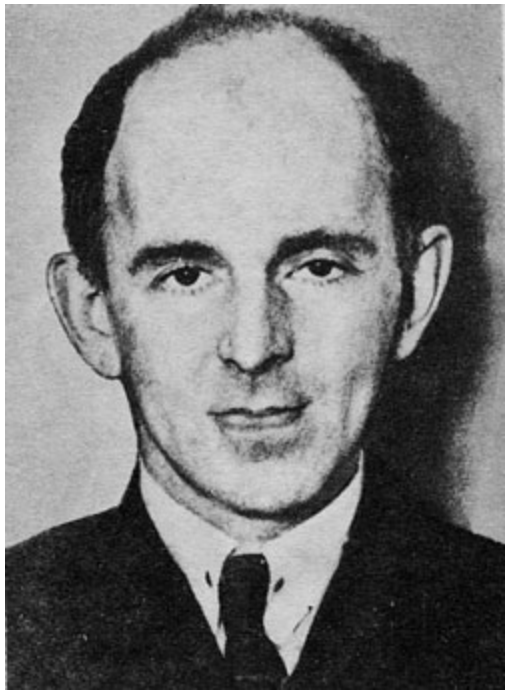
Зимой 1929–1930 годов Мандельштам пишет яростную «Четвертую прозу». Противостояние имело свою положительную сторону: оно мобилизовало душевные силы поэта, утвердило его в своей правоте. В этом сочинении Дом Герцена, который мы покинули в предыдущей главе и к которому еще вернемся, входит в прозу Мандельштама. «Четвертая проза» – четвертая после книг «Шум времени», «Феодосия» и «Египетская марка».

Это вещь предельно откровенная, высказанная «с последней прямотой». Строки, посвященные в ней Дому Герцена, исполнены того же негодования и презрения к официально одобряемой литературе, что и «массолитовские» эпизоды «Мастера и Маргариты». Только у Булгакова больше иронии, Мандельштам же пишет о Доме Герцена с неприкрытой яростью, заставляющей вспомнить древнееврейских пророков-обличителей (автор, несомненно, сам сознавал эту стилистическую особенность своей

вещи – неслучайно он пишет в «Четвертой прозе» о «почетном звании иудея», которым он гордится, и уподобляет свою «стариковскую палку» еврейскому посоху): «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена…» «Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся крев, стала – все-терпимость…»

В «Четвертой прозе» Мандельштам называет советскую землю «кровавой», на Красной площади ему мерещится Вий; поэт говорит о духе насилия, который культивируется в стране и в котором воспитывается молодежь (это место произведения связано с работой поэта в редакции газеты «Московский комсомолец» в 1929–1930 годах – см. «Список адресов»); характеризует стих Есенина «Не расстреливал несчастных по темницам» как «символ веры, подлинный канон настоящего писателя – смертельного врага литературы». На смену революционному пафосу пришли казенщина и страх с соответствующей словесностью. Поэт не хочет иметь ничего общего с литературой, которая запродана «рябому черту на три поколения вперед», с писательством, которое «помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными». «Рябой черт» здесь – очевидно, Сталин.

«Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами, – пишет Мандельштам. – Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа [163] – навстречу плевриту, смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона сребреников и счета печатных листов».



Осип Мандельштам. Конец 1920-х

(Попутно заметим: почему Мандельштам пишет «по бульварным кольцам» – во множественном числе? И в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» 1931 года: «В черной оспе блаженствуют кольца бульваров…» Ведь бульварное кольцо в Москве одно. Представляется, что множественное число может идти от трамвайных путей, шедших с внутренней и внешней сторон бульварного кольца, – тем более что, по воспоминаниям московских старожилов, в частности краеведа Ю. Федосюка, на вагонах линии «А» были указатели «Бульварная» – имелась в виду линия. Причем нередко добавлялось «пр.» и «лев.» – «бульварная правая» или «бульварная левая». «А пр. Бульварная» некоторые «остроумцы» расшифровывали так: «Аннушка – проститутка бульварная». Колец, таким образом, получалось как бы два. Эта деталь городской жизни подтверждается московской открыткой, выпущенной ИЗОГИЗом в начале 1930-х годов, где мы отчетливо можем видеть на трамвае, сфотографированном у Камерного театра на Тверском бульваре, указатель стороны кольца рядом с большой буквой «А» [164] . Но, возможно, дело проще: ведь до тридцатых, до расширения, и Садовое кольцо действительно было садовым, перед многими домами еще шумели деревья в палисадниках, и Мандельштам, говоря о бульварных московских кольцах, мог иметь в виду оба столичных зеленых пояса.)

Не к кому обратиться – разве только к Герцену, которого

Мандельштам называет хозяином дома (это не так, Герцен никогда не был хозяином усадьбы, ею владел брат отца Герцена, А.А. Яковлев, а затем его сын): «Александр Иванович Герцен!.. Разрешите представиться… Кажется, в вашем доме… Вы, как хозяин, в некотором роде отвечаете…

Изволили выехать за границу? Здесь пока что случилась неприятность…

Александр Иваныч! Барин! Как же быть?

Совершенно не к кому обратиться…»

«Четвертая проза» знаменовала переход Мандельштама от стремления поладить с эпохой к новому осознанию своей творческой правоты и, как следствие, – к готовности противостоять тем, кто присвоил себе право эпоху олицетворять и от ее имени говорить.

Вход в подъезд, где жил А.Э. Мандельштам

После «Четвертой прозы» и поездки на Кавказ (март – ноябрь 1930 года, Абхазия, Грузия, Армения) Мандельштам снова начал

писать стихи, начался его новый творческий подъем. Целый ряд мандельштамовских стихотворений, наполненных тем самым «ворованным воздухом», о котором сказано в «Четвертой прозе», был создан в Старосадском переулке. В середине января 1931 года Мандельштамы возвращаются из Ленинграда, где они некоторое время находились после поездки на Кавказ, в Москву. Своего жилья у них не было; Осип Эмильевич поселяется у брата в Старосадском переулке, а Надежда Яковлевна – у своего брата, Е.Я. Хазина, в доме 6 на Страстном бульваре. Мандельштам привез с юга цикл стихотворений «Армения»; в третьей, мартовской книжке «Нового мира» цикл был напечатан. Начинается поэтическая работа непосредственно в Москве: в начале марта пишется стихотворение «Я скажу тебе с последней…», с его бесшабашной печалью и сарказмом, и создаются строгие, отразившие недобрые предчувствия и готовность к нелегкой судьбе стихи «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…».

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.
Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.
Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну а мне – соленой пеной
По губам.
По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.
Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли,
Все равно.
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!
Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.
2 марта 1931

Очевидна связь стихотворения с «Пиром во время чумы» Пушкина («Спой, Мери…»). Столь же несомненна перекличка

стихотворения с «Серенадой» П. Верлена; «ангел мой» – из «Серенады». Эллинизм, о котором когда-то писал поэт, очеловечение быта, «прививка» эллинского чувства красоты новому миру – все это не состоялось. Если в 1918 году в статье «Государство и ритм» было заявлено: «Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины», то в стихотворении 1931 года с горечью говорится противоположное. По свидетельству Н. Мандельштам, стихотворение было создано в служебной смотрительской комнате биолога Б.С. Кузина в Зоологическом музее, во время дружеской пирушки: «Написано во время попойки в “Зоомузее”. Если грубо раскрыть: Елена – это “нежные европеянки”, “ангел Мэри” – я. (Пир во время чумы, а чума ощущалась полным ходом…) Сохранились беловики моей рукой. “Шерри-бренди” в смысле “чепуха” – старая шутка, еще из Финляндии, где жил с Каблуковым» [165] .

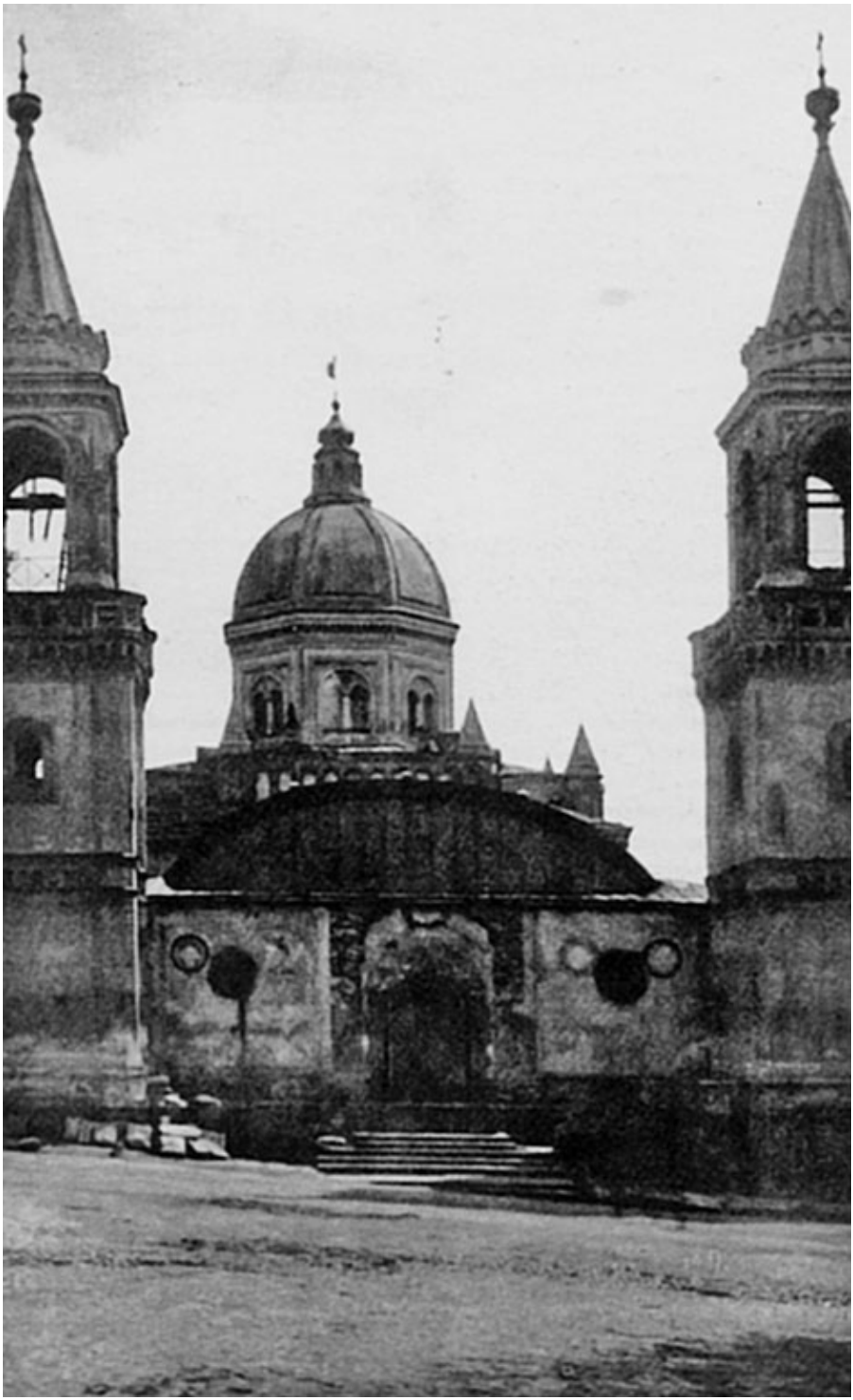
Старосадский переулок в 1920-е гг. У дома 8

«Нежные европеянки» в комментарии Н. Мандельштам – петербургские красавицы, упомянутые в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…» (1931), – об этих стихах речь будет ниже. С.П. Каблуков – секретарь петербургского Религиозно-философского общества, старший друг Мандельштама, с которым девятнадцатилетний поэт познакомился в 1910 году в Финляндии. В первой главе нашей книги цитировалась запись из дневника С. Каблукова об «эротических» стихах Мандельштама. В ряду произведений такого

рода Каблуков называет в дневнике обращенное к Марине Цветаевой и завершающее роман с ней «Не веря воскресенья чуду…» (это стихотворение в первой главе было приведено), а также стихи «Я научился вам, блаженные слова…» и «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне…», посвященные Саломее Андрониковой, и стихотворение «Камея» («Я потеряла нежную камею…»), адресованное Тинатине Джорджадзе – двум красавицам-аристократкам из круга «европеянок нежных». Относительно выражения «шерри-бренди»: нет оснований не доверять комментарию Н. Мандельштам. Однако не исключено, что актуализация интереса к знакомому выражению могла произойти в связи с прочтением повести Валентина Катаева «Растратчики» (опубликована в 1926 году) или просмотром спектакля по «Растратчикам» (сам В. Катаев утверждал, что поэт подхватил это выражение на премьере спектакля по его произведению [166]). Повесть вызвала сочувственный интерес у Мандельштама. В статье «Веер герцогини» (1928–1929) он именует произведение Катаева «крупной вещью», хотя оно и не вызывает у него таких увлеченно-эмоциональных оценок, как «Три толстяка» Ю. Олеши («хрустально-прозрачная проза, насквозь пронизанная огнем революции, книга европейского масштаба») и «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова («брызжущий веселой злобой и молодостью… дышащий требовательной любовью к советской стране памфлет»). В катаевской повести, во всяком случае, выражение используется не раз и выступает в первую очередь в качестве обозначения «шикарной жизни», то есть жизни красивой и замечательной (и при этом утраченной), какой она представляется одному из героев книги Филиппу Степановичу: «“А после обеда – не угодно ли кофе… С ликерами… Шерри-бренди… Будьте любезны…” – болтал Филипп Степанович…» (бухгалтер Филипп Степанович зазывает кассира Ванечку к себе домой); «– И оч-чень приятно! – закричал он фаготом. – Прошу вас, господа! Суаре интим. Шерри-бренди… Месье и мадам… Угощаю всех…» (Филипп Степанович в Ленинграде, в «особняке» у жуликов, разыгрывающих высшее общество); «– Шерри-бренди, – произнес он, заплетаясь, – будьте любезны… Мадам…» (Филипп Степанович – Изабелле). Выражение «шерри-бренди» в «Растратчиках» сочетается с мыслью о бесшабашном разгуле, когда человек, пребывая в некоем фантастическом мире, забывает о всякой ответственности и последствиях – «пропади все пропадом, будь что будет!»: «– Что ж это ты, Ванечка, а? Плюнь на все, и пойдем пить сорокаградусную водку. Положись на меня. Шерри-бренди, шато-икем… И в чем, собственно, дело? Жизнь прекрасна! Двенадцать тысяч на

текущем счету, вилла в Финляндии… Лионский кредит… Вино и женщины, масса удовольствий…» [167]

В пользу предположения, что «шерри-бренди» из мандельштамовского стихотворения может иметь определенную не внешнюю, а тематическую связь с катаевской повестью, говорит, как нам представляется, то, что в обоих сочинениях доминирует мотив «растраты». Без сомнения, лирический герой Мандельштама понимает красоту и счастье иначе, чем Филипп Степанович. Однако ситуации подобны: все растрачено, и теперь осталось, «ангел Мэри», «пить коктейли» и «дуть вино». Причем «коктейли» в мандельштамовском стихотворении – столь же воображаемые, как и «вилла в Финляндии» в горячечных монологах Филиппа Степановича.



Бывший Ивановский монастырь. Вход в «отделение фабрично-заводской колонии при Госуправлении мест заключения». 1931

Следом за стихами о том, что все лишь «шерри-бренди», появляется стихотворение «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…».

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страху, что будет, и будет – гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно – и все-таки до смерти хочется жить.
С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.
4 марта 1931

«Бушлатник» – заключенный. Дом 10 по Старосадскому переулку, в котором поэт поселился у брата, соседствует с Ивановским монастырем. В упраздненном монастыре находилась тогда тюрьма: «Экспериментально-пенитенциарное отделение при Госинституте по изучению преступности и преступника», а с 1930-го – и отделение фабрично-трудовой колонии при Государственном управлении мест заключения (по данным историка Л.А. Головковой). Собственно, «исправдом» был размещен в бывшем монастыре уже вскоре после революции. Уходя от «брата Шуры» или возвращаясь домой, Мандельштам многократно должен был проходить мимо этого учреждения. Не отразилось ли это обстоятельство в стихотворении, хотя московская тюрьма и не «острог»? «Тюрьма прочно жила в нашем сознании», – пишет о людях своего поколения Н.Я. Мандельштам [168] .

Окна комнат, где жили А.Г. Беккерман (левое) и А.Э. Мандельштам

Как создавались стихи в Старосадском переулке? На этот вопрос помогают ответить комментарии Н. Мандельштам к стихам 1930–1937 годов. «Первая московская группа стихов состоит из “Волчьего цикла”, нескольких “дразнилок” (“Ангел-

Мэри”, “Александр Герцович” и “Я пью за военные астры…”) и стихов о концерте. <…> Стихи эти О.М. писал, живя в Старосадском у своего брата Шуры, в комнате, где находилось четверо – он, Шура с женой Лелей и их крошечный сын Шурик [169] . Ночью он в темноте, боясь к утру забыть стихи, записывал их на крошечных бумажках <…> Утром он приходил ко мне – к моему брату, – и я записывала ночные стихи» [170] . «Волчьим циклом» Н. Мандельштам называет группу стихотворений, центральное место в которой занимает «За гремучую доблесть грядущих веков…» (будет приведено ниже).

Во «Второй книге» Надежды Мандельштам содержатся важные дополнительные подробности.

«Мы вернулись из Армении поздней осенью тридцатого года. <…> Первые полтора года мы мытарили по чужим квартирам, одно время даже порознь. “Волчий цикл” писался, когда Мандельштам жил у своего брата (у Шуры), а я у своего.

В комнате Шуры всегда стоял шум. Узкая и длинная, она соседила с двумя такими же перенаселенными комнатами, где в одной бренчал на рояле Александр Герцович, а в другой хлопотала заботливая еврейская старуха, опекавшая детей, внуков и соседей. Стихи начинались ночью, когда воцарялась “запрещенная тишь”. <…> Боясь, что за ночь он все забудет, как всегда забывались мелькнувшие во сне строчки, Мандельштам записывал их при свете ночника на клочках бумаги. Почти каждое утро он приносил мне кучку карандашных записей» [171] . «Запрещенная тишь» – цитата из стихотворения, написанного в Старосадском переулке в марте 1931 года.

После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь.
Тихо живет – хорошо озорует:
Любишь – не любишь – ни с чем не сравнишь…
Любишь – не любишь, поймешь – не поймаешь…
Не потому ль, как подкидыш, дрожишь,
Что пополуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь?

«Мышь», несомненно, восходит к пушкинскому: «жизни мышья беготня…» и, очень вероятно, к статье М.А. Волошина «Аполлон и мышь». Ночью на какое-то время мышиная беготня жизни прекращалась, и «уворованные» у времени минуты превращались в стихи. Ночные шорохи и шуршание звучат в прошивающих стихотворение «ш» и «ж». Внутренняя нервная дрожь сопровождает творческое возбуждение; но «дрожишь», как скупец, еще и над каждой драгоценной минутой свободной радостной работы (наконец-то никто не мешает). Эта свобода, как

всякая свобода, подозрительна, статус поэта сомнителен и маргинален – как у подкидыша. Хорошо сознавая, что в его жизни наступил новый этап, что прошлое, еще в двадцатые годы бывшее не таким уж далеким, навсегда ушло, стало в полной мере прошлым, которое никогда не вернется, Мандельштам пишет – еще в феврале 1931-го, вскоре после переезда из Ленинграда в Москву и в начале «старосадского периода», – стихи, ставшие его прощанием с ушедшим миром, «окончательным расчетом отношений с Петербургом-Ленинградом», по словам М.Л. Гаспарова [172] .

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.
С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных,
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива…

Отрекаясь от старого «державного» Петербурга (однажды в беседе, напомним, говоря об ушедшей в 1917 году России, Мандельштам сказал: «Ничего, ничего я там не оставил»), от его гвардейцев, устриц, тяжелого, буржуазного, «египетского» величия («египетская» тема еще откликнется в 1937-м, в стихотворении о Франсуа Вийоне: «Украшался отборной собачиной / Египтян государственный стыд, / Мертвецов наделял всякой всячиной / И торчит пустячком пирамид»), отрекаясь от «блоковских» цыганок («лимонная Нева» вызывает в памяти: «Я послал тебе черную розу в бокале / Золотого, как небо, Аи»), отрекаясь от города, «знакомого до слез» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 1930), Мандельштам, в сущности, вопреки всем заявленным отказам, признается Северной столице в любви. Ушел не только имперский город, но и ушло, подобно

благородной красавице леди Годиве из стихотворения Альфреда Теннисона, неразрывно связанное с Петербургом тонкое и сложное цветение европейской культуры, ушла изысканная и нежная женская красота, ушло аристократическое благородство. Леди Годива олицетворяет здесь, несомненно, тот петербургский европеизм, к которому так тянулся мальчик Осип Мандельштам из родного дома, из отвергаемого им тогда «хаоса иудейского». Леди Годива – персонаж английской легенды, графиня – просила мужа снизить разорительные налоги, которыми он обложил своих подданных. Граф обещал сделать это только в том случае, если его супруга согласится проехать на коне обнаженной через весь город (Ковентри), то есть поставил заведомо невыполнимое условие. Попросив горожан в назначенный день закрыть ставни и не смотреть на улицу, леди Годива нагой проехала по городу, и графу ничего не оставалось, как исполнить обещание. «Распущенную рыжую гриву» леди Годивы можно видеть на бывшей очень популярной картине художника-прерафаэлита Джона Кольера (1898). Красота петербургских «европеянок нежных», их влекущее очарование не забыты и не могут быть забыты. Попрощавшись с прошлым, надо было определиться в настоящем. 17–28 марта 1931 года Мандельштам пишет центральное стихотворение так называемого «волчьего цикла».

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей —
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей,
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе, —
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

В будущем обещаны «высокое племя людей» и «гремучая доблесть»; это высокий идеал, но определение «гремучая» имеет некий явно негативный оттенок: не говоря уже о том, что оно входит в сочетания «гремучая смесь» (взрывчатая смесь водорода с кислородом) и «гремучая змея», оно напоминает о погремушке: слишком много шума, слишком широковещательны обещания

светлого будущего. Этот шум запечатлен в самом звучании первого стиха, в его ударных и безударных «у» и ударных «о»: У – У (ju) – О – У – О. Как представляется, именно гудящее «у» и родство со словом «погремушка» обусловило выбор слова «гремучую» (а не «гремящую») – очень уж погремушечны рисуемые перспективы. Но тем не менее назад возврата нет, старый мир должен был рухнуть, страшный век-волкодав делает полезное дело – давит волков. Сложность и напряженность ситуации Мандельштама заключалась в том, что он не был «антисоветским» поэтом. Будь он им, ему, в известной мере, было бы проще. Напротив, он хотел найти свое место в новом мире, за который боролись поколения лучших людей России; нельзя предать «присягу чудную четвертому сословью / И клятвы крупные до слез» («1 января 1924»). Век-волкодав ошибается, кидаясь на него (отголосок травли в связи с делом о переводе «Тиля Уленшпигеля»), поэт не волк и новой жизни не враждебен. С другой стороны, невозможно без отвращения и страха видеть «кровавые кости» в колесе современности, видеть насилие и ложь, заставляющие усомниться в доброкачественности нового мира. Отсюда – мотив бегства. Строки «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, / Ни кровавых костей в колесе» (курсив мой. – Л.В.) корреспондируют, вероятно, со стихами Эдуарда Багрицкого (где речь идет о суровой необходимости уничтожать врагов революции): «Их нежные кости сосала грязь» («ТВС»,1929) – эта связь уже отмечалась исследователями. Первые два стиха третьего четверостишия в следующем, 1932 году отзовутся в «Стихах о русской поэзии» («И белок кровавый белки / Крутят в страшном колесе») и в одном из вариантов концовки стихотворения «О, как мы любим лицемерить…» («И не глядеть бы на изгибы / Людских страстей, людских забот»).

«Когда он мне прочел “За гремучую доблесть грядущих веков”, – вспоминал поэт Семен Липкин, – я, потрясенный, воскликнул: “Это лучшее стихотворение двадцатого века!” – но Мандельштам, указав на жену, которая обычно сидела в дальнем углу, небрежно произнес: – А в нашей семье это стихотворение называется “Надсоном”» [173] . Действительно, мандельштамовские стихи ритмически близки надсоновскому «Верь, настанет пора и погибнет Ваал…». В отношении Мандельштама к поэту Семену Надсону, кумиру народнически настроенной молодежи 1880–1890-х годов, ирония сочеталась с сочувствием к его гражданской позиции. О.А. Лекманов указывает на связь «За гремучую доблесть грядущих веков…» с одним из стихотворений Поля Верлена и фразой из сказки Киплинга о Маугли («Мы с тобой одной крови – ты и я») [174] . Сибирские

детали, по убедительному предположению Д.И. Черашней, восходят, видимо, к «Житию протопопа Аввакума», которое Мандельштам хорошо знал и любил [175] .

Такая смысловая концентрация, такое использование разнообразных подтекстов, делающее содержание произведения многослойным и исключительно насыщенным при жесткой экономии словесного материала, является одной из характернейших черт поэтики Мандельштама. В этом смысле он шел в литературе тем же новаторским путем, по которому двигались, к примеру, Джойс и Томас Элиот. Мандельштам сознавал возможности «упоминательной клавиатуры», как он это называл, и наращивал их, включая такие, как подстановка в узнаваемую словесную конструкцию неожиданного словесного элемента, «сквозь» который «просвечивает» знакомый, или рифмовка, при которой осуществляется звуковая перекличка своей строки со стихом из «цитируемого» произведения, к которому поэт отсылает читателя. Выше приводились такого рода примеры: «А небо будущим беременно…» – в этом выражении просвечивает привычная формула «Время беременно будущим»; «О, солнце, судия, народ» вызывает в памяти лермонтовское «Есть грозный судия: он ждет».

О многочисленных заимствованиях и скрытых цитированиях у больших поэтов хорошо написал В. Ходасевич:

«Таких “краж” у Пушкина великое множество. Но Пушкин все остается Пушкиным и навсегда останется, сколько бы еще заимствований ни было у него обнаружено. Отчего это все? Оттого, разумеется, что Шекспир, Гете, Пушкин и другие, не столь великие, но оригинальные художники знали и знают: их сущность – не в том чужом, что заимствуемо и повторимо, а в том собственном, личном, неотъемлемом и неповторимом, чем отдельные “краденые” места у них связаны, спаяны, преображены и приведены к таинственному единству» [176] .

Отмечены мощной выразительностью и строки из черновых вариантов к этому стихотворению. Например:

Не табачною кровью газета плюет
Не костяшками дева стучит
Человеческий жаркий искривленный рот
Негодует поет говорит —

Концовка стихотворения подбиралась долго: было «И во мне человек не умрет», был и вариант «И неправдой искривлен мой рот» – который выражал, очевидно, сознание «причастности к всеобщей Неправде и своей ответственности за нее» (М. Гаспаров) [177] . Только позднее, в середине 1930-х годов, в воронежской ссылке, поэт остановился на гордом, по сути, завершении: «И

меня только равный убьет». Мелкие укусы литначальников не могли его уничтожить, он оказался им не по зубам. Не по зубам и «веку-волкодаву», зверь не равен человеку: текст дает возможность и для такого прочтения. Мотивы всеобщей лжи, бегства и личной вины развивают написанные также в марте стихи «Ночь на дворе. Барская лжа…» и жуткое стихотворение «Я с дымящей лучиной вхожу…» (4 апреля 1931).

Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Хрип горожан
И толкотня в гардероб.
Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
Шапку в рукав, шапкой в рукав —
И да хранит тебя Бог!

Мандельштам неоднократно вступал в поэтический диалог с Б. Пастернаком. Литературовед Л.Я. Гинзбург в своих записях отмечала, что «Пастернак выражает сознание приемлющего интеллигента (как Мандельштам выражает сознание интеллигента в состоянии самозащиты)» [178] . В данном случае реакцию Мандельштама, по свидетельству его вдовы, вызвали строки из любовного стихотворения Пастернака «Красавица, моя вся стать…», в которых Мандельштам усмотрел уход от трагизма, стремление отрешиться от негативных фактов современности и «оправдать» действительность: «А в рифмах умирает рок, / И правдой входит в наш мирок / Миров разноголосица. // И рифма не вторенье строк, / А гардеробный номерок, / Талон на место у колонн / В загробный гул корней и лон. // И в рифмах дышит та любовь, / Что тут с трудом выносится, / Перед которой хмурят бровь / И морщат переносицу. // И рифма не вторенье строк, / Но вход и пропуск за порог, / Чтоб сдать, как плащ за бляшкою, / Болезни тягость тяжкую, / Боязнь огласки и греха / За громкой бляшкою стиха» [179] . Но Пастернак ни о каком уходе от современности не пишет. Его стихи говорят о другом: в поэзии любовь предстает свободной, избавленной от власти рока и быта. Мы входим в театр, сдаем одежду в гардеробе и попадаем в другой, преображенный мир. Подобное преображение происходит с любовью в поэзии. Мнение Н. Мандельштам в данном случае не кажется достаточно убедительным, существенной смысловой связи между этими конкретными стихами Пастернака и Мандельштама не обнаруживается. Ничто, кроме упоминания гардероба, их не связывает. Как вообще мог Мандельштам знать стихотворение «Красавица моя, вся стать…», когда писал «Ночь на дворе…»? Пастернак пишет свои стихи в апреле, а

мандельштамовские созданы в марте. Но дело, видимо, несколько сложнее. Не исключено, что «Ночь на дворе…» могло быть непрямым откликом на прозу Пастернака «Охранная грамота» (1930–1931, Пастернак заканчивал работу над книгой в январе 1931 года) – на само ее название. Конечно, это лишь предположительно. Во всяком случае, Мандельштам не желает никаких «охранных грамот». Напротив, он хочет бежать от «бала-маскарада». Мандельштамовская запись о Пастернаке (очевидно, более поздняя, когда стихотворение «Красавица моя, вся стать…» уже было, думается, известно автору восьмистишия о «ночи на дворе») может быть откликом на «театральный» мотив «Красавицы…»: «К кому он обращается? К людям, которые никогда ничего не совершат. Как Тиртей перед боем, – а читатель его – тот послушает и побежит… в концерт…» (записи дневникового характера) [180] . В этой характеристике, во всяком случае, посещение «концертов» во время чумы связывается все же не прямо с Пастернаком, а с его читателями. Городская жизнь, столичный «бал-маскарад», с посещениями театров и, очевидно, другими развлечениями, показана Мандельштамом в его мартовском стихотворении неприязненно и отстраненно. «Горожанин» Мандельштам в данном случае пишет о горожанах с явным недоброжелательством, что может показаться странным, если не принять во внимание тот факт, что стихи написаны в период проведения коллективизации (через два года он напишет о горе, которое принес перелом в деревне, в стихотворении «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым…»). С «балом-маскарадом» «во время чумы» поэт не хотел иметь ничего общего, но он не мог не чувствовать и свою вину за происходившее (как «горожанин», как не пострадавший, как имеющий какую-никакую, но крышу над головой, как молчащий о том, что делается). Неправда

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
– Дай-ка я на тебя погляжу —
Ведь лежать мне в сосновом гробу.
А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.
– Захочу, – говорит, – дам еще…
Ну а я не дышу, сам не рад…
Шасть к порогу – куда там… В плечо
Уцепилась и тащит назад.
Вошь да глушь у нее, тишь да мша,

Полуспаленка, полутюрьма.
– Ничего, хороша, хороша…
Я сам ведь такой же, кума.
4 апреля 1931

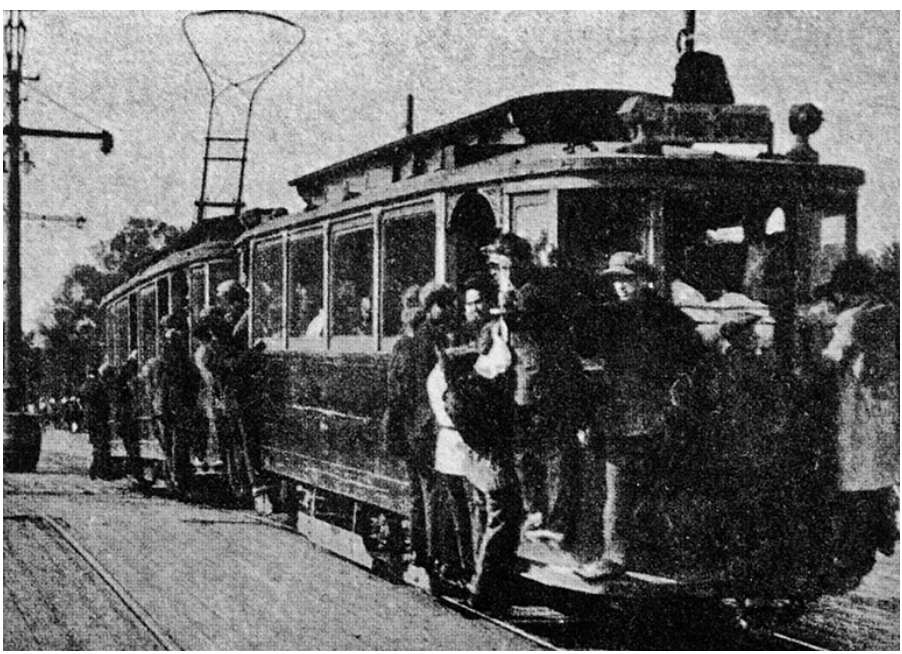
О Сталине ходили слухи, что он шестипалый. Коллективизация с ее массовыми жертвами шла полным ходом, проводились и процессы «вредителей». Через два месяца, 6 июня 1931 года, Мандельштам напишет о Москве: «И казнями там имениты дни» (см. ниже). Бежать некуда, бегство иллюзорно. Мотив бегства, настойчиво повторяющийся в стихах Мандельштама этого периода, сопровождается осознанием нереальности, невоплотимости в жизнь этого стремления.

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину Москвы.
Я – трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.
Мы поедем с тобою на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.
И едва успевает, грозит из угла —
«Ты как хочешь, а я не рискну!» —
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-Москву.

Первые две строки этого апрельского стихотворения Мандельштама – спор со своими же стихами 1924 года: «Спина извозчика и снег на пол-аршина: / Чего тебе еще? Не тронут, не убьют» («1 января 1924»). Разница существенна и в том, что там речь шла о поездке на извозчике – в пролетке человек, во всяком случае, отделен от других, в некоторой степени скрыт; в трамвае он не один по определению, превращен в частицу толпы. Спрятаться за спиной Москвы от Москвы не получается. От грозящей Москвы не скрыться «трамвайной вишенке», по каким бы кольцевым маршрутам ни ездить. «Вишенка» – вероятно, от глагола «висеть»: переполненные трамваи нередко были увешаны людьми, как гроздьями (не говоря уже о том, что и внутри люди были притиснуты друг к другу, подобно вишням в банке). Страх и отчаянье находят выражение как в описанном безвыходном круженье по Бульварному и Садовому кольцу, так и в неточных, «расшатанных» рифмах.

Л.Р. Городецкий доказал, что языки, которые Мандельштам слышал в детстве и юности в своей семье – немецкий и идиш, – играли большую роль в творчестве поэта, безусловно присутствовали в его сознании. В данном случае, как показывает

Лев Городецкий, «мура» из первого четверостишия несомненно корреспондирует со словом “moyre” или “meyre” («страх, ужас» на идише) и, очень вероятно, со словом “mure” («меланхолия, горечь, печаль» – польский диалект идиша) [181] . Возможна также, по нашему мнению, в данном случае связь и с еще одним словом из идиша – «марохе» или «марухе» [maroxe / maruxe]: «судьба, счастье, доля». Это слово встречается у Мандельштама в стихотворении из цикла «Армения» «Дикая кошка – армянская речь…» («О, лихорадка, о, злая моруха!» – в раннем варианте строки «маруха»), написанном, обратим внимание, в октябре-ноябре 1930 года, т. е. всего за полгода до появления «Нет, не спрятаться мне от великой муры…». Л. Городецкий, конечно, выявляет это слово в своей работе [182] , но не связывает его со стихотворением «Нет, не спрятаться мне от великой муры…». Так выстраивается смысловая и звуковая цепочка в стихах о «курве-Москве»: «МуРы» – “МоуRe” – «уМРет».



Трамвай и пассажиры

Основное значение бранного слова «курва» – потаскуха, шлюха. Не исключено, что на столь резкое именование Москвы поэта могли натолкнуть трамвайные реалии: выше уже говорилось о том, как расшифровывали текст «А пр. Бульварная»; трамвайная линия Садового кольца – «Б» – также вызывала соответствующие ассоциации. Дополнительное важное значение слова «курва» – «предательница» (или «предатель»), человек, выдающий соучастников, подельников. Москве доверять нельзя.

Герой стихотворения кружит по московским трамвайным кольцам вокруг страшащей, предательской, пульсирующей (то растет, то съеживается), готовой его поглотить и в то же время влекущей его Москвы-курвы, от которой не скроешься, не убежишь. Эротические ассоциации (влечение-страх) здесь представляются очевидными. Несомненна также связь «курвы» из стихотворения с немецким “Kurve” («кривая, поворот») – эта связь, естественно, также зафиксирована Л. Городецким. Это значение соответствует круговому, криволинейному движению героя. От Москвы не спрячешься, ее не обманешь – «на кривой не объедешь». Представляется, что и этот фразеологизм содержится в подтексте.

Три ударных напряженных «Ы» в первых трех рифмующихся словах – как сильнее может быть выражен сдавленный, задыхающийся голос?

В стихотворении отразилась и мысль о совместном самоубийстве, которое, по свидетельству Н. Мандельштам, нередко представлялось ей в то время в качестве избавления и которое они с Мандельштамом не раз обсуждали (вообще Мандельштам к идее самоубийства относился отрицательно).

Н. Мандельштам дала комментарий к этому стихотворению: «Мы действительно ездили куда-то на “Б” и садились поздно вечером на Смоленской площади среди пьяных и мрачных людей… На “А” ездили к Шуре. В чтении часто “Ты как хочешь, а я не боюсь”» [183] .

На трамвае «А» в самом деле удобно было ехать из центра, от Тверской, к брату Александру: доехать до остановки на Покровском бульваре и спуститься вниз направо к Старосадскому переулку.

В черновой строке к этому стихотворению соединились страх перед Москвой, никогда с первых приездов в 1916 году не покидавший Мандельштама, и – несмотря на это – влечение к городу, который поэт все больше осваивал и чья жизнь переставала быть для него чужой: «Но люблю мою курву-Москву». Оставалось единственное, что не изменило, что спасает и лечит, – творчество, искусство. В конце марта Мандельштам пишет стихотворение «Жил Александр Герцович…», чье «легкое дыхание» выделяет его среди стихов, исполненных мрачных предчувствий, тоски и страха.

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,
Затверженную вхруст,

Одну сонату вечную
Играл он наизусть…
Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Все равно!
Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит —
Нам с музыкой-голу́бою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть…
Все, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там! Все равно!
27 марта 1931

Дыхание у стихотворения легкое, а сущность трагическая. Веселая песня у отчаяния на краю. Пусть будет что будет.

Прототипом героя стихотворения послужил ближайший сосед Александра Эмильевича по коммунальной квартире Александр Герцевич Беккерман. Известно о нем немного. Конечно, его не могла не запомнить жившая в детстве в квартире № 3 Р.Л. Сегал: «Среди многочисленных жильцов нашей квартиры было два брата, оба – музыканты: Григорий и Саша Беккерманы. Саша был старшим, он не стал профессиональным музыкантом потом, хотя, по-моему, играл лучше младшего. Он стал врачом-гинекологом, работал в платной клинике. <…>

У них была небольшая комната, почти всю ее занимал колоссальный рояль. Я очень любила сидеть на маленькой скамейке и слушать, как Саша играет Шопена, Шуберта, Листа…» [184] .

В справочнике «Вся Москва» на 1929 год имеется упоминание о соседе-музыканте и месте его работы: «Беккерман Ал-др Герц., врач-урол., Старосадский п., д. 10, кв. 3. т. 4–80–76. (Клин. 2-го МГУ)» [185] .

Нам удалось найти некоторые данные, которые расширяют объем знаний об этом человеке.

Как указано в справочнике «Вся Москва» на 1929 год, А. Беккерман работал в клинике 2-го МГУ. Второй Московский государственный университет существовал с 1918 по 1930 год. В 1920-м Александр Беккерман поступил во 2-й МГУ и окончил его

в 1926 году «по медицинскому факультету» [186] . С октября 1927-го по 10 апреля 1930 года А.Г. Беккерман был сверхштатным ординатором университетской урологической клиники. К октябрю 1927 года, ко времени поступления в ординатуру, он имел полуторагодовой стаж работы в качестве врача. В апреле 1930-го из 2-го Московского государственного университета был выделен медицинский факультет и преобразован во 2-й Московский государственный медицинский институт. 10 апреля 1930 года, за восемь дней до реорганизации 2-го МГУ, А.Г. Беккерман закончил ординатуру. Но в Москве существовал с 1930 года и 1-й Московский медицинский институт. Именно там, в урологической клинике 1-го ММИ, и работал А.Г. Беккерман во второй половине 1930-х годов, когда его статьи (мы обнаружили три) публиковались в журнале «Урология». Принимал А. Беккерман участие и в работе московского общества урологов. В 1939 году он стал кандидатом медицинских наук.

А 2-й Московский медицинский институт получил в 1946 году имя Сталина; затем, в 1957-м, стал именоваться 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Ныне это Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (РНИМУ). В архиве РНИМУ сохранилась учетная карточка учившегося когда-то сверхштатно в ординатуре 2-го МГУ А.Г. Беккермана (личные карточки сотрудников периода 1929–1948, карточка № 458). Согласно архивным данным, А.Г. Беккерман родился 17 декабря 1903 года. Таким образом, ко времени написания Мандельштамом стихотворения «Жил Александр Герцович» А.Г. Беккерману шел двадцать восьмой год. Поэт был старше врача-музыканта примерно на двенадцать лет.

По свидетельству С.И. Липкина, в стихотворении была еще одна строфа, которую Мандельштам исключил:

Он музыку приперчивал,
Как жаркое харчо.
Ах, Александр Герцович,
Чего же вам еще?

«Между тем, – пишет С. Липкин, – строфа говорит о характерной подробности быта. Музыканты из консерватории направлялись по короткому Газетному переулку до Тверской, в ресторан “Арагви”, помещавшийся тогда не там, где теперь, а в доме, отодвинутом во двор новопостроенного здания, брали одно лишь харчо, на второе блюдо денег им не хватало, но жаркое, острое харчо им наливали щедро, полную тарелку…» [187] Данная строфа не связана с Александром Беккерманом, она имела отношение к его брату-музыканту Григорию. Видимо, это

могло быть одной из причин исключения данных строк – хотя, думается, не главной.

Исследователями высказаны различные мнения относительно того, какую именно «сонату вечную» играет герой стихотворения «Жил Александр Герцович…». Д.И. Черашняя и Ю.Л. Толкач предполагают, что в стихах говорится о шубертовской сонате си-бемоль мажор – одной из трех последних сонат композитора (1828). Анн Фэвр-Дюпэгр считает, что у Мандельштама речь идет о последней серии экспромтов Шуберта (опус 142); особенно близок стихотворению, с ее точки зрения, ритм четвертой пьесы данного опуса. По мнению Б.А. Каца, есть основания полагать, что в стихах подразумевается шубертовская песня «Маргарита за прялкой»; кроме того, Б. Кац указывает и на возможную связь стихотворения с еврейской песенкой «Идл мит а фидл» [188] .

Н.Я. Мандельштам упоминает «Жил Александр Герцович…» в ряду стихотворений, которые она называет «дразнилками». Определение надо понимать, видимо, в том смысле, что в этих стихах поэт заявляет: вопреки всем попыткам считать его «кончившимся», вопреки изматывающим разбирательствам и нападкам в связи с «делом о “Тиле”» он не подавлен, не уничтожен и не отказывается от своего пути и убеждений. В стихах об Александре Герцовиче поэт без излишнего пафоса, но твердо и, несмотря на грустные обертоны, весело высказал свое кредо: художник должен делать свое дело, что бы ни происходило. В этом его призвание и радость. В сущности, это одно из программных стихотворений Мандельштама, о серьезности содержания которого свидетельствует, в частности, известная и несомненная перекличка с лермонтовской «Молитвой»: «В минуту жизни трудную, / Теснится ль в сердце грусть, / Одну молитву чудную / Твержу я наизусть…» Дважды повторенное в стихотворении «Жил Александр Герцович…» «Все равно!» имеет другое значение, чем «Все равно» в стихах, обращенных к «ангелу Мэри» («Я скажу тебе с последней…»). Там говорилось, что все потеряно и утратило смысл («все лишь бредни, шерри-бренди…»); здесь речь идет о том, что, несмотря на все неудачи, главное не потеряно: пока живет в сердце «музыка-голу́ба», остальное – дело второстепенное. Умирать – так с музыкой. Отчество музыканта «Герцевич» или «Герцович» – от имени «Герц», которое напоминает немецкое “Herz” – «сердце», и звучание данной пары слов (Herz – сердце) господствует в фонетической ткани стихотворения: «Герцович», «еврейский», «наверчивал», «вечера», «затверженную», «Сердцевич», «заверчено», «Скерцович».

Смысловая и ритмическая связь стихов об Александре

Герцовиче с «Молитвой» Лермонтова не вызывает сомнений. Хочется отметить также возможную связь стихотворения Мандельштама с тютчевским «Так, в жизни есть мгновения…». Давно замечено (С.С. Аверинцевым и другими исследователями), что при анализе интертекстуальных связей у Мандельштама имеет смысл в большей степени ориентироваться на размер, чем на словесные аналогии. (Хотя принимать этот принцип в качестве обязательного во всех случаях догматического правила не стоит.) А «Жил Александр Герцович…» и тютчевское стихотворение не только ритмически близки и не только имеют смысловую связь (ведь и Мандельштам, и Тютчев пишут о самозабвении: первый – в искусстве, второй – в слиянии души с природой); кроме того, у них совпадают в первом четверостишии полностью, а во втором наполовину ударные звуки в рифмующихся словах:

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,
Затверженную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть…
Так, в жизни есть мгновения —
Их трудно передать,
Они самозабвения
Земного благодать.
Шумят верхи древесные
Высоко надо мной,
И птицы лишь небесные
Беседуют со мной [189] .

Для Мандельштама, «ученика» Тютчева и чрезвычайно чуткого и памятливого в звуковом отношении поэта, вряд ли это может быть чисто случайным совпадением. Добавим, что в обоих стихотворениях важная роль принадлежит звукосочетаниям «ер»/«ре» (+ «с»/«ц» у Мандельштама и + «в» у Тютчева), отражающим на фонетическом уровне ключевое значение слова «сердце» в «Александре Герцовиче» и слова «время» в тютчевских стихах.

Мандельштам пишет, что Александр Герцович играл одну сонату «вечную». Это уместно понять и как проникновение вечности во время, как момент вечности в обыденности. Но о том же – у Тютчева: он пишет о мгновениях «самозабвения», ухода из-под власти времени – «мгновения» из первой строки противостоят

времени из последней: «О время, погоди!» (мотив, конечно, гетевский, фаустовский).

Еще одну возможную связь «Александра Герцовича» можно предположить – с «Затворницей» («В одной знакомой улице…») Я. Полонского. Как и в случае с тютчевскими стихами, здесь не может быть точных доказательств. И тем не менее позволим себе эту гипотезу. Напомним стихотворение Полонского:

Затворница

В одной знакомой улице —
Я помню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном.
Там огонек, как звездочка,
До полночи светил,
И ветер занавескою
Тихонько шевелил.
Никто не знал, какая там
Затворница жила,
Какая сила тайная
Меня туда влекла,
И что за чудо-девушка
В заветный час ночной
Меня встречала, бледная,
С распущенной косой.
Какие речи детские
Она твердила мне:
О жизни неизведанной,
О дальней стороне.
Как не по-детски пламенно,
Прильнув к устам моим,
Она дрожа шептала мне:
«Послушай, убежим!
Мы будем птицы вольные —
Забудем гордый свет…
Где нет людей прощающих,
Туда возврата нет…»
И тихо слезы капали —
И поцелуй звучал —
И ветер занавескою
Тревожно колыхал [190] .

«Затворница» была весьма известным в XIX – начале XX века городским романсом, причем пели его разные социальные группы (народники, каторжане и ссыльные, студенты, просто мещане). В

конце 1920-х годов она еще сохраняла популярность – не случайно Маяковский обыграл этот романс в «Клопе», где Присыпкин поет под гитару:

На Луначарской улице
я помню старый дом —
с широкой чудной лестницей,
с изящнейшим окном [191] .

Между тем «Жил Александр Герцович…» явно напоминает городской романс: «Жил…» – балладный зачин (ср.: «Затворница жила» и «Жил-был король когда-то…» и т. п.); «Он Шуберта наверчивал, / Как чистый бриллиант» – лексика уличного романса. Кроме того, в «Затворнице» Полонского девушка «твердила» возлюбленному: «Послушай, убежим!» Очень заманчивая мысль для Мандельштама этой поры. Он пишет «Александра Герцовича» 27 марта 1931 года, и в это же время, с 17 по 28 марта, создается «За гремучую доблесть грядущих веков…», где сказано: «Запихай меня лучше, как шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей…» Другое дело, что бежать некуда и недостойно.

Е.П. Сошкин в своем подробном анализе стихотворения указывает на очень вероятную связь «Александра Герцовича» со стихотворением Софьи Парнок «Налей мне, друг, искристого…» (1925) [192] .

Имя «Александр» вводит в мандельштамовское стихотворение высокий, пушкинский контекст, и от «Александра Сердцевича» не так уж далеко, как это ни парадоксально звучит, до «Александра Сергеевича». Мандельштама, вероятно, иногда раздражала бесконечная музыка за стеной, но сосед-музыкант – собрат по искусству, и поэт обращается к нему как к товарищу. Не всем дается слава, и слава – не главное (четверостишие об «итальяночке» отсылает, очевидно, к прославленной итальянской певице Анджолине Бозио, скончавшейся в Петербурге в 1859 году, – Мандельштам собирался написать о ней повесть «Смерть Бозио»; в стихах о безвестном еврейском музыканте «итальяночка» – олицетворение славы). Мандельштам отнюдь не был равнодушен к славе, к известности, но если не оставило творчество, не покинуло искусство, то не только отсутствие славы, но и бесславье можно принять и пережить. Об этом – в четверостишии о «вороньей шубе». Отметим, что это единственное место в стихотворении, где автор напрямую объединяет себя с героем («Нам с музыкой-голу́бою / Не страшно умереть…»), здесь звучит непосредственно личная нота – отголосок истории с переводом «Тиля Уленшпигеля»: «воронья

шуба» восходит к упомянутому выше письму А. Горнфельда в «Красной вечерней газете», в котором он обвинил Мандельштама в моральной нечистоплотности и сравнил его поступок с кражей пальто.

Что означает эта «воронья шуба»? Как понять мандельштамовский образ?

Шуба – один из важных, повторяющихся и неоднозначных образов у Мандельштама. Добротная шуба, в частности, – атрибут признанных литераторов. И даже дело не столько в признанности, сколько в том, что они «свои» в своей русской литературе. Шуба в данном контексте – знак избранности, нередко трагической, но избранности. «Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти» («Шум времени»).

Но Мандельштам не входил в русскую литературу как «свой». Напротив, у целого ряда литераторов символистского круга «претензия» этого еврея быть русским поэтом встретила иронически-враждебное отношение. Что такое, в самом деле, «Осип Мандельштам»? Само это имя – воплощенный курьез: гоголевски-простонародное «Осип» (наивно замаскированный под русского Иосиф) и звучно-раввинское «Мандельштам»… Некий странный субъект.

Мандельштам уже в молодости, как говорилось, получил репутацию непредсказуемого чудака; многие воспринимали его как полуюродивого. Молва, как ни странно, оказалась во многом права – в наиболее важные, узловые моменты жизни Мандельштам не раз вел себя именно подобно русским юродивым, в свою очередь продолжившим на Руси древнееврейскую пророчески-обличительную традицию: публичное чтение антисталинских стихов – а, судя по воспоминаниям, поэт читал их далеко не только близким людям – вполне может быть поставлено в один ряд с упреками юродивых в отношении великих князей и царей и заставляет вспомнить поведение Николки из «Бориса Годунова». Имя Мандельштама со временем обросло анекдотами и сплетнями. Одна из них (ничем не подтвержденная) – о совершенной им во времена богемной молодости краже шубы у какого-то зубного врача (см. опубликованное О.А. Лекмановым письмо А. Киппена А. Горнфельду) [193] . Некогда эта болтовня могла быть поэту почти безразлична. Теперь дело принимало очень серьезный оборот.

А.Г. Горнфельд в своем письме в «Красной вечерней газете» задел Мандельштама очень чувствительно – вероятно, не

подозревая, как точно он затронул один из важных, повторяющихся образов поэта. Неслучайно Мандельштам выбрал именно это раздражающее место из письма Горнфельда в качестве эпиграфа к своему ответу в «Вечерней Москве». «Когда, бродя по толчку, – писал Горнфельд, – я вижу, хотя и в переделанном виде, пальто, вчера унесенное из моей прихожей, я вправе заявить: “А ведь пальто-то краденое”». Подчеркнем, что, хотя Горнфельд сравнивал произошедшее с кражей пальто, Мандельштам в ответной публикации пишет именно о шубе: «Оставляя на совести Горнфельда тон и выпады его письма с попытками изобразить дело в уголовном разрезе и с упоминаниями о “толчках” и “шубах”… <…>…Я, русский поэт и литератор, подъявший за двадцать лет гору самостоятельного труда, спрашиваю литературного критика Горнфельда, как мог он унизиться до своей фразы о “шубе”?».

«Скорняк драгоценных мехов», «едва не задохнувшийся от литературной пушнины» (имеется в виду, конечно, труд переводчика), Мандельштам отказывается от «литературной шубы» – он хочет быть отщепенцем, маргиналом: таким он начинал свой путь поэта, таким он хочет остаться: «Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами» («Четвертая проза»).

Но, отделавшись от шубы «признанного» писателя, поэт видит самого себя превращенным в шубу – воронью. Попробуем понять этот странный образ.

«На вешалке висеть» – не висеть ли на виселице, стать вороньим кормом? Жуткий образ, даже слишком мрачный для тональности «Александра Герцовича». Но подтекст объясняет эту сгущенную мрачность – думается, источником могла быть «Эпитафия (баллада повешенных)» Франсуа Вийона.

Сравним процитированное четверостишие из «Александра Герцовича» с вийоновским оригиналом:

La pluie nous a débués et lavés,
Et le soleil desséchés et noircis;
Pies, corbeaux, nous ont les yeux cavés,
Et arraché le barbe et les sourcils.
Jamais nul temps nous ne sommes assis;
Puis za, puis la, comme le vent varie… [194]

В переводе Алексея Парина:

Нас раздувала влага дождевая,

Мы ржавели под солнцем, словно жесть,
Нам бороды рвала воронья стая
И силилась глазницы нам проесть.
Нельзя вовеки нам ни встать, ни сесть —
Качаемся круженью ветра в лад… [195]

Воронье выклевывает у повешенных глаза, выдирает волосы из бороды и бровей; тела раскачивает ветер – все это, вероятно, могло быть суммировано в двух строках Мандельштама о «вороньей шубе» и «вешалке».

И в 1920-е, и в 1930-е годы Мандельштам периодически колебался между попытками идти со всеми в ногу, жить «дыша и большевея», и очередным возвратом к принятию отщепенства, признанием правоты противостояния. В последнем случае в сознании поэта всякий раз закономерно возникал «несравненный Виллон Франсуа» – Мандельштам несомненно соотносил свою судьбу, свое положение в мире и литературе с вийоновскими. Неслучайно же он сказал как-то одному из своих собеседников: «Сейчас надо виллонить».

Не исключена и контаминация вийоновской картины с шубертовской песней “Die Krähe” («Ворона») из цикла “Die Winterreise”, «Зимний путь». (Вспомним, что именно Шуберта «наверчивает» «с утра до вечера» Александр Герцович.) На эту связь указал Г. Фрейдин [196] . В самом деле (стихи Вильгельма Мюллера): “Eine Krähe war mit mir / Aus der Stadt gezogen. / Ist bis heute für und für / Um mein Haupt geflogen”. («Ворона вылетела за мной из города и до сего дня все летает вокруг моей головы»; нельзя не вспомнить о русской песне «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой?..») И далее: “Krähe, wunderliches Tier, / Willst mich nicht verlassen? / Meinst wohl, bald als Beute hier / Meinen Leib zu fassen?” («Ворона, странное существо, не хочешь меня покинуть? Думаешь, вскоре здесь мое тело станет твоей добычей?») В заключительном четверостишии говорится, что кончина путника действительно близка, недолго ему еще идти с его страннническим посохом (Wanderstab). «Посох странника» из песни Шуберта перекликается с фамилией поэта (Мандельштам – «миндальный ствол»). Поэт к таким перекличкам был очень чуток.

Лермонтов, Вийон, Шуберт, возможно, Тютчев… Уместно вспомнить характеристику, которую Мандельштам дал в «Письме

о русской поэзии» Иннокентию Анненскому и которая применима к нему самому уж никак не в меньшей мере: «…весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать».

И все же мало вяжется вийоновская картина усеявшего тела повешенных воронья с печально-отчаянным, но все же светлым тоном «Александра Герцовича».

Далее. «Воронья» шуба – шуба ворованная; ворона – птица вороватая. Карканье ворон принято сравнивать с клеветой (ср. в мандельштамовском «Открытом письме советским писателям», которое он написал в начале 1930 года в связи с делом о переводе «Тиля»: «Спасибо, товарищи, за обезьяний процесс. А ну-ка поставим в дискуссионном порядке, кто из нас вор… Выходи, кто следующий!.. Но меня на этом вороньем празднике не будет»). Обвинение в литературном воровстве прилипло к поэту, он не мог от него избавиться; само слово «вор» настойчиво звучит в тексте его письма «советским писателям» – выделим искомое прописными буквами: «…это злостный удар по работнику, это сВОРачиванье ему шеи – не на жизнь, а на смерть, где все средства хороши, где все пути дозволены: клевета, лжесвидетельство, крючкотВОРство, фельетонная передержка, где все для безнаказанности сдобрено разгоВОРчиками о “писательской этике”, – это одно из бесчисленных дел, когда неугодного работника снимают с поля деятельности бесчестными способами…». А слова «вор» и «ворона» очевидно перекликаются.

На «воронью» образность Мандельштама могла натолкнуть и фамилия одного из переводчиков, с которыми он оказался в конфликте: Карякин – похоже на «карк». В отрывочной черновой записи Мандельштама дневникового характера В. Карякин представлен распугивающим воробьев (в квадратных скобках – вариант в записи): «При каждом движении Карякина – [должны были вспархивать с говорком и щебетом] разлетались воробьи. Кто он такой? Огородное пугало?» [197] .

О переводчике Василии Никитиче Карякине (1872–1938) известно немного. Книга «Уленшпигель» Шарля де Костера вышла в его переводе в 1916 году. Переводил он и других авторов. Наряду с другими литераторами он подписался под приветственным адресом А.М. Горькому от членов и гостей московского Дворца Искусств (27 марта 1919 года). В 1920-е годы Карякин жил в Москве, работал в Московском коммунальном музее (предшественник Музея истории Москвы) и преподавал русский язык на «рабфаке Института имени Ломоносова». Жил на улице Спиридоновка, д. 27, кв. 1. Эти сведения содержатся в справочниках «Вся Москва» за 1923–1930-е годы.

Карякин в мандельштамовской записи соотносится с пугалом,

разгоняющим воробьев. Между тем в слове «воробей» ясно слышится «вора бей» (народная этимология); именно так воспринимал Мандельштам позицию своих противников, выставивших его в качестве литературного вора. К воробьям, маленьким московским жителям, давшим название столичным холмам, Мандельштам относится, как уже говорилось, с симпатией: в приводимом ниже стихотворении «Еще далеко мне до патриарха…»: «Я к воробьям пойду и к репортерам…» В связи с тем, как воспринимал Мандельштам свое «дело», возможно, не лишним будет вспомнить и нередкое в «народной» речи сравнение воробьев с «жидами». (Не должно смущать упоминание воробья в связи с угрожающей Москвой в стихотворении «Нет, не спрятаться мне от великой муры…»: да, этот город способен становиться и маленьким, съеживаться, сохраняя при этом свою потенциально опасную сущность.)

Вот эта тема «воровства» представляется ключевой для понимания. Украдена якобы «шуба писателя», и вот теперь эти «разрешенные писатели» рады случаю наброситься на него – так воспринял Мандельштам возникшую коллизию. Действительно, Мандельштам, со своей богемностью, неряшливостью, импульсивными реакциями, искренностью (он нередко мог высказаться «против шерсти»), должен был раздражать и раздражал многих. А тут представился повод «все припомнить». Как следствие таким образом воспринятой и пережитой ситуации – отказ в «Четвертой прозе» иметь что-либо общее с «писателями», с их холопской литературой, противопоставление им себя как «иудея». (Мандельштам видел в своем «деле», еще раз отметим, и нечто «дрейфусовское». Из «Четвертой прозы»: «Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет». «Густопсовый» – «низкопробный», «отталкивающий», «махровый», «ретроградный», «закоренелый»; надо, безусловно, принять во внимание распространенное в начале XX века выражение «густопсовый черносотенец» – антисемит. Парадоксальным образом у Мандельштама в «Четвертой прозе» «иудейское» противопоставлено «еврейскому». Это, конечно, объясняется тем, что среди «разрешенных» литераторов было немало евреев. О данной особенности «Четвертой прозы» писал Е.А. Тоддес.)

Уход из «литературы» – но куда? И здесь еврейская тема поворачивается еще одной гранью. Место уже готово, заявляет Мандельштам: дело «жидка» – «пиликать», музыку «наверчивать» «как чистый бриллиант» (совершенно жаргонная формулировка). Неслучайно, напомним, музыковед Б.А. Кац пишет о возможной связи интересующего нас стихотворения Мандельштама с еврейской песенкой «Идл мит а фидл» [198] . Александр Герцович

воспринимается как собрат по искусству и судьбе. Речь, естественно, не о том, чтобы стать музыкантом, а о том, чтобы осознать и принять свое место – уйти из ненавистной «литературы». Занять позицию, в которой сознание литературного маргинала сочетается с вернувшимся осознанием национальной отчужденности. Но если понять таким образом «воронью шубу», то, видимо, никуда не уйти от всем известной басни Крылова о вороне, напялившей павлиньи перья. Крыловская ворона была павами «ощипана кругом». Очевидно, самый прямой и «простой» путь понимания и в данном случае, как нередко бывает, верен: «Я срываю с себя литературную шубу…» – сбрасываю с себя чужие литературные павлиньи перья. «Какой я к черту писатель!» («Четвертая проза»).

А. Горнфельд и В. Карякин, по мнению Мандельштама, втравили его в скандальную историю, соединили его имя с чем-то подобным воровству. Это могло навсегда прилипнуть к имени. Мандельштам понимал, несомненно, что уйдет он из литературы или не уйдет, имя его в русской поэзии уже останется, не канет в Лету. «Там хоть вороньей шубою / На вешалке висеть» – остаться после смерти в таком образе «на вешалке» людской памяти, с клеймом плагиатора. Но даже это можно пережить «с музыкой-голу́бою».

С музыкой, с радостью творчества, несмотря на позор, даже и посмертный, можно жить, быть счастливым и умирать с возгласом: «Чего там! Все равно!» В четверостишии из «Александра Герцовича» выражены чувства, подобные – при всей разности ситуаций – тем, которые владеют в «Войне и мире» Николаем Ростовым, когда он, после карточного проигрыша Долохову, слушает поющую сестру Наташу и испытывает, несмотря на ужасное положение и измену честному слову, данного им отцу, счастье «наслаждения от музыки».

И даже не столь уж важно, печатают или не печатают.

Именно тут, в доме в Старосадском переулке, Мандельштам выгнал стихотворца, жаловавшегося на то, что его не публикуют. С.И. Липкин пишет о своем первом приходе к Мандельштаму в Старосадский:

«В широкой парадной было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет тридцати, спускавшегося по лестнице мне навстречу. В руке он держал толстый портфель. Человек был явно чем-то напуган. Сверху низвергался высокий, звонко дрожащий голос Мандельштама:

– А Будда печатался? А Иисус Христос печатался?

Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи. Это была, по словам Мандельштама,

обычная, довольно интеллигентная дребедень, с которой к Мандельштаму иногда приходили надоедать. Мандельштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом виршеплетении была фронда, Мандельштам этого не выносил, во-первых, потому, что опасался провокации, а во-вторых – и это главное, – он считал, что поэзия не возникает там, где идут наперекор газете, как равно и там, где тупо следуют за газетой. Неумный автор стал жаловаться на то, что его не печатают, Мандельштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Мандельштама уже у перил не было (а я снизу видел, как он над ними, крича, наклонялся чуть ли не до пояса)…

Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой. Анна Андреевна весело рассмеялась:

– Узнаю Осю.

Мандельштам успокоился не сразу.

– И почему вы все придаете такое значение станку Гутенберга? – характерным для него певучим и торжественным, при беззубом рте, голосом укорял он меня…» [199] .

Искусство живет страстью; там, где ее нет, – ничего нет. Об этом – написанное 16 апреля 1931 года стихотворение «Рояль».

Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал,
Не идет Гора на Жиронду
И не крепнет сословий вал.
Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф,
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.
– Разве руки мои – кувалды?
Десять пальцев – мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих – конек-горбунок.
Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.
Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюренбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

Поводом для написания стихотворения послужило неудачное

выступление Г.Г. Нейгауза. Недовольный своей игрой, музыкант прервал концерт. Искусство подобно революционному взрыву; если нет настоящего напряжения, порыва, незачем продолжать, и прав мастер, прервавший исполнение. В одном из списков между строфами 3 и 4 содержится еще одно четверостишие:

Не прелюды он и не вальсы
И не Листа листал листы,
В нем росли и переливались
Волны внутренней правоты.

«Чтобы в музыке стало просторней для мировой сложности, – комментирует стихотворение М.Л. Гаспаров, – нужно не требовать от мастера простоты (руки-кувалды) и элементарной пользы (сладковатой груши земной – топинамбур, усиленно насаждавшийся в то время; у О.М. он вызывал отвращение)…» [200] . «Душемутитель»-рояль отсылает к стихотворению Е.А. Боратынского «Подражателям»: «Не напряженного мечтанья / Огнем услужливым согрет – / Постигнул таинства страданья / Душемутительный поэт. // В борьбе с тяжелою судьбою / Познал он меру вышних сил, / Сердечных судорог ценою / Он выраженье их купил» [201] . О «терпком терпенье смолы» писал Б. Пастернак в стихотворении «Лето», которое вызвало отклик Мандельштама (см. ниже); настоящее искусство подобно смоле – оно выражает самую суть своего времени, проступает «из позвонков». Только при полной самоотдаче искусство может «выпрямить души, как могила выпрямляет горбатые тела, а пружина – нюренбергские игрушки» (М. Гаспаров) [202] .

Предпринимались и другие попытки трактовать образы финальной строфы. В Нюрнберге, городе искусных мастеров, делали часы; считается, что там были произведены первые карманные часы – «двигателем» в них служила именно пружина. Использовали пружины в своих механизмах и нюрнбергские оружейники. Таким образом, Нюрнберг – это город, ассоциирующийся с пружинными устройствами. В стихах Мандельштама, очень вероятно, имеется в виду устройство рояльной клавиатуры – имеется в виду репетиционная пружина (таково квалифицированное мнение А. Фэвр-Дюпэгр). Так или иначе, вопрос о «сонате джина» остается открытым.

Итогом раздумий о месте поэта в мире, о своем месте в жизни стало для Мандельштама в этот период стихотворение «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…», написанное 3 мая 1931 года:

Сохрани мою речь навсегда за

привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Так вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.
И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.
Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —
Как, прицелясь насме2рть, городки зашибают в саду, —
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.

«“Смола кругового терпенья” устанавливает связь с пастернаковским “Летом” (1930) и его пушкинской темой “залога бессмертья”», – отмечает О. Ронен (Борис Пастернак пишет в «Лете» о «терпком терпенье смолы») [203] . В полном соответствии с демократическими традициями русской литературы Мандельштам утверждает, что его место – среди тех, кто несчастлив и беден, чей удел – труд и терпенье. «Привкус несчастья» напоминает о его стихотворении 1921 года «Люблю под сводами седыя тишины…», где сказано с той же твердой убежденностью: «…несчастья волчий след, / Ему ж вовеки не изменим». «Дым» в стихах Мандельштама сопутствует представлению о бедности и, очевидно, связан с темой России через выражение «дым отечества» с его ассоциациями. «Круговое» (терпенье) – несомненно, «общее», «народное», «мирское», выражающее прочную связь с другими. С другой стороны, «смола… терпенья» характеризует работу художника, творца. Подобно тому как дерево незаметно и медленно, но неуклонно выполняет свою биологическую работу (еще раз вспомним пастернаковское «терпенье смолы»), накапливает и выделяет по капле смолу – так образуются, в частности, ценные смолы –

ладан, мирра и другие, надо упомянуть и янтарь, – так и художник должен терпеливо и настойчиво следовать своему пути, своему предназначению. Характеризуя свой труд как «совестный», Мандельштам еще раз, с вполне понятной настойчивостью (не забудем о скандале вокруг издания «Тиля Уленшпигеля»), заявляет о доброкачественности своей литературной работы, о своем честном литературном имени. Ср. с «Открытым письмом советским писателям» (начало 1930-го): «Я <…> труженик, чернорабочий слова, переводчик. Я чернорабочий, и глыбы книг ворочал своими руками».

К кому обращен призыв поэта сохранить его речь? Думается, что адресатом в первую очередь является русский язык, в который, как надеется автор стихотворения, его слово войдет навсегда, став неотъемлемой частью общей речи. Можно считать адресатом и народ, тут нет существенного противоречия, тем более что, по мнению Мандельштама, связь между языком и историческим бытием народа в России особенно тесна – язык является высшим проявлением народного духа: «Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. <…> Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка» («О природе слова»). И все же обращение к народу со словами «отец мой» и «мой друг» кажется менее вероятным, менее естественным, чем к языку. Не должно смущать, что язык – «помощник… грубый». Это «грубый», думается, – вовсе не отрицательная характеристика. Грубый – природный, необработанный, изначальный: живой, но необработанный материал. Как камень в скульптуре. Обозначена диалектика помощи и сопротивления языкового материала.

Слово «сладима» применительно к воде новгородских колодцев имеет в стихотворении, помимо значения «вкусная», и иное смысловое наполнение. В.И. Даль в своем словаре упоминает, наряду с другими значениями прилагательного «сладимый» («сладкий», «солодковатый», «услаждающий», «приятный», «располагающий к неге» и др.), также и ласкательное: «сладимый ты мой» – «милый», влекущий (близко к значению слова «любезный»). Новгородские колодцы стоят в стихотворении в одном ряду с петровскими казнями и по ассоциации заставляют вспомнить о разгроме северного вольного города Иваном Грозным; но колодезная вода должна быть чиста и глубока («черна»), чтобы отразить возвещающую надежду на спасение и вечную жизнь рождественскую звезду. «Сладима»

рифмуется с «дыма» – это вода правды, живая вода с горьким привкусом «несчастья и дыма». Это вода, без которой нельзя жить, насущная, как хлеб. «Непризнанный брат» и «отщепенец» надеется, что его речь будет так же чиста и любезна народу (ср. пушкинское: «буду тем любезен я народу»), как жизненно-потребна, «сладима» чистая вода.

«Дремучие срубы» из второй строфы соответствуют, в определенной мере, новгородским колодцам из первой. Но какие, собственно, срубы имеются в виду? Д.И. Черашняя и И.З. Сурат обоснованно полагают, что речь идет о древнерусских ямах-тюрьмах, стены которых укреплялись бревнами. Д. Черашняя указала и источник мандельштамовского образа: «Житие протопопа Аввакума». Действительно, мы встречаем упоминание земляных тюрем у Аввакума: «После тово вскоре схватав Никон Даниила, в монастыре за Тверскими вороты, при царе остриг голову и, содрав однарятку, ругав отвел в Чюдов, в хлебню, и, муча много, сослал в Астрахань. Возложа на главу там ему венец тернов, в земляной тюрьме и уморили. <…> Посем привели нас к плахе и прочитали наказ: “Изволил-де государь и бояря приговорили, тебя, Аввакума, вместо смертные казни учинить струб в землю и, зделав окошко, давать хлеб и воду, а прочим товарищам резать без милости языки и сечь руки” [204] . <…> Таже осыпали нас землею. Струб в земле, и паки около земли другой струб, и паки около всех общая ограда за четырьми замками; стражие же десятеро с человеком стрежаху темницу» [205] . Однако возникает вопрос: зачем опускать князей в сруб на бадье? Проще использовать лестницу, а затем ее вынуть. Бадьи, как указано в словаре Даля, использовались для подъема воды из колодцев, руды из шахт. Да и зачем «татарве» содержать князей в тюрьме? Набегавшим на Русь кочевникам это не требовалось. Имело смысл убить или увести в полон, но никак не заниматься устройством земляных тюрем. Соединяя «срубы» и «бадью», Мандельштам создает некий сюрреалистический образ, в котором земляная тюрьма объединяется то ли с колодцем, то ли с шахтой. И здесь неизбежно возникает аналогия с убийством царской семьи, с теми страшными шахтами, в которые были сброшены члены дома Романовых. (Об этом писал О. Ронен.) «Татарва» здесь, конечно, – олицетворение низовой, оставшейся полуязыческой многонациональной России, которая «затерялась… в Мордве и Чуди» (Есенин) и чьи «очи татарские мечут огни» (Блок). В «татарве» воплощается двойственная по своей сути стихийная сила: в ней, с одной стороны, – залог жизненности народа, с другой – она по сути анархична, антикультурна и склонна к разрушению.

Увлеченный в юности эсеровско-народническими идеями, восходящими во многом к славянофилам, Мандельштам на всю жизнь сохранил представление о народной правде, которой нельзя изменить, которую надо принять, как бы страшно это временами ни казалось. Еще в 1913 году Мандельштам, напомним, писал: «Россия, ты – на камне и крови – / Участвовать в твоей железной каре / Хоть тяжестью меня благослови!» («Заснула чернь. Зияет площадь аркой…»); в 1918-м он, в полной мере сознавая трагизм происходившего, воскликнул: «О, солнце, судия, народ!» («Прославим, братья, сумерки свободы…») Так и в 1931 году в стихотворении «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…» – в стихах, которые являются, в сущности, мольбой и клятвой, – речь идет о желании вхождения в «мы», в роевое историческое бытие народа. Жажда быть причастным русской народной судьбе выражена в образах амбивалентных, окрашенных почти в садомазохистские тона: обещание выстроить срубы-колодцы-шахты, в которых будут топить или иным образом уничтожать князей; готовность проходить всю жизнь «в железной рубахе» (образ, имеющий, вероятно, отношение к «одеянию» юродивых, чье тело было нередко увешано веригами и металлическими кольцами) и найти топорище для петровской казни (очевидно, для своей); заявлено стремление привлечь к себе любовь мерзлых плах (любовь плахи!). Роль поэта – не роль постороннего: войти своей речью в народную речь, быть неотделимо своим, до конца – вплоть до жертвенности, до самоуничтожения.

(Вообще обещание «построить такие дремучие срубы, / Чтобы в них татарва опускала князей на бадье» – это стихи страшные, может быть, самые страшные у Мандельштама. Принять действительность и трагическую русскую историю вплоть до оправдания казней, до оправдания «кремневого топора классовой борьбы»? До соучастия в казнях? Вообще это странные строки: дело ли поэта строить земляные срубы-тюрьмы? Это заявление полностью противоположно есенинским словам, которые так вознесены в «Четвертой прозе»: «Не расстреливал несчастных по темницам». И Мандельштам ведь не только не расстреливал, но напротив – спасал, это действительно так. Нелегко отделаться от чувства, что строки о «дремучих срубах» могли отозваться возмездием в само́й ужасной судьбе их автора: его тело было, видимо, брошено в лагерную братскую могилу-яму, если не сожжено в печи – так тоже, по свидетельству выживших, избавлялись в том лагере, где поэту довелось провести последние дни, от трупов умерших заключенных.)

В завершающем четверостишии поэт говорит о собственной

готовности к трудной жизни и мученической гибели: первая строка явно о себе; вторая – о том, что когда судьба нацеливается и бьет по отмеченной жертве, это избранничество; третий стих – о принятии роли «юродивого»; соответственно, в четвертой строке, заканчивающей этот ряд и все стихотворение, никак не может идти речь о других – нет, это страшное «топорище» для поэта-жертвы.

Очевидной «дразнилкой» является написанное 11 апреля 1931 года стихотворение «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня…».

Я пью за военные астры, за все,
чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за
желчь петербургского дня.
За музыку сосен савойских, Полей
Елисейских бензин,
За розу в кабине рольс-ройса и
масло парижских картин.
Я пью за бискайские волны, за
сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и
дальних колоний хинин.
Я пью, но еще не придумал – из
двух выбираю одно —
Веселое асти-спуманте иль
папского замка вино.

Стихотворение – «ответ на установившееся в критике к 1930-м годам представление о Мандельштаме как певце прошлого, буржуазного, классического, экзотического; поэт демонстративно и гиперболически перечисляет вменяемые ему темы…» (М. Гаспаров) [206] . Поэт заявляет, что он ни от чего не собирается отказываться. Определенная нарочитость «дразнящих» признаний несомненна: «военные астры» – видимо, эполеты; ср. с отчужденным отношением к гвардейцам в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…». «Папского замка вино» – сорт вина Chbteauneuf du Pape. «Масло парижских картин» отсылает к любимой Мандельштамом французской живописи. Особенно ему нравились импрессионисты и развивавшие их достижения Сезанн и Ван Гог. В Москве картины «французов» Мандельштам видел в Музее нового западного искусства, в котором неоднократно бывал (улица Кропоткинская – ныне снова Пречистенка, – д. 21; в настоящее время – здание Академии художеств). В апреле 1931 года, когда написано

стихотворение-«дразнилка», Мандельштам начал в Старосадском переулке работу над новой прозой – «Путешествие в Армению». В этой книге «французам» посвящена глава, в которой содержатся яркие характеристики любимых живописцев, а музей на Кропоткинской назван «посольством живописи».

Как было сказано выше, неписание стихов, длившееся всю вторую половину 1920-х, сменилось новым поэтическим подъемом после поездки в Армению в 1930 году. Армения, древняя кавказская страна, произвела на Мандельштама сильное впечатление. Циклом стихотворений «Армения» начался его новый творческий период.

С. Липкин запомнил, как Мандельштам читал ему в Старосадском стихи об Армении. Читал Мандельштам, всецело отдаваясь, как всегда, звучащему поэтическому слову. «Вот Мандельштам читает мне стихи об Армении, читает высоко, с беспомощным чванством задрав голову, подчеркивая просодию стиха, его гармонию. Беззубый рот не мешал ему, или ему казалось, что не мешал, и мне не мешал…» [207]

Воспоминание об Армении, желание вновь вернуться туда отразилось не только в начатой в Старосадском переулке новой прозе, но и в написанных там стихах – в частности, в «Канцоне» (26 мая 1931).

Канцона

Неужели я увижу завтра —
Слева сердце бьется – слава, бейся! —
Вас, банкиры горного ландшафта,
Вас, держатели могучих акций гнейса?
Там зрачок профессорский орлиный, —
Египтологи и нумизматы —
Это птицы сумрачно-хохлатые
С жестким мясом и широкою грудиной.
То Зевес подкручивает с толком
Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла —
Прозорливцу дар от псалмопевца.

Он глядит в бинокль прекрасный Цейса —
Дорогой подарок царь-Давида,
Замечает все морщины гнейсовые,
Где сосна иль деревушка-гнида.
Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу «села́» начальнику евреев
За его малиновую ласку.
Край небритых гор еще неясен,
Мелколесья колется щетина,
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина.
Я люблю военные бинокли
С ростовщическою силой зренья.
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой – зависть, в красной – нетерпенье.

Имеется комментарий Н.Я. Мандельштам к этому стихотворению. «Смысловая проблема: что это за край небритых гор – Палестина (начальник евреев) или Армения (“младшая сестра земли иудейской”). Египтологи и нумизматы – это сборное воспоминание об ученых-стариках Армении, настоящих европейцах и гораздо более похожих на ученых, чем те, с которыми мы сталкивались в Москве… <…> Пейзаж близок к Армении, хотя “до оскомины зеленая долина” – не слишком характерно: об отсутствии ярких красок в Армении см. в “Путешествии” – “одни опресноки”. Такие зеленые долины принадлежат скорее морскому климату. Скорее всего, это сборный ландшафт средиземноморских культур.

“Канцона” – стихотворение о зрении, причем это не только физическое зрение, но и историческое. <…> Оно складывается из следующих психологических предпосылок: невозможность путешествия, жажда исторической земли (скоро Москва будет названа “буддийской”), обида на ограниченность физического зрения, глаз хищной птицы, равный стеклам бинокля Цейса (где-то в Армении мы забавлялись, разглядывая даль в бинокль Цейса), физическое и историческое зрение: краски в мире заглохли, но на исторической земле они есть (“малиновая ласка”, “зеленая долина”). Здесь вожделенное путешествие

осуществляется усилением зрения, похищением зрения хищной птицы, бинокля, обострением чувств» [208] . По мнению Н. Мандельштам, упомянутая в «Канцоне» «малиновая ласка» восходит к колориту картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». Поэт, побывавший в Армении, на библейской земле, почувствовал себя вернувшимся на историческую и духовную родину.

Существуют различные трактовки содержания мандельштамовской «Канцоны». Отметим сначала, что канцона как стихотворная форма – это прежде всего и в большинстве случаев любовная песнь; в финальной части канцоны обычно помещается обращение к персоне, которой стихи посвящены. В мандельштамовской «Канцоне» в последнем стихе упомянуты две краски, красная и желтая, которые мы встречаем в описании Армении и в «Путешествии в Армению», и в цикле «Армения» (ср.: «Всех-то цветов мне осталось – лишь сурик да хриплая охра…»). Армения – библейская земля (Ноев ковчег окончил свой путь «на горах Араратских»), и желание автора стихотворения покинуть «край гипербореев» (в греческой мифологии гипербореи – народ, живущий на далеком севере) и вернуться на землю «младшей сестры земли иудейской» («Четвертая проза») вполне корреспондирует с притчей о возвращении блудного сына. Ср. в «Четвертой прозе»: «…И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой – моим еврейским посохом – в другой». Мандельштам видел глубокую исторически-культурную связь между Арменией и землей Израиля; маленькая кавказская страна с трагической судьбой – форпост иудео-христианской цивилизации на Востоке. Древнееврейское слово «села́» (правильнее «сэла» и с ударением на первом слоге), согласно авторитетным источникам, имело значение пометки, указания на особенности произнесения текста в определенных местах – в частности, усиление голоса – или на характер исполнения музыки во время богослужения. Слово это встречается семьдесят один раз в псалмах и еще только три раза в книге пророка Аввакума.

Ю.Л. Фрейдин и С.В. Василенко указывают, что они встретили это слово на русском языке лишь в «Книге псалмов» в двуязычном древнееврейско-русском издании «Священных книг Ветхого завета», выпущенном в Вене в 1877 году [209] . Естественно, Мандельштаму могла быть знакома эта книга. Отец поэта учился в Германии, и в доме были книги, отпечатанные в немецкоязычной Европе. Однако, с другой стороны, известно, что в детстве Мандельштама учили древнееврейскому языку – к нему ходил учитель, знакомивший его с Писанием и еврейской

историей. Хотя изучение не было глубоким, вряд ли обошли псалмы. Можно предположить, что Мандельштам мог видеть это «села» и в молитвеннике деда – ведь ему запомнилось, как молился его дед, а интересующее нас слово мы встречаем в молитве «Ашрей», звучащей минимум два раза ежедневно: утром и в дневное время. «Ашрей» начинается словами из псалма 84 (по еврейской традиции; по православной Библии это псалом 83): «Ашрей йошвей вейтэха, од йаhаллуха, сэла!» – «Блаженны пребывающие в доме Твоем, будут они восхвалять Тебя, сэла!» «Ашрей» – далеко не единственный текст в молитвеннике (сидуре), где содержится загадочное «села». Так, к примеру, среди утренних молитв: «Адонай Цеваот иману, мишгав лану Элоhей Яаков, сэла!» – «Господь воинств с нами; Бог Иакова – наш оплот, сэла!» Или: «Ата сетэр ли, мицар тицрени, роней палет тесоввени, сэла!» – «Ты – укрытие мне, от врага охранишь меня, песней избавления окружишь ты меня, сэла!» [210] «В отличие от Пастернака Мандельштам духовно ощущал свое еврейство», – замечает С. Липкин [211] . (Многообразным связям поэта с еврейской культурой посвящены, в частности, книги Л.Ф. Кациса «Осип Мандельштам: мускус иудейства». (М.; Иерусалим, 2002); Л.Р. Городецкого «Текст и мир на листе Мебиуса: языковая геометрия Осипа Мандельштама versus еврейская цивилизация». (М.; 2008); Н. Ваймана и М. Рувина «Шатры страха. Разговоры о Мандельштаме» (М.; 2011). Последнее из упомянутых изданий содержит ряд интересных и точных наблюдений и выводов, отличаясь при этом, к сожалению, также резкими, размашистыми и несправедливыми характеристиками других исследователей.)

Итак, мандельштамовское «села» – недвусмысленное указание на Псалтырь и, соответственно, на «псалмопевца» – царя Давида, «начальника евреев». Выражение «малиновая ласка» передает, вероятно, впечатление от церковного пения, которое Мандельштам слышал в Армении; определение «малиновая» передает красоту звучания («малиновое» пение – «сладостное», подобно выражению «малиновый звон»). Таким образом, нет, думается, необходимости привлекать для объяснения «Канцоны» картину Рембрандта. В пятом четверостишии «Канцоны» говорится о желании в конце жизни еще раз увидеть настоящую красоту («зреньем напитать судьбы развязку») – и, соответственно и логично, также услышать напоследок прекрасное пение (испытать «малиновую ласку» псалмопения). Это место «Канцоны», безусловно, связано с концовкой «Путешествия в Армению». Книгу завершает история пленного царя Аршака. Бывший приближенный царя просит «ассирийца», победителя Аршака, дать поверженному царю провести еще хотя бы один

радостный день: «Я хочу, чтобы Аршак провел один добавочный день, полный слышания, вкуса и обоняния…»

Давид в «Канцоне» наделен острым зрением, ему принадлежит «бинокль Цейса», который он дарит Зевсу. Логично предположить, что представление о «дальновидении» Давида также связано с книгой псалмов. Возможно, источником для характеристики послужил псалом 103, в котором развернута широкая панорама мира (ср. с черновым названием «Канцоны» – «География»), в которой, однако, не теряются и мелкие детали:

«1. Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облачен славою и величием;

2. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер;

3. устрояешь над водами горные чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра.

4. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий.

5. Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки.

6. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды.

7. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят;

8. восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них.

9. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю.

10. Ты послал источники в долины: между горами текут [воды],

11. поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою.

12. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос.

13. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля.

14. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу,

15. и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека.

16. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил;

17. на них гнездятся птицы: ели – жилище аисту,

18. высокие горы – сернам; каменные утесы – убежище зайцам.

19. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад.

20. Ты простираешь тьму, и бывает ночь: во время нее бродят все лесные звери;

21. львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе.

22. Восходит солнце, [и] они собираются и ложатся в свои логовища;

23. выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера.

24. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты

премудро; земля полна произведений Твоих» [212] .

Ср. в «Канцоне»: «Замечает все морщины гнейсовые, / Где сосна иль деревушка-гнида».

Таким образом, упомянутый в «Канцоне» «дорогой поДАРок царь-ДаВИДа» – дар видения.

Если в «Канцоне» наряду с царем Давидом упомянут входивший в греческую картину мира северный «край гипербореев», то, вероятно, уместен в стихотворении и «Зевес». Древнегреческий бог Зевс, правитель мира и творец, уподоблен умелому работнику-«краснодеревцу». В Палестине Зевс труднопредставим, на земле Израиля ему нет места; на Кавказе же, где аргонавты добывали золотое руно и где страдал Прометей, Зевс вполне органичен. Воображаемое бегство в «Канцоне» – бегство в Армению, страну, освященную и библейской, и античной традицией.

«В желтой – зависть, в красной – нетерпенье» – это не только краски Армении, это и о себе: это яркие чувства, вырывающие из душевной неволи, пробуждающие душу от московского сна, – нетерпеливое желание оказаться снова в Армении и зависть «отщепенца» к древнему крепкому народу, трудно и радостно живущему на своей библейской земле.

В написанных вскоре после «Канцоны», 6 июня 1931 года, стихах Армения противопоставлена Москве.

Отрывки уничтоженных стихов

1
В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет – читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву.
А перед тем я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.
Захочешь пить – там есть вода такая
Из курдского источника Арзни,
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода.

2
Уж я люблю московские законы,
Уж не скучаю по воде Арзни.
В Москве черемухи да телефоны,
И казнями там имениты дни.

3
Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой
На молоко с буддийской синевой,

Проводишь взглядом барабан турецкий,
Когда обратно он на красных дрогах
Несется вскачь с гражданских похорон,
Иль встретишь воз с поклажей из подушек
И скажешь: гуси-лебеди, домой!
Не разбирайся, щелкай, милый кодак,
Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшка!
Больше светотени!
Еще, еще! Сетчатка голодна!
4
Я больше не ребенок!
Ты, могила,
Не смей учить горбатого – молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.

«Страна субботняя» – страна праздничная; в еврейской традиции суббота – день радости и отдыха. Такова Армения. Пристальное внимание, неподдельный интерес к ярким бытовым подробностям никак не мешали Мандельштаму чувствовать в жизни советской столицы то, что он выразил в появившемся в его стихах определении Москвы: «буддийская». Как бы ни обстояло дело с реальным буддизмом, для Мандельштама буддизм – холодное в своей основе, позитивистское, повернутое к смерти, безблагодатное мировоззрение. В нем нет напряженно-личных отношений человека и творца, их парадоксального диалога, присущего иудео-христианской традиции. Мировоззрение Мандельштама принципиально персоналистично, враждебно буддийскому представлению об угасании личности в нирване. Никаких бесчисленных существований на пути к нирване – личность, по Мандельштаму, искрометна и неповторима. Мандельштамовское отношение к жизни – жертвенно-героическое (героическая составляющая этого отношения, возможно, формировалась не без влияния личности Николая Гумилева). Отсюда – неприятие или, во всяком случае, прохладное отношение к Чехову, писателю «буддийскому» и антигероическому. «Буддийская» жизнь (повторим, что речь идет о буддизме в поэтической системе Мандельштама) может быть внешне весьма активной, но, в сущности, она духовно неподвижна. «Буддийская» жизнь – существование, не просветленное библейским светом; эта жизнь отрезана от основ европейской культуры. В девятнадцатом столетии, более всего ценившем знание и науку и постепенно утрачивавшем

представление о священном характере бытия, «буддийское» отношение к жизни дает себя знать, по мнению Мандельштама, и в Европе. «Девятнадцатый век был проводником буддийского влияния в европейской культуре. Он был носителем чужого, враждебного и могущественного начала, с которым боролась вся наша история – активная, деятельная, насквозь диалектическая, живая борьба сил, оплодотворяющих друг друга» («Девятнадцатый век»). О Москве сказано четко: «И казнями там имениты дни»; дошла до нас также строка «Из раковин кухонных хлещет кровь». Уже в 1916-м, только начиная знакомиться с Москвой, Мандельштам почувствовал угрозу, исходившую от этого города. Это чувство никогда не пропадало до конца, всегда подспудно жило в его восприятии старо-новой столицы. К концу 1920-х годов ощущение «московской угрозы» обостряется – от «курвы-Москвы» не спрячешься, «казнями там имениты дни» и «из раковин кухонных хлещет кровь». Уже очень многое если не предвиделось, то предчувствовалось. Э.Г. Герштейн в своих воспоминаниях пишет: «Была у Мандельштамов одна знакомая семья: адвокат О., его жена и маленькая дочь. Как-то, выйдя на улицу, они увидели очередь в ЗАГС, который помещался в том же доме, где они жили. В ЗАГСе, как известно, регистрируются браки, разводы, рождения детей и смерти. Девочка запомнила только последнюю категорию и простодушно спросила: “Это за гробами стоят?” Замечание ребенка показалось апокалипсическим, и Надя повторяла вслед за ними: “Очень может быть, что и такое настанет”. Мы не знали тогда, что миллионы наших соотечественников будут похоронены без гробов, а что среди них будет Осип Эмильевич, мне, по крайней мере, в голову еще не приходило» [213] . Есть странное совпадение – или связь? – между этим эпизодом и стихами Мандельштама из цикла «Армения»:

Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..
«Дикая кошка – армянская речь…», 1930

Речь в этом эпизоде идет о супругах Овчинниковых. Жили они в Большом Власьевском переулке (см. «Список адресов»).

В характеристиках воды Арзни: «хорошая, КоЛЮЧая, сухая» «спрятался» «ключ», слово «колючая» передает не только вкусовые ощущения, но и содержит в свернутом виде определение «ключевая». «Милый кодак» – глаз сравнивается с фотоаппаратом, «сетчатка голодна»: речь идет о той же жажде видения, что и в «Канцоне». «Хрусталик кравчей птицы» – острое зрение; вероятно, имеется в виду орлиный глаз. Орел – Зевсова птица; должности виночерпия и кравчего нередко отождествляются. (Кравчий в

допетровской Московии ведал царским столом.) На пиру богов роль виночерпия, согласно греческой мифологии, исполняла Геба, дочь царя богов Зевса, а позднее – Ганимед. Возможна связь мандельштамовского образа с хрестоматийным стихотворением Ф. Тютчева «Весенняя гроза», где мы встречаем Гебу рядом с орлом: «Ты скажешь: ветреная Геба, / Кормя Зевесова орла, / Громокипящий кубок с неба, / Смеясь, на землю пролила!» Мандельштамовские стихи написаны в день рождения Пушкина, и четвертая часть «Отрывков» отражает, несомненно, раздумья Мандельштама о своем месте в русской поэзии (ср. с пушкинским «Пророком»).

Кавказские впечатления отразило и написанное в июне 1931 года стихотворение «На высоком перевале…». Есть основания полагать, что поэт работал над этими стихами в Старосадском переулке – на это указывает комментарий Н.Я. Мандельштам: «Стихи о Шуше написаны в Москве летом 31 года, когда мы жили в комнате у Александра Эмильевича (он уехал в отпуск с женой) …» [214]

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.
Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм, —
Словно дьявола поденщик,
Односложен и угрюм.
То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо!» —
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо.
Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.
И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы…
Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.
Он безносой канителью
Правит, душу веселя,

Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля…
Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.
И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.
12 июня 1931

Приведем краткий комментарий М.Л. Гаспарова. Речь в стихотворении идет «о возвращении из поездки в Нагорный Карабах, из г. Шуши (разоренного турками во время резни 1920 года) в Степанакерт; фигура безносого фаэтонщика ассоциируется с председателем и с негром-возницей из пушкинского “Пира во время чумы” (а размер стихотворения – с “Бесами”) и приводит к мысли “мы ничего не знаем о тех, от кого зависит наша судьба” (слова ОМ в пересказе НЯМ). “Словно розу или жабу” – образ из стих. Есенина “Мне осталась одна забава…”» [215] . (ОМ в комментарии – Осип Мандельштам, НЯМ – Надежда Яковлевна Мандельштам.) «Встреча по дороге из Шуши с мирным стадом, после которой прошел охвативший путешественников страх» (М. Гаспаров, там же) осталась в июньском стихотворении «Как народная громада…».

Как народная громада,
Прошибая землю в пот,
Многоярусное стадо
Пропыленною армадой
Ровно в голову плывет.
Телки с нежными боками
И бычки-баловники,
А за ними – кораблями —
Буйволицы с буйволами
И священники-быки.

У Мандельштама в Старосадском переулке бывали его друг биолог Б.С. Кузин, филолог Эмма Герштейн, впоследствии известный литературовед, поэты Семен Липкин и Борис Лапин. Эмма Герштейн вспоминала: «Я была в Старосадском, когда к Мандельштаму прибежал Борис Лапин. <…> Тут Осип

Эмильевич прочел ему свою “Канцону”» [216] . В свою очередь, Лапин рассказал Мандельштаму о полете на самолете, делавшем «мертвую петлю». По свидетельству Н. Мандельштам, этот рассказ отразился в написанном 23 апреля 1931 года стихотворении.

– Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!
Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою шёпотью
И продолжалась она керосиновой мягкою копотью.
Где-то на даче потом в лесном переплете шагреневом
Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром сиреневым…
– Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!
Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу я:
Небо, как палица, грозное, земля, словно плешина, рыжая…
Дальше – еще не припомню – и дальше как будто оборвано:
Пахнет немного смолою, да, кажется, тухлою ворванью…
– Нет, не мигрень, – но холод пространства бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой!

Ментоловым карандашом натирали виски, чтобы избавиться от головной боли.

Возможно, в стихотворении идет речь о потерпевшем аварию летчике, в сознании которого проносятся картины промелькнувшей жизни, начиная с раннего детства. Специфический резкий запах больничной карболки сравнивается с наплывающим гитарным аккордом. (Как указывает А.Г. Мец, в стихах отразились «впечатления от больницы, куда поэт приходил навещать заболевшую жену» [217] .) Небо в поэтическом мире Мандельштама по большей части враждебно человеку или безучастно к нему, ему присущ «холод пространства бесполого», холод смерти. В стихотворении о Нагорном Карабахе над разоренным, подвергшимся страшному погрому городом «неба мреет / Темно-синяя чума». Мандельштам с интересом следил за развитием авиации; ее растущая военная мощь, не представимые ранее возможности тотального разрушения им хорошо осознавались. «Крыла и смерти уравнение» – писал он о военной авиации в 1923 году («Опять войны разноголосица…»); в «Стихах о неизвестном солдате» (1937–1938) небо XX века характеризуется как «неподкупное небо окопное – / Небо крупных оптовых смертей…». Рассказ Б. Лапина получил отражение и в «Путешествии в Армению»: в главе «Москва» упоминается разговор «об авиации, о мертвых петлях, когда не замечаешь, что тебя опрокинули, и земля, как огромный коричневый потолок,

рушится тебе на голову».

«В начале лета Шура с женой уехали на полтора или два месяца на юг, – пишет в своих мемуарах Н.Я. Мандельштам, – а я переселилась к Мандельштаму в убогую комнатенку на Старосадском переулке. Пиршество продолжалось уже не только по ночам, но и днем, а стихи стали длиннее – они уже не спрессовывались ночным бдением» [218] . Согласно летописи жизни и творчества Мандельштама, Н. Мандельштам перебралась в Старосадский несколько ранее, а отпуск у А.Э. Мандельштама был короче: «23 мая. О.М. и Н.Я. поселяются в комнате брата в Старосадском переулке (А.Э. с женой уехали на месяц в отпуск)» [219] . «Мы были подвижными и много гуляли, – продолжает Н. Мандельштам. – Все, что мы видели, попадало в стихи: китайская прачечная, куда мы отдавали белье, развал, где мы листали книги, еще не покупая из-за отсутствия денег и жилья, уличный фотограф, щелкнувший меня, Мандельштама и жену Шуры, турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц. Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах…» [220] «Турецкий барабан» мы находим в приведенных выше «Отрывках уничтоженных стихов», «вода на булавках» из поливальной машины упомянута в более позднем стихотворении «Там, где купальни, бумагопрядильни…». Фотография, сделанная уличным фотографом, сохранилась. Она относится к несколько более раннему времени: Мандельштам, Надежда Яковлевна и Элеонора Самойловна, жена Шуры, еще в зимней одежде. Вероятно, именно к этой фотографии обращено шуточное стихотворение Мандельштама:

Шапка, купленная в ГУМе
Десять лет тому назад,
Под тобою, как игумен,
Я гляжу стариковат.

«…Работается мне сейчас здорово», – пишет Мандельштам брату Евгению 11 мая 1931 года. Возвращение к стихам, сознание своей творческой силы, конец (так или иначе) долго тянувшегося «дела о “Тиле”», мучившего поэта; пусть редкие, но публикации (напечатанный в «Новом мире» цикл «Армения», появившееся в «Звезде» – № 4 за 1931 год – стихотворение «С миром державным я был лишь ребячески связан…»); бедная, безработная, но свободная жизнь; наконец, просто наступление теплой погоды – все это запечатлено в июньских стихах. Кончилась мучившая поэта двусмысленность. Верой в свои непотерянные творческие возможности, веселым сознанием верности своему пути и чувством сдерживаемой силы отмечено стихотворение, написанное 7 июня 1931 года.

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.
Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.
Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.
Не волноваться. Нетерпенье – роскошь.
Я постепенно скорость разовью —
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

Существует иное текстологическое прочтение стихов 13–14 (его обосновывает С.В. Василенко): «Не волноваться! Нетерпенья роскошь / Я постепенно в скорость разовью».

Первые два стиха отсылают к «Фаусту» Гете, к Мефистофелю. В другом стихотворении, написанном тем же летом 1931-го, но несколько позже, «славный бес» назван прямо: «И Фауста бес, сухой и моложавый, / Вновь старику кидается в ребро – / И подбивает взять почасно ялик, / Или махнуть на Воробьевы горы, / Иль на трамвае охлестнуть Москву» («Сегодня можно снять декалькомани…»; мы цитировали эти стихи в главе «1916: первая встреча с городом. Марина Цветаева. Кремль»). Важно отметить, что обращение к фаустовскому сюжету естественно вызывает мотив молодости – точнее, омоложения: доктор Фауст молодеет с помощью «славного беса». (Ведь мысль об обретении новых сил не обязательно должна сочетаться с представлением о возвращенной молодости. Но поскольку в стихах появляется фаустовская нота, это неизбежно влечет за собой соответствующий «молодежный» мотив. Сам «славный бес», который прямо не назван в «Довольно кукситься!» и недвусмысленно поименован в «Сегодня можно снять декалькомани…», никак не стар, хотя и не юноша, конечно: «И Фауста бес, сухой и моложавый…».)

Таким образом, если позволено прибегнуть к примитивному пересказу, в начале стихотворения говорится следующее: довольно – старая жизнь, «унылая», «с бумагами», кончилась. Можно предположить, с определенной вероятностью, какие «бумаги» следует «засунуть» в стол. Похоже на то, что это могли быть бумаги по «делу о переводе “Тиля Уленшпигеля”». Мандельштам говорил о себе, что он работает «с голоса»; нередко

его стихи под диктовку записывала жена, Надежда Яковлевна. Да и вообще с творческой работой, да еще и после длившейся всю вторую половину 1920-х годов поэтической немоты, никак не вяжется понятие «кукситься». А вот желание засунуть подальше бумаги по угнетавшему поэта в течение 1928–1930 годов делу о якобы имевшем место плагиате – это желание вполне может быть высказано так, со вздохом облегчения: «Довольно кукситься!» «Засунем» эти бумаги подальше и подведем черту (с помощью «славного» черта!) под тем, что так или иначе кончено. Конечно, эта уверенность в своих силах, в сущности, не такая уж уверенная – это в значительной степени самовнушение, «самоподбадривание»: неслучайно в стихотворении два раза появляется «еще» – «еще не умер», «еще могу набедокурить». (Два раза употребленное «нынче» отделяет наступившее время от прошедшего, с которым поэт порывает начинающим стихи словом «довольно»; двойное «еще» свидетельствует о сознаваемой краткости нового жизненного этапа.) А.Г. Мец обратил внимание на то, что утверждение «я еще не умер» восходит к цитате из письма Вильгельма Кюхельбекера (А. Грибоедову), которое процитировал Ю. Тынянов в своей книге «Кюхля»: «уведомить тебя, что я еще не умер» [221] .

Мотив возвращенной молодости поддерживается упоминанием физкультурно-спортивных, свойственных молодости занятий (скачки, гребля). «Брат Шура» бывал на бегах, и отсюда, очевидно, «ипподромные» детали в этом стихотворении (этим наблюдением поделился с автором книги С.В. Василенко).

Насколько тесно, в свою очередь, идея обновления и омоложения связана с водой, само собой понятно. Мытье головы в парикмахерской («подстригся – помолодел»), «возмужавшие» дождевые черви, «вся Москва», плывущая на яликах (упомянута не Москва-река, хотя, естественно, речь в первую очередь идет о ней, а Москва – весь город «плывет на яликах», омывается водой), – все эти детали выстраиваются в один ряд и передают идею обновления, свежести, новой жизни. Загадочный «парикмахер Франсуа» может быть в первую очередь соотнесен, по остроумной догадке Ральфа Дутли, с всегда любимым Мандельштамом Франсуа Вийоном [222] .

К образу Вийона Мандельштам обращается всякий раз, когда речь идет о поэтической свободе и верности своему творческому пути. Однако почему все же неприкаянный парижанин, с которым Мандельштам всегда осознавал свое родство, стал в московском стихотворении 1931 года парикмахером? Здесь, как нам кажется, надо вернуться к тому, что, собственно, делает этот парикмахер. Прямо не сказано, что он подстриг своего клиента или побрил его

– говорится только о том, что он «вымыл голову», причем «в корень» (Мандельштам остановился на этом выражении, хотя пробовал и другие). Выражение «в корень», с нашей точки зрения, выражает высокую степень активности действия, его резкость и в то же время «радикальность» достигнутого этим действием результата. «Мытье головы» в рассматриваемом стихотворении несомненно перекликается с аналогичным эпизодом из повести «Египетская марка»: «А парикмахер, держа над головой Парнока пирамидальную фиоль с пиксафоном, лил ему прямо на макушку, облысевшую в концертах Скрябина, холодную коричневую жижу, ляпал прямо на темя ледяным миром, и, почуяв на своем темени ледяную нашлепку, Парнок оживлялся. Концертный морозец пробегал по его сухой коже и – матушка, пожалей своего сына – забирался под воротник.

– Не горячо? – спрашивал его парикмахер, опрокидывая ему вслед за тем на голову лейку с кипятком, но он только жмурился и глубже уходил в мраморную плаху умывальника.

И кроличья кровь под мохнатым полотенцем согревалась мгновенно». Парикмахер «оживляет» героя Мандельштама, Парнока, в «Египетской марке»; парикмахер пробуждает к новой жизни, возрождает лирического героя «Довольно кукситься!». Как точно заметила И.З. Сурат, в первом четверостишии лирический герой пассивен – он «обуян… бесом», ему «как будто… вымыл голову» парикмахер; в последнем катрене герой – весь активность. И причиной этой метаморфозы – парикмахер, который в определенной мере отождествляется со «славным бесом». Как нам представляется, говоря о мытье головы, производимом в мандельштамовских стихах загадочным Франсуа, поэт имел в виду не только прямое, но и фразеологическое значение выражения: «вымыл голову» – «задал головомойку»: неунывающий Вийон задает головомойку лирическому герою – «довольно кукситься!», «кураж!».

Парикмахерская «Андрей» на Яузской улице (неподалеку от Старосадского переулка). 1920-е

На то, что в «парикмахере Франсуа» есть весомые основания опознать Вийона, указывает странная рифма в первом четверостишии: «обуян» – «Франсуа». Вполне понятно, почему Мандельштам не принял рифму «Антуан», спроста предложенную Липкиным к слову «обуян»: «обуян» предполагает непроизнесенную рифму «Вийон» (хотя писал Мандельштам фамилию французского поэта «Виллон» – от “Villon” – буквально воспроизводя французские буквы в русском варианте). Какой-то нужный только для рифмовки «Антуан» тут совершенно ни к чему. Нередкий случай в стихах и прозе Мандельштама: подразумеваемое значит не меньше, чем сказанное. В скрытом виде фамилия француза приходит к читателю вместе с его именем – благодаря неожиданной и потому останавливающей внимание рифмой к «обуян»: «Франсуа». Это сигнал читателю: здесь таится нечто. (Ср. со строкой из стихотворения 1937 года «Чтоб, приятель и ветра, и капель…», где Вийон прямо назван, но его имя также поставлено в конец стиха, сделано рифмующимся: «Несравненный Виллон Франсуа».) С Францией у Мандельштама связывалось представление о дерзости и веселости, и именно «Франсуа» моет «в корень» голову герою стихотворения, омолаживает его и, может быть, «задает головомойку» – «довольно кукситься», ничто не потеряно.

Не исключено при этом и то, что Мандельштам, с его

замечательной зоркостью и вниманием к городскому быту, мог в данном случае использовать также имя какого-то городского парикмахера, приведшее ему на память Вийона. Известно, что парикмахеры очень любили брать себе французские псевдонимы, и эта традиция держалась определенное время и после революции. Автор этих строк просмотрел списки московских парикмахерских конца 1920-х – начала 1930-х годов. Парикмахерской «Франсуа» обнаружить не удалось; нет в списках и парикмахера с таким именем (псевдонимом) или фамилией. Но вообще в Москве подобные названия были распространены. Так, в 1927 году в Москве были парикмахерские «Базиль», «Жан», «Серж», «Фигаро», «Александр». А вот в 1916 году, в год первого приезда Мандельштама в Москву, в городе действовала парикмахерская «Франсуа и Александр», причем в самом центре города – в доме 18 на улице Петровке. А в доме 17 по той же улице проходила в 1916 году выставка художников-футуристов «Магазин», где выставлялся, в частности, петербургский знакомый поэта Лев Бруни и где Мандельштам мог побывать (об этом мы упоминали в первой главе). Кто знает, не обратил ли внимание молодой Мандельштам, много бродивший по городу с Цветаевой, показывавшей ему Москву, на название парикмахерской на Петровке? Ведь на вывеске были соединены имена двух великих поэтов, Вийона и Пушкина, к которым у Мандельштама было особое отношение; таким образом, название парикмахерской создавало комический эффект, подобный гоголевскому («сапожники Шиллер и Гофман» в повести «Нос»), – возможно, поэтому оно могло запомниться. Естественно, здесь доказать ничего нельзя – но предположить можно.

Звучание стихотворения великолепно и хорошо организовано. Приведем только два примера. В последнем четверостишии «р», «к», «с» замечательно выражают нарастающую скорость:

< … > НетеРпенье – РОСКошь.
Я поСтепенно СКОРоСть РаЗовью.

Независимо от того, какой вариант текстологически более предпочтителен («Нетерпенье – роскошь. / Я постепенно скорость разовью» или «Нетерпенья роскошь / Я постепенно в скорость разовью»), в звуковом отношении «роскошь» действительно преобразуется в «скорость», зеркально отзывается в ней. А предпоследний стих «ХолоДныМ шагоМ выйДеМ на Дорожку» – как слышится в этих замедляющих Д-М-М-Д-М-Д самосдерживание, напряжение, концентрация участника соревнований перед стартом!

«Сохранить дистанцию» – это галлицизм. Французский фразеологизм “garder ses distances” имеет значение «держаться на

должном расстоянии, не допускать фамильярности». Подобно тому как в стихах об Александре Герцовиче Мандельштам не упустил возможности актуализировать значение немецко-еврейского “Herz” («сердце»), так и в «Довольно кукситься!..» поэт играет значениями выражения «сохранять дистанцию», подключая французский подтекст: используя как бы спортивную лексику, говоря о сохранении «спортивной формы», необходимой для «рысистой дорожки», он по сути заявляет о верности своему пути, о том, что он после некоего упадка намерен, подобно Вийону, идти своей дорогой – не смешиваясь с «разрешенными» писателями. Сравним со словами из письма Мандельштама жене, где говорится о том, что разрыв с официальной ненавистной литературой очень важен, причем поэт использует тот же глагол, что и в «Довольно кукситься!..»: «Все непоправимо. Разрыв – богатство. Надо его сохранить. Не расплескать» (письмо от 13 марта 1930 года; курсив мой. – Л.В.). Интересно, что на мысль использовать оборот «сохранить дистанцию» Мандельштама вполне могла навести советская действительность: средства передвижения – в частности, грузовики – были нередко снабжены надписью: «Сохраняй дистанцию!» (давнее наблюдение Д. Рейфилда). (Мандельштам был очень чуток к новому, советскому языку. Например, написал же он в одном из воронежских стихотворений 1935 года: «Еще мы жизнью полны в высшей мере…», придав противоположный смысл страшному выражению «высшая мера»; также давно отмечено исследователями, в частности, А.Г. Мецем.)

Рано подводить итоги, «довольно кукситься», сил хватает – всё еще впереди.

«Он был одинок, – вспоминает С. Липкин. – Я это понял, когда начал посещать его чаще. У него не было той, пусть в те годы негулкой, но светящейся славы, какая была у Ахматовой и от которой сердца не только дряхлеют, но и утешаются, не было у него и внутрилитературной, но достаточно мощной славы Пастернака, его почитали немногие, почитали восторженно, но весьма немногие, и, большей частью, люди его поколения или чуть-чуть моложе, а среди моих ровесников почитателей было раз-два и обчелся. А он нуждался в молодежи, хотел связи со временем, он чувствовал, он знал, что он в новом времени, а не в том, которое ушло. <…> Он ощущал себя не в прошлом, даже не в настоящем, а в будущем. <…>

В первый раз я пришел к Мандельштаму восемнадцатилетним, сравнительно начитанным, но, по сути, невежественным. Звание поэта в моем сознании сопрягалось, как у многих пишущих юношей, со славой, с житейским блеском. И

вот я увидел несравненного поэта, почти неизвестного широкой публике, бедного, странного, нервного, стряхивающего почему-то пепел от папиросы на левое плечо, отчего образовывался как бы серебряный эполет, и я не разочаровался, я понял, что именно таким должен быть художник, что возвышенна, завидна, даже великолепна такая тяжкая, нищая судьба моего необыкновенного собеседника» [223] .

«Идиллическая жизнь на Старосадском не омрачалась ничем, – вспоминала Н. Мандельштам, – меньше всего заботой о будущем. Дел не было никаких» [224] . Жизнь была «идиллическая», но бедная: денег, как всегда, не хватало. Эмма Герштейн вспоминала о приходе к Осипу и Надежде Мандельштам, когда они уже жили вместе у «брата Шуры»: «В Старосадском переулке в комнате отсутствующего брата Осипа Эмильевича Мандельштамы встретили меня сурово. “Мы бедны, у нас скучно”,– обиженно произнес Осип Эмильевич. А Надя стала живописно изображать, как к ним потянулись люди, принося дары – деньги или еду. Даже Клюев явился, как-то странно держа в оттопыренной руке бутербродик, насаженный на палочку: “Все, что у меня есть”» [225] .

В эти июньские дни, когда безработный и безденежный поэт бродил по улицам, были написаны московские стихи, которые артист В.Н. Яхонтов охарактеризовал, несколько позднее, в своем дневнике так: «…как будто он пытается вздохнуть глубоко и наполнить легкие пылью и испарениями обильно политых тротуаров» [226] . Пестрая жизнь Москвы наполняет стихи, печаль которых светла, а стремление принять жизнь, сродниться с ней (какой бы она ни была, вопреки всему) несомненно.

Еще далёко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, —
Но в глубине ничуть не изменяюсь…
Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.
Я, как щенок, кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок:
В нем слышно польское «Дзенькую, пане!»,
Иногородний ласковый упрек

Иль неисполненное обещанье.
Все думаешь: к чему бы приохотиться
Посереди хлопушек и шутих;
Перекипишь – а там, гляди, останется
Одна сумятица да безработица:
Пожалуйста, прикуривай у них!
То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу:
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях,
И не живу, и все-таки живу.
Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,
И в пять минут – лопаткой из ведерка —
Я получу свое изображенье
Под конусом лиловой шах-горы.
А иногда пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Янцзы.
Люблю разъезды скворчущих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытую соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовы перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.
Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кащеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи;
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь —
За тысячу крикливых попугаев.
И до чего хочу я разыграться —
Разговориться – выговорить правду —
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, —
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, —
Сказать ему: нам по пути с тобой…
Май – сентябрь 1931

(Другое, предлагаемое С. Василенко, текстологическое прочтение стиха 51: «Как тысяче крикливых попугаев».)

Стихотворение написано в мае – сентябре 1931 года, то есть

работа над ним шла в Старосадском переулке и была продолжена, когда Мандельштамы покинули (очевидно, в последней декаде июня) комнату вернувшегося из отпуска «брата Шуры» – они переехали в Замоскворечье, на Большую Полянку, к юристу Цезарю Рыссу (см. «Список адресов»; Ц. Рысс был знакомым А.О. Моргулиса, с которым поэт был в дружеских отношениях).

Давно отмечено, что первая строка отсылает к стихам Боратынского «Еще как патриарх не древен я; моей / Главы не умастил таинственный елей…». (Примем во внимание, что Боратынский написал эти стихи, когда ему было тридцать девять лет; Мандельштаму во время написания своего стихотворения почти столько же, около сорока.) Тем не менее ниже в стихотворении появляется неизменный атрибут любого патриарха – посох (в данном случае «белорукая трость»). В недавней «Четвертой прозе» эта деталь тоже не забыта: «И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой – моим еврейским посохом – в другой». «Полупочтенный возраст», возможно, – из «Очарованного странника» Н.С. Лескова, где хозяин героя повести Ивана Северьяновича, князь, неоднократно именует так своего слугу: «“Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?” – Он все этак шутил, звал меня почти полупочтенный, но почитал, как увидите, вполне» [227] . «Целлулоид фильмы воровской» – в употреблении было еще слово «фильма». О. Лекманов поясняет, какая «фильма» имеется в виду: безусловно, это «Путевка в жизнь», появившаяся на экранах Москвы в начале июня 1931 года [228] . «Под конусом лиловой шах-горы»: фотографы любили снимать на фоне фанерных задников, на которых были нарисованы различные виды, в частности кавказские – гора Казбек и т. п. Нередко в таком заднике имелось отверстие для головы; фотографируемый становился позади фанерной стенки, просовывал голову в отверстие, и фотограф снимал его в экзотических одеждах и пейзаже. Китайских прачечных в Москве было много; одна из них находилась неподалеку от Старосадского переулка, у нынешних Славянской площади и площади Варварские ворота (обе до 1992 года именовались площадью Ногина). «Асти» – сорт вина. «Кордованская кожа» – кожа с тиснением и нередко с позолотой, название – по испанскому городу Кордова. «Пестрый» Тинторетто соответствует любовно воспроизведенной в стихотворении пестроте Москвы. Прозвище художника Якопо Робусти – Тинторетто, под которым он и вошел в историю искусства, значит «маленький красильщик». Значение прозвища отозвалось, видимо, в его характеристике в мандельштамовском

стихотворении – «пестрый». Тинторетто в московских музеях представлен не был (как и упомянутый в соседней строке Тициан); не было в музеях Москвы и Рафаэля, который нам встретится в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…». Заканчивающее строку «ТИциаНа» откликается в начале следующего стиха: «И ТИНторетто…».

Комментарий Н.Я. Мандельштам: «“Еще далёко мне до патриарха…” “Патриарх” – развитие темы непристроенности, чуждости, изоляции и в то же время шума и “дробности” Москвы. “Воробьи” – городские птицы – всегда воспринимались О.М. как настоящие горожане – олицетворение бессмысленной и милой суеты города. <…> Ключик от квартиры, телефон – это еще Старосадский. Уличные фотографы – снимались вместе с женой Александра Эмильевича на улице, ходили в китайскую прачечную на Варварской площади (теперь Ногина). Все реалии – это повседневная и точная жизнь (палка). Автопортрет как будто точный, а самое точное – это мучительная настроенность на приятие жизни, на жажду пойти по тому же пути при полной невозможности это сделать» [229] . Комментарий Н. Мандельштам дополняют воспоминания Э. Герштейн: «Особенное впечатление производило это преображение реальности в поэзию в стихотворениях “Еще далёко мне до патриарха” и “Полночь в Москве…”. Ведь это все было на глазах. Появление трости с белым набалдашником, потому что у Осипа Эмильевича начались головокружения и одышка на улице, и это бестолковое времяпрепровождение безработного, бесцельные хождения по улицам или по таким делам, как забрать выстиранное белье в китайской прачешной, и вечная забота о дешевых папиросах, как бы не остаться без них на ночь, и прикуриванья на улице у встречных» [230] .

А.Э. Мандельштам с сыном и Э.В. Мандельштам. Старосадский переулок, двор дома 10

Принять новый мир, признать его правоту, поладить с ним – это было стойким желанием поэта, не менее стойким, чем сохранить свою независимость, не принимать и «не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе» современности. В письме отцу (середина мая 1931 года) поэт отвечает Э.В. Мандельштаму: «Мог ли я думать, что услышу от тебя большевистскую проповедь? Да в твоих устах она для меня сильней, чем от кого-либо. Ты заговорил о самом главном: кто не в ладах со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст, и не найдет мира с самим собой. Старого больше нет, и ты это понял так поздно и так хорошо. Вчерашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее». Но современность могла быть только такой, какой была – с жесткой авторитарной властью, с новой бюрократией, с новой ложью, с соответствующей «массолитовской» литературой, и как бы ни хотелось многого «не видеть» – видеть приходилось. Маятниковые колебания между двумя несовместимыми позициями будут свойственны Мандельштаму в течение всего периода 1930-х годов.

Осенью Мандельштамы, переехав от Цезаря Рысса, уже снимали комнату на Покровке. Работа над «белыми стихами о Москве» была продолжена в новых местах: «Еще далёко мне до патриарха…» перекликается со стихотворениями «Сегодня можно

снять декалькомани…» и «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето». Однако есть все основания полагать, что первоначальная работа над этими будущими произведениями шла также в Старосадском переулке: белым стихам свойственны общие, сквозные мотивы, эти стихотворения очевидно родственны. Неудивительно, что имеются противоречивые свидетельства о том, где было написано «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето». В то время как Э.Г. Герштейн называет («Мемуары», 1998) в качестве места написания этих стихов один из Брестских переулков (точный адрес неизвестен, Мандельштамы прожили там, видимо, некоторое время между пребыванием на Большой Полянке и Покровке), Н.Я. Мандельштам указывает на Старосадский переулок. Судя по всему, начатое в Старосадском стихотворение было завершено позднее.

За стеной «бренчал на рояле» сосед Беккерман, шумели соседи, бегали дети в коридоре. Поэтому работал Осип Эмильевич часто ночью, при свете ночника. Эти ночные бдения также вошли в его стихи.

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких, железных.
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров.
Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт…
Ты скажешь: где-то там, на полигоне,
Два клоуна засели – Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.
Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик,
И пахло до отказа лавровишней!..
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен…
Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных, крупно-скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить:

Ведь в беге собственном оно не виновато,
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато.
Чур! Не просить, не жаловаться, цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим
ни хищи, ни поденщины,
ни лжи.
Есть у нас паутинка шотландского старого пледа,
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна!
Из густо отработавших кино
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!
Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать,
Ручаюсь вам – себе свернете шею!
Я говорю с эпохою, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется – и в цинковую ванну.
– Изобрази еще нам, Марь Иванна!
Пусть это оскорбительно, – поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови [231] .
Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты…

В летней жаркой Москве бульвары «блаженствуют» в жару́; источник их заражения «черной оспой» – видимо, дом 25 на Тверском бульваре (Дом Герцена), при котором в начале 1920-х

годов Мандельштамы жили, где помещалось руководство Федерации объединений советских писателей (ФОСП) и куда Мандельштам являлся многократно в связи с разбирательствами по делу о переводе «Тиля Уленшпигеля». Литературные чиновники и «разрешенные» писатели воспринимались Мандельштамом подобно больным опасной заразной болезнью, от которых надо держаться подальше. Ср. в «Четвертой прозе»: «Черная оспа / Пошла от Фоспа». Интересный комментарий к стихам 4–5 дает Д.И. Черашняя: «На Москву – ночью – из-под копыт – Ср.: “Разгрузка уличного движения Москвы <…> гужевой транспорт переходит на ночную работу <…> Состоявшееся вчера <…> совещание московских транспортных организаций выделило специальный штаб по переводу гужевого транспорта с дневной работы на ночную” (“Вечерняя Москва”. 1931. 3 янв. С. 2)» [232] . Бим и Бом – известные клоуны. В их музыке в стихотворении, по свидетельству Э. Герштейн, отразилась «ночная проверка трамвайных путей. Она начиналась двумя контрольными ударами по рельсу, и этот гулкий звон долетал во все дома. Нередко что-то подправляли, завинчивали и пристукивали. Все это точно воспроизведено в строфе Мандельштама» [233] . «Самой природы вечный меньшевик» – несомненна связь этого образа с процессом так называемого «Союзного бюро меньшевиков», который проходил в Москве 1–9 марта 1931 года (замечено А.А. Морозовым и, несколько позднее, Д.И. Черашней). Вспомним, что стихотворение создано в тот период, когда Мандельштам постоянно бывал или жил в квартире, где соседом «брата Шуры» был видный в прошлом меньшевик, упомянутый выше Л.И. Гольдман (ни он, ни его брат, М.И. Гольдман, «Либер», фигурантами процесса 1931 года не были). Ученых медведей еще действительно водили по Москве поводыри-цыгане. С. Алымов в своем очерке «В кругу Москвы» (1927) рисует такую картину (имеется в виду Бульварное кольцо): «У густо населенных скамеек под музыку собственных криков выбивают голыми пятками чечетку коричневые цыганочки в широчайших юбках, подметающих землю длинными подолами. Изредка в кольце любопытствующей толпы покажется задержавшийся в городе медведь. Но летом медведь – большая редкость. Медведям душно в городе, и они уходят вместе с вожаками в приветливые поля, где прохладные ветры и мягкая трава, где вольготно и весело на раздольных крестьянских ярмарках» [234] .

Поводыри с медведями на бульваре

Дрессированный медведь уподобляется меньшевику неслучайно: его водят на цепи на показ и заставляют кланяться. «Миша» кланяется, но сказать он при этом, само собой, ничего не может. Поводыри заставляли медведей выполнять и следующий номер: «Заходил иногда на бульвар и цыган с медведем. Медведь был небольшой, с плотно завязанной мордой (курсив мой. – Л.В.). Он, делая вид, что борется с цыганом, позволял ему, в конце концов, схватить себя за лапу и свалить на землю» (Г. Андреевский) [235] .

«Выпьем, дружок, за наше ячменное горе» – очевидная перекличка с Пушкиным: «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей, / Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей» («Зимний вечер»). Ячменное горе – не от дешевого ли ячменного кофе? Как сообщает Д. Черашняя, кусок упомянутого в стихах пледа был положен, по желанию Надежды Яковлевны Мандельштам, в ее гроб и похоронен вместе с ней. Другой, маленький кусок Н. Мандельштам подарила певцу Петру Старчику [236] .

Великие живописцы и Моцарт встречаются в утреннем летнем городе; «карий глаз» Москвы и ее «воробьиный хмель» привлекают и волнуют художника и музыканта. С бойким неунывающим городским крылатым жителем Мандельштам, как уже не раз отмечалось, чувствовал свое родство; «воробьиный хмель» отсылает читателя, конечно, и к одному из самых

значимых мест в Москве – Воробьевым горам (об этом мы уже упоминали). Но почему у Москвы «карий глаз»? Хотелось бы найти объяснение этой детали, тем более, что в очерке 1923 года «Холодное лето» сказано: «…жить нам в Москве, сероглазой и курносой, с воробьиным холодком в июле…». Разница во времени между написанием очерка и стихотворением «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» (около восьми лет) не должна смущать: в сущности, как не раз говорилось, все творчество Мандельштама представляет собой единый текст, с многочисленными повторяющимися деталями и мотивами, то появляющимися, то уходящими на глубину и снова всплывающими в других контекстах. По нашему мнению, возможный ответ на вопрос о московской «кареглазости» можно найти, обратившись к другому мандельштамовскому очерку того же 1923 года – «Сухаревка».

Подобно Воробьевым горам, Сухаревка была для поэта одним из важнейших мест в городе, одним из символов Москвы. Старая столица, которую автор очерка сравнивает с Пекином, противоположна по духу Петербургу; огромный рынок приводит на память азиатские города с их неутихающими торговыми страстями. Описывая Сухаревский рынок, автор очерка не пропускает и книги, которые выставлены на продажу. «Книги. Какие книги. Какие заглавия: “Глаза карие, хорошие”, “Талмуд и еврей”, неудачные сборники стихов, чей детский плач раздался пятнадцать лет тому назад». Обе упомянутые книги весьма примечательны и вполне соответствуют, если можно так выразиться, атмосфере Сухаревки. «Талмуд и евреи» – работа компилятивного характера и четко выраженной антисемитской направленности (приносим благодарность А.Г. Мецу, указавшему автору статьи на это сочинение). Написал ее малосведущий автор И.И. Лютостанский. Первое издание «труда» Лютостанского состоялось в 1879–1880 годах (т. 1 и 2 – М., 1879; т. 3 – СПб., 1880). Под тем же названием книга была напечатана снова в начале XX века (СПб., 1902–1909). Для нас в данном случае более интересно другое упомянутое Мандельштамом в «Сухаревке» издание. Есть все основания предполагать, что имеется в виду песенник «Глаза вы карие, большие…». Песенник был опубликован в Москве 1918 года и назван по открывающему сборник одноименному романсу. Приводим первое и два последних четверостишия романса: «Глаза вы карие большие, / Зачем прельстили вы меня? / О, вы безжалостные злые / Зачем я полюбила вас? <…> Забудь тот миг, сошлись когда с тобою, / Прости, прощай, не вспоминай, / Но всеж-ты мой и в тишине / Летят мечты твои ко мне. // Ты слишком много мне принес /

Разбитых грез, горючих слез, / Но умирая не солгу / “Люблю” скажу и так умру!» (с. 3–4 в сборнике). (В оригинале – дореформенное правописание, ошибки в пунктуации и написании слов не корректировались; романс воспроизведен в сборнике «Ах романс, Эх романс, Ох романс. Русский романс на рубеже веков». СПб., 2005.)

Представляется вероятным, что строка мещанского романса, сохранившись в памяти поэта в тесной ассоциации с одним из тех мест, которые определили его представление о Москве, могла позднее отозваться в стихотворении 1931 года. «Карие глаза» вполне «соответствуют» как полуазиатчине Сухаревки и вообще Москвы нэповского периода, так и Москве начала тридцатых годов – стихи 1931 года в первой же строке вводят азиатскую тему: «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…». (Причем и в очерке 1923 года, в «Сухаревке», отозвалось более раннее, 1918 года, стихотворение Мандельштама «Все чуждо нам в столице непотребной…», где упомянута Сухаревка и восточные черты Москвы также подчеркнуты – московские рынки названы, как мы помним, «базарами», а телеги именуются «арбами»: «Мильонами скрипучих арб она / Качнулась в путь, и полвселенной давит / Ее базаров бабья ширина».) Однако к началу 1930-х новый мир, пришедший на смену дореволюционной России, устоялся, доказал – как бы к этому ни относиться – свою жизнеспособность, и в стихах Мандельштама этой поры проявляется, наряду с чувством инородности «буддийской» Москвы, не менее, видимо, сильный соблазн принять наступившую реальность, колоритную и динамичную: «И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, / Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье – / Обещаю построить такие дремучие срубы, / Чтобы в них татарва опускала князей на бадье» («Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…»); «Какое лето! Молодых рабочих / Татарские сверкающие спины / С девической полоской на хребтах, / Таинственные узкие лопатки / И детские ключицы… Здравствуй, здравствуй, / Могучий некрещеный позвоночник, / С которым поживем не век, не два!..» («Сегодня можно снять декалькомани…»). «Кареглазая» Москва привлекала и отталкивала.

«Но разве душа у ней пеньковая…» Надо ли это комментировать? Бездушная душа, бесплодная – и вплоть до висельных ассоциаций. В таком значении это определение еще отзовется через два года в стихотворении «Квартира тиха, как бумага…» (1933): «Пеньковые речи ловлю…»

«– Изобрази еще нам, Марь Иванна!» Речь идет о ручных

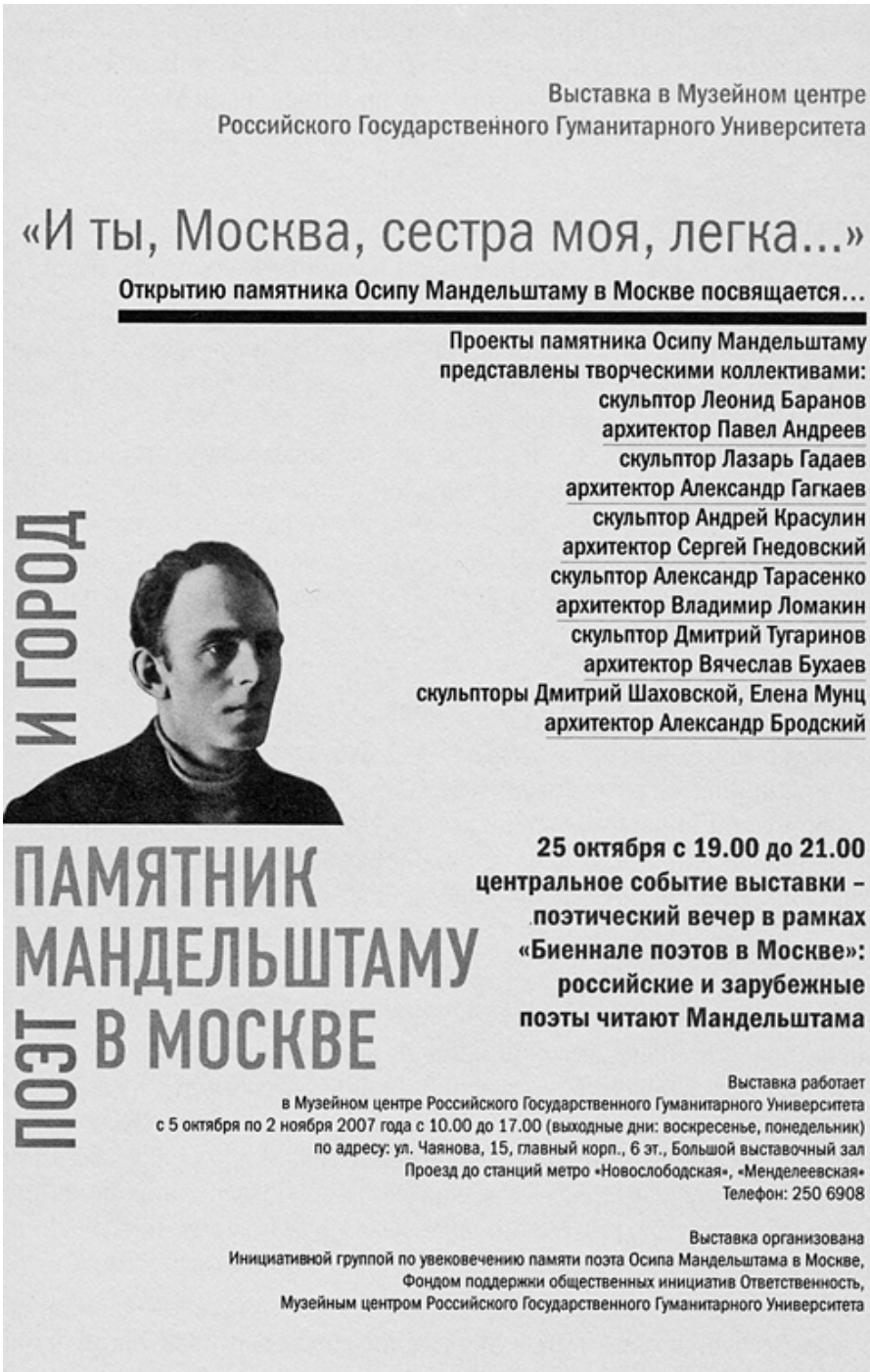
обезьянках, с которыми ходили по Москве уличные дрессировщики и шарманщики («Марья Ивановна» – распространенная их кличка). Они, подобно ученым медведям, выполняли разные номера, танцевали, а также вытаскивали билетики с предсказанием судьбы из набора соответствующих листков. (Об участии таких обезьянок в работе уличных гадателей говорила, комментируя данное место стихотворения, Н. Мандельштам.) Такую обезьянку мы встречаем в воспоминаниях И. Левина «Арбат. Один километр России»: «Время от времени двор превращался в концертную площадку. Самым народным артистом был шарманщик, из года в год извлекавший из своего мини-мини-органа одни и те же мелодии: “На сопках Маньчжурии”, “Разлука, ты, разлука”, “Кирпичики” и “Маруся отравилась”. Когда на музыку сбегалась детвора и даже люди постарше, начиналось представление, в котором героем выступал попугай – “попка”. Он тряс хохолком, доставал клювом из коробки конвертики с предсказанием судьбы. <…> Иногда попку заменяла обезьянка в юбочке или белая мышка. Бывало, с шарманщиком ходили мальчик и девочка, которые танцевали под музыку или показывали акробатические номера» [237] . Ученая спутница московского шарманщика-гадателя напоминает о своих сородичах – храмовых обезьянках в тибетских храмах. Тибетский храм – буддийский; это все та же тема московской китайщины, тема чуждой «буддийской», восточной, «кареглазой» Москвы, где «казнями… имениты дни» и где выпало жить.

А.Э. Мандельштам с сыном Сашей. 1930-е

«Блуд труда» – мы понимаем данный образ как характеристику непреодолимой тяги к делу, которому предназначен, – эта тяга подобна половому влечению, от него (дела) не сможешь отказаться и избавиться. (Строка «Есть блуд труда, и он у нас в крови» – пример характерной для Мандельштама языковой игры: Blut – «кровь» по-немецки и на еврейском-идиш; давно замечено исследователями.) Это свободный и радостный труд, «ворованный воздух», «запрещенная тишь». Художник – не ученый медведь и не дрессированная обезьянка, и никому ни кланяться, ни «изображать» и ни перед кем каяться не обязан. В кодекс поведения входит и важнейшее для Мандельштама понятие чести, как личной (вспомним «совестный деготь труда»), так и «социально-родовой». Нельзя предать предков-разночинцев с их плебейской прямотой и гордостью.

Через три года, в мае 1934-го, Мандельштам был арестован.

Три года ссылки Мандельштамы провели в основном в Воронеже. В мае 1938 года поэт был арестован повторно и на этот раз отправлен на Дальний Восток. Из лагеря под Владивостоком Мандельштам посылает брату Александру письмо, в котором сообщает о себе и просит написать ему о Наде «сейчас же». «В ответ Н.М. посылает деньги по указанному в письме адресу… В февр. 1939 денежный перевод вернулся с пометой “за смертью адресата”. Н.М. обращается в управление лагерей с просьбой проверить это сообщение и выдать ей свидетельство о смерти О.М. В июне 1940 А.Э. Мандельштаму вручают для передачи Н.М. официальное свидетельство о смерти О.М. с указанием даты – 27 дек. 1938» (Ю.Л. Фрейдин) [238] .


Выставка в Музейном центре
Российского Государственного Гуманитарного Университета
«И ты, Москва, сестра моя, легка...»
Открытию памятника Осипу Мандельштаму в Москве посвящается...
Проекты памятника Осипу Мандельштаму
представлены творческими коллективами:
скульптор Леонид Баранов
архитектор Павел Андреев
скульптор Лазарь Гадаев
архитектор Александр Гагкаев
скульптор Андрей Красулин
архитектор Сергей Гнедовский
скульптор Александр Тарасенко
архитектор Владимир Ломакин
скульптор Дмитрий Тугаринов
архитектор Вячеслав Бухаев
скульпторы Дмитрий Шаховской, Елена Мунц
архитектор Александр Бродский
ПОЭТ И ГОРОД
ПАМЯТНИК МАНДЕЛЬШТАМУ В МОСКВЕ
25 октября с 19.00 до 21.00
центральное событие выставки –
поэтический вечер в рамках
«Биеннале поэтов в Москве»:
российские и зарубежные
поэты читают Мандельштама
Выставка работает
в Музейном центре Российского Государственного Гуманитарного Университета
с 5 октября по 2 ноября 2007 года с 10.00 до 17.00 (выходные дни: воскресенье, понедельник)
по адресу: ул. Чаянова, 15, главный корп., 6 эт., Большой выставочный зал
Проезд до станций метро «Новослободская», «Менделеевская»
Телефон: 250 6908
Выставка организована
Инициативной группой по увековечению памяти поэта Осипа Мандельштама в Москве,
Фондом поддержки общественных инициатив Ответственность,
Музейным центром Российского Государственного Гуманитарного Университета

Афиша выставки проектов памятника Мандельштаму

А пока шла обычная, относительно нормальная жизнь. В ноябре 1931 года у брата Александра родился сын. «Роды были тяжелые, длились 72 часа, – сообщает Эмма Герштейн, – и все это

время Осип Эмильевич вместе с обоими братьями просидел в вестибюле роддома или все три брата бродили вокруг здания». Отец Эммы Герштейн был тогда заведующим хирургическим отделением больницы им. Семашко на ул. Щипок (см. «Список адресов»). Рожавшей жене Александра Эмильевича требовалась консультация. Придя к Герштейнам, Мандельштам позвонил от них специалисту. «Говорят из квартиры профессора Герштейна», – начал он разговор. Он сумел договориться о консультации. Родившегося мальчика Мандельштам «любовно называл… своим наследником» [239] . Именно ему, племяннику поэта Александру Александровичу Мандельштаму, автор этих строк обязан некоторыми важными деталями данного рассказа.

Стихи, созданные Мандельштамом зимой – летом 1931 года, – это не только стихи, написанные в Москве, но это и в полной мере московские стихи. В них навсегда осталась Москва рубежа 1920 – 1930-х, страшная, «буддийская», яркая и прекрасная. Москва, где «казнями имениты дни» и где «спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном», где за стеной «наверчивает» Шуберта Александр Герцович и звучат «сонаты в переулках», где поэт останавливается, облизывая губы, «у всех лотков», замечает «страусовы перья арматуры» набирающего темпы строительства и слышит, как ночью «расходятся улицы в чоботах узких, железных». Москва «сжимается, как воробей», «растет, как воздушный пирог», ругается «на языке трамвайных перебранок», плывет на яликах; ее сады «шумят зеленым телеграфом», в ее кинотеатрах крутят «воровскую фильму», в ее музеях темные полотна Рембрандта напоминают кордованскую кожу. «Старосадские» стихи могут быть уподоблены сложному красочному полотну, на котором одновременно поэт – «трамвайная вишенка» – едет по Бульварному кольцу, в китайских прачечных работники играют в карты, заключенный, «бушлатник», просыпается в тюрьме на нарах, молодые рабочие возводят «хрустальные дворцы на курьих ножках» и скалится, обнажая жуткие клыки, «век-волкодав». Неслучайно в одном из стихотворений этого периода прославлен острый глаз, никак не могущий насытиться открывающимися картинами: «Сетчатка голодна!» Невольно приходят на память строки из Екклезиаста: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». На вечере в редакции «Литературной газеты» в Доме Герцена 10 декабря 1932 года Мандельштам прочитал, в частности, стихотворение «Нет, не спрятаться мне от великой муры…». Реакция поэта Семена Кирсанова, по свидетельству литературоведа Н. Харджиева, была возмущенной: «Он назвал нашу Москву курвой!» [240] Да, она угрожала поэту и томила его;

но она же увлекала его и радовала. Черновая строка к вызвавшему резкую реакцию Кирсанова стихотворению, напомним, – «Но люблю мою курву-Москву». Это – та Москва, которой поэт страшился, в которой тосковал и которую принимал, потому что принимал живую жизнь. Здесь он воскликнул: «Пора вам знать: я тоже современник» – и заявил твердо: «Я сохранил дистанцию мою».

Е. Мунц. Портрет Осипа Мандельштама. Фрагмент конкурсного проекта памятника поэту

В первой половине 1931 года в Старосадском переулке написана одна из наиболее ярких страниц творческой биографии Осипа Мандельштама. Произведения, созданные в этот короткий период, действительно отмечены «явной печатью гениальности» (повторим цитированные выше слова В.Н. Яхонтова).

28 ноября 2008 года неподалеку от дома в Старосадском переулке, в скверике, на который выходят окна бывшей квартиры 3, был открыт памятник Осипу Мандельштаму. Авторы –

скульпторы Д.М. Шаховской и Е.В. Мунц, архитектор А.С. Бродский.

Памятник великому поэту встал на правильном месте.

Уже упоминалось жилье, которое Мандельштамы, вернувшись от Цезаря Рысса, из Замоскворечья (с Полянки), сняли на Покровке, неподалеку от брата Александра. Но и там задержались ненадолго: в следующем, 1932 году они вновь поселились при Доме Герцена.

Исторический и городской фон 1932 год

Январь . Вступило в строй крупнейшее машиностроительное предприятие СССР – автозавод в Нижнем Новгороде (будущий ГАЗ).

21 января . Подписан советско-финский договор о ненападении.

30 января – 4 февраля . XVII партконференция ВКП(б) утверждает директивы ко второму 5-летнему плану развития народного хозяйства СССР (1933–1937).

10 февраля . Музей изящных искусств переименован в Музей изобразительных искусств.

Апрель . Журнал «Молодая гвардия» начинает публикацию романа Николая Островского «Как закалялась сталь».

23 апреля . Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Существующие творческие объединения распускаются. Взят курс на создание единых союзов: Союза писателей, Союза композиторов и т. п.

Май . Появляется формулировка «социалистический реализм».

15 мая . Объявляется «антирелигиозная пятилетка». Предполагалось покончить с религией и закрыть в СССР церкви, молитвенные дома и т. п. к 1 мая 1937 г.

Июнь . М. Рютин и его группа выступают с резкой критикой сталинской политики и личной диктатуры Сталина. Группа Рютина уничтожена в октябре 1932 года.

25 июля . Подписан договор о ненападении с Польшей.

17 сентября . В ознаменование 40-летия литературной деятельности Горького он награждается орденом Ленина. Вскоре главная улица Москвы Тверская переименовывается в улицу Горького. Имя Горького присваивается Московскому художественному театру. Город Нижний Новгород становится городом Горький.

Осень . Неудачи хлебозаготовительной кампании и начало массового голода в деревне – на Украине и в других регионах СССР.

26 октября . Сталин и другие советские руководители

встречаются с писателями в особняке Горького на Малой Никитской улице. Писатели должны быть «инженерами человеческих душ».

Ночь с 8 на 9 ноября . Покончила с собой Н. Аллилуева, жена Сталина.

27 декабря . ЦИК И СНК СССР принимают постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и об обязательной прописке паспортов». В деревне паспорта на руки не выдавались.

1933 год

19 января . СНК СССР и ЦК ВКП(б) принимают постановление о твердых ценах на зерно. Колхозы обязуются поставлять государству зерно по ценам, устанавливаемым государством. Продажа зерна по свободным ценам разрешается только после выполнения плана хлебозаготовок.

2–3 марта . В Москве стало возможным покупать хлеб и мясо по коммерческим ценам.

28 апреля . Советский полпред в Германии Л. Хинчук встречается с новым рейхсканцлером А. Гитлером.

5 мая . В основном закончена паспортизация в Москве. Было выдано 2 миллиона 363 тысячи паспортов. 10 мая началась прописка в домовых книгах.

20 июня . Открытие Беломорско-Балтийского канала им. Сталина.

27 июня . В Государственном историческом музее открыта выставка «Художники РСФСР за XV лет».

12 июля . Из ленинградского порта вышел в плавание ледокол «Челюскин». Цель экспедиции – пройти за одну навигацию от Мурманска до Владивостока по Северному морскому пути.

17 августа . Под Москвой в Нахабино запущена первая отечественная ракета на жидком топливе.

9 ноября . Нобелевская премия по литературе присуждена Ивану Бунину.

15 ноября . В Москве вступила в действие первая троллейбусная линия.

16 ноября . Установлены дипломатические отношения между СССР и США.

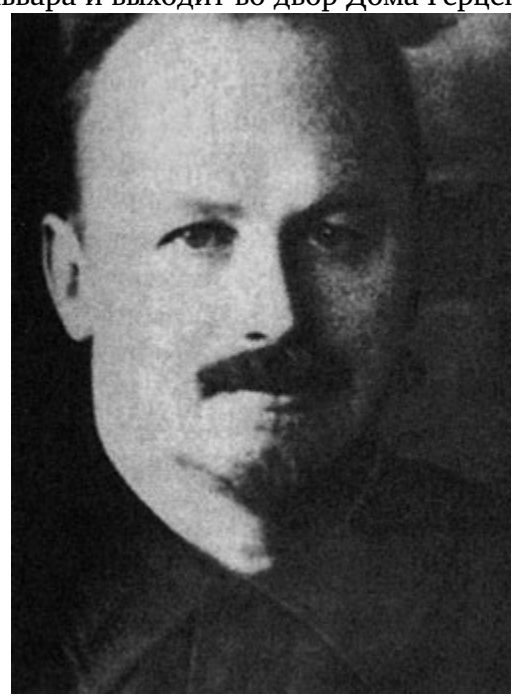
29 декабря . Председатель СНК СССР В. Молотов и наркоминдел М. Литвинов заявили об угрозе СССР со стороны воинствующего германского национал-социализма.

Снова при Доме Герцена. 1932–1933

В январе 1932 года поэт с женой вновь поселяются у Дома Герцена на Тверском бульваре – но в другом, противоположном флигеле (если стоять лицом к главному зданию усадьбы, он справа). После длительных скитаний по разным углам, по комнатам знакомых и родственников, Мандельштамы оказываются здесь и будут жить на Тверском довольно долго, с начала 1932-го по октябрь 1933 года.

В получении комнаты в правом флигеле Дома Герцена большую роль, вероятно, сыграл Н.И. Бухарин, благодаря которому Мандельштаму дали и персональную пенсию – 200 рублей в месяц (постановление датируется 23.03.1932) «за заслуги перед русской литературой». Став в сорок один год официально пенсионером, которому советская власть из милости за прошлые заслуги дала кусок хлеба, хотя от него уже ничего нового и полезного ждать не приходится, Мандельштам в таком именно свете воспринимался многими литераторами и литчиновниками.

В постановлении о пенсии указан адрес Мандельштама этого времени: Тверской бульвар, 25, кв. 6. В правом флигеле Мандельштамы сначала жили в одной комнате, а потом в другой. Первая – «небольшая, продолговатая, на низком первом этаже» [241] , о которой Мандельштам писал, характеризуя и флигель в целом, И.М. Гронскому весной 1932 года: «Помещение мне отвели в сыром, негодном для жилья флигеле без кухни, питьевой кран в гниющей уборной, на стенах плесень, дощатые перегородки, ледяной пол и т. д. Назначенной мне в этом флигеле комнаты я сразу не получил, а был временно вселен в каморку в 10 метров, где и провел всю зиму». Как сообщала Э.Г. Герштейн автору этих строк, единственное окно этой комнаты – дальнее от Тверского бульвара и выходит во двор Дома Герцена.



Н.И. Бухарин

Вскоре, правда, «рядом с Мандельштамами в том же коридоре

освободилась большая комната в три или два окна», и они перебрались туда. Новая комната была «рядом со старой, и окна выходили на ту же сторону» [242] – то есть они ближе к бульвару. Действительно, в письме брата Осипа Эмильевича, Александра, которое он написал отцу 19 марта 1932 года, указана другая квартира – 8. Жили Мандельштамы сначала в комнате 6, а затем в 8, или, напротив, первая их комната имела номер 8, а номер 6 – вторая – неясно. Александр Мандельштам сообщает отцу о брате и невестке: «В дополнение к пенсии они будут подрабатывать лит<ературной> работой – газетной или другой. Таким образом они пришли, наконец, к какой-то пристани» (правда, А.Э. Мандельштам упоминает в этом письме дом на Тверском бульваре под номером 24, но это явная неточность [243] .) Новое жилище было, в отличие от предыдущего, светлым. Об обстановке комнаты известно немного. «Смешно и подумать, чтобы Мандельштамы смогли меблировать свою комнату. Два пружинных матраца да маленький кухонный столик, который им пожертвовала одна пожилая дама – новая знакомая», – пишет Э. Герштейн [244] .

Налицо были некоторые безусловно положительные обстоятельства: пенсия назначена и получено жилье; ликвидирована Российская ассоциация пролетарских писателей (в постановлении ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года отмечалась закономерность существования особых пролетарских литературных организаций, когда «было ещё значительное влияние чуждых элементов…», и нецелесообразность сохранения их в новых условиях; следствием постановления была ликвидация ВОАПП – Всесоюзного объединения ассоциаций пролетарских писателей – и РАПП). Слишком левые, нацеленные на мировую революцию и смеющие иметь собственное мнение, переставали быть нужными. Подобно крестьянам, писатели должны были быть собраны в единый удобно управляемый литературный колхоз. Но время реализации этих планов еще не наступило, а роспуск всех учившей и командовавшей РАПП не мог не радовать. Хотя долго мучившее поэта дело о переводе «Тиля Уленшпигеля» завершилось, по свидетельству Б.В. Горнунга, «как дело Сухово-Кобылина – не осуждение, не оправдание и “реабилитация чести”, а “оставление в подозрении” за отсутствием улик» [245] , но оно все же закончилось, осталось позади.

Флигель Дома Герцена, где Мандельштамы жили в 1932–1933 гг.

Как уже сообщалось, с середины 1920-х годов Мандельштам не писал стихов. Исключительно плодотворный период начала двадцатых сменился длившейся около пяти лет поэтической немотой. Однако после поездки в Армению в 1930 году молчание закончилось. В мартовской книжке журнала «Новый мир» за 1931 год печатается цикл «Армения» (двенадцать стихотворений). Эта публикация обозначила возвращение Мандельштама в современную поэзию. Творческая активность шла по нарастающей. Пишется и публикуется в этот, второй период жизни на Тверском бульваре немало. В апрельской и июньской книжках «Нового мира» за 1932 год появляются стихи Мандельштама: в № 4 – написанное еще в 1931-м стихотворение «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем…» и недавнее «О, как мы любим лицемерить…»; в № 6 – прошлогоднее стихотворение «Рояль» и три новых – «Там, где купальни, бумагопрядильни…», «Ламарк» (написаны в мае 1932 года) и «Батюшков» (создано в июне 1932-го). 21 апреля в газете «За коммунистическое просвещение», где тогда работала Надежда Мандельштам, увидела свет мандельштамовская статья «К проблеме научного стиля Дарвина».

В мае Мандельштам пишет также «Дайте Тютчеву стрекóзу…», «Импрессионизм», «Новеллино», «Шестого чувства крошечный придаток…», «Когда в далекую Корею…» (стихотворение о питерском отрочестве, завершающееся твердыми словами о верности своему вольному пути: «Я пережил того подростка, / И широка моя стезя, / Другие сны, другие

гнезда, / Но не разбойничать нельзя»). В начале июля создается цикл «Стихи о русской поэзии», 8 августа появляется «Христиан Клейст» (это стихотворение Мандельштам продиктовал поэту А.В. Звенигородскому, знакомство с которым состоялось в июне 1932 года). Очевидно, в августе же была проделана и основная работа над стихотворением «К немецкой речи», образно и тематически связанным с «Христианом Клейстом».

Б.С. Кузин

В «Четвертой прозе» Мандельштам заявил о своем уходе из литературы. Настоящий писатель – смертельный враг ненавистной «литературы». И хотя поэт называет «мразью» «разрешенную» литературу на любом языке, в любой стране, речь в случае Мандельштама идет в первую очередь, что само собой понятно, о допускаемой и одобряемой властью словесности на русском языке, в Советском Союзе. Эта позиция актуализировала, делала естественным образом более значимой тесную связь Мандельштама с языком, который можно назвать для него почти вторым родным, – с немецким. Связь эта возникла в детские годы писателя и никогда не прерывалась. Говоря точнее, это не был чистый немецкий, а некая смесь немецкого и еврейского-идиша.

Это был язык отца Мандельштама, Эмиля (Хацкеля) Вениаминовича, который родился в Литве и жил и учился в Германии. Немецкий язык так и остался для него более близким и привычным, чем русский, хотя, конечно, он и говорил, и писал по-русски. Русский язык пришел к Мандельштаму от матери, Флоры Осиповны. Она родилась в Вильне. Вильно (Вильнюс) не зря называли «литовским Иерусалимом». Естественно, мать поэта знала в той или иной мере идиш. Таким образом, Мандельштам был знаком с немецкой речью с добавлением идиша с раннего детства. Связь с немецким языком и немецкой культурой укрепилась в 1909–1910 годах, когда Мандельштам учился в Гейдельбергском университете, а потом лечился и жил в Берлине. И вот в 1932 году поэт признается в любви К немецкой речи *Б.С. Кузину* [246]

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.
Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
На Западе у чуждого семейства.
Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.
Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.
Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи?
И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб – ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.
Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.
Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.

Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык – он мне не нужен.
Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился. Слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.
8–12 августа 1932

«Немец-офицер» – Христиан Эвальд Клейст, немецкий поэт, прусский офицер, погибший в Семилетней войне в 1759 году. Умер от ран, полученных в сражении с русскими войсками. Согласно рассказу Карамзина в «Письмах русского путешественника», в роковой для него битве Клейст продолжал драться до конца, несмотря на тяжелые ранения. Поверженный и брошенный казаками в болото, он назвал свое имя одному из русских офицеров. Клейст был отправлен во Франкфурт, где умер в госпитале. Отдавая дань его храбрости, русские офицеры присутствовали при его погребении. Мужественный Клейст, однако, не служит в стихотворении символом милитаризма, напротив: розы цепляются за эфес его шпаги, Церера – на его губах. Церера – римская богиня плодородия, покровительница земледельцев и посевов, подательница урожая, аналог греческой Деметры. В своем замечательном исследовании «немецкой темы в поэзии О. Мандельштама» Г. Киршбаум приводит мнение С. Симонека о том, что имя Цереры на устах Клейста, в стихах которого Церера не упоминается, отсылает к русскому поэту Батюшкову, у которого Церера обнаруживается в стихотворении «Гезиод и Омир – соперники», и добавляет: «Поводом для такого наложения послужил факт офицерства обоих поэтов. Один погиб в бою с русскими, другой —…певец русско-прусского военного братства – участвовал в совместном Рейнском походе» [247] . (Рейнский поход – союзнические действия России и Пруссии в борьбе с Наполеоном.) Мандельштам отвергает и прежние, и грозящие «семилетние бойни». Стихи говорят о внутреннем изначальном единстве русской и немецкой поэзии, России и Германии – «в какой Валгалле / Мы вместе с вами щелкали орехи?» (ср. в стихотворении 1916 года «Зверинец»: «И, в колыбели праарийской, / Славянский и германский лён!»; Валгалла – рай для павших в бою доблестных воинов). Судьба Клейста, у гроба которого склонили головы его противники, офицеры русской армии, замечательно соответствует идее братства и единства. Мандельштам, совсем недавно вынужденный отстаивать свою честь в измучившем его деле о переводе «Тиля Уленшпигеля», видит в Христиане Клейсте и других немецких «друзьях»-поэтах пример стойкости в выполнении своего долга,

серьезности, мужества перед смертью и в то же время легкого, радостного приятия жизни: «Сбегали в гроб – ступеньками, без страха, / Как в погребок за кружкой мозельвейна». В варианте стихотворения под названием «Христиан Клейст», записанном поэтом А.В. Звенигородским: «И прямо со страницы альманаха / Он в бой сошел и умер так же складно, / Как пел рябину с кружкой мозельвейна». Заявление о том, что лирическое «я» стихотворения, alter ego автора, уже существовало до рождения в виде некоего текста, буквы и книги, заставляет вспомнить об одной из характернейших черт еврейского взгляда на мир – представлении о том, что именно слово первично, а материальный мир вторичен. Не мир предшествовал Торе, а именно Тора, Священное писание предшествовало миру. Сознательно или нет, в стихотворении выражен именно такой взгляд.

Вообще поражает имеющаяся близость между определенными свойствами поэтического мировоззрения Мандельштама и традиционным еврейским взглядом на мир. Всякий, кто хотя бы в небольшой мере занимался изучением Талмуда, не может не заметить сходство талмудического подхода к тексту с мандельштамовской «упоминательной клавиатурой» (подключением, как правило, «в свернутом виде» текстового – и не только текстового – материала других авторов), а также с его «мышлением опущенными звеньями» – фиксированием на письме только необходимых, «опорных» слов в стихах или прозе, опуская при этом те логические мостики, которые должен мысленно восстановить читатель. «Упоминательная клавиатура» и «мышление опущенными звеньями» – формулы, которые сам поэт использовал, характеризуя свой писательский метод. Рассмотрению творчества Мандельштама в связи с системой главных установок еврейской цивилизации посвящена чрезвычайно интересная и уже упоминавшаяся выше книга Л.Р. Городецкого. О «талмудических» свойствах творчества Мандельштама писал еще в 1991 году М.Н. Эпштейн в статье «Цадик и талмудист (сравнительный опыт о Пастернаке и Мандельштаме)»; позднее работа получила название «Хасид и талмудист». Н.Я. Мандельштам дает такой комментарий к стихам о связи с Германией еще до появления на свет: «… впервые какие-то связи с миром до рождения, как бы чувство рода: в стихах (черновиках) говорится о воспоминаниях – из эпохи Семилетней войны, о том, что он сам стоит где-то на Рейне, – в “беседке шоколадной” – “весь будущим прореян” – словно из того времени и места он видит себя в будущем – в другой стране, где он вспомнит о своей кровной связи с землей, откуда в Россию

пришли его предки. Не древняя средиземноморская родина, а более недавняя – Германия в эпоху “семилетних боен” и романтиков-поэтов догетевского периода» [248] .

В «виноградной строчке» (строка подобна виноградной лозе) можно опознать немецкий готический шрифт (ведь речь идет о Германии), но также приходит на ум, естественно, и еврейское письмо. Упоминание вина («мозельвейн») – символа радости и дружества – в этом стихотворении более чем уместно. На берегах Рейна, Мозеля и Неккара находятся многочисленные обширные виноградники, это древний винодельческий край, который Мандельштам знал: он учился в Гейдельберге – старинном городе на реке Неккар. (В мандельштамовском переводе одного из стихотворений немецкого поэта Макса Бартеля «Тюремные братья, в весенние дни…» в цитируемом нами издании есть странная строка: «Студенческий некар шумит». В другом издании – втором томе четырехтомника 1993–1997 годов – не менее непонятно: «Студенческий нектар шумит». Представляется, что речь идет о Гейдельбергском университете, и, соответственно, вместо ошибочного «некар» должно печататься «Неккар».)

В финале своего обращения «К немецкой речи» Мандельштам вводит соловья («нахтигаль» по-немецки) в круг богов и клянется ему в верности. «Бог Нахтигаль» пришел в стихи из стихотворения Генриха Гейне «В начале был соловей» (“Im Anfang war die Nachtigall”; источник давно отмечен О. Роненом), в котором воробей рассказывает о начале бытия со своей, птичьей точки зрения: сначала защелкал и запел соловей, и его пение вызвало к жизни траву и цветы; соловей клюнул себя в грудь, и из его крови вырос прекрасный розовый куст… Представление о жертвенной роли поэта было созвучно Мандельштаму; эта мысль была одной из его мировоззренческих констант (причем не в качестве абстрактной идеи, а применительно и к себе самому). Через год он напишет антисталинские стихи; их создание с последующим чтением было несомненным проявлением готовности к жертвенному акту. Пилад и Орест – верные друзья в греческой мифологии; речь идет, очевидно, о дружбе с Борисом Кузиным. Д.И. Черашняя не без оснований («офицерские» детали в стихотворении) полагает, что в стихотворении отозвалась и дружба с погибшим в 1921 году Николаем Гумилевым.

Семен Липкин запомнил, как Мандельштам читал ему «К немецкой речи»: «Вот мы гуляем по Тверскому бульвару вдоль его дома, из которого мы вышли вместе с его отцом, ровесником которого казался Мандельштам. Отец сидит во дворе на скамеечке, а его преждевременно состарившийся сын читает мне стихи о немецкой речи, спрашивает, нравится ли, и, получив

утвердительный ответ, гордо заявляет: “Мое”, – как будто я мог в этом усомниться, как будто мне могла прийти мысль, что он читает не свои стихи, как будто, наконец, можно было допустить, что в России есть другой поэт, который мог бы написать так, как написал он» [249] .

«К немецкой речи» с посвящением Б.С. Кузину публикуется в «Литературной газете» от 23 ноября 1932 года вместе с двумя другими стихотворениями – «Ленинград» (написано в декабре 1930-го) и «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…». (С биологом Борисом Сергеевичем Кузиным Мандельштам познакомился в Армении. О значении этой дружбы для Мандельштама говорит строка из стихотворения «К немецкой речи»: «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен» – кончился «сон», неписание стихов во второй половине 1920-х годов.) Стихи, появившиеся на страницах «Литературной газеты», – последняя прижизненная публикация оригинальных стихов Мандельштама (позднее вышел в свет еще мандельштамовский перевод поэмы Важа Пшавела «Гоготур и Апшина», впервые напечатанный в 1923 году; он был включен в книгу поэм грузинского классика, выпущенную в Москве в 1935 году, и подписан инициалами переводчика).

Увлечение итальянской поэзией, в первую очередь Данте, отразилось в двух майских стихотворениях 1932 года:

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый,
И всех других опередит
Тот самый, тот, который
Из песни Данта убежит,
Ведя по кругу споры.
Май 1932; сентябрь 1935

Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали вполплеча
В камзольчиках зеленых,
Что пересиливали срам
И чумную заразу
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.
И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни, как сон,
В пленительных занятьях:

Лепили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.
22 мая 1932

Эти два стихотворения сначала были одним целым под названием «Новеллино». Позднее оно разделилось надвое; к первому из приведенных стихотворений Мандельштам вернулся в воронежской ссылке. Оно, комментирует А.Г. Мец, «явилось в результата чтения песни XV “Ада” “Божественной комедии”, в которой описана встреча Данте с одним из его учителей, Брунетто Латини:

Он обернулся и бегом помчался,
Как те, кто под Вероною бежит
К зеленому сукну, причем казался
Тем, чья победа, а не тем, чей стыд.

В. Милашевский. Портрет Осипа Мандельштама. 1932

“Около Вероны раз в год устраивались состязания в беге… Победитель получал отрез зеленого сукна…” (перевод и примеч.

М. Лозинского)». И, продолжает А. Мец, Мандельштам, процитировав это место «Ада» в собственном переводе, «заметил: “В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что бегает быстрее” (“Разговор о Данте”, гл. II)» [250] . Второе стихотворение восходит к Боккаччо и другим итальянским новеллистам. Плутовство, моральная неразборчивость в сочетании с удальством и легкостью, характерные для «молодчиков каленых», замечательно представлены и в ранней редакции этих «итальянских» стихов (в записи Н.Я. Мандельштам; после приводимых ниже строф в ее записи следуют две строфы, начинающиеся строкой «Увы, растаяла свеча…»):

Вы помните, как бегуны
У Данта Алигьери
Соревновались в честь весны
В своей зеленой вере.
По темнобархатным лугам
В сафьяновых сапожках
Они мелькали по холмам,
Как маки по дорожкам.
Уж эти мне говоруны
Бродяги флорентийцы,
Отъявленные все лгуны,
Наемные убийцы.
Они под звон колоколов
Молились богу спьяну
Они дарили соколов
Турецкому султану.

Во влечении к чужим языкам Мандельштаму, однако, виделось и нечто «изменническое», некий соблазн. Это таит опасность подпадения под власть иной речи, иного звукового строя. Об этом будет сказано позже, в написанных в 1933 году крымских стихах:

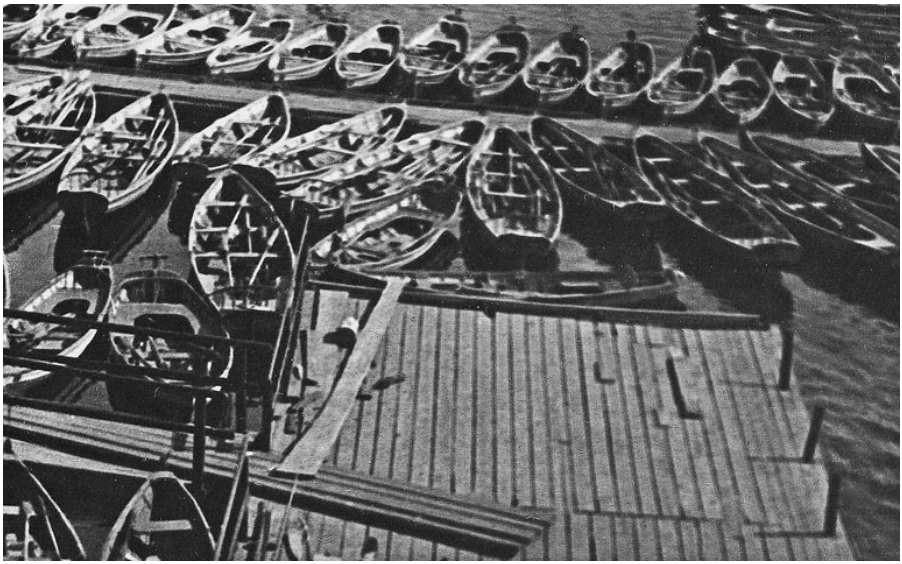
Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:
Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить!
О, как мучительно дается чужого клекота почет:
За беззаконные восторги лихая плата стережет!
«Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть…»

Летом 1932 года Мандельштам живет в основном в санатории ЦЕКУБУ в Болшеве, но часть лета проводит в городе. 21 июня знакомится с поэтом А.В. Звенигородским. 9 июля к Мандельштамам во флигель Дома Герцена приходит Анна Ахматова. 8 сентября 1932 года поэт заключает договор с Государственным издательством художественной литературы (ГИХЛ) на книгу «Стихи», а 31 января 1933-го подписывает с тем

же ГИХЛом договор на «Избранное». Ни то, ни другое издание не состоялось. Майские дни 1932-го остались в стихотворении «Там, где купальни-бумагопрядильни…».

Там, где купальни-бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На Москве-реке есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.
Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы.
У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.
На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров.
Вода на булавках, и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

Набережная у храма Христа Спасителя



Лодки на Москве-реке. Фотография И. Ильфа

Парк культуры и отдыха был открыт в августе 1928 года. Он включил в себя три части – территорию, где в 1923 году проходила первая Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, Голицынский и Нескучный сады. Имя Горького парку присвоили уже после написания мандельштамовского стихотворения – 25 сентября 1932 года (тогда же и Тверская стала улицей Горького). Купальни на Москве-реке действительно были; находились на реке и некоторые предприятия. Возможно, более верным вариантом первого стиха стоит считать «Там, где купальни, бумагопрядильни» (через запятую) – в таком виде первая строка приводится в ряде изданий Мандельштама. Вообще купающихся, загорающих и катающихся на лодках в теплые дни на Москве-реке было много. Очерк С. Алымова «В кругу Москвы» (1927) свидетельствует об этом: «От Каменного моста до пышно-зеленых Воробьевых гор, через изумрудное великолепие Нескучного сада растянулась по отмелям гирлянда обнаженных, блаженствующих тел. В лодках та же бронзовая мускулатура, что и на берегу. Крылатые взмахи весел несут вверх по течению далеко за Москву, где уже нет трамваев и городской суеты» [251] . В стихе «Судоходные марки и открытки» отозвалась, видимо, строка из написанного годом ранее, в июне 1931 года, стихотворения «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!»: «И вся Москва на яликах плывет». Характеризуя «Там, где купальни-бумагопрядильни…», Надежда Мандельштам отмечает, что это стихотворение – «вспышка любви к Москве, как бы остаток нежности», которая выразилась в белых стихах 1931 года и в

прозе «Путешествие в Армению». «Эти стихи, – продолжает Н.Я. Мандельштам, – результат поездок по Москве весной – Нескучный сад, где, как О.М. всегда помнил и всегда напоминал мне, обменялись клятвами два мальчика – Огарев и Герцен. <…> Москва в “удельных речках” [252] – тоже постоянная нежность О.М. Здесь чувство близости, родства и единства всех этих московских речонок, фольклорная песенка об их единстве. Единственный образ, который может показаться непонятным, – это “вода на булавках”. Это струйки, текущие из разъезжающей по парку бочки-лейки» [253] . Такую бочку-лейку мы находим и в прозе Мандельштама – в повести «Египетская марка»: «Бочка опрыскивала улицу шпагатом тонких и ломких струн». И в черновиках «Египетской марки»: «Вот проехала бочка, обросшая светлой щетиной ломких водяных струй, и садовник сидел на ней князем». Не очень понятным остается, вопреки утверждению Н. Мандельштам, и почему «на Москве-реке почтовым пахнет клеем». По мнению М.Л. Гаспарова, это говорится о запахе, доносящемся от ближней к Парку культуры и отдыха кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Это мнение представляется не очень убедительным: «кондитерские» ароматы и запах клея различны. По нашему мнению, воспоминание о запахе почтового клея возникает в сознании в связи с «судоходными марками и открытками»: берег парка, деревья, купальщики, лодки – все это напоминает открытки с видами курортных мест, которые отдыхающие посылают домой, родственникам и знакомым, – отсюда и почтовая ассоциация. В «Стихах о русской поэзии», написанных в правом флигеле Дома Герцена, выражено радостное приятие жизни – неслучайно в первом из стихотворений цикла появляются, на фоне весело хлещущего дождя, такие жизнелюбцы, как Державин и Языков.

I
Сядь, Державин, развалися,
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.
Дай Языкову бутылку
И подвинь ему бокал.
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.
Гром живет своим накатом —
Что ему до наших бед? —
И глотками по раскатам
Наслаждается мускатом

На язык, на вкус, на цвет.
Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой,
Пахнет городом, потопом —
Нет – жасмином, нет – укропом,
Нет – дубовою корой!

Г.Р. Державин был потомком одного из татарских мурз, отсюда упоминание «татарского кумыса». Конечно, это и характеристика «варварской» мощи, цветистости и «непричесанности» державинской поэзии. В некоторых изданиях встречаем иной вариант стиха 17 в качестве основного: «Пахнет потом – конским топом…». (См., например: Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 2001.) И во втором стихотворении цикла гроза не прекращается:

II
Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.
Катит гром свою тележку
По торговой мостовой,
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.
И угодливо-поката
Кажется земля – пока
Шум на шум, как брат на брата,
Восстает издалека.
Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой.

«Смоковница», видимо, имеется в виду евангельская, которой Иисус, не найдя на ней смокв, предрек бесплодие. Звуковое подобие слов «СМОКоВницы», «подМОСКоВными» и «МОСКВа» очевидно, но смысловая связь не столь ясна. Здесь, несомненно, снова появляется мотив московской хитрости, оборотистости и готовности к подчинению силе, который звучал в стихотворении 1918 года «Все чуждо нам в столице непотребной…» и в очерке «Сухаревка»; вспомним: «Она в торговле хитрая лисица, / А перед князем – жалкая раба…» – и сопоставим с «угодливо-покатой» торговой московской землей, по которой расхаживает с длинной плетью ливень. Финальное предложение «Сухаревки»: «Несколько пронзительных свистков [254] – и все прячется, упаковывается, уволакивается – и площадь пустеет с той истерической

поспешностью, с какой пустели бревенчатые мосты, когда по ним проходила колючая метла страха».

«Москва – третий Рим», по пословице. Важно заметить, что через пять лет, в 1937 году, в Воронеже, подобные характеристики найдет Мандельштам для фашистского Рима: «Город, любящий сильным поддакивать <…> И над Римом диктатора-выродка / Подбородок тяжелый висит» (ср. с одной из главных характеристик советского вождя – тяжестью – в антисталинских стихах, появившихся на следующий год после написания «Стихов о русской поэзии»: «…А слова, как пудовые гири, верны…»). Родство между сталинской и фашистской диктатурой Мандельштам, без сомнения, хорошо чувствовал.

Но ведь в евангельской смоковнице ничего «рабского» не было, на ней просто не было плодов, потому что еще не пришло время собирать смоквы. Сравнение Москвы со смоковницей, которая по слову Иисуса засохла, навсегда осталась бесплодной, не есть ли еще один раздраженный выпад Мандельштама по адресу «столицы непотребной», как он писал в 1918 году, ее «бесплодия» («ее сухая черствая земля») – выпад, объяснимый, наверное, тем состоянием нервной издерганности, в которое поэта привело недавнее скандальное дело, связанное с переводом «Тиля Уленшпигеля».

«Развернуть строительство метро!» 1932

Вслед за Державиным и Языковым из первой части «Стихов о русской поэзии» во второй в одном из вариантов появляется

деловитый и успешный в журнальной «торговле» Некрасов (стихи 5–6): «У Некрасова тележка / На торговой мостовой».

Из комментария Н.Я. Мандельштам к этим стихам: «Прижизненные издания русских поэтов были для него едва ли не самой дорогой частью той горсточки книг, которые он собирал по букинистам. И именно в 32-м году, живя на Тверском бульваре в настоящей трущобе, он завел себе полочку и тащил туда и Языкова, и Жуковского, и Баратынского, и Батюшкова, и Державина, и еще, и еще, и еще… <…>

О “торговой мостовой” – в те годы в центре Москвы еще были улицы, вымощенные крупным булыжником, – забота Городской Думы» [255] .

«Стихи о русской поэзии» (цикл из трех стихотворений; третью часть – «Полюбил я лес прекрасный…» – приводим ниже) датируются 2–7 июля 1932 года. А 1 июля в газете «Вечерняя Москва» сообщалось: «Вчера в 4 часа дня над Москвой пронесся сильнейший ливень с грозой. А в Останкине и Погонно-Лосиноостровском было одиннадцать случаев поражения молнией. Пострадавшие каретой “Скорой помощи” были привезены в Москву. Во время грозы – с 4 часов 30 минут до 6 часов вечера – было прервано междугородное телефонное сообщение почти со всеми городами. Все дневные представления и гулянья в парках и садах были прерваны» [256] .

Гроза для Мандельштама – всегда символ настоящего события: в истории ли, в культуре ли, в природе ли. Рост растения, например, описан Мандельштамом в «Путешествии в Армению» так: растение – «посланник живой грозы, перманентно бушующей в мироздании, – в одинаковой степени сродни и камню, и молнии! Растение в мире – это событие, происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие!». Это восприятие жизни в постоянной и часто непредсказуемой динамике, несомненно, связано у Мандельштама с философией Анри Бергсона, идеями которого поэт был очень увлечен в молодости и интерес к которому оживился снова в начале 1930-х годов. Одному из стихотворений немецкого революционного поэта Макса Бартеля, чьи стихи Мандельштам переводил в середине 1920-х, он дал в переводе название «Гроза права́» (по одной из строк Бартеля), хотя в оригинале оно называется «Лес и гора» (“Wald und Berg”) (приводим начальные четверостишия):

Лесная загудела качка.
Кидаюсь в песню с головой!
Вот грома темная заплачка.
Ей вторит сердца темный вой.
Разлапый, на корню, бродяга,

С лазурью в хвойных бородах,
Брат-лес, шуми в сырых оврагах,
Твоих студеных погребах.
Подпочва стонет. Сухожилья
Корней пьют влажные права.
В вершинах жизни изобилье.
Гроза права. Гроза права.

«Поэзия, тебе полезны грозы!» – в который раз подтверждает Мандельштам свою позицию в стихотворении «К немецкой речи». В написанных на Тверском бульваре стихах появляются и «Лермонтов, мучитель наш», и Фет, и Тютчев, с которым у Мандельштама всегда связывалось чувство надвигающейся или разразившейся грозы (не только в природе, но и в исторической, политической жизни), и Веневитинов, и Боратынский… Мандельштам смакует их «стихов виноградное мясо» (как сказано в приводимом ниже стихотворении о Батюшкове). Каждый представлен со своим, непросто разгадываемым атрибутом, только «перстень – никому».

Дайте Тютчеву стрекóзу —
Догадайтесь, почему.
Веневитинову – розу,
Ну а перстень – никому.
Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.
А еще над нами волен
Лермонтов – мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.
8 июля(?) 1932

Исследователи (в первую очередь надо назвать Омри Ронена) давно определили значение упомянутых атрибутов – нашли, в частности, стрекозу у Тютчева («В душном воздуха молчанье, / Как предчувствие грозы, / Жарче роз благоуханье, / Звонче голос стрекозы…»). Непростому образу стрекозы у Мандельштама, Тютчева и вообще в русской литературе посвящена блестящая работа Ф.Б. Успенского [257] . Нашли и розу у Веневитинова, в его стихотворении «Три розы». «Перстень носил Пушкин, воспевал Веневитинов (эксгумация останков Веневитинова и изъятие его перстня для музея произошли совсем недавно, в 1931 году)», – комментирует М.Л. Гаспаров [258] . Уточним: эксгумация останков Веневитинова произошла в 1930 году (поэт был похоронен на кладбище Симонова монастыря); перстень

поэта находится в настоящее время в Государственном литературном музее. Вероятно, у Мандельштама все-таки имеется в виду главным образом пушкинский перстень: ведь Веневитинов уже «получил» в стихотворении розу. Что же касается знаменитого перстня Пушкина, то он, побывав после смерти поэта у В.А. Жуковского, его сына Павла Васильевича, И.С. Тургенева и Полины Виардо, был передан последней в Пушкинский музей Императорского Александровского лицея. Перстень-печатка из музея исчез – был украден в революционное время; сохранился, однако, его оттиск – надпись на древнееврейском языке гласит: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да будет благословенна его память». Как видим, в надписи упомянут некий уважаемый тезка Мандельштама. По всей вероятности, перстень этот принадлежал какому-то крымскому караиму. Бренность человеческой жизни, и отдельного человека, и целых народов – одна из важнейших тем поэзии Боратынского (Мандельштам пишет его фамилию через два «а»; узаконено и то, и другое написание, но с точки зрения исторической больше оснований для варианта «Боратынский»). «Баратынского подошвы раздражают прах веков» и в его ранних «Финляндии» и «Риме», и в «Черепе», и в написанном незадолго до смерти стихотворении «Дядьке-итальянцу»: «В свои расселины вы приняли певца, / Граниты финские, граниты вековые… <…> / Умолк призывный щит, не слышен скальда глас, / Воспламененный дуб угас, / Развеял бурный ветр торжественные клики; / Сыны не ведают о подвигах отцов; / И в дольном прахе их богов / Лежат поверженные лики! / И все вокруг меня в глубокой тишине!» («Финляндия»); «Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель, / Ты был ли, о свободный Рим? / К немым развалинам твоим / Подходит с грустию их чуждый навеститель…» («Рим»); «Усопший брат! кто сон твой возмутил? / Кто пренебрег святынею могильной? / В разрытый дом к тебе я нисходил, / Я в руки брал твой череп желтый, пыльный!» («Череп»; как не вспомнить прозвище, которым наградили Боратынского друзья-поэты: Гамлет-Боратынский); «А я, я, с памятью живых твоих речей, / Увидел роскоши Италии твоей! / <…> / И Цицеронов дом, и злачную пещеру, / Священную поднесь Камены суеверу, / Где спит великий прах властителя стихов…» («Дядьке-итальянцу»; «властитель стихов» – Вергилий). Хрупки, непрочны, подобно облакам, и поэтические образы, утверждает Боратынский: «Чудный град порой сольется / Из летучих облаков, / Но лишь ветр его коснется, / Он исчезнет без следов. // Так мгновенные созданья / Поэтической мечты / Исчезают от дыханья / Посторонней суеты» («Чудный град порой сольется…») [259] . От

облаков Боратынского переход к Лермонтову вполне логичен, поскольку последний был для Мандельштама неразрывно связан с «небесной» тематикой, в первую очередь через «Выхожу один я на дорогу…»: «…И звезда с звездою говорит. / В небесах торжественно и чудно…»

«Жирный» карандаш Фета в этих мандельштамовских стихах «одышкой болен». Речь, видимо, идет о последнем стихотворении Фета, «Когда дыханье множит муки…», – Фет правил это стихотворение карандашом. “Fett” по-немецки – «жирный», отсюда и характеристика карандаша (замечено Г.А. Левинтоном). Одышка мучила Фета с ранних лет. Незадолго до смерти он перенес бронхит. О мучительном дыханье сказано не только в его последних стихах – об этом же говорят и строки, относящиеся к числу самых известных у Фета: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, / Что жизнь и смерть? А жаль того огня, / Что просиял над целым мирозданьем, / И в ночь идет, и плачет, уходя» – «А.Л. Бржеской» («Далекий друг, пойми мои рыданья…»). Ко времени написания стихотворения «Дайте Тютчеву стрекóзу…» от одышки страдал и Мандельштам: «Мне с каждым днем дышать все тяжелее…» («Сегодня можно снять декалькомани…»)

Память Н.Я. Мандельштам сохранила еще одну строфу к стихотворению «Дайте Тютчеву стрекóзу…», в которой иронически трактуется тема славянофильского мессианизма:

А еще, богохранима,
На гвоздях торчит всегда
У ворот Ерусалима
Хомякова борода.

Борода, символ славянофильской верности «народной правде», «торчит» у ворот Иерусалима, подобно щиту Олега, который тот, по преданию, прибил к воротам Царьграда. Стихи отсылают к строкам А.С. Хомякова о въезде Иисуса в Иерусалим: «Широка, необозрима, / Чудной радости полна, / Из ворот Ерусалима / Шла народная волна».

Батюшкову посвящено отдельное стихотворение (по свидетельству литературоведа Н.И. Харджиева, на стене в комнате Мандельштама висела в 1932 году репродукция автопортрета К. Батюшкова).

Батюшков

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.
Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему —

В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.
Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого – этих звуков изгибы,
И никогда – это говор валов…
Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.
И отвечал мне оплакавший Тасса:
Я к величаньям еще не привык,
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык…
Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан…
18 июня 1932

У памятника Пушкину. Тверской бульвар, начало 1930-х

Константин Батюшков был одним из самых любимых поэтов Мандельштама. «Оплакавший Тасса» – речь идет об элегии Батюшкова «Умирающий Тасс», посвященной итальянскому поэту Торквато Тассо. «Дафна – видимо, “Зафна” из стих. Батюшкова “Источник”, написанного тем же размером (что и “Батюшков” Мандельштама. – Л.В.)», – комментирует М.Л. Гаспаров [260] . Неслучайно Мандельштам встречает Батюшкова, «горожанина и

друга горожан», «гуляку с волшебной тростью», на улице. (Напомним, что трость – это автобиографическая черта: ко времени написания стихотворения у Мандельштама была одышка, и он ходил с «белорукой», как она именуется в одном из стихотворений, тростью.) Для того чтобы представить себе встречу с Батюшковым на московской улице или площади или даже конкретно на Тверском бульваре, неподалеку от флигеля Дома Герцена, где жили Мандельштамы, имелись все основания: «гуляка» Батюшков сам описал себя бродящим по Белокаменной в своем очерке «Прогулка по Москве»: «Итак, мимоходом, странствуя из дома в дом, с гулянья на гулянье, с ужина на ужин, я напишу несколько замечаний о городе и о нравах жителей, не соблюдая ни связи, ни порядка…» Описав Кремль и Кузнецкий мост, автор очерка обращается к Тверскому бульвару. «Теперь мы выходим на Тверской бульвар, который составляет часть обширного вала. Вот жалкое гульбище для обширного и многолюдного города, какова Москва; но стечение народа, прекрасные утра апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных жителей. <…> Совершенная свобода ходить взад и вперед с кем случится, великое стечение людей знакомых и незнакомых имели всегда особенную прелесть для ленивцев, для праздных и для тех, которые любят замечать физиономии. А я из числа первых и последних» [261] . Попутно отметим интересное совпадение. В том же очерке «Прогулка по Москве» Батюшков уделяет внимание и состоянию переводческого дела: «Кто не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать книгами точно так, как рыбой, мехами, овощами и прочим, без всяких сведений в словесности; тот не знает, что здесь есть фабрика переводов, фабрика журналов и фабрика романов и что книжные торгаши покупают ученый товар, то есть переводы и сочинения, на вес, приговаривая бедным авторам: не качество, а количество! не слог, а число листов!» [262] А Мандельштам пишет в 1929 году, в разгар истории с переводом «Тиля Уленшпигеля», статью о переводческом деле «Потоки халтуры» (это была тогда для него, естественно, чрезвычайно «затрагивающая» тема), где также сетует на качество переводов, погоню за количеством листов и использует «фабричные» сравнения: «К самому переводу относятся, как к пересыпанию зерна из мешка в мешок. Чтобы переводчик не утаил, не украл зерна при пересыпке, текст по методу лабазного контроля оплачивается с русского, а не с подлинника, и вот годами по этой с виду ничтожной причине книги пухнут, болеют водянкой. Переводчики нагоняют “листаж”…» «…За безобразное, возмутительное до того, что отказываешься верить, состояние

мастерских, в которых изготовляется для нашего читателя мировая литература, за порчу приводных ремней, которые соединяют мозг массового советского читателя с творческой продукцией Запада и Востока, Европы и Америки, всего человечества в настоящем и прошлом, – за это неслыханное вредительство до сих пор никто не отвечает…» (Обнаружив это сходство, автор книги, естественно, обрадовался. Но через некоторое время выяснилось, что он открыл Америку: о возможной связи между «Прогулкой по Москве» Батюшкова и статьей Мандельштама уже написал О. Ронен почти тридцать лет тому назад.)

Тверской бульвар зимой

Русскую поэзию в ее историческом движении Мандельштам видел отнюдь не как благостную картину, а как сложное переплетение влияний, притяжений и отталкиваний, союзов, дружб и ссор, соперничества и ревности. Таким образом, она могла быть уподоблена заросшему, запутанному лесу с его яркими и таинственными обитателями. Об этом – в третьей части «Стихов о русской поэзии».

III

С.А. Клычкову

Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь – дуб,
В листьях клена – перец красный,
В иглах – еж-черноголуб.

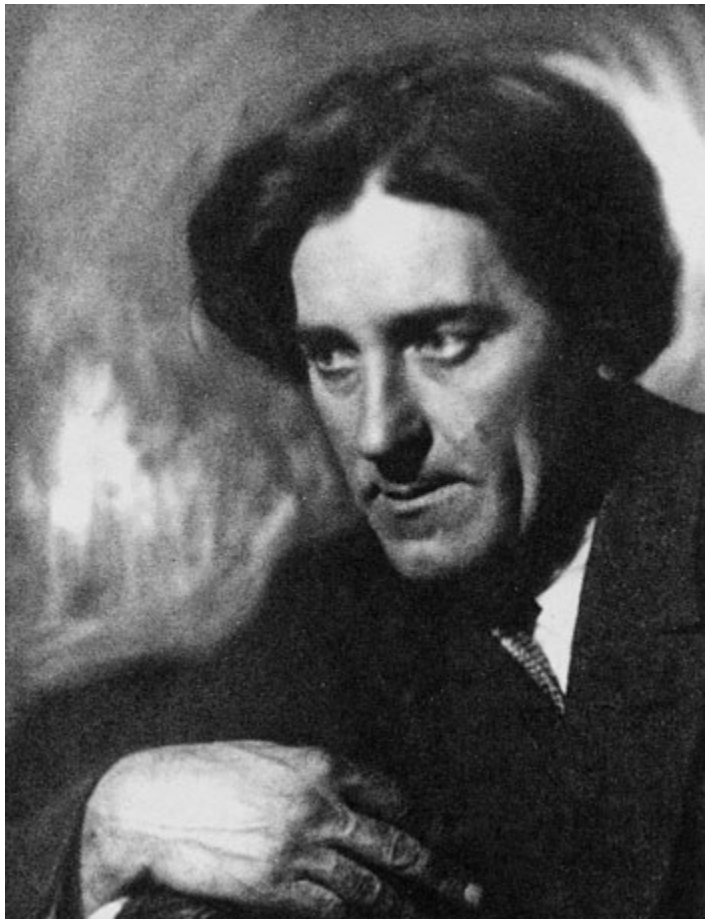
Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.
Там живет народец мелкий,
В желудевых шапках все,
И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.
Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма,
Ротозейство и величье
И скорлупчатая тьма.
Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.
И еще грибы-волнушки
В сбруе тонкого дождя
Вдруг поднимутся с опушки
Так – немного погодя…
Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал,
Храп коня и крап колоды,
Кто кого? Пошел развал…
И деревья – брат на брата —
Восстают. Понять спеши:
До чего аляповаты,
До чего как хороши!
2–7 июля 1932

Стихотворение кончается восстанием деревьев «брат на брата». Мандельштаму было присуще кровно-личное, страстное отношение к литературе. Такое отношение пришло к поэту в годы отрочества и сохранилось навсегда. «Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль? – пишет Мандельштам в “Шуме времени”. – Ты приправа к пресному хлебу пониманья, ты веселое сознанье неправоты, ты заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из десятилетия в десятилетие, в граненой солонке, с полотенцем! <…> Начиная от Радищева и Новикова, у В.В. [263] устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство, с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье. <…> В.В. учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры. Как хорошо, что

вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной (В.В.Г.) злости!» Мандельштам воспевает (там же, в «Шуме времени») «злобное и веселое шипенье хороших русских стихов»; играет шипящими и вышеприведенное «лесное» стихотворение. «Ротозейство и величье», палачи и жертвы, книги и «скорлупчатая тьма» – все это складывается в сюрреалистическую картину ужасного и «прекрасного» леса.

«Девятый вал» – азартная карточная игра.

Во флигель к Мандельштамам приходили знакомые. Из соседей-писателей близок с Мандельштамом был только Сергей Антонович Клычков, живший в другом корпусе Дома Герцена. С замечательным «крестьянским» поэтом, погибшим впоследствии, как и Мандельштам, в заключении, Осипа Эмильевича связывали взаимные уважение и симпатия. Третья часть «Стихов о русской поэзии» понравилась Клычкову. И в стихах, и в прозе Клычкова, уроженца глухого, окруженного пошехонскими лесами Талдома, фольклорные элементы играют большую роль – неудивительно, что ему пришелся по душе «лес» русской поэзии. Мандельштам посвятил стихотворение поэту-соседу. «Третья часть стихов понравилась Клычкову, – вспоминала Н. Мандельштам. – Он сказал про уродов, которые режутся в девятый вал: “Это мы с вами…”. О.М. согласился» [264] . Вообще же многих писателей, мелькавших во дворе, Мандельштам не жаловал. «Вот идет подлец NN!» – нередко говорил он вслед кому-нибудь из проходивших, стоя у открытого окна своей комнаты (по свидетельству Э. Герштейн [265]).



С.А. Клычков

Была здесь, по крайней мере однажды, в июле 1932 года, Ахматова. Лев Горнунг, пришедший к Мандельштаму 9 июля и заставший у него Анну Андреевну, пожалел – у него «не было с собой фотоаппарата, так было бы хорошо их снять вдвоем, еще совсем молодых» [266] . Мандельштам и Ахматова стали друзьями еще в 1910-е годы, и дружба объединила их навсегда. Мандельштам высоко ценил поэзию Ахматовой (что не помешало ему в начале 1920-х годов дважды достаточно резко критиковать ее).

Тем не менее в 1924 году Мандельштам назвал ее имя среди поэтов «не на вчера, не на сегодня, а навсегда» (статья «Выпад»). Однажды он написал Ахматовой: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Никола<ем> Степановичем и с вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется» (письмо от 25 августа 1928 года). Николай Степанович – Н.С. Гумилев.

Заходил Борис Кузин, любитель поэзии и музыки, ценитель

Баха и Гете. Дружеские отношения, завязавшиеся в Ереване в 1930-м, укрепились в Москве.

Э.Г. Герштейн

Благодаря дружбе с биологом-ламаркистом Кузиным у Мандельштама возник интерес к биологии. Поэт читает Дарвина, Ламарка, Линнея, Палласа, появляются биологические пассажи в «Путешествии в Армению», в апреле 1932 года в газете «За коммунистическое просвещение» печатается статья Мандельштама «К проблеме научного стиля Дарвина (Из записной книжки писателя)». А на страницах «Нового мира» (№ 6 за 1932 год) публикуется стихотворение «Ламарк».

Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх…
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.
Если все живое – лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.
К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.
И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех…
7–9 мая 1932

Герой стихотворения проходит путь по эволюционной лестнице Ламарка сверху вниз – от наиболее развитых биологических форм к низшим. Подобно Вергилию, сопровождающему Данте в его спуске по кругам ада, Ламарк сопутствует герою, торжественно-сурово провозглашая очередную потерю из набора способностей восприятия. Ключевыми для понимания смысла стихотворения являются первые два четверостишия, в остальных с великолепной изобразительной силой запечатлен собственно спуск по ступеням деградации. В мандельштамовском живописном полотне этого стихотворения все движется, преображается, переходит одно в другое, метаморфозы происходят на наших глазах: герой «сокращается», обрастает роговой мантией, наливные рюмочки глаз насекомых смотрят на проходящих через их «разряды», природа вкладывает продольный мозг «в темные ножны»… Читатель не только видит, но и слышит представленное движение: «пРоШуРШав сРедь яЩеРиЦ и Змей» – мир пресмыкающихся лучше не опишешь. (Напоминает пушкинское, из «Песни о вещем Олеге» – также выделим соответствующие звуки: «Из мертвой главы гробовая Змия / Шипя меЖду тем выполЗала»; медленное движение змеи и ее шипенье ощутимы почти физически.) Блестящий анализ собственно поэтической природы стихотворения содержится в работе А.К. Жолковского «Еще раз о мандельштамовском

“Ламарке”. Так как же он сделан?» [267] .

Но вернемся к первым двум четверостишиям. Жан-Батист Ламарк – фехтовальщик за честь природы (напоминает мушкетеров Дюма!), потому что выделяет в своих сочинениях творческую (подчеркнем это слово) способность высших животных к эволюции. Среда воздействует и «приглашает» к развитию, и в ответ на это воздействие возникает внутренняя тяга к изменению, творческий импульс. «Внешн. среда действует непосредственно на существа, лишенные дифференцир. нервной системы, вызывая у них приспособит. изменения. Животные, обладающие нервной системой, испытывают косв. влияние среды. Главным в их эволюц. развитии… остается не приспособление к внеш. среде, а внутр. потребность к саморазвитию», – излагает идею Ламарка Т.В. Игошева (сокращения воспроизводятся по тексту Т. Игошевой) [268] . Ламарк «со шпагой в руке» отстаивает не пассивное приспособление к среде, а ответное реагирование на вызов среды. Взгляды Ламарка на эволюцию сочетаются с представлениями о процессе развития, которые изложены в книге Анри Бергсона «Творческая эволюция» (1907). Мандельштам в молодости испытал сильное влияние Бергсона. Георгий Иванов вспоминал: «Бергсона он помнил наизусть…» [269] Одной из главных идей философии Бергсона является понятие о «жизненном порыве», об изначально существующем в мире стремлении к изменению, порождению нового; в жизни всегда есть место непредсказуемому, недетерминированному – в этом и состоит сущность жизни. В начале 1930-х годов интерес Мандельштама к идеям Бергсона проявляется снова – очевидно, дружба с Борисом Кузиным сыграла тут важную роль. Героем стихотворения 1932 года становится Ламарк, «за честь природы фехтовальщик», – проповедник идеи о значимости внутреннего побуждения в процессе эволюционного развития живых организмов.

Сопоставляя это стихотворение с другими текстами Мандельштама, в первую очередь с его «Путешествием в Армению», многие исследователи обоснованно отмечали антидарвинистский аспект «Ламарка» – см., в частности, работы И.В. Корецкой и Т.В. Игошевой [270] . В противовес представлению о безлично сортирующей более и менее приспособленных особей механике естественного отбора Мандельштам славит «пламенного Ламарка» с его пафосом творческого реагирования на среду как основы развития. Однако, думается, процитированное стихотворение позволяет говорить о том, что «Ламарк» отвергает не только дарвиновскую эволюцию, но и имеет более широкое поле атаки – нацелен на такие

концепции прогресса, в которых абсолютизируется сам процесс развития, затушевывается уникальность индивидуального, приносимого в жертву всеобщему, акцент делается на могуществе среды. Представляется, что объектом мандельштамовской полемики в данном случае неизбежно становился и основанный на атеистически препарированном Гегеле марксизм с его приматом классового над личностным (независимо от того, сознавал это Мандельштам или просто не думал об этом в момент написания стихотворения). Споры между приверженцами Ламарка и дарвинистами затрагивали марксистские представления о мире: «В СССР, – замечает Б.М. Гаспаров, – полемика между неоламаркистами и сторонниками дарвиновской теории эволюции приобрела идеологическую остроту в связи с опубликованием в 1925 году (на русском языке) неоконченной книги Энгельса “Диалектика природы” – сочинения, проникнутого идеями позитивистской науки своего времени и в частности идеями дарвиновской теории эволюции. Это событие способствовало последующей канонизации дарвинизма в рамках марксистской методологии, с неизбежными последствиями для оппонентов» [271] .

Итак, интерес к Ламарку сопровождался у Мандельштама новым обращением к Бергсону. Но спиритуализм Бергсона, его представление о том, что лежащий в основе эволюции жизненный порыв имеет нематериальную природу, никак не совместим с марксистским материализмом. Кроме того, если «все живое лишь помарка», удобрение для последующих поколений, которые в свою очередь обречены на бессмысленную гибель в ходе так называемого прогресса, не имеющего никакой сверхзадачи (все эволюционное движение, вся история жизни – лишь «короткий выморочный день»), – если это так, поэт отвергает такое «развитие». Т. Игошева пишет: «Образ жизни “помарки”, возникающий в начале стих., является худож. реализацией мысли о биологич. (в конечном счете – историческом) развитии как тупиковом, пошедшем в какой-то момент по ошибочному пути» (сокращения – в цитируемом тексте) [272] . Таким образом, «короткий выморочный день» понимается как некий пункт во времени, в прошедшем, когда эволюция пошла по «неверному» пути, и «все живое»-«помарка» – следствие этого критического момента. Жизнь-«помарка» – «возмездие» за этот момент эволюции. Точка зрения автора данной книги несколько иная: мы понимаем предлог «за» в выражении «За короткий выморочный день» скорее как «в течение» (по типу выражения «за весь день», «за прошедшую неделю» и т. п.). «Выморочный день» – жизнь, не приносящая плодов, лишенная идеи спасения и преображения,

беспросветный, никуда не ведущий туннель. Мандельштаму такой взгляд был совершенно чужд. «Движение бесконечной цепи явлений, без начала и конца, есть именно дурная бесконечность…» («О природе слова»). В его восприятии жизни доминировало представление о жизни как о Божьем даре, хотя высказывался поэт на эту тему, как и обо всем наиболее для него дорогом и важном, скупо. Однако в одном из стихотворений интересующего нас периода говорится с редкой для поэта прямотой:

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь – за твою рабу…

«Помоги, Господь, эту ночь прожить…», 1931

Представляется, что во втором четверостишии из «Ламарка» Мандельштам мог процитировать известное письмо В. Белинского В. Боткину (от 1 марта 1841 года), в котором автор отказывается признать разумным и гармоничным гегелевский мир и закрыть глаза на неизбежные жертвы: «Благодарю покорно, Егор Федорыч [273] , – кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития – я и там бы попросил вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II-го и пр., и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии» [274] . Как видим, мандельштамовское четверостишие и рассуждение из письма Белинского подобны в значимых аспектах – во фразе, начинающейся с «если…», важную роль играет слово «ступень»: Белинский заявляет об отказе от места на верхней, Мандельштам – о готовности занять последнюю. Возможную связь между «Ламарком» и письмом Белинского давно отметил литературовед Б.М. Сарнов. В «Четвертой прозе» Мандельштам недвусмысленно заявил, что он – не с теми, кто «бьет по лежачим, требует казни для пленников», а с теми (хотя они и не ангелы), кого надо, по мнению ретивых вершителей исторической необходимости, не особенно задумываясь, ликвидировать во имя прогресса:

«Приказчик на Ордынке работницу обвесил – убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак – убей ее!
Директор сдуру подмахнул чепуху – убей его!
Мужик припрятал в амбаре рожь – убей его!»

Как нам кажется, и в «Четвертой прозе», и в «Ламарке» поднимается вопрос о смысле и цене прогресса. Это отмечает в своей указанной работе и И.В. Корецкая. В «Четвертой прозе» Мандельштам отрекается от звания писателя («Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными»); в «Ламарке» же он отказывается от пребывания на верхней ступени лестницы развития, если оно представляет собой лишь бессмысленное вытеснение одних форм жизни другими. Попутно заметим, что в антисталинских стихах «Мы живем, под собою не чуя страны…», которые будут созданы годом позже, в 1933-м, умолкают («Наши речи за десять шагов не слышны») отнюдь не все. В окружении «кремлевского горца» «кто свистит, кто мяучит, кто хнычет». Человеческий язык заменяется звериным. Уж лучше замолчать совсем, чем «с волками жить – по-волчьи выть». И эта мысль – о прогрессирующем вырождении – также, с нашей точки зрения, содержится в «Ламарке». Здесь мы совершенно согласны с теми, кто писал об этом.

О том, что Мандельштам ведет речь не только о бессмысленном существовании, но и нарастающей «порче», сигнализируют слова «помарка» и «выморочный». Хотя, строго говоря, слово «выморочный» имеет, в частности, значение «не продолжившийся в жизни», «умерший без потомства» («выморочный род» = вымерший или вымирающий род), но вовсе не обязательно «деградировавший», – после Салтыкова-Щедрина оно не может не ассоциироваться с «Господами Головлевыми» (глава, посвященная распаду личности Порфирия Головлева – а он в романе характеризуется как «последний представитель выморочного рода» – носит название «Выморочный»); в беспросветной атмосфере романа господствует не только смерть, но и вырождение, и эта ассоциация сразу же вносит отчетливый мотив деградации в мандельштамовское стихотворение. «Наступает глухота паучья», жизнь немеет – это в начале 1930-х годов чувствовалось все яснее.

Или все-таки «выморочный день» в стихах Мандельштама надо понимать так, что в какой-то момент эволюции не получили продолжения потенции, благодаря которым развитие пошло бы по иному, лучшему пути? Эти потенции оказались нереализованными, «без наследства», «без потомства» – поэтому и можно сказать об этом роковом «дне» «выморочный»? В таком случае верна точка зрения Т. Игошевой, что не отменяет

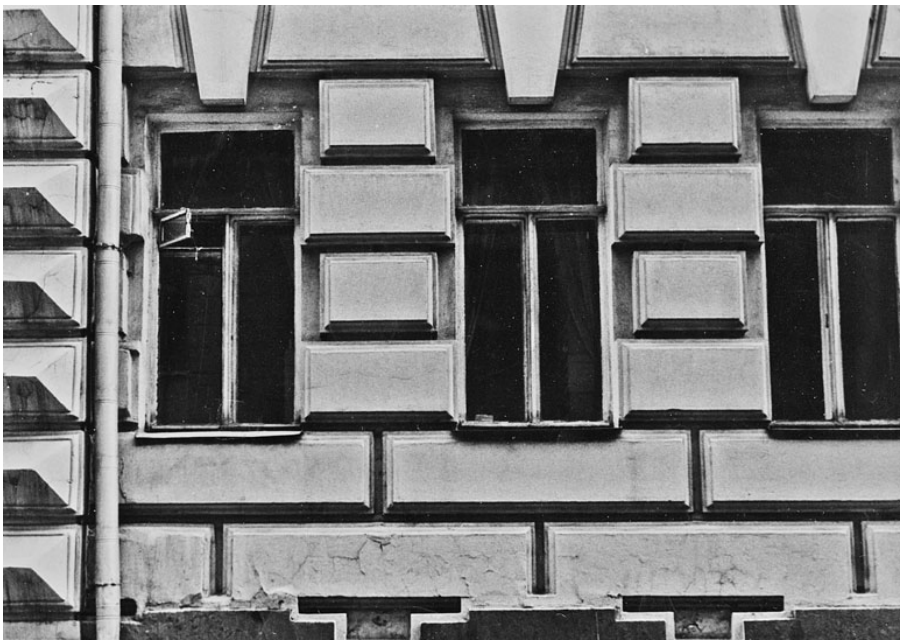
некоторых наших вышеприведенных соображений. И в таком случае поэт говорит, очевидно, следующее: может быть, «опыт» природы «не удался» и ей надо будет вернуться назад, «вниз» по эволюционной лестнице, к той роковой развилке, и начать новое эволюционное восхождение?

В «Шуме времени», вспоминая годы учения в Тенишевском училище, Мандельштам пишет: «Книжка “Весов” под партой… ни слова, ни звука, как по уговору, о Белинском, Добролюбове, Писареве…» Действительно, имя В.Г. Белинского встречается у Мандельштама лишь в этой фразе да еще в школьном как раз сочинении «Преступление и наказание в “Борисе Годунове”». Но в таком случае можно ли предполагать знакомство Мандельштама с письмом Белинского Боткину?

Если имя Белинского все же встречается в сочинениях Осипа Мандельштама, то Лев Шестов, насколько известно, не упоминается вообще. Однако не исключено, что процитированное высказывание Белинского могло стать известным Мандельштаму «при посредстве» Л. Шестова. В 1900 году выходит вторая книга Шестова – «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше (философия и проповедь)». Книга привлекла к себе внимание; следующей работе мыслителя – «Достоевский и Нитше (философия трагедии)» (1902) – сопутствовала широкая известность и горячее обсуждение. Мандельштам разделял общее для начала XX века увлечение Ницше: в письме Вяч. Иванову (от 13/26 августа 1909 года) он говорит о «прелести» ницшевской книги «Так говорил Заратустра»; в стихах Мандельштама обнаруживаются реминисценции из Ницше. Вышеупомянутые книги Льва Шестова могли быть знакомы и, очевидно, интересны поэту. Между тем в книге 1900 года Шестов дважды цитирует приведенные выше слова В. Белинского из письма к Боткину – в предисловии и в седьмой главе. При этом как в первом, так и во втором случае Шестов начинает цитирование именно с «если…», опуская предыдущие слова в начальном предложении, открывающем полемическое нападение на Гегеля («Благодарю покорно, Егор Федорыч…» и т. д.). Это дает, как нам кажется, некоторое основание для предположения, что с данным высказыванием Белинского Мандельштама могла познакомить (или по крайней мере обратить внимание на него) работа Льва Шестова.

Жил друг-биолог Борис Кузин за Москвой-рекой, на Большой Якиманке (см. «Список адресов»). Мандельштамы не раз бывали у него там. Но можно было увидеться с Кузиным и в служебной комнатке Зоологического музея, где он подрабатывал смотрителем, – то есть совсем недалеко от Дома Герцена. В Зоологическом музее, у Кузина, во время дружеской вечеринки,

Мандельштам написал стихотворение «Я скажу тебе с последней / Прямотой…» – об этих стихах уже говорилось.



Окна библиотеки Зоологического музея

В замечательных воспоминаниях Б. Кузина зафиксирован образ Мандельштама этой поры – человека, неистребимо укорененного в жизни, стойкого и веселого: «Чаще всего… у Мандельштамов не было денег. Не на что было есть, курить. Негде бывало жить. Но было постоянно и еще нечто, несравненно более тяжелое для поэта, – обиды и неудачи в отчаянной борьбе за свое выявление, за аудиторию. Обо всем этом не мог не идти разговор при наших почти ежедневных тогда встречах. Но я не могу припомнить ни одного самого мрачного момента, в который нельзя было ожидать от О.Э. остроты, шутки, сопровождающейся взрывом смеха. <…> Шутить и хохотать можно было всегда. Был у нас даже особый термин “ржакт” (от глагола “ржать”) – для обозначения веселого и самого разнообразного по тематике зубоскальства…» [275]

Эмма Герштейн пишет на эту тему: «Смеялся Мандельштам не как ребенок, а как младенец. Он раскрывал и закрывал свой беззубый рот, его прекрасные загнутые ресницы смежались, и из них ручьем текли слезы. Он вытирал их и мотал головой» [276] .
Любовь к «зубоскальству» выражалась у Мандельштама, в частности, в писании многочисленных шуточных стихов, которым он сам не придавал большого значения. Так, он сочинял бесконечные эпиграммы на своего знакомого А.О. Моргулиса,

который некоторое время работал в газете «За коммунистическое просвещение» (туда он устроил на службу и Надежду Яковлевну). Эти стихи Осип Эмильевич называл «моргулеты», почти в каждом из них были слова «старик Моргулис», хотя знакомый поэта вовсе не был стариком.

У старика Моргулиса глаза
Преследуют мое воображенье,
И с ужасом я в них читаю: «За
Коммунистическое просвещенье!»
Или:
Старик Моргулис под сурдинку
Уговорил мою жену
Вступить на торную тропинку
В газету гнусную одну.
Такую причинить обиду
За небольшие барыши!
Так отслужу ж я панихиду
За ЗКП его души!

Мандельштам бывал в редакции этой газеты и опубликовал в ней, как было упомянуто выше, статью «К проблеме научного стиля Дарвина».

Заходил к Мандельштамам в правый флигель Дома Герцена художник Лев Александрович Бруни с женой Ниной Константиновной – старый знакомый поэта (о доме Бруни будет рассказано ниже). Нина Константиновна Бруни в беседе с автором этих строк вспоминала, что комната была в первом этаже, «голая»; не хватало стульев: когда собиралось более пяти человек, притаскивали ящики. Ей запомнилось в комнате – она называла ее «дворницкой» – нечто вроде продавленного дивана, на котором часто лежал Мандельштам. Иногда играли в буриме, и Мандельштам сердился, что Лев Александрович, который был очень силен в этой забаве, играл лучше него. Надежда Яковлевна, по словам Н.К. Бруни, «ужасно негодовала, что такой поэт живет в таких условиях, и говорила Льву Александровичу: “Левушка, ну посоветуйте, что мне делать – начать здесь стекла бить, что ли?” А он: “Во всяком случае, с этого начинать не надо”» [277] . Охотно при случае веселились, но вообще поводов для веселья жизнь давала все меньше.

Рядом с Мандельштамами в этом же флигеле проживал писатель Амир Саргиджан (псевдоним Сергея Бородина). (Сергей Петрович Бородин родился в Москве в 1902 году. Русский по отцу, по матери он происходил из старинного знатного татарского рода: его мать, Александра Моисеевна, – из рода Ингалычевых. В 1923-м он впервые побывал в Средней Азии, в

Бухаре. С этой поездки началось его увлечение Востоком. До 1941 года печатался под псевдонимом Амир Саргиджан. Автор книг «Последняя Бухара», «Египтянин», романа «Дмитрий Донской» и трилогии «Звезды над Самаркандом». С начала 1950-х годов жил в Ташкенте, где и умер в 1974 году.) Однажды у Бородина с Мандельштамом случился на бытовой почве конфликт, кончившийся рукоприкладством. Имеются разные воспоминания об этом инциденте. Так или иначе, больше всего возмутило Мандельштама, что Бородин-Саргиджан во время потасовки задел (ударил или толкнул) и Надежду Яковлевну. «В полуподвале Дома Герцена», вспоминал С.И. Липкин, 13 сентября 1932 года состоялся товарищеский суд под председательством Алексея Толстого. «Сосед Мандельштама, – пишет Липкин, – обвинил Мандельштама в том, что он нанес пощечину его, Саргиджана, жене, но скрыл, что сначала он сам ударил Мандельштама и Надежду Яковлевну. В рукоприкладстве Мандельштама я сомневаюсь. Он мог больно оскорбить женщину, но не ударить» [278] . Суд вынес двусмысленное решение: и тот виноват, и этот. Мандельштам не мог понять, как можно оправдать человека, тем более литератора, ударившего женщину. С. Липкин свидетельствует: «Подавляющее большинство присутствующих на товарищеском суде явно было на стороне Саргиджана. <…> А.Н. Толстой обращался с Мандельштамом, когда задавал ему вопросы и выслушивал его, с презрительностью обрюзгшей, брезгливой купчихи. Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо того чтобы разумно объяснить, как обстояло дело в действительности, он нервно и звонко, почти певуче вскрикивая, напирал на то, что Саргиджан и его жена – ничтожные, дурные люди и плохие писатели, вовсе не писатели. Присутствующие, будучи литераторами того же типа, что и Саргиджан, симпатизировали Саргиджану. Унижая его, Мандельштам задевал и их. Не помню формулировку решения суда, но хорошо помню, что решение было не в пользу Мандельштама» [279] .

Сопоставим мемуары Липкина с воспоминаниями пасынка А.Н. Толстого, Ф.Ф. Волькенштейна: «…В течение 10–15 минут Толстого инструктировали, как надо вести процесс: проявить снисхождение к молодому национальному поэту, только начинающему печататься, к тому же члену партии… [280] <…> Мандельштам произнес темпераментную речь. Обвиняемый [281] молчал как истукан. Все выглядело так, как будто судили именно Мандельштама, а не молодого начинающего национального поэта. После выступления всех, кому это было положено, суд удалился на совещание. Толстой довольно быстро вернулся и объявил решение суда: суд вменил в обязанность молодому поэту

вернуть Мандельштаму взятые у него сорок рублей». (Поводом к конфликту было то, что Саргиджан занял у Мандельштама деньги и, видимо, не отдал в срок – между тем Мандельштамы, как почти всегда, в деньгах нуждались. Эмма Герштейн называет в своих воспоминаниях другую сумму – 75 рублей.) Ф. Волькенштейн продолжает: «Поэт [282] был не удовлетворен таким решением и требовал иной формулировки: вернуть сорок рублей, когда это будет возможно. Суд, кажется, принял эту поправку.

Народ в зале не расходился. Все были возмущены. Ожидали, что суд призовет к порядку распоясавшегося молодого поэта. <… >

Щупленький Мандельштам вскочил на стол и, потрясая маленьким кулачком, кричал, что это не “товарищеский суд”,что он этого так не оставит, что Толстой ему за это еще ответит» [283] .

По словам Э. Герштейн, ненависть Мандельштама «сконцентрировалась на личности Алексея Толстого». Желание отомстить Толстому, лениво-барственно «не заметившему», что была задета честь поэта и честь его жены, становилось все более навязчивым, и дело кончилось тем, что в начале мая 1934 года – примерно через восемь месяцев после суда – Мандельштам в Ленинграде дал пощечину Толстому с объяснением: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены» (так передает, со слов В. Стенича, слова поэта Е.М. Тагер) [284] .

На суде А. Толстой, вероятно, учитывал «общественное мнение». А по мнению многих, от Мандельштама уже нечего было ждать, он был «старик», причем «вздорный», получал пенсию за прошлые заслуги и уже не мог ничего дать советской литературе; Саргиджан же был молодым и «обещающим».

Это расхожее мнение о «кончившемся» Мандельштаме не имело ничего общего с действительностью, что и было продемонстрировано на авторском вечере поэта, который состоялся в том же 1932 году, примерно через два месяца после товарищеского суда, и там же: 10 ноября в Доме Герцена, в редакции «Литературной газеты». Мандельштам прочел свои стихи последнего периода и произвел сильное впечатление на присутствовавших. Литературовед Н.И. Харджиев вспоминал о вечере: «Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в течение двух с половиной часов. Он прочел все свои стихи (последних двух лет) – в хронологическом порядке! Это были такие страшные заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пастернак, пролепетавший:

– Я завидую вашей свободе. Для меня вы новый Хлебников. И

такой же чужой… Мне нужна несвобода. Некоторое мужество проявил только В.Б. <Шкловский>:

– Появился новый поэт О.Э. Мандельштам!

Впрочем, об этих стихах говорить “в лоб” нельзя. <Мандельштам> отвечал с надменностью пленного царя… или пленного поэта» [285] . Это был «новый» Мандельштам, сделавший следующий шаг в своем поэтическом развитии, и это чувствовали слушатели. Сильное впечатление произвело выступление поэта на Александра Гладкова: «Мандельштам одновременно величествен и забавен, горделив и уязвим, невозмутим и нервен, спокоен и беззащитен – истинный поэт. Когда он стал читать в странной, тоже чисто “поэтической” манере, противоположной “актерской”, хотя, пожалуй, более условной, у меня почему-то сжималось сердце. Я знаю чуть ли не назубок все напечатанное, но новое не похоже на прежнее. Это не “акмеистический” и “неоклассический” Мандельштам – это новая свободная манера, открыто сердечная. Как в поразительных стихах о Ленинграде, или тоже по-новому “высокая”, как в лучшем из прочитанного – “Себя губя, себе противореча” [286] » [287] . Мандельштам утверждал себя и свое творчество в редакции газеты, которая сыграла недавно немалую роль в его травле в связи с переводом «Тиля Уленшпигеля». 10 ноября состоялся вечер, а 23 ноября в «Литературной газете» появляется стихотворение о Петербурге-Ленинграде: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (1930), один из шедевров Мандельштама.

Ситуация в стране была сложной и тревожащей. Коллективизация привела к массовому голоду в деревне, особенно на юге. В апреле 1933 года Мандельштамы уехали на лето в Крым, к Нине Грин, вдове писателя Александра Грина, с которой были в дружеских отношениях. Она тоже бывала у Мандельштамов в Москве. Жена артиста В.Н. Яхонтова Е.Е. Попова записала в дневнике: «Первый раз я столкнулась с книгами Грина у поэта Мандельштама, когда он жил в маленькой комнатке, во флигеле, примыкавшем к дому Герцена. <…> В комнате Мандельштама царил обычный беспорядок: среди груды посуды, стопок масла (паек из Литфонда) лежала груда книжек Грина. Их только что привезла жена Грина в Москву. Она хлопотала об издании полного собрания сочинений. Я видела ее мельком» [288] .

В Крыму Мандельштам мог в полной мере осознать последствия «великого перелома» в деревне. Крым был заполнен голодными крестьянами, бежавшими туда с Украины и юга России. Они бродили по бесчисленным лепесткам цветущих

растений, как по войлоку. Это был будничный ад. Видимо, это не просто совпадение, что именно в Крыму весной 1933 года поэт писал «Разговор о Данте». Крым подействовал на Мандельштама как удар, как шок, заставивший его увидеть происходившее в стране в ничем не прикрытой страшной подлинности. А ведь еще в 1930 году на слова писателя М.Д. Вольпина об ужасе происходящего («Сразу после коллективизации, голод, я очень много общался с широкими массами в то время… на вокзалах и не убегал от всего этого ужаса») и о писательском равнодушии Мандельштам ответил: «Ну, знаете, Вы не замечаете бронзового профиля Истории!» [289] Крымские впечатления резко изменили ракурс. Вместо бронзового профиля истории стали видны погибающие люди. Возвратился в Москву поэт в подавленном настроении. Агент ОГПУ доносил:

«На днях вернулся из Крыма О. Мандельштам. Настроение его резко окрасилось в антисоветские тона. Он взвинчен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к чужим взглядам. Резко отгородился от соседей, даже окна держит закрытыми со спущенными занавесками. Его очень угнетают картины голода, виденные в Крыму, а также собственные литературные неудачи: из его книги ГИХЛ собирается изъять даже старые стихи, о его последних работах молчат. Старые его огорчения (побои, травля в связи с “плагиатом”) не нашли сочувствия ни в литературных кругах, ни в высоких сферах. Мандельштам собирается вновь писать тов. Сталину [290] . Яснее всего его настроение видно из фразы: “Если бы я получил заграничную поездку, я пошел бы на все, на любой голод, но остался бы там”.

Отдельные его высказывания по литературным вопросам были таковы:

“Литературы у нас нет, имя литератора стало позорным, писатель стал чиновником, регистратором лжи. “Лит<ературная> газета” – это старая проститутка – права в одном: отрицает у нас литературу. В каждом номере вопль, что литература отстает, не перестроилась и проч. Писатели жаждут не успеха, а того, чтобы их Ворошилов вешал на стенку, как художников (теперь вообще понятие лит<ературного> успеха – нонсенс, ибо нет общества)”. Коснувшись вопроса о том, что на художественной выставке “за 15 лет” висят “дрянные” пейзажи Бухарина, Мандельштам добавляет: “Ну что же, читали мы стихи Луначарского, скоро, наверное, услышим рапсодии Крупской”» [291] .

Упомянутая в донесении выставка «за 15 лет» – выставка «Художники РСФСР за 15 лет». Выставка сначала была показана в 1932 году в Ленинграде, в Русском музее; затем, в 1933-м, она

демонстрировалась в Москве, в залах Исторического музея (открытие в Москве состоялось 27 июня 1933 года).

Вернувшись в Москву, Мандельштам не мог не написать об увиденном в Крыму:

Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Комочки на земле. На рубищах заплаты.
Все тот же кисленький, кусающийся дым.
Все так же хороша рассеянная даль.
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украйны и Кубани…
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

По свидетельству Н.Я. Мандельштам, «даль» первоначально характеризовалась как «расстрелянная». Источником публикаций этого стихотворения является его запись, сделанная следователем на допросе, которому поэт был подвергнут после ареста в мае 1934 года. Мандельштам подписал текст, т. е. авторизовал эту запись, однако «комочки» в третьем стихе можно прочесть также как «колючки»; кроме того, следовательская рукопись позволяет прочитать стихи 6–8 и следующим образом: «Деревья, почками набухшие на малость,/ Стоят как пришлые и вызывают жалость, / Пасхальной глупостью украшенный миндаль». В этом случае «жалость» относится, очевидно, к деревьям, но тогда в конце седьмого стиха уместно было бы поставить точку или точку с запятой.

Кизячный дым, цветущий в апрельское пасхальное время миндаль (глупый миндаль, украсившийся цветами на фоне голодного горя, – этот упрек обращен автором, конечно, и к себе самому: вспомним, что «Мандельштам» означает «миндальный ствол»), белые и розовые лепестки, усеявшие землю и сбивающиеся в комочки, отчего земля становится войлочной, и на этом пасторальном фоне – «тени страшные Украйны и Кубани», бежавшие от голода крестьяне. Кто стережет калитку? Понять можно так, что стерегут голодающие беженцы, ожидая, не выйдет ли кто и не подаст ли чего-нибудь. Но, согласно воспоминаниям Н.Я. Мандельштам, стерегли, охраняли вход во двор местные жители, жившие тоже голодно и опасавшиеся, не украдут ли их запасы муки. Подпись под стихотворением (рукой Мандельштама): «Лето 1932 года [292] . Москва. После Крыма. О. Мандельштам» [293] .

Прямую связь со стихами о голодном Крыме имеет и знаменитое стихотворение о Сталине («Мы живем, под собою не чуя страны…»), которое в конечном счете стоило поэту жизни. Написание этих стихов, всего нескольких строк, можно, на наш взгляд, причислить к подвигам во имя свободы и правды, которыми имеет право гордиться человечество. Они спасли честь русской поэзии. Высокие слова здесь уместны. «Кремлевский горец» не только превратил сотни тысяч крестьян в «тени страшные», но и, казалось, отнял сам дар речи у всей огромной страны. Однако это стихотворение Мандельштама самим фактом своего написания опровергло власть тотальной немоты. Об этом произведении речь пойдет ниже, в заключительной главе книги: великолепное по мощи и резкости стихотворение было создано в ноябре 1933 года, когда Мандельштамы жили уже не на Тверском бульваре, а в доме на улице Фурманова, в последней московской квартире поэта.

На исходе 1933 года Мандельштамы поселились в квартире 26 дома 3–5 по бывшему Нащокинскому переулку, ставшему в 1926 году улицей Фурманова. Согласно письму поэта отцу (написано примерно в середине ноября 1933 года), Мандельштамы должны были поселиться в новой квартире в начале зимы:

«Дорогой папочка!

В начале декабря мы переезжаем на свою квартиру в две комнаты. Приглашаем тебя надолго в гости, а если понравится, то и навсегда».

Приписка Н.Я. Мандельштам в конце письма:

«Милый деда! Жду с нетерпением нашей встречи. Квартира – я думаю, уже реальность, – и мы возобновим старую детскосельскую жизнь. Целую вас, милый деда. Ваша Надя».

Однако есть весомые основания думать – судя по воспоминаниям Н.Я. Мандельштам, например, и не только, – что переехали все же раньше, в октябре. Антисталинские стихи были созданы уже в новом жилище.

На автобусной остановке. 1930-е

Может быть, переезд не был одномоментным, а какое-то время Мандельштамы, во время строительных доделок нового здания, уже официально «вселившись», сохраняли за собой и комнату во флигеле на Тверском бульваре? Во всяком случае, Мандельштам читал крамольное стихотворение в «герценовском» флигеле – так запомнилось С.И. Липкину: «В последний раз я видел Мандельштама, посетив его вместе с Г.А. Шенгели. Он жил, после воронежской ссылки, полулегально. Квартира была хорошая, в писательской надстройке в Нащекинском [294] переулке (теперь улица Фурманова). Мандельштам читал нам чудные воронежские стихи, и мне вспомнилось, как я с тем же Шенгели, за несколько лет до этого, пришел к Мандельштаму в комнату в Доме Герцена, и Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он и боится, и не может не прочесть эти строки <…>. Шенгели побледнел, сказал:

– Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал…» [295]

Написав эти стихи, Мандельштам не мог их не читать. И – читал разным людям. Кончиться это могло только так, как кончилось, – арестом. Арестован он был через несколько месяцев – в мае 1934 года, в квартире на улице Фурманова. Мандельштам не хотел погибать, но ясно понимал, что ему грозит, и был внутренне готов к этому. Уже к концу 1920-х годов он понял, что надежда как-то затеряться и остаться незамеченным для него нереальна. А в стихотворении 1931 года уже было провидчески сказано:

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину Москвы.

В предыдущей главе книги приводился отзыв артиста Владимира Яхонтова о московских стихах Мандельштама начала 1930-х годов. Яхонтов сумел почувствовать их тональность, сочетание горечи и мудрого приятия жизни, выраженную в них потребность «вздохнуть глубоко и наполнить легкие» городским воздухом. С В. Яхонтовым и его женой и товарищем по театральному делу Е. Поповой Мандельштамы были в дружеских отношениях и не раз бывали у них. Исторический и городской фон (к последующим главам) 1934 год

8 января . Умер Андрей Белый.

26 января – 10 февраля. XVII съезд ВКП(б), получивший название «Съезд победителей».

15 февраля . Болгарским коммунистам Г. Димитрову, Б. Попову и В. Таневу, обвиненным в поджоге рейхстага и оправданным, предоставлено советское гражданство.

16 февраля . Умер поэт Эдуард Багрицкий.

Январь – февраль . На строительство московского метрополитена направлено 22 000 рабочих столичных фабрик и заводов.

29 марта . Начат снос участка Китайгородской стены от Ильинских ворот до площади Ногина (ныне – Славянская площадь).

16 апреля . Установлено звание Героя Советского Союза. 20 апреля звание присвоено летчикам, спасавшим участников экспедиции на ледоколе «Челюскин» (после гибели ледокола, раздавленного льдами, челюскинцы высадились на полярный лед, на котором провели около двух месяцев).

23 мая . Нильс Бор делает в Политехническом музее доклад о современной физике.

1 июня . Цена на нормированный хлеб выросла в два раза.

11 июня . Закончен снос Сухаревой башни.

19 июня . В Москве состоялась торжественная встреча челюскинцев и летчиков-спасателей.

В ночь с 13 на 14 июля был устроен просмотр кинофильма «Веселые ребята» (режиссер Г. Александров) для членов Политбюро. Сталину, Ворошилову, Кагановичу и Жданову фильм очень понравился, просмотр сопровождался взрывами смеха.

23 июля . Сталин беседует в Кремле с Гербертом Уэллсом.

17 августа – 1 сентября . В Москве проходит 1-й Всесоюзный съезд советских писателей. Председателем Союза советских писателей (ССП) избран М. Горький.

18 сентября . СССР принят в Лигу Наций.

15 октября . Пущен первый пробный поезд московского метро на участке «Сокольники» – «Комсомольская». (15 мая следующего, 1935, года метрополитен им. Л. Кагановича начал работу: пошли поезда по маршрутам «Сокольники» – «Парк культуры» и «Охотный ряд» – «Смоленская».)

7 ноября . На экраны выходит кинофильм «Чапаев» (режиссеры С. Васильев и Г. Васильев).

1 декабря . Убийство С. Кирова в Ленинграде. ЦИК СССР принимает постановление, упрощающее процедуру судебного разбирательства по делам о «террористических организациях и террористических актах» против работников советской власти. Начало нового этапа массовых репрессий.

7 декабря . Отмена карточек на печеный хлеб, крупы и макароны (с 1 января 1935 года).

25 декабря . Первая советская музыкальная комедия «Веселые ребята» выходит на экраны.

1937 год

8 января . Сталин в Кремле разговаривает с Л. Фейхтвангером.

23–30 января . Процесс по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (Г. Пятаков, К. Радек, Г. Сокольников и др.). 13 осужденных приговорены к расстрелу.

10 февраля . 100-летие со дня смерти Пушкина. Имя Пушкина присваивается Государственному музею изобразительных искусств. Город Детское Село под Ленинградом становится городом Пушкин.

11–16 февраля . Продолжается гражданская война в Испании. Республиканцы ведут ожесточенные бои с франкистами в долине реки Харама, неподалеку от Мадрида. Наступление франкистов остановлено.

23 февраля – 5 марта . Пленум ЦК ВКП(б). Н. Бухарин и А. Рыков исключены из партии и арестованы. Решения Пленума об усилении борьбы с врагами народа, вредителями и шпионами обосновали политику государственного террора.

28 марта . Арестован Г. Ягода, бывший руководитель НКВД (смещенный с этого поста еще 25 сентября 1936 года).

Весна – осень . Расширение Садового кольца. Трамвайные пути убираются, сады и палисадники ликвидируются.

1 июня . Снижение розничных цен на промтовары, т. е. непищевые товары бытового потребления (в среднем от 5 до 16 %).

В ночь с 11 на 12 июня расстреляны военачальники М. Тухачевский, И. Якир, И. Уборевич, А. Корк, Р. Эйдеман, Б. Фельдман, В. Примаков и В. Путна.

15 июня . Открыто пассажирское сообщение по каналу Москва – Волга.

18–20 июня . Г. Байдуков, А. Беляков и В. Чкалов совершили первый в мире беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс.

20 июня . В Испании франкисты занимают столицу Страны Басков – Бильбао.

7 июля . Нападение Японии на Китай.

17 июля . «За выдающиеся заслуги в деле руководства НКВД» Н. Ежов награжден орденом Ленина.

22 августа . Начало сноса Страстного монастыря (ныне на этом месте – Пушкинская площадь).

29 сентября . На Водовзводной башне Кремля зажглась первая из рубиновых звезд.

23 октября . Расстрелян поэт Николай Клюев.

21 ноября . Франкисты в Испании заняли Хихон – последний опорный пункт республиканцев на севере.

24 мая – 25 ноября . Всемирная выставка в Париже. Большой интерес у посетителей вызвал советский павильон и скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница».

12 декабря . Первые выборы в Верховный совет СССР по новой, «сталинской» Конституции (принята 5 декабря 1936 года).

Декабрь . Милиция в Москве приступила к выдаче новых паспортов с фотографиями.

1938 год

7 января . Закрытие Театра им. В. Мейерхольда.

8 февраля . Приговорен к расстрелу бывший нарком юстиции РСФСР В. Антонов-Овсеенко.

2–13 марта . Процесс по делу «Правотроцкистского антисоветского блока» (Н. Бухарин, А. Рыков, Г. Ягода, Н. Крестинский, Х. Раковский, А. Розенгольц и др.). 18 человек приговорены к расстрелу.

17 марта . Наркоминдел М. Литвинов осуждает присоединение («аншлюс») Австрии к нацистской Германии.

Март . Фабрика им. П. Бабаева начала выпускать конфеты «Дрейфующая льдина», фабрика «Рот Фронт» – шоколадные конфеты «Четверо отважных». Поступили в продажу конфеты «Привет папанинцам» и «Таймыр».

Март – апрель . В Испании республиканцы и франкисты ведут бои в Каталонии.

21 апреля . В Москве расстрелян писатель Борис Пильняк.

24 апреля . На экраны выходит фильм «Волга-Волга» (режиссер Г. Александров).

Весна – лето . Продолжается реконструкция улицы Горького.

17–18 июля . В ЦПКиО им. Горького проведен четвертый московский карнавал. В ночь проведения войти в парк можно было только в карнавальном костюме.

29 июля – 11 августа . Конфликт с Японией у озера Хасан.

9–19 сентября . В «Правде» опубликован «Краткий курс истории ВКП(б)», написанный под редакцией Сталина.

29–30 сентября . «Мюнхенский сговор». Конференция четырех держав в Мюнхене (Франции, Великобритании, Германии и Италии), которая развязала руки Гитлеру, требовавшему отторжения от Чехословакии Судетской области.

4 октября . В Литературном музее открыта выставка, посвященная 750-летию «Слова о полку Игореве».

25 ноября . Снят с должности нарком внутренних дел Н. Ежов (приговорен к расстрелу 4 февраля 1940 года).

1 декабря . На экраны вышел фильм «Александр Невский» (режиссер С. Эйзенштейн).

8 декабря . Наркомом внутренних дел назначен Л. Берия.

К концу 1938 года в Москве осталось около сорока извозчиков.

20 декабря . СНК СССР постановил, что с 1 января 1939 года «Трудовая книжка» становится обязательным документом для рабочих и служащих всех предприятий и учреждений.

У В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой. Варсонофьевский переулок, д. 8, кв. 2, и Новое шоссе, д. 1, кв. 1. 1928–1930-е годы

Знакомство Мандельштамов с Яхонтовыми (Владимиром Николаевичем и его женой Еликонидой Ефимовной Поповой-

Яхонтовой) состоялось в 1927 году, когда и те и другие жили в Лицее в Детском Селе (бывшее Царское Село) под Ленинградом. Отношения завязались, по воспоминаниям Е. Поповой, так:

«Осип Мандельштам с женой.

Они жили тут же в северной половине Лицея. Однажды, привлеченный тем, что кто-то с увлечением читает передовую газеты “Правда”, О. Мандельштам постучал к нам в дверь и попросил папирос.

В замочную скважину были переданы папиросы.

Так состоялось знакомство.

Позднее мы стали у них бывать.

Мандельштам собирал в это время книгу своих стихов. Мы рассказывали ему о нашей работе и показывали куски в рабочем плане [296] .

Это был взволнованный, страстный слушатель, весь закипал. Очень интересно говорил и, запрокинув голову, расхаживая, читал свои стихи.

Часто по-мальчишески хулиганил.

Они задолжали во все ларьки, в какие только было можно, – мясникам и бакалейщикам.

Когда ему хотелось шоколаду, он подбивал Яхонтова на эту диверсию.

Возникал какой-то сложный план очаровывания бакалейщика, чтобы раздобыть плитку шоколада.

Он привлекал ряд цитат из своих стихов и готовил речь.

Однажды в первомайские дни мы остались без куска хлеба.

Администратор забыл про нас.

Я из теплых перчаток соорудила окорока и украсила бумажками, как это бывает на праздничных столах.

Наш стол был составлен сплошь из бутафорских вещей.

Мы пригласили Мандельштамов и долго веселились. В награду за нашу выдумку они пригласили нас к себе на обед и накормили» [297] .

Надо отметить, что атмосфера шутки, розыгрыша и позднее будет характерна для общения Мандельштама с Яхонтовым. Н. Мандельштам пишет: «В дружбе с Яхонтовым были приливы и отливы. Она началась в конце двадцатых годов, но тогда ни шуток, ни стихов не было. В тридцатых – приступы дружбы сопровождались целым ворохом стихотворных шуток, которые часто принимали форму диалога!» [298] Н. Мандельштам приводит шуточные стихи Мандельштама «Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович…» (1931) в связи с Яхонтовым. Об этом же упоминает Э.Г. Герштейн: «Придя туда [299] , я застала однажды Яхонтова во фраке и в цилиндре. Эта экзотика ничуть не

резала глаз. Яхонтов вписывался в комнату как отдельный кадр в хорошо рассчитанном пространстве. Осип Эмильевич читал вместе с ним свои шуточные стихи. Они были посвящены драматическому положению, в которое попала хозяйка квартиры. Она прослышала, что в Сибири можно купить доху. Именно для поездки туда она сдала свою комнату Мандельштамам. В Москве оставались ее мать и сын.

Но Мандельштамы не могли расплатиться. Для успокоения совести не оставалось ничего другого, как поставить себя выше злополучных обывателей, скандируя сочиненные по этому случаю издевательские стишки.

Для вящего эффекта Яхонтов, проходя из уборной через общую кухню, стащил соседский чайник. Чайник стоял на стуле рядом с цилиндром.

Стихи начинал эпически Мандельштам: “Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович. Аж на Покровку она худого впустила жильца”. Здесь вступал Яхонтов: “Бабушка, шубе не быть! – вбежал запыхавшийся внучек. – Как на духу, Мандельштам плюнет на нашу доху”. Затем, следуя законам монтажа, по которым Яхонтов работал на эстраде, оба чтеца без паузы переходили ко второму стихотворению на ту же тему, читая его уже хором:

Скажи-ка, бабушка, хе-хе!
И я тотчас к тебе приеду:
Явиться ль в смокинге к обеду
Или в узорчатой дохе?

Звонкий и мощный голос Яхонтова звучал со спокойной силой, а Мандельштам нарочно выдрючивался нагловатым козлиным тенорком. Особенно лихо звучало у них “хе-хе!”» [300]
.

(Сочинение стихов о дохе не может не настраивать на юмористический и потенциально ненормативный лад. Известно, что в московском городском фольклоре фигурировали неприличные вирши о дохе: «Себя от холода страхуя, / Купил доху я на меху я…» и т. д.)

Композиция Яхонтова – Поповой «Петербург» (Попова участвовала в режиссуре) произвела на поэта немалое впечатление. Он очень высоко оценивает талант артиста и эту его работу в своей статье «Яхонтов», которая была впервые опубликована вскоре после их знакомства в «Экране “Рабочей газеты”» (№ 31 от 3 июля 1927 года).

Театр одного актера, созданный Яхонтовым, импонировал поэту в первую очередь тем, что главным в нем было зазвучавшее

на сцене слово писателя, что вся работа артиста была направлена на сценическое воплощение этого слова при минимуме вспомогательных театральных средств – реквизита и прочего.

«Яхонтов – молодой актер. Он учился у Мейерхольда, Станиславского и Вахтангова и нигде не привился. Это – “гадкий утенок”. Он сам по себе.

Работает Яхонтов почти как фокусник – театр одного актера, человек-театр.

В.Н. Яхонтов

Всех аксессуаров у него так немного, что их можно увезти на извозчике: вешалка, какие-то два зонтика, старый клетчатый плед, замысловатые портновские ножницы, цилиндр, одинаково пригодный для Онегина и для еврейского факельщика. Но есть еще один предмет, с которым Яхонтов ни за что не расстанется, – это пространство, необходимое актеру, пространство, которое он носит с собой словно увязанным в носовой платок портного Петровича [301] , или вынимает его, как фокусник яйцо, из цилиндра. <…> На примере Яхонтова видим редкое зрелище: актер, отказавшись от декламации и отчаявшись получить нужную ему пьесу, учится у всенародно признанных словесных

образцов, у великих мастеров организованной речи, чтобы дать массам графически точный и сухой рисунок, рисунок движения и узор слова.

Ничего лишнего. Только самое необходимое. По напряжению и чистоте работы Яхонтов напоминает циркача на трапеции. Это работа без “сетки”. Упасть и сорваться некуда. <…>

Редкому актерскому ансамблю дается [302] так наполнить и населить пустую сцену. <…>

Яхонтов – единственный из современных русских актеров движется в слове, как в пространстве. Он играет “читателя”.

Но Яхонтов – не чтец, не истолкователь текста. Он – живой читатель, равноправный с автором, спорящий с ним, несогласный, борющийся. <…>

Нужна была революция, чтобы раскрепостить слово в театре».

Сравним характеристику Мандельштама с впечатлением филолога-лингвиста В.В. Виноградова, видевшего яхонтовский «Петербург» в Государственном институте истории искусств (ГИИИ) в Ленинграде (отзыв содержится в письме Виноградова жене, Н.М. Виноградовой-Малышевой, от 16 марта 1927 года): «Был в Институте на просмотре чтения литмонтажа “Петербург” Яхонтовым. Попурри из Гоголя, Пушкина и Достоевского. Тонкое понимание слова, условный, не всегда оправданный символизм жеста (привитый Яхонтову учеником Вахтангова – Владимирским, который и является постановщиком), гипертрофия “игры”, особенно с вещами. Менее крепко, чем его же чтение “Пушкина”, но более экспериментально и изысканно (с примесью безвкусицы)» [303] .

Владимир Николаевич Яхонтов родился в 1899 году. С 1918-го учился в театральном училище при МХТ, затем в студии Е.Б. Вахтангова. В 1924–1926 годах был актером Театра им. В. Мейерхольда. В 1927 году он основал (с Е.Е. Поповой и С.В. Владимирским) театр одного актера «Современник» (существовал до 1935 года), где в первую очередь проявился его талант. Яхонтов – создатель (в том же творческом содружестве) и исполнитель моноспектаклей «Пушкин» (1926), «Петербург» (1927), «Евгений Онегин» (1930), «Война» (1930), «Горе от ума» (1932) и других.

Можно утверждать, что Мандельштам участвовал в работе Яхонтова с художественным словом и способствовал творческому росту артиста. Н. Мандельштам вспоминала:

«Актерское чтение стихов Мандельштам назвал “свиным рылом декламации”. Когда мы познакомились с Яхонтовым, который оказался нашим соседом через стенку в Лицее (Царское Село), Мандельштам сразу приступил к делу и стал искоренять

актерские интонации в его композициях, в прозе, а главным образом в стихах. <…>

Мандельштаму понравился Гоголь и Достоевский в голосе Яхонтова, а сам Яхонтов показался не актером, а “домочадцем литературы”, который так проникся Акакием Акакиевичем и Макаром Девушкиным, что стал их живым представителем в новой жизни. С тех пор пошла дружба и непрерывная работа над чтением стихов» [304] .

Тему «маленького человека» в яхонтовской композиции «Петербург» Мандельштам считал очень актуальной. О важности темы «Человек и государство» и в послереволюционную эпоху Мандельштам недвусмысленно заявил в уже цитировавшейся статье «Гуманизм и современность». В статье же «Яхонтов» Мандельштам утверждает, имея в виду героя пушкинского «Медного всадника»: «Чудак Евгений недаром воскрес в Яхонтове: он по-новому заблудился, очнулся и обезумел в наши дни». Это «кровная» тема для Мандельштама – себя он всегда причислял к «разночинцам», к слою акакиев акакиевичей, макаров девушкиных, раскольниковых, мещан, чиновников, студентов-бунтарей… Эта тема, тема взаимоотношений человека и власти, человека и истории, человека и «века» проходит через все творчество Мандельштама и, естественно, не раз возникает в его петербургских стихах: ведь и у него мы встречаем пушкинского «чудака Евгения» в стихотворении «Петербургские строфы» (1913); этот мотив отчетливо выражен в «старосадском» стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…» (1931), в котором – кто знает? – может быть, отозвалось и впечатление поэта от игры Яхонтова в его спектакле «Петербург».

С конца 1928 года Мандельштамы живут по большей части в Москве, и уже здесь продолжаются их взаимоотношения с Яхонтовыми. Бывали Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна и в комнате Яхонтовых в квартире 2 дома 8 по Варсонофьевскому переулку, неподалеку от Рождественки, – это доказывают материалы архивного фонда Яхонтова, хранящегося в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ); они будут приведены ниже, – и в доме 1 по Новому шоссе, и в других пристанищах артистов.

Варсонофьевский, недлинный переулок в центре Москвы, соединяет улицы Рождественку и Большую Лубянку (с 1926 года называлась улицей Дзержинского; старое название возвращено). Он отходит от Рождественки неподалеку от церкви Николы в Звонарях, построенной в конце XVIII века архитектором Карлом Бланком.

Переулок очень немолод. В бывшем тут Варсонофьевском монастыре некоторое время покоились останки Бориса Годунова, извлеченные по приказу Лжедмитрия I из Архангельского собора в Кремле, а также убитых жены и сына Годунова Марии и Федора, «Борисова щенка», как называет его мужик в пушкинской трагедии. Позднее, при Василии Шуйском, царь Борис и его близкие были похоронены в Троице-Сергиевом монастыре. Мандельштам еще мог видеть обширный собор Варсонофьевского монастыря, выстроенный в первой трети XVIII века (стоял на месте нынешнего дома 5). Варсонофьевский переулок вошел в жизнь художника Верещагина, композитора Скрябина, тут жила балерина Гельцер… Очевидно, хорошо знаком был переулок и авторам «Двенадцати стульев», ведь именно тут побывал Остап Бендер у «людоедки» Эллочки Щукиной. Известно, что Мандельштаму нравились «Двенадцать стульев». Э.Г. Герштейн вспоминала: «Я была больна, лежала в постели и читала “Двенадцать стульев”, только недавно вышедшие. Осип Эмильевич навестил, увидел в моих руках книгу Ильфа и Петрова, обрадовался. Ему не надо было заглядывать в нее, чтобы цитировать. Он знал наизусть, что оркестр, игравший в московской пивной, состоял из “Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда”. Первые четыре фамилии он произнес скороговоркой, а последнюю – с ударением на последнем слоге, как будто колоду опускал: “и ЗалкинДа”. И здесь голос его гулко и мелодично резонировал. У него были удивительные обертона на нижних регистрах. Он повторял и повторял эти фамилии (Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда), выделял на разные лады слог “да”, и хохотал, хохотал» [305] . Так что не исключено, что роман о великом комбинаторе мог прийти в Варсонофьевском переулке на память поэту.

Когда выросшая в провинции Лиля Попова (она родилась в Минеральных Водах в 1903 году и провела детство и юность на Северном Кавказе) впервые увидела Варсонофьевский переулок, он произвел на нее сильное впечатление: «Переулок – ущелье. Дома – серые, а балконы висят, как “Прости, господи!” – скалы над головой» [306] . Дом 8 – солидный доходный дом, выстроенный в 1892 году (архитектор Н.Г. Фалеев). Еще лет пятнадцать-двадцать тому назад на его фасаде можно было видеть старый номерной знак с надписью: «Мясницкой части 1-го учас. 8». К сожалению, знак этот с фасада исчез. Войдя в подъезд, пришедший обнаруживает у себя под ногами латинское приветствие – “SALVE”. Несомненно, Мандельштам мог обратить внимание на это неожиданное напоминание о Риме в московском переулке. Квартира 2 – на первом этаже. Несколько ступенек от

подъездного входа – и справа дверь, ведущая в нее. Если стоять в переулке лицом к дому, можно видеть ее окна – окна первого этажа справа от подъезда с характерным навесом на опорах. Комната в коммунальной квартире принадлежала матери артиста, Наталье Ильиничне. Она в 1914 году стала сестрой милосердия и из Варшавы, где в то время жила и работала, вместе с госпиталем перебралась в Москву. В конце августа 1918-го сюда же приехал ее сын и вскоре поступил в школу-студию МХТ. Комнатка была маленькой, «крошечной», по воспоминаниям Е. Поповой, и опрятной – Наталья Ильинична любила чистоту. Из населявшей жилье мебели ушли от забвения кровать, «органная» скамеечка, вольтеровское кресло, комнату украшали украинские вышитые полотенца. Были и перегородки: поселившись у матери, Яхонтов продолжал здесь жить и в первое время своего супружества с Еликонидой (или Лилей, как все ее звали) Поповой. Жить, однако, так было нелегко, отношения у Н.И. Яхонтовой и Лили установились не слишком добросердечные.

Варсонофьевский переулок, д. 8. Справа от входа – окно квартиры 2

Яхонтов с женой снимали жилье в разных местах Москвы, наезжая периодически и в Варсонофьевский. Так, к сожалению, не удалось выяснить, к какому московскому дому имеют отношение записи в дневнике Яхонтова, повествующие о встречах с Мандельштамом в 1931 году.

«Ночь 23/II-31. Были Мандельштамы. <…> Показывали им

сцену из “Горе от ума” (Фамусов и Скалозуб, II акт). Мандельштам отметил в ней греческое начало (козел и игра с козлом). Такова эта замечательная мизансцена, когда Фамусов и Скалозуб сталкиваются лбами. Мандельштам определил “Горе” как зрелость и классику» [307] .

Интересная оценка Мандельштамом игры Яхонтова приведена в письме актера З.Ф. Коцюбинской: «…Я вовсе не романтик, и Мандельштам правду говорит – что реалист чистой воды (чуть что не Аристофан даже, но он, конечно, очень преувеличивает») [308] .

«Сезон 1931/32 года мы играли в помещении театра Завадского на Сретенке», – пишут Яхонтов и Попова в 1940-е годы [309] . Может быть, там, на Сретенке, неподалеку от Варсонофьевского переулка, Мандельштам мог видеть Яхонтова на сцене?

На одной из следующих страниц дневника артиста читаем (к сожалению, начало записи не сохранилось, дата отсутствует – предположительно, запись сделана в конце марта): «Наш век – мне он не волкодав, а товарищ, учитель, друг, воплощенный в лице Ленина, которого я люблю и перед гениальностью которых (так в тексте, множественное число, возможно, обусловлено подразумеваемым именем Сталина? – Л.В.) преклоняюсь, нет, какой же волкодав, откуда – век отошедший, век Победоносцева – вот волкодав. Наш» (запись обрывается).

Очевидно, здесь зафиксирован спор с поэтом по поводу его стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…», которое было написано во второй половине марта 1931 года в Старосадском переулке (или если не с самим поэтом, то с его стихотворением).

Это подтверждается следующей записью дневника на том же листе:

«Июль 31 г. Москва.

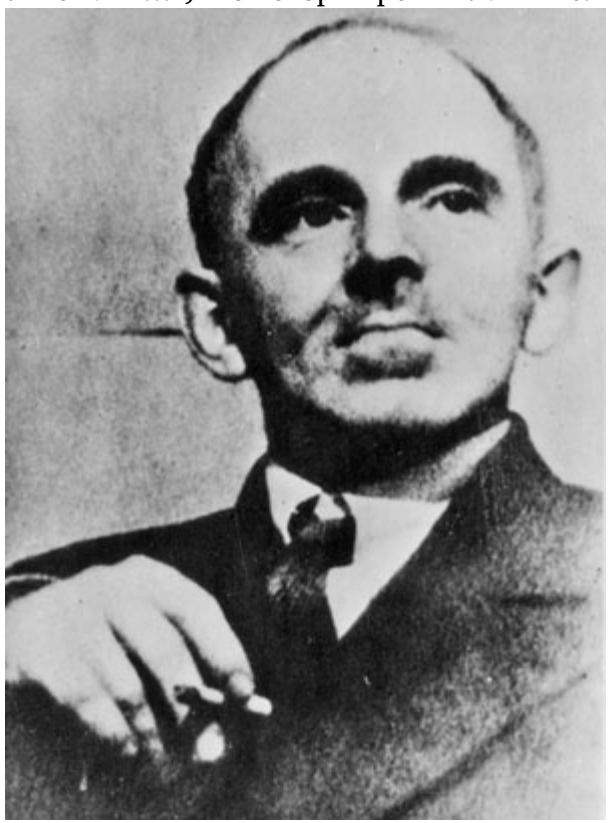
Снова Мандельштамы. Снова я потрясен этой мудростью его стихов (он читал мне новые), их зрелостью с явной печатью гениальности. Тут у него появляется горькое веселие, ирония (нет, нечто несравненно более глубокое), как будто он пытается вздохнуть глубоко и наполнить легкие пылью и испарениями обильно политых тротуаров.

На этот раз протест мой был много слабее, чем до отъезда, когда он затравленным волком готов был разрыдаться и действительно ведь разрыдался, падая на диван. Тут же только прочел нам (кажется, впервые и первым) – “Мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по крови своей…”» [310]

В этом дошедшем до нас благодаря Яхонтову эпизоде хорошо

чувствуется та душевная открытость и непосредственность Мандельштама, о которой вспоминают многие.

Какие «новые» и «городские» стихи мог читать Мандельштам Яхонтову в июле 1931 года? Несомненно, это те стихи, которые создавались в Старосадском переулке (с добавлением, конечно, «замоскворецкого» стихотворения «Сегодня можно снять декалькомани…») и о которых речь шла выше.



Осип Мандельштам. 1935 или 1936

В других записях Яхонтова отражен тот же спор с Мандельштамом о сущности эпохи, который возник в связи со стихотворением «За гремучую доблесть грядущих веков…».

«Смотрю на снимок, который висит у меня над постелью. Сталин и Ворошилов. Мне очень нравится этот снимок – вот два человека, которые смотрят вперед вместе со всей своей молодой страной.

Осип Мандельштам смотрит назад.

Он говорит: “Я вовсе не хочу быть человеком, который говорит под руку: таскать вам – не перетаскать”.

Его лукавое желание выручает зрелое перо, расписывающее розы и камни Армении и гранитные плиты умирающего Санкт-Петербурга.

У него в Армении много о розах» [311] .

Следующая запись, на соседнем листе:

«Вчера вечером Осип Мандельштам читал нам свою “Армению” [312] и петербургские небольшие вещи; и то и другое поражает своей суровой трагичностью и простотой.

Он проходит мимо эпохи кустарниками и виноградниками Армении и опустевшими улицами северного города “с рыбьим жиром фонарей”.

Подлинно

“из тяжести недоброй

и я когда-нибудь прекрасное создам”» [313] .

(Взятые в записи в кавычки слова указывают на стихотворения Мандельштама: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» и “Notre Dame”.)

Восхищение стихами Мандельштама (интересна была Яхонтову и мандельштамовская проза, но для исполнения с эстрады он, правда, считал ее слишком «густой» – эту характеристику артиста донесли до нас воспоминания Э. Герштейн) сочетается, как мы видим, с убеждением, что поэт «проходит мимо эпохи». Мы встречаемся тут с одним из типичных случаев исторического правила: именно тот, кто чувствует и понимает свою эпоху наиболее глубоко и точно, следовательно – в ее сложных, драматических противоречиях, нередко кажется современникам как раз несовременным, стоящим в стороне от главных событий жизни, непоследовательным, лишенным ясности взгляда, иногда – смотрящим назад. Ныне очевидно, что именно Мандельштам был одним из немногих зрячих в обществе, где ослепление распространялось все шире и грозило перерасти в тотальное. (Это не значит, однако, что ему не грозило по временам и его не соблазняло общее ослепление.) Поэт сочувствовал идее переустройства мира на более справедливых началах, это было ему близко, но он не мог не видеть и «кровавых костей в колесе», и нового рабства. Он не мог отмахнуться от этого; тут были свои причины, и одна из них, во всяком случае (и это вроде бы как-то на первый взгляд не очень вяжется с богемным чудаковатым поэтом не от мира сего, каким его видели многие), – совесть поэта и гражданина. «Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников», – пишет Мандельштам в «Четвертой прозе», формулируя свое неприятие идейной направленности и самого тона газеты «Московский комсомолец», где ему довелось некоторое время работать (несомненно, эта характеристика относится не только к «Московскому комсомольцу»).

Мандельштам переживал зло своей эпохи не менее остро, чем ее пафос, то есть видел картину времени в ее трагической полноте, а что это, как не подлинная зрячесть? «Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственная трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире», – написал Мандельштам в статье «Борис Пастернак». К самому Мандельштаму эти слова вполне применимы.

А еще в ранней работе «О собеседнике» (1913) было заявлено: «Ведь поэзия есть сознание своей правоты». И московские стихи 1931 года, которые упоминает и с которыми спорит в своих записях Яхонтов, были продиктованы поэту этим сознанием правоты, именно поэтической правоты.

Показав в спектакле «Петербург» конфликт гоголевского Акакия Акакиевича, Евгения из «Медного всадника» и имперской столицы, Яхонтов тем не менее склонен был считать величественной и вдохновляющей новую деспотию, новую «Ассирию», об угрозе появления которой Мандельштам, как уже говорилось, предупреждал еще в начале 1920-х годов. В этом нет ничего удивительного. И самому поэту временами хотелось поверить в правоту происходящего, отбросить сомнения и пойти со всеми в ногу. Но Мандельштам был старше, трезвее и проницательнее своего друга-артиста.

За написанием крамольных стихов 1933 года последовал арест. В мае 1934-го Мандельштам был выслан в Чердынь, а затем вскоре ему было разрешено поселиться в Воронеже. (Об обстоятельствах ареста и дела Мандельштама будет рассказано ниже – в последней главе книги.) В это время Мандельштам и Яхонтов тоже встречались – Яхонтов специально для того, чтобы повидаться с Осипом Эмильевичем, приезжал выступать в Воронеж.

В Москву Мандельштамы вернулись только в мае 1937 года. Возобновилось их частое общение с Яхонтовым и Лилей.

Е. Попова пишет О.Е. Наполовой, сестре (письмо написано летом 1937 года):

«Приехал Осип Мандельштам – поэт. Влюбился в меня, написал стихи. Пришлю как-нибудь» [314] .

Е.Е. Попова

Действительно, Мандельштам был увлечен Лилей; известны три стихотворения, ей посвященные. Попова сообщает в письме к В. Яхонтову (его в это время в Москве не было) – из письма мы узнаем, в частности, что Мандельштамы посещали Яхонтовых в Варсонофьевском переулке:

«…Как я провожу время? Большую часть времени у Мандельштамов. Союз [315] их поддерживает, дает деньги. Осипа Эм. лечат врачи, на днях стихи его будут заслушаны в Союзе, на специальном собрании. <…> Они очень привязались ко мне (“всеми любимой, всеми уважаемой”). Осип Эмильевич, если не ошибаюсь, вздумал “открыть” меня. Но об этом поговорим по приезде, в этом я еще плохо разбираюсь, но, кажется, в ссылке он помолодел лет на двадцать, выглядит хулиганистым мальчишкой и написал мне стихи, которые прячет от Надежды Яковлевны (!!). Если там вековые устои рушатся, то я об одном молю, чтоб не на мою голову.

Стихи эти явились в результате нашей прогулки в машине по городу.

Привожу их тебе:

С примесью во́рона – голуби,
Завороненные волосы.
Здравствуй моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе голоса [316] ,
Как я люблю твои волосы
Душные, черно-голубые.
В губы горячие вложено
Все, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена…
Тени лица восхитительны:
Синие, черные, белые.
И на груди удивительны
Эти две родинки смелые. (“Сцилла и Харибда”) [317]
В пальцах тепло не мгновенное —
Сила лежит фортепьянная,
Сила приказа желанная
Биться за дело нетленное…
Мчится, летит с нами едучи,
Сам ноготок зацалованный,
Мчится о будущем знаючи
Сам ноготок холодающий.
Славная вся, безусловная,
Здравствуй моя оживленная,
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.
Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая,
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью,
с лаской.

Сейчас я лежу в твоей постели на Варсонофьевском и на органной скамеечке пишу письмо. Только что уехали посетившие меня Мандельштамы. <…> Ночую я здесь по той причине, что Наталья Ильинична тяжело нервно заболела. <…>

Очень хочу начать работу о Сталине (имеется в виду композиция, над которой в это время начинали работать Яхонтов и Попова. – Л.В.) на зеленой траве и в спокойной обстановке.

Последние два дня в Москве наступило тепло.

<…>

Мандельштамы предлагают сдать свою квартиру Союзу и

взамен просить общую дачу вместе жить» [318] .

Волосы Поповой описываются как «душные, черно-голу́бые». Лиля была красива; в ее темных волосах выделялась светлая прядь. В конце отрывка из письма В. Яхонтову речь идет о кооперативной квартире Мандельштамов на улице Фурманова (о ней – в последней главе). Вернувшись из Воронежа, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна не могли там жить: во-первых, там в одной из двух комнат проживал в это время очеркист Н. Костарев, не собиравшийся оттуда выезжать; во-вторых, Мандельштам не получил разрешения жить в Москве. В начале процитированного письма Поповой речь идет о строительстве дачи. «Вместе жить» – о будущей даче.

Возвратившись из ссылки, Мандельштам был настроен сначала довольно оптимистично. Так, в письме отцу от 10 июня 1937 года он сообщает:

«Дорогой папочка!

Я в Москве все время болел. Сердце ослабело. Сейчас лучше. Меня собираются лечить. Союз Сов<етских> Писателей предложил мне помощь. Назначена в Союзе читка моих новых стихов. Настроение хорошее. Очень хочется работать».

В других архивных записях Поповой мы находим ряд дополняющих деталей, относящихся к этому стихотворению. В 1940-е годы, вспоминая недавнее прошлое и канувшего в лагерную бездну поэта, она записывает:

«Возвратился из Воронежа Мандельштам: я слушаю его возмужавшие прекрасные стихи. Он, как ребенок, радуется Москве, много ходит. Как-то мы едем с ним в машине по вечерней Москве, он счастлив, что я его везу, его увлекает движение по городу. Я рассказываю ему о наших замыслах – работе о Сталине. Однажды вечером я застаю у него [319] Анну Ахматову, он читает ей свои только что законченные стихи в открытое окно – похоже, он читает их Москве, вечернему городу:

С примесью ворона – голуби…» [320] .

(Далее следует текст приведенного выше стихотворения.) Ахматова действительно находилась в это время в Москве:

«В мае 1937 года Мандельштамы вернулись в Москву, “к себе” в Нащокинский. Я в это время гостила у Ардовых в том же доме», – вспоминала она [321] . Надежда Мандельштам: «Первым гостем у нас была Анна Андреевна. Она пришла в первый день нашего приезда утром. Свой приезд в Москву она приурочила к нашему возвращению» [322] .

Итак, стихи написаны вскоре после возвращения из Воронежа. Конец ссылки, надежды на лучшее, весна, переходящая в лето, – все это отразилось в мажорном тоне стихотворения.

Лирическая героиня предстает в этих стихах олицетворением новой, молодой Москвы, ее красоты и силы. Лиля Попова действительно любила Москву; в ее дневнике эта любовь и чувство внутренней связи с городом, особенно новым, советским, проявляются не раз: «…моя любимая Москва спала», – пишет она о ночных улицах; или: «Мы пролетели через новый Замоскворецкий мост, через простор нового города»; или: «Первая гроза в Москве. Москва хорошая в грозу. Асфальт вскипает морем». «Влюблен в Москву каждый, – записывает она, – кто живет и за тысячу верст от Москвы, и в самой Москве». У нее было то, что называют «чувством города», органичный интерес к его жизни: «Каждая лестница – она интересна уже сама по себе, потому что она лестница» [323] . Последняя запись неожиданно перекликается со словами Мандельштама из его очерка «Холодное лето»: «Тот не любит города, кто не ценит его рубища, его скромных и жалких адресов, кто не задыхался на черных лестницах, путаясь в жестянках, под мяуканье кошек…»

Жизнь Москвы очень интересовала и Яхонтова. Он даже задумал написать книгу о городе и составил ее обширный план (орфография и пунктуация записи):

«Хочу написать книгу о Москве. Москва перегоревшая в печах революции.

примерно по такому плану:

Вокзалы. Командированный с мест комсомолец. Москва. Партийная жизнь. I-ый дом Советов. II, III и IV дома Советов. Быт. Жизнь людей, связанных с искусством.

Театры (Большой, Малый, Художественный, студии, пролеткульт, Меерхольд, постановки.

Жизнь обывателя. Дети. Бульвары. Памятники. Комсомол. Рабфаки. Коммуны. Библиотеки. Пример: библиотека и библиотекарь.

Замоскворечье. Быт. Остатки купеческого быта. Третьяковка. Вхутемасовцы.

Драгомилово. Преображенская застава. Рынки. Мучные лабазы. Церкви. Попы. Проститутки. Школы 2-ой ступени. Детские дома. Поэты. Школа балета. Нарком по просвещению. Суды. Аппаратчики. Совработники. Профсоюзы. Военные учебные заведения. Фабрики. Культработ. агитотделы.

Санатории. Музыкальная жизнь города. Комсомольские праздники. Сухаревский рынок. Марьина Роща. Разгуляй.

Мне хочется взять Москву в переломе (быт, вкуса) через революцию» [324] .

Е.Е. Попова продолжает свой рассказ о вернувшемся из Воронежа поэте (записи 1941–1945 годов):

«Он приезжает ко мне на Шоссе, с женой, Надеждой Яковлевной. Они ночуют у меня в маленькой комнате.

Моя Катя ворчит, что они топчут простыни и суют окурки в хлеб. Мандельштам оставляет у меня черновик своего стихотворения: (перевод)».

(Далее приводится мандельштамовский перевод сонета Петрарки «Промчались дни мои – как бы оленей…».)

«Яхонтов читает ему “Новые плоды”.

Дни проводим в разговорах о литературе и в дыму.

Через два дня они уезжают в Савелово» [325] .

«Ко мне на Шоссе» – здесь имеется в виду еще один «яхонтовско-мандельштамовский» адрес в Москве: это маленькая (6 кв. м) комната в квартире 1 двухэтажного деревянного дома № 1 по Новому шоссе (ныне Тимирязевская улица, дом не сохранился). Комната принадлежала второму мужу Лили Поповой, композитору Михаилу Алексеевичу Цветаеву, от которого Л. Попова вернулась к В.Н. Яхонтову и к творческой работе с ним в конце 1934 года (не разводясь формально с Цветаевым). М. Цветаева летом 1937 года в Москве не было – он был репрессирован. Мандельштамы в это время посещали Яхонтовых по большей части на Новом шоссе: Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна приезжали в Москву из Савелова на Волге (Савелово – часть города Кимры), где они поселились в конце июня, поезд приходил на Савеловский вокзал, а оттуда было относительно недалеко до тогдашней окраины Москвы, до Нового шоссе, которое начиналось у Бутырского хутора и вело к Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Катя – домработница Поповой.

Для удобства совместной творческой работы была снята в это время комната и для Яхонтова рядом с комнатой Лили. «Новые плоды» – театральная композиция Яхонтова на тему, как он сам определял, «о Мичурине и социализме».

Мандельштамы дотянули свое пребывание в Москве, после возвращения из воронежской ссылки, до конца июня 1937 года. В конце месяца поэту было предписано покинуть город в 24 часа. «Три дня мы просидели у Яхонтова, обложившись картами Московской области, – вспоминала Н.Я. Мандельштам. – Выбрали мы Кимры. Соблазнила нас близость Савеловского вокзала от Марьиной Рощи, где жили Яхонтовы, а еще то, что Кимры стоят на Волге. Уездный городок на реке лучше, чем такой же городок без реки» [326] . (Где Мандельштамы провели три дня, покинув квартиру на улице Фурманова? Точно сказать об этом не представляется возможным. Вероятно, имеется в виду Новое шоссе, но не исключено, что это могла быть и другая квартира

Яхонтова. Позже, в октябре 1937 года, во всяком случае, В. Яхонтов жил на Малой Бронной – дом 17/19, квартира 35. На этот адрес приходили поздравительные телеграммы в связи с присуждением ему первой премии на Первом Всесоюзном конкурсе мастеров художественного слова.)

Приезды Мандельштамов, несмотря на дружеские отношения, не всегда были легки для Лили. Так, в записи, относящейся ко 2 августа 1937 года, Попова отмечает: «Приехали Мандельштамы. Изгадили. Ужасно опустошающие. Проводила их в 5 часов. Выехали в город» [327] .

Раздражение проявляется в дневнике Лили Поповой и по более серьезному поводу. Разница в жизненных позициях и мировоззрении не могла не сказываться (запись от 17 июля 1937 года):

«Расстроили меня, обозлили два звонка М<андельштама>, даже три. Это непроходимый, капризный эгоизм. Требование у всех, буквально, безграничного внимания к себе, к своим бедам и болям. В их воздухе всегда делается “мировая история” – не меньше, – и “мировая история” – это их личная судьба, это их биография.

В основном постыдная, безотрадная, бессобытийная, замкнутая судьба двух людей, один из которых на роли премьера, а другая – вековечная классическая плакальщица над ним. Его защитница от внешнего мира, а внешнее – это уже нечто такое, что заслуживает оскала зубов.

Итак, в вечном конфликте (интересно, существовал ли этот конфликт до Октябрьской революции. Похоже, что нет)» [328] .

О том, как выглядело это окраинное место Москвы, Новое шоссе, и что собой представляла комнатка Цветаева – Поповой в то время, когда здесь бывал Осип Мандельштам, мы также узнаем из записей яхонтовского архива. Л. Попова вспоминает о том, как она впервые оказалась на Новом шоссе в декабре 1929 года:

«Мы приехали на окраину Москвы и пошли вдоль полотна железной дороги: справа маленькие деревянные домики, занесенные снегом. Слева – высокая железнодорожная насыпь. <…> Мы вышли на Новое шоссе, повернули вправо: мрачный пролет железнодорожного моста, зеленый огонек семафора и в небе два корявых обнаженных дерева.

<…> Шоссе уходило вдаль, в темноту… в стороне стоял двухэтажный деревянный дом. <…> Цветаев жил здесь с женой, у которой был ребенок от первого мужа. У Цветаева была отдельная крошечная комната, в которой стоял рояль, походная постель и стол.

Оставался метр свободной площади».

И ниже:

«В комнате Цветаева не было печки. Мы отапливались керосинкой».

«Рядом в этой же квартире жил товарищ Цветаева по консерватории – Козловский.

<…> Неподалеку от дома начинались прекрасные Тимирязевские леса с березовыми рощами, вокруг дома большие огороды; к дому примыкал старый яблоневый сад» [329] .

По одной из архивных записей мы узнаем также, что, поскольку комнатка была очень маленькой, были сделаны полати – спальное место во втором ярусе.

В письме Лиле от 6 июня 1937 года В. Яхонтов, намекая в шутливом обращении на ее коммунистическую убежденность, говорит, в частности, об окрестностях домика на Новом шоссе:

«Доктору философии
Карлу-Генриху Марксу-Лиле
от его верного друга
Володи Энгельса.

Дорогая моя! Не утомляй себя ради бога и гони всех в шею. Чувствую себя значительно лучше, много думаю о наших праздничных работах [330] и много читаю.

Кланяюсь Грозненским цементным вышкам, Ван-Гоговскому “Полю после дождя” и поездам, бегущим в город Малинов-Мандельштам Египетский [331] . Еще кланяюсь нашим огородам, огурцам, укропу, луку и молодому господину картофелю» [332] .

Вернемся к мандельштамовским стихам, созданным летом 1937 года. Л. Попова вспоминает:

«…через неделю (имеется в виду середина июля. – Л.В.) Мандельштам приезжает из Савелова и привозит “Стансы”:

Стансы

1
Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, вростать в леса…
Вот «Правды» первая страница
Вот с приговором полоса…
2
Дорога к Сталину – не сказка,
Но только жизнь без укоризн:
Футбол – для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь.
3
Москва повторится в Париже,

Дозреют новые плоды
Но я скажу о том, что ближе
Нужнее хлеба и воды.
4
О том, как вырвалось однажды:
– Я не отдам его! – и с ним,
С тобой, дитя высокой жажды,
И мы его обороним
5
Непобедимого, прямого
С могучим смехом в грозный час,
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.
6
И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен…
7
Но это ощущенье сдвига
Происходящего в веках
И эта сталинская книга
В горячих солнечных руках
8
Да, мне понятно превосходство
И сила женщины – ее
Сознанье, нежность и сиротство
К событьям рвутся – в бытие
9
Она и шутит величаво
И говорит, прощая боль
И голубая нитка славы
В ее волос пробралась смоль
10
И материнская забота
Ее понятна мне – о том,
Чтоб ладилась моя работа
И крепла – на борьбу с врагом.

4–5 июня 1937 (так в рукописи. – Л.В.) Савелово» [333]

(Орфография и пунктуация рукописи. В дате написания стихотворения – ошибка; очевидно, стихи написаны не 4–5 июня, а 4–5 июля 1937 года.)

«С приговором полоса» на первой странице «Правды» – 11 июня 1937 года военным трибуналом были приговорены к расстрелу фигуранты «дела военных» М. Тухачевский, И. Уборевич, И. Якир, А. Корк, Р. Эйдеман, Б. Фельдман, В. Путна и В. Примаков. «Футбол для молодого баска» – с 24 июня по 8 августа 1937-го в СССР провела девять матчей блестящая футбольная команда Басконии (семь выиграла, один проиграла и один матч закончился вничью). Интерес к выступлениям футболистов-республиканцев, противников Франко, был громадный. В один из двух дней, в которые было написано мандельштамовское стихотворение, 5 июля, баски обыграли сборную клубов «Динамо» (отмечено О.А. Лекмановым). «Москва повторится в Париже, / Дозреют новые плоды…» – речь, видимо, идет в первую очередь не о «мировой революции», а о Всемирной выставке в Париже, открытой 24 мая 1937 года, – советский павильон там венчала скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница»; упоминание «новых плодов» связано с работой Яхонтова и Поповой над одноименной композицией («о Мичурине и социализме»).

После ареста в мае 1934 года Мандельштам переживает определенный душевный кризис, который выразился, в частности, в стремлении поэта принять и оправдать советскую действительность, «жить, дыша и большевея» («Стансы», 1935). Желание спасти себя и жену, отвратить грозящую гибель не было, думается, определяющей причиной этого (хотя этого желания, очевидно, не могло не быть). Дело было сложнее. На резкий выпад, направленный непосредственно против него, Сталин отреагировал совсем не так, как ожидал Мандельштам: поэт был готов к жертвенной смерти, но кремлевский тиран («Что ни казнь у него – то малина») ответил на словесную пощечину недолгой (три года) ссылкой. Этого Мандельштам явно не ожидал. (О возможных причинах такой реакции вождя будет сказано ниже.)

Тяжело было сознавать и свое «отщепенство». Миллионы людей с энтузиазмом и гордостью воспринимали происходившее в стране, и чрезвычайно трудно было не терять в такой ситуации, хотя бы иногда, «сознание своей правоты» (а именно такое определение поэзии дал однажды, как уже говорилось, Осип Мандельштам). Вместо сознания правоты появлялось чувство вины перед временем и человеком, который, казалось, олицетворял народные надежды и мощь страны.

Политическая ситуация была сложной, фашизм набирал силу в Европе, показывал зубы в Испании, Советский Союз во главе со Сталиным все более воспринимался как главная сила, противостоящая фашистскому людоедству. Мандельштам хорошо

видел родственные черты советского большевизма и германского нацизма – применяемое в массовых масштабах насилие и ненависть к свободе. По свидетельству С. Липкина, Мандельштам говорил ему: «Этот Гитлер, которого немцы на днях избрали рейхсканцлером, будет продолжателем дела наших вождей. Он пошел от них, он станет ими» [334] . И все же ставить на одну доску советский режим и нацизм было невозможно. Второй был абсолютным злом, Советский же Союз провозглашал идеалы равенства, социалистического гуманизма и всемирного братства. Столкновение СССР с нацистами представлялось неизбежным, страна должна была быть сильной и единой. Отсюда – воображаемая явка с повинной к Сталину в Кремль в воронежских стихах:

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях,
Смотрит века могучая веха
И бровей начинается взмах.
Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь влеки —
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.
Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.
Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.
Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах…
Не припомнить того, что было:
Губы жарки, слова черствы —
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы…
А на деле-то было тихо,
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке…
И к нему – в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,

Головою повинной тяжел…

Январь 1937

Это отнюдь не конъюнктурные стихи. Сталинские глаза смотрят с портрета на героя стихотворения, и он сознает их правоту. В стихах отразились, очевидно, впечатления от дороги к первоначальному месту ссылки, в Чердынь, и/или от переезда в Воронеж. Сталин в этих стихах олицетворяет правду и волю страны, вождь вырастает из волн «народного шума» и «пермяцкого говора». Вода из вокзального питьевого бака символизирует причастие народной жизни, преодоление отщепенства, приобщение к народной правде. Московская, кремлевская власть воплощает народные чаяния, и герой стихотворения входит в Кремль, «головою повинной тяжел».

Сталин вызывал у Мандельштама пристальное, горячее внимание; в мандельштамовском отношении к вождю чувствуется нечто очень личное. С одной стороны, вождь пробуждал у поэта явную ненависть – как воплощение некоего совершенно чуждого начала: мало того, что он душегуб, радующийся казням, – кровавый диктатор отвратителен, противен на физиологическом уровне («его толстые пальцы, как черви, жирны»). В «Четвертой прозе» Сталин назван «рябым чертом»; его натура – демоническая: с ним связан образ питающейся человечиной «шестипалой неправды» («Я с дымящей лучиной вхожу…»). В Сталине нет легкости, полета, творческого духа, его сила – тяжелая и косная. В одном из мест своих воспоминаний Эмма Герштейн упоминает о разговоре поэта с ее отцом:

«Папа стоял посреди комнаты и с высоты своего роста с некоторым недоумением слушал Мандельштама. А он, остановившись на ходу и жестикулируя так, как будто он поднимал обеими руками тяжесть с пола, горячо убеждал в чем-то отца:

…он не способен сам ничего придумать…

…воплощение нетворческого начала…

…тип паразита…

…десятник, который заставлял в Египте работать евреев…

Надо ли объяснять, что Мандельштам говорил о Сталине?» [335]

С другой стороны, совершенно очевидно, что в Сталине поэт видел, парадоксальным образом, и нечто очень близкое самому себе, и – в то же время – не свое, но притягательное. Инородец-маргинал Иосиф Сталин, тезка поэта, вошел в русскую жизнь, нашел себя в ней, подобно тому, как инородец-маргинал Мандельштам вошел в русскую поэзию. «Он родился в горах и горечь знал тюрьмы. / Хочу его назвать – не Сталин, –

Джугашвили!» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…», 1937). Поэт заявляет о желании убрать псевдоним и именовать героя стихотворения по его подлинной фамилии, столь же явно нерусской, как и фамилия Мандельштам. Добавим, что ко времени написания этих строк поэт тоже хорошо знал горечь тюрьмы: и белогвардейской, в Крыму, и меньшевистско-грузинской, и сталинской. Еще один аспект близости: Сталин предан своему делу, своей политической идее, живет ради нее, в нем есть страсть, самоотдача, нетерпимость – что должно быть и в истинной филологии. В той же «Четвертой прозе», где с ненавистью говорится о рептильных лакействующих писателях, которые «запроданы рябому черту на три поколения вперед», в обоих известных списках сказано (по восстановленной А.А. Морозовым версии): «Кто же, братишки, по-вашему, больший филолог: Сталин, который проводит генеральную линию, большевики, которые друг друга мучают из-за каждой буквочки, заставляют отрекаться до десятых петухов [336] , – или Митька Благой с веревкой [337] ? По-моему – Сталин. По-моему – Ленин. Я люблю их язык. Он мой язык» [338] .

Далее: Сталин воплощает в себе мощь, сильное отцовское начало, в котором, видимо, Мандельштам испытывал потребность (отец поэта, насколько известно, на эту роль не подходил). Эмма Герштейн рассказывает в своих мемуарах о разговоре с Мандельштамом в 1928 году в санатории «Узкое» под Москвой (см. «Список адресов»). Поэт читал в это время книгу французского писателя Марселя Пруста. «Мы опять пошли гулять, на этот раз вдвоем с Осипом Эмильевичем. Он продолжал думать о Прусте: “пафос памяти”, – так он выразился. В нем поднималась ответная волна воспоминаний о собственном детстве. Это были откровенные и тяжелые признания с жалобами на неумелое воспитание мальчика: его слишком долго брали с собой в женскую купальню, и он волновался, когда его секла гувернантка» [339] . Таким образом, в отношении Мандельштама к Сталину мы находим проявление классического сочетания ненависти и одновременного тяготения к грозному отцу.

Автор книги предвидит упрек в том, что он повторяет фрейдистскую догму. Не ему решать, в чем и насколько прав или неправ З. Фрейд. Но разве для того, чтобы заметить, что отношение к авторитарному правителю напоминает преклонение и соединенный с ним страх по отношению к доминирующему отцу, нужно обязательно быть фрейдистом?

Как уже не раз говорилось, Мандельштаму было свойственно представление о народной правде, которую он должен понять и принять. Нельзя сетовать на народный выбор, обижаться на

жизнь. В письме М. Шагинян от 5 апреля 1933 года Мандельштам говорит о себе: «Кто я? Мнимый враг действительности, мнимый отщепенец. Можно дуть на молоко, но дуть на бытие немножко смешновато». Б.С. Кузин отмечал: «Особенно, по-видимому, для него был силен соблазн уверовать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, которым она служила ширмой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрасное социалистическое будущее.

Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте в этих заскоках у него не было. Всякий, кто близко и дружески с ним соприкасался, знает, до чего он был бескомпромиссен во всем, что относилось к искусству или морали. Я не сомневаюсь, что если бы я резко разошелся с ним в этих областях, то наша дружба стала бы невозможной. Но когда он начинал свое очередное правоверное чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним: “Ну, Борис Сергеевич, ну ведь правда же это хорошо”. А через день-два: “Неужели я это говорил? Чушь! Бред собачий!”» [340]

Желанием заставить себя поверить в «великие идеи» определяется формирующийся в 1930-е годы в поэзии Мандельштама новый образ Москвы – Москвы сталинской.

Вообще можно, думается, выделить следующие основные этапы формирования образа Москвы в стихах и прозе Мандельштама (обобщим вышесказанное и кое-что добавим к нему).

Первый . Стихи 1916 года с их приятием-отталкиванием Москвы, осознанием ее чуждости автору и его лирическому герою, глубинным ощущением исходящей от этого города угрозы – и в то же время стремлением стать «причастным» Москве, олицетворяющей Россию и ее историческую судьбу; при этом пророчески предвидится собственная жертвенная роль в жизни России и ее старой столицы.

В кремлевских соборах, построенных итальянскими зодчими XV века, поэт опознает влияние средиземноморской культуры, которую он всегда воспринимал как неиссякаемый животворящий источник всей христианской цивилизации; соборы «с их итальянскою и русскою душой» свидетельствуют о включенности России в общеевропейский культурный контекст.

Любимая женщина олицетворяет в первых московских стихах православную Москву, притягательную и угрожающую. Тревожный мотив смуты, разбоя, мятежа восходит к пушкинскому «Борису Годунову»; роман с Цветаевой, чье имя и характер очевидно провоцировали соответствующие «борисогодуновские»

ассоциации, как бы назначал поэту в этой паре трагическую роль Димитрия – то ли невинно убиенного царевича, то ли плененного претендента на престол – в любом случае, роль жертвы. Так возникает в стихах Мандельштама тема роковой связи его лирического героя и Москвы.

Реконструкция Москвы

Второй . В стихах, созданных в 1918 году, допетровская столица, вновь получившая прежний статус, резко характеризуется как «непотребная». Всегда готовая выплеснуться смута, об угрозе которой напоминали стихи 1916 года, разлилась по стране, смутьяны пришли к власти («страшный вид разбойного Кремля» – этот емкий «суммирующий» образ откликнется позднее в антисталинском стихотворении, в одном из вариантов которого говорится, что у власти душегуб, как нередко и называют разбойников: «Там припомнят кремлевского горца, / Душегубца и мужикоборца…»).

«Азиатская» Москва с ее необозримыми базарами «качнулась в путь» «мильонами скрипучих арб»; начинает звучать у Мандельштама тема одичания: хранилища Святого духа, «церквей благоуханных соты», – уже «как дикий мед, заброшенный в леса». В московском небе парят угрожающие птичьи стаи, увиденные впервые еще в 1916-м. Театральное действо воспринимается как похороны культуры, ночная Москва видится новым Геркуланумом. Но не возникает ли на развалинах старой жизни, утратившей созидательную силу, подлинно новый мир? И именно

Москва стала тем центром, который определяет происходящее в стране неслыханное обновление. «Ну что ж, попробуем…» – говорит Мандельштам, и есть логика в том, что «Сумерки свободы» подписаны «Май 1918, Москва».

Третий . Стихи и проза первой половины двадцатых годов развивают тему одичания, азиатской угрозы, «китайщины», отпадения от европейской прародины. В очерках «Сухаревка» и «Литературная Москва» советская столица сравнивается с Пекином. Нэповская Москва, которой угрожает «обрастание шерстью», несомненно отразилась и в мандельштамовском переводе из Огюста Барбье «Собачья склока». Место старой, опрокинутой революцией социальной верхушки занимали новые люди, и под звавшими к грядущему мировому перевороту лозунгами шла борьба за вполне земные цели:

Ты – рынок крючников, где мечут подлый жребий:
Кому падет какая часть
Священной кровию напитанных отребий
Того, что раньше было власть.
……
То право конуры, закон собачьей чести —
Тащи домой наверняка,
Где ждет ревнивая, с оттянутою шерстью,
Гордячка-сука муженька,
Чтоб он ей показал, как должно семьянину,
Дымящуюся кость в зубах
И крикнул: «Это власть! – бросая мертвечину, —
Вот наша часть в великих днях».

В переводе Мандельштама это «ты» обращено, безусловно, не только к Парижу Барбье, но и к послереволюционной Москве. Поэт фиксирует происходящее формирование нового общества по старым образцам, восходящим к эпохе Московского царства («братство мороза крепкого и щучьего суда» – «1 января 1924»). Волна схлынула, пришло новое, застывающее под стрекот пишущих машинок (ундервудов) время, от которого некуда бежать. Да бежать и недостойно: бегство от новой эпохи несовместимо с разночинской родословной Мандельштама – нельзя предать

Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез…

Несмотря на разочарования и отчетливое чувство одиночества, поэт принимает наступивший век и ту Москву, в которой ему выпало жить. При этом Москва вызывает у Мандельштама и чисто художнический интерес – она живет сложной жизнью, непохожа на помертвевший Петербург.

Мандельштам любуется ее яркими красками, его неподдельный интерес вызывают бульвары и пивные, «папиросные мальчишки» и московские поэты. Однако в Москве есть, по сравнению с Петербургом, нечто неистребимо провинциальное, доморощенное – иногда это умиляет, в других случаях вполне может и раздражать: отсюда мандельштамовское определение Москвы этой поры – «лапчатая». Эта провинциальность, по мнению Мандельштама, проявилась и в безоглядном пристрастии московских поэтов к новаторству, «изобретательству» во что бы то ни стало. С другой стороны, именно Москва дала русской поэзии обновляющее явление Пастернака, чью органическую связь с московской речевой стихией Мандельштам хорошо понимал и о книге которого «Сестра моя жизнь» писал: «Конечно, Герцен и Огарев, когда стояли на Воробьевых горах мальчиками, испытывали физиологически священный восторг пространства и птичьего полета. Поэзия Пастернака рассказала нам об этих минутах – это блестящая Нике, перемещенная с Акрополя на Воробьевы горы» («Борис Пастернак»).

Зимняя Москва. Фотография И. Ильфа

Четвертый . 1929–1934 годы. Период отщепенства и «сознания своей правоты». Мандельштам, еврейский юноша с выпирающе нерусской фамилией в комическом сочетании с

простонародно-русифицированным именем Осип, переделанным из Иосифа, входил некогда в литературу как маргинал, «жиденок» (именно так его характеризовали некоторые мэтры символизма). Теперь, в связи со скандальным делом о переводе «Тиля Уленшпигеля», поэт вновь остро почувствовал себя в привычном качестве неугодного, странного субъекта, раздражавшего «разрешенных» литераторов, и принял это как непреложную судьбу, как путь свободы и чести: «Есть у нас паутинка шотландского старого пледа. / Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру» («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…»). Случай с «Тилем», в котором позиция Мандельштама не была совершенно безупречной (что он и сам признавал в ранней фазе этой истории), поставил его лицом к лицу с рептильными журналистами и руководящими работниками от литературы, и это вызвало у него очень болезненную реакцию. Несомненно, как всегда у Мандельштама в периоды противостояния, вспоминается и выбирается в качестве возможной модели поведения Франсуа Вийон (позднее, в 1937-м, в стихотворении «Чтоб, приятель и ветра и капель…» Мандельштам назовет его «любимец мой кровный»). Предчувствие гибели наряду с готовностью к ней неоднократно выражается в стихах и прозе Мандельштама этой поры. Сама жизнь, всегда воспринимавшаяся поэтом как великий дар, никак при этом, в свете мрачной личной перспективы, не отвергается; напротив, противостояние и осознание последствий рокового выбора только обостряет желание «еще побыть и поиграть с людьми», как поэт определил это позднее, в «Стансах» 1935 года.

Мы уже отмечали пристальный интерес Мандельштама к подробностям, ярким деталям московской жизни; зарисовывая их, он продолжает, в первую очередь, свою прозу начала двадцатых («Сухаревка», «Холодное лето», «Пивные» и др.). Влекущую живописную плотность московской жизненной ткани Мандельштам отметил в заметках к «Путешествию в Армению»: «Москва подобрела: город чудный, подробный, дробный, с множественным и сложным, как устройство мушиного глаза, зреньем». «Город чудный» восходит, очевидно, к хрестоматийному стихотворению Ф. Глинки: «Город чудный, город древний…». Московская жизнь обладает для Мандельштама некой пьянящей легкостью, ей присуща определенная вдохновляющая прелесть: в стихах и прозе поэт применяет к городу эпитет «воробьиный», сохраняемый и в конце 1920-х – начале 1930-х годов.

Однако вся эта живописность, строительство и динамизм советской Москвы не скрывали для Осипа Мандельштама ее

внутренней ущербности, не скрывали идейного примитива и антиевропейского, антигуманистического духа, господствовавшего в столице новой России. «Буддийская» Москва внутренне пуста, в ней нет свободы, и чем дальше, тем больше жизнью правит страх. Недоброжелательная косность обывательской московской жизни устояла и оказалась сильнее революционного порыва. Неслучайно в своем «Путешествии в Армению» Мандельштам именно в главе с выразительным и обязывающим названием «Москва» отмечает «арбузную пустоту России» и рисует картину «убийства» старой липы – дерева, которое «презирало своих оскорбителей и щучьи зубы пилы» (это все тот же «щучий суд», который мы встречаем в стихотворении «1 января 1924»). В Москве «животный страх стучит на машинках» («Четвертая проза»); в Кремле правит «кремлевский горец», окруженный полулюдьми-полузверями; отнимается главное, что отличает человека от тех, «кто свистит, кто мяучит, кто хнычет», – дар речи («наши речи за десять шагов не слышны»). Чувство угрозы, исходящей от Москвы, которое поэт выразил в раннем стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой…» еще в 1916 году, возвращается во всей силе – «курва-Москва» не помилует, грозит «из угла» («Нет, не спрятаться мне от великой муры…»).

Если раньше Мандельштам сказал «некуда бежать» («от века-властелина» – «1 января 1924»), то теперь он повторяет эти слова, подчеркивая значение окончательности: «Некуда больше бежать» («Квартира тиха, как бумага…», 1933). Ясно предощущается то, что обозначено строкой из стихов памяти Андрея Белого (1934):

Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь.

Пятый. Теперь, в эти «послеарестные» годы, в стихах Мандельштама складывается новый образ Москвы – советской державной Москвы, столицы сталинского государства, которое противостоит крепнущему в Европе фашизму. Вина перед народом, в массе своей, как представлялось, принимавшим строительство новой сильной страны, вина перед Сталиным, вождем народа, который ответил на прямое оскорбление неожиданно мягко, определенно выражена в стихах этой поры.

В воронежских стихах заявляется стремление жить, «дыша и большевея», войти в советский мир, «как в колхоз идет единоличник»; впереди – большая война, в Германии «лиловым гребнем Лорелеи / Садовник и палач наполнил свой досуг» («Стансы», 1935) и «над Римом диктатора-выродка / Подбородок тяжелый висит» («Рим», 1937) – надо быть среди тех, кто крепит единство и мощь страны.

И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе… —

«Мне кажется, мы говорить должны…», 1935

чем остаться в стороне, предать народ, нарушить «присягу чудную четвертому сословью», чего Мандельштам опасался еще в стихах 1924 года («1 января 1924»).

Возвращается, таким образом, сознание долга перед строителями нового мира, характерное для поэта уже в первой половине 1920-х годов, осложненное и отягощенное теперь чувством вины.

Попытка безоговорочного принятия советской действительности была, несомненно, очень мучительна, поскольку требовала внутреннего оправдания многочисленных несправедливостей и жестокостей, предполагала капитуляцию, отказ от самих основ миросозерцания.

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать,
Я рос больным и стал тщедушным.
Так пробуй выдуманный метод
Напропалую, напрямик:
Я – беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.
Апрель – май 1935(?)

Как показал О.А. Лекманов, стихи представляют собой отклик на сталинский тост, провозглашенный «на встрече участников первомайского парада с членами ЦК и правительством Советского Союза в зале Большого дворца в Кремле 2 мая 1935 года». «На встрече в Кремле вождь народов поднял бокал “за всех большевиков: партийных и непартийных. Да. И непартийных. Партийных меньшинство. Непартийных большинство. Но разве среди непартийных нет настоящих большевиков? Большевик – это тот, кто предан до конца делу пролетарской революции. Таких много среди непартийных”» [341] . Поражает откровенность – Мандельштам, вероятно, просто не умел писать «прилично» и «то, что надо», – с которой в этом стихотворении переход на правоверную большевистскую позицию связывается с отказом от имени и чести и растворением в общей массе, где уравнены все – и друзья, и недруги. Трудно вообразить что-либо более компрометирующее идею «перековки», как тогда принято было говорить, чем такое заявление – независимо от того, каковы были намерения автора стихотворения. Упоминание «чести»

возвращает к стихам 1931 года «За гремучую доблесть грядущих веков…»: «Я лишился и чаши на пире отцов, / И веселья, и чести своей…» Необходимо принять правоту власти – пусть с этим связаны потеря имени, чести, веселья.

Уличное украшение к 1 Мая 1933

Страна и Москва охвачены трудовым энтузиазмом, идет ударное строительство, появляются новые фабрики и заводы; в Москве строится метро. В своей написанной в ссылке рецензии на сборник стихов литкружковцев Метростроя («Стихи о метро», 1935) Мандельштам доброжелательно оценивает представленные в сборнике стихотворения строителей московской подземки. О стихотворении Г. Кострова, которое Мандельштам называет «лирической вершиной» книжки, Мандельштам пишет: «Много в русской поэзии прекрасных заздравных стихов, начиная с пушкинского “да здравствуют музы, да здравствует разум” и хмельных языковских здравиц, но этот изумительный трезвый тост, этот дифирамб живым и здравствующим товарищам, этот бокал с черной землей из шахты Метростроя, поднятый над советской Москвой, радуют даже самый взыскательный слух». О строящемся метро сосланный и тоскующий по Москве поэт упоминает и в стихах:

Ну как метро?.. Молчи, в себе таи…
Не спрашивай, как набухают почки…
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки…

«Наушнички, наушники мои…», 1935

Москва в стихах Мандельштама этой поры предстает столицей государства, ставшего надеждой и оплотом трудящихся и эксплуатируемых всего мира.

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный,
На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно-раздольный,
Откидываясь вниз – до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.
Май 1935

Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры —
Их быстроходная взволнованная бронь
И любопытные ковры людского говора.
И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни, оборону
Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова…
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.
Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны;
И брони боевой и бровь, и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.
И слушает земля – другие страны – бой,
Из хорового падающий короба:
– Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой, —
И хор поет с часами рука об руку.
3–11 февраля 1937

Строки из второго процитированного воронежского стихотворения отражают полученные еще до ссылки впечатления от московского военного парада (или парадов).

Испанские баски-футболисты чувствуют себя в столице СССР своими. Так же хорошо было бы в Москве и Чаплину, если представить, что он сошел бы с экрана и вышел на московскую улицу.

Чарли Чаплин

Чарли Чаплин
вышел из кино,
Две подметки,
заячья губа,
Две гляделки,
полные чернил

И прекрасных
удивленных сил.
Чарли Чаплин —
заячья губа,
Две подметки —
жалкая судьба.
Как-то мы живем неладно все —
чужие, чужие…
Оловянный
ужас на лице,
Голова
не держится совсем.
Ходит сажа,
вакса семенит,
И тихонько
Чаплин говорит:
«Для чего я славен и любим
и даже знаменит…»
И ведет его шоссе большое
К чужим, к чужим…
Чарли Чаплин,
нажимай педаль,
Чарли, кролик,
пробивайся в роль,
Чисти корольки,
ролики надень,
А твоя жена —
слепая тень, —
И чудит, чудит чужая даль…
Отчего
у Чаплина тюльпан?
Почему
так ласкова толпа?
Потому —
что это ведь Москва!
Чарли, Чарли,
надо рисковать,
Ты совсем
не вовремя раскис,
Котелок твой —
тот же океан,
А Москва
так близко, хоть влюбись
В дорогую дорогу…

1937

В стихотворении узнаются детали из фильмов Чаплина – неизменная дорога и роликовые коньки (на них катается его герой-официант еще в фильме «Скейтинг-ринг» 1916 года; вспоминается и эпизод катания на роликах по универмагу в «Новых временах»). Что такое «корольки» или «коро́льки» (строчка публикуется в некоторых изданиях так: «чисть корольки») – остается неясным. Стихотворение написано, очевидно, уже после возвращения из Воронежа – в нем чувствуется радость от встречи с Москвой. Герой Чаплина, маленький дерзкий бродяга, бедный, но не сдающийся, жуликоватый, но щедрый, сохраняющий и в нищете доброту и галантность – Давид, неизменно побеждающий встающих на его пути Голиафов, – был очень близок скитальцу Мандельштаму. В воронежском стихотворении «Я молю, как жалости и милости…», в котором выражена неизменная любовь Мандельштама к Франции, появляется маленький бродяга из «Огней большого города»:

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли —
В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей…

Стихотворение написано 3 марта 1937 года – всего чуть более двух месяцев отделяют его появление от возвращения поэта в Москву, где вновь прозвучит чаплиновский мотив. «Москва повторится в Париже, / Дозреют новые плоды…» («Стансы», 1937) – утверждает поэт. На Красной площади, где автору «Четвертой прозы» мерещился Вий, теперь поэт, признавший свою вину, видит Сталина в окружении восторженной толпы:

Пусть недостоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами,
Он все мне чудится в шинели, в картузе
На чудной площади с счастливыми глазами.

«Когда б я уголь взял для высшей похвалы…», 1937

С этими стихами перекликаются другие, написанные в это же время:

Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами…
Я обведу еще глазами площадь всей,
Всей этой площади с ее знамен лесами.

«Как дерево и медь Фаворского полет…», 1937

Изображения Сталина в длинной шинели были у всех на виду. Однако шинель появляется в воронежских стихах Мандельштама раньше, в 1935 году, и восходит, по нашему

мнению, к еще одному источнику, имеющему определенную связь с Москвой. В первом четверостишии «Стансов» (1935, май – июль) Мандельштам недвусмысленно заявляет:

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу – и люди хороши.

Все ясно: надо принять действительность, идти вместе с народом, стать одним из «сознательных» граждан страны. Ниже сказано еще прямее: «Я должен жить, дыша и большевея». Первое четверостишие продолжает, однако, немотивированное, казалось бы, описание воинской шинели:

Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

Опальный автор «Стансов», отбывающий ссылку в Воронеже, военным не был и в армию не собирался. Тем не менее весомое заявление первых строк продолжает не что иное, как именно это описание шинели. Вызывает некоторый вопрос и сама характеристика, которую шинель получает: «Люблю… длину до пят». Солдатская шинель, конечно, длиннополая, но полы ее «до пят» никак не доходят – это было бы очень неудобно. Естественно, можно посчитать эту деталь неким поэтическим преувеличением. Допустим; но о том, что сама шинель появляется в «Стансах» неслучайно, свидетельствует ее присутствие и в создававшихся в это же время стихах о Каме («Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток…», апрель – май 1935), причем упоминание шинели завершает поэтическое воспоминание о пути к первому месту ссылки, в Чердынь, и последовавшей вскоре обратной дороге:

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,
И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

Это некий итог пережитого, сделанный вывод. Причем, заметим, единственный в данном случае названный признак шинели – ее «долгополость».

Предложим теперь наше объяснение, возможный ответ на поставленный вопрос.

В 1933 году, к пятнадцатилетней годовщине создания Красной армии, была подготовлена художественная выставка «XV лет РККА». (РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия.)

Выставка открылась в столице. Ей придавалось большое значение, проведение ее рассматривалось как важное государственное мероприятие. Среди представленных на выставке работ наиболее успешной была признана скульптура Л.В. Шервуда «Часовой». Она стала фактической эмблемой всей выставки. Изображение «Часового» многократно тиражировалось и широко распространялось: солдат в длиннополой (именно до пят) утепленной шинели (фактически тулупе военного образца), в буденновке; в руках – винтовка с примкнутым штыком.

Л. Шервуд. «Часовой»

В 1933 году вышла книжка, посвященная выставке, – «Художественная выставка XV лет РККА». Издание представляет собой набор репродукций избранных произведений, экспонировавшихся на выставке. На обложке – изображение «Часового». Из Москвы выставка была переведена в Ленинград и развернута в залах этнографического отдела Русского музея. На обложке каталога – «марка выставки» (так и написано) – работа Б.В. Щуко, стилизованное изображение «Часового». Переехала экспозиция в Харьков, и скульптура Шервуда была установлена прямо перед входом на выставку. На обложке соответствующей брошюры, выпущенной в Харькове в 1935 году, также помещено графическое изображение работы Л. Шервуда [342] . После смерти скульптора, уже в 1955 году, был издан очерк с иллюстрациями, повествующий о творческом пути Л. Шервуда (автор В. Рогачевский). Успех «Часового» назван в очерке «беспримерным», место работы Шервуда на выставке определено как «центральное» [343] . Думается, есть все основания предположить, что впечатление от работы Шервуда могло отразиться в «Стансах» и стихах о Каме. Речь не о том, что Мандельштам был на выставке «XV лет РККА» – она вряд ли могла быть ему особенно интересна – хотя саму возможность такого посещения исключить нельзя. (Был же он на юбилейной выставке «Художники РСФСР за 15 лет» – правда, и выставка была другого свойства.) Более вероятно, что Мандельштам видел одну из многочисленных репродукций с изображением «Часового».

Уже после того, как автор данной книги пришел к выводу, что шинель «до пят» может иметь отношение к скульптуре Л. Шервуда, он (автор) обнаружил весомое, думается, подтверждение этой гипотезы непосредственно у Мандельштама. Для «Стансов» 1935 года пробовалась поэтом такая строка (это стих, завершающий описание шинели): «Земного шара первый часовой». Как видим, рассказ о шинели заканчивается словом, прямо указывающим на уже широко известную работу Шервуда.

То, что «Часовой» Шервуда приобрел значение символическое, вполне объяснимо. Выставка «XV лет РККА» была приурочена к 23 февраля 1933-го, а немногим ранее, 30 января, к власти пришел Гитлер. Нацисты стали хозяевами в Германии, и это обстоятельство не могло не выдвигать на первый план идею обороны, готовности к вероятной войне. К маю – июлю 1935 года, когда Мандельштам писал воронежские «Стансы», было уже вполне понятно, что Гитлер собой представляет и чего от него можно ожидать. Поэтому описание «долгополой» шинели во второй фактически строфе «Стансов» (хотя она не во всех изданиях выделяется) стоит на своем месте и логически

продолжает первую: впереди, возможно, война, надо быть со своей страной.

Ю.Л. Фрейдин обоснованно усматривает прообраз «долгополой шинели» из «Стансов» 1935 года в шинели Сталина [344] . Но это предположение не входит в противоречие с нашей гипотезой: одна шинель вполне могла «дополнить» другую.

Вернемся к образу Москвы в творчестве Мандельштама 1930-х годов. Москва стоит в центре происходящих в мире событий и точно, адекватно их оценивает.

Москва слышит, Москва смотрит,
Зорко смотрит в явь.
«Пароходик с петухами…», 1937

Поэт, осознавший свою роковую ошибку, «дичок, испугавшийся света», хочет стать «рядовым той страны, / У которой попросят совета / Все, кто жить и воскреснуть должны» (вариант к «Стихам о неизвестном солдате», 1937).

В своей классической работе «О. Мандельштам: гражданская лирика 1937 года» М.Л. Гаспаров, говоря о «просталинских» стихах, пишет:

«Мандельштам, пишущий гражданские стихи с готовностью по совести стать рядовым на призыв и учет советской страны, – это образ, который плохо укладывается в сложившийся миф о Мандельштаме – борце против Сталина и его режима. Миф этот складен и ярок, но он слишком упрощает действительность. Мандельштам написал в 1933 году эпиграмму против Сталина, за которую в конце концов и погиб. И Мандельштам написал в 1937 году оду в честь Сталина [345] , которая его не спасла. Историк должен объяснить, как эти два произведения, два образа мыслей совмещались или сменяли друг друга в сознании Мандельштама. А для мифа достаточно объявить, что одно из этих настроений было “настоящим”, а другое “ненастоящим”, и им можно пренебречь. <…>

В 1917 году – лютое стихотворение об “октябрьском временщике”; в 1918-м – спокойное “мужайтесь, мужи” перед новым трудом; в 1921-м – программа “культура должна быть советником государства”; в 1928-м – “чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в которых она пока не нуждается”; в 1930-м – “Четвертая проза”, разрыв и вызов власти, отступившейся от заветов революции, от “великого, могучего, запретного понятия класса”; в 1933-м – эпиграмма на Сталина как этический выбор, добровольное самоубийство, смерть художника как “высший акт его творчества” (по старому выражению самого Мандельштама). Он шел на смерть, но смерть не состоялась, вместо казни ему была назначена ссылка. Это означало глубокий

душевный переворот – как у Достоевского после эшафота. Несостоявшаяся смерть ставила его перед новым этическим выбором, а благодарность за жизнь определяла направление этого выбора. Мандельштам называл себя наследником разночинцев и никогда не противопоставлял себя народу. А народ принимал режим и принимал Сталина: кто по памяти о революции, кто под влиянием гипнотизирующей пропаганды, кто из отупелого долготерпения.

<…>

Среди этих стихов есть очень сильные… есть очень слабые… но считать их все неискренними или написанными в порядке самопринуждения невозможно. Трагизм судьбы Мандельштама от этого становится не слабее, а сильнее: когда человека убивают враги, это страшно, а когда те, кого он чувствует своими друзьями, это еще страшнее. Ощущение этого трагизма всюду присутствует в этих поздних, приемлющих стихах Мандельштама – от этого они так сложны и глубоки и так непохожи на официозную советскую поэзию» [346] .

Подобно тому как в 1916 году Москву для Мандельштама открыла Марина Цветаева, так в эти, 1930-е годы (в особенности в 1937-м, после возвращения из воронежской ссылки) новую советскую Москву, которую поэт хотел понять и принять, олицетворила для него Лиля Попова, первая жена В.Н. Яхонтова. Ее официальная фамилия в это время – Цветаева, по второму мужу-композитору, – несомненно, должна была вызывать у Мандельштама соответствующие ассоциации, тем более что сильный характер Лили в определенной степени напоминал натуру Марины Цветаевой. Двоящийся образ Москвы-женщины возникает в стихах 1937 года, ей адресованных:

В губы горячие вложено
Все, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена…
«С примесью ворона голуби…»

Н.Я. Мандельштам и Э.Г. Герштейн характеризуют в своих мемуарах Попову как искреннюю сталинистку. Это подтверждает ее дневник. Вот, к примеру, запись от 19 августа 1937 года: «Я хочу первоклассно превосходно создать работу к двадцатилетию [347] . Как наши летчики взяли Северный полюс, так и я возьму эту высоту. Я хочу это ради того, что люблю наших людей, и одного из них. Ради него и ради них я это выполню. Я не могу не гордиться тем, что живу сегодня, в нашей стране.

Вот почему необходимо изучать еще и еще Ленина – Сталина,

Маркса, нужно прививать художественный вкус к марксистской мысли, любовь к ней, восхищение величием этих мыслей, двигающих прогрессом человечества. Это можно любить, как своего ребенка, как любимого человека. <…>…Суть дела: параллельное движение двух гениев: Ленина и Сталина на протяжении временного отрезка с 1900 по 24-й год» [348] .

Согласно мемуарам Н. Мандельштам, Яхонтов не был столь идейно непоколебим и оптимистичен. 16 июля 1945 года он покончил с собой, выбросившись из окна. Как полагала Н. Мандельштам, Яхонтов сделал это в припадке страха, боясь ареста. Лиля же Попова, судя по архивным материалам, была человеком убежденным и цельным.

Даже арест второго мужа, М.А. Цветаева, не смог поколебать ее советских убеждений. «Лиля свято верила именно в исправительное значение места пребывания ее мужа, – пишет Э. Герштейн. – Она ездила к нему на свидания и очень хвалила начальника лагеря, характеризуя его как замечательного психолога и педагога.

Мужа своего она считала виновным. Он вел дневник, где высказывался в духе Ницше, Шпенглера “и все такое…” – брезгливо заключила Лиля, рассказывая Наде и мне об этой печальной истории. Она была на стороне московского следователя, который вызывал к себе Цветаева и учил его уму-разуму. Все было бы хорошо, но Цветаев не выполнил условий, поставленных следователем. Он не должен был никому рассказывать об этих своих посещениях. К несчастью (Лиля говорила об этом мягко и жалостливо), Цветаев сделался истерически болтлив» [349] .

М.А. Цветаева выпустили в 1939 году. Потом он жил «на поселении». Интересно, что Цветаев знал в заключении о новых стихах Мандельштама – очевидно, от навещавшей его Лили. Так, в письме к ней из лагеря (Воркута) от 21 апреля 1937 года – Осип Мандельштам еще находился в воронежской ссылке – Цветаев пишет: «Слушал последние известия по радио (“наушники, наушнички мои” – и т. д.), я поражаюсь вашей весне, мысленно брожу между деревьев, дождь стучит по ободу шляпы, пахнет какими-то цветами, слова, слова, вечно недосказанные слова и неутоленные желания» [350] .

Е.Е. Попова

Как видим, М. Цветаев цитирует здесь мандельштамовское стихотворение «Наушнички, наушники мои!», написанное в Воронеже тоже весной, в апреле, но на два года раньше – в 1935-м. Михаил Цветаев и позднее интересовался творчеством Мандельштама. Так, в письме к Л. Поповой от 18 декабря 1942 года, из ссылки, он просит: «Очень меня интересует твоя поэтическая работа. <…> Стихи О.Э. обязательно пришли тоже» [351] .

Лиля Попова была, безусловно, человеком неординарным. Черноволосая, с седой прядью («И голубая нитка славы / В ее волос пробралась смоль»), чернобровая (северокавказская «казачка»), Лиля нравилась поэту. Из простой рабочей семьи, волевая и талантливая – актриса, режиссер, художница (живописью она занималась с известным художником А. Лабасом), – она представляла, думается, новый для Мандельштама тип человека, прямого, сильного, «готового к труду и обороне», не ведающего, казалось, сомнений (это лишь казалось – Лиля была человеком убежденным, но не «железобетонным»)… В таком человеке воплощался пафос нового государства, новой Москвы. «Государственность» же всегда входила в сферу интересов Мандельштама. Знавший его еще в

молодые годы композитор Артур Лурье писал: «Стихия музыки питала его поэтическое сознание, как и пафос государственности, насыщавший его поэзию» [352] . Артур Лурье пишет о раннем Мандельштаме, но его утверждение может в той же мере считаться верным и для Мандельштама позднего.

Были ли правоверно-сталинские убеждения Мандельштама лишены сомнений и колебаний, произошел ли полный разрыв с предшествующим Воронежу бунтарским периодом? Безусловно, нет, и адогматичный по природе Мандельштам перестал бы быть Мандельштамом, если бы это случилось. С.С. Аверинцев дал исключительно точную и ставшую уже общим местом характеристику Мандельштама, назвав его одним из «виртуозов противочувствия» [353] . Таким поэт остался до конца.

Наряду с признанием своей вины, воспеванием вождя и стремлением идти со всеми в ногу параллельно звучит в творчестве Мандельштама другой мотив. По количеству стихи этого рода уступают просталинским, но они не становятся оттого менее значимыми. Дело не в количестве. Вообще прямолинейного и однозначного в Мандельштаме не было, о чем и заявлено в воронежских шутливых и в то же время вполне серьезных стихах:

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.
Апрель 1935

(Дом, в котором Осип и Надежда Мандельштам поселились осенью 1934 года, числился по Второй Линейной улице. К нему надо было – и нужно в настоящее время – идти по ведущему вниз спуску.) Обращаясь к тем, кто распоряжается его жизнью, кто решает, где ему и как ему жить, Мандельштам заявляет, что в самом главном он им не подвластен:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета —
Губ шевелящихся отнять вы не могли.
Май 1935

Смирения в этих стихах нет, напротив, есть очевидный вызов:

я как был свободным, так и остаюсь свободным. В том же 1935 году, в программных «Стансах», сказано:

Я помню все: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

«Садовник и палач», присвоивший себе гребень Лорелеи, – несомненно, Гитлер. Мандельштам не забывает о казнях антифашистов в Германии. Именно «шеи» упомянуты, возможно, потому, что уже через два месяца после прихода Гитлера к власти в Германии была введена смертная казнь через повешение – об этом, в частности, сообщали «Известия» от 2 апреля 1933 года (с. 2). Вполне возможно и то, что эта деталь мандельштамовского стихотворения указывает на восстановление в Германии смертной казни через отсечение головы – на это обстоятельство обратил внимание Д.Г. Лахути [354] . Об этом также писала советская пресса.

Теперь о гребне Лорелеи. Повторим сначала банальные истины: Рейн – священная река Германии, Лорелея – золотоволосая красавица, чья песня завораживает плывущих по реке, и они разбиваются о скалы. Образ Лорелеи неразрывно связан с Рейном. Стихотворение Гейне о Лорелее из цикла «Возвращение на родину» приобрело широкую популярность и стало народной песней.

Лорелея может быть «прочитана» как образ самой Германии, ее романтического очарования, влекущего и смертоносного. Лорелея поет, соблазняет и губит – такова она в стихотворении «Декабрист» (1917).

– Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают!
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.
Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.
Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.
Бывало, голубой в стаканах пунш горит,
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.
– Еще волнуются живые голоса

О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.
Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

Чарующие звуки «подруги рейнской», «вольнолюбивой гитары» в этих стихах – олицетворение западного, вывезенного из Германии соблазна свободы (ср. с описанием Ленского у Пушкина: «Он из Германии туманной / Привез учености плоды: / Вольнолюбивые мечты…» («Евгений Онегин», глава вторая, VI)); эти «мелодии» привели к обреченному на поражение декабристскому восстанию. Холод в «Декабристе» говорит о приближающейся смерти, является постоянным для Мандельштама признаком российской государственности и отсылает, несомненно, как и строка «Но жертвы не хотят слепые небеса», к Тютчеву, к его стихам о декабристах: «О жертвы мысли безрассудной, / Вы уповали, может быть, / Что станет вашей крови скудной, / Чтоб вечный полюс растопить!» («14-е декабря 1825») [355] . Но «всё перепуталось», всё тонет в Лете, для России и Германии характерна определенная общность судеб: «Россия, Лета, Лорелея».

Вернемся к воронежским «Стансам». Гребень губительницы-соблазнительницы Лорелеи в руках Гитлера. Раньше, в эпоху декабристов, из Германии шел соблазн свободы; теперь там звучат другие соблазняющие мелодии. Ситуацию поэт увидел зорко: «садовник и палач» похитил, присвоил, поставил себе на службу ключевые образы немецкого народного сознания и немецкой романтики (в связи с Лорелеей вспомним не только Гейне, но также и очень известное стихотворение К. Брентано).

Но почему Гитлер «садовник»? Р.Д. Тименчик установил, что образ «садовника и палача» у Мандельштама восходит к рассказу Ж. Гюисманса «Парикмахер» [356] . Рассказ «Парикмахер» входит в книгу Гюисманса «Парижские арабески»; в 1913 году Мандельштам написал рецензию на эту книгу, изданную на русском языке в переводе Ю. Спасского. В рассказе работа парикмахера описывается как некое насилие; его власть над клиентом подобна власти диктатора. Парикмахер сравнивается с садовником, причем в этом сравнении звучит и тема смерти (“le funébre jardinier”). У Мандельштама установилась смысловая связь между понятиями «парикмахер», «садовник» и «насильник, палач»; по мере необходимости поэт извлекает эту комбинацию из своего образного арсенала (отсюда знаменитая строка в

стихотворении «Ариост» 1933 года: «Власть отвратительна, как руки брадобрея»). Но ведь, насколько известно, садоводство не входило в сферу гитлеровских интересов. Однако, как сообщает Г. Киршбаум, «фюрер принимал участие в первомайских мероприятиях по посадке деревьев» [357] . Это важная деталь; она могла послужить поводом для очередного применения Мандельштамом образной комбинации «палач-садовник» (Гитлер – палач, это очевидно; оказывается, он и «садовник»). Но Г. Киршбаум указывает, что «образ садовника может иметь и сталинские корни. 29 апреля 1935 года, непосредственно перед написанием “Стансов”, “Правда” выбирает одним из девизов номера выделенные крупными буквами, набранные вверху страницы, слова Сталина: “Людей надо выращивать заботливо и внимательно, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево”» [358] . На эти широко известные слова Сталина применительно к «Стансам» Мандельштама давно обратили внимание И. Месс-Бейер и Д.Г. Лахути. Сталин произнес эти слова на приеме в честь металлургов еще 26 декабря 1934 года, и 29 декабря высказывание вождя начало тиражироваться (см. в книге Д. Лахути). Ко времени написания воронежских «Стансов», к маю 1935-го, в Советском Союзе трудно было не знать, кто в стране главный и заботливый садовник. Высказывание Сталина спровоцировало и анекдоты, в которых указывалось, что великий вождь сажает не только деревья. Характеристика Гитлера – «садовник и палач» – была в этих обстоятельствах более чем рискованной. Добавим к этому, что «немецких братьев шеи» приводят на память строку из антисталинской эпиграммы: «А вокруг него сброд тонкошеих вождей…».

Можно допустить, что Мандельштам ни на что не намекал и Сталина в виду не имел. Но это не играет в данном случае большой роли: важно не то, что хотел сказать поэт, а то, что сказалось, и если невольно, то это тем более важно – сказалось подобно тому, как в выше цитированном стихотворении «Ты должен мной повелевать…» было заявлено, что для того чтобы стать беспартийным большевиком, надо «на честь, на имя наплевать» (с «садовником и палачом» случай, конечно, более тонкий).

В конце 1936 года появляется загадочное стихотворение «Внутри горы бездействует кумир…», в котором создается образ некоего восточного божка, бывшего некогда человеком, но окостеневшего, почти омертвевшего.

Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи.

Он улыбается своим тишайшим ртом,
Он мыслит костию и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человечий…

Божок, бывший некогда человеком, существо, живущее в закрытом для народа месте («внутри горы») – очевидно, в Кремле, ставшем подобием запретного императорского города в Пекине, – очень вероятно, что «кремлевский горец» имелся в виду при написании стихотворения. Особенно если сопоставить одну из строк стихотворения – «А с шеи каплет ожерелий жир…» – со строкой из антисталинского стихотворения «Его толстые пальцы, как черви, жирны…» и принять во внимание, что в одном из вариантов стихотворения о таинственном кумире последний, завершающий произведение стих звучит так: «И исцеляет он, но убивает легче». В то же время образ кумира в этом стихотворении обязан своим происхождением не только Сталину; другой прообраз – знакомый Мандельштама, второй муж Ахматовой, востоковед, ассириолог и поэт В.К. Шилейко (умерший еще в 1930 году). Не исключено, что детали стихотворения могут восходить к божку, которого Мандельштам видел у соседа по флигелю при Доме Герцена Амира Саргиджана (Сергея Бородина). Отношения с соседом сначала были хорошие. «Однажды, – вспоминал Б.С. Кузин, – он [359] с восхищением рассказал мне о появившемся по соседству с ним в доме Герцена некоем Амирджанове [360] . Впрочем, говорил он не столько о самом этом человеке, сколько об имевшейся у него статуэтке какого-то японского или китайского божка. В скором времени застал Амирджанова у Мандельштамов я сам. Фигурировал и божок. Он был действительно очень хорош. Хозяин его мне не понравился» [361] .

В 1937 году, еще в Воронеже, написано не менее загадочное четверостишие:

Как землю где-нибудь небесный камень будит,
Упал опальный стих, не знающий отца:
Неумолимое – находка для творца,
Не может быть другим, никто его не судит.

20 января 1937

М.Л. Гаспаров так комментирует эти стихи: «В “Оде” Сталину и других воронежских стихах Мандельштам пишет многое противоположное тому, что писал раньше. Это не только

шокирует мандельштамоведов, это вызывало удивление у самого Мандельштама; случаи его сомнений бережно фиксирует Н.Я. [362] Раздумье на эту тему представляет собой четверостишие, написанное в середине работы над “Одой”, 20 января 1937 года, и в нем Мандельштам решает спор между бессознательной своей потребностью в палинодической [363] “Оде” и сознательным сомнением в ней, – решает в пользу бессознательного… Здесь прямо сказано, что опальный стих, не любезный ни поэту, ни людям, “не может быть другим”, потому что он свыше» [364] . В данном случае точка зрения М. Гаспарова представляется небесспорной. Во-первых, вряд ли можно сказать, что работа над «Одой» была вызвана в первую очередь бессознательной потребностью. Напротив, именно «сознательный» элемент играл в ее создании очень большую роль: Мандельштам считал себя виноватым перед вождем и народом, и это сознание вины обусловило в большой степени намерение написать покаянное и славящее вождя стихотворение. Далее. В тексте четверостишия нет никаких указаний на то, что речь идет об «Оде». Кажется вполне возможным, что имеется в виду как раз антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…». Оно во всяком случае может быть названо «опальным стихом» с гораздо большим правом, чем «Ода». В период создания «Оды» естественно было вернуться памятью к написанному в ноябре 1933 года стихотворному портрету Сталина, в противовес которому «Ода» и сопутствующие просталинские стихи писались, и определить для себя значение крамольного стихотворения. И уж в чем «бессознательная потребность» играла огромную роль, так это именно в написании гротескного портрета диктатора. Мандельштам написал его потому, что не мог не написать. Подобно метеориту (здесь возможна внутренняя связь с пушкинским «Как беззаконная комета / В кругу расчисленном светил» – «Портрет»), «упал опальный стих, не знающий отца». По нашему мнению, «отец» в данном случае не автор, как полагает М. Гаспаров, а Сталин. (Примем во внимание, что Мандельштам в своей поэзии нигде не употребляет слова «отец» применительно к самому себе – он отцом не был и в этом качестве себя не ощущал, – за исключением одного случая: в четверостишии 1936-го, вероятно, года «А мастер пушечного цеха…», где поэт иронически говорит о своем предполагаемом памятнике и где оно – слово – не используется в основном значении, а выступает в качестве обращения к немолодому человеку: «А мастер пушечного цеха, / Кузнечных памятников швец, / Мне скажет: ничего, отец, – Уж мы сошьем тебе такое…».) А вот Сталин в «Оде» отцом называется:

И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, – вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.
……
Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором…

Сталин – отец народа, таким он и показан в «Оде». Но при этом Мандельштам не отрекается от антисталинской эпиграммы. Сам поэт считал ее сильным произведением, о чем говорил на следствии:

«Вопрос [365] : Как реагировала Анна Ахматова при прочтении ей этого контрреволюционного пасквиля и как она его оценила?

Ответ: Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на “монументально-лубочный и вырубленный характер” этой вещи.

Эта характеристика правильна потому, что этот гнусный, контрреволюционный, клеветнический пасквиль – в котором сконцентрированы огромной силы социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому, при одновременном признании его огромной силы, – обладает качествами агитационного плаката большой действенной силы.

Записано с моих слов верно и мною прочитано.
О. Мандельштам» [366] .

«Опальный стих» сравнивается с «небесным камнем». («Камень» – очень важное слово для Мандельштама; так назывался его первый сборник. Речь поэта, в идеале, должна обладать весомостью и цельностью камня.) Антисталинское стихотворение – нечто «неумолимое», как говорится в четверостишии 1937 года, оно продиктовано свыше, как свыше, с неба, падает на землю метеорит; оно должно было быть написано, и Мандельштам от него не отрекается.

Мы скоро вернемся к Яхонтову и Поповой, но не хотелось бы упустить некоторые другие важные аспекты «сталинской» темы (а она в отношениях Мандельштама с артистом и его спутницей играла, как мы видели, существенную роль).

В «Оде» Сталин изображен, в частности, стоящим на трибуне:

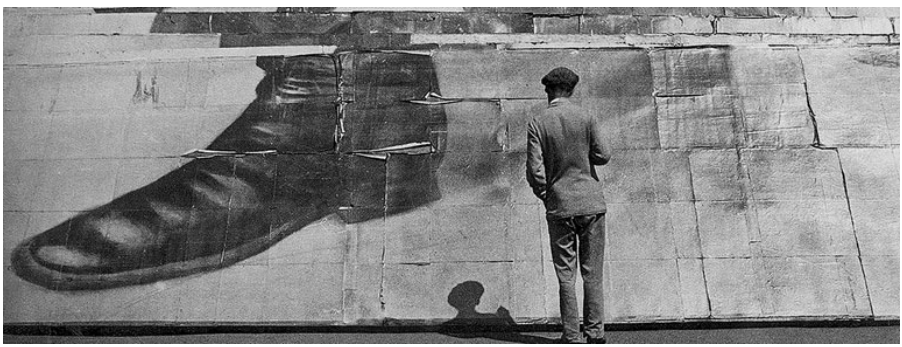
Он свесился с трибуны, как с горы, —
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры.
Густая бровь кому-то светит близко…

Люди в этом стихотворении – это только масса на Красной площади, это толпа «на чудной площади с счастливыми глазами». Они счастливы видеть вождя, готовы «жить и умереть» по его воле; отдельные люди не видны в этом месиве – дважды сказано о буграх голов, второй раз – в финальной части «Оды»: «Уходят вдаль людских голов бугры…» Как убедительно показал Д. Лахути, свеситься с трибуны «в» бугры голов (не наклониться над, а свеситься «в»), можно только в случае обладания змееподобным телом. Никак иначе представить себе описанное в стихах в качестве зримого образа нельзя [367] . Еще раз подчеркнем: главное не то, что хотел написать Мандельштам, а то, что он написал.

Демонстрация у снесенного храма Христа Спасителя

Интереснейшим и неожиданным дополнением к замеченному Д. Лахути может послужить проницательное наблюдение Г.А. Левинтона, заметившего определенное сходство «Поэмы начала» Н. Гумилева и приведенного выше покаянного стихотворения Мандельштама «Средь народного шума и спеха…». Ритмическая и лексическая близость стихотворения Мандельштама и «Поэмы начала» не вызывает сомнений. Г. Левинтон говорит о том, как подано у Гумилева противостояние дракона и человека, обращая внимание на «тему взгляда, глаз: “Было страшно… / Увидать нежданно драконий / И холодный и скользкий взор. /…багровые сети / Крокодильих сомкнутых век… / И дракон прочел, наклоняя / Взоры к смертному в первый раз… // В муть уже потухавших

глаз / Умирающего дракона – / Повелителя древних рас. / Человечья теснила сила / Нестерпимую ей судьбу, / Синей кровью большая жила / Налилась на открытом лбу / Приоткрылись губы…”». «Кажется, – делает вывод Г. Левинтон, – эти мотивы отразились в воронежских стихах (и если это предположение верно, оно существенно меняет смысл сталинской темы в них): “Шла пермяцкого говора сила. / Пассажирская шла борьба, / И ласкала меня и сверлила / Со стены этих глаз журьба //… Не припомнить того, что было: / Губы жарки, слова черствы…”» [368] . (Выделение курсивом – в цитируемом тексте Г. Левинтона.)



Илья Ильф у панно с портретом Сталина. Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, 1933. Фотография А. Козачинского

Сверлящие глаза Сталина смотрят в человеческую толпу с портрета на провинциальном полустанке или пристани, с трибуны в столице. «Смотрит века могучая веха…» в стихотворении «Средь народного шума и спеха…»; не только «могучие глаза», но и веки (ср. с крокодильими веками дракона у Гумилева) не забыты в «Оде»: «Лепное, сложное, крутое веко, знать, / Работает из миллиона рамок».

Стихи о воображаемом покаянном приходе к Сталину в Кремль имеют явное родство с описанием дракона в поэме Гумилева!

Наконец, в 1937 году Мандельштам пишет стихи о любимом Вийоне:

Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках цари.
Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец,
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного праха истец.
Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощаньи отдав, в верещаньи,
Мир, который, как череп, глубок, —
Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.
Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть —
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть…
18 марта 1937

Египетское величие, египетская государственность и французский поэт-бродяга резко противопоставлены. «В бутылках цари – форму бутылок имели короны фараонов Южного Египта; множество цапель и бутылок – иероглифы царских имен окружались рамками-картушами, похожими на флакон, лежащий на боку» (М.Л. Гаспаров) [369] . Презрительно упомянутая «отборная собачина», прикрывавшая грубую суть, «срамные части» древней деспотии, напоминает, конечно, о египетских зверо– и птицеголовых богах (ср. с окружением Сталина в эпиграмме: «Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет…»). «Два завещанья» – «Малое завещание» и «Большое завещание» – стихотворения Ф. Вийона. Строка «Беззаботного праха истец» отсылает, по мнению А.Г. Меца, к мотиву стихов Вийона – казни через повешение; «беззаботный прах» – повешенный [370] . Египетскому культу смерти, зримым выражением которого являются знаменитые пирамиды с набальзамированными фараонами (не вспомнить при этом о ленинском мавзолее на Красной площади, построенном именно в форме пирамиды, почти невозможно), противостоит готика, «рядом» с которой живет «несравненный Виллон Франсуа»: тяжелому «земному» величию противопоставлены готические соборы, устремленные в небо. (В одном из авторитетных изданий – Мандельштам О.Э. Собрание произведений. Стихотворения. М., 1992 – строка о «соответствии» Вийона и стрельчатой архитектуры дается в таком варианте: «Ладил с готикой, жил озоруючи…».) Появление Вийона в мандельштамовских сочинениях – верный индикатор бунтарского, аутсайдерского настроения. Вийон, как и герой

Чаплина, живет, плюя «на паучьи права» государства. Египетские пирамиды из этого стихотворения несомненно перекликаются с пассажами из уже цитировавшихся статей начала 1920-х годов: «В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может, египетской и ассирийской…» («Девятнадцатый век»); «Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя [371] , воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве» («Гуманизм и современность»). Египетские пирамиды названы «пустячком» – несмотря на гигантские размеры, они античеловечны и в духовном отношении трактуются в этом стихотворении как ничтожные. То, что образ пирамид в данном случае имеет отношение к советским ударным стройкам, очень вероятно: Мандельштам сказал однажды одному из своих знакомых, что без твердой власти пирамид не построишь, можно будет только изобрести пирамидон. Пирамиды и пирамидон сведены в шуточном абсурдистском стихотворении «Решенье», написанном, видимо, в марте 1937 года – то есть тогда же, когда были созданы стихи о Вийоне:

Когда б женился я на египтянке
И обратился в пирамид закон,
Я б для жены моей, для иностранки,
Для донны, покупал пирамидон,
Купаясь в Ниле с ней иль в храм идя,
Иль ужиная летом в пирамиде, —
Для донны пирамид – пирамидон.

(Может быть, четвертая строка должна звучать «Купаясь в Ниле с ней или в храм идя» – с ударением, конечно, на «и» в слове «идя»? В таком варианте мы находим ее в другой публикации – в четырехтомнике Мандельштама 1993–1997 годов.)

Как видим, в стихах о Вийоне тема твердой власти и строительства пирамид трактуется совершенно иначе, чем в высказывании поэта в разговоре с собеседником.

«Рядом с ним не зазорно сидеть», – говорит Мандельштам о Вийоне, и «сидеть» здесь имеет, думается, и специфическое значение – сидеть в тюрьме, где Мандельштам, подобно своему французскому собрату, побывал не раз. (Уже написав последнее предложение, автор книги узнал о том, что его понимание значения этого «сидеть» совпадает с мнением Д.И. Черашней, – и был, естественно, рад данному совпадению взглядов.)

Стихотворение о Вийоне заканчивает упоминание о жаворонках. Певучая птичка появилась у Мандельштама еще в стихотворении «Аббат» (1915), в одной из редакций: «И самый скромный современник, / Как жаворонок, Жамм поет: / Ведь католический священник / Ему советы подает!» (Франсис Жамм – французский поэт.) Можно предположить, что жаворонки из «Аббата» и стихотворения о Вийоне и Египте отсылают читателя к знаменитым стихам П.Б. Шелли, которые Мандельштам знал в очень известном переводе К. Бальмонта. Вспомним, что Мандельштам упоминает Бальмонта – переводчика Шелли – в статье «О природе слова». Жаворонок – свободный певец – поднимается в небо еще выше, чем готические шпили, и нет ему никакого дела ни до торчащих пирамид, ни до паучьих прав. Приводим начало стихотворения Шелли в переводе Бальмонта:

К жаворонку

1

Пенья дух чудесный,
Ты не птичка, нет!
С высоты небесной,
Где лазурь и свет,
Ты песней неземной на землю шлешь привет!

2

Тучкою огнистой
К небесам ты льнешь,
И в лазури чистой
Звук за звуком льешь,
И с песней ввысь летишь, и, ввысь летя, поешь.

3

В блеске золотистом
Гаснущего дня,
В облаке лучистом,
В море из огня
Резвишься ты, как дух, порхая и звеня [372] .

Стихотворение Шелли обращено к жаворонку, в последней строке мандельштамовского стихотворения о Вийоне пернатый певун упоминается во множественном числе. Все настоящие поэты могут быть уподоблены певчим птицам (традиционное сравнение), в этом ряду Мандельштам видел и себя. Когда Анна Ахматова в «Поэме без героя» писала о смерти Шелли («Георг» – Байрон):

…берег, где мертвый Шелли,
Прямо в небо глядя, лежал, —
И все жаворонки всего мира
Разрывали бездну эфира,

И факел Георг держал, [373] —

она, как представляется, имела в виду не только стихотворение английского поэта о жаворонке, но вполне могла держать в памяти и мандельштамовские стихи о Вийоне. Мандельштам вернулся из Воронежа через два месяца после написания стихотворения «Чтоб, приятель и ветра и капель…», встретился с Ахматовой и наверняка читал незнакомые ей стихи (они всегда «отчитывались» друг перед другом при встрече). Таким образом, Анна Ахматова знала, видимо, стихи о Вийоне с жаворонками в их финале уже в 1937 году, и в процитированных выше строках «Поэмы без героя» (написаны в начале 1941-го) она могла отозваться на голос погибшего друга.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что, не подвергая сомнению искренность Мандельштама в желании стать «вполне советским», говорить о прочности его сталинистских убеждений не приходится. И если нет никаких оснований сомневаться в адекватности слов воронежского знакомого поэта Я. Рогинского (московский антрополог, командированный в Воронеж для чтения лекций): «Говорил Мандельштам о Сталине благожелательно» [374] , то никак не меньшего внимания заслуживает приведенное в воспоминаниях Ахматовой о Мандельштаме высказывание последнего о написанной им «Оде»: «Я теперь понимаю, что это была болезнь» [375] . Но главное, конечно, не высказывания поэта, а его стихи – в них нарисован портрет вождя, притягивавшего и страшившего Мандельштама; в стихах выражены отвращение и ненависть, неприятие «египетского» тоталитарного государства наряду с признанием, в других случаях, сталинской силы и правоты.

Мандельштам вернулся в Москву, о которой тосковал в ссылке, в середине мая, в теплое радостное весеннее время. Изгнание закончилось, возвращению сопутствовали естественные надежды на лучшее. Красивая «сталинка» Лиля нравилась поэту. Отсюда – оптимистичный тон «Стансов» 1937 года и стихотворения «С примесью ворона голуби…».

Центральный парк культуры и отдыха им. Горького. 1936. Фото Э. Евзерихина

Мандельштам понуждал себя полюбить «новую» страну, новую, сталинскую Москву, считать все правильным, идущим как надо, но давалось это ему с трудом. «С приговором полоса» на первой странице «Правды» слишком бросалась в глаза. Дело было даже не в убеждениях, которые могут меняться, и притом радикально, – дело в совершенной противоположности натуры Мандельштама и того, во что ему периодически хотелось уверовать. М.Л. Гаспаров отмечает, что среди просталинских стихов Мандельштама «есть очень сильные» и есть «очень слабые». Безусловно, это так. К первым относятся, например, исповедальное «Средь народного шума и спеха…», «Стансы» (1935) и «Ода». В то же время в стихотворениях этого правоверно-советского плана нередко встречается нечто нарочитое, некая избыточность пафоса, которая должна как бы компенсировать отсутствие непосредственного чувства. Мандельштам рисует Сталина в стихотворении «Обороняет сон мою донскую сонь…»:

Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны;
И брони боевой и бровь, и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны, —

и портрет получается вычурно-маньеристским и холодным. Так и в вышеприведенных стихах Поповой: все, что касается героини стихов, женщины, – написано ярко, выразительно, все «идейное» – с перебором, даже со штампами («биться за дело нетленное»), даже с небрежностью: «Произносящая ласково / Сталина имя громовое / С клятвенной нежностью, с лаской». Мандельштам не умел писать головные стихи «на уровне», он оступался, «проваливался».

Полюбить новую Москву было трудно. Э. Герштейн сообщает о том, что сказал Мандельштам о Москве вскоре после возвращения:

«– И люди изменились… Все какие-то, – он шевелил губами в поисках определения, – все какие-то… какие-то… ПОРУГАННЫЕ.

С такой грустью он это сказал. От самого сердца» [376] .

Полюбить «поруганную» Москву было нелегко, но женщина – молодая, красивая, сильная – навсегда осталась в великолепных мандельштамовских стихах, написанных в начале июля 1937 года в Савелове:

На откосы, Волга, хлынь,
Волга, хлынь,
Гром, ударь в тесины новые,
Крупный град, по стеклам двинь, —

грянь и двинь, —
А в Москве ты, чернобровая,
Выше голову закинь.
Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные, лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком…
Как досталась – развяжи, развяжи —
Красота такая галочья
От индейского раджи, от раджи, —
Алексею, что ль, Михайлычу,
Волга, вызнай и скажи.
Против друга – за грехи, за грехи —
Берега стоят неровные,
И летают поверхи, поверхи
Ястреба тяжелокровные —
За коньковых изб верхи…
Ах, я видеть не могу, не могу
Берега серо-зеленые:
Словно ходят по лугу, по лугу
Косари умалишенные…
Косит ливень луг в дугу.
4 июля 1937

«Галочья», казачья красота Лили Поповой накладывается на волжские впечатления и вызывает ряд исторических и фольклорных ассоциаций: время царя Алексея Михайловича, украденная то ли персидская, то ли «индейская» княжна (деталь имеет некую параллель в эпизоде северокавказского детства Поповой, о котором, возможно, знал поэт: девочку хотели купить у ее деда какие-то горцы).

Но ведь разинцы не везли персиянку Алексею Михайловичу. Мандельштам, впрочем, всегда, как мы знаем, создает свою историю; то же самое имеет место и в этом стихотворении. Может быть, слова о том, что героиня «досталась» «Алексею, что ль, Михайлычу» содержат также намек на имя и отчество второго мужа Поповой – Михаила Алексеевича, – ведь формально Попова оставалась за ним замужем и сохранила фамилию Цветаева.

Очевидно, эта фамилия никак не могла быть безразлична Мандельштаму, тем более что волевая и по-женски сильная Лиля этой стороной своего характера напоминала Марину Цветаеву. Во всяком случае, сочетание Москвы, образа и характера Лили и ее фамилии должно было вызывать «мариноцветаевские» ассоциации.

Возможно, «разинский» мотив в стихотворении возникает у Мандельштама в связи с цветаевским стихотворением «Стенька Разин» (1917). Оно было впервые опубликовано в Москве в 1922 году, в сборнике «Северные дни», во втором выпуске.

Мандельштам в этом году поселился в Москве и читал то, что издавалось. Он пишет две статьи под названием «Литературная Москва», в одной из которых, посвященной поэзии, дает очень резкую оценку стихам Цветаевой, характеризуя их как «лженародные» и «лжемосковские». В данном случае нам важна не справедливость или несправедливость оценки Мандельштама, а то, что он упоминает в это время ее произведения. (Известно, что Мандельштам в эту пору виделся с Цветаевой в ее квартире в Борисоглебском переулке – см. «Список адресов»; об этом посещении пишет во «Второй книге» своих мемуаров Н.Я. Мандельштам, ошибочно датируя встречу летом 1922 года. Летом встреча не могла произойти: Мандельштамы поселились в Москве в марте, а 11 мая 1922 года Цветаева уехала из Москвы в эмиграцию.)

В этом же сборнике «Северных дней» помещены стихи Ходасевича, который вызывал большой интерес у читающей Москвы (что Мандельштам отмечает в первой статье «Литературная Москва»). Во второй статье о московской литературе Мандельштам пишет о прозе, в частности, упоминает В. Лидина, которого мы также находим во втором выпуске «Северных дней». Итак, можно допустить, что Мандельштам знал стихотворение Цветаевой о Разине и персидской княжне, это вполне правдоподобно. В 1937 году, когда он писал «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…», могла сработать такая смысловая цепочка: Москва – Волга – Лиля Попова-Цветаева, ее восточная «чернобровость» (эту фольклорную деталь мы встречаем и у Мандельштама, и у Цветаевой в «Стеньке Разине» применительно к персиянке) – стихотворение Цветаевой – кавказский эпизод детства Поповой.

Изображая свою «чернобровую» героиню, поэт вспоминает о розах. Само собой, очень уместно использовать в данном случае сравнение красавицы с розой – типичный прием восточной, персидской поэзии (у Хафиза и других иранцев; ср. у Мандельштама в цикле «Армения»: «Ты розу Гафиза колышешь…»); нет никаких сомнений и в том, что в сравнении отражена связь внешности героини стихов с цветочной фамилией ее прообраза. Тем более что мандельштамовские розы здесь – «черные, лиловые»: во втором определении очевидно просматривается имя «Лиля», а в первом запечатлены цвет ее волос и общая «чернявость».

Добавим, что сочетание цветов, использованных при описании внешности красавицы – черный, лиловый, белый («молоко», «жемчужный порошок»), несомненно, соотносится со строками: «Тени лица восхитительны – / Синие, черные, белые» – из другого стихотворения, адресованного Поповой, «С примесью ворона – голуби…», которое, как мы знаем, было написано примерно на месяц-полтора раньше под впечатлением поездки с Лилей в автомобиле по Москве. Тени, бежавшие по лицу Лили во время движения по московским улицам, отразились, думается, и в июльских савеловских стихах.

В конце стихотворения звучит щемяще-томительная нота: поэт не может видеть «берега серо-зеленые». Имеется достаточно правдоподобная версия, что в этих словах отразилось впечатление Мандельштама, произведенное на него фигурами заключенных в серых арестантских робах, строивших канал Москва – Волга; их Мандельштам, без сомнения, видел.

Через две недели после написания этих стихов, 18 июля 1937 года, в дневнике Е. Поповой появляется такая запись:

«18-го неожиданно приехал О.Э. и увез меня к Шкловскому. Ехали в машине под проливным дождем, настоящим ливнем. Стояли машины, улицы превратились в реки. Познакомилась с Виктором Шк. Провела с ними день. Вечером поздно вернулась домой.

Запомнился разговор Осипа Эм. со Шкловским об искусстве.

Очень сложно, запутанно.

Пили вино со сливами» [377] .

Кажется, что это тот самый ливень, призываемый в савеловских стихах от 4 июля, разразился и забушевал через две недели в Москве.

Бывал Мандельштам у Яхонтовых не только на Новом шоссе и в Варсонофьевском переулке. Осенью 1937 года Яхонтов и Попова очень увлеченно трудились над композицией об Октябрьской революции, Ленине и Сталине. С начала ноября 1937 года мать Яхонтова, Наталья Ильинична, находилась на лечении в санатории «Сокольники». Яхонтовы сломали перегородки в комнате дома на Варсонофьевском, сняли украинские полотенца, сделали ремонт, поставили двухметровый письменный стол и превратили комнату в основное место своего творческого труда. Места все равно не хватало. К двухметровому столу приставили еще один, «и скоро через всю комнату по диагонали протянулась площадь, покрытая белой бумагой. <…> Постепенно мы стали утопать в груде выписок».

Работа шла почти круглосуточно. Лиля сняла для себя жилье неподалеку, на Петровке, но оставалась ночевать в вольтеровском

кресле тут же, в доме на Варсонофьевском, не уходя к себе.

«Мы подходили к октябрьскому периоду, когда за окнами проносили знамена на парад на Красной площади.

Наступило двадцатилетие Октябрьской революции – мы продолжали лихорадочно работать. Теперь уже нужно было спешить с работой к Всесоюзным выборам в Верховный совет» [378] , – вспоминала этот период Е.Е. Попова позднее, в 1940-е годы [379] .

Итак, Лиля снимала комнату на Петровке. «Живу я сейчас на Петровке, 19, кв. 13. Пиши мне по этому адресу» [380] , – сообщает Еликонида Ефимовна сестре. Там Мандельштам также бывал, и так как, по нашему мнению, важно и ценно буквально все, имеющее отношение к поэту, приведем зафиксированное Поповой высказывание Мандельштама, связанное с этим адресом. «Это была не постель, а целая поэма экстаза, – вспоминает Е. Попова. – Это был самый любимый предмет Нины Андреевны, нашей квартирной хозяйки. Это была французская постель, белая, вся в венках из лепных роз, оснащенная амурами в стиле Людовика Каторз. В медальонах из женских грезовских головок, покрытое белым шелковым одеялом с кружевами, – это ложе сделалось надолго предметом нашей фантазии.

Вся комната была в зеркалах… <…>

Это большое количество зеркал, отражающих роскошную постель, привело к формуле – угол падения равен углу отражения.

Однажды, когда Мандельштам, задумавшись, обозревал эту роскошную кожаную площадь, немногим меньшую моей комнаты на Новом шоссе, родилось еще одно определение – поле битвы» [381] .

Очень вероятно, что именно об этой комнате упоминает в своих воспоминаниях о поэте воронежский друг Мандельштамов Наталья Евгеньевна Штемпель, неточно называя адрес: «Кажется, в Столешниковом переулке». Н. Штемпель преподавала русский язык и литературу в Воронежском авиатехникуме. Во время зимних каникул она гостила у Мандельштамов в Калинине (где поэт с женой поселились во второй половине ноября 1937 года). Приехав с Натальей Штемпель из Калинина на один день в Москву, Мандельштам повел ее к Яхонтову.

«Он снимал меблированную комнату на втором этаже в старинном красивом особняке в центре Москвы… – пишет Н. Штемпель. – Когда мы вошли, Владимир Николаевич стоял между двух больших зеркал, на нем был голубой джемпер, который так шел к его золотым волосам, светло-серые брюки и лакированные черные туфли. Очевидно, он репетировал. Яхонтов кинулся к

Осипу Эмильевичу, не дав ему раздеться, обхватил его и начал с ним кружиться. Так смешно было на них смотреть. Один изящный, элегантный, а другой в нелепой, с чужого плеча меховой куртке мехом наружу, высокой шапке и галошах.

Комната, очень светлая, была обставлена старинной красивой мебелью, но в то же время не было ощущения обжитости, и она, конечно, не отражала индивидуальности своего хозяина. На маленьком столике стоял какой-то комнатный цветок почти без листьев. Он, очевидно, изображал елку, потому что был обвешан бумажными лентами и игрушками. По комнате летали два попугая: голубой и зеленый. Клетки не было, и они сидели, где им хотелось.

Владимир Николаевич был очень любезен, расспрашивал меня о Воронеже, показывал нам, как он работает над своими композициями. Мне запомнились очень длинные, в несколько метров, ленты, состоящие из склеенных листов бумаги разной величины. Мы пробыли у Владимира Николаевича почти целый день, что-то ели. Стол накрывала Лиля, жена Яхонтова. Очень красивая женщина, строго одетая, тихая, молчаливая, совершенно лишенная кокетства. Она даже не включилась в общую беседу. Ее поведение чем-то удивляло меня, и в то же время я любовалась ею» [382] .

Судьба вела Яхонтовых и Мандельштамов разными путями. Уже вскоре после возвращения из Воронежа выяснилось, что положение поэта далеко не так оптимистично, как представлялось Лиле Поповой (судя по ее цитировавшемуся письму Яхонтову, где она приводит стихотворение «С примесью ворона – голуби…»). Обещанный Союзом писателей вечер поэзии Мандельштама, на который Осип Эмильевич возлагал определенные надежды, не состоялся. «Не нужен» – как бы было сказано поэту. В многочисленных мемуарах (воспоминаниях Надежды Мандельштам, Анны Ахматовой, Эммы Герштейн и других) отразилась тяжесть ситуации, в которой оказался Мандельштам в это время.

«Уже год как, все нарастая, вокруг бушевал террор, – пишет Анна Ахматова. – Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, который писал на них ложные доносы, и скоро им стало нельзя даже показываться в этой квартире. Разрешения остаться в столице Осип не получил. <…> Работы не было. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Это, вероятно, тогда Осип говорил Наде: “Надо уметь менять профессию. Теперь мы – нищие” и “Нищим летом всегда легче”» [383] .

Жить было негде и не на что. Яхонтов постоянно помогал чем мог. О том, что Яхонтов «все время» давал им деньги, вспоминает

Н. Мандельштам. Но жизненные дороги поэта и артиста расходились.

«В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года, – вспоминала Ахматова. – Они – он и Надя – приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Все было как в страшном сне. Кто-то пришедший после меня сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у “деда”) нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу» [384] . Оставалось примерно полгода до 2 мая 1938-го, до второго ареста поэта.

Одним из тех людей, которых посещали Мандельштамы в нелегкие 1930-е годы, был старый знакомый поэта художник Лев Александрович Бруни. Подобно Яхонтову, Лев Александрович готов был не только посочувствовать опальному поэту, но и реально помочь – и помогал. Жил он в Замоскворечье.

У Л.А. Бруни и А.А. Осмеркина. Большая Полянка, д. 44, кв. 57, и улица Мясницкая (Кирова), д. 24, кв. 105. 1932–1938

Замоскворечье – один из старейших и колоритнейших

московских районов. Сами названия тут нередко дышат далекой стариной и доносят до нас атмосферу старой Москвы. Так, дом 44 стоит на углу Большой Полянки и Первого Спасоналивковского переулка. Замечательны оба названия; второе, однако, требует некоторого комментария. Еще в начале XVI века здесь были поселены стрельцы для защиты подходов к Москве с юга. Есть версия, что их поселение получило название «Наливки» от глагола «наливать», так как они имели право пить вино не только по праздникам, как большинство населения Москвы, но и в другое время. Есть и другие объяснения. Позднее здесь появилась церковь Спаса Преображения, что в Наливках, снесенная в советскую эпоху. Отсюда название «Спасоналивковские переулки» (Первый и Второй).

У Мандельштама, однако, Замоскворечье не вызвало теплых чувств. Мандельштамы жили здесь – по крайней мере – дважды: зимой 1923–1924 года на Большой Якиманке и в начале 1930-х годов – на улице Большая Полянка (см. «Список адресов»). Э.Г. Герштейн пишет, имея в виду второй адрес: «Я радовалась, что они в Замоскворечье, но Осип Эмильевич не разделял моего умиления переулками из Островского» [385] .

Отношение Мандельштама к этому району выразилось в книге «Путешествие в Армению», где он вспоминает недавнюю жизнь на Большой Полянке: «Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитающиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово “повидло”». И далее идет описание комнат соседей, напоминающих восточные «кумирни» (это описание уже было приведено выше, в главе о Доме Герцена, в связи с «китайской темой» у Мандельштама).

Большая Полянка, д. 44

«И я благодарил свою звезду за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу своих лучших лет», – подводит итог своему сатирическому описанию Мандельштам.

От обитателей современного ему Замоскворечья поэт переходит к прошлому района, которое видится ему столь же мещанским по духу: «Кругом были не дай бог какие веселенькие домики с низкими душонками и трусливо поставленными окнами. Всего лишь семьдесят лет тому назад здесь продавали

крепостных девок, обученных шитью и мережке, смирных и понятливых».

Однако в замоскворецкой «пустыне» имелись и некоторые мандельштамовские «оазисы». Это в первую очередь уже упоминавшийся дом на Большой Якиманке, «грязно-розовый особняк», как сказано о нем в «Путешествии в Армению», – дом, где жил Борис Кузин; это – правда, уже за Садовым кольцом, за южной границей Замоскворечья, – дом на улице Щипок, где Мандельштамы бывали у Эммы Герштейн (см. «Список адресов»); это и дом, о котором пойдет речь в данной главе, – дом 44 на Большой Полянке: здесь жила семья художника Льва Александровича Бруни.

Сам дом появился на улице в 1914 году (архитектор Г.А. Гельрих). Это достаточно характерный для первых десятилетий XX века доходный многоквартирный дом с декоративными деталями в духе модного тогда неоклассицизма. Окна были другие, четырехчастные: верхняя часть и середина окна были неподвижны, открывались крайние створки.

Семья Бруни поселилась тут в 1932 году, заняв две комнаты в коммунальной квартире на пятом этаже. Дом изнутри перестроен, квартира, где около сорока лет, до начала 1970-х годов, проживала семья художника, утрачена.

Л.А. Бруни

А Мандельштам входил с Первого Спасоналивковского переулка в подъезд («Входили с Первого Спасоналивковского» – так рассказывала автору книги покойная Нина Константиновна Бальмонт-Бруни, вдова художника), поднимался по темной лестнице на пятый этаж, к квартире 57. Вошедший в квартиру попадал в «захламленный витиеватый коридор» коммуналки (так пишет в своих воспоминаниях о семье Бруни Лидия Либединская). Коридор вел к комнатам, принадлежавшим семье художника.

Семья эта была замечательная. Хозяйка, Нина Константиновна, – дочь поэта Константина Бальмонта. Ей тогда было за тридцать. Глава семьи, Лев Александрович, – прекрасный художник. Живописец он был потомственный. «У меня в жилах течет не кровь, а акварель», – говаривал он. Действительно: несколько поколений художников Бруни оставили свой след в истории русского искусства. Его предок, Ф. Бруни, написал знаменитую картину «Медный змий» (Русский музей, Петербург). Связывало Л.А. Бруни родство и с художническими династиями Соколовых и Брюлловых. Говоря о работах самого Льва Бруни, в

первую очередь хочется выделить его акварели – лирические пейзажи и интерьеры, неяркие по колориту, истинно поэтичные. В них выражено нежное, бережно-теплое внимание к миру, ко всему, что окружает человека, – мягкому утреннему свету, деревьям, предметам обихода. Его акварели исполнены несуетного внимания к жизни, в них как бы разлита лирическая тишина. Этот же добрый, внимательный интерес мы обнаруживаем в портретах художника.

Искусство Льва Бруни – это искусство человека чистой и тонкой души, а таким и был Лев Александрович.

Н.К. Бальмонт-Бруни

Работал он вообще много и разнообразно. Лидии Либединской он запомнился таким: «В его благородном облике было что-то от мастерового. Я тогда впервые подумала, что искусство художника – это прежде всего большой и тяжелый физический труд. Седые, редеющие волосы, высокий, с залысинами лоб, мохнатые, кустистые брови. Небольшие глаза посажены глубоко, левый немного косит… Глаза его сразу схватывают тебя…» [386] Лев Александрович знал и любил поэзию. Он любил, чтобы ему во время работы читали стихи и прозу вслух. Л. Либединская предполагает, что стихотворные ритмы могли помогать художнику в его труде. С Мандельштамом

он был знаком еще до революции и интересовался его стихами. Во второй половине 1914-го – первой половине 1915-го года Осип Мандельштам бывал по четвергам в петербургской мастерской Льва Бруни, в квартире № 5 Деламотского флигеля Академии художеств, где собирался кружок художников и поэтов: Натан Альтман, искусствовед Николай Пунин, Петр Митурич, Николай Клюев, сын Константина Бальмонта композитор и поэт Николай Бальмонт – старший брат будущей жены художника Нины – и другие. Художник отмечал в стихах Мандельштама точность, «классичность» языка и стремление к строгости формы. В 1915 году Лев Бруни, сравнивая живопись Н. Альтмана и стихи Мандельштама, писал: «Как в поэзии Мандельштам сделал из русского языка латынь не потому, что язык нашел свои законченные формы и перестал развиваться, а потому, что еврейская кровь требует такой чеканки, что вялостью кажется еврею гибкость русского языка, – такое же желание вылить свое живописное чувство в абстрактные, то есть в органические формы есть и у Альтмана» [387] . Л. Бруни написал в то время один из самых замечательных портретов Мандельштама. Гордое, прекрасное, несмотря на определенную неправильность черт, лицо поэта, знающего о своем высоком предназначении и погруженного в одинокий и торжественно-печальный мир своей души – таким показан молодой Осип Мандельштам на этом полотне. Сравним со стихотворением «Автопортрет» 1914 года:

В поднятьи головы крылатый
Намек – но мешковат сюртук;
В закрытьи глаз, в покое рук —
Тайник движенья непочатый;
Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость, —
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!

Интерес к стихам Мандельштама Л. Бруни сохранил и в те годы, когда Осип Эмильевич бывал в доме на Большой Полянке, – в 1930-е. Э.Г. Герштейн запомнила бледное лицо Льва Бруни, который напряженно вслушивался («он был глуховат») в чтение на вечере Мандельштама в Политехническом музее 14 марта 1933 года.

О вечере сохранились воспоминания нескольких мемуаристов. Они дают яркое представление о поэте в этот период, поэтому хотелось бы привести некоторые цитаты.

Эмма Герштейн:

«На вечер Мандельштама выбрались из своих углов старые московские интеллигенты». Э. Герштейн запомнились «измятые

лица исстрадавшихся и недоедающих людей, с глазами, светящимися умом и печалью». «Для такой большой аудитории голос Мандельштама был несколько слаб, ведь микрофонами тогда не пользовались.

Странно мне было смотреть и слушать, как Мандельштам в обыкновенном пиджаке, бледный из-за беспощадного верхнего освещения, разводя руками, читал на свой обычный мотив мои любимые стихи: “Так вот бушлатник шершавую песню поет, В час, как полоской заря над острогом встает” (стихотворение “Колют ресницы, в груди прикипела слеза”)» [388] .

Л.В. Розенталь:

«Зал был радостно оживлен. Мне чудилось напряженное ожидание. Но не все места были заняты. Сначала появился Эйхенбаум [389] . <…> Доклад был несколько длинноват, прочитан вяло и особого энтузиазма не вызвал. А затем на эстраду вынырнул Мандельштам. Под пиджаком виднелся нарядный, несколько даже пестроватый и, видимо, добротный не то вязаный жилет, не то джемпер. Уже одно это было как-то неожиданным. Но еще неожиданнее была бородка, которую отрастил поэт. <…>

Его встретили аплодисментами. Аплодировали истово, долго-долго. Как будто не могли насытиться. А главное – явно от души. Это не была “бурная овация”. Здесь не было ни наскока, ни самобудоражения. Аплодировали, изумляясь и радуясь тому, что вот здесь, в аудитории, сошлось столько единомышленников по пониманию ценности мандельштамовской поэзии. Радостное единодушие хотелось длить еще и еще. Сам Мандельштам вскидывал голову, как триумфатор. <…>

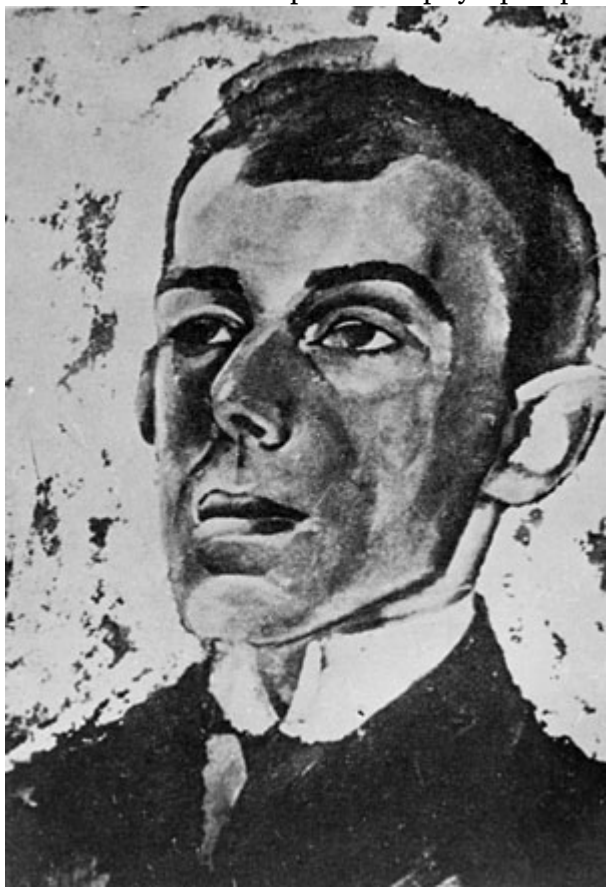
Он начал не со стихов, а с возражений против доклада Эйхенбаума [390] . <…> Триумф вдохновил его речь. Она была повита высоким пафосом. Маяковского он возвеличил. Он назвал его “точильным камнем всей новой поэзии”.

Точно не помню, но кажется, что тотчас же вслед за тем он прочел несколько своих стихотворений. <…>

После перерыва с кратким снисходительно-рассудительным возражением выступил Эйхенбаум. Это было уже совсем ни к чему. <…> К тому же лучшие чувства слушателей были уже расточены на аплодисменты и на восторг перед прозаической импровизацией Мандельштама. Да и сам он как бы растратил весь запас своих сил на эту импровизацию. Он читал и старые, и кое-какие новые стихи. Как будто с особым подъемом про фаэтонщика и про “бога Нахтигаля”. Ему хлопали старательно. Но теперь уже лишь с отраженным от начальной встречи восторгом. Выходя на вызовы, он снова и снова читал стихи. Но

все уже шло диминуэндо.

И все же это было торжество триумфатора» [391] .



Л.А. Бруни. Портрет Осипа Мандельштама. 1910-е

Н.В. Соколову поразил контраст между стихами самого любимого ее поэта и его реальным обликом и поведением (мемуаристке было тогда шестнадцать лет):

«Вышел Мандельштам. <…> Стоит, странно нагнув голову, не как бык (он тонок), а как козел перед изгородью. Весь с кривизной. Полуседая бородка. Какой-то, пожалуй, немного патологичный. В нем что-то кликушеское. Манера речи – старый раздражительный школьный учитель обращается только к первым ученикам на первых партах, отдельные слова строго повторяет с разбивкой на слоги, подчеркивая ритм движением пальца.

<…>… Стихи читал отвратительно – невнятно, себе под нос. Дальше пятого ряда уже нельзя было разобрать. Вместе с тем в его напевности и ритмическом покачивании чувствовалась влюбленность в каждую строфу. Стихи (насколько можно судить по услышанным обрывкам) сделаны блестяще. Читал вещь – длинную, которая начинается словами: “Полночь. Москва…” И

еще ряд незнакомых мне стихотворений… Явно волновался. Часто во время чтения садился. Почитал, почитал – и устал. Ушел».

Далее Н. Соколова говорит о возражениях Эйхенбаума Мандельштаму и приводит очень значимые слова, которыми литературовед закончил свое выступление:

«А кончил так: “Сейчас в кулуарах я слышал фразу: Мандельштам настоящий мастер. Не забывайте, что мастерство – термин ремесленный. Вот Кирсанов – тот мастер. А Мандельштам не мастер, о нет!”».

«После реплики Эйхенбаума, – продолжает Н. Соколова, – Мандельштам опять стал читать стихи. Захлебывался словами, беспрерывно курил, пил воду, снова пускал дым. (Я хотела крикнуть: “Бросьте курить, неуважение к публике!” – да пожалела старика. А так на губах и сидело.) Слышно было плохо, сидевшие позади вставали, проходили тихонько вперед, слушали стоя. <… > Из знакомых мне стихотворений читал “Век”… Еще какие-то стихи, новые. Мне послышалось, что новые вещи колючие, шершавые… <…>

…Ну и что? Да, мне немного досадно было тогда: разбился мой глиняный кумир, мудрый старец с ясными глазами и высоким челом, взирающий на окружающее со спокойствием мыслителя, который выше мелочных дрязг мира сего. Но все же и такой его облик, такой склад характера – нервный, трудный, суматошный, – тоже что-то прибавляет к моему пониманию “Камня”, “Тристий” и всего остального. Пусть будет, каков есть. Разве это так важно? Важны стихи. Они остаются, текут, они со мной и во мне. “Золотистого меда струя…”» [392] .

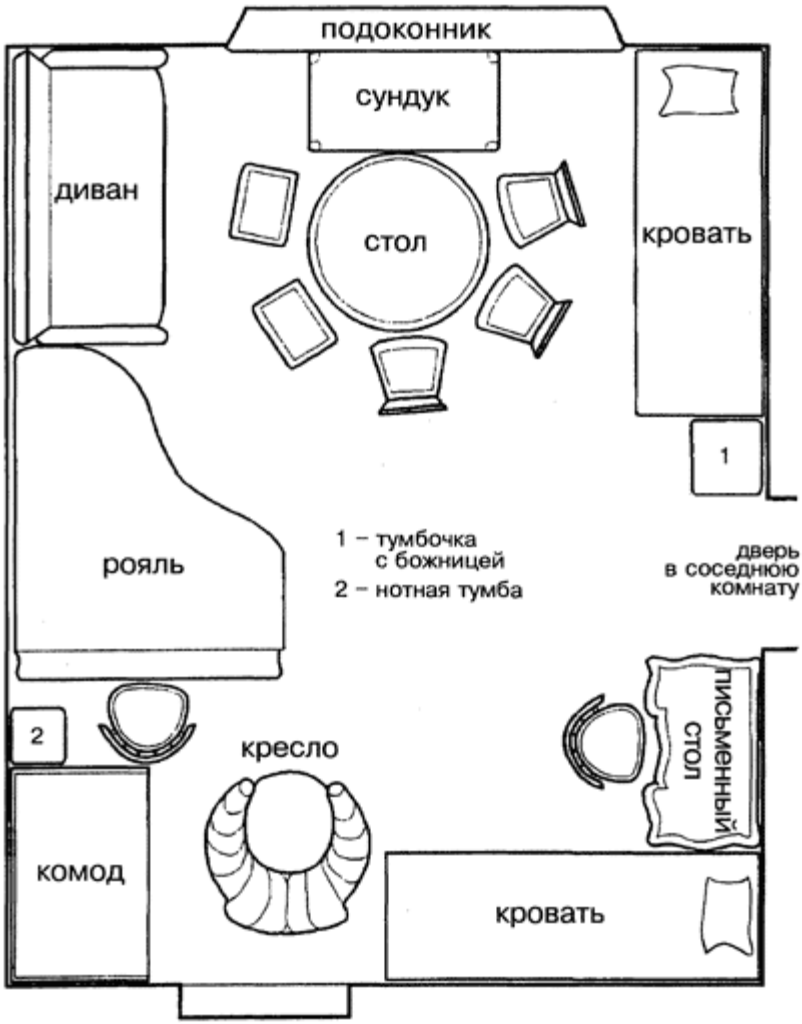
Вернемся к дому Бруни. Видимо, познакомил Мандельштама с Л. Бруни брат художника, поэт Николай Бруни, выпускник, как и Мандельштам, Тенишевского училища в Петербурге. Лев Бруни также учился в Тенишевском, он поступил туда вместе с братом Николаем в 1904 году (будущий художник, правда, училище не окончил). Но Николай и Мандельштам были ровесниками, а Лев Бруни на три года моложе. В 1911–1914 годах некоторые заседания Цеха поэтов, к которому принадлежали Николай Гумилев, Анна Ахматова, Мандельштам и другие литераторы, проходили на квартире Николая Бруни. Н.А. Бруни был человеком ярким и необыкновенным: он был музыкантом, художником, увлекался эсперанто, играл в первой петербургской футбольной команде… Во время Первой мировой войны был санитаром и летчиком (вообще Николай Бруни – один из первых русских авиаторов, летчиков-испытателей). Полный Георгиевский кавалер. В 1918 году, после революции, стал священником,

служил панихиду по А. Блоку.

Писал стихи и прозу (к поэзии его, правда, Мандельштам относился весьма критически; так, Анна Ахматова в одной из записных книжек, вспоминая о Мандельштаме, отметила: «По поводу стихов Н. Бруни пришел в ярость и прорычал: “Бывают стихи, которые воспринимаю как личное оскорбление”» [393]). Николай Бруни стал одним из персонажей «Египетской марки» Мандельштама, он упоминается там под собственным именем. В 1934 году Н.А. Бруни был арестован; будучи заключенным, создал в 1937 году к столетию со дня смерти Пушкина памятник поэту. Памятник, находящийся в городе Ухта, был создан Николаем Бруни из имевшихся материалов – он использовал кирпичи, доски, бетон, арматуру… К сожалению, творение Бруни не могло быть долговечным. Скульптура заменена бронзовой копией; фрагменты оригинала находятся в местном историко-краеведческом музее. Н.А. Бруни погиб в заключении – он был расстрелян в 1938 году.

С 1923 года Лев Александрович Бруни преподавал на графическом факультете, а затем на монументальном отделении Высших художественно-технических мастерских (Вхутемас). Мандельштам бывал у Бруни в доме Вхутемаса (Мясницкая ул., 21, кв. 99), где жила в это время семья художника. Варваре Борисовне Некрасовой, автору воспоминаний о семье Бруни, запомнилась огромная комната «с большими антресолями, на которых… спали и играли дети брата Льва Александровича – Николая Александровича Бруни» [394] . Нина Константиновна Бруни говорила, что комнаты в квартире были высокие, «пятиметровой высоты», с двойными дверями. «Каторжный двор ВХУТЕМАСа» упомянут в очерке Мандельшама «Холодное лето». Действительно, двор узкий, а вокруг высокие корпуса. По устным воспоминаниям вдовы художника Нины Константиновны, в этой квартире Бруни написал еще один «великолепный портрет» Мандельштама – «в кресле, гуашью, такой сепией рыжей, но бумага оказалась негодной: она стала сыпаться и совершенно, как перегретая солома, по кусочкам вся рассыпалась в войну, как мы ее ни берегли». Портрет, по словам Н.К. Бруни, «не был репродуцирован» [395] .

Итак, знакомство Мандельштама с художником было давним. Но, конечно, не только по этой причине бывали в его доме на Большой Полянке в 1930-е годы Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна. Семья Бруни была необычайно гостеприимной, радушной и доброй, и поэт, чувствовавший свое отщепенство и одиночество, приходя сюда, попадал в атмосферу подлинной душевной теплоты, истинной человечности.



План одной из комнат в квартире Л.А. Бруни на Большой Полянке. Рисунок В.Л. Бруни. В кресле любил сидеть Мандельштам

Лидия Либединская пишет о доме Бруни: «В этом доме было много всего – детей и бабушек, картин и книг, стихов и музыки, споров об искусстве, гостеприимства и бескорыстия. Мало было жилплощади и денег» [396] . Действительно, денег и «метров» было мало. Ведь после ареста брата Николая «осталась, – пишет Либединская, – жена с шестью детьми, все мал мала меньше». Лев Александрович взял на себя заботу и о них. А ведь у него и Нины Константиновны были свои дети (к середине 1930-х – пятеро). «У нашего папы восемнадцать иждивенцев», – с гордостью говорили старшие дети. Нелегко было жить, кормить семью и оставаться при этом истинным человеком искусства, подлинным художником. «Леву все любили. Он продолжал жить и быть

человеком, несмотря на все испытания, которые ему послала судьба», – пишет Н.Я. Мандельштам [397] . Лев Александрович с Ниной Константиновной и дети жили в комнатах площадью 18 и 11,5 кв. м. В одной жил художник с женой, другая, неправильной формы, служила детской. Правда, комнаты были высокие (3,5 метра), и в детской были устроены откидные кровати у стенок. Такой запомнилась квартира художника одной из его учениц: речь идет именно об интересующем нас времени – 1930-х годах:

«В Москве Лев Александрович Бруни жил в общей большой квартире на Большой Полянке. Семья из девяти-десяти человек занимала две небольшие смежные комнаты. Там Лев Александрович работал среди детского шума и развлечений, соответствующих их возрасту. В других комнатах тоже жили художники, эта квартира в двадцатые годы была предоставлена преподавателям ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА.

Зашел как-то сосед, художник В.П. Киселев, и удивился, как в такой обстановке можно работать. “А я люблю, когда вокруг меня шумно”, – сказал Лев Александрович» [398] .

Лидия Либединская продолжает: «…Если узнавали, что где-то беда, кидались не затем, чтобы выразить сочувствие, а для того, чтобы помочь. Здесь с благодарностью принимали радость и мужественно встречали горе. Здесь не боялись никакой работы: чисто вымытый пол или до блеска протертое окно вызывали такое же горячее одобрение, как прозрачные и мечтательные акварели, созданные руками хозяина дома…» [399]

О том же свидетельствуют воспоминания В. Некрасовой: «Дом Бруни стал для меня местом, куда я могла придти со всем, что во мне было, и где меня, как и многих других, принимали без лишних слов. Сама атмосфера дома умиротворяла и давала силы, и не только мне, а многим».

Всеми любимые,
Нужные всем, —
Полянка, сорок четыре,
Квартира пятьдесят семь.

Приведя это немудреное четверостишие, неизвестно кем из друзей семьи Бруни сочиненное, В.Б. Некрасова подтверждает, что «оно соответствовало истине» [400] .

И еще одно свидетельство, А. Чегодаева: «В доме Бруни постоянно не было ни гроша. Жизненное благополучие мало чем отличалось от нищеты, но он не придавал этому ни малейшего значения, так же как и жена его Нина Константиновна… Никакая рассудочность не могла бы найти там пристанища, зато вся жизнь была пронизана насквозь художественным творчеством, ненасытной творческой изобретательностью, огромным, не

знающим ни меры, ни усталости, ни остановки трудом самого высокого класса, самого высокого мастерства, самой глубокой поэтической тонкости. Это приводило к тому, что Бруни занимался искусством как чем-то абсолютно естественным, не имеющим никакого особенного значения» [401] .

Воспоминания Лидии Либединской позволяют нам как бы войти в квартиру на пятом этаже, где бывал Мандельштам: «Здесь все сделано хозяйскими руками: украшения на елке, ржаные медовые пряники в виде сказочных зверей и растений, разрисованные белой глазурью, абажур на лампе, кушанья на столе, игрушки из корней и бересты» [402] . Добавим к этому, что на стенах висело несколько работ хозяина и тикающие расписные ходики.

Бывали на Большой Полянке у Бруни в разное время люди замечательные: художники Владимир Фаворский, Александр Осмеркин, искусствовед Николай Пунин, музыканты Владимир Софроницкий и Генрих Нейгауз; приходили Сергей Городецкий, Николай Клюев, молодой поэт Арсений Тарковский и чтец Дмитрий Журавлев, поморский писатель Борис Шергин и Анна Ахматова. Ахматова, по словам Н.К. Бруни, «вносила особую атмосферу: она была царственна, величественна».

Бывала и играла на рояле великолепная пианистка Мария Вениаминовна Юдина; на время игры «голубые, с красными деревенскими розами» (Л. Либединская) ходики останавливались. Мандельштам, очень любивший игру Юдиной и бывший в дружеских отношениях с ней (Юдина, как известно, специально добивалась концертов в Воронеже в период ссылки Мандельштама и много ему там играла), мог слышать ее и в доме Бруни (но не ранее 1937 года – Мария Вениаминовна впервые побывала в квартире на Большой Полянке 5 мая 1936-го).

Музыку поэт очень любил. Как не вспомнить мандельштамовские стихи 1921 года:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами…
«Концерт на вокзале»

Среди архивных записей В. Яхонтова и Е. Поповой имеется и словесный портрет М.В. Юдиной: «На плечах у Марии Юдиной был яркий русский платок. Она была очень красива. Ходила в длинных черных шерстяных платьях, повязанных широким шелковым шнуром, с длинными рукавами. В этом платье было что-то монашеское. Она была религиозна, но религия ее уходила в страстный темперамент музыканта. Круглый овал лица с большими серыми глазами, большие темно-русые волосы,

свернутые в тяжелый пучок на затылке. Это была большая величественная русская (последнее слово в рукописи зачеркнуто. – Л.В.) женщина» [403] . (М.В. Юдина была еврейкой и православной по вероисповеданию.)

Мандельштам познакомил с Юдиной своего воронежского друга Наталью Штемпель, и, судя по воспоминаниям Натальи Евгеньевны, это знакомство состоялось именно в Москве.

Мандельштаму всегда была присуща сдержанность в выражении своих чувств по отношению к наиболее для него важным явлениям или людям. Музыка, без сомнения, входила в этот круг. Композитор Артур Лурье отмечает: «Мандельштам страстно любил музыку, но никогда об этом не говорил. У него было к музыке какое-то целомудренное отношение, глубоко им скрываемое. <…> Мне часто казалось, что для поэтов, даже самых подлинных, контакт со звучащей, а не воображаемой музыкой не является необходимостью и их упоминания о музыке носят скорее отвлеченный, метафизический характер. Но Мандельштам представлял исключение: живая музыка была для него необходимостью» [404] .

Импрессионисты в Музее нового западного искусства. 1930-е

Мандельштам, как вспоминала Нина Константиновна Бруни, бывал у них и один, и с Надеждой Яковлевной. Осип Эмильевич, в силу своей импульсивности и рассеянности, иногда попадал в комические ситуации (Н.К. Бруни не конкретизировала это

утверждение). Он любил сидеть в старинном «дедушкином» кресле, обтянутом свиной кожей, и в этом кресле и был изображен художником в доме на Мясницкой улице, где Бруни жили до переезда на Большую Полянку (это тот самый вышеупомянутый погибший портрет).

По свидетельству вдовы художника, Мандельштам интересовался творчеством Бруни. Художник показывал поэту, в частности, свои иллюстрации к литературным произведениям («Дон Кихоту» и другим – Бруни много занимался книжной иллюстрацией). «Дон Кихот» Сервантеса был издан с иллюстрациями Бруни в 1924 году. Не исключено, что впечатления Мандельштама от работ Бруни к «Дон Кихоту» отозвались в строках из «Стихов о неизвестном солдате»: «Хорошо умирает пехота, / И поет хорошо хор ночной / Над улыбкой приплюснутой Швейка / И над птичьим копьем Дон-Кихота, / И над рыцарской птичьей плюсной».

Мандельштам, как известно, вообще любил и знал живопись, эта область искусства была для него так же открыта, как и музыка. Он обладал настоящим художническим инстинктом. Его высказывания о живописи всегда свежи, нетривиальны. Трудно подобрать лучший пример, чем характеристика французских живописцев в книге «Путешествие в Армению» (глава «Французы»):

«Здравствуй, Сезанн! Славный дедушка! Великий труженик. Лучший желудь французских лесов.

Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Он незыблем, как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти.

Но меня-то пленил натюрморт старика. Срезанные, должно быть, утром розы, плотные и укатанные, особенно молодые чайные. Ни дать ни взять – катышки желтоватого сливочного мороженого.

<…>

Дешевые овощные краски Ван Гога куплены по несчастному случаю за двадцать су.

Ван Гог харкает кровью, как самоубийца из меблированных комнат. Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся, как желоб, в электрическом бешенстве. И узкое корыто бильярда напоминает колоду гроба.

Я никогда не видел такого лающего колорита.

А его огородные кондукторские пейзажи! С них только что смахнули мокрой тряпкой сажу пригородных поездов.

Его холсты, на которых размазана яичница катастрофы, наглядны, как зрительные пособия – карты из школы Берлица.

<…>

Каждая комната имеет свой климат. В комнате Клода Моне воздух речной. Глядя на воду Ренуара, чувствуешь волдыри на ладони, как бы натертые греблей». (Упомянутый М.Д. Берлиц – разработчик методики обучения иностранным языкам.)

Само это описание живописи является, в сущности, великолепной живописью! Приведем цитату из материалов к «Путешествию в Армению» (в квадратные скобки заключены подбиравшиеся в процессе работы над произведением и по каким-то соображениям не подошедшие варианты):

«В комнате Клода Моне [и Ренуара] воздух речной. [Входишь в картину по скользким подводным ступеням дачной купальни. Температура 160 по Реомюру… Не заглядывайся, а то вскочат на ладонях янтарные волдыри, как у изнеженного гребца, который ведет против теченья лодку, полную смеха и муслина.]»

Встретиться с картинами «французов», по мнению Мандельштама, – все равно что промыть глаза, вернуть им свежесть и яркость восприятия. «Так опускают глаз в налитую всклянь широкую рюмку, чтоб вышла наружу соринка». В подготовительных записях: «Глаз требует ванны. Он разохотился. Он купальщик. Пусть еще раз порадуют его свежие краски Иль-де-Франс…» В тех же записях: «Художник по своей природе – врач, исцелитель. Но если он никого не врачует, то кому и на что он нужен?» И живопись «врачует» – стирает с жизни налет обыденности, высвобождает от рутины: «Что мы видим? Утром – кусок земляничного мыла, днем […]» (черновая незаконченная запись к другой главе «Путешествия в Армению», главе «Москва»). Живопись «французов» возвращает человеку молодость, возвращает жизни притягательную новизну, зовет в путешествие: упоминая «книжку Синьяка в защиту импрессионизма» (имеется в виду книга Поля Синьяка «От Эж. Делакруа к неоимпрессионизму»), Мандельштам пишет:

«Он основывал свои доказательства на цитатах из боготворимого им Эжена Делакруа [405] . То и дело он обращался к его “Путешествию в Марокко”, словно перелистывая обязательный для всякого мыслящего европейца кодекс зрительного воспитания.

Синьяк трубил в кавалерийский рожок последний зрелый сбор импрессионистов. Он звал в ясные лагеря, к зуавам, бурнусам и красным юбкам алжирок.

При первых же звуках этой бодрящей и укрепляющей нервы теории я почувствовал дрожь новизны, как будто меня окликнули по имени…» («Путешествие в Армению», глава «Москва»).

Совершенно неслучайно тема живописи играет столь важную

роль в книге о путешествии в новую страну, открытии ее для себя.

В подготовительных записях к главе «Французы»: «Такая определенность света, такая облизывающая дерзость раскраски бывает только на скачках [в которых ты заинтересован всею душой…]. И я начинал понимать, что такое обязательность цвета, азарт голубых и оранжевых маек и что цвет не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем…» Эти «беговые» ассоциации связаны, несомненно, со «старосадским» стихотворением «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..», в частности, с его финальным заявлением: «Я сохранил дистанцию мою». Корреспондирует с главой «Французы» и «водный» мотив стихотворения («…вся Москва на яликах плывет…»). Тема живописи объединена с французской темой; Франция, как уже говорилось выше, всегда ассоциируется у Мандельштама с дерзостью и веселостью.

Не исключено, что «беговые» детали в «Довольно кукситься!..» и в «Путешествии в Армению» восходят не только к французской живописи, но и французской прозе, а именно к Прусту. Осенью 1928 года в подмосковном санатории «Узкое» с Мандельштамами познакомилась Эмма Герштейн; в своих мемуарах она упоминает о том, что привезла Мандельштаму из Москвы книгу Пруста «Под сенью девушек в цвету». В главе о Яхонтове и Поповой уже приводилось то место из воспоминаний Э. Герштейн, в котором она передает свой разговор с поэтом о Прусте. Между тем именно в этой книге Пруста (во второй ее части, «Имена стран: страна») художник Эльстир, несомненный «собирательный» импрессионист, научивший героя книги видеть красоту в обыденной жизни, говорит ему о том, какое это яркое зрелище – жокей, сдерживающий лошадь перед стартом, его движения, лошади на беговом поле, красивые зрительницы; Эльстир говорит о том, как ему хотелось бы передать это на полотне. Думается, это место из прустовской прозы не ускользнуло от внимания Мандельштама.

Живопись «французов» обновляет чувство цвета, их картина мира настолько ярка и выразительна, что она может конкурировать с самой действительностью, и эта не тронутая взглядом художника действительность проигрывает живописи:

«Я вышел на улицу из посольства живописи.

Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце – завернутым в серебряную бумагу». В записях к «Путешествию в Армению» найдена парадоксальная формула: «…всю солнечную казенщину действительности…».

На самом деле никакой изначально одинаковой, общей для всех

действительности, по мнению Мандельштама, не существует. Освоение действительности есть творческий процесс. Художник (в узком и широком смысле – поэт, музыкант, певец, скульптор) не копирует жизнь, а преображает ее.

Л.В. Горнунг вспоминал (речь идет о вечере Мандельштама в Клубе художников 3 апреля 1933 года): «Перед чтением Осип Эмильевич сказал довольно странную, во всяком случае, экстравагантную речь о реализме, о глазе художника. Он сказал, что никто не может быть реалистом, что действительности как данности нет, есть действительность как искомое, как проблема» [406] .

Через день, 5 апреля, Мандельштам утверждает в письме к М. Шагинян: «Материальный мир – действительность – не есть нечто данное, но рождается вместе с нами. Для того чтобы данность стала действительностью, нужно ее в буквальном смысле слова воскресить. Это-то и есть наука, это-то и есть искусство».

Открытая, «воскрешенная» и преображенная художником действительность становится общей – мы воспринимаем жизнь в тех формах и в том виде, в каких художник увидел или услышал ее. «Клод Моне продолжался, от него уже нельзя было уйти» (после выхода на улицу из музея), – говорится в записях к «Путешествию в Армению».

Впечатления Мандельштама от живописи были связаны в основном с посещением Музея нового западного искусства на Кропоткинской улице (ныне Пречистенка, улице возвращено старое название; сейчас в этом здании размещается Академия художеств). Исключительные по ценности собрания С.И. Щукина и И.А. Морозова были после революции национализированы и объявлены Первым и Вторым музеями новой западной живописи. В 1923 году они получили общий статус единого Государственного музея нового западного искусства, а в 1928-м две коллекции были объединены в бывшем особняке Ивана Абрамовича Морозова на Кропоткинской (д. 21). В 1948 году музей был расформирован, его фонды распределили между Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и ленинградским Эрмитажем.

«Возникло из посещения музея», по словам Э. Герштейн, и стихотворение «Импрессионизм».

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.
Он понял масла густоту;

Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.
А тень-то, тень – все лиловей!
Свисток иль хлыст как спичка тухнет.
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.
Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.

23 мая 1932

«Жирная» летняя жара и густой «развал» сирени ощущаются в этом стихотворении почти физически. Вероятно, поводом для написания этих стихов послужила в первую очередь картина Клода Моне «Сирень на солнце» (ныне в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Н. Мандельштам в «Третьей книге» дает короткий комментарий к этому стихотворению: «Сохранился беловик моей рукой. Аксенов подошел к окну [407] и сказал, что это русский художник, потому что французы пишут тонко, лессировками… Это не совсем так: масло и у них сохраняет свою специфику» [408] . Иван Александрович Аксенов – поэт и литературный критик. В статье 1922 года «Литературная Москва» Мандельштам высоко оценил его понимание значения скончавшегося В. Хлебникова для русской поэзии: «…в Москве… И.А. Аксенов, в скромнейшем из скромных литературных собраний, возложил на могилу ушедшего великого архаического поэта прекрасный венок аналитической критики, осветив принципом относительности Эйнштейна архаику Хлебникова и обнаружив связь его творчества с древнерусским нравственным идеалом шестнадцатого и семнадцатого веков…». Лессировка – нанесение тонкого дополнительного красочного слоя (или слоев) поверх другого, высохшего красочного слоя. Используется, в частности, для обогащения колорита. Сквозь лессирующий красочный слой просвечивает покрытый им нижний.

Мандельштам любил сирень. Ярким дополнением к приведенным стихам служит прозаическое описание из записной книжки к «Путешествию в Армению» (к главе «Французы»), настолько зримое, что слова, составляющие это описание, кажется, становятся красками; к нарисованным поэтом цветочным гроздьям хочется прикоснуться и ощутить их запах: «Роскошные

плотные сирени Иль-де-Франс, сплющенные из звездочек в пористую, как бы известковую губку, сложившиеся в грозную лепестковую массу; дивные пчелиные сирени, исключившие [из мирового гражданства все чувства] все на свете, кроме дремучих восприятий шмеля, – горели на стене [тысячеглазой] самодышащей купиной [и были чувственней, лукавей и опасней огненных женщин], более сложные и чувственные, чем женщины».

По «французам» из Музея нового западного искусства Мандельштам тосковал в Воронеже. Уже в конце ссылки, 26 апреля 1937 года, он пишет Надежде Яковлевне в Москву (куда она из Воронежа неоднократно выезжала – ведь она же осужденной не являлась): «Надик, ты, кроме дел, в Москве живи. Смотри картины. Все, что я хочу видеть, – ты смотри».

А когда в следующем месяце, в мае, Мандельштамы вернулись в Москву, первым делом отправились смотреть импрессионистов.

«Вместо того чтобы впасть в уныние, трезво обсудив положение и придя к ужасным выводам, мы свалили среди комнаты вещи и сразу пошли к “французам”, в маленький музей на ул. Кропоткина.

“Если мне суждено вернуться, – часто повторял в Воронеже О.М., – я сразу пойду к «французам»”. Марья Вениаминовна Юдина заметила, как О.М. скучает по французской живописи: когда она приезжала в Воронеж, он не забывал о них, даже когда она ему играла. Чтобы утешить его, она прислала ему только что выпущенный музеем альбом. Все же репродукции, да еще довольно дрянные, – это не подлинники, и они только раздразнили О.М. Не переодеваясь с дороги, едва выпив вечного чаю, он побежал в музей к самому открытию» [409] .

Вышесказанное, естественно, не означает, что Мандельштам не знал других художников и не бывал в других московских музеях. Так, о посещениях Мандельштамом Третьяковской галереи есть упоминания у Э. Герштейн и Н. Штемпель. Н. Мандельштам пишет: «Мы много раз вместе смотрели Рублева, и Мандельштам всегда старался найти доказательства, что Рублев был знаком с итальянской живописью» [410] . «В то далекое и счастливое лето [411] , – пишет Н.Е. Штемпель, – я зашла как-то к Шкловским за Осипом Эмильевичем, и мы пошли в Третьяковскую галерею, она была напротив дома. Но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким. Осип Эмильевич, не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он и шел» [412] .

«Любите живопись, поэты!» – написал однажды Н.

Заболоцкий. Мандельштама не нужно было призывать к этому. Из современников он особенно любил А. Тышлера, знал и ценил А. Осмеркина (тоже, как уже упоминалось, бывавшего у Л. Бруни на Большой Полянке). Художник Александр Осмеркин, как и Л. Бруни, жил в 1920-е годы в здании ВХУТЕМАСа на Мясницкой улице (позднее улица Кирова), напротив Главпочтамта. Проживали они тогда в одной квартире – 99. Лев Бруни, как мы знаем, поселился в 1932 году на Большой Полянке, а Александр Осмеркин переехал в 1930-е в другой дом на той же улице, где жил ранее, – дом 24 по улице Кирова. Осмеркин, который определенное время относился к Мандельштаму, по словам Э. Герштейн, несколько иронически, постепенно «стал говорить о нем с уважением» [413] . Ему нравились «За гремучую доблесть грядущих веков…», стихи о Крыме («Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым…»), «Квартира тиха, как бумага…» и другие мандельштамовские стихи. Однажды по совету Мандельштама он даже изменил типаж на одном из своих холстов, хотя вообще «не выносил, когда ему делали замечания или давали советы по неоконченной работе», по словам Е.К. Осмеркиной-Гальпериной. По мнению Мандельштама, типаж продавщицы из булочной на картине не годился. «Это булочная в Киеве или Ростове, а вам заказана Москва. Надо типаж менять», – приказал Мандельштам. (Картина создавалась по заказу Моссельпрома.) Осмеркин послушался и на другой день нашел натурщицу – «полную, белокурую сдобную бабу» [414] .

Ул. Мясницкая, д. 24. Справа под крышей – окно мастерской А. Осмеркина

Осмеркин последовал совету Мандельштама, очевидно, потому, что в суждении поэта проявился его «острый глаз», точность образа. А это художник в Мандельштаме понимал и ценил. Так, Осмеркин восхищался характеристикой земли в стихах о голодном Крыме («На войлочной земле голодные крестьяне…»). «“Войлочная земля, как это точно!” – воскликнул Александр Александрович Осмеркин… Он узнавал Крым, в котором бывал, писал там с натуры. Он объяснял мягкость тамошней земли тем, что “с деревьев что-то сыплется”. А коктебельцы еще указывают, что уже ранней весной в верхнем слое почвы появляются проростки зеленовато-голубой полыни и коричневого чабреца. Все это вместе дает в Крыму ощущение мягкого ковра под ногами» [415] .

Ул. Мясницкая, д. 24. Справа под крышей – окно мастерской А. Осмеркина

Осмеркин внес очень весомый вклад в иконографию Мандельштама. Это было в 1937 году, то есть незадолго до второго ареста и гибели поэта. У себя в мастерской на улице Кирова (д. 24, кв. 118) художник запечатлел образ поэта.

«Почему-то в этот вечер Осмеркин, который всегда считал себя слабым рисовальщиком и мало оставил после себя рисунков, сидя за чайным столом, сделал с Мандельштама два карандашных рисунка. Осип Эмильевич даже не позировал. Это были наброски, как говорят художники, “на скатерти стола”. Но именно таким я его и помню. И ведь подумать только – это была последняя возможность еще раз запечатлеть его черты, и, наверное, это чувствовал художник» [416] .

Видимо, эти два карандашных рисунка – последние портреты поэта (именно портреты, а не фотографии).

Ул. Мясницкая, д. 24. Вход в подъезд, где жил А. Тышлер

И еще один эпизод, выразительно характеризующий отношение Осмеркина к поэзии Мандельштама. «А уже гораздо позднее, может быть, в военные годы, – заканчивает свои мемуары о поэте Елена Константиновна Осмеркина-Гальперина, – у нас была Анна Андреевна Ахматова. Она читала много своих стихов. И уже совсем поздно, после ужина, когда мы просили ее почитать еще, она сказала: “Только не свои. Сейчас прочту я

стихи Мандельштама”. Она прочла несколько стихотворений. Вдруг Осмеркин вскочил и стал возбужденно ходить по комнате, все время повторяя: “Вот это стихи! Вот это действительно стихи!” Я как хозяйка дома была смущена до крайности этой бестактностью по отношению к Анне Андреевне. Украдкой я взглянула на нее. На ее лице не было никакого недовольства. Она задумчиво повторяла вслед за Осмеркиным: “Да, это действительно стихи!” Осмеркин опомнился, подошел к Анне Андреевне и, целуя ее руку, сказал: “Ты прекрасна, слова нет, но…” Но тот, кто был ее прекрасней, не спал в хрустальном гробу, а был стерт с лица земли» [417] .

В этом же доме на улице Кирова бывал Мандельштам и у художника Александра Григорьевича Тышлера (тот жил в квартире 82). Как пишет Н.Я. Мандельштам, сразу после возвращения из Воронежа «собирался О.М. сходить и к Тышлеру: “Надо насмотреться, пока еще чего-нибудь не случилось”. Тышлера он оценил очень рано, увидав на первой выставке ОСТа серию рисунков “Директор погоды”. “Ты не знаешь, какой твой Тышлер”, – сказал он мне, приехав в Ялту. В последний раз он был у Тышлера и смотрел его вещи перед самым концом – в марте 38 года» [418] . (ОСТ – общество художников-станковистов, основанное в Москве в 1925 году.)

В. Милашевский. Мясницкие ворота. 1929

Но вернемся к дому Бруни – на Большую Полянку. Было в этом дружеском доме художника Льва Бруни о чем говорить, о чем вспомнить. Вероятно, хотя бы иногда могла идти речь о начале века, о символизме и о бунте против него футуристов и акмеистов. Хотя Мандельштам в молодые годы выпустил ряд критических стрел по адресу символистов, он, естественно,

прекрасно сознавал всю огромную значимость этого движения в русской культуре; неслучайно он писал про «родовое лоно символизма», общее для всей новой поэзии.

Когда в 1937 году Мандельштамам жить было уже негде, Л.А. Бруни пытался помочь им, как мог. «“Кому нужен этот проклятый режим!” – сказал Лева Бруни, сунув О.М. деньги на поездку в Малый Ярославец», – пишет Н. Мандельштам [419] . Дочь художника, Нина Львовна, не отрицая фактической стороны поступка Л. Бруни, сомневается в том, что отец мог выразиться именно так: по ее словам, он никого не называл «проклятым». Может быть, в данном случае слово все-таки могло быть произнесено – ведь речь шла не о ком-то, а о режиме? О запрете жить в Москве?

В Малоярославце Л.А. Бруни купил небольшую дачу – две комнаты, полдома – для жены и детей репрессированного брата Николая (разместиться всем на Большой Полянке было невозможно). Но Мандельштамы, побывав там, в Малоярославце не обосновались: им показалось тогда, что «затеряться» в маленьком городке не удастся – все на виду; может быть, легче укрыться в большом городе? К несчастью, эта надежда не оправдалась.

После написания антисталинских стихов Мандельштам неотвратимо шел к гибели. Он и сам это сознавал, хотя периодами надеялся на лучшее. Но, прежде чем рассказать о последнем московском жилье поэта, надо еще вспомнить о доме, где он бывал у Марии Петровых – адресата стихотворений, написанных зимой 1933–1934 годов.

У М.С. Петровых. Гранатный переулок, д. 2/9, кв. 22. 1933–1934

Мария Сергеевна Петровых родилась в 1908 году в семье инженера, работавшего на Норской фабрике неподалеку от Ярославля. В Ярославле прошли ее детство и юность, там она писала свои первые стихи. В 1925 году семнадцатилетняя Маруся приехала в Москву и вскоре поступила на Литературные курсы при Всероссийском Союзе поэтов. Она была принята на учебу

вместе с Арсением Тарковским и поэтессой Юлией Нейман, с которыми навсегда сохранила дружеские отношения. Сначала М. Петровых жила у родителей в Замоскворечье (Второй Казачий переулок), но затем поселилась у сестры Екатерины в Гранатном переулке, рядом с Никитскими воротами.

Дом 2/9, «утюгом», стоящий на развилке Гранатного и Спиридоновки (позднее назывались улица Щусева и улица Алексея Толстого, в настоящее время возвращены старые названия), состоит из двух объединенных разновременных частей: «На самом углу здание, построенное в 1902 году по проекту архитектора В.А. Величкина, а часть по улице Щусева выстроена в 1899 году архитектором Г.А. Кайзером» [420] . Мария Петровых и ее старшая сестра Екатерина жили во втором от развилки со Спиридоновкой подъезде дома по Гранатному переулку, в квартире на четвертом этаже. Поднявшись на лестничную площадку четвертого этажа, нужно было звонить в первую квартиру налево от лестницы. По словам Е.С. Петровых, квартира имела номер 22. Это подтверждается и данными справочников «Вся Москва». До «коммунальных» времен квартира принадлежала семье архитектора Сергея Борисовича Залесского (автора сравнительно недавно снесенного здания Военторга на Воздвиженке), с которым семья Петровых познакомилась еще в дореволюционное время. С. Залесский возводил ряд построек на Норской фабрике и, приезжая на место строительства, останавливался у знакомого инженера и управляющего фабрикой Сергея Алексеевича, отца будущей поэтессы. В 1924 году Екатерина Петровых переехала в Москву и вскоре поселилась у Залесских. Семье архитектора грозило «уплотнение», так как у них имелся излишек жилой площади. Не желая, чтобы к ним в квартиру поместили неизвестно кого, они оставили у себя девушку из хорошо знакомой семьи в порядке «самоуплотнения» [421] . Во «Всей Москве» на 1925 год мы обнаруживаем живущего именно в этой квартире «Залесского Б.» (кто это, неясно; может быть, это ошибка в справочнике и имеется в виду Залесский С.Б.?), а во «Всей Москве» на 1930-й – «Залесскую Любовь Сергеевну» – это дочь архитектора. (Семья Залесского, по словам Е.С. Петровых, состояла из трех человек: глава семьи, его жена и их дочь.)

В Москве Екатерина Петровых окончила курсы английского языка и до замужества работала в Библиотеке иностранной литературы. В 1938 году на ней женился Виктор Викторович Чердынцев, ученый-геофизик и геохимик, человек разносторонних интересов и обширных знаний.

Десятью годами раньше, в 1927 году, ее младшая сестра

Мария вышла замуж за Петра Алексеевича Грандицкого, с которым познакомилась еще в Ярославле – он также писал стихи и был участником местного союза поэтов. Грандицкий был специалистом в области сельского хозяйства. Переехав в Москву, он поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономики. «Вместе с М.С. Петровых посещал Высшие государственные литературные курсы (ВГЛК) при Всероссийском союзе поэтов» [422] . После окончания аспирантуры в 1929 году Грандицкий был направлен на работу в Воронежский сельскохозяйственный институт. Его служба была сопряжена с нередкими долгими командировками.

В 1933 году Мария Петровых познакомилась в Ленинграде с Анной Ахматовой. Анне Андреевне понравились стихи двадцатипятилетней москвички. Со временем М. Петровых стала одной из самых близких подруг Ахматовой, высоко ценившей стихи и переводы Марии Сергеевны. Возможно, именно Ахматова представила Марию Петровых Мандельштамам. Через некоторое время знакомство переросло со стороны Мандельштама во влюбленность.

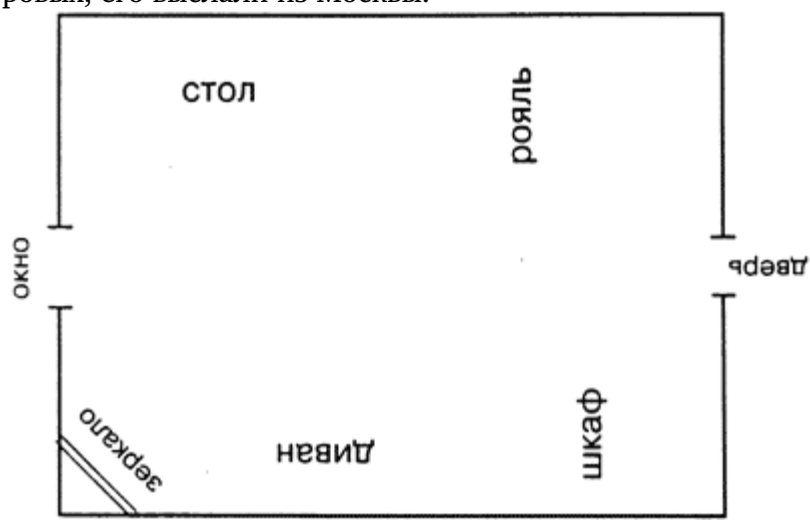
«В 1933–1934 годах Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых», – пишет Анна Ахматова в «Листках из дневника» [423] . В этот период поэт и бывал у сестер Петровых в доме на развилке Спиридоновки и Гранатного переулка.

Как жили тогда сестры Петровых? Мы можем в определенной мере представить их тогдашнюю жизнь – и Мандельштама в их доме – по воспоминаниям Екатерины Сергеевны, которыми она любезно поделилась с автором этой книги (Е.С. Петровых прожила долгую жизнь: она родилась в 1903-м, а скончалась в 1998 году.) В 1988 году она прочитала фрагмент из своих мемуаров в Ярославле на вечере, посвященном восьмидесятилетию со дня рождения Марии Петровых (была сделана фонозапись). Позднее ее воспоминания были опубликованы [424] .

Коммунальная квартира состояла из пяти комнат. По словам Екатерины Сергеевны, ей с сестрой принадлежало жилье размером в десять квадратных метров (в опубликованных воспоминаниях говорится о восьмиметровой комнате). Мария Сергеевна была замужем, но П. Грандицкий бывал в Москве наездами. В 1934 году М. Петровых разошлась с мужем и осталась здесь вдвоем с сестрой.

(С П.А. Грандицким у Марии Петровых сохранились и после развода теплые дружеские отношения.)

В комнате сестер было, естественно, тесно. У входа в комнату справа помещался рояль (не пианино, а именно рояль определенной модификации – он занимал примерно третью часть пространства). Налево от входа – шкаф красного дерева с посудой и немногочисленными книгами. За роялем – письменный столик, у шкафа – тахта (в мемуарах Е.С. Петровых упоминает две кровати; одной из них, видимо, надо считать тахту), ближе к окну во двор – зеркало. За стеной проживал колоритный сосед – сын известного купца Саввы Морозова Савва Саввич, «которого в знак благодарности к его отцу содержал на своем довольствии театр, основанный Саввой Морозовым» [425] (имеется в виду Московский художественный театр, с 1920 года – Московский художественный академический театр, МХАТ). У С.С. Морозова была во МХАТе незначительная и малопонятная должность, что-то по административной части. Позднее, по утверждению Е.С. Петровых, его выслали из Москвы.



План комнаты, где жили сестры Петровых. По рисунку Е.С. Петровых-Чердынцевой

Несмотря на тесноту и нелегкое время, жили весело. Марии Петровых в это время было около двадцати пяти. Собирались друзья, знакомые, в том числе товарищи по литературному ремеслу: молодой, очень красивый Арсений Тарковский, Юлия Нейман, поэт и переводчик Владимир Державин и другие. Танцевали фокстрот, сдвигая все, что можно было сдвинуть, в угол, «много смеялись», по словам Екатерины Сергеевны. Мария Петровых была увлеченной театралкой. Это ее пристрастие отражено в эпиграмме Мандельштама:

Уста запеклись и разверзлись чресла,
Весь воздух в стонах родовых:
Это Мария Петровых

Рожает близнецов – два театральных кресла.

Зима 1933–1934

«Вначале я не обратила на Марусю никакого внимания. <… > Маруся мне показалась тривиальной, – пишет Э. Герштейн. – Косыночка, похожая на пионерский галстук, мечта сшить себе новое платье, чтобы пойти в нем на премьеру “Двенадцатой ночи” во 2-м МХАТе, оживленные рассказы о кавказских приключениях, где кто-то злонамеренно разлучил ее в гостинице с мужем – Петрусем, кажется, агрономом по профессии. Она щебетала о вечеринках у себя дома, когда стулья сдвигались в угол и молодежь танцевала фокстрот под стук разбуженных соседей в стенку… Я попыталась насмешливо отозваться о ее детском тоне и пустоте рассказов, но не тут-то было. Мандельштамы относились к ней серьезно. Осип Эмильевич уже признал ее хорошей профессиональной переводчицей стихов. И он, и Надя настоятельно приглашали ее, и она, видимо, охотно на это отзывалась» [426] .

М.С. Петровых. Фотография начала 1930-х гг. Архив А.В. Головачевой

Увлечение Мандельштама можно понять. Мария Петровых была человеком во всех отношениях замечательным. Наделенная незаурядным поэтическим даром и талантом переводчика (ее стихи любила и хвалила не только Ахматова; талант Петровых был очевиден для Пастернака, Заболоцкого и целого ряда других поэтов и знатоков поэзии), она выделялась и внешностью, которую нельзя было не заметить.

«…Увидел я существо хрупкое, ничем не защищенное, кроме своего тихого обаяния. Лицо неброское, но прелестное,

обрамленное пушистыми волосами, скорее светлыми, волнистая челка, наполовину прикрывающая высокий чистый лоб, серые глаза [427] , взирающие на мир почти кротко», – вспоминает Яков Хелемский [428] .

О Петровых в 1920-е годы: «Лицо ее трудно было разглядеть из-под глубоко надвинутой панамки с козырьком. И только позднее, когда мы встретились на каком-то литературном вечере и она предстала без пальто и без этой самой панамки, я поняла, какая она необыкновенная. И как только удавалось ей так долго прятать от людских глаз эту стройную, хрупкую фигурку, это прелестное, тонкое лицо, вокруг которого взлетали легкие кудри?» (Юлия Нейман) [429] .

Каждый, кто пытается описать внешность Марии Сергеевны, вынужден пользоваться такими словами, как «очарование», «прелесть», «обаяние», – словами основательно затертыми, но что же делать, если именно таким – очаровательным, прелестным – был ее облик?

В ее внешности была нежность, но не слабость. Человеком она была деликатным и при этом твердым.

«Во всей фигуре Марии Сергеевны была выражена истинная грация (хочу употребить именно это старинное слово), какая-то внутренняя пластика. Что-то капризное, вроде бы даже избалованное. Ан нет, что-то отменно знающее тяжелый ежедневный труд, частую нужду, тяжелые утраты (“Судьба за мной присматривала в оба, чтоб вдруг не обошла меня утрата”). Нечто было в ней стеснительное, застенчивое и в то же время отважное – от курсистки, начинающей народоволки», – замечает Л. Озеров [430] .

«Хрупкость, ранимость и вместе с тем внутренняя стойкость – эти слова приходят на память, когда пытаешься бегло обрисовать сложный образ Марии Петровых», – так видит главное в своей многолетней подруге Ю. Нейман [431] .

Это была женственность скромная и решительная, чистота естественная и грациозная.

Е.С. Петровых

Увлеченный сестрой, Мандельштам приходил, как помнится Екатерине Сергеевне, часто, иногда даже несколько раз в день. Он присаживался, а нередко и стоя у закрытой двери беседовал с сестрами. Читал стихи. Как запомнилось Е.С. Петровых, высоко поднятая голова Мандельштама напоминала посадку головы у верблюда; во время чтения стихов он закидывал голову еще больше. Говорил Мандельштам и читал нередко долго; в некоторых случаях это становилось утомительным. Человек очень эмоциональный и экспансивный, Мандельштам не всегда «чувствовал момент», не всегда сознавал уместность или неуместность своего поведения в конкретной ситуации. Надо также принять во внимание, что Мария Петровых в это время расходилась с первым мужем и собиралась замуж вторично. (Ее вторым мужем стал филолог Виталий Дмитриевич Головачев; в 1937 году он был арестован и умер в лагере в 1942-м.) В этих обстоятельствах увлечение Мандельштама не могло не выглядеть в глазах сестер достаточно комично; надо вдобавок принять во внимание, что в то же самое время неравнодушен был к Марии Сергеевне и молодой Лев Гумилев, сын покойного Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой (которому зимой 1933–1934 годов шел двадцать второй год). Приезжая в Москву, он останавливался у Мандельштамов на улице Фурманова (см. «Список адресов»).

Осип Эмильевич и «Левушка-Гумилевушка», «старец» и «младенец», как говаривали сестры, бывало, приходили и вместе. Дело в том, что, по воспоминаниям Э. Герштейн, они немало времени проводили в «какой-то столовке или забегаловке у Никитских ворот», поджидая Алексея Толстого. Толстого в этом месте можно было встретить: неподалеку Дом Герцена, Дом печати и особняк Горького на Малой Никитской. «Лева должен был подстерегать его, чтобы вовремя подать сигнал Мандельштаму. Тогда Осип Эмильевич должен был возникнуть перед “графом” и дать ему пощечину». (Уже упоминалось о том, что Мандельштам действительно выполнил свое намерение в отношении Алексея Толстого, несправедливо рассудившего, по мнению поэта, его конфликт с Саргиджаном, но это произошло позднее, весной 1934 года, в Ленинграде.) От Никитских ворот – рукой подать до Гранатного переулка, и Мандельштам с Л. Гумилевым не раз заходили вместе к Марии Петровых. «Она не служила [432] , – пишет Э.Г. Герштейн, – и несомненно они забегали к ней в дневные часы» [433] .

(Могли зайти – и заходили – и к поэту Н.А. Клюеву, который жил некоторое время в Гранатном переулке, неподалеку от сестер Петровых; см. «Список адресов».)

Переводы, которыми много занималась Мария Петровых, послужили поводом к написанию шутливого стихотворения Мандельштама:

Марья Сергеевна, мне ужасно хочется
Увидеть вас старушкой-переводчицей,
Неутомимо с головой трясущейся,
К народам СССР влекущейся,
И чтобы вы без всякого предстательства
Вошли к Шенгели в кабинет издательства
И вышли, нагруженная гостинцами —
Недорифмованными украинцами.
Начало 1934

(Шенгели Г.А. – поэт и переводчик, знакомый Мандельштама и Марии Петровых. Работал в период написания стихотворения в отделе литературы народов СССР Государственного издательства художественной литературы.) А любовное соперничество со Львом Гумилевым отразилось, в свою очередь, в эпиграммах «Сонет» («Мне вспомнился старинный апокриф…») и «Большевикам мил элеватор…» (обе написаны зимой 1933–1934 годов):

Мне вспомнился старинный апокриф:
Марию лев преследовал в пустыне
По той святой, по той простой причине,

Что был Иосиф долготерпелив.
Сей патриарх, немного почудив,
Марииной доверился гордыне —
Затем, что ей людей не надо ныне,
А лев – дитя – небесной манной жив.
А между тем Мария так нежна,
Ее любовь так, боже мой, блажна,
Ее пустыня так бедна песками,
Что с рыжими смешались волосками
Янтарные, а кожа – мягче льна —
Кривыми оцарапана когтями.

* * *

Большевикам мил элеватор,
Французам мил стиль élevé [434] ,
А я хотел бы быть диктатор,
Чтоб скромность воспитать во Льве.

Екатерина Сергеевна Петровых помнила и такие интересные детали. Осенью 1917 года девятилетняя Маруся Петровых задумала издавать «художественно-политический» журнальчик «Весенняя звездочка» (к сожалению, он был утрачен во время Великой Отечественной войны). Журнал был рукописный, но писала Маруся печатными буквами. Размер – примерно 10 на 6 сантиметров. На последней странице красовался нарисованный грач с раскрытым клювом, из которого вылетали слова: «Голосуйте за номер 2, будут у вас и хлеб, и дрова» – агитационный призыв к выборам в Учредительное собрание. (По списку № 2 шли на выборы в Ярославской губернии кадеты – Партия народной свободы.) Журнал открывало следующее стихотворение:

Весенняя звездочка
Весенняя звездочка на небе сверкала,
Весенняя звездочка на землю упала,
Весенняя звездочка все людям рассказала:
Исус Христос вознесшийся
И Божью Матерь взял,
И там Он всемогущий
С Нею отдыхал.

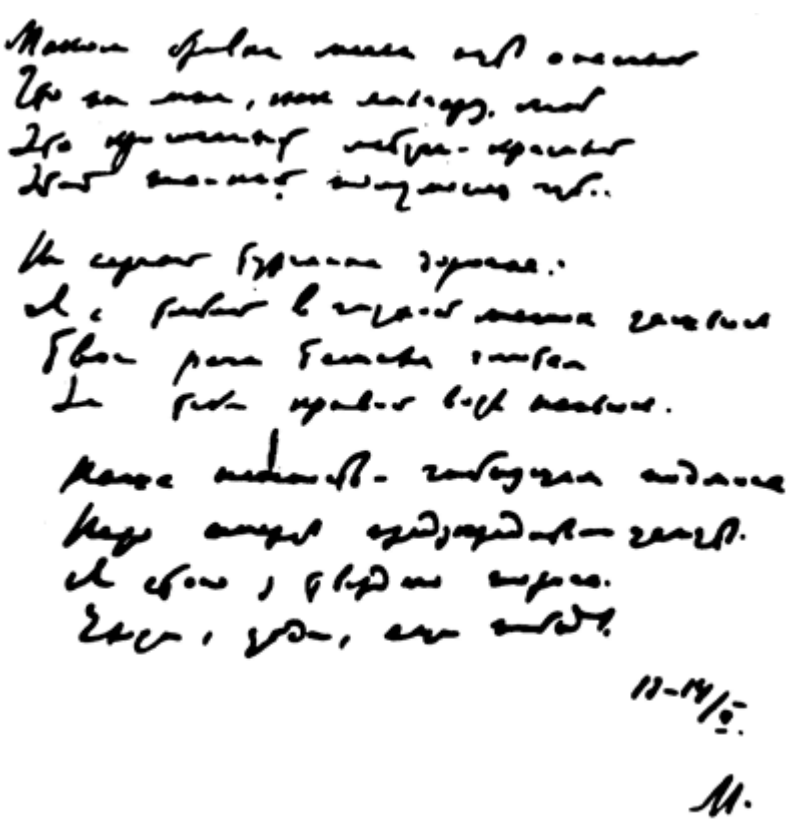
Мандельштам этим журнальчиком восхищался, особенно «редакторской статьей» такого содержания:

«Женщины! Бросайте детей на руки их нянькам и идите помогать мужьям усмирять взбунтовавшихся рабочих. Но как же

усмирять их? Ведь воевать мы не можем. Воевать не надо – надо говорить с ними тихо, упоминая в речи Бога и несчастья энтелигенции [435] ». (Текст еще до войны был переписан из «журнала»; сообщен автору книги Е.С. Петровых.)

Прочитав эту статью, Мандельштам сказал: «Тут отражена целая эпоха!» или «Да это же целая эпоха!» – во всяком случае, «целая эпоха», по словам Екатерины Сергеевны, было точно сказано.

Остался в памяти Е.С. Петровых и разговор с Мандельштамом в Большом зале Московской консерватории. Сестры Петровых, Осип Эмильевич и Лев Гумилев отправились слушать «Страсти по Матфею» Баха. «Левушка очень почтительно вел меня под руку, хотя, конечно, ему было бы приятней вести Марусю», – вспоминала Екатерина Сергеевна. «После концерта Мандельштам очень приподнято говорил о впечатлении, которое произвел на него Бах». Екатерина Сергеевна заметила, что такая сильная музыка даже как бы подавила ее. Мандельштам же сказал, что его, напротив, это подняло, что он находится в состоянии экстатического подъема (так Екатерина Сергеевна передавала суть диалога в разговоре с автором книги). «Это, кажется, единственный раз, когда я слушала его внимательно, – замечает в своих опубликованных мемуарах Е. Петровых. – А вообще говоря, речь его хотя была почти всегда вдохновенна, но часто сумбурна и малопонятна». О «невнимательности» Екатерины Петровых можно только пожалеть! Ведь, приходя к сестрам, Мандельштам, согласно воспоминаниям Е.С. Петровых, «говорил обо всем: о стихах, о музыке, живописи» [436] .



«Мастерица виноватых взоров…». Фрагмент автографа. Архив А.В. Головачевой

Несмотря на вышеприведенные шуточные стихи, увлечение Мандельштама была вполне серьезным, что и проявилось в обращенном к М.С. Петровых стихотворении «Мастерица виноватых взоров…»:

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч,
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.
Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми,
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми!
Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.
Маком бровки мечен путь опасный…
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,

Этот жалкий полумесяц губ…
Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь;
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.
Ты, Мария, – гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить – уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь.
13–14 февраля 1934

Другой вариант первого стиха последнего четверостишия: «Наша нежность – гибнущим подмога» (автограф в архиве М.С. Петровых – у ее дочери А.В. Головачевой) некоторые текстологи считают основным. К этому вопросу мы вернемся ниже. Имеется также другое прочтение стиха седьмого: «Их, бесшумно окающих ртами», а не «охающих».

Влюбленность Мандельштама не вызвала ни малейшего отклика. По свидетельству Е. Петровых, поэт «был неопрятен» и «просто неприятен физически» ее сестре. «Помню один эпизод, рассказанный мне Марусей, – пишет Екатерина Петровых. – Она была дома одна, пришел Осип Эмильевич и, сев рядом с ней на тахту, сказал: “Погладьте меня”. Маруся, преодолевая нечто близкое к брезгливости, погладила его по плечу. “У меня голова есть”,– сказал он обиженно» [437] . При этом Мария Сергеевна сознавала значение Мандельштама как поэта, хотя он не входил в число наиболее любимых ее авторов. «Меня поражает и восхищает поэзия Мандельштама, но почему-то никогда не была она кровно моей», – записала М. Петровых через много лет, уже в 1960-е годы [438] .

Существуют различные трактовки мандельштамовского стихотворения, его содержание и «устройство» богаты и открывают широкое поле для исследований. М.В. Безродный усматривает в «Мастерице…» связь с пушкинским «Бахчисарайским фонтаном» и образом Офелии из «Гамлета» [439] (последнее тем более вероятно, что в концовке стихотворения, с нашей точки зрения, звучит гамлетовский мотив – об этом ниже). О связи «Мастерицы» (и, в частности, стиха «надо смерть предупредить – уснуть») с Гамлетом писал и О.А. Лекманов. На подтекст из «Бахчисарайского фонтана» и стихотворения «Константинополь» (1911) Н. Гумилева указывает М.Л. Гаспаров [440] :

Сегодня ночью на дно залива
Швырнут неверную жену,
Жену, что слишком была красива

И походила на луну.

……

Отец печален, но понимает
И шепчет мужу: «Что ж, пора?»
Но глаз упрямых не поднимает,
Мечтает младшая сестра:
«Так много, много в глухих заливах
Лежит любовников других,
Сплетенных, томных и молчаливых…
Какое счастье быть среди них!»
«Константинополь»

Не исключен в «Мастерице…» отклик и на «Дон Жуана» Байрона, где нравы в султанской Турции описываются так (Песнь пятая, строфа 149; перевод Г. Шенгели):

А если иногда бывали неувязки,
То слухов не было, – кто согрешил и в чем:
Все рты безмолвствуют; виновных для острастки
В мешок и в море: шлеп – и снова тишь кругом [441] .
И погребен секрет навеки без огласки,
И сплетен в публике не больше, чем в моем
Труде, и нет газет, что всех травить могли бы;
Мораль улучшилась, и поживились рыбы.

Несколько раньше, в строфе 92, говорится о мешках зашитых (слуга в разговоре с Дон Жуаном):

Босфор недалеко, и быстро в нем теченье;
Еще последняя не догорит звезда,
Как в море Мраморном придется, без сомненья,
Плыть мне и вам, в мешках зашитыми. Такой
Род навигации у нас в ходу порой [442] .

В байроновском оригинале упомянуты в строфе 92 именно зашитые мешки (как в «Мастерице…»): “…Stitch’d up in sacks – a mode of navigation / A good deal practised here upon occasion”. Упоминание о такого рода казни за любовные прегрешения есть и у Пушкина в «Каменном госте» (Лепорелло в беседе с монахом о Дон Гуане):

М о н а х
Его здесь нет,
Он в ссылке далеко.
Л е п о р е л л о
И слава богу.
Чем далее, тем лучше. Всех бы их,
Развратников, в один мешок да в море [443] .

И еще одна связь, представляющаяся нам очень вероятной, – с «Облаком в штанах» Маяковского, где лирический герой поэмы

обращается к не отозвавшейся на его любовь героине по имени, заметим, Мария:

Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь» [444] .
(Ср. у Мандельштама: «Полухлебом плоти накорми!»)

Говоря о фонетических особенностях стихотворения Мандельштама, не можем отказать себе в удовольствии напомнить о наблюдении, сделанном Д.И. Черашней: она обратила внимание на то, что второе четверостишие «Мастерицы…», где речь идет о «бесшумно охающих» рыбах, является акростихом (первые буквы стихов составляют некое слово): ХРИП [445] . Добавим, что и сама звуковая ткань этого четверостишия передает утрату членораздельной речи – некий хрип и пыхтение явственно слышатся (выделим только соответствующие звуки): «Ходят Рыбы, Рдея Плавниками, / Раздувая жабРы. На, возьми, / иХ, бесшумно оХающиХ РТами, / ПолуХлебом ПлоТи накоРми!» («Охающих» или «окающих» – фонетической картины это существенно не меняет.) О другой, не менее значимой особенности фонетической ткани этого стихотворения мы скажем ниже.

Но вот последний стих «Мастерицы…» не привлекал к себе, кажется, особого внимания. «Уходи. Уйди. Еще побудь» – замечательное завершение стихотворения, которое выражает и сознание непреодолимой дистанции в отношениях, и мольбу все же, вопреки всему, продолжить эти отношения хотя бы ненадолго, и страх за ту, к кому обращены эти слова: стоящий «у твердого порога» отталкивает «мастерицу виноватых взоров», дорогое нежное существо от себя – его гибельная судьба не должна стать ее судьбой.

Крамольные стихи (о Сталине и другие) были ко времени появления «Мастерицы виноватых взоров…» уже написаны, поэт не мог удержать их в себе и не читать, даже сознавая, что он ходит по краю пропасти. Сознание близости гибели и тоска по сочувствию выразились в обращении к героине: «гибнущим подмога…».

Однако, как нам представляется, финальный стих «Мастерицы…» отразил и воспоминание о другой, более ранней

любви – к Ольге Гильдебрандт-Арбениной.

В 1909 году в 12-м номере журнала «Весы» были опубликованы «Куранты любви» М.А. Кузмина. Именно в этом году с Кузминым познакомились Николай Гумилев и Осип Мандельштам. В следующем, 1910-м, это поэтически-музыкальное сочинение вышло в свет отдельным изданием: «Куранты любви». Слова и музыка М. Кузмина. М.: Скорпион, 1910. «Куранты любви» были очень популярны. Сам автор не раз исполнял свое произведение. Мандельштам был, без сомнения, знаком с «Курантами».

В части IV сочинения Кузмина, «Зима», помещено стихотворение «Поэт», в котором говорится о неожиданном приходе любви. Любовь, «как поздний гость», приходит к поэту зимой, в «неурочное» для любви время:

Поэт

Не сам ли сердце я сковал зимой?
Не сам ли сделал я свой дом тюрьмой?
Не сам ли я сказал любви: «Прощай,
Не прилетай, пока не будет май!»
Любовь стучится в дверь, как поздний гость,
И сердце снова гнется, словно трость:
Оно горит и бьется; не хотя, —
Его пронзило дивное дитя.
Он спит, мой гость, в передрассветный час,
Звезда бледна, как меркнущий топаз;
Не мне будить его, проснется сам,
Открывши двери новым чудесам.
Я жду, я жду: мне страх вздымает грудь.
Не уходи, мой гость: побудь, побудь [446] .

Можно предположить, что в финальном стихе отразилась строка популярного романса «Не уходи, побудь со мною…». (Романс был опубликован во второй части «Полного сборника либретто для граммофона», которая вышла в свет на рубеже 1904–1905 годов.)

В 1920 году Мандельштам знакомится с актрисой Ольгой Николаевной Гильдебрандт-Арбениной. Позднее она вспоминала: «Познакомилась я с М<андельштамом> осенью 1920 г.» [447] . Влюбленность Мандельштама в Арбенину пришлась на петроградские осень – зиму 1920–1921 годов. «Арбенина взаимностью не отвечала: то было время ее близких отношений с Н.С. Гумилевым. В конце 1920 году она “ушла” от Гумилева к Юрию Юркуну» [448] . В это же время, после знакомства с Юрием Юркуном, близким другом Михаила Кузмина, Арбенина вошла в круг знакомых последнего и стала бывать в его доме. Для

Мандельштама его отношения с Арбениной оказались соотнесенными некоторым образом с М. Кузминым и, главное, с его поэзией. О.Н. Гильдебрандт упоминает о своем разговоре с Ю. Юркуном: «Наша дружба с М<андельштамом> дотянулась до января 1921 года. Помню, я как-то “собралась” пойти его навестить: “Зачем Вам?” – “За стихами”. – “Мих<аил> Ал<ексеевич> напишет Вам не хуже”. – “Может быть, и лучше. Но не то. Это будут не мои стихи”» [449] .

Кузмина-поэта, Кузмина-прозаика Мандельштам ставил очень высоко. Процитировав в своей работе отзыв о Кузмине из неопубликованной при жизни статьи Мандельштама «О современной поэзии (К выходу “Альманаха Муз”)»: «Пленителен <ясный> классицизм Кузмина. Сладостно читать живущего среди нас классического поэта, чувствовать гётевское слияние “формы” и “содержания”, <осязая самую личность поэта, его “я”, как чистую форму> убеждаться, что душа наша не субстанция, сделанная из метафизической ваты, а легкая и нежная Психея. Стихи Кузмина не только запоминаются отлично, но как бы припоминаются (впечатление припоминания при первом же чтении), выплывая из забвения (классицизм)…» – приведя это высказывание, Ю.Л. Фрейдин дает следующий комментарий: «Сам “Альманах Муз” вышел в 1916 году. Судя по упоминанию о “российских бурях”, статья написана Мандельштамом после революции. В отзыве о Кузмине обращает на себя внимание не только редкая для Мандельштама панегиричность, но и обилие автоцитат, точнее – ключевых слов, которые позже прозвучат в стихах, в статьях, образуя мотивы и темы. Мотивы души-Психеи (слова-Психеи), осязания, припоминания обнаруживаются в стихах 1920 г. “Когда Психея-жизнь спускается к теням…”,“Я слово позабыл, что я хотел сказать…”, в близкой им по времени статье-манифесте “Слово и культура”. Создается отчетливое впечатление, что в конце 10-х – начале 20-х годов Мандельштам рассматривал поэзию Кузмина в тесной внутренней связи с собственными поэтическими поисками». И ниже, перечислив ряд стихотворений Мандельштама и назвав последним среди них «Чуть мерцает призрачная сцена…» (1920), Ю. Фрейдин упоминает в одном ряду стихи Мандельштама 1920 года, Ольгу Арбенину и М. Кузмина: «Вспомним, что последнее из перечисленных мандельштамовских стихотворений обращено к О.Н. Гильдебрандт-Арбениной… входившей в круг людей, близких Кузмину» [450] . В 1922 году, уже в Москве, Мандельштам отзывается о Кузмине восторженно, причем имея в виду очевидно и его прозу (запись высказывания поэта в дневнике И.Н. Розанова): «Можно говорить [:] Пушкин, Л. Толстой,

Кузьмин (так! – Л.В.), но нельзя [:] Тургенев и Кузьмин. Это величины несоизмеримые. Тургенев – плохой писатель, а Кузьмин – первоклассный… (Пафос его рассказывания – “любопытство к жизни”.) Нельзя спрашивать, нравится ли нам Кузьмин, а надо наоборот: нравимся ли мы Кузьмину» [451] .

Теперь обратимся к более позднему увлечению Мандельштама – Марией Петровых. Имеется драгоценное свидетельство – в мемуарах Эммы Герштейн – о том, что Мандельштам сам осознавал: в его жизни повторилась в определенной мере ситуация тринадцатилетней давности.

Соперничество со своим молодым другом – Львом Гумилевым – не смущало Мандельштама. Напротив.

«Ревность, соперничество были священными атрибутами страсти в понимании Мандельштама.

– Как это интересно! У меня было такое же с Колей, – восклицал Осип Эмильевич. У него кружилась голова от разбуженных Левой воспоминаний о Николае Степановиче (Гумилеве. – Л.В.), когда в голодную зиму они оба домогались в Петрограде любви Ольги Николаевны Арбениной» [452] .

Действительно: увлечение, как и в случае с Арбениной, приходится на зиму – теперь на зиму 1933–1934 годов; возлюбленная в обоих случаях моложе поэта – в первом случае на семь, во втором – на семнадцать лет (даты жизни О.Н. Гильдебрандт-Арбениной: 1897 или 1898–1980; М.С. Петровых – 1908–1979), но в то время, когда ими был увлечен Мандельштам, они почти равны по возрасту – одной примерно двадцать три года, другой двадцать пять; как и влюбленность в Арбенину, увлечение Марией Петровых остается безответным; соперником снова оказывается Гумилев – на этот раз младший; наконец, Арбенина – актриса, а Мария Петровых хотя и не актриса, но страстная театралка.

Героиня «Мастерицы…» в определенной степени напоминает образ возлюбленной из стихотворений, обращенных к Ольге Арбениной. Это сходство отмечено О.А. Лекмановым в его биографии поэта [453] . Сравним: в стихах Арбениной находим «самый нежный ум», «маленький вишневый рот» («Мне жалко, что теперь зима…»), «Меня к тебе влечет / Искусанный в смятеньи / Вишневый нежный рот» («Я наравне с другими…»), «соленые нежные губы» («За то, что я руки твои не сумел удержать…») – и в стихотворении, адресованном Петровых, обнаруживаем подобные характеристики: «Что же мне, как янычару, люб / Этот крошечный, летуче-красный, / Этот жалкий полумесяц губ», «наша нежность – гибнущим подмога». В своих воспоминаниях о Мандельштаме Арбенина замечает: «Он любил детей и как будто

видел во мне ребенка» [454] . Такой, «полудетский» образ нарисован в обращенном к ней стихотворении «Мне жалко, что теперь зима…». Но и в стихах, адресованных Марии Петровых, подчеркнуты хрупкость, уязвимость, полудетскость (характерно использование уменьшительных форм): «маленьких держательница плеч» (вариант автографа из архива М.С. Петровых – «Маленьких держательница встреч» – считаем, вслед за А.Г. Мецем, видимо, опиской), «ребрышки худые», «маком бровки мечен путь опасный».

Имелись, однако, обстоятельства, резко отличавшие увлечение Марией Петровых от влюбленности в Ольгу Арбенину. Атмосфера была иной. Этих обстоятельств по меньшей мере два: во-первых, уже были написаны антисталинские стихи и Мандельштам хорошо сознавал, что он ходит по краю пропасти; во-вторых, адресат любовных стихов носил чрезвычайно важное в этих условиях имя Мария. И само это имя определяет в значительной мере смысл стихотворения – можно сказать, диктует развертывание его смысла.

Ю.И. Левин показывает, что в «Мастерице…» «женская» тема развивается «в ее чувственном аспекте (в теплом теле…), который сливается здесь с аспектом “маленькое, слабое, вызывающее жалость” (…ребрышки худые)…» [455] . Женское ассоциируется в стихотворении также с виноватым, ложным, ненадежным, непрямым («кривая вода»), но влекущим, соблазнительным. Героиня стихотворения, добавим, не просто смотрит виновато – она мастерица «виноватых взоров». Более того, ее привлекательность влечет к погибели. «Турецкие» детали вводят тему супружеской измены. (Подчеркнем: автор данной книги говорит только о мотиве мандельштамовского стихотворения, а отнюдь не о личной жизни М. Петровых.) Отметив подобие «романов» с О. Арбениной и М. Петровых, О.А. Лекманов пишет: «В центре этого сложного стихотворения два персонажа: слабая женщина и сильный мужчина. При этом слабая женщина предстает покорительницей сильного мужчины и даже его палачом (наблюдение Михаила Безродного: первые строки стихотворения “Мастерица виноватых взоров, / Маленьких держательница плеч” скрывают в себе идиому “заплечных дел мастер”). Для покорения мужчины женщина коварно (мягкий вариант: кокетливо) пользуется своей плотской привлекательностью. Мужчина сам стремится навстречу собственной гибели…». К проницательному замечанию М. Безродного можно добавить, что и здесь обнаруживается сходство «Мастерицы…» со стихами, адресованными Арбениной, – в одном из стихотворений героиня уподобляется исполнителю казни: «Я

больше не ревную, / Но я тебя хочу, / И сам себя несу я, / Как жертву палачу» («Я наравне с другими…», 1920).

О. Лекманов не оставил без внимания и неожиданное сходство «Мастерицы…» с… антисталинскими стихами. «И там, и там, – пишет Лекманов, – возникают мотивы незвучащей (неслышной) речи, коварства (отчасти связанного с темой востока), а также – красного цвета (в эпиграмме на Сталина: “Что ни казнь у него – то малина”). Возлюбленная и диктатор окружены в стихотворениях Мандельштама сходным ореолом мотивов, потому что оба они – коварные мучители, истязающие свои жертвы и лишающие их дара речи» [456] .

Нет, думается, ничего невероятного в том, что в стихах «Усмирен мужской опасный норов, / Не звучит утопленница-речь» мог отразиться, в переосмысленной форме, наивный текст из детского журнальчика Маруси Петровых «Весенняя звездочка», который мы привели выше: ведь там говорится о возложенном на женщин долге «усмирять» (причем это слово повторено дважды) рабочих (мужчин, конечно). Причем надо «говорить с ними тихо».

Но финал стихотворения, по словам Ю. Левина, все меняет: «И неожиданно, после сгущения темного, кривого, глухого, после нагнетания ориентальных мотивов (причем все это сфокусировано на героине) – появляется прямо противоположное: “Ты, Мария – гибнущим подмога”. <…> Неожиданность заключается в том, что в роли Богоматери, заступницы, спасительницы выступает именно та, которая только что в облике турчанки влекла к гибели» [457] . (Заметим, что финальные стихи «Мастерицы…», в которых выступает иная ипостась «женского» – самоотдача – были все же подготовлены: говорится ведь и о женской способности раздарить себя: «полухлебом плоти накорми» – слишком смелая ассоциация с причастием; говорится и о «сестринском обычае» – ср.: «сестра милосердия»). «Наш обычай сестринский» – конечно, от выражения «наша сестра» («такова уж наша сестра»), которое употребляется, как правило, в значении «мы, женщины», «такова наша женская природа (доля)».

Героиня стихотворения сочетает в себе противоположные, но тем не менее сочетающиеся в женщине качества – слабость и силу («Маленьких держательница плеч»; одно из значений слова «держатель» – господин, владетель какой-либо области, территории: «держательница» – владычица), гибельный соблазн и «сестринское» сострадание и нежность. «Сестринский обычай» – это то лучшее, к чему, в понимании Мандельштама, призвана женщина, – помощь, забота, ласка и сострадание.

Независимо от того, считать ли более текстологически обоснованным стих «Ты, Мария, – гибнущим подмога» или «Наша

нежность – гибнущим подмога» (с нашей точки зрения, с Мандельштамом больше «вяжется» последнее), надо отметить, что имя милосердной спасительницы присутствует в скрытом виде в фонетической ткани стихотворения. «Мандельштам, – пишет О. Ронен, – вообще очень часто насыщает свои тексты анаграммами ключевого по смыслу слова» [458] . В «Мастерице…» перед нами именно такой случай. Стихотворение начинается со строки, в которой первое слово уже содержит имя адресата любовного обращения, причем ударение падает на тот же звук, что в имени Мария:

МАстеРИца виноватых взоров…

Первый гласный звук в строке – редуцированный, мы, естественно, не произносим «мАстерица». Но мы так пишем, и, как представляется автору книги, надо принять во внимание то обстоятельство, что у нас возникает (по крайней мере нередко) вид написанного слова при его произнесении. Это, думается, имеет значение. Ведь и в самом имени Мария первый звук редуцируется, но, произнося имя, мы отчетливо сознаем, как оно пишется, и, следовательно, «видим» внутренним зрением это «а». Второй стих также начинается с первого слога имени героини; представлены в стихе и другие звуки анаграммы:

МАленькИх деРжАтельнИца плеч…

Здесь это «ма» звучит вполне отчетливо. В первом слове третьего стиха «именование» продолжено:

усМИРен Мужской опАсный ноРов…

Во втором четверостишии, как было сказано выше, представлено «пыхтение» жутковатых, алчущих женской плоти рыб. Думается, что эти рыбы имеют отношение к тем, которые упомянуты поэтом в письме Н.Я. Мандельштам от 13 марта 1930 года, написанном в разгар мучительного для поэта разбирательства о «плагиате» в связи с изданием «Тиля Уленшпигеля»: «Здесь не люди, а рыбы страшные». Слабая героиня живет в мире онемевших (сравним: «Наши речи за десять шагов не слышны…») агрессивных существ. Таковы мужчины-рыбы. (Сравним с одичанием в антисталинском стихотворении: «Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет…».) Мужчины сами по себе агрессивны и плотоядны, а теперь они еще и онемели – налицо деградация, как в стихотворении «Ламарк». Слабой, нежной героине приходится жить в таком мире и как-то «усмирять» вожделеющих ее плоти чудовищ. Но не только пыхтение рыб представлено в четверостишии. Заметим, что в концовке каждого стиха мы встречаем здесь набор звуков и букв все того же имени: имени той, чей удел – раздавать «полухлеб» своей «плоти»:

плавникАМИ

нА возьМИ
РтАМИ
нАкоРМИ

(Еще раз заметим: мы сознаем, что, например, в слове «накорми» первый гласный звук при произнесении редуцируется.) В третьей строфе автор возвращается к описанию героини, и ее имя снова начинает звучать в строке:

МЫ не РЫбы кРАсно-золотЫе

(Примем во внимание и возможное старое произношение: «золотЫЯ»; отзывается имя Мария и в другом возможном произношении – «золотЫИ».) В четвертой строфе портрет героини дорисовывается. Первый стих четверостишия снова начинается с первого слога имени Мария (причем «а» ударное), но к этому дело не сводится:

МАком бРовки Мечен путь опАсный…
что же Мне, как янычАРу, люб…

Автор книги не хочет сказать, что Мандельштам сознательно «вставлял» имя Мария в свое стихотворение. Но так или иначе оно присутствует в звуковой ткани «Мастерицы…».

Итак, женщина предстает у Мандельштама в двух ипостасях: соблазнительницы-губительницы и милосердной спасительницы, подательницы помощи (той стороны женской натуры, которая отражена в образе девы Марии). Способность к сочувствию была в полной мере присуща Марии Петровых. И это не было только чувство – ее добро было деятельным.

«…Даром сострадания она владела редкой силы, – утверждает Ю. Нейман. – Она не была сентиментальна, иногда даже как будто суховата, резка, не жалела людей по пустякам. В ней не было никакой “обтекаемости”. В оценках людей она была сурова. Но, когда у хорошего человека случалось настоящее горе, она приходила на помощь, находя слова, которые так трудно подыскать и которые так нужны человеку в самый тяжелый его час… <…>

А сколько добра сделано ею втайне, скрытно от всех!..» [459]

Мандельштам, который, несомненно, был наделен в определенной мере провидческим даром – он «угадывал» людей, – сумел почувствовать эту особенность характера М. Петровых, и это нашло отражение в «Мастерице виноватых взоров…». «Гибнущим подмога» – это, конечно, приводит на ум одну из богородичных икон «Взыскание погибших». (Празднование иконы «Взыскание погибших» – 5 февраля, по новому стилю – 18 февраля. Стихотворение Мандельштама датировано 13–14 февраля. Может быть, такое совпадение неслучайно?)

Слова «наша нежность» мы понимаем как «наша женская

нежность»; строка из последнего четверостишия откликается на стих из третьего («наш обычай сестринский…»), «закрепляет» и усиливает его значение.

Неоднознакен в стихотворении и «водный» мотив. «Утопленница-речь» влечет за собой водные ассоциации и вызывает воспоминание об использовавшейся в средневековой султанской Турции казни: бросание осужденных в зашитых мешках в море – к рыбам «красно-золотым». Глаза у Марии Сергеевны, как упоминалось выше, были карие. Может быть, эта черта ее внешности и спровоцировала восточный мотив и превратила ее в стихах в «турчанку»?

Но тема воды в то же время связана с «богородичной» темой. Ю. Левин пишет: «Привлечение более специальных данных, например, связанных с мифологическим наполнением тем воды, влаги, рыб, или учет того, что “Мария – гибнущим подмога” – перефразировка названия одной венецианской церкви, – внесло бы дополнительные нюансы в осмысление стихотворения» [460] .

Храмы в честь Богородицы, одно из имен которой в западной традиции Maris Stella (морская звезда), стоят в целом ряде портовых городов (например, в Марселе: храм Нотр-Дам де ля Гард с десятиметровой фигурой Девы Марии – покровительницы моряков; за это указание благодарим Ю.Л. Фрейдина).

Мы знаем о том, насколько щепетилен был Мандельштам в обращении с именами, с введением имени в открытом, явном виде в свои стихи; в то же время мы знаем, что он «спрятал» имена адресаток в стихотворениях, посвященных Цветаевой и Лиле Поповой. Автору данной книги кажется поэтому, что вариант строки «Наша нежность – гибнущим подмога» – более «мандельштамовский»: ведь в скрытом виде имя в стихи уже вплетено, его незачем выпячивать – оно растворено в звучании стихотворения.

Да, в шуточном выше процитированном стихотворении «Мне вспомнился старинный апокриф…» имена Мария и Иосиф вводятся открыто в рамках псевдоевангельского сюжета. Но то эпиграмма, шутка, нечто несерьезное. Другое дело – «Мастерица…».

Стихотворение о любви, в котором «водный» мотив сочетается с неуверенной надеждой на спасение – не отсылает ли оно опять-таки к Михаилу Кузмину, на этот раз к его прозе? Мы имеем в виду роман «Плавающие путешествующие» (1915), где также находим любовную тему в единстве с «водными» ассоциациями и идеей спасения (само название романа взято из молитвы – Мирной, или Великой ектении):

«Лелечка… продолжала:

– И мы ничего не строим навсегда… Мы всегда странствуем… Мы всегда плавающие.

– Да, да… но плавающие – это те, у кого есть рулевой, а если ты, обхватив склизкое бревно, носишься по морю, какое же это плавание?

– Наш рулевой – любовь, о которой не может быть двух мнений» [461] .

Московское зимнее увлечение Марией Петровых вызвало, видимо, в сознании Мандельштама образ входившей в круг Михаила Кузмина Ольги Арбениной и сами стихи Кузмина, в которых любовь неожиданно посещает поэта в зимнюю пору. Мотивы сна и страха из приведенного выше стихотворения Кузмина также, думается, получили отражение у Мандельштама (конечно, в ином значении); сравним: «Он спит, мой гость…», «Не мне будить его…», «Я жду, я жду: мне страх вздымает грудь…» (третья цитата – стоящий на значимом месте, предпоследний стих у Кузмина) – и один из заключительных стихов у Мандельштама: «Надо смерть предупредить – уснуть». Стих о сне – предупреждении смерти, уходе от грозящей насильственной смерти, видимо, отражает мысли о самоубийстве как свободном выборе ухода из жизни – и, очевидно, связан с известным монологом Гамлета, в котором герой Шекспира размышляет о возможности самоубийства: «Быть иль не быть… Умереть, уснуть». (Арестованный в мае 1934 года Мандельштам попытку самоубийства совершил – вскрыл вены.)

Завершающая же строка из «Поэта» («Куранты любви») М. Кузмина (сквозь которую «просвечивает» рефрен популярного романса!) отразилась, по нашему мнению, в финальном стихе «Мастерицы…».

Очень высоко ценила это стихотворение Анна Ахматова («лучшее, на мой взгляд, любовное стихотворение XX века»). В «Листках из дневника» Ахматова сообщает также, со слов М. Петровых, «что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала» [462] .

Глубокая печаль, неприкрытая нежность и сознание вины чувствуются в стихотворении «Твоим узким плечам под бичами краснеть…», которое обращено, очень вероятно, также к М.С. Петровых – хотя это и не очевидно:

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.
Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.
Твоим нежным ногам по стеклу босиком,

По стеклу босиком да кровавым песком…
Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.
1934

Стихотворение написано, видимо, в конце весны или летом 1934 года. Н. Мандельштам в своем комментарии, предполагая, что стихи могут относиться к ней, в то же время сомневается в этом: «О.М. не свойственно было бояться за меня, он не представлял себе, что у меня может быть отдельная судьба или что я его переживу. <…>…Меня удивляют в этих стихах последние две строчки – о черной свечке и “молиться не сметь”. Они звучат так, будто относятся скорее к чужой женщине, когда перед своей нельзя выдать тревогу и горе. Может, это следствие допросов, когда его пугали тем, что я тоже в тюрьме? Или разговоры во время моей болезни: “Вот до чего ваша неосторожность довела Надю”?.. “Неосторожность” – это то, что все умоляли его не читать посторонним людям стихи о Сталине и не давать их переписывать. <…> И все же сомнение мое не рассеивается – ход этот мне непонятен» [463] .

Между тем действительно в этих строках говорится о раздельных судьбах автора и героини стихов. Отмечает Надежда Яковлевна и перекличку «узких» плеч и «маленьких плеч» из стихотворения «Мастерица виноватых взоров…».

Откуда это чувство вины, которое с такой болью, с такой пронзительностью звучит в последнем двустишии?

Думается, что стихотворение, исполненное нежности и мучительной вины по отношению к хрупкому существу, которому суждена страшная судьба в бесчеловечном мире бичей, битого стекла и тяжелых утюгов, может относиться к Марии Петровых. Мандельштам должен был сознавать, очевидно, что его гибель, которую он предощущал и которой ждал, может повлечь за собой страдания и смерть людей, самим фактом знакомства с ним втянутых в его «историю». В отношении Марии Петровых эти опасения были, вероятно, особенно сильны. Надежда Яковлевна была женой, с которой поэт был соединен накрепко, всем и навсегда, что бы ни случилось, «до самой смерти», как говорит протопоп Аввакум жене в любимом Мандельштамом «Житии»; Марию же Петровых он, будучи влюбленным в нее, но не ощущая неразрывности их судеб, отталкивает: «Уходи. Уйди. Еще побудь». Его судьба не должна стать ее судьбой.

В. Милашевский. Портрет Осипа Мандельштама. 1933

Почему свеча «черная»? Почему «молиться не сметь»? В мае 1934 года Мандельштам был арестован. Находясь в здании на Лубянке, в состоянии психического шока он назвал в числе тех, кому читал антисталинские стихи, и имя М.С. Петровых. «Ведь она, – пишет П.М. Нерлер, – по словам самого О.М., была единственной, кто запомнил и записал это стихотворение с голоса, так что О.М., возможно, имел нешуточные основания подозревать в ней доносчика» [464] . В деле действительно имеется показание Мандельштама, что «Петровых записала это [произв<едение>] стихотворение с голоса, обещая, правда, впоследствии уничтожить» [465] . О том, что список антисталинских стихов Мандельштам увидел во время допроса на столе следователя, причем это был список того варианта, который знала лишь М. Петровых, известно только со слов Н. Мандельштам, которая, естественно, сама этого списка не видела. Поэт же испытал на Лубянке психический шок и вышел оттуда в состоянии травматического психоза. Насколько точно он мог определить, какая бумага лежит на столе следователя (причем большого времени на рассмотрение документа, наверное, не было), судить трудно. «Но не исключен и такой вариант, снимающий тяжесть подозрения именно с Петровых: никакой эпиграммы на Сталина у следствия не было, кто-то донес о ней в

общих чертах – и впервые Шиваров не без изумления услышал ее из уст самого автора. Никакого другого списка этой эпиграммы, кроме авторского и шиваровского, в следственном деле нет. Сама Мария Сергеевна, по словам ее дочери, категорически отрицала то, что ей вменяла в вину Н.М., – факт записи прочитанного ей вслух этого стихотворения», – пишет П. Нерлер [466] . (Н.Х. Шиваров – следователь, который вел дело Мандельштама в 1934 году. На Лубянке Мандельштам написал стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…», эта рукопись имеется в деле; содержится в следственном деле и список стихотворения рукой следователя.)

Как сообщила автору книги Е.С. Петровых, психически травмированный Мандельштам сказал жене, что он хотел бы, чтобы Марию Сергеевну отправили в ссылку вместе с ним, – там она его оценит и полюбит. То же самое говорится в опубликованных воспоминаниях Екатерины Сергеевны [467] . От Надежды Мандельштам это известие дошло до Марии Сергеевны. Свидание с арестованным мужем в кабинете следователя Н. Мандельштам получила 28 мая 1934 года, и в этот же или на следующий день Мандельштамы были отправлены в Чердынь, к месту ссылки. Во второй половине июня, во время переезда поэта из Чердыни в Воронеж, Мандельштамы провели в Москве два-три дня. Таким образом, сама возможность узнать об этих словах Мандельштама, сказанных в заключении, – если считать сведения Е.С. Петровых соответствующими действительности (а оснований не верить ей мы не видим) – у Марии Петровых могла быть.

Екатерине Сергеевне запомнилось, что все, кто узнал о словах Мандельштама на Лубянке, смотрели на ее сестру как на обреченную. У Екатерины Сергеевны осталось в памяти, как Мария Сергеевна сказала ей о том, что Борис Пастернак глядит на нее глазами, полными ужаса, сострадания и бессилия помочь.

Вероятно, знание этих обстоятельств может быть небесполезно для понимания стихотворения «Твоим узким плечам под бичами краснеть…». Можно предположить, что в стихах выражено не предчувствие вины, а сознание вины пришедшего в себя после шока поэта. П. Нерлер пишет о том, что Мандельштам со временем переменил мнение, что «источник беды» – Мария Петровых: «об этом у него был разговор с Ахматовой в Воронеже, и когда бы не так, то, конечно же, не было бы между Петровых и Ахматовой той многолетней и ничем не омраченной дружбы, какая между ними была» [468] . Ахматова приехала в Воронеж 5 февраля 1936 года. Нам кажется, что чувство вины и раскаяния могло прийти к поэту и ранее. Во всяком случае (если посчитать стихотворение «Твоим узким

плечам под бичами краснеть…» обращенным к М. Петровых), нам представляется логичной и обоснованной точка зрения Э. Герштейн: «…Назвать единственного человека, который их (стихи о Сталине. – Л.В.) записывал, – это значило подвергнуть его более строгой статье обвинения: “распространение контрреволюционного материала”. И это, вероятно, терзало совесть Мандельштама. Стихотворение о черной свечке – это оправдание или раскаяние» [469] . Хотим еще раз подчеркнуть: нельзя говорить с полной уверенностью, что стихотворение о «черной свечке» обращено к Марии Петровых; это только предположение, хотя и вероятное.

Судьба Марии Петровых действительно была трудной и непростой, хотя, к счастью, не такой страшной, как у героини стихотворения «Твоим узким плечам под бичами краснеть…».

Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата.
Я потеряла друга, мужа, брата,
Я получала письма из-за гроба —

написала она в 1967 году («Судьба за мной присматривала в оба…») [470] .

Об увлечении Мандельштама Марией Петровых рассказано в различных мемуарах – Н.Я. Мандельштам, Э.Г. Герштейн, А.А. Ахматовой… Нелишним будет привести и мнение С.И. Липкина (он вспоминает о разговоре с Н. Мандельштам «незадолго до ее смерти»):

«Стали вспоминать прошлое – и давнее, и более близкое. <… > Такой элегический ход разговора позволил мне сказать Надежде Яковлевне, что во второй ее книге много несправедливого (я выразился мягче), и это соседствует с прекрасными мыслями, наблюдениями, что особенно мне неприятен в книге портрет М.С. Петровых, благородной женщины, истинной христианки, замечательного поэта, чей облик автором искажен, а я дружил с ней с юношеских лет и знаю, что она виновна только в том, что Мандельштам – дело прошлое – был в нее влюблен, а она ему не отвечала взаимностью.

Дом, где жили сестры Петровых

Надежда Яковлевна встретила мои слова неожиданно спокойно, спросила задумчиво: “Вы так думаете?” Странный вопрос…» [471] . Мария Сергеевна надолго пережила Мандельштама – она скончалась в 1979 году. Память ее возвращалась к дням ее молодости, к дому в Гранатном переулке. В стихотворении «Назначь мне свиданье на этом свете…» (1953), которое Ахматова охарактеризовала как одно из лучших любовных стихотворений в русской поэзии XX столетия, сказано:

Пусть годы умчатся в круженье обратном
И встретимся мы в переулке Гранатном…

К Мандельштаму эти стихи отношения не имеют. Погибший поэт назван (точнее, воспет) в стихах 1962 года.

Ахматовой и Пастернака,
Цветаевой и Мандельштама
Неразлучимы имена.
Четыре путеводных знака —
Их горний свет горит упрямо,
Их связь таинственно ясна.
Неугасимое созвездье!
Навеки врозь, навеки вместе.
Звезда в ответе за звезду.
Для нас четырехзначность эта —
Как бы четыре края света,
Четыре времени в году.
Их правотой наш век отмечен.

Здесь крыть, как говорится, нечем
Вам, нагоняющие страх.
Здесь просто замкнутость квадрата,
Семья, где две сестры, два брата,
Изба о четырех углах… [472]

Образ Мандельштама, каким он вырисовывается в этой главе, как бы двоится: никуда не уйдешь от определенной комичности ситуации, в которой протекало увлечение поэта; с другой стороны, стихи, адресованные М. Петровых, трагичны. Такое сочетание не случайно, а вообще характерно для личности Мандельштама. Он был импульсивен, необыкновенно возбудим, непредсказуем – чудаковат. «Чудак? Конечно, чудак!» – соглашается Анна Ахматова, рассказывая о нем [473] . Он был человек «не от мира сего» (это не исключает необыкновенно точного зрения и провидческого дара!) в том же смысле, что и герой Чаплина или Дон Кихот: и на того, и на другого поэт был похож – и на Дон Кихота тоже, несмотря на свой невысокий (средний) рост. Рыцарь бедный, трагический чудак… Таким Мандельштам запомнился Арсению Тарковскому, чье имя уже упоминалось в этой главе. Он, как мы знаем, бывал в Гранатном переулке у своей бывшей соученицы по Литературным курсам. С Мандельштамом Тарковский был знаком. Известно, что в 1931 году Мандельштам слушал в доме Рюрика Ивнева стихи трех молодых поэтов – А. Штейнберга, Н. Берендгофа и А. Тарковского. Может быть, могли они встретиться и здесь, в Гранатном переулке?

Портрет Мандельштама Арсений Тарковский нарисовал в стихотворении 1963 года.

Сам Тарковский позднее признавался в том, что встреча, описанная в стихотворении, вымышлена. Существует мнение, что вообще Тарковский виделся с Мандельштамом всего один раз – у Рюрика Ивнева. У автора данной книги такой уверенности нет. Напротив, есть свидетельства, что Тарковский бывал у Мандельштама, например, на Тверском бульваре в начале 1930-х годов. Об этом вспоминала Н.К. Бруни: «Потом мы бывали у него в большой компании молодежной, вот Левушка Гумилев приезжал, Арсений Тарковский, Тедди Гриц, Харджиев… Мы приходили к Мандельштаму, когда он жил в дворницкой Дома Герцена. На бульваре. Где сейчас институт имени Горького» [474] . («Дворницкой» Нина Константинована называет комнату во флигеле Дома Герцена, где Мандельштамы жили в 1932–1933 годах. «Тедди Гриц» – писатель Теодор Гриц.)

Стихотворение Тарковского – не пересказ биографического эпизода (и маловероятно, что он мог видеть, как поэт получал

гонорар «в диком приступе жеманства», – эта строка вообще с Мандельштамом не вяжется: он нередко бывал капризен, но не жеманен); это попытка нарисовать образ поэта, опираясь на сохранившийся в памяти образ поэта Мандельштама, и в целом нарисованная картина представляется убедительной и яркой.

Поэт

Жил на свете рыцарь бедный…

Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.
Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.
Как боялся он пространства
Коридоров! постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.
Так елозит по экрану,
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.
Оперенный рифмой парной,
Кончен подвиг календарный, —
Добрый путь тебе, прощай!
Здравствуй, праздник гонорарный,
Черный белый каравай!
Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.
Так и надо жить поэту.
Я и сам сную по свету,
Одиночества боюсь,
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь.
Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала

И театра кутерьма,
Только люди как попало,
Рынок, очередь, тюрьма.
Жизнь, должно быть, наболтала.
Наплела судьба сама [475] .

На поверхности нередко – чудачество, непредсказумые реакции, скандальность, небрежность в одежде. Но за этим-то главное – небесный дар, чистый поэтический голос. А можно было увидеть только поверхность. И – «вместо трагической фигуры редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи, – мы имеем “городского сумасшедшего”, проходимца, опустившееся существо» (Анна Ахматова. «Листки из дневника») [476] .

Замечательный портрет Мандельштама оставила литературовед Л.Я. Гинзбург: «Мандельштам невысок, тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряженным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами, как переполнен мыслями и прекрасными словами. Читая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждением дышит в такт словам – с физиологичностью корифея, за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно, с слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на цыпочках.

Мандельштам слывет сумасшедшим и действительно кажется им среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком, – расстояния, которое составляет сущность европейского уклада. <…> Ему не совладать с простейшими аксессуарами нашей цивилизации. Его воротничок и галстук – сами по себе. Что касается штанов, слишком коротких, из тонкой коричневой ткани в полоску, то таких штанов не бывает. Эту штуку жене выдали на платье.

<…> Мандельштам – это зрелище, утверждающее оптимизм. <…> Видим самое лучшее: осуществляемую ценность и человека, переместившегося в свой труд. Он переместился туда всем, чем мог, и в остатке осталось черт знает что: скандалы, общественные суды. Люди жертвовали делу жизнью, здоровьем, свободой, карьерой, имуществом. Мандельштамовское юродство – жертва бытовым обликом человека. Это значит – ни одна частица волевого напряжения не истрачена вне поэтической работы. <…> Все ушло туда, и в быту остался чудак с неурегулированными желаниями, “сумасшедший”» [477] .

Так же сумел увидеть поэта драматург А.К. Гладков:

«Его называли безвольным, но то, что в нем казалось нерешительностью, вялой уклончивостью или легкомыслием, было некой военной хитростью, тем маневром, которым полководец, расчетливо экономя войска, сосредоточивает основные силы на главном участке фронта. Когда он сочинял стихи, он был решительным и точным: тут не было места отступлению перед сомнениями. Он выбирал нужное слово, главное слово, рифму властно и непоколебимо, а для этого нужно куда больше воли, чем для всех тех пустяков, которые заполняют остатки суток, когда не пишутся стихи, и которые почему-то считают настоящей жизнью. И только в той, остаточной, ненастоящей жизни он выглядел ленивым чудаком, бесхарактерным и лукавым. Он знал, как о нем все думают, и оставался к этому равнодушным: ведь он-то понимал, как они ошибаются…» [478]

Рассказом о последнем московском адресе поэта мы завершим знакомство с мандельштамовской Москвой.

Последняя московская квартира. Улица Фурманова (Нащокинский переулок), д. 3–5, кв. 26. 1933–1938

В конце 1933 года Осип и Надежда Мандельштам оставляют правый флигель Дома Герцена и переезжают на улицу

Фурманова. Такое название улица официально носила с 1926 года. Здесь, в доме 14, Дмитрий Фурманов, автор «Чапаева», провел последние годы жизни (1923–1926). До 1926 года этот арбатский переулок (а это именно переулок, а никак не улица) назывался Нащокинским. Так его по привычке нередко называли в 1920–1930-е годы и после переименования: в ходу были оба названия.

В начале 1930-х здесь появился один из первых кооперативных домов в Москве. «Здание сооружено в 1933–1934 годах способом надстройки на 2 и 3 этажа бывших старинных каменных Нарышкинских палат и капитальной реконструкции Российским жилищно-строительным кооперативом товарищества “Советский писатель”. Председателем правления был А.А. Жаров, в Комиссии по надзору за строительством – Мате Залка», – сообщает исследователь жизни и творчества М.А. Булгакова, московский краевед Б.С. Мягков [479] . («Палаты» – во всяком случае, к середине XVIII века – были не Нарышкинские, а Нащокинские; по этой усадьбе переулок и получил свое историческое название.)

Поэтому дом нередко именовали «писательской надстройкой». Согласно воспоминаниям Эстер Маркиш, вдовы писателя Переца Маркиша, «дом представлял собой трехэтажную надстройку над двумя соседними домами» [480] . Строители «сдавали» дом частями, некоторые жители въезжали в свои новые квартиры и ранее 1933 года. А другим приходилось ждать и ждать. И ждали с нетерпением – перебраться в отдельную благоустроенную квартиру было заветной мечтой. В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой, жены Михаила Булгакова, это нетерпение хорошо чувствуется:

«23 сентября (1933 года. – Л.В.).

Было общее собрание жильцов корпуса А, опять откладывается стройка. На собрании М. Залка и Шкловский сводили счеты. <…>

18 октября.

С М.А. и Сережкой [481] на новой стройке в Нащокинском. Авось в январе переедем. <…>

19 октября.

Опять на стройке. М.А. волнуется – только бы переехать. <…>

2 ноября.

<…> М.А. ходит почти каждый день на стройку, нервничает. Там ставят перегородки. <…>

9 ноября.

Тревожит вопрос о квартире. Пошли к Матэ Залка – тот

успокаивает – скоро будет, к концу года. <…>

1 декабря.

Днем ездили на стройку. Несмотря на морозы, подвигается».

15 января (1934 года. – Л.В.)

<…> На квартире осталось только – внутренняя окраска, проводка электрическая, проводка газа, пуск воды. Но сколько еще это протянется? <…>» [482] .

Въехали Булгаковы в свою новую квартиру (44) 18 февраля 1934 года. Но пользоваться газом (и, соответственно, греть воду в ванной) они смогли только начиная с октября 1934-го.

Здание было снесено в конце 1970-х годов, и Москва лишилась дома, где жили долго ли, коротко ли многие писатели: К. Тренев, С. Клычков, Всеволод Иванов, С. Кирсанов, В. Ардов, В. Билль-Белоцерковский, Антал Гидаш, Мате Залка, И. Ильф, Е. Петров, А. Файко, Перец Маркиш, Ю. Нагибин и др. В этом доме жил до своей кончины и писал «закатный» роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков.

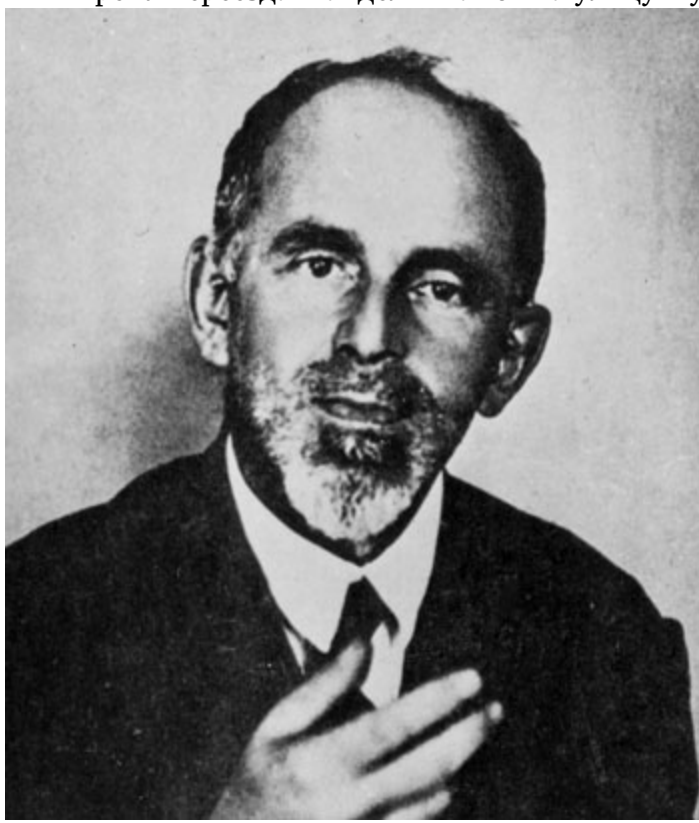
А в квартире 26 поселились Мандельштамы (Мандельштам и Булгаков жили в соседних подъездах).

Ул. Фурманова, д. 3-5

До недавнего времени определить, когда Мандельштамы въехали в дом в Нащокинском, было затруднительно. Если судить по уже цитировавшемуся письму Мандельштама отцу (примерно середина ноября 1933 года – см. главу «Снова при Доме Герцена…»), где Осип Эмильевич пишет о намерении въехать в новую квартиру «в начале декабря», то выходит, что Мандельштамы обосновались на улице Фурманова не ранее конца осени. Н.Я. Мандельштам отмечает в «Воспоминаниях», что «через полгода (после въезда в писательский дом. – Л.В.) О.М. забрали»

[483] . Поскольку Мандельштам был арестован в середине мая 1934-го, вселение надо, таким образом, датировать ноябрем 1933-го. Но во «Второй книге» мемуаров Н. Мандельштам сказано иначе: «В Москву мы вернулись в конце июля (1933 года, из Крыма. – Л.В.) и сразу переехали на новую квартиру, откуда в следующем мае увели Мандельштама на Лубянку» [484] . Э.Г. Герштейн в своих воспоминаниях сообщает о переезде так: «Вскоре после возвращения в Москву Мандельштамы переехали на новую квартиру» [485] . Анна Ахматова в «Листках из дневника»: «Осенью 1933 года Мандельштам наконец получил (воспетую им) квартиру в Нащокинском переулке…» [486]

Но опубликованная в 2006 году книга М.В. Талова позволяет уточнить время переезда Мандельштамов на улицу Фурманова.



Осип Мандельштам. Москва, февраль 1934

Марк Владимирович Талов – поэт и переводчик, знакомый Мандельштама. С 1913 по 1922 год жил во Франции. Вернувшись на родину, вскоре познакомился с Мандельштамом. В книгу, изданную в 2006 году, вошли его стихи, переводы и воспоминания. С 1931 года М. Талов вел дневник. 18 октября 1933-го помечена запись, говорящая о посещении Мандельштамов в их новой квартире:

«Днем мы [487] были у Мандельштама. <…> Мандельштамы на новой квартире, своей, собственной, из двух комнат с передней и кухней. Библиотечные полки Осип Эмильевич построил довольно примитивно: с двух сторон положил кирпичи, прикрыл доской, на доске снова кирпичи, снова доска – так он оборудовал несколько рядов. А вообще в квартире пустые стены. Нет у него денег на мебель первой необходимости» [488] .

Таким образом, Мандельштамы поселились на улице Фурманова, очевидно, не позднее 18 октября 1933 года. Работы по дому продолжались: когда они въехали в квартиру, газовая плита и ванна еще не были там установлены.

Квартира 26 находилась на пятом этаже. Внизу, на первом этаже, в этом же подъезде жил писатель-юморист Виктор Ефимович Ардов и хороший знакомый Мандельштама еще с начала 1920-х годов по левому флигелю Дома Герцена поэт Сергей Антонович Клычков.

Лифта не было, но кто о нем думал! Получить отдельную двухкомнатную квартиру после всяческих углов и комнатушек было подарком судьбы, невероятной удачей.

«Квартирка казалась нам очаровательной, – пишет Э. Герштейн. – Маленькая прихожая, напротив – дверь в крошечную кухню, направо – неописуемая роскошь! – ванная, рядом уборная. На той же правой стене вход в жилые комнаты, в первую узкую и длинную проходную, за ней такой же длины, но гораздо шире – большая комната, причем обе они начинались близко от дверей, так что первая почти не ощущалась как проходная. Газовой плиты еще не было, поэтому кухня использовалась как третья жилая комната. Она была предназначена для гостей. Стряпали в прихожей на керосинке, а когда, наконец, плиту привезли, то и ее установили там же» [489] .

Своя квартира, с ванной, с телефоном!

Дом был кооперативным, и, во-первых, нелегко было попасть в список членов кооператива, а во-вторых, нужно было заплатить немалые деньги на строительство. «Энергия Мандельштамов преодолела все препятствия, – пишет Э. Герштейн, и, судя по всему, она имеет в виду в первую очередь Надежду Яковлевну. – Мандельштам был включен в список членов кооператива – кто внес за него деньги и вообще был ли сделан паевой взнос, не знаю – но какая-то неуверенность чувствовалась и продолжалась до самого последнего дня» [490] .

Очевидно, решающую роль в получении квартиры в писательском доме сыграли влияние и помощь Н.И. Бухарина. Благодаря ему, видимо, Мандельштам заключил договор на

издание будущего собрания сочинений (договор с ГИХЛом [491] был подписан в конце января 1933 года), и хотя сам поэт не верил, по словам Н. Мандельштам, что это собрание выйдет, деньги в счет будущего издания он получал: «Путешествие в Армению, квартира, пайки, договоры на последующие издания, не осуществленные, но хотя бы оплаченные, что очень существенно, так как О.М. брали измором, не допуская ни к какой работе, – все это дело рук Бухарина». В другом месте той же книги: «…Под натиском Бухарина нам дали голубятню на пятом этаже писательской надстройки» [492] . Некоторое время у Мандельштамов в Нащокинском жил гимназический товарищ Александра Эмильевича, «брата Шуры», который упомянут в воспоминаниях Надежды Яковлевны под прозвищем Бублик. «О.М. часто посылал его с доверенностью в Гослит, – пишет Н. Мандельштам, – и Бублик приносил домой довольно крупные деньги: нам выплачивали 60 % за собрание сочинений, которое так и не увидело света, потому что О.М. не пожелал отказаться от “Путешествия в Армению”, кучи стихов и многих статей» [493] .

Деньги, по крайней мере в качестве паевого взноса, были выплачены: «Наша квартира была кооперативной, и мы заплатили за нее крупные деньги» (Н. Мандельштам, «Воспоминания») [494] . Во втором томе своих мемуаров Н. Мандельштам сообщает: «Очередное собрание сочинений, проданное в Госиздат… Мандельштаму было совершенно безразлично, кто будет снимать, резать и уничтожать книги, а в издание мы не верили. Договор и выплату денег устроил Бухарин, чтобы было хоть что-нибудь на жизнь. На эти деньги – их было совсем мало – мы поехали в Крым, а последняя выплата предстояла поздней осенью. Собрание предполагалось двухтомное, но авторские гонорары были такими нищенскими, что ничего похожего на бюджет дать не могли» [495] .

В недавно опубликованном документе приводится «разговор об издании книг» на заседании комиссии по «чистке» парторганизации ГИХЛа 23 октября 1933 года. Из него следует, что Государственное издательство художественной литературы намеревалось выпустить в свет «томик избранных произведений» Мандельштама, что договор с автором был заключен и что издатели «на это дело внесли» «13 000» [496] .

Основываясь на приведенных высказываниях, можно сделать вывод, что Мандельштамы смогли заплатить паевой взнос за кооперативную квартиру из денег, полученных под будущее собрание сочинений. Нельзя при этом исключить, что они могли часть необходимой суммы и занять у кого-либо.

Поддержка Н. Бухарина проявилась и в том, что

Мандельштам смог вообще стать членом кооператива «Советский писатель» – многие сомневались в его праве на это. Эмма Герштейн вспоминала, что поэт и прозаик К.А. Большаков говорил ей: «Вы поймите: Мандельштам не имеет права на квартиру в писательском кооперативном доме, он даже – не член Союза поэтов». Она же сообщает, что знакомый художник, «активно работавший в профкоме творческих работников», познакомившись с мандельштамовским стихотворением «Квартира тиха, как бумага…» (о нем речь будет ниже), отреагировал так: «Сволочь! Ему дали квартиру, на которую он не имел права, а он так отблагодарил» [497] .

Так или иначе, новое жилище было получено, и Мандельштамы обживали его.

Е.К. Осмеркина-Гальперина передает свое впечатление от квартиры на улице Фурманова: «Позднее я была у них уже в Нащокинском переулке. Войдя в комнату, я сразу почувствовала, что ее жильцы… приземлились здесь ненадолго: чисто, пусто. Пожалуй, слишком чисто и слишком пусто. <…> Я бы сказала, что здесь была обитель неприкаянного поэта» [498] .

Более подробное описание квартиры дает Э. Герштейн: «Убранство квартиры было замечательным: его почти не было. В большой комнате, на стене направо от входа, во всю ширину комнаты были помещены дощатые некрашеные полки, а на них установлены книги из библиотеки Мандельштама, бог знает где хранившиеся все эти годы. Помимо итальянских поэтов я помню Батюшкова без переплета, кажется, это были “Опыты…”, “Песни, собранные П.В. Киреевским”, “Стихотворения” А.С. Хомякова, “Тарантас” В.А. Соллогуба с рисунками Г. Гагарина. Кроме книг в каждой комнате стояло по тахте (то есть чем-нибудь покрытый пружинный матрац), стулья, в большой комнате простой стол и на нем телефон. Эта пустота и была очаровательна» [499] .

Книжные полки пополнялись. Мандельштам при возможности с конца 1920-х годов покупал то, что любил: Данте, Ариосто, Тассо, Петрарку, Д. Вико… Были в первоизданиях русские поэты XIX века – Н. Мандельштам упоминает Державина, Языкова, Боратынского, Фета, Полонского; были, по ее словам, книги и других поэтов. Поэзия античного Рима соседствовала с древнерусской литературой, которой в начале 1930-х Мандельштам был увлечен. «Слово о полку Игореве» он знал наизусть. Неправильно было бы сказать, что Мандельштам «интересовался» русской историей. Он не интересовался, а жил ею, он «проживал» русскую историю и жизнь в себе и был необыкновенно чуток ко всему, что связано с Россией и ее исторической судьбой. На книжных полках были Чаадаев,

славянофилы, Ключевский. Под влиянием Б. Кузина Мандельштам увлекся, как уже говорилось, биологией, натуралистами – Ламарком, Палласом, Дарвином, и тома великих исследователей природы стали частью мандельштамовского книжного собрания.

На нижней полке находились издания, которые поэт знал еще ребенком, – Надежда Яковлевна называет Пушкина, Лермонтова, Гоголя, «Илиаду».

Часть книг Мандельштама была продана Надеждой Яковлевной после его второго ареста – нужно было достать деньги на посылку в лагерь; другая часть была утрачена во время ее скитаний в 1930 – 1940-е годы; некоторые уцелевшие книги хранились у брата Н.Я. Мандельштам – Евгения Яковлевича Хазина.

Разместились в новой квартире и «видавшие виды манатки», как о них говорится в стихотворении «Квартира…» – это были, по словам Б. Кузина, «старый расползающийся чемодан, старая же корзина и еще какие-то связанные коробки» [500] . Кузин упоминает эти вещи в связи со Старосадским переулком, но они побывали и на Тверском бульваре, а затем перекочевали на улицу Фурманова.

«…Во всем доме была прекрасная слышимость. Комната Осипа Эмильевича (большая) граничила с соседней квартирой из другого подъезда, откуда постоянно слышались стоны гавайской гитары. Там жил Кирсанов. Стены были проложены войлоком, из-за этого квартира, очень хорошо отапливаемая, была полна моли. Все пытались ее ловить, хлопая руками. Эти детали откликнулись в “Квартире” Мандельштама – стихотворении этой поры», – пишет Э. Герштейн [501] .

Г. Чулков, М. Петровых, А. Ахматова, О. Мандельштам. Москва, ул. Фурманова

Мандельштамы были гостеприимны, и в их доме стали нередко появляться знакомые и друзья. Упомянем первым поэта Владимира Нарбута, товарища еще по гумилевскому акмеистическому «Цеху поэтов» (Б. Кузин, отмечая, что дружба Мандельштаму была необходима и что при этом он не может назвать никого, кого бы он мог считать близким другом поэта, – «у меня сложилось мнение, что по-настоящему близким его другом был только Н.С. Гумилев» [502] , – выделяет все же В.И. Нарбута). У Нарбута Мандельштамы и сами неоднократно бывали в Марьиной Роще (см. «Список адресов»). Когда Нарбут занимал ответственные партийные посты и руководил издательством «Земля и фабрика», он давал работу и помогал Мандельштаму; однако в это время, в 1933–1934 годах, Нарбут уже был исключен из партии, потерял влияние, и Мандельштам старался ему помочь, чем мог. Бывали у Мандельштама поэты Михаил Зенкевич (тоже в прошлом акмеист), Георгий Шенгели и Сергей Клычков; Мария Петровых и Борис Кузин; художник Александр Тышлер, Эмма Герштейн, брат Надежды Яковлевны Евгений Хазин, Владимир Яхонтов и Лиля Попова; жил здесь некоторое время вернувшийся из ссылки поэт Владимир Пяст; наезжал, как уже упоминалось, Лев Гумилев («Где мой дорогой мальчик?» – спрашивал Осип Эмильевич, когда приходил домой в отсутствие «Лёвы»).

И, конечно же, по свидетельству Э. Герштейн, «прежде всего была приглашена Ахматова», которая навестила Мандельштамов осенью, а затем снова приехала из Ленинграда в феврале 1934 года. Ахматова всегда была для Мандельштама близким другом и

почитаемым поэтом. Еще в 1916 году он написал, что «ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России» (статья «О современной поэзии (К выходу “Альманаха Муз”»). Борис Кузин пишет, что Мандельштам относился к Ахматовой «не только с необычайным уважением, – мало того, с каким-то пиететом». «В Нащокинской квартире одна из комнат была почти лишена мебели и обычно пустовала. Ее и отводили Анне Ахматовой, останавливавшейся в Москве у Мандельштамов» [503] . Эта комната, о которой сообщает Кузин, – кухня, так кухней и не ставшая и отводившаяся гостям.

Вернемся к общению Мандельштама с Владимиром Нарбутом в это время. Оно было достаточно тесным. Посещать Мандельштамов ему было удобно – Нарбут жил тогда неподалеку от улицы Фурманова, в Курсовом переулке у Остоженки (см. «Список адресов»; там он и будет арестован в 1936 году). От Курсового переулка до писательского кооперативного дома – минут десять-пятнадцать пешком, не более. В книге уже говорилось о неожиданной характеристике Гитлера в воронежских «Стансах» Мандельштама 1935 года – «садовник» («садовник и палач») – и высказывались некоторые соображения по этому поводу. Здесь добавим, что в воронежских стихах 1935 года могло откликнуться московское общение с В. Нарбутом в период, предшествовавший ссылке Мандельштама.

В это время Нарбут работает над новыми стихами, в духе так называемой «научной поэзии», приверженцем которой он тогда был (цикл «Под микроскопом»). Логично предположить, что старый товарищ-поэт мог познакомить Мандельштама со своими новыми сочинениями. В цикл входит, в частности, стихотворение «Садовод». Стихам предпослан эпиграф – слова И.В. Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы: взять их у нее – наша задача». Стихи страшноватые: работу «садовода» автор стихотворения сравнивает с холощением животных; в природу надо вторгаться активно, без церемоний, и также смело надо «переделывать» и стихи:

……
Перхоть, клей, подрагиванье, тренье,
На губах – любовь: не продохнешь!
В суматохе зреет подозренье:
Приготовь для кесарева нож…
Только бы в саду не растеряться:
По деревьям – свальный грех, содом…
Лестница, —
И жарко от кастраций…
Марлевый сачок повис потом.

(Как у нас лущили, холостили,
В балке поднимали на попье.
И клещи мошонку защемили.
Плавает яичников тряпье.
Как у нас, без всяких фанаберий
Переделывают ямб, хорей.
Интонационный стих оперил
Мысли, чтобы ритм не захирел.)
……
Я прошу:
средь пасмурного дыма
Веток и пыльцы (с весною стык),
Мудрый садовод,
Неукротимый
Обуздай наукою мой стих!

Вариант этого стихотворения под еще более интересным для нас названием «Садовник» сохранился в архиве В.Б. Шкловского. Стихи посвящены И.В. Мичурину.

Это скрещиванье, опыленье —
Что, как не древесная любовь?
Медленно, однако, поколенье
Лезет семечками из плодов.
А у нас ни сроков, ни охоты
Сохранять врожденное лицо:
Черенок и нож подтянут всходы,
Банка светится уже пыльцой.
Слыша, как под песни комсомолок
Перестраивается страна,
Улыбается в усы помолог:
– Молоды еще мы, старина! —
Над Козловом день – высок, лазурен.
Но куда лучистей воля, ум
У того, кого зовут Мичурин,
Кто в зеленый окунулся шум.
Селекционер, он в мире первый
Показал (трезвейший чародей!),
Сколько превращений и гипербол
Спрятано в растении, в плоде.
……
Выводя породу за породой,
Дичь и косность мы на части рвем.
Что ж, повозимся еще с природой,
Поработаем и поживем!
В долголетьи нет стране отказа, —

Нас гормоны новые бодрят.
Нам социализм широкоглазой
Веткой машет дни и ночь подряд.
Сами из породы полноправных,
Садоводы чувств и головы,
Мы вконец спокойны за питомник,
За сады, в движении молвы,
Если есть у нас такой садовник,
Как, Иван Владимирович, Вы! [504]

В примечании к «Садовнику» Н. Бялосинская и Н. Панченко сообщают: «М.б., глава из задуманной поэмы о Мичурине. В АШ (архив В.Б. Шкловского. – Л.В.) сохранились черновики, планы, выписки к этому замыслу» [505] . То есть над замыслом Нарбут работал в течение определенного времени; есть все основания предполагать, что он мог познакомить Мандельштама со своими стихами на эту тему.

Известно, что Мандельштам не принимал «научную поэзию» как направление, хотя сам никак не чуждался научно-философской проблематики (об этом свидетельствуют стихи о Ламарке и «Восьмистишия», созданные в 1933–1935 годах). Воспоминание о его выступлении на соответствующем диспуте оставила Н.Я. Мандельштам: «Выступал он очень редко – ведь все с самого начала покрылось густым слоем официальщины и не располагало к свободному разговору. При мне он лишь однажды ввязался в спор на литературном собрании в ГИХЛе, посвященном… “научной поэзии”. Мандельштам выступал очень резко и оспаривал самое понятие “научная поэзия”. Нарбут ликовал: настоящее литературное собрание. Санников, второй адепт этого вида поэзии, чернел от гнева» [506] .

7 июня 1935 года, то есть в период работы поэта над воронежскими «Стансами», умер И.В. Мичурин. Этот факт не мог пройти мимо внимания Мандельштама. Мичурин скончался в городе Мичуринске (в 1932 году город Козлов получил имя селекционера), достаточно близко от Воронежа, места мандельштамовской ссылки; более того, Мичуринск в то время входил в состав Воронежской области (Тамбовская область была выделена из Воронежской в 1937 году). О смерти знаменитого восьмидесятилетнего садовника, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного знамени, сообщали центральная и региональная пресса и радио. Смерть Мичурина могла напомнить о нарбутовских стихах, посвященных селекционеру. Стихи Нарбута, прославляющие бодрое вторжение в природу с ножом в руке, вполне могли отозваться, в свою очередь, в характеристике Гитлера – фюрер разделял, как известно, идеи социал-

дарвинизма, был фанатичным приверженцем идей расовой селекции, выбраковки ущербных и «расово неполноценных» – именно это он и предлагал осуществить и осуществлял на практике в человеческом обществе, руководствуясь, разумеется, собственным представлением о том, кто ущербен, а кто нет. Во избежание кривотолков оговоримся, пусть эта оговорка и будет звучать комично: Мичурин, естественно, никакого отношения к фашизму и Гитлеру не имел. Для нас в данном случае имеет значение только то, что он был садовник и селекционер. Известие о кончине Мичурина могло вызвать у Мандельштама мысль об идеях расовой селекции, которых придерживался и которые воплощал в жизнь Гитлер. Мандельштам был приверженцем идеи об эволюции как следствии, в первую очередь, изначально присущего жизни креативного импульса, «творческой эволюции» (вспомним его увлечение Бергсоном и Ламарком). Мысль о механическом вмешательстве в этот процесс «со стороны» и сортировке, во всеоружии самонадеянного невежества и предвзятости, «нужных» и «негодных» – такая мысль была ему, очевидно, совершенно чужда. Такова, по нашему мнению, по крайней мере одна из причин странного на первый взгляд объединения в характеристике Гитлера «садовника» и «палача».

Возвратимся к писательскому дому. Жизнь на улице Фурманова, как и ранее, была бедной и неустроенной. Опубликованное в майской книжке журнала «Звезда» «Путешествие в Армению» вызвало откровенно недоброжелательную реакцию Н. Оружейникова в «Литературной газете» и, что еще более важно, резко отрицательный отзыв С. Розенталя в «Правде», главной газете страны (30 августа 1933 года). Была надежда лишь на случайные литературные подработки. «…Бродячая жизнь как будто кончилась, – пишет Анна Ахматова. – Там впервые у Осипа завелись книги, главным образом старинные издания итальянских поэтов (Данте, Петрарка). На самом деле ничего не кончилось. Все время надо было куда-то звонить, чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из этого ничего не выходило» [507] .

Лев Николаевич Гумилев рассказывал о своем пребывании у Мандельштамов: однажды, когда в доме не было папирос и не было денег на их покупку, он (Гумилев), увидев нищего, стоявшего на углу Гагаринского переулка и улицы Фурманова, продал ему кусок хлеба и купил папиросы на эти деньги. Надежда Яковлевна, по словам Гумилева, долго его ругала за то, что он хлеб продал нищему – нищему можно подать или не подать, но продавать нехорошо.

Деньги были нужны, и Мандельштам решил продать

государству свой архив. В 1933 году был создан Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики (ЦМЛ). Руководил им видный старый большевик В.Д. Бонч-Бруевич. Музей покупал архивы литераторов. Как сообщает С.В. Шумихин, Михаил Кузмин, например, в декабре 1933-го – то есть тогда, когда Мандельштамы обживали квартиру на улице Фурманова – продал свой архив музею за 25 000 рублей. С. Шумихин пишет: «3 марта 1934 года Мандельштам принес в музей, который помещался тогда на 1-м этаже дома № 5 по Рождественке, свой архив…» [508] Уточним – здесь был музейный отдел рукописей и фольклора. Комиссия экспертов определила стоимость архива Мандельштама в 500 рублей. Поэт продавать архив отказался. В ЦМЛ он уже сам не пошел. 21 марта 1934 года датирована доверенность, выданная Мандельштамом жене на получение его бумаг из Литмузея обратно. Чего бы сейчас только не дали исследователи всего мира за одну только возможность посмотреть эти рукописи!

У Мандельштама состоялся телефонный разговор с Бонч-Бруевичем; в продолжение разговора Мандельштам отправляет руководителю музея раздраженное письмо (21 марта 1934 года), где, в частности, заявляет: «Назначать за мои рукописи любую цену – ваше право. Мое дело – согласиться или отказаться. Между тем вы почему-то сочли нужным сообщить мне развернутую мотивировку вашего неуважения к моим трудам.

Таким образом покупку писательского архива вы превратили в карикатуру на посмертную оценку. **Безо всякого повода с моей стороны** вы заговорили со мной так, как если бы я принес на утильпункт никому не нужное барахло, скупаемое с неизвестной целью».

Эта история послужила поводом для написания эпиграммы:

На берегу эгейских вод
Живут архивяне – народ
Довольно древний. Всем на диво
Начальству продавать архивы
Паршивый промысел его.
Священным трепетом листвы
И гнусным шелестом бумаги
Они питаются – увы! —
Неуважаемы и наги…
Чего им нужно?

1934

Выразительный эпизод, характерный для быта Мандельштамов, находим в дневнике В.Н. Горбачевой, жены С.А.

Клычкова: «Мандельштамы живут в нашем подъезде на самом верхнем этаже. Они иногда стучатся к нам в дверь… просят взаймы.

Однажды попросили мелочь на трамвай – собрались на базар продавать платье Надежды Яковлевны. У Осипа Эмильевича надменно-благородное лицо, когда он торгует рухлядью жены. Очень красив, похож на апостола (кажется, Петра таким изображают). Они продали платье и вновь постучались к нам отдать долг. <…> На базаре они купили немного сметаны, с полстакана, мизерное количество еще какой-то еды, кажется, кило картофеля. И… поздней осенью, когда цветы уже редкость… букет хризантем… Узнаю вас, поэты, странная порода людей» [509] .

Внешность Мандельштама описывается мемуаристами по-разному. Наряду с отрицательными характеристиками мы встречаем в этих словесных портретах и упоминания – когда речь идет о молодом поэте – о грации «принца в изгнании» (Анастасия Цветаева), о сияющих пронизывающих прекрасных глазах (Георгий Иванов) и длинных ресницах. Но и позднее Мандельштам отнюдь не всегда производил впечатление нервного, суетливого, плохо и неряшливо одетого человека. Мария Гонта, жена поэта Дмитрия Петровского, запомнила Осипа и Надежду Мандельштам такими (имеются в виду 1920-е годы):

«Прекрасно посаженная голова Мандельштама, его величественная и медленная повадка. Он – в черном костюме и ослепительной рубашке, респектабельный и важный.

Молоденькая его жена, милая, розовая, улыбающаяся Надя…» [510]

Красивым, как видим, показался Мандельштам уже в начале 1930-х и соседке по дому на улице Фурманова – В.Н. Горбачевой.

Ахматова запомнила друга-поэта таким: «К этому времени Мандельштам внешне очень изменился, отяжелел, поседел, стал плохо дышать – производил впечатление старика (ему было всего 42 года), но глаза по-прежнему сверкали» [511] .

Анна Ахматова. 1930-е

Мандельштама житейские неурядицы обычно не смущали. Когда он сочинял стихи, то бегал, как вспоминал Л.Н. Гумилев, по квартире, бормотал про себя, «шумел, гудел, когда на него накатывало». Как и ранее, свойственные поэту неистребимые открытость жизни и приятие ее выражались, в частности, в юморе, остротах, шутливых прозвищах и наименованиях. Так, например, свою комнату поэт стал именовать «Запястье», потому что она была расположена за той, в которой жил Пяст. Комната, где останавливалась Ахматова («будущая кухня»), получила прозвище «Капище» (В. Нарбут однажды, по словам Н. Мандельштам, обратился к Ахматовой: «Что Вы валяетесь, как идолище в своем капище?» и посоветовал ей пойти на какое-нибудь заседание). Надежде Яковлевне поэт придумал однажды имя «Маманас» (то есть «наша мама» – имелись в виду сам Мандельштам и Ахматова). Главы своих поэм В.А. Пяст именовал отрывами. Это слово попало в эпиграмму, написанную в начале 1934 года:

Слышу на лестнице шум быстро идущего Пяста,
Вижу: торчит из пальто семьдесят пятый отрыв,
Чую смущенной душой запах голландского сыра
И вожделею отнять около ста папирос.

Содержалась ли в шутливом прозвище Маманас какая-то доля правды по отношению к Мандельштаму? Известно, что мать Мандельштам очень любил, и ее смерть в 1916 году была для него тяжелым ударом. Так или иначе, нелегко быть женой неприкаянного, по-житейски абсолютно неустроенного, а затем и гонимого человека. Надежда Яковлевна Мандельштам относится, бесспорно, к той категории самоотверженных любящих женщин, что и Настасья Марковна, жена протопопа Аввакума, Софья Андреевна Толстая, Анна Григорьевна Достоевская и Елена Сергеевна Булгакова. Мандельштама соединяли с женой любовь и настоящее духовное родство. Поэт мог увлечься Марией Петровых, ему могла нравиться Лиля Яхонтова, но накрепко связан он был, несомненно, только со своей Надей. «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно… <…> Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах, – пишет Ахматова. – Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это мое впечатление» [512] .

Надежда Яковлевна была человеком проницательным, резкого и тонкого ума и твердого характера. Это в полной мере проявилось в ее знаменитых мемуарах, которые, без сомнения, являются одними из самых значительных и ярких свидетельств эпохи.

«Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах, сидела над книгой в углу, изредка вскидывая на нас свои ярко-синие, печально-насмешливые глаза. Я, каюсь, в ней тогда не видел личности, она казалась мне просто женой поэта, притом женой некрасивой, – вспоминает С. Липкин. – Хороши были только ее густые рыжеватые волосы. И цвет лица у нее всегда был молодой, свеже-матовый. <…>

А ведь если бы я был понаблюдательней, то мог бы понять, что Надежда Яковлевна была человеком незаурядным – хотя бы потому, что Мандельштам, прочтя свои стихи, часто ссылался на мнение о них Надежды Яковлевны, хотя бы потому, что эта чета была неразлучной… <…>

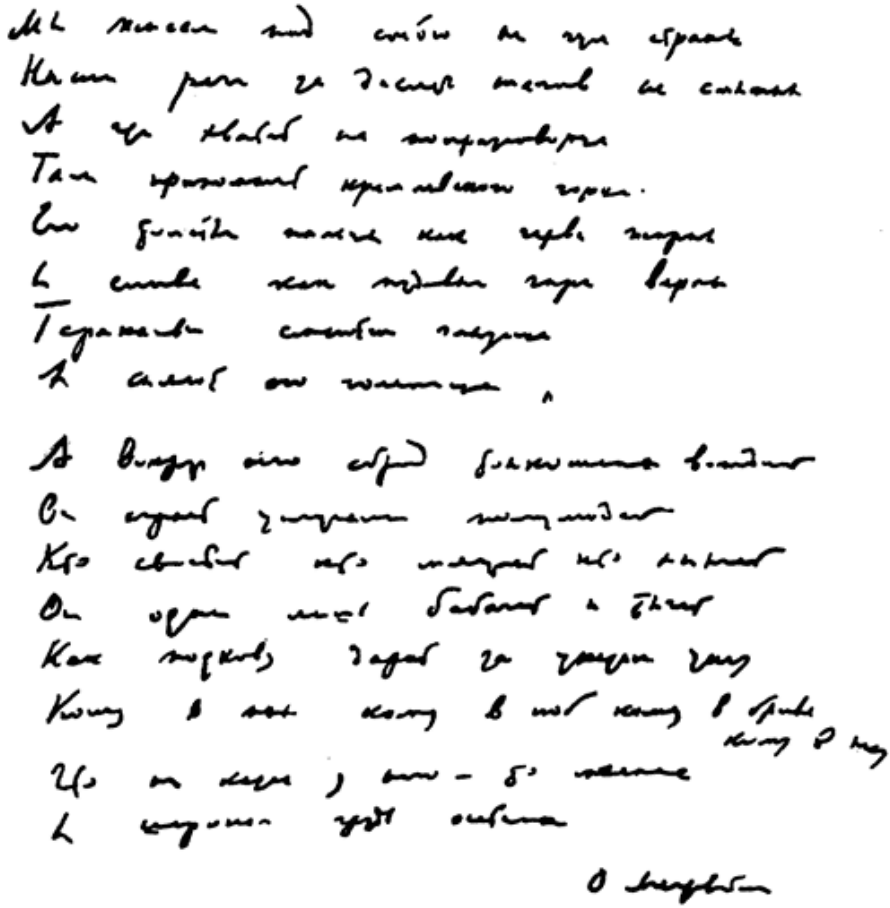
Только в конце сороковых, снова, через много лет – и каких лет! – встретившись с Надеждой Яковлевной у Ахматовой на Ордынке, я мог оценить блестящий едкий ум Надежды Яковлевны, превосходное ее понимание государственной машины, не столь часто наблюдаемое даже у людей неглупых. А когда, позднее, я прочел ее книги (вторая, на мой взгляд, сильно уступает первой), то, к своему изумлению, открыл оригинального, страстного и (увы) пристрастного писателя. Она совершила

подвиг, сохранив в памяти все неопубликованные стихи Мандельштама и заслужив вечную благодарность русских читателей» [513] .

Именно в это время, в период жизни на улице Фурманова, был создан убийственный стихотворный портрет Сталина (ноябрь 1933).

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.

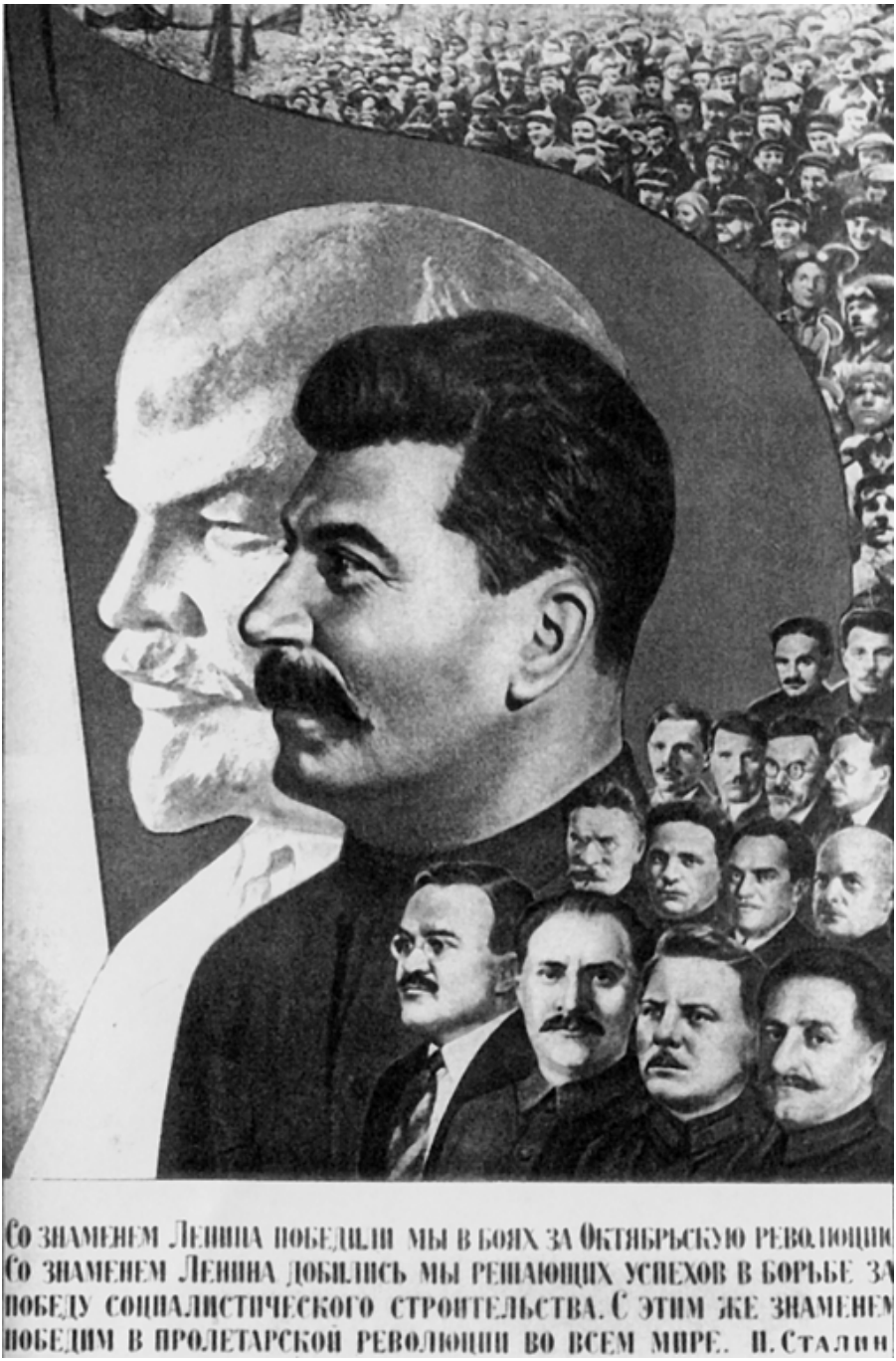
Подобно ряду текстологов, автор данной книги склоняется к мнению, что основным вариантом седьмого стиха надо считать «Тараканьи смеются глазища». Все же, что ни говори, сам поэт написал именно так (автограф в следственном деле 1934 года), и, с нашей точки зрения, это должно быть решающим фактором. А.Г. Мец указал на «нераспознанную ранее цитату в “Листках из дневника” Ахматовой: “Из каждого окна на нас глядели тараканьи усища виновника торжества”». «“Листки из дневника”,– подчеркивает А. Мец, – писались в 1957–1963 годах, до первой публикации стихотворения (1963) [514] , что повышает ценность цитаты как текстологического источника». Это сильный аргумент, как и то, что, по словам А. Меца, вариант «тараканьи глазища» «не встречается больше ни в одной записи свидетелей-современников» [515] . Но все же авторская запись, хотя и сделанная в условиях экстремальных, представляется более авторитетным источником; кроме того, совсем недавно обнаружен список стихотворения, сделанный при жизни автора – «видимо, тайно, с голоса и по памяти» – и принадлежащий перу Бориса Кузина, а в нем в соответствующем стихе – «глазища» [516] .



«Мы живем, под собою не чуя страны…» Автограф

Выскажем также следующее соображение: «глазища» больше соответствуют поэтической стратегии Мандельштама – его установке на высокую концентрацию, сгущение смысла за счет использования многозначности, фонетических возможностей и «спрессовывания» словесного материала: произнося «глазища», мы не можем не слышать и «усища»; мы видим не только глаза, но в нашем сознании неизбежно возникают заодно и сталинские усы. Автор данной книги назвал бы прием, о котором идет речь, «два в одном». Выше, в первой главе о Доме Герцена, говорилось, в связи со стихотворением «А небо будущим беременно…», о замечательном наблюдении Б.А. Успенского: напомним, что, как показал исследователь, у Мандельштама нередко через слово в переносном, метафорическом значении «проглядывает» другое, первичное, в этой конструкции замененное, и взаимодействие замещенного, но осознаваемого, и того, что стало на его место, создает определенный контекст. Как мы пытались показать, в строке «А небо будущим беременно…» «сквозь» «небо» мы

слышим «время» – из более привычного выражения «время беременно будущим». Нам кажется, что этот прием действует не только в тех случаях, когда можно говорить о метафорах, но имеет и более широкую область применения. Так (и об этом тоже шла речь выше), в стихотворении «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..» странная рифма к слову «обуян» – «Франсуа» – останавливает наше внимание, что и требуется: за «Франсуа» «просматривается» неназванный и «лучше» рифмующийся с «обуян» Вийон («Виллон»). Так и в стихах о Сталине – Мандельштам убивает двух зайцев разом, одним словом рисует сразу две детали сталинского портрета: проницательные хитрые глаза и усы.


Со знаменем Ленина победили мы в боях за Октябрьскую революцию
Со знаменем Ленина добились мы решающих успехов в борьбе за
победу социалистического строительства. С этим же знаменем
победим в пролетарской революции во всем мире. И. Сталин.
«Со Сталиным во главе». Плакат

Атмосфера этих стихов столь же страшна, как в пушкинском сне Татьяны из «Евгения Онегина», откуда, думается, и явились «полулюди». Люди, нормальные люди, немеют и, как в жутком сне, не чувствуют земли под ногами, а нечисть, окружающая кремлевского «душегубца», рассвистелась и расшипелась. Татьяна

у Пушкина немеет от страха, ни язык, ни ноги ее не слушаются (подобно тем, кто обозначен в стихах Мандельштама «мы»); Онегин в ее сне выступает в качестве «хозяина»-предводителя сборища уродов, издающих нечеловеческие звуки: «Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, / Людская молвь и конский топ! <…> Он знак подаст – и все хлопочут; / Он пьет – все пьют и все кричат; / Он засмеется – все хохочут; / Нахмурит брови – все молчат; / Он там хозяин, это ясно…». «Хозяин» – так уже говорили о Сталине в период написания мандельштамовского стихотворения. И ниже: «…вдруг Евгений / Хватает длинный нож…» [517] . Примем во внимание строки, которые, по свидетельству Н. Мандельштам, присутствовали в ранней редакции антисталинского стихотворения: «Только слышно кремлевского горца, / Душегубца и мужикоборца» [518] . Нож – неизменный атрибут «душегубца».

Главные характеристики «кремлевского горца» – мощь и тяжесть. Все вокруг слабы и легковесны, их голоса почти не слышны, они хнычут и мяучат, у вождя же «толстые пальцы», у него «широкая грудь», его слова сравниваются с пудовыми гирями, он «бабачит и тычет». (Тяжесть пудовых гирь несомненна, верность, т. е. точность, которой можно доверять – «И слова, как пудовые гири, верны…», – не так очевидна.) Мандельштам выдумывает выразительный глагол «бабачить», в котором угадываются, по наблюдению Е.А. Тоддеса, «талдычить» и «долдонить» [519] . Удвоение звуков в «бабачить», конечно, соотносится с «долдонить». Представляется также, что «бабачить» имеет и значение «командовать», «изрекать», «верховодить» – может быть, от тюркско-татарского «бабай» («дед»). «Баба» – титул мудреца, учителя в Индии. Сталин – правитель восточного типа, новый хан, он подобен индийскому или китайскому божку.

О. Ронен устанавливает связь стихов о кремлевском горце с произведением А.К. Толстого. «В ней [520] Мандельштам возродил традицию фольклоризованной гражданской сатиры XIX века. <…> Своим ритмико-интонационным строем, риторикой негодования, смягченного просторечивым юмором и позой простодушного изумления, и несколькими конкретными деталями эти знаменитые стихи восходят к не менее знаменитой “песне” Толстого “Поток-Богатырь”» [521] . Действительно, в балладе А.К. Толстого древнерусский богатырь засыпает во времена великого князя киевского Владимира Святославича, а просыпается в Москве XVI века. Картина, которая предстает перед его глазами, вызывает у богатыря недоумение и негодование:

11

……

Вдруг гремят тулумбасы, идет караул,

Гонит палками встречных с дороги;
Едет царь на коне в зипуне из парчи,
А кругом с топорами идут палачи —
Его милость сбираются тешить:
Там кого-то рубить или вешать.
12
И во гневе за меч ухватился Поток:
«Что за хан на Руси своеволит?»
Но вдруг слышит слова: «То земной едет бог,
То отец наш казнить нас изволит!»
И на улице, сколько там было толпы, —
Воеводы, бояре, монахи, попы,
Мужики, старики и старухи, —
Все пред ним повалились на брюхи [522] .

Образ Сталина в стихотворении Мандельштама фольклорен и плакатен, портрет нарисован сочными красками, приводящими на память древнерусские былины, лубочные картинки XVII века, «Капричос» Гойи и окна РОСТа Маяковского. Сравним:

Он поехал нунь, татарин да поганыи,
А Идолище великое,
А великое да страшное…
……
Говорит ему Иванище могучее:
«Там татарин с великии,
А великии Идолище да страшныи;
Он по́ кулю да хлеба к выти ест,
По ведру вина да он на раз-то пьет, —
Так не смею я идти туда к татарину».
……
Тут Идолищу поганому не кажется,
Как ухватит он ножище да кинжалище,
Да как махне он в каза́ка Илью Муромца…
«Илья Муромец и Идолище в Киеве»
Тут несли как Тугарина за дубовый стол,
Да несло двенадцать слуг да ведь уж князевых,
Да на той же доске да раззолоченной.
……
Да и говорит-то Тугарин-от Змеевич же:
«Еще хошь ли, Алешенька, я живком схвачу,
Еще хошь ли, Алешенька, я конем стопчу,
Я конем-то стопчу, да я копьем сколю?»
Да по целой-то ковриге да кладет за щеку.
«Алеша и Тугарин в Киеве» [523]

Сталин и показан Мандельштамом как такое «Идолище»

поганое или Тугарин Змеевич (о некоем «змееподобии» или «драконоподобии» Сталина мы писали выше, упоминая наблюдения Д. Лахути и Г. Левинтона). Его толстые жирные пальцы, его «глазища» (сквозь которые проглядывают неназванные «усища») и «голенища» заставляют вспомнить о былинных «идолищах» и «ножищах»-«кинжалищах». «Кремлевский горец» и говорит по-варварски: «бабачит» на своем полузверином наречии. Он не совсем человек, подобно герою былины о Тугарине Змеевиче: «глазища» у него тараканьи (а таракан существо хитрое, «подпольное» и человеку противное) и язык соответствующий: тычет и бабачит. Герой стихотворения – огромный таракан (вспоминается, конечно, и «Тараканище» Чуковского), поэтому у него «глазища». Удовольствие испытывает от казней, от убийства: всякая казнь для него – «малина»; сравним с вкрадчивым, «ласковым» обещанием Тугарина «Алешеньку» конем стоптать или копьем сколоть. «Мы живем, под собою не чуя страны…» последовательно продолжает «фольклорную» стилистику стихотворения о «неправде» («Я с дымящей лучиной вхожу…»), о котором говорилось выше, в главе о жизни в Старосадском переулке. Заключительная строка стихов о кремлевском горце кажется, при таком явно гротескном портрете, бледноватой для завершения. Известно, что Мандельштам не был удовлетворен финалом. Нельзя не согласиться с М.Л. Гаспаровым, что оставшийся в памяти некоторых слушателей другой вариант концовки кажется более соответствующим стилистике произведения: «И широкая ж… грузина» [524] .

Рассматривая весь комплекс произведений Мандельштама, в которых воплощена сталинская тема, мы обнаруживаем два основных подхода, две взаимодополняющих и в определенной мере противоборствующих тенденции: установку на создание портрета могучего вождя-диктатора и на изображение полумифического персонажа, подобного восточному божку, костенеющему, заплывающему жиром, теряющему человеческий образ («рябым чертом» Сталин назван уже в «Четвертой прозе»). «Широкая ж… грузина» годится больше для второго подхода, «широкая грудь осетина» – для первого (олицетворение чего-то хищного, боевого, «горского»). Грузия, в восприятии Мандельштама, – страна лирического сладостного упоения, любви и благоденствия, в ее воздухе разлита некая дремотная беспечность:

«В русской поэзии есть грузинская традиция. Когда наши поэты прошлого столетия касаются Грузии, голос их приобретает особенную женственную мягкость и самый стих как бы

погружается в мягкую влажную атмосферу:

На холмы Грузии легла ночная мгла… [525]

Может быть, во всей грузинской поэзии нет двух таких стихов, по-грузински пьяных и пряных, как два стиха Лермонтова:

Пену сладких вин

Сонный льет грузин [526] .

<…>

Грузия обольстила русских поэтов своеобразной эротикой, любовностью, присущей национальному характеру, и легким, целомудренным духом опьянения, какой-то меланхолической и пиршественной пьяностью, в которую погружена душа и история этого народа» («Кое-что о грузинском искусстве», 1922).

Грозный «казнелюбивый» (слово из мандельштамовских стихов об Армении) повелитель, садист с ханскими повадками плохо вписывается в такую картину.

Финальная строка стихотворения связана со слухами об осетинском происхождении кремлевского правителя. (По одной из версий, фамилия Сталина – Джугашвили – значит «сын осетина».) Вообще малоизвестное и очевидно в определенной мере скрываемое прошлое вождя давало пищу для разнообразных сплетен: в антисемитских кругах, где укоренено мистическое представление о том, что все зло в мире, так или иначе, от евреев, некоторые считали Сталина кавказским евреем.

Вполне понятна реакция Пастернака, который сказал Мандельштаму примерно следующее: «Как Вы, еврей, могли написать такое?» Действительно, последняя строка бьет по Сталину-инородцу. Будучи евреем, не слишком уместно указывать на инородчество кого бы то ни было. Хотя логика такого указания понятна: Сталин – получеловек, полутаракан, инфернальное существо, «идолище поганое», как в былинах, – с этим вяжется его «инородчество», оно вписывается в такой портрет, соответствует фольклорной стилистике.

Звучит, представляется, здесь еще одна нота. В этом ракурсе дело не в том, осетин Сталин или грузин. Назвать Сталина осетином – подчеркнуть его самозванство. Сталин – забравшийся в Кремль самозванец; если он вдобавок осетин, выдающий себя за грузина, мотив самозванства усиливается – та же нота звучала бы, если бы грузин именовал себя осетином (или еврей рядился под русского – что, как известно, неоднократно и случалось).

Ненависть, ирония, страх и зависть смешаны в завершающей строке мандельштамовского гротеска.

В последнем слове антисталинской сатиры Мандельштам назвал по имени того, кого изобразил, да и сам подписался под изображением: «осетин» перекликается с «Иосиф», «Ося», «Осип».

(Так что и в этом стихотворении Мандельштам следует своему обыкновению – имя героя вплетается в звуковую ткань произведения.) Совершенно права И.З. Сурат: «К осетину вело имя Сталина – их общее с Мандельштамом имя» [527] . Один Иосиф преподнес портрет другому. Все детали этого портрета нацелены на то, чтобы оскорбить изображаемого. В противоположность библейскому сюжету, Давид провоцировал Голиафа, причем совершенно очевидно, что поэт сознательно выбрал жертвенный путь. Погибнуть или пострадать за правду – привилегия пророков и поэтов, и Мандельштам этого хотел.

Если говорить о чисто художественной стороне дела, то в поэтической силе своих шестнадцати строчек автор не сомневался. Выше уже приводились слова Мандельштама, сказанные на следствии, в которых он, ссылаясь на мнение Ахматовой, говорит о «монументально-лубочном» и «вырубленном» характере «вещи». Мощное и лапидарное, стихотворение о кремлевском горце демонстрирует как нельзя лучше грозную убойную силу слова. Ныне, по прошествии немалого времени, совершенно ясно, что Мандельштам влепил Сталину такую пощечину, от которой тот уже никогда не отмоется.

Мандельштам принадлежит к числу поэтов, которые развиваются непредсказуемо. Он двигался стремительно, оставляя за спиной пройденные этапы, отбрасывая их, и завоевывал новые рубежи. Антисталинское «не могу молчать» появилось, казалось бы, совершенно неожиданно, оно было непохоже на «привычного», узнаваемого Мандельштама. Достаточно распространено мнение, что это какой-то «не такой» Мандельштам, что эти стихи «не в его стиле». По мнению автора книги, стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» принадлежит к числу ярчайших, сильнейших творений поэта.

Жизнь на улице Фурманова продолжалась, но между тем не только Е.К. Осмеркина чувствовала, что все это как-то непрочно и ненадолго. В воздухе витало предчувствие беды, вполне, впрочем, обоснованное. В квартире Мандельштамов бывали разные люди, иногда неясные, среди которых наверняка попадались и стукачи. Е.К. Осмеркина-Гальперина запомнила: «Когда я рассказала художнику Тышлеру, что была в Нащокинском переулке, он ответил: “Я тоже там был недавно. Было несколько человек. Осип Эмильевич читал свои стихи о Сталине – страшно! Разве он так уверен во всех, кто был у него в доме?”» [528] .

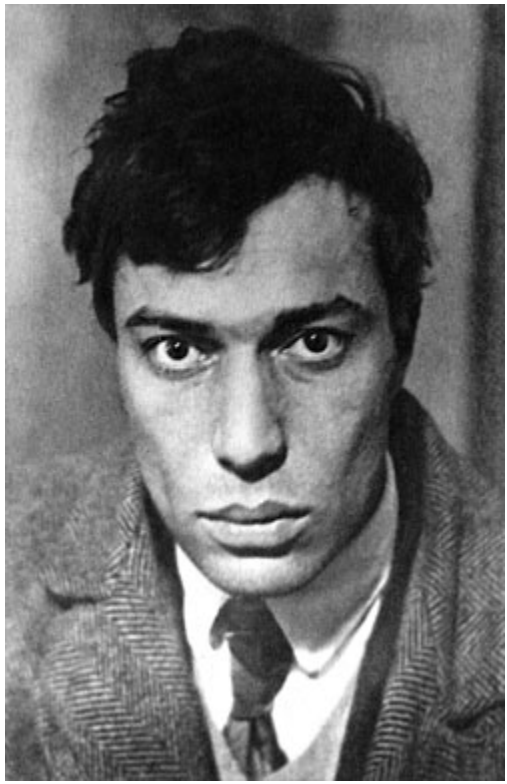
Мандельштам, написав стихи, не мог их не читать. Б.С. Кузин, рассказав, как Мандельштам пришел к нему и прочел стихи о Сталине и как он (Кузин) «в полном смысле умолял» его

не читать это стихотворение больше никому (причем поэт дал ему слово), продолжает: «Буквально дня через два или три Осип Эмильевич со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне: “Читал стихи (было понятно какие) Борису Леонидовичу”. У меня оборвалось сердце. Конечно, Б.Л. Пастернак был вне подозрений (как и Ахматова, и Клычков), но около него всегда увивались люди (как и вокруг О.Э.), которым я очень поостерегся бы говорить что-нибудь. А самое главное – мне стало ясно, что за эти несколько дней О.Э. успел прочитать страшные стихи еще не одному своему знакомому. Конец этой истории можно было предсказать безошибочно» [529] .

Воспоминания М.А. Таловой, вдовы поэта М.В. Талова, сохранили рассказ Нины Леонтьевны Манухиной: «В 1963 году в день семидесятипятилетия Александра Павловича Квятковского [530] мы были у него в гостях. <…> Много говорили о Мандельштаме, об истории ареста и гибели поэта. Нина Леонтьевна рассказала, как не раз, бывая у них, Мандельштам читал эпиграмму на Сталина какому-нибудь новому знакомому. Уводил его на “черную” лестницу и там читал. Манухина просила: “Ося, не надо!” Но удержать его было невозможно» [531] . (Н.Л. Манухина – поэтесса, вдова поэта Г.А. Шенгели.)

Атмосферу жизни в квартире на улице Фурманова Анна Ахматова позднее, в «Листках из дневника», со свойственной ей точностью и краткостью формулировок, определила так: «Несмотря на то что время было сравнительно вегетарианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме» [532] .

Ко вполне понятной радости в связи с обретением собственного жилья у Мандельштама примешивались другие чувства. О квартире в Нащокинском Мандельштам как-то сказал: «Эта квартира как гроб. Отсюда только на Ваганьково». Ему неловко было быть обладателем квартиры в писательском доме. Он чувствовал себя пойманным, «окольцованным», приручeнным (как он позднее напишет в 1937 году, в Воронеже: «Я около Кольцова / Как сокол закольцован…»), попавшим в число разрешенных, «пайковых» советских писателей – они получают «паек» от государства, и их книги выходят как одобренный государством «паек» читателям. Он чувствовал себя вляпавшимся в ту санкционированную властью литературу, которую сам недавно проклял в «Четвертой прозе».



Б.Л. Пастернак

Нужен был лишь внешний раздражитель, чтобы это настроение выразилось в стихах. И такой повод явился. Однажды к Мандельштамам на улицу Фурманова пришел Б.Л. Пастернак – посмотреть, как они устроились. Н. Мандельштам вспоминала о том, какую реакцию вызвали доброжелательные слова Бориса Леонидовича: «“Ну, вот, теперь и квартира есть – можно писать стихи”,– сказал он, уходя. “Ты слышала, что он сказал?” – О.М. был в ярости… Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства – неустроенный быт, квартиру, недостаток денег, – которые мешают работать. По его глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно – благополучие не может служить стимулом к работе. Не то чтобы он чурался благополучия, против него он бы не возражал… Вокруг нас шла отчаянная борьба за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе квартира считалась главным призом. Несколько позже начали выдавать за заслуги и дачки… Слова Бориса Леонидовича попали в цель – О.М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась: честным предателям, изобразителям и тому подобным старателям…

Проклятие квартире – не проповедь бездомности, а ужас

перед той платой, которую за нее требовали. Даром у нас ничего не давали – ни дач, ни квартир, ни денег…» [533]

В словах Пастернака, вполне естественных, добросердечных и по-житейски понятных, Мандельштаму послышалось, вероятно, пожелание примириться с действительностью. Мандельштам очень высоко ценил Пастернака-поэта, на этот счет имеется не одно высказывание; поздравляя Пастернака с Новым годом, Мандельштам напишет ему из Воронежа:

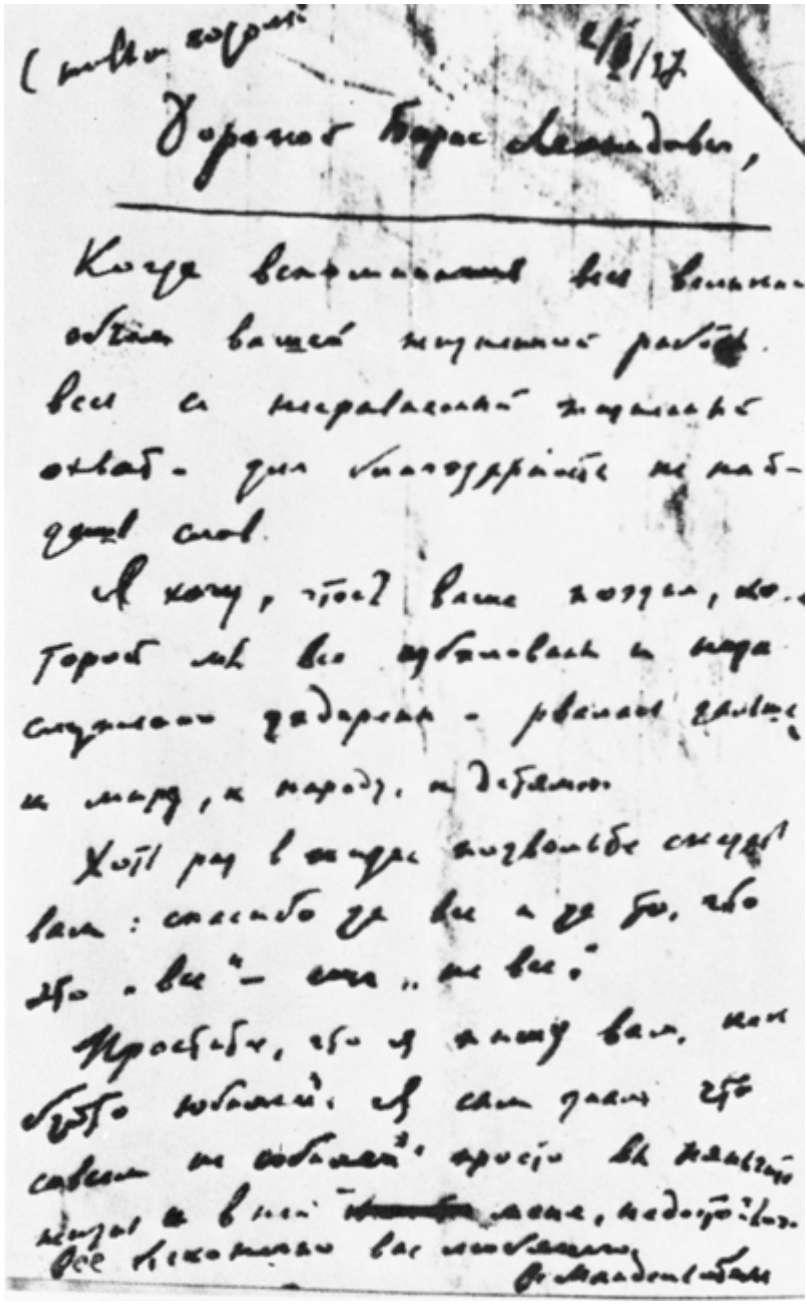
«Дорогой Борис Леонидович.

Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват – для благодарности не найдешь слов.

Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, – рвалась дальше к миру, к народу, к детям…» (письмо от 2 января 1937 года).

Но Мандельштаму не была близка некая, как ему это виделось, уравновешенность Пастернака, «отрешенность» от жгучих и кричащих фактов жизни, некое всепонимающее гётеанство, «принятие» действительности. В записной книжке Мандельштама этот аспект отношения к Пастернаку выражен так: «Набрал в рот вселенную и молчит. Всегда-всегда молчит. Аж страшно» (записи дневникового характера).

Л.Я. Гинзбург в своих записях, отмечая, что «Пастернак выражает сознание “приемлющего интеллигента” (как Мандельштам выражает сознание интеллигента в состоянии самозащиты)», фиксирует еще одно вероятное высказывание Мандельштама о Пастернаке: «Будто бы Мандельштам сказал: “Я не могу иметь ничего общего с Борисом Леонидовичем – у него профбилет в кармане”» [534] . Мандельштам же в этот период (начало 1930-х годов) считал, что не надо и невозможно оправдывать действительность: «Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии, – вспоминает Ахматова. – О.Э., который очень болезненно переносил то, что сейчас называется культом личности, сказал мне: “Стихи сейчас должны быть гражданскими” и прочел “Под собой мы не чуем…”» [535] .



Письмо О. Мандельштама Б. Пастернаку от 2 января 1937

Так появилось стихотворение «Квартира тиха, как бумага…».

Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.
Имущество в полном порядке,

Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.
Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.
Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.
И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.
Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать —
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.
Ноябрь 1933

Очевидно, что наиболее интригующей деталью в стихотворении является некрасовский молоток. Не определив его значение, мы упускаем нечто наверняка очень важное из того, что говорит поэт.

Не раз отмечалось, что мандельштамовская «Квартира…» имеет определенную связь со стихами и прямо названного Н.А. Некрасова, и других поэтов. Так, например, О. Ронен в статье, написанной еще в начале 1970-х годов, устанавливает связь

«Квартиры…» со стихотворением «Друзьям» Блока, а также с циклом «О погоде» Некрасова, его же стихами «В.Г. Белинский» и «Дешевая покупка», с «Балладой» Ходасевича и с «Кругом семенящейся ватой…» Пастернака; М.Л. Гаспаров обращает внимание на близость «Квартиры…» и блоковского «Мещанского житья»; А.С. Кушнер также говорит об определенной близости стихов Мандельштама и «Баллады» Ходасевича, ориентированной, в свою очередь, на Лермонтова [536] .

Но в чем все же значение неожиданно появляющегося в «Квартире…» некрасовского «молотка»?

Вколотивший гвозди молоток не дает покоя герою стихотворения, можно сказать, продолжает стучать в его сознании. Почему? «В ответ» на определенные действия и поступки героя. Каково же поведение героя, вызывающего этот стук?

Он баюкает «колхозного бая», учит «щебетать» палачей и обязан играть на гребенке. «Играть на гребенке» в данном случае имеет, на первичном уровне, очевидный смысл – выступать в роли «разрешенного» писателя, «чернила и крови смесителя», допущенного шута. Но надо также принять во внимание, что вообще у Мандельштама «игра на гребенке» подспудно связана, с одной стороны, с вульгаризацией темы Лорелеи (гребень Лорелеи превращен в жалкий музыкальный инструмент, издающий примитивные звуки, игра на гребенке – это псевдомузыка), но, с другой стороны, – через ту же Лорелею – с завораживающим, соблазняющим пением (вспомним: «…лиловым гребнем Лорелеи / Садовник и палач / Наполнил свой досуг» – в «Стансах» 1935 года) [537] . Ф.Б. Успенский в своей работе «Молоток Некрасова и карандаш Фета. О гражданских стихах О.Э. Мандельштама 1933 года» предполагает вероятную связь «Квартиры…» не только с некрасовскими стихотворениями «Сумерки» (из цикла «О погоде») и «Карета», но и с воспоминаниями А. Фета, в свою очередь отразившимися в статье К. Чуковского «Поэт и палач» (1920). Вкратце объяснение Ф. Успенского сводится к следующему.

В стихотворении «Сумерки», выражая негодование обычаем усеивать гвоздями запятки кареты – это делалось для того, чтобы уличные мальчишки не могли на них вскочить (отметим, что вскакивали не только из озорства или желания прокатиться; так «работали» и воришки-«поездошники»: вскочив, они быстро перерезали ремни, которыми прикреплялись к экипажу чемоданы и другие вещи, а затем вместе с ожидавшими подельниками разбегались с уворованными вещами в разные стороны), – Некрасов пишет:

Увидав, как читатель иной

Льет над книгою слезы рекой,
Так и хочешь сказать: «Друг любезный,
Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманных книжонок,
Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок!

В стихотворении «Карета» также выражается негодование жестоким обычаем:

О филантропы русские! Бог с вами!
Вы непритворно любите народ,
А ездите с огромными гвоздями,
Чтобы впотьмах усталый пешеход
Или шалун мальчишка, кто случится,
Вскочивши на запятки, заплатил
Увечьем за желанье прокатиться
За вашим экипажем… [538]

Фет же в мемуарах (к которым обращается К. Чуковский в своей работе) сообщает, что однажды увидел на Невском проспекте встречную коляску, чьи запятки были снабжены гвоздями, и с удивлением опознал в седоке Некрасова, гневного обличителя жестокого обычая. (Достоверность данного воспоминания Фета и справедливость его осуждения могут вызывать некоторые сомнения. Он пишет, что сначала заметил у встречного экипажа его заднюю часть – запятки с гвоздями, но при этом не видел седока, и только потом, когда экипаж поравнялся с ним, понял, что в коляске едет Некрасов. Это несколько странно. Кроме того, нельзя исключить и возможность того, что Некрасов – если это действительно был он – мог ехать на извозчике, в чью коляску он сел, просто не обратив внимания на то, утыканы ли гвоздями запятки или нет. Но для нас в данном случае степень достоверности эпизода из воспоминаний Фета, естественно, значения не имеет.)

Основываясь на вышеупомянутом сопоставлении стихов Некрасова и эпизода из мемуаров Фета, который пересказывает в своей статье К. Чуковский, Ф. Успенский так интерпретирует упоминание «молотка Некрасова» из «Квартиры…»: «Быть может, перед нами попытка в одной фразе передать самое общее впечатление прямоты, резкости и однообразия, вызываемое у некоторых поэтов Серебряного века, да и многих читателей XX столетия, стихами Некрасова как таковыми? Как кажется, русская поэзия здесь предстает все же не в столь линейном воплощении, и мандельштамовский образ отсылает к более тонкой и детализированной характеристике поэта XIX в., которая точнее подходит к делу, ибо тесно связана с мотивом несовместимости

творчества и писательского благополучия и с темой “двойных стандартов”, лицемерия в биографии художника» [539] .

Нельзя не признать трактовку Ф. Успенского проницательной и соответствующей существу предмета: в самом деле, прокляв «разрешенную» литературу в недавней «Четвертой прозе», автор «Квартиры»… в октябре 1933 года поселился в писательском кооперативном доме, получив как бы статус одного из тех самых лакействующих литераторов, о которых писал с таким отвращением. В этой ситуации вполне можно было увидеть нечто сходное с некрасовским «сюжетом с гвоздями».

В поддержку версии Ф. Успенского можно привести и такой факт. 10 февраля 1934 года К. Чуковский записал в дневнике: «Я все еще в Кремлевской больнице. Терапевтическое отделение, палата № 2. Третьего дня у меня был поэт Осип Мандельштам, читал мне свои стихи о поэтах (о Державине и Языкове), переводы из Петрарки, на смерть Андрея Белого. Читает он плохо, певучим шепотом, но сила огромная, чувство физической сладости слова дано ему, как никому из поэтов. Борода у него седая, почти ничего не осталось от той мраморной мухи, которую я знал в Куоккала. Снова хвалил мою книгу о Некрасове» [540] . «Книга о Некрасове» – это, несомненно, либо «Некрасов. Статьи и материалы» (Л.: Кубуч, 1926), либо «Рассказы о Некрасове» (М.: Федерация, 1930; на титульном листе указано: «Второе издание книги “Некрасов”»). В обе книги включена статья «Поэт и палач», причем в первом случае именно она открывает книгу. Примем во внимание, что между написанием «Квартиры…» и посещением Чуковского в больнице прошло совсем недолгое время – стихотворение создано в ноябре 1933 года. Отметим и то, что в мандельштамовском стихе из «Квартиры…» отзывается, по-видимому, заглавие статьи Чуковского: «Учить щебетать палачей» (курсив мой. – Л.В.).

Обратим, однако, внимание на некоторые другие детали, которые, как представляется, также имеют значение для понимания мандельштамовского стихотворения.

Для нас особенно важно в данном случае указание О. Ронена на неоспоримый подтекст из стихотворения Некрасова «В.Г. Белинский»:

В то время как в родном краю
Открыто зло торжествовало,
Ему лишь «баюшки-баю»
Литература распевала.
Литература подпевает злу, умиляется и сюсюкает.

Заметим при этом, что определенная часть деятельности героя «Квартиры…» уподоблена заботам о детях очень раннего

возраста: «учить щебетать палачей» = формировать первичные навыки речи, речь идет о детском лепете; «баюшки-баю… пою» = в первичном значении: укачиваю ребенка, пою колыбельную, успокаивающую, ласковую песенку.

Учить маленьких детей «щебетать» и баюкать их – это в первую очередь дело матери или няни.

Вспомним при этом, что мотив игры на гребенке ассоциируется у Мандельштама с введением в соблазн.

Это пестование и баюканье из «Квартиры…» восходит, как нам кажется, также к Некрасову. Такую няню мы находим в его хрестоматийном стихотворении «Песня Еремушке»:

Песня Еремушке

«Стой, ямщик! жара несносная,
Дальше ехать не могу!»
Вишь, пора-то сенокосная —
Вся деревня на лугу.
У двора у постоялого
Только нянюшка сидит,
Закачав ребенка малого,
И сама почти что спит;
Через силу тянет песенку
Да, зевая, крестит рот.
Сел я рядом с ней на лесенку,
Няня дремлет и поет:
«Ниже тоненькой былиночки
Надо голову клонить,
Чтоб на свете сиротиночке
Беспечально век прожить.
Сила ломит и соломушку —
Поклонись пониже ей,
Чтобы старшие Еремушку
В люди вывели скорей.
В люди выдешь, все с вельможами
Будешь дружество водить,
С молодицами пригожими
Шутки вольные шутить.
И привольная и праздная
Жизнь покатится шутя…»
Эка песня безобразная!
«Няня, дай-ка мне дитя!»
– «На, родной! Да ты откудова?»
– «Я проезжий, городской».
– «Покачай, а я покудова
Подремлю… да песню спой!»

– «Как не спеть! спою, родимая,
Только, знаешь, не твою.
У меня своя, любимая…
– Баю-баюшки-баю!»

И далее «проезжий, городской» в своей колыбельной проклинает «пошлый опыт – ум глупцов», проповедует дитяти «необузданную, дикую / К угнетателям вражду» и призывает ребенка к борьбе за светлые идеалы («Братством, Равенством, Свободою / Называются они»). Этой агитационной колыбельной отведено девять четверостиший. Проповедь продолжилась бы, но ребенок просыпается и снова попадает в руки к няне.

«…И тогда-то…» Вдруг проснулося
И заплакало дитя.
Няня быстро встрепенулася
И взяла его, крестя.
«Покормись, родимый, грудкою!
Сыт?.. Ну, баюшки-баю!»
И запела над малюткою
Снова песенку свою…
1859 [541]

Нянина мораль проста: приспособленчество и преклонение перед силой. «Проезжий» герой стихотворения с характерным для Некрасова пафосом и не менее характерным многословием опровергает нянину жизненную позицию.

Есть у Некрасова и «правдивая» няня:

Колыбельная песня
(Подражание Лермонтову)

Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою.
Стану сказывать не сказки —
Правду пропою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По губернии раздался
Всем отрадный клик:
Твой отец под суд попался —
Явных тьма улик.
Но отец твой – плут известный —
Знает роль свою.
Спи, пострел, покуда честный!
Баюшки-баю.

К сожалению, предвидит няня, младенец подрастет и пойдет

по той же дорожке:

Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь ужом —
И охулки не положишь на руку свою.
Спи, покуда красть не можешь!
Баюшки-баю.
Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.
Заживешь – и мирно, ясно
Кончишь жизнь свою…
Спи, чиновник мой прекрасный!
Баюшки-баю.
1845 [542]

В «Песне Еремушке» и «Колыбельной» Некрасов пишет о приспособленчестве, сервильности, воспитании этих качеств и капитуляции перед злом («силой»). Именно такому пестованию уподоблены в мандельштамовской «Квартире…» баюканье «колхозного бая» и работа с постановкой голоса у лепечущих палачей; в последнем случае в стихах «Квартиры» отразилась недолгая служба Мандельштама литконсультантом в газете «Московский комсомолец». «Колхозный бай» – новый хозяин на селе, «грозное» баюканье мы понимаем как сочувственное «подпевание», поощрение дальнейших суровых мер в ходе «великого перелома» в деревне. «Жилищный» мотив также присутствует у Некрасова: «Купишь дом многоэтажный…» (естественно, мы не отождествляем доходный дом и квартиру в писательском кооперативе). Герой стихотворения Мандельштама сознает себя оказавшимся в роли приспособленца-соблазнителя, конформиста, «подлеца душой», он «играет на гребенке» в соответствии с начальственными установками и может быть уподоблен некрасовской няньке из «Песни Еремушке» с ее рабской моралью: «Сила ломит и соломушку – / Поклонись пониже ей…». То есть в случае героя «Квартиры…» – надо пойти на службу к «силе». Сравним с писавшимся одновременно с «Квартирой…» стихотворением:

У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови —
На баюшки-баю похожи
И баю борьбу объяви.
И я за собой примечаю

И что-то такое пою:

Колхозного бая качаю,

Кулацкого пая пою.

Из комментария Н. Мандельштам к этому стихотворению: «Он сам смеялся над этими стихами: смотри, перепутал – колхозный бай и кулацкий пай… <…> Оба восьмистишия… [543] отделились от “Квартиры”…» [544] . (В рамках кампании по конфискации имущества у кулаков они исключались из кооперативных организаций, а их паи и вклады в кооперативах передавались в фонд коллективизации.)

Несомненно, баюканье и воспитание «палачей» из «Квартиры…» перекликается с более ранней «Четвертой прозой»:

«Мальчик, в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, напомаженный, с зачесанными височками, стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок – мальчишка из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих архангелов наседает на барчука:

– Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит, и старые девы – гнусные жабы – подталкивают барчука и придерживают паршивого кучеренка:

– Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем.

Что это? Жанровая картинка по Венецианову? Этюд крепостного живописца?

Нет. Это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек (курсив мой. – Л.В.), чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем…

– Вдарь, Васенька, вдарь!».

Второе существенное обстоятельство. «Молоток» из мандельштамовского стихотворения имеет несомненную связь с рассуждениями из «Разговора о Данте», прозы Мандельштама, создававшейся в тот же 1933 год, что и «Квартира…».

«Поэтическая речь, или мысль, лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней лишь скрещиванье двух линий, из которых одна, взятая сама по себе, – абсолютно немая, а другая, взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значительности и всякого интереса и поддается пересказу, что, на мой взгляд, вернейший признак отсутствия поэзии, ибо там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала».

«В поэзии важно только исполняющее понимание – отнюдь не

пассивное, не воспроизводящее, не пересказывающее. Семантическая удовлетворенность равна чувству исполненного приказа.

Смысловые волны-сигналы исчезают, исполнив свою работу; чем они сильнее, тем уступчивее, тем менее склонны задерживаться.

Иначе неизбежен долбеж, вколачиванье готовых гвоздей (курсив мой. – Л.В.), именуемых культурно-поэтическими образами».

Зарифмованные гражданственные прописи Некрасова – это и есть «вколачиванье готовых гвоздей». Отметим, что если связь некрасовского «молотка» из «Квартиры» и «истории с гвоздями на запятках» предположительна (хотя вполне вероятна), то перекличка выше процитированного места из «Разговора о Данте» со стихотворением Мандельштама несомненна. Нельзя не обратить внимания и на то, что мандельштамовские слова о стихах, где «поэзия… не ночевала» – цитата из письма И.С. Тургенева, в котором эта характеристика относится именно к Некрасову: «…Г-н Некрасов – поэт с натугой и штучками; пробовал я на днях перечесть его собрание стихотворений… Нет! Поэзия и не ночевала тут – и бросил я в угол это жеваное папье-маше с поливкой из острой водки» [545] . Нам представляется, что, отталкиваясь от «эпизода с гвоздями», Мандельштам, сохраняя мотив лицемерия, осложнил образ – уподобил сами зарифмованные проповеди Некрасова гвоздям: ходячие истины общей морали, банальные ее сентенции, вроде того, что «приспособленчество и лицемерие – это плохо» подобны стандартным одинаковым гвоздям. Это формулы безличной нравственности, годные на все случаи жизни и не имеющие отношения к подлинной поэзии (что не отменяет справедливости такого рода высказываний). И эта составляющая смысла также «в свернутом виде» заключена в словах о молотке Некрасова из «Квартиры…». Можно предположить также, что в создании формулы неподлинной поэзии – «вколачиванье готовых гвоздей» – мог сыграть роль и библейский текст: «Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от единого пастыря» (Книга Екклезиаста или проповедника, 12:11.) В таком случае упоминание о молотке, репрезентирующем «мудрость» обличений и призывов Некрасова, окрашивается дополнительной иронией.

Все вокруг говорит герою «Квартиры…», оказавшемуся в рядах поощряемых «изобразителей» и «чернила и крови смесителей», о его падении, все, каждая подробность жизни бередит совесть с такой недвусмысленной наглядностью и очевидностью, все настолько бросается в глаза, что это

напоминает обличительные стихи Некрасова с их прямолинейной дидактикой и банальными истинами. Однако, несмотря на риторическую трескотню, «упреки» Некрасова по сути верны, и герой «Квартиры» не может не сознавать их справедливость. Стучит, долбит с обезоруживающей прямотой некрасовский молоток…

Надо все бросить и начать сначала, как «за семьдесят лет» – то есть в определенном смысле вернуться к своей культурной родословной, к разночинцам 1860-х годов:

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать,
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

Сравним (близость данных текстов не раз отмечалась): «Чур, не просить, не жаловаться! Цыц! / Не хныкать – / для того ли разночинцы / Рассохлые топтали сапоги, / чтоб я теперь их предал? / Мы умрем как пехотинцы, / Но не прославим / ни хищи, ни поденщины, ни лжи» («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…»).

В этих «сапогах» слышится, конечно, базаровщина, «сапоги выше Шекспира» и т. п., причем честное шестидесятничество, разночинская прямота противопоставлены Мандельштамом писательству, которое, по определению «Четвертой прозы», есть «раса», «везде и всюду близкая к власти»: «Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям вершить [546] расправу над обреченными». Лучше базаровщина, чем писательские делячество и угодничество. К сходному пониманию значения упомянутых в «Квартире…» «сапог» приходит и Ф. Успенский; он справедливо отмечает вдобавок еще один важный аспект – представленную также и в этом стихотворении «общеизвестную связь между темой поэтического творчества, порождения стихов, и ходьбы, стаптывания, износа обуви, характерную для Мандельштама» [547] .

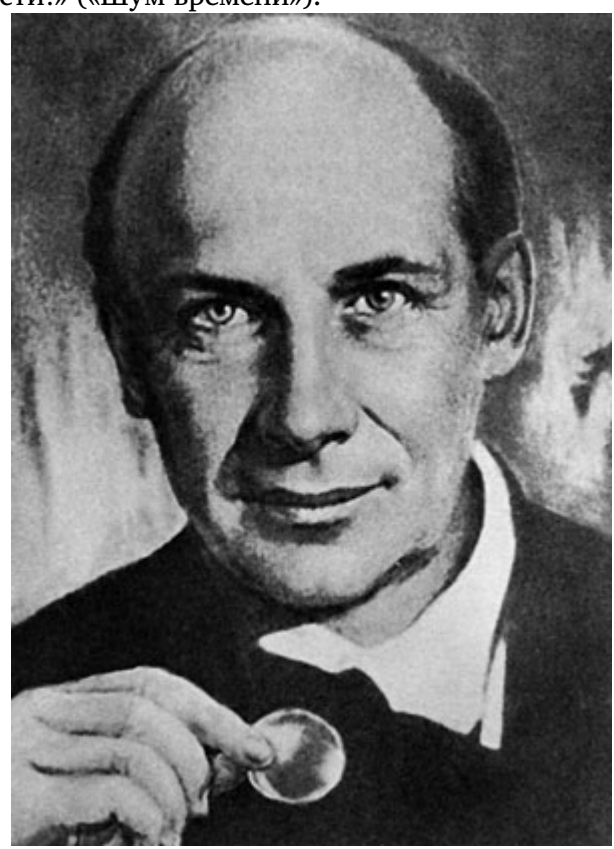
О горькой иронии двух завершающих четверостиший «Квартиры…» хорошо написал М. Рувин [548] . По преданию, ключ Ипокрены, источник поэтического вдохновения, забил на горе Геликон от удара копытом коня Пегаса («Ипокрена» или «Иппокрена» – «конский источник»). Но в писательской квартире стучи не стучи сапогами, ничего не выбьешь, кроме струи «давнишнего страха».

Итак, «сапоги» рвутся на волю, к стихам, вон из писательского дома. Этот порыв был подготовлен в начале стихотворения:

Видавшие виды манатки

На улицу просятся вон.

Надо ли говорить о том, что Мандельштам прекрасно знал о поэтических достижениях Некрасова? Свидетельством творческого интереса к наследию Некрасова служит, в первую очередь, сама «Квартира…». Отношение Мандельштама к Некрасову – неравнодушно-пристрастное; отношение, в котором притяжение неразрывно связано с отталкиванием. Упомянутая в «Квартире…» «мучительная злость» непрямым образом, но все же связана с пассажем из «Шума времени» (уже цитировавшимся в книге), в котором Мандельштам воспевает кровно-личное, страстное отношение к литературе. Напомним: «Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль? Ты приправа к пресному хлебу пониманья, ты веселое сознанье неправоты, ты заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из десятилетия в десятилетие, в граненой солонке, с полотенцем! <…> Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной… злости!» («Шум времени»).



Андрей Белый

8 января 1934 года умер Андрей Белый. 9 января состоялась гражданская панихида в помещении Оргкомитета Союза

советских писателей – в доме 50 на улице Воровского (ныне снова Поварская). На следующий день, 10 января, были похороны. Была произведена кремация. 18 января урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище. Мандельштам пришел попрощаться с покойным. «По сообщению Л.Н. Гумилева, бывшего вместе с Мандельштамом на похоронах А. Белого 10 января 1934 года, поэт сначала обиделся на то, что его не пригласили в почетный караул, но затем, постояв немного над гробом, умиротворился и, недолго побыв, ушел» [549] .

Смерть Андрея Белого была воспринята Мандельштамом как конец целой эпохи. Он создает цикл стихотворений памяти ушедшего поэта, в котором пишет, в сущности, не только об Андрее Белом, но и о самом себе, и о своей близкой смерти.

Отношения Мандельштама и Андрея Белого никак не были благостными. Критические выпады в отношении Андрея Белого содержатся в мандельштамовских статьях начала 1920-х годов «Кое-что о грузинском искусстве», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва. Рождение фабулы». Насмешливо трактуются религиозно-философские и мистические искания Белого: «вязаная фуфайка вырождающейся религии» (рецензия «Андрей Белый. Записки чудака», 1923). В то же время Мандельштам заявляет: «Андрей Белый – вершина русской психологической прозы» («Литературная Москва. Рождение фабулы»), называет Белого одним из авторов русской науки о поэзии («Литературная Москва»), утверждает, что «ни у одного из русских писателей предреволюционная тревога и смятение не сказались так сильно, как у Белого» («Андрей Белый. Записки чудака»), говорит о новаторстве поэтических книг Андрея Белого «Урна» и «Пепел» («Буря и натиск»). Что касается Андрея Белого, то, думается, он вряд ли оценивал место Мандельштама в русской поэзии адекватно, хотя и отдавал должное ритмическому своеобразию мандельштамовских стихов. Летом 1933 года Осип и Надежда Мандельштам отдыхали в Доме творчества писателей в Коктебеле. В столовой они оказались соседями по столу с Б. Бугаевым (Андрей Белый – литературный псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) и его женой. Известны резко отрицательные характеристики Мандельштамов в письмах Андрея Белого, это соседство было для него тягостным. В то же время общение с Андреем Белым было, очевидно, интересно и важно для Мандельштама (и не только в Коктебеле). Мандельштам беседовал с ним, например, о своей прозе «Разговор о Данте», и в подготовительных записях к этому произведению имеется ссылка на «мысль», принадлежащую «Б.Н. Бугаеву» [550] .

Андрей Белый в гробу

Стихи Мандельштама, посвященные ушедшему из жизни поэту, являются подлинным гимном Андрею Белому.

Голубые глаза и горячая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость.
И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.
На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!
Как снежок, на Москве заводил кавардак гоголек, —
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легóк…
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец.
Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.
Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь.
Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь?
Прямизна нашей мысли не только пугач для детей?
Не бумажные дести, а вести спасают людей.
Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.
На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.
Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.
Да не спросят тебя, молодые, грядущие – те,
Каково тебе там – в пустоте, в чистоте-сироте…

10–11 января 1934; 1935

Утро 10 января 1934 года

I

Меня преследуют две-три случайных фразы, —
Весь день твержу: печаль моя жирна.
О Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна…
Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей,
Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,
Когда скользит, исполненный отваги,
С голуботвердой чокаясь рекой?
Он дирижировал кавказскими горами
И, машучи, ступал на тесных Альп тропы
И, озираючись, пустынными брегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.
Толпы умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль гляделась в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венок.

II

Когда душе столь то́ропкой, столь робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой —
Но смерти ей тропина не ясна.
Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука-первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь в продольный лес смычка.
И льется вспять, еще ленясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна,
Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

III

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот.
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось

На полшага продвинуться вперед.
А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовясь перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.
Как будто я повис на собственных ресницах,
И созревающий, и тянущийся весь, —
Доколе не сорвусь – разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь.
16–22 января 1934

Существуют разные варианты стихов памяти Андрея Белого, и отбор того или иного варианта в качестве «основного» представляет собой непростую задачу для публикатора. Кроме того, в разных изданиях читатель встречается с различной пунктуацией, а пунктуация, естественно, может в ряде случаев определять смысл высказывания. Так, например, в четырехтомнике Мандельштама, изданном в 1993–1997 годах, знаки расставлены так: «Прямизна нашей мысли не только пугач для детей – / Не бумажные дести, а вести спасают людей» (без вопросительного знака в конце первой процитированной строки); в том же стихотворении: «Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте…» [551] (а не «чистоте-сироте»).

Стихи на смерть Андрея Белого представляют собой портрет скончавшегося, песнь в его славу и плач по нему. Андрей Белый предстает в мандельштамовских стихах как несомненный гений. Эти стихи могли бы носить название «Памяти великого артиста», подобно трио Чайковского, посвященному Н. Рубинштейну.

В «Реквиеме», как, по свидетельству Н. Мандельштам, кратко именовал стихи сам автор, образ умершего писателя вырастает в большой мере из стихов и прозы самого Белого, из его творческой речи, в том числе и самохарактеристик. Голубой цвет – цвет неба, скончавшийся поэт, «бирюзовый учитель», «принадлежал небу», его талант – небесный дар; голубой цвет приводит на память программный поэтический сборник Андрея Белого «Золото в лазури» (1904) – весной 1934 года исполнялось тридцать лет со дня выхода этой книги. Вообще два главных цвета в стихах памяти Андрея Белого – голубой и белый (они заявлены уже в первой строке стихотворения «Голубые глаза и горячая лобная кость…»): «бирюзовый», «снежок», «морозную пыль», «ледяная… связь» (Леонид Ледяной – один из псевдонимов Андрея Белого), «синеглазы стрекозы смерти», «лазурь черна», «пламень голубой», «с голуботвердой… рекой». «Пламень голубой» – конечно, пушкинский, из «Медного всадника»: «Шипенье пенистых бокалов / И пунша пламень голубой». Четырьмя строками выше у

Пушкина, кстати, поминается «недвижный воздух и мороз». Андрей Белый умер в январе, что, очевидно, могло отразиться в зимних образах мандельштамовских стихотворений. Пушкинский «пламень голубой» стал у Мандельштама знаком принадлежности к дружескому избранному кругу русской литературы: «Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти» («Шум времени»). Мандельштамовские стихи написаны на смерть поэта, несомненно принадлежавшего к этому высокому и трагическому избранничеству. Мажорное сочетание белого и голубого цветов обладает, конечно, широким диапазоном символических и религиозных значений. «Белой славы торжество» наполняет небеса в мандельштамовской «Оде Бетховену» (1914); «белый мажор синайской славы» (также в связи с музыкой Бетховена) упомянут в статье «Скрябин и христианство» (<1917>).

Герой мандельштамовского «реквиема» – весь динамика, порыв, стремление, полет: «конькобежец и первенец». Его речь запутанна и сложна, но это сложность постижения непростого мира. К изначальной, не несущей в себе познанную сложность простоте и столь же первичной прямоте Мандельштам вообще относится с некоторым подозрением, усматривая в них неразвитость, элементарность, отсутствие глубины понимания, уход от подлинной сложности жизни. В 1916 году он сказал о кремлевской колокольне: «Без голоса Иван Великий / Как виселица прям и дик», а о себе в Воронеже он напишет: «Мало в нем было линейного». «Прямизна… мысли» не дается сразу, не первична, к ней ведет извилистый и трудный путь, и именно такой путь – честный, отсюда парадоксальные строки: «… прямизна речей, / Запутанных, как честные зигзаги / У конькобежца в пламень голубой».

Основываясь на таком понимании, автор данного сочинения не склонен принять предположение М.Л. Спивак, высказанное ею в замечательной и очень убедительной во всем остальном работе, посвященной мандельштамовским стихам памяти Андрея Белого. Анализируя машинописный список стихотворения «10 ноября 1934 года», находящийся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в фонде ГИХЛа, М. Спивак обратила внимание на то, что в этом документе напечатано не «честные зигзаги», а «чертные зигзаги». Хотя сама же М. Спивак пишет о том, что «“гихловский” список буквально пестрит опечатками и ошибками», что машинопись неряшлива и неприглядна, она полагает, что в указанном случае есть основания считать слово «чертные» не ошибкой, а оригинально-мандельштамовским. «Определение зигзагов как “честных”

вызывает некоторое недоумение, – пишет М. Спивак, – тогда как указание… на то, что зигзаги были начерчены, скорее проясняет группу образов» [552] . С нашей же точки зрения, во-первых, определение «чертные» к рисуемой картине не прибавляет ничего (мы и так понимаем, что конькобежец «чертит» коньками зигзаги на льду) и, во-вторых (это главное), – слово «честные», как нам видится, очень значимо, поскольку, именуя зигзаги «честными», Мандельштам говорит о том, что извилистый, противоречивый путь Андрея Белого – путь благородный, путь настоящего ищущего художника.

Другое предположение М. Спивак кажется более приемлемым. В мемуарах близкого друга Андрея Белого Петра Никаноровича Зайцева стихотворение «Голубые глаза и горячая лобная кость…» имеет существенное отличие: не «Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь…», а «Так лежи, молодей, и лети, бесконечно прямясь…». Действительно, употребление слова «лежи» дважды в одной строке представляется избыточным, в то время как «лети» вводит тему посмертного триумфального полета и продолжает важный для «реквиема» мотив стремительного движения. «Автографа стихотворения “Голубые глаза и горячая лобная кость…” нет, только списки», – пишет М. Спивак [553] ; это обстоятельство ставит текстологов в очень непростую ситуацию. Сделать однозначный выбор становится в принципе невозможным. «Лежи… лети» видится более логичным; с другой стороны, как быть с почти точным повтором в стихе «Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец»? Ведь, казалось бы, и здесь некое «излишество». Ничего не остается, как оставить вопрос нерешенным; не везде гармония поверяется алгеброй.

Жизненные устремления Андрея Белого – всегда вверх, к вершинам духа, и неслучайно в стихах помянуты кавказские горы (указание на очерки Белого «Ветер с Кавказа») и Альпы – в Швейцарии Белый принимал участие в строительстве антропософского храма. Встающие в сознании читателя покрытые вечными снегами горные вершины поддерживают мотив белого цвета.

Рахиль и Лия, названные в первой части стихотворения «Утро 10 января 1934 года», отсылают читателя к «Божественной комедии» Данте. Библейские героини символизируют там («Чистилище», песнь XXVII) два отношения к миру, два пути его познания и освоения: деятельный (Лия) и созерцательный (Рахиль). Андрею Белому, чьи широта интересов и многообразие талантов заставляют вспомнить о творцах эпохи Возрождения, были свойственны оба заявленных у Данте подхода к постижению действительности. Химия, биология, философия, поэзия,

филология, религиозная сфера – все было ему открыто, везде он был на своем месте, все схватывал с быстротой, присущей гению. «Толпы умов, влияний, впечатлений / Он перенес, как лишь могущий мог…» Не исключено, что эти строки перекликаются со стихотворением А.Н. Апухтина о любимом Мандельштамом Тютчеве:

Искусства, знания, событья наших дней —
Все отклик верный в нем будило неизбежно…

«Памяти Ф.И. Тютчева» [554]

И еще о гетеанской по духу жажде познания и способности Андрея Белого к постижению мира – в одном из вариантов:

Ему солей трехъярусных растворы,
И мудрецов германских голоса,
И русские блистательные споры
Представились в полвека, в полчаса.

Сравним со «Скифами» Александра Блока:

Мы любим все – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений… [555]

«Поэзия – это власть», – так Мандельштам сказал однажды Ахматовой. «Чудная власть» – небесный дар – была отпущена Андрею Белому, и это избранничество делает его, по словам Мандельштама, в определенном и высоком смысле «неподсудным». Но обычная участь гения в земной жизни – непонимание и насмешки, и Белому с его «странностями» досталось того и другого с лихвой (как и Мандельштаму, который, безусловно, прославляя и оплакивая ушедшего собрата по поэзии, соотносил судьбу покойного со своей судьбой). «Студентик», чьи поэтические устремления и вкусы уже в родном доме воспринимались очень скептически, «веком гонимый взашей» «юрод», «дурак»… Последние характеристики восходят к стихотворению Белого из сборника «Золото в лазури» – указано еще Н.И. Харджиевым в 1973 году:

Полный радостных мук
утихает дурак,
Тихо падает на пол из рук
сумасшедший колпак.
«Вечный зов»

Сравним со строками из открывающего книгу «Золото в лазури» стихотворения «Бальмонту»:

Поэт, ты не понят людьми.
В глазах не сияет беспечность.
Глаза к небесам подними:
С тобой бирюзовая Вечность.

И еще одна цитата из знаменитого сборника:

Стоял я дураком
в венце своем огнистом,
в хитоне золотом,
скрепленном аметистом…

«Жертва вечерняя» [556]

Андрей Белый, автор романа «Петербург», питерской фантасмагории, автор книги «Мастерство Гоголя», над которой он работал в последний период жизни (опубликована уже после его смерти, в апреле 1934 года), был несомненным продолжателем гоголевской традиции в русской литературе. «Гоголек» – так называл Андрея Белого Вячеслав Иванов. Белый воспринимался как своего рода новое воплощение Гоголя; отсюда – строки Мандельштама в одном из вариантов «реквиема»:

Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где…? Мне что-то невдомек…
Здесь, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь. Так себе. Писатель. Гоголек.

(Часть текста во втором стихе после слова «Где…» не сохранилась. – Л.В.)

(Эти стихи, несомненно, перекликаются с воспоминаниями о московских похоронах Гоголя. Гроб несли от университетской церкви до кладбища Данилова монастыря. За гробом шло множество людей разных званий, процессию сопровождал жандармский эскорт; зеваки и прохожие спрашивали: «Кого хоронят?» Думали, что хоронят генерала или какую-нибудь другую важную персону; не верили, что столько людей идет за гробом писателя, «сочинителя».)

«Печаль моя жирна» сводит воедино пушкинское «печаль моя светла» и слова из «Слова о полку Игореве»: «печяль жирна тече средь земли рускыи». «Гравировальщиком» в мандельштамовских стихах назван известный художник В.А. Фаворский, рисовавший умершего поэта в гробу. Рисовали и другие художники («налетели на мертвого жирные карандаши»).

Смерть, ее загадка и торжество – Мандельштам думал об этом. Смерть художника – это как бы его последнее произведение, финальный аккорд. Об этом Мандельштам писал еще в статье «Скрябин и христианство», дошедшей до нас в отрывках. «Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее,

заключительное звено», – утверждает Мандельштам. «Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь». Андрей Белый не был казнен, но в конце жизни тяжелые переживания доставило ему уничижительное и высокомерное предисловие Л.Б. Каменева к его мемуарам «Начало века» (книга вышла в ноябре 1933 года). Речь в предисловии идет о том, что Белый главного в описываемой им эпохе не понимал и понять не мог, а творчество писателей его круга – это свидетельство разложения буржуазного общества в сфере культуры. Уже во второй фразе своего предисловия Каменев говорит о том, что Белый провел годы перед революцией 1905 года «на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы». Слово «задворки» повторяется в предисловии Каменева неоднократно. Круг литераторов, к которому принадлежал в начале XX века Андрей Белый, характеризуется как «галерея умственных импотентов, выставка идейных инвалидов, всяческих убогих и уродов». Отсюда, видимо, – мандельштамовские строки в одном из вариантов:

Из горячего черепа льется и льется лазурь
И тревожит она литератора-Каина хмурь.

(Не лишен интереса в этой связи такой факт: согласно уже цитировавшемуся выше тексту разговора на заседании комиссии по «чистке» парторганизации ГИХЛа 23 октября 1933 года, Каменев собирался написать предисловие к избранным произведениям Мандельштама, которые издательство собиралось опубликовать, но отказался от выполнения этой задачи: «Л.Б. Каменев взялся, три раза перечитал и ничего не понял» [557] .)

Каменев в своем предисловии подчеркивает, что в «Начале века» Андрей Белый неоднократно, говоря о своих идейных исканиях, использует такие выражения, как «запутался», «перепутался», «путаница» и т. п.; это, по мнению Каменева, свидетельствует о несостоятельности «идейного багажа» мемуариста. Нам представляется, что мандельштамовская характеристика – «прямизна речей, / Запутанных, как честные зигзаги» – имеет явно полемическую направленность, нацелена против плоских выводов Каменева.

И опять здесь обнаруживается явное подобие: ведь в том же 1933-м на Мандельштама обрушились две резко отрицательные рецензии (Н. Оружейникова в «Литературной газете» и С. Розенталя в «Правде») в связи с публикацией «Путешествия в Армению». А в строке о казни, которая является одновременно триумфом, победным завершающим аккордом, Мандельштам говорит, вне всякого сомнения, и о своем вероятном и близком будущем. Антисталинские стихи уже были написаны, и поэт был готов к аресту.

Вскоре после кончины Андрея Белого у Мандельштама в Нащокинском переулке был П.Н. Зайцев, и поэт передал ему рукопись стихотворения «Утро 10 января 1934 года». Как вполне убедительно показала М. Спивак, передача рукописи была связана с устройством вечера памяти Андрея Белого, который пытался организовать П. Зайцев (вечер не состоялся). Предполагалось, что на этом вечере Мандельштам прочтет свои стихи, и текст стихотворения, очевидно, требовался «для составления программы и ее утверждения в ГИХЛе» [558] . Зайцев приходил к Мандельштаму минимум дважды: 22 января и, как доказывает М. Спивак, в дни с 16 по 18 января 1934 года. Опубликованные в статье Спивак до недавнего времени неизвестные материалы из частного архива позволяют говорить о еще одном важном обстоятельстве, связанном с написанием «реквиема» Андрею Белому.

Из мемуарной записи П.Н. Зайцева:

«– Зайдите ко мне! Ведь мы живем в Нащекинском [559] , в писательском доме.

Я зашел к нему, у него в тот вечер был Гуковский [560] , литературовед, и сын поэта Н.С. Гумилева. Но я тогда был очень не в себе, он прочитал мне свои стихи о Борисе Николаевиче и с большим чувством сказал: – Запомните, П.Н., я, Мандельштам, еврей, первый написал стихи о Борисе Ник. в эти дни… – и он протянул мне рукопись, приготовленную для меня, автограф. Мы обнялись, крепко, крепко – и – расцеловались по-братски, заливаясь слезами. Многим были вызваны наши слезы… Мы расстались и больше уже не видались» [561] .

Зачем это подчеркивание своего еврейства? Дело, очевидно, в том, что в писаниях Андрея Белого многократно встречаются пассажи антисемитской направленности. Не исключено – по крайней мере, возможно, что Мандельштам мог уловить нечто в этом духе и в личном общении с Белым, когда они оказались соседями по столику в столовой коктебельского Дома творчества. Но это не помешало Мандельштаму написать «реквием»: все отступало перед личностью великого художника, и поэт воспел и оплакал ушедшего собрата.

В Москве же создаются стихотворения, которые позднее образуют цикл «Восьмистишия» (работа над ними, впрочем, как и над стихами Андрею Белому, продолжалась в Воронеже). Главная тема философских «Восьмистиший» – познание мира. Художественное познание, во всяком случае, может быть только творческим, и именно в момент творческого освоения мира возникает то динамическое напряжение, которое можно назвать гармонией, возникает, собственно говоря, сам мир: умозрительно

представимая, не вступившая в контакт с человеческим творящим разумом действительность есть лишь неоформленный хаос, в котором, однако, кроется «дремлющая» возможность превратиться в гармонизированный космос. Мы уже цитировали выше оставшееся в памяти Л. Горнунга высказывание Мандельштама, что действительности «как данности нет», что действительность есть «искомое»; приводились выше и слова Мандельштама из письма М. Шагинян от 5 апреля 1933 года – утверждение, что действительность не дается просто так, ее надо «воскресить», и в этом задача науки и искусства. Об этом, в частности, идет речь в цитируемых «Восьмистишиях»:

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя.
Ноябрь 1933; июнь 1935
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.
Ноябрь 1933

Из хаоса звуков рождается их гармоническое плетение-ткань, бормотанье превращается в значимый непреложный текст, вДрУГ появляется ДУГовая растяжка, парус напрягается ветром, безличный покой сменяется движением, возникают «зеленые», новорожденные формы. Эти стихи напоминают о том месте в «Разговоре о Данте», где Мандельштам пишет об искусстве управления парусами: «Давайте вспомним, что Дант Алигьери жил во времена расцвета парусного мореплаванья и высокого парусного искусства. Давайте не погнушаемся иметь в виду, что он созерцал образцы парусного лавированья и маневрированья. Дант глубоко чтил искусство современного ему мореплаванья. Он был учеником этого наиболее уклончивого и пластического спорта, известного человеку [562] с древнейших времен».

Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме

Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме,
И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам,
Он также отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.
Ноябрь 1933

Еще один образ возникающей гармонии, динамического напряжения: купол, появляющийся на фоне пустого неба.

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон:
В земной коре юродствуют породы
И, как руда, из гру́ди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог, —
Понять пространства внутренний избыток,
И лепестка, и купола залог.
Январь 1934

Существуют разные интерпретации последнего стихотворения, вплоть до понимания его как описания женских родов (Н.Н. Мазур). И для такого понимания есть основания (хотя, с нашей точки зрения, это только одна из возможных интерпретаций, не единственная): ведь речь идет о рождении формы из бесформенности, существа из косного вещества – причем это вещество ждет и жаждет оформления: в нем уже содержится «и лепестка, и купола залог».

Определение «голуботвердый» мы встречаем также в цитированных выше и создававшихся в эти же январские дни стихах памяти Андрея Белого. И это, очевидно, неслучайно: образы и представления, возникшие в связи с кончиной поэта-мыслителя гётеанского склада, сочетавшего в одном лице художника и, как говорили в старину, «испытателя природы», могли «выплеснуться» за пределы стихов, посвященных непосредственно Андрею Белому, и отозваться в «Восьмистишиях». В этом плане очень интересно наблюдение М. Спивак, обратившей внимание на то, что в той же «гихловской» машинописи, хранящейся в РГАЛИ, где представлено «10 января 1934 года», на следующих страницах содержатся четыре мандельштамовских стихотворения под заглавием «Воспоминания»: «Люблю появление ткани…», «О, бабочка, о, мусульманка…», «Когда, уничтожив набросок…» и «Скажи мне, чертежник пустыни…». Вполне логично предположить, делает вывод М. Спивак, что эти стихи Мандельштам предполагал читать вкупе с «10 января 1934 года» на вечере памяти Андрея Белого. «А

это, – продолжает М. Спивак, – в свою очередь, означает, что связь восьмистиший-воспоминаний со стихами о Белом может оказаться гораздо более серьезной, чем предполагалось ранее. Кстати, о том, что в феврале 1934 года Мандельштам “прибавил к восьмистишиям 8 строчек, отделившихся от стихов Белому”, писала Н.Я. Мандельштам, имея в виду восьмистишие № 5 “Преодолев затверженность природы…”». «Возможно, – предполагает М. Спивак, – в заглавии “Воспоминания” содержится отсылка к тем разговорам, которые происходили у Белого и Мандельштама в Коктебеле летом 1933 г.» [563] .

Еще в мае 1932 года (тогда же, когда «Ламарк») было написано восьмистишие, имеющее несомненную связь со стихами о французском биологе. Речь в нем идет об эволюционном потенциале, о возможностях дальнейшего эволюционного развития, не всегда, однако, реализованных и реализующихся. Какие-то потенциальные возможности остались не использованными в низших формах жизни. Человеку тоже не гарантирован дальнейший «подъем». Развитие не происходит автоматически и мерно, оно требует творческого «скачка» – креативного ответа на эволюционный вызов, на понуждающий «запрос» среды. «Недостижимое» – «близко», но переход к нему не является запрограммированным, решенным заранее.

Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.
Недостижимое, как это близко:
Ни развязать нельзя, ни посмотреть,
Как будто в руку вложена записка —
И на нее немедленно ответь…

Вслед за сильно повлиявшим на него французским философом Анри Бергсоном Мандельштам противопоставляет рационально-логическое, «геометрическое» отношение к миру и познание творческое, в котором большую роль играет интуиция, образное мышление, прозрение, порыв. Каждый из этих подходов правомерен в своей области: интеллект выполняет практически-инструментальные задачи, творческое сознание создает новое.

Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
– Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит

И лепет из опыта пьет.

Ноябрь 1933

Об этом восьмистишии автор данной книги написал отдельную работу [564] . В «арабских песках» мы склонны видеть замечательный образ неструктурированной, хаотической материи (она же и безличное время). Это подтверждается другими произведениями Мандельштама: в статье о Чаадаеве поэт говорит о противоположности «косной глыбы и организующей идеи» («Петр Чаадаев»), в стихотворении «В таверне воровская шайка…» (1913) вечность сравнивается с песком: «У вечности ворует всякий, /

А вечность – как морской песок: // Он осыпается с телеги – / Не хватит на мешки рогож…»; в «Стихах о неизвестном солдате» развоплощение, уничтожение предметности описано так: «Аравийское месиво, крошево, / Свет размолотых в луч скоростей…».

А чуть ниже прямо назван и песок: «Вязнет чумный Египта песок» (в одном из вариантов). «Геометру», подходящему к действительности с практически-рациональными целями, противостоит «ветр», символизирующий человека-творца, поэта (ветер – старый символ поэтического вдохновения). Но у Мандельштама мы встречаем не «ветер», а именно «ветр» – архаичная, свойственная в первую очередь поэзии XVIII – первой половины XIX века форма заставляет нас вспомнить о Пушкине:

Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет [565] .

У Мандельштама «шевеленье губ», говорение, «шепот» да и «лепет» – это, как правило, обозначение поэтической речи, творчества, а отнюдь не бесплодной болтовни. Из «бормотанья» и рождаются стихи. Сравним с воронежским стихотворением «О, как же я хочу…» (1937): «Он только тем и луч, / Он только тем и свет, / Что шепотом могуч / И лепетом согрет…» (курсив мой. –

Л.В.). Нельзя не согласиться с К.Ф. Тарановским, который писал о «Чертежнике пустыни»: «Мы не думаем, что в этом контексте лепет имеет отрицательный оттенок значения. В “Разговоре о Данте”, тоже написанном в 1933 году, Мандельштам хвалит “инфантильность итальянской фонетики” и “детскую заумь Данта”» [566] .

«Иудейскими» же заботы поэта названы, думается, потому, что для него главное, с чем он имеет дело, – язык, речь. Он работает с языком и создает мир из языка. Это полностью соответствует традиционным еврейским представлениям о том, что мир был создан словом, что язык первичен, а материальный мир вторичен.

Еще один аспект темы творческого познания мира представлен в следующем восьмистишии:

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
1933

Песни Шуберта (в связи с водой, видимо, имеется в виду его «Баркарола» с пометой «На воде петь»), музыка Моцарта (в данном случае «птичий гам» восходит, очевидно, к «Волшебной флейте»), творчество других художников теснейшим образом связаны с народным сознанием, уходят корнями в народную (и природную) почву. В самом плеске воды, в шелесте листвы, в пенье птиц и в народной душе уже содержатся в потенциале будущие стихи Гете или музыка великих композиторов. В сущности, высказанная Мандельштамом мысль вполне сопрягается опять же с идеями «Творческой эволюции» А. Бергсона. Креативный импульс порождает соответствующее материальное воплощение: «шепот» рождается «прежде губ». Отозвалось в этом восьмистишии и «народничество» Мандельштама: идущее от славянофилов и народников стойкое убеждение в том, что на глубинном, сущностном уровне народ является носителем правды. И может быть, все отдельные явления и создания складываются в общую гармонию, сами не подозревая об этом, – в соразмерное стройное сверхъединство, подобное храму Святой Софии (Айя-София; София – мудрость, Премудрость Божия) в Константинополе?

И клена зубчатая лапа

Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.
Бывают мечети живые —
И я догадался сейчас:
Быть может, мы – Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.
Ноябрь 1933

Природа подобна архитектуре, архитектура подобна природе; в парусах Святой Софии в Стамбуле (ставшей в XV веке мечетью) изображены серафимы с мощными крыльями. Подобные кленовым листьям с их лопастями (лопасти образуют «лапу»), серафимы заполняют так называемые паруса, «круглые углы», – треугольные выгнутые конструктивные элементы, осуществляющие переход от стен к венчающему куполу (или, в других случаях, «ножке» купола – так называемому барабану). Арабская вязь на стенах Айя-Софии напоминает «крап» на крыльях бабочек. Храм светлый: помимо других многочисленных окон, в основании купола расположены венчающие сорок «глаз», образуя световое кольцо. Восьмистишие перекликается с ранними стихами Мандельштама:

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон – света торжество,
На парусах, под куполом, четыре
Архангела – прекраснее всего.
«Айя-София», 1912

От шестикрылых серафимов, «похожих на бабочек» (так предполагает М.Л. Гаспаров в своем комментарии), и «мечети» Мандельштам переходит к восьмистишию о бабочке-«мусульманке». (Или, может быть, мысль шла в обратном порядке: от бабочки в «бурнусе» – к стамбульской Айя-Софии?)

О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся —
Жизняночка и умиранка,
Такая большая – сия!
С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О, флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья – боюсь!
Ноябрь 1933

Назвать это изображение описанием бабочки (описанием в том смысле слова, который мы обычно вкладываем в это понятие) было бы неверно. Подобно тому как в «Путешествии в Армению» Мандельштам не «описывает» картины «французов», а

воспроизводит в слове живопись Моне или Ван Гога, находя соответствующие языковые эквиваленты, так и в этом восьмистишии он воссоздает бабочку в словесном материале, «переводит» ее существование в слово. И это не бабочка «вообще», это конкретное представленное в зрительной памяти существо (вряд ли в ноябре можно было увидеть бабочку в натуре) – «сия!». Для воссоздания в словесном образе эфемерного существа во всей его непосредственности, трепетной жизненности Мандельштаму недостаточно общего словаря, отсюда – «жизняночка», «умиранка», «кусава» (так же как для характеристики Сталина поэту потребовалось изобрести емкий глагол «бабачить»). В звуковом отношении определяющая роль в стихотворении принадлежит звукам «з»-«с». Это очевидно: «в раЗреЗанном Саване вСя», «С большими уСами куСава», «Сложи Свои крылья – боюСь!». Из восьми рифмующихся, то есть стоящих в сильной, ударной позиции, слов только в одном нет звука «с». Последний звук в финальном слове стихотворения – «с’» («с» мягкое). Эти «с»-«з» порождены господствующим в стихах в смысловом отношении словом «саван» (только это слово употреблено в стихотворении дважды). Жизнь бабочки коротка, в стихотворении звучит тема краткости жизни и близости неизбежной смерти. Жизнь несет в себе смерть, в ней содержится некая изначальная ущербность – в слове «умиранка» мы не можем не услышать «ранка». Дополнительным основанием для многочисленных «з»-«с» могло послужить, наверно, представление о легком скольжении бабочки в воздухе, о складывании, «сложении» ее трепетных крыльев. Стихи написаны в ноябре 1933 года, то есть тогда же, когда Мандельштам создал портрет «кремлевского горца»; поэт думал о близкой смерти и ждал ее. В «Восьмистишиях» Мандельштам обращается также к философским проблемам причинности и соотношения времени и пространства. К материальному миру, в котором господствуют причинно-следственные отношения и смерть, мироздание не сводится.

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит —
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.
Ноябрь 1933
И я выхожу из пространства

В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосогласье причин.
И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей —
Безлиственный дикий лечебник,
Задачник огромных корней.
Ноябрь 1933

Сколько бы мы ни старались, мы не сможем «пересказать» эти стихи, объяснить то, что в них сказано, полностью, «без остатка». Они принципиально несводимы к логическому пересказу; их истина, логика и правота – поэтические. Анализ способен лишь указать на параметры смысла, но не может исчерпать смысловое содержание текста. К примеру, изумительная формула «Большая вселенная в люльке / У маленькой вечности спит» дает возможность для различных интерпретаций. Вообще мандельштамовские восьмистишия приводят на ум дзэнские загадки-коаны с их нелинейной, образной логикой или сады камней: являясь стимулом для созерцания и размышления, они не могут трактоваться однозначно.

К поэзии и личности какого бы поэта ни обращался Мандельштам – будь то Данте, или Андрей Белый, или Важа Пшавела, – это всегда контакт творческий: перед читателем предстает Данте Мандельштама, Андрей Белый Мандельштама, Важа Пшавела Мандельштама. Так обстоит дело и с Петраркой.

Над переводами из Петрарки Мандельштам работал в основном в конце 1933 – начале 1934 годов, хотя возвращался к этому труду в связи с сонетом «Промчались дни мои – как бы оленей…» и позже, в Воронеже. Н. Мандельштам предполагала, что перевод любовных сонетов мог иметь отношение к воспоминаниям о недолгом безответном увлечении Ольгой Ваксель (зима 1924–1925 годов). Она вызвала, очевидно, сильные переживания у Мандельштама. Вообще, по мнению автора книги, наиболее яркие, проникнутые лирическим чувством любовные стихи адресованы поэтом двум Ольгам – Гильдебрандт-Арбениной и Ваксель. В начале 1930-х О. Ваксель вышла замуж и уехала с мужем-иностранцем в Норвегию. Там, в Осло, она покончила с собой в 1932 году. Мандельштам узнал о ее смерти в следующем году, 1933-м. Во всяком случае, в Воронеже 3 июня 1935 года Мандельштам пишет два стихотворения, посвященных покойной О. Ваксель, – «Возможна ли женщине мертвой хвала?..» и «На мертвых ресницах Исаакий замерз…», и в июне же возвращается к переводу сонета Петрарки «Промчались дни мои – как бы оленей…». «Возможна и обратная связь, – пишет Н. Мандельштам, – работа над Петраркой воскресила в памяти Ольгу» [567] .

Из Петрарки

I

Valle che de’lamenti miei se’ piena…
Petrarca [568]

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,

Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых,
Дол, полный клятв и шепотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах:
Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я… Как бы внутри гранита
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,
Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.
Декабрь 1933 – январь 1934

II

Quel rosignuol, che si soave piagne…
Petrarca [569]

Как соловей, сиротствующий, славит
Своих пернатых близких ночью синей
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине,
И всю-то ночь щекочет и муравит
И провожает он, один отныне, —
Меня, меня! Силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини!
О, радужная оболочка страха!
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха —
Исполнилось твое желанье, пряха,
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха.
Ноябрь-декабрь 1933

III

Or che ‘l ciel e la terra e ‘l vento tace…
Petrarca [570]

Когда уснет земля и жар отпышет,
И на душе зверей покой лебяжий,
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
И мощь воды морской зефир колышет, —
Чую, горю, рвусь, плачу – и не слышит,
В неудержимой близости все та же:
Целую ночь, целую ночь на страже
И вся как есть далеким счастьем дышит.
Хоть ключ один – вода разноречива:
Полужестка, полусладка. Ужели

Одна и та же милая двулична?
Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле
И воскресаю так же сверхобычно.
14–24 декабря 1933

IV

I di miei, piu1 leggier che nesun cervo…
Petrarca [571]

Промчались дни мои – как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.
По милости надменных обольщений
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жмется. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.
Но то, что в ней едва существовало, —
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.
И я догадываюсь, брови хмуря, —
Как хороша – к какой толпе пристала —
Как там клубится легких складок буря…
4–8 января 1934; июнь 1935

Мандельштам «тщательно сохраняет ритм (перебои ударений, разрушающие привычный русскому читателю ямб) и синтаксис подлинника (громоздкие, обычно упрощаемые периоды), – замечает М.Л. Гаспаров, – но решительно меняет его стиль: вместо образов изящных и нежных вводит нарочито резкие, в духе собственной поэтики этих лет. Такие слова как “шепоты каленые”, “тропинки промуравленные”, “трещины земли”, “незыблемое зыблется”, “как сокол после мыта (линьки)”, “щекочет и муравит”, “деревенское молчанье плавит”, “силки и сети ставит”, “о радужная оболочка страха!”, “люлька праха”, “ресничного взмаха”, “покой лебяжий”, “с горящей пряжей”, “вода разноречива”, “сверхобычно”, “косящий бег”, “в горсть зажал пепел наслаждений”, “к земле бескостной”, “очаг лазури”, “клубится складок буря” и т. п., целиком принадлежат переводчику» [572] .

Не исключено, что в первом сонете «после мыта» может значить у Мандельштама «после охоты» (как полагает, например, А.Г. Мец), хотя в «Слове о полку Игореве», откуда это древнее слово пришло в мандельштамовские стихи, «в мытех» обозначает линьку. Во всяком случае, легче можно представить сокола исчезнувшим (из поля зрения, унесенным) после охоты, где он

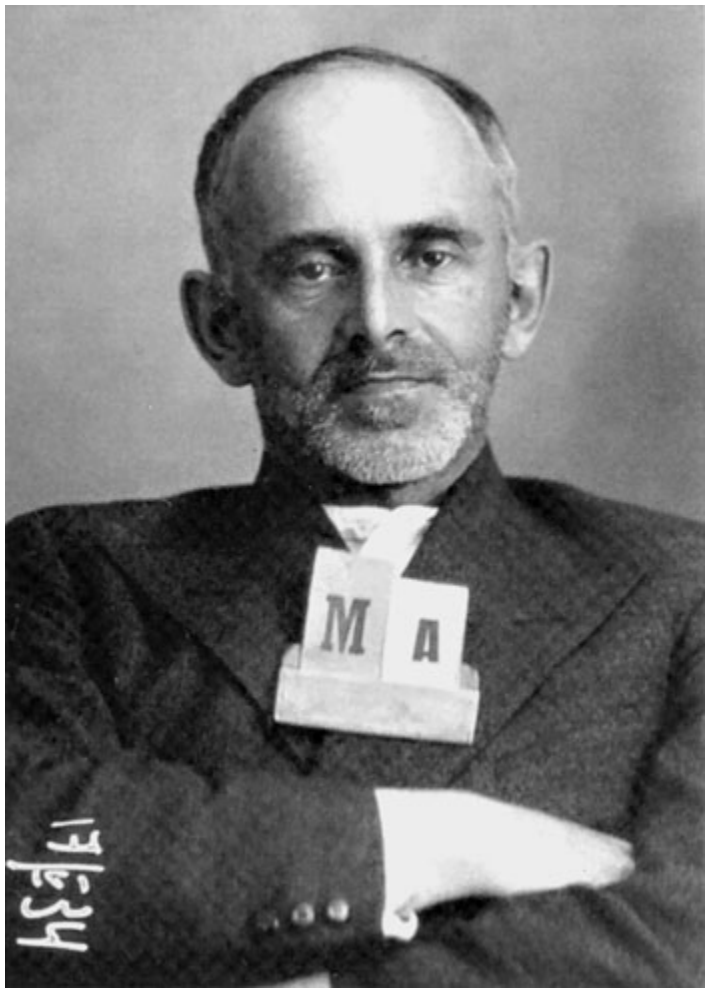
проявил себя во всей красе, чем после линьки. Вообще Мандельштам нередко использует те ли иные выражения в собственном, необщем значении. Есть основания предположить, что глагол «муравит» (в общеупотребительном значении «муравить» – покрывать посуду глазурью) во втором сонете может иметь связь с еврейским словом “mure” («меланхолия, горечь, печаль»; идиш). На подтекстуальное значение этого слова для стихотворения «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» указал Л. Городецкий (об этом мы писали выше), но вероятно привлечение этого подтекста и в данном случае, для характеристики пения «сиротствующего соловья», оплакивающего своих пернатых близких. «Муравит» несомненно приводит на память «буравит», но можно ли предположить, что песня соловья «буравит» ночь? Если только в значении «тревожит», пронзает тишину: скорбное “mure” соединяется с «буравит» и порождает, предположительно, это «муравит». Определение же «промуравленные» (тропинки) из первого сонета, по нашему мнению, восходит к выражению «трава-мурава».

Последнее стихотворение Мандельштам заканчивал в 1934 году, уже зная о смерти Андрея Белого. «Очаг лазури» и сама тема непрочности, «мгновенности» жизни и посмертного триумфа перекликаются, очевидно, со стихами о Белом.

Итак, в январе умер Андрей Белый. О следующем месяце пишет Ахматова в «Листках из дневника»: «Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 года), о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: “Я к смерти готов”. Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места» [573] . Это воспоминание – одно из подтверждений того высказывания, которое мы находим в уже цитировавшемся письме Мандельштама к Ахматовой (август 1928 года), – «Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется»: замечено, что Мандельштам процитировал одно из произведений Н.С. Гумилева – драматическую поэму «Гондла», где эти слова выражают готовность героя к самопожертвованию. Говоря о себе и о своей смерти, Мандельштам думал, видимо, и о благородном, прямом пути Гумилева.

В квартире на улице Фурманова в мае 1934 года Осип Мандельштам был арестован. Случилось то, к чему все шло, то, что должно было случиться. И Н.Я. Мандельштам, и А.А. Ахматова, которая, по ее словам, «в этот самый день» приехала из Ленинграда, указывают следующую дату ареста: ночь с 13 на 14 мая. Однако опубликованные В.А. Шенталинским еще в 1991 году архивные материалы дают другие данные: ночь с 16 на 17 мая 1934 года (Огонек. 1991. № 1.) Ахматова также сообщает, что

ордер на арест подписал Г. Ягода. Но это не так. Ордер подписал 16 мая заместитель председателя ОГПУ Яков Агранов. Его подпись на ордере начинается большой буквой «Я» – естественно, ее можно было принять за подпись Ягоды. (Сам Я.С. Агранов будет уничтожен в тот же год, что и Мандельштам, – в 1938-м. Машина террора перемалывала, как известно, и своих служителей.) Номер квартиры в ордере указан неверно: 16 вместо 26.



Фотография Мандельштама, сделанная при первом аресте

Всю ночь шел обыск. Анна Ахматова в «Листках из дневника»: «Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. <…> Следователь при мне нашел “Волка” [574] и показал О.Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня». Искали стихи, ходили по выброшенным на пол из сундука рукописям. Стены в доме, как писал Мандельштам в «Квартире…», были «халтурные». Из соседней квартиры в другом подъезде – там жил поэт С. Кирсанов

– доносились звуки гавайской гитары. «Его увели в семь утра. Было совсем светло», – вспоминала Ахматова [575] . Изъяты были сорок восемь листов рукописей.

На следующий день был повторный обыск. До него Надежда Яковлевна, ее брат Е.Я. Хазин, Ахматова и Эмма Герштейн успевают вынести из дома часть незахваченных, несмотря на ночной обыск, рукописей Мандельштама, а также рукописи поэта Владимира Пяста, находившиеся у Мандельштамов. «Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому – кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива»; «из рукописей О.М. мы спасли небольшую кучку черновиков разных лет. С тех пор они никогда уже не находились дома», – пишет Н. Мандельштам [576] .

«14 мая утром я пришла в Нащокинский. Мне открыла Анна Андреевна со слезами на глазах и с распущенными волосами (тогда еще черными) – у нее сделалась сильнейшая мигрень, чего, по ее словам, с ней никогда не бывало. Я узнала все», – вспоминает Эмма Герштейн (как видим, и в ее мемуарах указана иная, противоречащая указанной в ордере на арест, дата задержания Мандельштама) [577] .

В.Н. Гыдов и П.М. Нерлер в своей хронике последних лет жизни поэта сообщают:

«Утром Н.Я. Мандельштам идет к своему брату Е.Я. Хазину, А.А. Ахматова – к старым друзьям. Встретившись в условленном месте, Н.Я. Мандельштам с братом и А.А. Ахматовой возвращаются домой.

Второй обыск.

Н.Я. Мандельштам сообщает об аресте Н.И. Бухарину.

А.А. Ахматова идет к Б.Л. Пастернаку и к секретарю Президиума ЦИК СССР А.С. Енукидзе.

Б.Л. Пастернак, узнав об аресте, идет к Демьяну Бедному, а вечером, в антракте спектакля “Египетские ночи” Камерного театра, заходит в “Известия” [578] к Н.И. Бухарину; не застав его, оставляет записку с просьбой сделать для Мандельштама все, что можно» [579] .

На Лубянке Мандельштам испытывает психический шок. Он считался с тем, что за стихи о Сталине его могут расстрелять – поэт говорил об этом Эмме Герштейн. Теперь же, в заключении, он, видимо, ждал смертной казни. Но одно дело – представлять себе расстрел, будучи на воле, другое – оказаться в реальной тюремной обстановке во всей ее гнетущей подлинности. Мандельштам решает покончить с собой. С примитивной точки зрения это кажется нелогичным: какая разница – расстрел или

самоубийство? Но разница, естественно, есть: расстрел – акция власти, «отвратительной, как руки брадобрея», которые бесцеремонно крутят твою голову, поворачивают ее, куда им, рукам власти, надо, держа при этом смертоносную сталь у твоего горла; самоубийство же – проявление человеческой свободы. Бритвенным лезвием, заранее приготовленным и спрятанным в обувных подошвах, Мандельштам вскрывает себе вены. Попытка самоубийства (совершена в период с 18 по 28 мая) не удается.

18 мая 1934 года состоялся первый допрос. Дело вел следователь ОГПУ, оперуполномоченный 4-го отделения секретно-политического отдела Н.Х. Шиваров («Христофорыч», как он назван в мемуарах Н. Мандельштам). На первом же допросе Мандельштам признал, что антисталинское стихотворение написано действительно им, и назвал людей, которым он читал эти стихи. Не исключено, что до этого признания следователь мог и не знать о стихотворении (что все же очень маловероятно, принимая во внимание, что Мандельштам читал эти стихи не раз и разным людям) или по крайней мере не иметь его текста. Слежка за Мандельштамом, безусловно, велась, и о его высказываниях доносилось, но в деле нет никаких других списков крамольного текста, кроме как выполненных рукой поэта и следователя.

Следственное дело (запись следователя):

«Вопрос: Кому вы читали или давали в списках это стихотворение?

Ответ: В списках я не давал, но читал следующим лицам: своей жене, своему брату Александру Е. (так! – Л.В.) Мандельштаму, брату моей жены Евгению Яковлевичу Хазину – литератору, автору детских книг, подруге моей жены Эмме Григорьевне Герштейн – сотруднице секции научн<ых> работников ВЦСПС, Анне Ахматовой – писательнице, ее сыну Льву Гумилеву, [литератору Бродскому Давиду Григорьевичу] (зачеркнуто. – Л.В.), сотр<уднику> Зоол<огического> музея Кузину Борису Сергеевичу.

Вопрос: Когда это стихотворение было написано?

Ответ: В ноябре 1933 года» [580] .

На следующем допросе, 19 мая, подследственный дополняет список лиц, которые были знакомы с роковым стихотворением. Он называет М. Петровых и В. Нарбута и просит при этом исключить Давида Бродского (переводчик Д. Бродский зашел к Мандельштамам вечером накануне ареста и стал свидетелем задержания).

В.И. Нарбут

Запись рукой следователя:

«В дополнении (так! – Л.В.) к предыдущим показаниям должен добавить, что в числе лиц, которым я читал названное выше контрреволюционное стихотворение, принадлежит и молодая поэтесса Мария Сергеевна Петровых. Петровых записала это [произведение] (зачеркнуто. – Л.В.) стихотворение с голоса, обещая, правда, впоследствии уничтожить. <…>

На пятой и шестой строчке слова “литератору Бродскому Давиду [Сергеевичу] (зачеркнуто. – Л.В.) Григорьевичу” зачеркнуты по моей просьбе, как показание, не соответствующее действительности и ошибочно данное при моем вчерашнем допросе. <…>

В дополнении к первым своим показаниям должен сообщить, что названное к/р произведение я читал также и Нарбуту В.И. Выслушав это стихотворение, Нарбут сказал мне: “Этого не было”, – что должно было означать, что я не должен говорить кому-либо, что это произведение я ему читал» [581] .

Речь шла во время следствия не только об антисталинских стихах: к протоколу допроса от 25 мая приложено стихотворение

о голодном Крыме (написано рукой следователя; Мандельштам подписался под текстом, неверно указав дату: 1932 год поставлен вместо 1933-го: «Лето 32 года, Москва, после Крыма. О. Мандельштам»). По словам Н. Мандельштам (в передаче Э. Герштейн), говорилось на допросах и о «Квартире…»:

«Через 10 или 15 дней Надю вызвали по телефону на Лубянку. Следствие закончено. Мандельштам высылается на 3 года в Чердынь. Если она хочет, она может его сопровождать.

Мы сидели в Нащокинском и ждали возвращения Нади. Она пришла потрясенная, растерзанная. Ей трудно было связно рассказывать.

– Это стихи [582] . О Сталине, “Квартира” и крымское (“Холодная весна…”). Мандельштам честно, ничего не скрывая, прочел все три. Потом он их записал» [583] .

Но в следственном деле стихотворения о квартире нет.

Если с понятием «героизм» связывать представление о целенаправленной упорной деятельности во имя добра (в самом широком значении), о деятельности, требующей на этом поприще проявления необычайных, исключительных усилий или мужества, то, конечно, Осип Мандельштам никак не может быть назван героем. Не был он и последовательным «борцом со сталинским режимом» или с большевистским режимом вообще. Он был наделен гениальным поэтическим даром. Не больше – но и не меньше. Он написал об идолище на кремлевском троне, для которого казнь – «малина», о голодных тенях-крестьянах, о презренной разрешенной литературе – и не потому, что это требовалось в каких-либо политических или социальных целях, а потому, что он не мог этого не написать. По своему характеру Мандельштам был совершенно не способен хитрить, умалчивать, выстраивать расчетливую, продуманную систему умолчаний в диалоге со следователем. Кроме того, следователь, как пишет Надежда Яковлевна со слов Мандельштама, дезинформировал поэта, говоря ему, что он получил такие-то показания от Анны Андреевны, такие-то – от Евгения Яковлевича… «Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку: одного “двоеженцем”, другого – “исключенный”, одну из бывавших у нас женщин – “театралкой…”» [584] . Следователь приводил имена людей, бывавших в доме у Мандельштамов; тех же, кто не бывал в Нащокинском или бывал редко, он не упомянул, и их имена в дело не попали. Поэт о них тоже не сказал.

Так, например, не назвал Мандельштам знавших страшные стихи А. Тышлера, С. Липкина, Б. Пастернака, А. Осмеркина, Г.

Шенгели, В. Шкловского, С. Клычкова и ряд других людей.

Нельзя забывать и о том, что Мандельштам испытал на Лубянке психический шок: вышел он оттуда в состоянии травматического психоза.

Следствие длилось недолго: 26 мая дело было завершено, и вскоре, 28 мая, Н. Мандельштам была вызвана для свидания с арестованным в присутствии следователя. Был объявлен приговор: три года ссылки в город Чердынь на Каме (под Пермью), причем Надежде Яковлевне было разрешено ехать вместе с мужем. Вернувшись домой, в Нащокинский переулок, Надежда Яковлевна сообщила близким (Ахматовой, Э. Герштейн и другим) о названных именах слушателей крамольных стихов – их надо было предупредить. «По Надиным словам, у следователя был список того варианта, который был известен только Марии Петровых и записан ею одной», – сообщает Э.Г. Герштейн. (Еще раз напомним, что М. Петровых всегда категорически отрицала сам факт записи роковых стихов.) «Свои опасения она высказывала как бы от имени Осипа Эмильевича. Но после того, как Анна Андреевна повидалась с ним в Воронеже и выслушала от него самого историю следствия, подозрения относительно Маруси Петровых были раз навсегда сняты. До самой смерти Анна Андреевна встречалась с нею, и дружба их все последующие тридцать лет оставалась неомраченной, – подчеркивает Герштейн и добавляет: – А кого уж тут подозревать, если я знаю теперь 14 слушателей, а где гарантия, что их не было больше? [585] Так, художник А.Г. Тышлер утверждал, что Мандельштам читал ему эти стихи в присутствии нескольких слушателей» [586] .

Наказание было непонятно мягким. Никто этого не ожидал. Литературу карали сурово. Мандельштам прекрасно знал цену поэтическому слову в России. «Поэтическая мысль – вещь страшная, и ее боятся», – сказал он однажды уже в Воронеже своему знакомому С.Б.Рудакову. Несомненно, эта «мягкость» объяснялась определенными причинами. Это было время, предшествовавшее проведению Первого съезда советских писателей, на котором должна была быть создана единая общесоюзная писательская организация (съезд проходил в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 года). Этому мероприятию придавалось большое значение – оно должно было свидетельствовать о единстве власти и интеллигенции перед лицом всего мира. В Германии гитлеровцы жгли книги на площадях (10 мая 1933 года в Берлине и других городах состоялось публичное сожжение сочинений «расово неполноценных» и идеологически неугодных авторов), и на этом фоне советское руководство стремилось привлечь на свою

сторону «мастеров культуры» всей планеты. Поэтому в этот период Сталин и его окружение проявляли определенный либерализм. Нацисты – негодяи, насильники и варвары, а в СССР культура процветает и писатели свободно и радостно поддерживают партию и ее мудрого вождя. Есть, конечно, отщепенцы, но это единицы, не имеющие никакого значения. Но даже и к ним гуманная Советская власть проявляет милосердие и стремится их «перековать». Суровое наказание Мандельштама за его дерзкие стихи могло нарушить игру с интеллигенцией, вызвать толки в обществе, подогреть крайне нежелательный интерес к крамольному произведению («За что убили?» или «За что отправили в лагерь»?) и распространение его – ведь трудно было рассчитывать на то, что можно уничтожить абсолютно всех, кто знал эти строки. А если не удастся ликвидировать всех знающих? А если среди знающих окажутся фигуры с мировой известностью – их тоже придется репрессировать, вызывая при этом нежелательное беспокойство западных либералов? Поэтому хлопоты Ахматовой и Пастернака, который обратился к Н. Бухарину (а тот был не только редактором «Известий», но и утвержденным докладчиком о поэзии на будущем писательском съезде), очевидно, способствовали смягчению участи Мандельштама.

Нет никаких сведений о том, что Сталин инициировал арест Мандельштама. Вероятно, он вообще до определенного момента об аресте поэта не знал. Существует мнение, что Сталин так и не познакомился со стихами о «кремлевском горце». (Так считала, например, по словам сестры Екатерины Сергеевны, М.С. Петровых, полагавшая, что в противном случае все знавшие стихотворение были бы уничтожены.) В качестве обоснования этой гипотезы выдвигается следующий тезис: стихотворение рисует вождя в настолько непривлекательном виде и написано в столь оскорбительной манере, что чекисты просто не решились довести его текст до Сталина, опасаясь за свою жизнь, боясь, что диктатор уничтожит всех, кто знает эти стихи.

Автору книги эта версия кажется маловероятной. Предположим, что следователь Шиваров хотел бы скрыть крамольные строки. Но ведь он не работал в изоляции. Ордер на арест выписал, как говорилось выше, Я. Агранов (у которого Н. Бухарин, осведомленный об аресте Мандельштама, пытался выяснить причину ареста). Подготовленное обвинительное заключение Шиваров представил на рассмотрение особого совещания (ОСО) при коллегии ОГПУ, которое и вынесло приговор. В обвинительном заключении Мандельштам назван «автором контрреволюционного пасквиля против вождя

коммунистической партии и советской страны» и дается характеристика самому «пасквилю» [587] . Стихи содержатся в деле. Трудно представить, чтобы ОСО (вкупе с Шиваровым) решилось утаить такого рода документ, важнейший документ, и пошло на то, чтобы вынести автору необъяснимо мягкий приговор. Все эти люди должны были в таком случае полностью доверять друг другу, быть уверенными в том, что никто из них ничего не сообщит о скрытом. Откуда у них могла быть подобная уверенность? И как они реально могли выполнить такое намерение? Если бы они этого хотели, они должны были в первую очередь изъять из дела крамольные стихи – а стихи в деле находятся. Можно предположить, что информация снизу дошла до Г. Ягоды, а скрыл ее от Сталина уже непосредственно он. Но это тоже сомнительно. Сразу же после ареста Мандельштама о поэте стали хлопотать, как сообщалось выше, Ахматова и Пастернак; об аресте немедленно узнали в писательском и окололитературном кругу. Ахматова – опальный поэт, но ее высокий статус в литературном мире был властям хорошо известен; Пастернака же тогда прочили на роль чуть ли не первого поэта страны. Пастернак и Ахматова – фигуры, имевшие несомненное влияние в своей области, и вот эти люди беспокоятся, хлопочут, «поднимают шум». Логично предположить, что в этой ситуации Сталин мог бы и поинтересоваться: а что, собственно, натворил этот Мандельштам? Мог ли пойти Ягода в этой обстановке на утаивание от вождя такого, прямо касающегося Сталина дела? Причем у него не было бы никакой гарантии, что в случае умалчивания кто-то из его честных или ретивых подчиненных не сделает попытку довести информацию по делу наверх через его голову.

Уже после возвращения из Чердыни Надежда Мандельштам зашла к Бухарину в редакцию «Известий». По ее словам, Бухарин ее не принял, а секретарша ей сказала: «Николай Иванович не хочет вас видеть – какие-то стихи…» «Больше я его не видела, – продолжает Н. Мандельштам. – Эренбургу он впоследствии рассказал, что Ягода прочел ему наизусть стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступился. До этого он успел сделать все, что было в его силах, и ему мы обязаны пересмотром дела» [588] . Н. Мандельштам пишет о том, что Бухарин узнал о стихотворении от Ягоды. Но если Ягода информировал Бухарина, то неужели он не информировал Сталина?

Кроме того, массовых репрессий против работников «органов», подобных тем, которые будут проводиться в период после убийства С.М. Кирова (1 декабря 1934 года), еще не было.

Должны ли были работники ОГПУ, причастные к делу Мандельштама, считать себя безусловно обреченными за «знание» крамольных стихов, если они попадут на стол к Сталину, в то время, в мае 1934 года?

А между тем следствие по делу оканчивается приговором, который трудно объяснить, если не предположить вмешательство «сверху».

(Автору книги кажется вполне логичным предположение О. Лекманова, что Сталину крамольные стихи могли в определенной степени «понравиться». Понравиться, скажем, по тем же причинам, по которым вождь получал удовольствие от «Дней Турбиных» М. Булгакова – а эту пьесу Сталин смотрел во МХАТе многократно. В самом деле, белые в «Днях Турбиных» обречены и сознают свою обреченность – и это свидетельство не советского агитпропа, а писателя, который явно близок к своим героям и им сочувствует. То же и у Мандельштама, при всем отличии: у тех, кого поэт именует «мы», земля уходит из-под ног, они «беспочвенны», они ничего уже не значат и сами признают, что только у него, вождя, сила и что слова его весомы и «верны».)

И ответы Мандельштама, и сами стихи давали основания для группового дела («Мы живем, под собою не чуя страны…»). Но дело было прекращено быстро, Надежде Яковлевне сказали о полученной директиве «изолировать, но сохранить» и разрешили ехать в Чердынь с мужем.

28 мая 1934 года, в день свидания Мандельштамов на Лубянке, Нина Антоновна Ольшевская, жена писателя В.Е. Ардова, и Анна Ахматова собрали деньги у тех, кто давал, на дорогу. «Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое сумочки», – пишет Ахматова [589] . Отправились ли Мандельштамы 28-го или на следующий день, остается неясным. Видимо, отъезд состоялся все же 28-го: в просьбе о выделении спецконвоя для сопровождения осужденного к месту ссылки (служебная записка коменданту ОГПУ) конвой запрашивается, во всяком случае, на этот день. Ахматова поехала с Надеждой Яковлевной и братьями поэта и его жены, А.Э. Мандельштамом и Е.Я. Хазиным, на Казанский вокзал, куда должны были привезти Мандельштама. Ахматова не смогла дождаться его, поскольку в этот день она уезжала из Москвы в Ленинград с соседнего, Ленинградского, вокзала. Она уехала. Позднее в сопровождении трех конвоиров выехали к месту ссылки и Мандельштамы.

В Чердыни Мандельштам, будучи еще травмированным психически, в припадке навязчивого страха выбросился из окна второго этажа местной больницы (он упал на клумбу под окном;

следствием падения был вывих и перелом правого плеча). Вывих был вправлен. Перелом определили позднее, уже в Воронеже. Это было в ночь с 3 на 4 июня. Вскоре Надежда Яковлевна посылает телеграммы в «Известия» (т. е. Бухарину) и в Общество помощи политзаключенным (т. е. первой жене Горького Е.П. Пешковой и М.Л. Винаверу); она сообщает о том, что Мандельштам отправлен в ссылку в состоянии психического расстройства; вероятно, 5 или 6 июня Н.И. Бухарин обращается с письмом к Сталину [590] . 6 июня 1934 года А.Э. Мандельштам подает в ОГПУ просьбу перевести брата в «город, где может быть обеспечен квалифицированный медицинский уход вне больничной обстановки» [591] .

Бухарин писал вождю (письмо не только о Мандельштаме):

«3) О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался (!) с А<лексеем> Толстым, которому нанес “символический удар” за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену. Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные письма от жены М<андельштама>, что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и т. д. Моя оценка О. Мандельштама: он – первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он – безусловно не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т. д. Т. к. ко мне все время апеллируют, а я не знаю, что он и в чем он “наблудил”, то я решил тебе написать и об этом. Прости за длинное письмо. Привет.

Твой Николай.

P.S. О Мандельштаме пишу еще раз (на об<ороте>), потому что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста М<андельштам>а и никто ничего не знает».

«На этом письме Сталин собственноручно начертал резолюцию: “Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие…”» [592] .

Знал ли Сталин к тому времени, как он получил письмо Бухарина, о своем стихотворном портрете или не знал? Если знал, то в таком случае вождь разыгрывал неведение, что вполне можно допустить. Если не знал, то, как нам представляется, было бы естественно поинтересоваться – а в чем, собственно, вопрос? Дело происходит накануне очень важного мероприятия – Съезда писателей, речь идет, по словам Бухарина, о «первоклассном поэте», который готов покончить с собой. Почему? Письмо Бухарина могло подвигнуть Сталина вникнуть в обстоятельства дела, если он этого не сделал раньше.

Л.В. Максименков указывает на еще одно существенное обстоятельство. Он обращает внимание на то, что имя Мандельштама стоит в ряду видных литераторов, включенных в список-реестр, «который был подан Сталину в момент создания оргкомитета ССП (Союз советских писателей. – Л.В.) в апреле 1932 года» [593] . Мандельштам упомянут в последней части списка, среди других имен беспартийных писателей. Тем не менее это знак принадлежности к литературной элите. И вот – одного из этих «списочных» арестовали. По мнению Максименкова, это могло вызвать раздражение Сталина («без его ведома») и привести к смягчению участи поэта. Автору данной книги мнение Максименкова кажется вполне убедительным. (Правда, с того момента, как реестр попал в руки Сталина, до ареста Мандельштама прошло два года, однако писательский съезд готовился тщательно и долго, и звучная, останавливающая внимание фамилия поэта вряд ли была за это время забыта.) Но мы бы хотели посмотреть на ситуацию под несколько иным углом зрения: забрали не просто литератора, а стоящего в перечне наиболее значимых в литературе. Вокруг этого дела происходит заметное мельтешение. А почему все-таки арестовали этого Мандельштама? Разве не естественно выяснить, в чем причина ареста?

Знал ли Сталин «Мы живем, под собою не чуя страны…» или не знал, а если знал, то когда именно он прочитал или прослушал эти стихи – ответы на эти вопросы лежат в области предположений. Может быть, когда-то на них станет возможным ответить более определенно. Исходя из вышеизложенных соображений, автор книги склоняется к мнению, что «кремлевский горец» крамольное стихотворение знал – нам это предположение представляется более логичным и обоснованным, чем обратное.

13 июня Сталин звонит Пастернаку. Понятно, что совершенно точно разговор не может быть воспроизведен, но в главных чертах – суммируя свидетельства ряда мемуаристов – он известен. Вождь сообщает поэту, что с Мандельштамом «все будет хорошо», упрекает Пастернака в том, что он не хлопотал: «Я бы на стену лез, если бы узнал, что мой друг-поэт арестован». На это Пастернак резонно пояснил, что он как раз хлопотал. «Но ведь он ваш друг?» – спрашивает Сталин. Отношения Мандельштама и Бориса Пастернака нельзя было назвать дружбой. Они не укладывались в это простое определение. Пастернак попытался объяснить это собеседнику. Пастернаку, как было упомянуто выше, антисталинские стихи были знакомы. Знает ли их сам Сталин, ему известно не было. В этих условиях согласиться с тем,

что он «друг» Мандельштама, было бы благородно, но по-настоящему опасно. Пастернак ни в чем не погрешил против истины, но он предпочел дистанцироваться от «предлагаемой» ему «дружбы» с Мандельштамом. «Но ведь он же мастер, мастер!» – заявил Сталин. Это был вопрос, думается, ключевой, наиболее важный момент разговора. «Да не в этом дело», – ответил Борис Леонидович и постарался перевести разговор на другую тему: сказал, что давно хотел встретиться со Сталиным и «поговорить серьезно». «О чем же?» – поинтересовался вождь. «О жизни и смерти». «Кремлевский горец» повесил трубку, беседа на эти темы его в данном случае не увлекала.

Мы не знаем, с какой интонацией Сталин сказал: «Но ведь он же мастер!» Представляется, что с вопросительной, хотя это, видимо, не подчеркивалось. Судя по всему, Сталин выяснял у «специалиста», насколько Мандельштам значителен как поэт, проводил своего рода экспертизу («проверял» суждение Бухарина). Сталин, несомненно, очень заботился о том, каким его будут видеть потомки. В том, что имя его навсегда останется в истории, вождь не сомневался. Войти в историю как убийца большого поэта Сталин, очевидно, не хотел. Судя по его теориям, высказываниям и практике, вождь явно полагал, что ради великой цели можно жертвовать отдельными людьми и тысячами людей, как пешками, – история все спишет: ведь это было сделано ради «прогресса», «социализма», ради «всеобщего счастья», «всеобщего блага», «державы», это было, главное, «исторически неизбежно», необходимо и т. п. Но это в случае людей ординарных. Великие же художники остаются в истории, как вожди, – с ними надо обращаться бережнее. Сам писавший в юности стихи, Сталин не был к поэзии равнодушен. О них – великих писателях, музыкантах, художниках – не забудут. Поэт оскорбил в стихах лично его, Сталина. Глупо было бы его убивать – это послужило бы лишним подтверждением слов из мандельштамовского стихотворения: «Что ни казнь у него – то малина». Умнее было, напротив, проявить гуманность и благородство (тем более в преддверии писательского съезда и на фоне гитлеровского варварства) – не наказать нельзя, это будет понято всеми, но каждый может видеть, как бережно относится Советская власть к поэзии, к культуре: ведь наказание за такие стихи (а слухи о них могут идти, а все списки, может, и не выловишь) – всего лишь высылка (с женой!) из Москвы на три года. Советская власть за безумие не расстреливает! А антисталинские стихи – очевидное безумие, написание их – поступок явно психически ненормального человека, которого многие, кстати, давно считали полусумасшедшим, юродивым. И незачем делать из юродивого

мученика. Сурово карать за эти стихи – значит считать их чем-то серьезным, придавать им некое значение, раздувать этот неприятный факт. Итак, «изолировать, но сохранить».

Так можно было строить политику, но надо было выяснить, а на самом ли деле этот Мандельштам – действительно большой поэт? Надо с этим считаться и в какой мере? Ведь за него хлопотали Пастернак и Ахматова, в поэтической «квалификации» которых Сталин не сомневался.

Доказать ничего тут нельзя, но, кажется, логика власти в данном случае могла быть примерно такой, и звонок Сталина Пастернаку, помимо решения других задач (предстать перед интеллигенцией в качестве милосердного, гуманного, хотя и авторитарного правителя), ставил целью выяснение масштаба фигуры Мандельштама в поэзии.

«Изолировать, но сохранить» в Чердыни не получилось. Уже 10 июня [594] , до сталинского звонка Пастернаку, особое совещание при коллегии ОГПУ пересмотрело дело, отменило ссылку и разрешило Мандельштаму проживание «на оставшийся срок» там, где он пожелает, за исключением Московской и Ленинградской областей и десяти других городов (это называлось коротко «минус двенадцать»). Надо учитывать еще одно важное обстоятельство: как указывает Л. Флейшман, именно в это время выходит в Нью-Йорке книга американского социалиста М. Истмена «Художники в мундирах» (“Artists in Uniform”), в которой советский режим обвинялся в тоталитаризме и подавлении литературной свободы – причем Истмен связывал с этими особенностями жизни в СССР самоубийства советских поэтов, в частности Есенина и Маяковского. Как показывает Л. Флейшман, «первый завуалированный отклик» на книгу Истмена «содержался в статье В. Кирпотина “Две литературные политики”», опубликованной в «Правде» 31 мая 1934 года, в разгар истории с Мандельштамом. Что для нас в данном случае особенно важно, в статье Кирпотина подчеркивалась мысль, что СССР, в противовес гитлеровской Германии, – оплот культуры (приводим цитату по книге Флейшмана):

«Клеветническое обвинение пролетарского социализма в казарменном обезличивании людей продиктовано враждебным отношением к марксизму. На деле же солдатский дух в современную жизнь – и в современную литературу – несут именно фашисты. Они и деятелей литературы и искусства хотят превратить в духовных штурмовиков Гитлера» [595] . Самоубийство Мандельштама на таком фоне и в преддверии писательского съезда было крайне нежелательным.

Мандельштамы в Чердыни выбирают Воронеж – его хвалил

знакомый биолог Н.Д. Леонов, друг Б.С. Кузина. Кроме того, его отец работал там тюремным врачом, что могло пригодиться.

Мандельштамы выезжают из Чердыни 16 июня и в начале последней декады месяца проводят два-три дня в Москве по дороге к новому месту ссылки. «В Москве Мандельштамы задержались дня на два, на три, – пишет Э. Герштейн. – Осип был в состоянии оцепенения, у него были стеклянные глаза. Веки воспалены, с тех пор это никогда не проходило, ресницы выпали [596] . Рука на перевязи, но не в гипсе. У него было сломано плечо – последствие прыжка из окна второго этажа чердынской больницы.

Пока Надя бегала оформлять документы в соответствующем управлении ГПУ, я осталась с ним. Осип лежал на постели с застывшим взглядом. Мне было жутковато оставаться с ним вдвоем. Кажется, мы выходили гулять. Я повязывала ему галстук. Он кричал сердито: “Осторожно… рука”» [597] .

На вокзал Мандельштамов провожали Е.Я. Хазин, А.Э. Мандельштам и Э.Г. Герштейн.

В Воронеже Мандельштам постепенно пришел в себя.

Надежда Мандельштам нередко бывала в Москве, привозила стихи Мандельштама, написанные в Воронеже. В квартире в Нащокинском переулке жила мать Надежды Яковлевны, Вера Яковлевна Хазина.

Надо напомнить, что во время ссылки Мандельштам испытал определенный душевный кризис. Об этом уже шла речь в главе, посвященной взаимоотношениям поэта с Яхонтовым и Поповой. Этот надлом выражался, в частности, в чувстве отщепенства (но без убеждения в своей правоте, как на рубеже 1920—1930-х годов), в сознании вины перед народом, чья воля проявлялась, как виделось, в сталинском строительстве новой империи. Стихи Мандельштама, его письма и воспоминания людей, с которыми поэт встречался в Воронеже, говорят о том, что Мандельштам не играл в раскаяние, что он искренне хотел переменить себя, признать «правоту эпохи». Вина и желание «жить, дыша и большевея», диктовали строки воронежских «Стансов» 1935 года, стихотворения «Средь народного шума и спеха…» и ряда других стихов. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и то, что Сталин вмешался в его дело и, собственно, спас ему жизнь. Нет ничего удивительного и невероятного в том, что Мандельштам мог испытывать к Сталину чувство благодарности – скорее всего, так и было (это не означает, что в другие минуты опальный, привязанный к Воронежу поэт не мог думать о вожде с совершенно другими чувствами).

Н.Е. Штемпель. 1930-е

В Воронеже в 1937 году была написана и так называемая «Ода» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…») – ода Сталину. Начиналась эта вещь, может быть, как вымученная, как попытка спастись, переиграть судьбу. Однако рассматривать ее только так было бы, думается, неверно. Мандельштам был, несомненно, увлечен Сталиным (об этом в книге уже шла речь). Позднее, уже после возвращения из Воронежа, Мандельштам сам определил в разговоре с Анной Ахматовой этот настрой: «Я теперь понимаю, что это была болезнь» [598] . Это была болезнь, которой болела вся страна, и заражались даже самые чистые, самые духовно здоровые. «Ода» – не поделка и не подделка, хотя позже Мандельштам и просил воронежскую знакомую Н.Е. Штемпель уничтожить эти стихи (как сообщает Н. Мандельштам) [599] .

Выше шла речь и о том, что наряду с линией капитуляции в мандельштамовских стихах не умолкает и ведется другой мотив – несдающейся свободы и несогласия с «рогатой нечистью», как это именует Надежда Яковлевна.

Возвращение в Москву виделось в Воронеже желанной целью. В воронежских «Стансах» читаем:

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока…

Первый стих, видимо, отсылает к блоковскому восклицанию: «О, Русь моя! Жена моя!..» (Ю.Л. Фрейдин указал автору книги, что этот стих откликается и на пастернаковское «сестра моя жизнь».) Блоковский (и пастернаковский) подтекст вполне уместен в стихотворении, где Мандельштам говорит о намерении преодолеть свое отщепенство и желании стать одним из тех, кто строит новую Россию – советскую державу: «Но, как в колхоз идет единоличник, / Я в жизнь вхожу – и люди хороши». «Стансы» заявляют если не о примирении с действительностью, то по крайней мере о желании такого примирения.

Но о чем, собственно, идет речь в этих стихах далее? М.Л. Гаспаров предполагает, что данная строфа отражает воспоминание поэта о приезде в Москву по дороге из Чердыни к новому месту ссылки: «И ты, Москва – несколько суток в Москве по пути из Чердыни в Воронеж» [600] . Эта точка зрения может быть обоснована, как нам представляется, в первую очередь тем, что в предыдущей, третьей строфе стихотворения речь идет несомненно о Чердыни. Автор расположил части своего стихотворения именно таким образом – есть все основания согласиться с М.Л. Гаспаровым. В таком случае возможны, видимо, два варианта понимания текста строфы о «сестре» Москве.

Вариант первый . Ссыльный «брат»-поэт возвращается, пусть ненадолго, в Москву, видит на подъезде к городу летящий в небе самолет, олицетворяющий советскую Москву, ее мощь и техническое развитие, – это «Москва… в самолете» встречает его. Однако, с нашей точки зрения, с «Москвой в самолете» не сочетаются последние стихи строфы: «Нежнее моря, путаней салата / Из дерева, стекла и молока» – даже если понять эти слова как описание увиденных из окна вагона московских окраин ранним утром (деревянные дома в тумане). Такое прочтение представляется неверным.

Вариант второй . Поэт видит (представляет себе), как «сестра» Москва встречает «брата», прилетающего к ней «в самолете». «Брат» здесь, конечно, имеет отношение к формуле «свобода, равенство и братство» и синонимичен советскому «товарищ». У советской Москвы все «братья», все товарищи. Мотив «братства» проходит через все стихотворение. «Братьями», в частности, названы в этом же стихотворении страдающие и

казнимые антифашисты в гитлеровской Германии: «Я помню все: немецких братьев шеи». (Шея, очевидно, ассоциировалась у Мандельштама с представлением о хрупкости человеческой жизни и обреченностью: ср. «Как венчик, голова висела / На стебле тонком и чужом» – из стихотворения о распятии «Неумолимые слова…» (1910). Таким образом, немецкие «братья» в «Стансах» неожиданно напоминают «тонкошеих вождей» из недавнего антисталинского стихотворения.) «…В традиции гражданского стихотворства и эпиграммы, – пишет Е.А. Тоддес, – тонкая шея весьма социально значима и ассоциируется, во-первых, с угодничеством (гнуть шею перед сильным), во-вторых, с возможной расправой властителя над подданным (намек на веревку – ср. “Пеньковые речи ловлю…” в “Квартире…”)» [601] .

Но кто этот «брат»? Советский летчик или, может быть, немецкий эмигрант, беглец из нацистского ада – самолет несет его к спасительнице Москве. В слове «сестра» в «Стансах» просвечивает и значение «сестра милосердия» – примем во внимание то, что сказано в «Стансах» о «немецких братьях» и «садовнике и палаче» Гитлере. Здесь, думается, мы слышим снова мотив, прозвучавший в стихотворении, которое от «Стансов» также отделяет небольшой временной промежуток, – «Мастерица виноватых взоров…»: о лучшем в женщине говорится: «Наш обычай сестринский таков…» – и ниже: «гибнущим подмога». Основания для предположения, что встречаемый Москвой «брат» «в самолете» может быть немецким эмигрантом, имеются: в наиболее ранней из известных редакций «Стансов» стихи о прилете в Москву стоят не после строфы о Чердыни, а именно вслед за упоминанием немецких «братьев»:

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню все: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

(В одном из вариантов: «Я помню всё: германских братьев шеи / И что проклятым гребнем Лорелеи…».)

Очень вероятным кажется отражение в строфе «Стансов» о Москве и триумфальной встречи спасенных челюскинцев (хотя они прибыли в Москву на поезде, и не ранним утром, а в середине дня). Мандельштамы покинули Чердынь 16 июня 1934 года, дорога до Москвы заняла, видимо, дней пять. В Москве они провели, насколько известно, 21–23 июня. 19 июня Москва встречала челюскинцев и их спасителей-летчиков. Мандельштамы оказались в городе, где все говорило о недавнем событии;

спасение челюскинцев, подвиг летчиков были главной темой во всех разговорах. В Воронеж Мандельштамы прибыли в середине последней декады июня, а вскоре, 6 июля, в день Конституции СССР (принятой в 1923 году), весь Воронеж встречал одного из героев-летчиков, М.В. Водопьянова, и радиста-челюскинца Э.Т. Кренкеля. Местный стадион «Динамо», где прошел торжественный пленум горсовета, заполнили 20 000 человек; с празднично украшенной трибуны, над которой был помещен большой портрет Сталина, Водопьянов и Кренкель обратились к собравшимся с речами.

О пребывании в городе летчика и радиста подробно и восторженно писала местная газета «Коммуна» [602] . Воронежские впечатления (причем одни из самых первых на новом месте) не могли, таким образом, не укрепить впечатления московские.

Так или иначе, советский летчик или эмигрант – «брат» прилетает к «сестре» Москве «в самолете» и видит внизу утренний город сквозь облака и туман: «Нежнее моря, путаней салата / Из дерева, стекла и молока». Москва, нам думается, увидена сверху, с высоты.

Но, хотя стихи данной строфы отразили воспоминание о кратковременном пребывании в столице по дороге из одного места ссылки в другое, написаны они были не в Москве, а в Воронеже.

И, представляется, воспоминание сочеталось в этих стихах с острым желанием покинуть место ссылки (ведь и сам поэт, подобно «немецким братьям», преследуемый, гонимый – пусть и по другой причине, это не отменяет близости положений), причем это желание могло быть усилено определенными воронежскими реалиями. В 1932 году Воронеж стал одним из центров советской авиации – начал работать Воронежский самолетостроительный завод. Уже в 1933-м в пойме реки Воронеж был устроен временный полевой аэродром. Вскоре начались и регулярные авиарейсы. Выполнялись, в частности, полеты по маршруту Воронеж – Москва. Перенестись из Воронежа в столицу по воздуху было возможно. Таким образом, автор данной книги склоняется к третьему варианту прочтения строфы: это написанный на основе воспоминания о кратком пребывании в Москве по пути в Воронеж воображаемый прилет-возвращение в Москву.

Д.Г. Лахути обратил внимание на еще один факт – на сообщение о прибытии в Москву после арктических перелетов в мае 1935 года летчиков Водопьянова, Молокова и Линделя. Водопьянов, в частности, прибыл в Москву на поезде 22 мая, еще

затемно (приехал на поезде, но – знаменитый летчик и после перелета в Арктике), и Д. Лахути вполне убедительно связывает заметку в «Правде» о встрече Водопьянова со строкой Мандельштама «До первого трамвайного звонка» [603] . Но это не противоречит, как нам кажется, нашей версии: информация 1935 года могла «наложиться» на московско-воронежские впечатления 1934-го: ведь именно М.В. Водопьянов, один из героев-летчиков, спасавших челюскинцев, приехал с Э. Кренкелем 6 июля 1934 года в Воронеж для триумфальной встречи. (Добавим, что Водопьянова встречали в Воронеже не только как героя, но и как земляка – он родился в селе Большие Студенки под Липецком, липецкие же земли входили с 1928-го до середины июня 1934 года в Центрально-Черноземную область с центром в Воронеже, а с 13 июня 1934-го, после разделения Центрально-Черноземной области на Воронежскую и Курскую, – в Воронежскую область. Липецкая область была образована только в 1954 году.)

Опальный поэт видит Москву с высоты, глазами снижающегося «брата» (кем бы «брат» в данном случае ни был), которым он в этих стихах становится (хотел бы быть на его месте). «Брат» в самолете прилетает в Москву поэта («сестра моя»). Ведь и поэт – «брат», только все еще не признанный. Непризнанный «брат» (здесь, думается, Мандельштам адресуется и к тому месту в своих стихах 1931 года «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…», о котором мы уже говорили: «Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье…»), изгнанный «отщепенец» представляет себя прибывающим ранним утром, «до первого трамвайного звонка», к «сестре»-Москве. Назвавший в 1931 году сталинскую Москву «курвой», «непризнанный брат» выражает теперь в воронежских «Стансах» намерение «жить, дыша и большевея» и рисует желанное возвращение в запретный для него город. Москва «легка», «нежнее моря» – как мечта; ей присуща и некая путаница, некая молочная туманность – как мечте.

Обращение к теме авиации в воронежских «Стансах» 1935 года происходит, очевидно, и в непосредственной связи с трагической гибелью самолета-гиганта «Максим Горький»: самолет, участвовавший в воздушном параде 19 июня 1934 года, в день московской встречи челюскинцев, разбился 18 мая 1935-го (воронежские «Стансы» создаются в это время, в мае – июле), причем в числе погибших 49 человек были летчики и создатели самолета.

В Воронеже в 1937 году создаются и «Стихи о неизвестном солдате» – вещь, равная XX веку по трагизму и силе, одно из вершинных произведений Мандельштама. Плач по погибшим в

Первой мировой войне, апокалипсическое видение – предвидение еще более страшных грядущих войн и слово о трагическом и гордом человеческом уделе соединены в этом кричащем, пророчествующем, вопрошающем, молящем и торжествующем тексте.

В мае 1937 года срок ссылки истек, и Мандельштамы вернулись в Москву, на улицу Фурманова. И вот здесь, в не существующей ныне квартире несуществующего дома, поэт продиктовал Эмме Герштейн «Стихи о неизвестном солдате».

«Я застала его в пижаме на тахте. Надя уходила. Мы остались вдвоем.

Он весь светился и прочел целиком “Стихи о неизвестном солдате”. Потом попросил меня записывать под его диктовку.

– Знаки препинанья можете не ставить: все само станет на свое место.

Он сидел на тахте в своей любимой позе, скрестив ноги по-турецки, и диктовал. Вторая главка начиналась со строк: “Будут люди холодные, хилые Убивать, холодать, голодать”. Вообще вся нумерация глав была не такой, как принята сейчас. Строк про Лейпциг и Ватерлоо не было совсем. Очевидно, Мандельштам считал, что они перегружают поэму.

Когда дошел до стиха “Ясность ясеневая, зоркость яворовая”, перебил сам себя: “Ах, как хорошо!..

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Полуобмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем —

ах, какой полет… какое движенье!..” Все так же сидя по-турецки, он скакал на пружинном матраце и повторял, жмурясь от удовольствия: “ясность ясеневая…”, “чуть-чуть красная мчится в свой дом…” Закончил бравурно, концертно, твердо, глядя мне прямо в глаза:

В ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем!

Он умел завершать чтение своих стихов апофеозом.

Потом он попросил меня прочитать весь текст вслух.

– Вы хорошо читаете, – сказал он, и мне не хочется это забывать.

– Это будет окончательной редакцией, – решил он, подписал “О.М. май 1937 В.” и отдал мне» [604] .

Но как не существует теперь дом в Нащокинском переулке, нет и этого авторизованного списка. Вероятно, он, к сожалению, утрачен. Хотя судьба этой рукописи неясна. Может быть, и сейчас она пылится где-нибудь в архиве.

Но эти гениальные стихи известны, к счастью, по другим записям. Мандельштам говорит от лица всех убитых, причисляет себя к ним и благословляет их.

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте —
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей.
А небо XX века определено как
Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей…

В одном из черновых вариантов этого произведения была строка:

Это зренье пророка смертей.

Мандельштама, безусловно, в некоторых случаях посещало нечто, подобное дару пророчества. Он сам это знал.

В.Н. Горбачева (Клычкова) записала однажды: «Не зря Осип Эмильевич Мандельштам напоминает внешностью изображение апостола. Он принадлежит к тому чрезвычайно редкому типу еврея, к которому принадлежали и Христос, и апостолы (какая-то кристаллическая чистота, честность). Лично я с ним не дружу и не лажу. Он со мною строг. Я имела неосторожность назвать его мастером формы или мастером стиха, что-то вроде этого. Он так на меня орал, что я диву далась. Сергей Антонович (Клычков. – Л.В.) искренне забавлялся, наблюдая, как яростно наскакивал на меня Мандельштам. Мандельштам мнил себя не мастером, а пророком» [605] .

А «мастер формы» – это ведь похоже на сталинский подход: «специалист-умелец в своей области». Так он и спрашивал Пастернака: мастер этот Мандельштам или не мастер? Это – формальное мастерство, «штукарство» во всех видах – было Мандельштаму совершенно чуждо. И совершенно прав был Б. Эйхенбаум, который говорил на вечере Мандельштама в Политехническом музее 14 марта 1933 года, что мастерство – это термин ремесленный и к Мандельштаму это слово не подходит (выше мы приводили отрывок воспоминаний Н. Соколовой, сохранивших эти слова Эйхенбаума).

Л.К. Наппельбаум

И – возвращаясь к «Стихам о неизвестном солдате» – никакой слезливости в этой поэме, никаких жалоб – ясное, чеканное мужество:

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.

Вернувшись в Москву, Мандельштам был настроен сначала довольно оптимистично. Ему хотелось «еще пожить и поиграть с людьми» («Стансы», 1935). Он радуется весенней Москве, ее движению, встреченным знакомым, теплу, музыке, детям. Людмила Константиновна Корнилова (Наппельбаум), вдова Льва Моисеевича Наппельбаума (сын известного фотографа, архитектор), рассказывала автору книги, что Мандельштам, приходя к ним на улицу Воровского (ныне снова Поварская улица; см. «Список адресов»), играл с ее маленьким сыном. Сын Людмилы Константиновны, Эрик, родился в апреле 1936 года. Однажды Мандельштам сказал, что у ее сына и имя, и одежда королевские: мальчик стоял в кроватке, держась за нее, в халатике лилового цвета с рисунком из лилий. Мандельштам

посвятил ребенку стихотворение, из которого Людмила Константиновна помнила, к сожалению, только два стиха:

Кинешь око удивленное
На прошедшие года.

Строки эти, конечно, перекликаются с двумя строками из стихотворения «Твой зрачок в небесной корке…», которое было создано в Воронеже в январе 1937 года:

Омут ока удивленный, —
Кинь его вдогонку мне!

Может быть, это был вариант?

Мандельштам по-пушкински знакомился и прощался с теми, кто вырастет, с детьми – с теми, кому время «цвести».

Вообще у Наппельбаумов Мандельштамы бывали и до Воронежа, и после возвращения в Москву. У них было два коротких стихотворения поэта: одно, упомянутое, написанное в их доме, было адресовано Эрику, а другое – Людмиле Константиновне. Было и письмо из Воронежа. Рукописи эти не сохранились.

Людмила Наппельбаум была художницей. Мандельштаму нравились портреты ее работы. Однажды он сказал: «Людмила, напиши мой портрет». Портрет, к сожалению, написан не был.

Когда Мандельштамы были в Воронеже, Наппельбаумы высылали им туда кое-какую еду и книги. (И другие люди помогали сосланному поэту. Например, Борис Горнунг. Собирались деньги – об этом автору сообщил Михаил Борисович Горнунг, сын литератора и ученого Бориса Горнунга.) Лев и Людмила Наппельбаумы даже некоторое время жили в квартире Мандельштамов в Нащокинском переулке вместе с матерью Н. Мандельштам Верой Яковлевной. В квартире Наппельбаумов тогда шел ремонт, и по совету А.О. Моргулиса они переехали на время в писательский дом.

Москва, помнилось Людмиле Константиновне, была интересна Мандельштаму. Однажды Лев Наппельбаум предложил поэту деньги, и Мандельштам с благодарностью принял их. А потом как-то сказал: «Вы знаете, как я потратил эти деньги?» И сообщил, что он взял машину (вероятно, такси) и катался по Москве.

Мандельштам очень любил музыку, и Людмила Наппельбаум два раза ходила вместе с ним в консерваторию. Один раз, как ей помнится, слушали М.В. Юдину, в другой – Марию Гринберг (в Малом зале). Людмила Константиновна купила в консерватории пирожные. Мандельштам сказал: «Как давно я не ел пирожные! И мои любимые…» Какие это были пирожные – Людмила Константиновна не запомнила.

Мандельштаму понравилось, как стучат каблучки Людмилы Наппельбаум, когда они возвращались из консерватории. Он услышал в этом некий музыкальный ритм. (Когда это было – до или после Воронежа, – Людмила Константиновна не уточнила.)

Точно к послеворонежскому времени относится свидетельство о посещении Мандельштамом Московской консерватории, которое мы встречаем в письме Анны Ивановны Ходасевич Евгении Казимировне Герцык (за возможность ознакомиться с этим письмом автор благодарит сотрудницу московского музея М.И. Цветаевой Татьяну Никитичну Жуковскую, в чьем архиве письмо находится).

А.И. Ходасевич пишет: «В концерты хожу одна и редко – нет совсем денег. Была на концерте Софроницкого (пианист) – встретила там Осипа Мандельштама. Узнав от меня об истории с Даликом, сказал: “Так ему и надо – Макс плохой поэт”. Своеобразный подход!»

Далик – Даниил Дмитриевич Жуковский, математик и любитель поэзии. Он был сыном поэтессы Аделаиды Казимировны Герцык и Дмитрия Евгеньевича Жуковского. Родился в 1909-м, а погиб, видимо, в 1938 году (он был расстрелян). Арестован был в 1936-м, летом, за распространение стихов Максимилиана Волошина.

Письмо А.И. Ходасевич не датировано, но совершенно очевидно, что разговор ее с Мандельштамом мог состояться только тогда, когда поэт вернулся из ссылки – ведь до середины мая 1937 года Мандельштам находился в Воронеже.

Конечно, слова Мандельштама, зафиксированные А.И. Ходасевич, нельзя воспринимать иначе как шутку – причем отнюдь не удачную. Но они интересны как констатация чуждости стиля Волошина принципам поэтики позднего Мандельштама. Кроме того, Мандельштам, вероятно, имел в виду и то, что с поэзией Волошина (и как бы «с ним самим») можно нарваться на неприятности. Думается, бросить такие слова Мандельштам мог лишь в первое время после возвращения из Воронежа: это достаточно легкомысленное высказывание (во всяком случае, в передаче А. Ходасевич) может объясняться неопределенными надеждами на будущее, некой эйфорией, которые были у Мандельштама тогда: ведь и он был сослан за стихи (и какие!) – и вот вернулся, и Д. Жуковский вернется…

Может быть, как-то все наладится? Мандельштаму хотелось восстановить свой статус, и он старался решить эту задачу. Он съездил от Союза писателей на строительство канала Москва – Волга (его строительство завершалось; канал вступил в действие 15 июля 1937 года) и написал «канальское» («домашнее»

определение) стихотворение. (В «Воспоминаниях» – глава «Иррациональное» – Надежда Мандельштам характеризует эти стихи как «гладенький стишок» «с описанием красот канала». Стихотворение вызывало у нее «бешенство», и она уничтожила его, будучи в эвакуации в Ташкенте.)

С теплотой и нежностью пишет Мандельштам о Москве в это время: вспомним стихотворение «Чарли Чаплин»: «Отчего / у Чаплина тюльпан, / Почему / так ласкова толпа? / Потому – / что это ведь Москва!»

Однако 1937 год – не 1934-й. Это выяснилось быстро. Разрешения жить в столице Мандельштам не получил. В квартире 26 писательского дома на улице Фурманова в одной из комнат Мандельштамов, напомним, жил чужой человек, очеркист Н.К. Костарев («Костырев», как пишет о нем Н. Мандельштам), автор популярной книги «Мои китайские дневники» (в 1928–1932 годах она была издана четыре раза), который отнюдь не собирался выезжать. Он с женой занял комнату в квартире с согласия Мандельштамов; здесь летом 37-го у него родилась дочь. Поручителем за Н. Костарева был не кто иной, как глава Союза советских писателей В.П. Ставский. 29 марта 1936 года Ставский обратился к Н. Мандельштам с просьбой предоставить «во временное пользование» одну из комнат квартиры «сроком 8–9 месяцев». «Проблема Костарева… – пишет П.М. Нерлер, – вообще не должна была возникнуть, ибо по мартовской, 1936 года, “джентльменской” договоренности между ним и Мандельштамами он поселялся… под поручительство Ставского самое большее на 8–9 месяцев и, стало быть, должен был смотать свои удочки не в мае 1937-го, а самое позднее в январе» [606] . Но Костарев не выехал – квартира ему, видимо, понравилась. Ему удастся закрепиться в этой квартире – Надежду Яковлевну домоуправление «выпишет» из списка жильцов, а Мандельштам, и так лишенный права жить в Москве по первому своему делу, будет арестован повторно и погибнет в лагере. (Но и новый хозяин квартиры 26 проживет в писательском доме недолго: посвящавший свои очерки о Китае маршалу Блюхеру, Николай Костарев был репрессирован и умер в заключении.)

«Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, который писал на них ложные доносы, и скоро им стало нельзя показываться в этой квартире», – пишет Анна Ахматова [607] .

Как уже упоминалось выше, Мандельштамы уехали в июне 1937 года (в конце месяца) из Москвы и поселились в Савелове (часть города Кимры). Дотянуть в Москве до конца июня они смогли потому, что с Мандельштамом случился сердечный

приступ и врачи предписали ему соответствующий режим, исключавший, естественно, нагрузки, переезды и пр. Но в конце июня Москву пришлось покинуть и обосноваться в Савелове. Позднее Мандельштамы переехали по совету Исаака Бабеля в Калинин (ныне снова Тверь).

Поэт и Надежда Яковлевна регулярно приезжали в Москву, где у них уже фактически не было жилья. «Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Это, вероятно, тогда Осип говорил Наде: “Надо уметь менять профессию. Теперь мы – нищие” и “Нищим летом всегда легче”. <…> Так они прожили год. Осип был уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, “забыли” послать повестки, и никто не пришел» (Анна Ахматова «Листки из дневника») [608] . Мандельштамы приехали из Савелова – вечер не состоялся.

Можно было читать в разных местах в надежде спастись «оду» Сталину или не делать этого – все это уже не имело значения. Наступило время «крупных оптовых смертей». Надо было, видимо, прятаться, «не высовываться». Союз писателей был создан, флирт с интеллигенцией кончился, разыгрывать комедию гуманности было незачем. Коммунисты и фашисты противостояли друг другу в Испании, в воздухе пахло будущей большой войной. Наступило время «ежовых рукавиц». Но Мандельштам не понимал, что надо «затаиться». «Его план был прямо противоположным моему – он хотел выделиться из толпы, – вспоминает Н. Мандельштам. – Ему почему-то казалось, что если он добьется творческого вечера в Союзе, ему не смогут не дать какой-нибудь работы. Он сохранял иллюзию, что стихами можно кого-то победить и убедить. Это у него осталось от молодости – когда-то он мне сказал, что никто ни в чем ему не отказывает, если он пишет стихи. Вероятно, так и было – он провел хорошую молодость, и друзья берегли и ценили его. Но переносить те отношения на Москву 37 года было, конечно, совершенно бессмысленно. Эта Москва не верила ничему и ни во что. Она жила лозунгом: спасайся кто может. Ей плевать было на все ценности мира, а уж подавно на стихи» [609] .

Со свойственной ему чуткостью поэт, однако, уловил изменение атмосферы быстро (хотя надежда как-то поправить свое положение не оставляла его). Э.Г. Герштейн свидетельствует (мы уже цитировали зафиксированное ею высказывание Мандельштама; приведем теперь это место ее мемуаров в более подробном виде):

«В один из этих первых дней [610] Осип Эмильевич стоял лицом к окну возле тахты, собираясь лечь. Вместо этого стал

говорить о Москве. Она его тревожила. Чего-то он здесь не узнавал. Об ушедших и погибших друзьях – он не говорил. Так все делали. У каждого такие утраты падали на дно души, и оттуда шло тайное излучение, пропитывавшее все поступки, слова, смех… Только не слезы! Такова была специфика тех лет.

Осип Эмильевич стал говорить о московских встречах. Это была блестящая импровизация. <…>

Успокоившись, Мандельштам заговорил в раздумье:

– И люди изменились… Все какие-то, – он шевелил губами в поисках определения, – все какие-то… какие-то… ПОРУГАННЫЕ.

С такой грустью он это сказал. От самого сердца» [611] .

Важно не забыть о тех, кто остался человеком, кто с риском для собственной жизни принимал, кормил, оставлял ночевать гонимых, не имевших права жить в Москве. Тех, кто боялся, как все люди, и за самих себя, и за своих детей – но не мог закрыть двери перед бездомным поэтом и его женой. Нельзя забыть о тех, кто давал деньги, дарил одежду, помогал чем мог.

В.Б. Шкловский

Таких людей оказалось в Москве немало. Владимир Яхонтов, Соломон Михоэлс, Валентин Катаев, Евгений Петров, Перец

Маркиш, Эмма Герштейн, Александр Осмеркин, Лев Бруни, Илья Эренбург, Николай Харджиев, Семен Кирсанов…

И в первую очередь – Шкловские. Они жили в это время в новом писательском доме в Лаврушинском переулке (д. 17, кв. 47). «В Москве был только один дом, открытый для отверженных, – пишет Н. Мандельштам. – Когда мы не заставали Виктора и Василису [612] , к нам выбегали дети: маленькая Варя, девочка с шоколадкой в руке, долговязая Вася, дочь сестры Василисы Тали, и Никита, мальчик с размашистыми движениями, птицелов и правдолюбец. Им никто ничего не объяснял, но они сами знали, что надо делать: дети всегда отражают нравственный облик дома. Нас вели на кухню – там у Шкловских была столовая, – кормили, поили, утешали ребячьими разговорами. <…>

Приходила Василиса, улыбалась светло-голубыми глазами и начинала действовать. Она зажигала ванну и вынимала для нас белье. Мне она давала свое, а О.М. – рубашки Виктора. Затем нас укладывали отдыхать. Виктор ломал голову, что бы ему сделать для О.М., шумел, рассказывал новости… <…>

Дом Шкловских был единственным местом, где мы чувствовали себя людьми» [613] .

И позднее, уже после гибели поэта, Надежда Яковлевна, бывая в Москве, всегда могла рассчитывать на помощь и гостеприимство в этом дружеском доме.

Ночевали Мандельштамы не раз и в старом деревянном доме в Марьиной Роще, где ранее жили Шкловские до переезда в Лаврушинский переулок. В Марьиной Роще (Александровский, ныне Октябрьский переулок, д. 43, – не сохранился) осталась свояченица В. Шкловского Наталья Георгиевна. В этом же двухэтажном доме, также на первом этаже, жил литературовед Николай Иванович Харджиев. Его низкое окно смотрело во двор – у него, казалось, было более спокойно. Поэтому нередко ночевали в его девятиметровой комнате. Он предоставлял им свою тахту, а сам устраивался на раскладушке, по словам Э. Герштейн. Анна Ахматова называла эту комнату «убежищем поэтов». Действительно, здесь у Н. Харджиева бывали Пастернак, Ахматова, Цветаева, Хармс, Введенский, Олейников, Нарбут и другие литераторы.

Н.И. Харджиев. 1930-е. Собрание А.А. Попова

Для Мандельштама после Воронежа жилище Харджиева было нередко убежищем и пристанищем в прямом смысле этих слов. В 1937 году Мандельштам привел к Харджиеву своего воронежского друга Наталью Евгеньевну Штемпель (она гостила у Мандельштамов в Савелово; поэт знакомил ее со своим московскими друзьями). В своих воспоминаниях она рассказала об этом визите (квадратные скобки – в цитируемом тексте):

«…пошли к Николаю Ивановичу Харджиеву. Он жил в деревянном двухэтажном доме барачного типа, не помню, на какой улице (кажется, в Марьиной Роще). У него была одна комната на первом этаже. [Она не производила впечатления опрятной.] Целую стену от пола до потолка занимал огромный стеллаж. Это было замечательное собрание поэтов начала XX века. Кого тут только не было: и символисты, и акмеисты, и футуристы, и имажинисты. Кроме того, было много журналов: “Аполлон”,“Весы”, “Золотое руно” и еще какие-то, не помню. Я оторваться не могла от книг. Обращал внимание комод, набитый рукописями, фотографиями, письмами Хлебникова. Николай Иванович в это время готовил к изданию его стихи и огорченно сравнивал некоторые из них с напечатанными ранее и искаженными редакторами почти до неузнаваемости, так как, по словам Харджиева, читать рукописи Хлебникова невероятно

трудно. Во время нашего разговора и чтения Осип Эмильевич, казалось, был занят своими мыслями.

Николай Иванович произвел на меня несколько странное впечатление, прежде всего заядлого холостяка. [Он был полноват, среднего роста, брюнет с длинными волосами (тогда это не было модой), тип лица нерусский.] Насколько я могла заметить, к Осипу Эмильевичу он относился с большой теплотой» [614] .

Соседом Н. Харджиева был драматург Б. Вакс. Он видел Мандельштамов, понимал, что поэт останавливается у Харджиева нелегально, но не донес. Писатель В.М. Козовой отмечает, что Харджиев подчеркнул этот факт в состоявшейся гораздо позднее описываемых событий беседе с ним.

Н.И. Харджиев у своего дома в Марьиной Роще. Амстердамский городской музей

И еще об одном доме нужно рассказать – доме литератора Игнатия Игнатьевича Бернштейна. Он был критиком и автором детских книг. Печатался под псевдонимом Александр Ивич. В первой книге своих мемуаров Н. Мандельштам пишет: «Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня Бернштейн (Ивич) и позвал нас ночевать к себе. Там прыгала крошечная девочка “Заяц”; уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой,

хрупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он шел по улице, посвистывая как ни в чем не бывало, и нес всякую чепуху о литературе, словно ничего не случилось и он не собирался спрятать у себя в квартире страшных государственных преступников – меня и О.М.

Так же спокойно он взял в 1948 году у Евгения Яковлевича [615] рукописи и сохранил их» [616] .

Вспоминая о семье Александра Ивича, Н. Мандельштам имеет в виду не сохранившийся, к сожалению, до наших дней дом 4 в Руновском переулке в Замоскворечье, неподалеку от Пятницкой улицы. Ивичи жили в квартире 1 на первом этаже, при входе с улицы налево. Софья Игнатьевна Богатырева, дочь И.И. Бернштейна, считает, что Н. Мандельштам несколько ошибается: в 1948 году Евгений Хазин действительно передал Ивичу хранившиеся у него бумаги, потому что ему показалось, что за ним следят. Но еще ранее, в 1946-м, рукописи Мандельштама были переданы Ивичу, по ее утверждению, самой Надеждой Яковлевной – в то время уже началась новая, послевоенная травля литературы: было опубликовано печально знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Руновский переулок. Дом, где жил А. Ивич. Фото автора

Софья Богатырева считает соответствующим реальности тот вариант рассказа о передаче рукописей, который мы находим в «Третьей книге» воспоминаний Н. Мандельштам. «Взять с собой эту папку я не рискнула… [617] . Отложить отъезд я не могла – с

трудом добытый билет был у меня в руках, и я уже опаздывала к началу учебного года. В моем положении это могло быть использовано, чтобы выгнать меня и лишить хлеба – того самого черствого хлеба, который мне давала служба. Я крепко выругалась, схватила папку и побежала к Сергею Игнатьевичу Бернштейну…

Сергей Игнатьевич выслушал меня и взял папку. Она пролежала у него и у его брата Сани Ивича все опасные годы послевоенного периода. Сане же мой брат отдал и то, что находилось у него, в какую-то трудную минуту, когда он заметил, что за ним увивается какой-то патентованный стукач» [618] .

Сергей Игнатьевич Бернштейн – филолог и языковед. Записал на фонограф голоса ряда поэтов, в том числе Мандельштама. В 1937 году был уволен из Института живого слова. Восковые валики, оставшиеся в институте, портились со временем. В недавнее относительно время литературовед Лев Шилов сумел восстановить некоторые записи. В частности, можно снова слышать прекрасное напевное чтение Мандельштамом своего стихотворения «Я буду метаться по табору улицы темной…», прослушать в авторском исполнении «Я по лесенке приставной…», «Язык булыжника мне голубя понятней…», «Нет, никогда ничей я не был современник…» и некоторые другие стихи.

Толстая папка, в которой были рукописи неопубликованных стихов, и сейчас хранится у С.И. Богатыревой. Она вспоминает и о том, как начиная с 1947 года Надежда Яковлевна приезжала в Москву и работала вместе с И.И. Бернштейном и С.И. Бернштейном над архивом, уточняя тексты, варианты, последовательность стихотворений… [619]

Вернемся к послеворонежскому периоду жизни поэта. 2 марта 1938 года Литфонд выделяет Мандельштамам две бесплатные (т. е. оплаченные Литфондом) путевки на два месяца в пансионат «Саматиха», в районе станции Черусти между Москвой и Муромом. Такая забота выглядит достаточно подозрительно. (В этот же день, 2 марта, начинается процесс по делу «Правотроцкистского антисоветского блока» – Н. Бухарин, А.Рыков, Н. Крестинский, Г. Ягода и другие. 15 марта Бухарин и еще семнадцать осужденных будут расстреляны.) Может быть, принимался во внимание импульсивный, непредсказуемый характер Мандельштама: пусть сидит пока подальше от Москвы, в лесном пансионате. Там брать его, если понадобится, будет удобнее, чем в столице, можно будет все сделать по-тихому, избежав резонанса в писательской среде. Кто его знает, что этот Мандельштам при аресте выкинет – а в Москве всё на виду и на

слуху. О том, что такие соображения могли быть приняты в расчет, говорит справка о Мандельштаме, датированная 27 апреля 1938 года, когда непосредственно решался вопрос об аресте поэта (документ подписан начальником 9 отделения 4 отдела ГУГБ В.И. Юревичем): «В силу своей психической неуравновешенности МАНДЕЛЬШТАМ способен на агрессивные действия» (эта фраза в документе подчеркнута) [620] . 8 или 9 марта 1938 года Мандельштамы приезжают в «Саматиху». Осип Эмильевич видел в выделении путевок хороший знак: о нем заботятся, дали возможность поправить здоровье – значит, на нем не поставили крест. Ему хотелось верить, что все будет хорошо, несмотря на то что в конце зимы или в начале марта один из руководящих сотрудников Государственного издательства художественной литературы И.К. Луппол заявил поэту, что никакой работы для него в Госиздате в течение года нет и не предвидится.

Мандельштам «лез на глаза», без права на то «таскался» по Москве, встречался с писателями. Его надо было убрать. Руководители Союза писателей прекрасно понимали, что в случае чего спросят и с них – почему не реагировали? В.П. Ставский, глава Союза писателей СССР, отправляет – через неделю после того, как Мандельштамы прибыли в «Саматиху», – письмо наркому Н.И. Ежову.

«Копия

Секретно

Союз Советских Писателей СССР – Правление

16 марта 1938 г.

Наркомвнудел тов. Ежову Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

В части писательской среды весьма нервно обсуждался вопрос об Осипе МАНДЕЛЬШТАМЕ.

Как известно – за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию О. Мандельштам был года три-четыре тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки кончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами “зоны”).

Но на деле – он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом – литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него “страдальца” – гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, И. Прут и другие литераторы, выступали остро.

С целью разрядить обстановку – О. Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме.

Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных

клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос – об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь.

За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют, – по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности, тов. Павленко, отзыв которого прилагаю при сем).

Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме.

С коммунистическим приветом

В. Ставский

Верно: Подпись».

(Заметим: Ставский пишет о том, что Мандельштам – автор «похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа», как о факте, хорошо известном и ему, и адресату. Это на тему «Был ли знаком Сталин со своим стихотворным портретом?»: неужели Ежов и Ставский о «похабных стихах» знали, а Сталин их не знал?)

В прилагаемом письме писатель П.А. Павленко, привлеченный в качестве «эксперта», высказывает свое мнение о Мандельштаме, сводящееся к тому, что он «не поэт, а версификатор», стихи его «холодны, мертвы»; «последние стихи» Мандельштама, отмечает Павленко, «советские», выделяются среди прочих «Стихи о Сталине», но в них «много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине». В завершение автор отзыва заключает, что печатать стихи Мандельштама не следует [621] .

То есть опять вставал вопрос: насколько этот Мандельштам ценен, «мастер» ли он? И привлеченный эксперт дал ответ: нет, так себе, рифмоплет.

Если руководитель Союза советских писателей попросил наркома Ежова помочь – как он мог не помочь?

Зная о последующем, тяжело читать другое письмо – письмо, отправленное Мандельштамом Б. Кузину из пансионата 10 марта 1938 года, сразу после приезда на отдых. В нем поэт, в частности, пишет:

«С собой груда книг. М<езду> п<рочим,> весь Хлебников. Еще не знаю, что с собой делать. Как будто еще очень молод. Здесь должно произойти превращение энергии в другое качество. “Общественный ремонт здоровья” – значит, от меня чего-то доброго ждут, верят в меня. Этим я смущен и обрадован. Ставскому я говорил, что буду бороться в поэзии за музыку зиждущую. Во мне небывалое доверие ко всем подлинным

участникам нашей жизни, и волна встречного доверия идет ко мне.

Впереди еще очень много корявости и нелепости – но ничего, ничего не страшно!»

2 мая (как вспоминает Н. Мандельштам; по личному делу – 3 мая) 1938 года Мандельштам был арестован в пансионате «Саматиха». Надежда Яковлевна, которая больше уже никогда не увидит мужа, едет в Калинин; ей удается забрать рукописи и уехать несхваченной. «Приехав в Москву, я в ту же ночь выехала в Калинин. <…> Утром я забрала у хозяйки свои вещи – их почти не было, главное – корзинку с рукописями, и отправилась обратно в Москву» [622] .

Мандельштам попадает во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке. Там, в мае, были сделаны последние, тюремные, фотографии Мандельштама. Лицо сохранило еще выражение достоинства.

О. Мандельштам. Фотографии, сделанные при втором аресте

Дело 1938 года – совершенно беспочвенное, высосанное из пальца, неряшливое по сути и по форме (вплоть до того, что даже фамилия подследственного написана неправильно – «Мандельштамп»). Следователь младший лейтенант П. Шилкин шил дело, и шито оно белыми нитками. Обстоятельства были тяжелые, но не умевшему темнить и прятать концы в воду Мандельштаму было, видимо, отвечать на вопросы несложно: ему нечего было скрывать и не в чем признаваться.

Из протокола допроса от 17 мая 1938 года:

«Вопрос: Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Признаете себя виновным?

Ответ: Виновным себя в антисоветской деятельности не признаю».

И ниже опять:

«Вопрос: Следствию известно, что вы, бывая в Москве, вели антисоветскую деятельность, о которой вы умалчиваете.

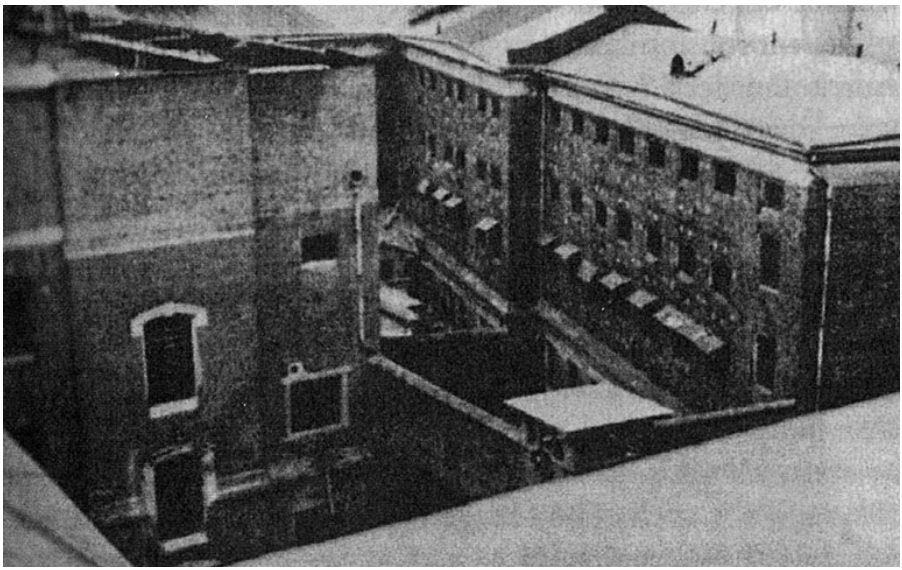
Дайте правдивые показания.

Ответ: Никакой антисоветской деятельности я не вел» [623] .

Следователь спрашивает подследственного, зачем он приезжал в Москву и в Ленинград (поэт был в Ленинграде в последний раз в начале марта 1938 года; там, в городе их молодости, Мандельштам и Ахматова попрощались, как потом выяснилось, навсегда). Мандельштам отвечает, что приезжал в Москву, чтобы получить с помощью Союза писателей какую-нибудь работу, что получал материальную помощь от московских и ленинградских знакомых. Следователь просит рассказать о связях «с Кибальчичем». Виктор Львович Кибальчич (Виктор Серж) – революционер, писатель, деятель Коминтерна, сын русских эмигрантов. Во время Гражданской войны приехал в советскую Россию, вступил в ВКП(б). Позднее, видя, что СССР превращается в страну, где все решает партийная бюрократия, примкнул к левой оппозиции. Был исключен из партии, в 1933 году его арестовали и сослали в Оренбург. Сталин снизошел к просьбам Ромена Роллана и других западных деятелей культуры, и в 1936 году Кибальчичу было позволено выехать за границу. На вопрос следователя Мандельштам отвечает, что виделся с Кибальчичем «исключительно на деловой почве не более 3-х раз». Следователь больше об этом не спрашивает, ему и так все ясно, все заранее решено. От «курвы-Москвы» не уйдешь. К 20 июля 1938-го П. Шилкин подготовил обвинительное заключение, в котором утверждается, что «после отбывания наказания МАНДЕЛЬШТАМ не прекратил своей антисоветской деятельности» и «до момента ареста поддерживал тесную связь с врагом народа СТЕНИЧЕМ, КИБАЛЬЧИЧЕМ до момента высылки последнего за пределы СССР и др.» [624] . Стенич (Сметанич) Валентин Иосифович – переводчик и поэт; в 1937 году был арестован, ему инкриминировалось, в частности, участие в террористической писательской группе, намеревавшейся убить Сталина. Погиб в заключении – был расстрелян.

24 июня 1938 года Мандельштам был освидетельствован военврачом Смольцовым и кандидатами психиатрии Бергером и Краснушкиным и признан вменяемым. В экспертном заключении

нет инициалов, но очевидно, что Краснушкин – это Евгений Константинович Краснушкин, известный психиатр, который, в частности, служил врачом-психиатром московских мест заключения. Он был любителем литературы и искусства, в его доме бывали художники и литераторы; в начале 1920-х годов, в период, когда Мандельштамы жили при Доме Герцена, у Краснушкина побывал и Мандельштам.



Внутренний двор Бутырской тюрьмы

Так повернулась жизнь – теперь, в 1938 году, Краснушкин осматривал арестованного поэта на предмет вменяемости.

2 августа особое совещание при НКВД дает Мандельштаму пять лет исправительно-трудового лагеря за контрреволюционную деятельность. (Контрреволюционная деятельность, видимо, заключалась в том, что поэт, несмотря на запрет, добиваясь работы и для получения необходимой помощи у друзей, приезжал в Москву!)

В августе Мандельштам был переведен в Бутырскую тюрьму. Что чувствовал человек такого склада и темперамента, такой ранимости в общей камере Бутырок – можно себе представить. Отсидев там около месяца, 7 или 8 сентября 1938 года поэт в тюремном вагоне навсегда покинул Москву – поезд шел на восток, в страну ГУЛАГа.

12 октября 1938 года Мандельштам прибыл в лагерь под Владивостоком. Там людей сортировали и наиболее крепких отправляли дальше – на Колыму. Последние точно известные слова Мандельштама – это его письмо из лагеря жене и брату Александру.

«Дорогой Шура!

Я нахожусь – Владивосток, СВИТЛ [625] , 11 барак. Получил 5 лет за к. р. д. по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок этап выехал 9 сентября [626] , приехали 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои, целую вас.

Ося.

Шурочка, пишу еще. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение.

Из лагеря нашего как транзитного отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в “отсев”, и надо готовиться к зимовке.

И я прошу: пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом».

Этот слабый голос из ада – последнее достоверно точное свидетельство о конце жизни Мандельштама. Определенно можно сказать одно: картина последних месяцев его жизни ужасна. Есть свидетельства о том, что Мандельштам сошел с ума, о том, что его били уголовники и, напротив, что они в каких-то случаях ему покровительствовали; о том, что он ничего не ел, боясь отравления, и довел себя до полного истощения; есть воспоминания о том, что его похоронили, возможно, еще живым. Но один из знавших Мандельштама в лагере вспоминает и о том, что поэт читал Верлена и Бодлера по-французски, Петрарку по-итальянски, говорил об Андрее Белом, Блоке, Эренбурге, Пастернаке… (Свод сведений о лагерном финале жизни поэта содержится в многократно уже цитированной книге Павла Нерлера «Слово и “дело” Осипа Мандельштама: книга доносов, допросов и обвинительных заключений».)

Мандельштам, как говорили раньше, «был удостоен мученического венца». Эти слова следовало бы написать без кавычек. В эти последние месяцы жизнь Мандельштама поднимается до уровня мифа. Миф – не сказка, а символическое выражение человеческой судьбы и времени. Образ мученика-поэта, убитого тираном за сказанную им правду, вечно будет связан со сталинской эпохой как один из главных ее символов. В сущности, не имеет значения, читал Сталин «посвященные» ему стихи 1933 года или нет (еще раз подчеркнем: автор книги считает – мнение о том, что Сталин крамольное стихотворение знал, аргументировано лучше). Мандельштама убил Сталин: он олицетворял систему, при которой за свободное слово мучили и

убивали.

Волей судьбы Иосиф, сын сапожника из грузинского захолустья, стал во главе огромной страны, промышленность которой была разрушена гражданской войной, а в составе населения преобладало патриархальное крестьянство. (Действия партии, к которой он принадлежал, эту войну во многом и спровоцировали.) Идея мировой революции, противопоставившая новую Россию остальному миру; революционный пафос масс, которым трудно было бы объяснить, что единственный шанс развития страны в относительно щадящей форме – медленный рост и самое широкое привлечение на льготных условиях западных инвестиций с приходом в качестве концессионеров тех самых ненавистных «буржуев», которых так недавно прогнали; внутрипартийные конфликты, в которых было упущено время, когда еще теоретически можно было привлечь в страну иностранный капитал, прекратив революционную риторику (впрочем, такой поворот был маловероятен – любой, кто отстаивал бы последовательно подобную позицию, был бы объявлен, очевидно, ренегатом); установка на форсированную индустриализацию невзирая ни на какие жертвы и, наконец, личные качества Сталина – все это закономерно привело к формированию в стране диктаторской власти, способной существовать только в режиме директивного управления и подавления любого проявления свободы.

Сталин встал во главе страны в тяжелое время. Он много работал, и многое ему удалось. Но это не снимает с него ответственности за те чудовищные злодеяния, которые он и его приближенные совершили. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит» (Евангелие от Матфея, 18:7).

В государстве, построенном сыном сапожника, не было места другому Иосифу, сыну кожевника из Варшавы, поэту – с его неумением подчиняться, знать свой шесток, помалкивать, с его непризнанием субординации, непредсказуемыми реакциями, нежеланием произносить готовые формулы и привычкой, напротив, говорить то, что он думал.

Вспомнят Мандельштама – вспомнят Сталина, вспомнят Сталина – вспомнят Мандельштама. Они навсегда вместе, и есть нечто неслучайное, символическое в том, что они тезки. Так они и останутся в истории – Иосиф Ужасный и убитый им Иосиф Прекрасный. Как у Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите», где Иешуа Га-Ноцри говорит Пилату: «Помянут меня – сейчас же помянут и тебя!» Нет ничего невероятного в том, что арест и дальнейшая судьба Мандельштама могли в определенной мере

отразиться в линии Иешуа – Пилат в романе Булгакова: он, напомним, писал «Мастера и Маргариту» в эти же годы и в том же доме в Нащокинском переулке, в квартире 44. Уже давно было замечено (в частности, М.О. Чудаковой), что «имя» писателя из булгаковского романа – Мастер – вполне может быть связано с фразой Сталина из телефонного разговора с Пастернаком: «Но ведь он же мастер, мастер!» Но ведь и в образе Иешуа есть нечто, как нам представляется, мандельштамовское – отнюдь не традиционно-благостный, красивый Иисус, а чудак, не от мира сего – вроде Мандельштама. О том, что во внешности Мандельштама можно было увидеть нечто «библейское», свидетельствует уже цитировавшаяся запись из дневника В. Горбачевой (Клычковой). Отношение Булгакова к Сталину было неоднозначным (тиран; однако строит новую мощную державу и возвышается над литературной и прочей сволочью), но то, что великий вождь относится к миру зла, у него, думается, сомнений не было. В «Мастере и Маргарите» зло в Москве господствует, и без вмешательства верховной силы зла в булгаковском романе невозможна никакая справедливость. На добро нет никакой надежды. Поступок Мандельштама (поэт сказал то, что думал, в обществе, где произносить позволено, как в булгаковском Ершалаиме, только одобренное свыше) должен был произвести на Булгакова очень сильное впечатление, и это могло отразиться в образе маленького, тщедушного Иешуа, говорящего правду в мире узаконенной лжи. А о Мандельштаме у Булгаковых упоминали: об этом свидетельствует дневник Е.С. Булгаковой. 17 ноября 1934 года она записала, что приехавшая Ахматова говорила о его «горькой участи»; 19 апреля 1937 года (Мандельштам еще в Воронеже) Е. Булгакова пишет о том, что в ее отсутствие к Булгакову заходила Н. Мандельштам. Поэт в ссылке, а у его жены нет работы, положение тяжелое – так отражено положение соседей по дому в этой записи.

Замечено и то, что история Костарева, вселившегося в чужую квартиру и выжившего из нее законных владельцев, напоминает взаимоотношения Мастера и Алоизия Могарыча из «закатного романа» Булгакова. «История знакомства Мастера с А<лоизием> М<огарычом> была написана уже во время смертельной болезни автора – зимой 1939/40 годов», – пишет исследователь жизни и творчества М. Булгакова Б.В. Соколов [627] . То есть, как видим, Алоизий появился в романе уже после возвращения Мандельштамов из Воронежа и выдворения поэта и его жены из собственной квартиры. (А к делам квартирным Булгаков был вообще очень чуток: обладание хорошей собственной квартирой было для него чем-то вроде идеи фикс.)

Сталин убил Мандельштама. Но и Мандельштам, вне всякого сомнения, «убил» Сталина. Выражение «сила слова» затерто и кажется выспренним; но в данном случае отрицать именно силу слова не приходится. Сталин со всеми его «пирамидами», великими стройками, каналами и прочим никуда уже от стихотворения (или, лучше, из стихотворения) Мандельштама не денется, и – все, навсегда. И это справедливо. Голос раскулаченных, выселенных, погибших от голода, замученных и казненных должен был прозвучать, и он прозвучал.

Умер Осип Эмильевич Мандельштам, согласно официальным данным (имеется акт о смерти), 27 декабря 1938 года в том же лагере, откуда он послал приведенное выше письмо брату Александру. П. Нерлер, кропотливо исследовавший документы по делу заключенного и обстоятельства лагерной жизни поэта, считает указанное в акте число соответствующим действительности: «…благодаря делу зэка Мандельштама мы знаем о дате смерти О.М. достаточно, чтобы сомнения отпали: 27 декабря 1938 года – не предположительная, а точная дата его смерти» [628] . (Однако имеются воспоминания, которые относят кончину Мандельштама к более позднему времени – они также приведены в книге П. Нерлера.) Тело умершего заключенного было брошено в лагерную братскую могилу или сожжено (есть свидетельства о том, что трупы бросали во рвы, но есть и о том, что сжигали – по крайней мере частично).

Так закончилась эта удивительная, прекрасная и страшная жизнь. Представляя Мандельштама, видишь его идущим – пешеходом, странником, кочевником. Он не статичен. Осип Мандельштам в определенные моменты своей жизни проявлял слабость, в иные – вел себя мужественно. Он мог быть трусливым и – в другое время – сделать то, что почти никто не осмелился бы совершить; в его характере сочетались робость и отвага, психическая подвижность, неустойчивость – и твердость и цельность в главном. Скандалист, юродивый, психопат, умница, посмешище, провидец, ребенок, герой, мученик, гений… Однажды Надежда Яковлевна спросила его: «На что тебе сдался этот неизвестный солдат?» «Он ответил, что, может, он сам – неизвестный солдат» [629] .

Есть в этой судьбе сочетание трагизма и величия, которое заставляет вспомнить о библейских пророках. Случай Мандельштама вписывается в тот идущий из глубины веков ряд, о котором сказал В.Ф. Ходасевич:

«Дело пророков – пророчествовать, дело народов – побивать их камнями. <…>

Когда же он наконец побит – его имя, и слово, и славу

поколение избивателей завещает новому поколению, с новыми покаянными словами: “Смотрите, дети, как он велик! Увы нам, мы побили его камнями!” И дети отвечают: “Да, он был велик воистину, и мы удивляемся вашей слепоте и вашей жестокости. Уж мы-то его не побили бы”. А сами меж тем побивают идущих следом. <…>

Кажется, в страдании пророков народ мистически изживает собственное свое страдание. Избиение пророка становится жертвенным актом, закланием. Оно полагает самую неразрывную, кровавую связь между пророком и народом, будь то народ русский или всякий другой. В жертву всегда приносится самое чистое, лучшее, драгоценное. Изничтожение поэтов, по сокровенной природе своей, таинственно, ритуально» [630] . Ходасевич написал процитированные слова до гибели Мандельштама и вообще не имел Мандельштама в виду, но может показаться, что они говорят о жизненном уделе и кончине погибшего на краю земли, в холоде и голоде поэта.

Из лагеря дошли до нас последние, видимо, стихи Мандельштама о Москве, удержавшиеся в памяти его солагерника Д.М. Маторина:

Река Яузная,

Берега кляузные…

Этого города он всегда пугался, но с течением времени вжился в московскую жизнь и в определенной степени полюбил ее. Напряженные, противоречивые отношения, которые у Мандельштама сложились с Москвой, никак не случайны: еще в молодости у поэта выработалось твердое сознание причастности его личной судьбы российской судьбе (точнее, это был акт выбора, воление); он сделал этот выбор сознательно и навсегда, при ясном понимании последствий такой позиции – но связь на такой глубине (хочется процитировать стихи на смерть Андрея Белого: «Меж тобой и страной ледяная рождается связь…») предполагает с некой даже неизбежностью контакт с Москвой как олицетворением и символом России. Москвой, ее кремлевской властью, он был уничтожен. Конкретика же относится к явлениям более низкого порядка: костенеющая система органически не переносила свободного человека (даже если он сам искренне хотел поладить с ней, стать «одним из»). И все же об этом городе Мандельштам однажды сказал: «Москва, сестра моя…». А о себе написал: «Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье…». У «сестры» Москвы, у «сестры» России он был непризнанным братом. Пришло время признания; не признания Мандельштама – кто мы такие перед ним, чтобы даже помыслить о праве его признавать? – но другого признания: «Что мы

сделали, россияне, и кого погребли!» (эти слова Феофана Прокоповича, сказанные на смерть Петра I, Е. Боратынский цитирует, говоря о смерти Пушкина, – письмо А.Л. Боратынской, зима 1840-го).

2 января 1939 года Надежда Мандельштам отправила мужу посылку.

«Сейчас меня грызет мысль, – пишет она Б. Кузину, – что, упаковывая ее на почте, я забыла положить сало – и это ужасно. Главное – нельзя проверить.

Вчера перебирала для отправки вещи – белье и т. п. Я до сих пор думала, что выражение: сердце обливается кровью – фигуральное. Как это там – метафора? А на самом деле это совершенно точно, физиологически точно. Это невыносимое болезненное чувство, известное очевидно только матерям и женам».

В письме Кузину от 6 января Н. Мандельштам уточняет:

«Положила немного белья, сало, сгущенное какао, фрукты – сухие и т. д. Посылка небольшая, потому что я не уверена в адресе. Но довольно толковая. Вес – 11 кило».

Но посылки уже не требовались. 30 января Н. Мандельштам сообщает Б. Кузину:

«Боря, Ося умер. Я больше не могу писать. Только – наверное придется уехать из Москвы. Завтра решится. Куда – не знаю. Завтра Женя [631] напишет.

Надя

Я не пишу – мне трудно» [632] .

Н.Я. Мандельштам. 1938

Сразу уехать не получилось, и 5 февраля 1939 года Надежде Мандельштам вернули на почте посланный ею в лагерь денежный перевод с простыми ясными словами: «За смертью адресата». Ее жизнь, как и жизнь «адресата», кончилась, но жить надо было. Нина Константиновна Бруни вспоминала: «…Я помню, что пришла Надежда Яковлевна *(в феврале 1939 года, на квартиру Бруни – Б. Полянка, д. 44, кв. 57* [633] *)* и сказала мне, встретив меня на лестнице: “Ося умер”. Я… я уходила из дома. Но вернулась с ней, и она у нас провела весь день. И все время рассказывала о нем и писала его стихи… на память… карандашом…» [634]

Н. Мандельштам уехала к своей подруге Галине фон Мекк в Малоярославец. Но приезжала в Москву. Эмма Герштейн:

«Ранней весной я пошла в Большой зал Консерватории, желая попасть на концерт заграничного гастролера. Билеты были распроданы. Я стояла у входа в надежде купить у кого-нибудь лишний билет. В празднично возбужденной толпе я неожиданно увидела Надю. Она стояла в берете и кожаной куртке, только немножко похожая на себя. Нельзя было сказать, что она похудела. Нет, она как будто высохла и в таком виде окаменела.

Кожа обтягивала ее лицо. Она говорила односложными неправильными фразами. Ее не интересовал заграничный виртуоз. Она хотела послушать музыку, “которую любил Ося”. На афише значились его любимые вещи. Я ушла домой, чтобы не конкурировать с Надей в погоне за билетом. Я почувствовала, что, если она останется одна, люди не пройдут мимо нее. Сухой блеск ее глаз был нестерпим» [635] .

Надежда Яковлевна Мандельштам жила долго (1899–1980). Поэт не дожил до сорока восьми лет; вдова пережила его на сорок два года. Она выучила написанное Мандельштамом наизусть, а сохранившиеся от обысков рукописи прятала в тайниках у надежных людей (в книге упоминались Е.Я. Хазин и братья Бернштейны). Она скиталась по разным городам и по невероятной прихоти судьбы – или по воле Бога, что, видимо, точнее, – не была арестована. В годы «оттепели» она вернулась в Москву – ее в 1964 году прописали у себя Шкловские (они хлопотали об этом одиннадцать лет); в следующем году с помощью друзей (Н.И. Столярова, Н.В. Панченко, Ф.А. Вигдорова и других) ей удалось купить – ей помог, одолжил деньги Константин Симонов – однокомнатную кооперативную квартиру в Черемушках (см. «Список адресов»). Один из близких ей в эти годы людей, М.К. Поливанов, оставил описание ее квартиры: «В первый раз после ареста Мандельштама она оказалась у себя дома. Комната и кухня были обставлены кое-какой мебелью. На кухне, кроме самых простых стола, табуреток, буфета и холодильника, стоял старый ампирный диван красного дерева и висела замечательная среднеазиатская акварель Фалька. И часы с кукушкой, вечно останавливавшиеся.

Н.Я. Мандельштам в последний год жизни. Фото И. Дроздовой

В комнате, помимо кровати и платяного шкафа, помещался обыкновенный дешевый обеденный стол, на котором стопками лежали книги и папки и стояли сухие букеты цветов в банках. Более важные книги, в том числе Библия и запретные издания Мандельштама, были затиснуты вместе с письмами и рукописями в старинный секретер, стоявший у кровати. У кровати еще был столик с телефоном, книгами (часто английскими детективами), записными книжками, карандашами, записочками. И кресло. Над кроватью, на стене, как картины, висели в ряд несколько старинных икон, из которых мне особенно запомнилось “Вознесение пророка Илии на огненной колеснице”. Немного позже в красном углу на отдельной треугольной полочке появился образ Спасителя. Под ним иногда горела лампадка, и угол низкой комнаты закоптился до черноты» [636] .

Она написала великие книги (это утверждение не означает, что они свободны от недостатков). В середине 1960-х годов в США начало выходить собрание сочинений Мандельштама. Стало ясно, что убить Мандельштама-поэта не удастся. Но Надежда Яковлевна тем не менее боялась за архив – вполне обоснованно,

конечно, – и в начале 1970-х приняла решение не оставлять рукописи на родине, а передать их в США. Архив поэта был переправлен в библиотеку Принстонского университета. В СССР же остались копии – перед отправкой в Америку архив был перефотографирован.

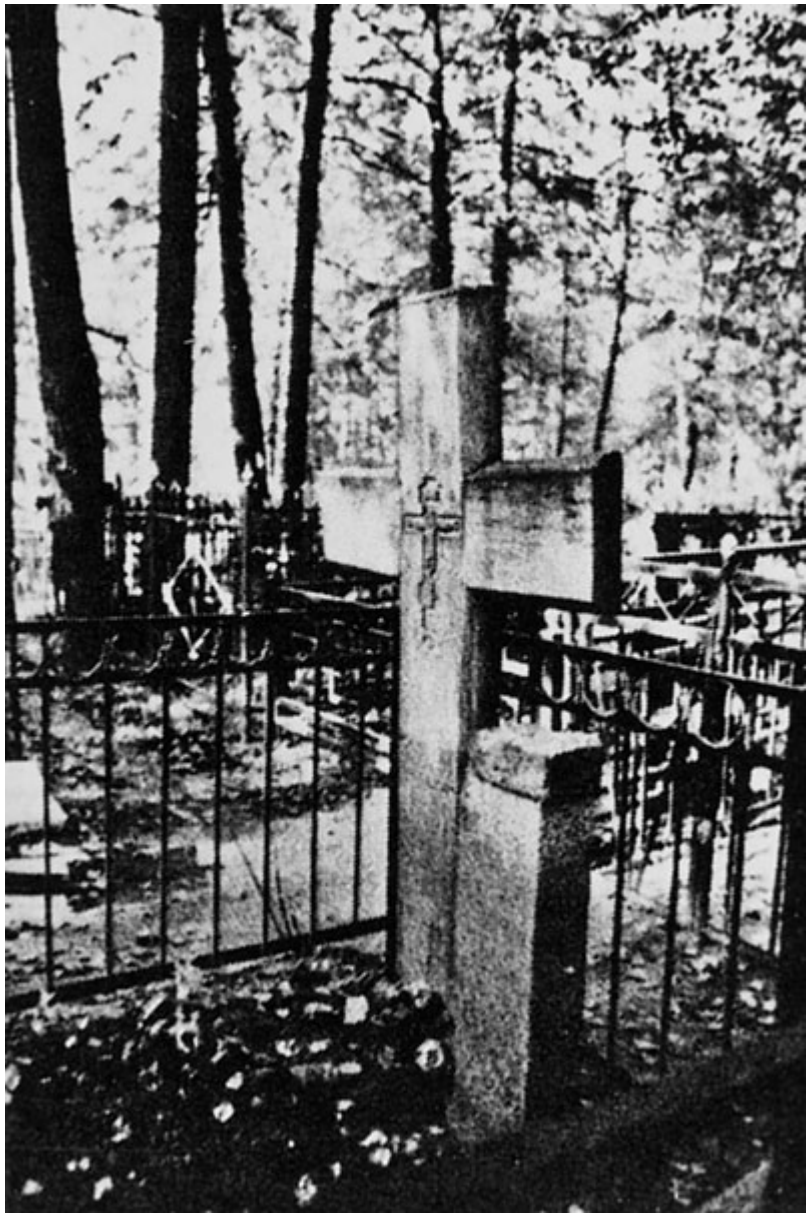
В 1979 году Надежда Яковлевна обращалась в письме к администрации Принстонского университета:

«Я знаю, что сейчас нет места, где может быть создан музей Мандельштама: не осталось его квартиры, забыты или снесены дома, где он жил, могила его неведома и безымянна, и вряд ли какая улица на Земле будет названа улицей Мандельштама. И все же мне хотелось бы, чтобы музей Мандельштама был – пусть не музей, а хотя бы кабинет, маленькая библиотека, одна-единственная комната, совмещающая в себе музейную экспозицию и библиотеку-читальню» [637] .

Братская могила, куда сбрасывали трупы лагерников, обнаружена во Владивостоке. К счастью, далеко не все дома, где бывал и жил поэт, снесены и забыты. В 1991 году, в год столетия со дня рождения поэта, была открыта мемориальная доска работы скульптора Д.М. Шаховского на фасаде флигеля Дома Герцена на Тверском бульваре в Москве. Есть мемориальные доски в Петербурге и Воронеже, Саматихе и Чердыни, Гейдельберге и Париже. Установлены памятники в Петербурге, Владивостоке, Воронеже и Москве (в Москве, как уже сообщалось, – в 2008 году). Активно работает Мандельштамовское общество (см. «Список адресов»). Стараниями одного из крупнейших знатоков мандельштамовской текстологии, исследователя и энтузиаста С.В. Василенко в библиотеке подмосковного города Фрязино создана выставка, рассказывающая о жизни и творчестве Мандельштама (на выставке представлены исключительно интересные, в том числе и очень редкие экспонаты).

Этой работе памяти, смеем надеяться, послужит и наша книга.

Н.Я. Мандельштам умерла 29 декабря 1980 года и похоронена в старой части Кунцевского кладбища. Рядом с крестом на ее могиле (Надежда Яковлевна была православной) установлен памятный камень с надписью: «Светлой памяти Осипа Эмильевича Мандельштама». Из братской могилы во Владивостоке привезена земля, прах погибших лагерников, и захоронена под этим камнем.



Могила Н.Я. Мандельштам. Кенотаф (памятный камень) О.Э. Мандельштаму. Кунцевское кладбище, старая часть

Осип Мандельштам был неопознанным Иосифом Прекрасным своего времени (подобно библейскому тезке, он был избранником судьбы, «царевичем» и провидцем; наделен был и властью, хотя и не министерской: дар такой красоты и мощи – это власть, и Мандельштам это сознавал). Памятник ему – небо его поэзии – вознесся неизмеримо выше «пустячка» новых египетских пирамид его кровавого тезки. Мандельштамовское стихотворение 1913 года, в котором упомянут «Иосиф, проданный в Египет»

(«Отравлен хлеб и воздух выпит…»), завершается словами о том, что «событий рассеивается туман» и остается главное – сама песнь, сливающаяся с миром:

И если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Всё исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!

А московским летом 1931-го Мандельштам прикрикнул на смерть и заявил, что он ей неподвластен:

Ты, могила,
Не смей учить горбатого – молчи!

«Отрывки уничтоженных стихов»

Молчи, смерть, не до тебя. Что, Александр Герцович, на улице темно? Брось, Александр Сердцевич, чего там! Все равно!

Список адресов и других памятных мест мандельштамовской Москвы (Составлен при участии П.М. Нерлера)

Публикуемый список никак не претендует на исчерпывающую полноту – в процессе дальнейшего изучения жизни и творчества Мандельштама перечень, несомненно, может быть расширен.

Список состоит из трех частей.

В первую часть включены адреса Осипа Мандельштама и Надежды Мандельштам, адреса их знакомых и друзей, а также адреса различных организаций, учреждений, редакций, музеев и т. п., с которыми так или иначе была связана жизнь поэта. Пункты перечня обозначены арабскими цифрами. Указания на адреса редакций и издательств, в которых бывал Мандельштам и печатались его произведения, даются с учетом соответствующих годов.

Во второй части упоминаются те наиболее значимые для Мандельштама места в Москве, которые нашли отражение в его творчестве (адреса обозначены римскими цифрами).

В третьей части содержатся сведения о местах, где в той или иной форме увековечена память о поэте (обозначаются буквами).

Для удобства ориентации предпочтение отдается современным названиям улиц и площадей. Старые названия, в случае необходимости, также приводятся в описаниях. По возможности сообщаются сведения о сохранности включенных в перечень городских объектов. При ссылках на справочники «Вся Москва» имеются в виду, кроме специально оговоренных случаев, алфавитные указатели лиц, упомянутых в справочниках, либо «Списки постоянных жителей».

Принятые сокращения: улица – ул., переулок – пер., проезд – пр., площадь – пл., бульвар – бул.

Часть первая

1. В 1916 г.: Мандельштам бывал у М.И. Цветаевой: Борисоглебский пер., д. 6, кв. 3. Ныне – музей Марины Цветаевой. Здесь же были Мандельштамы в 1922 году, незадолго до отъезда Цветаевой за границу. Об этой последней встрече Цветаевой и Мандельштама упоминает Н. Мандельштам во «Второй книге».

2. Кремль. Знакомство с Московским Кремлем во время первых приездов в Москву в 1916 году. Кремлевские впечатления отражены в обращенных к М. Цветаевой стихах этого года.

Вероятно посещение Мандельштамом, помимо кремлевских соборов, также Благовещенской церкви в Кремле (по чтимой иконе нередко именовалась также церковью Нечаянная Радость). Церковь упомянута в стихах М. Цветаевой, обращенных к Мандельштаму («Из рук моих – нерукотворный град…», 1916). Храм не сохранился.

В 1918 году, после переезда из Петрограда в Москву, Мандельштам короткое время жил в Кремле у Н.П. Горбунова, секретаря Совнаркома [638] . 12 октября 1923 года поэт был на проходившем в Большом Кремлевском дворце заседании Первой международной крестьянской конференции (не исключено, что Мандельштам мог побывать на конференции и в другой день). См. очерки «Первая международная крестьянская конференция. Набросок» и «Международная крестьянская конференция» (оба – 1923).

3. Иверская часовня у Красной пл. Вероятно посещение этой часовни М. Цветаевой и Мандельштамом в 1916 году. Упомянута в стихотворении М. Цветаевой, обращенном к Мандельштаму, – «Из рук моих – нерукотворный град…» (1916) – как «часовня звездная». Часовня была разрушена в советское время; восстановлена на прежнем месте.

4. В 1916 году Мандельштам в январе-феврале по меньшей мере дважды посетил в Москве поэта Вячеслава Иванова [639] : Зубовский бул., д. 25. «Вся Москва» на 1916 год: «Иванов Вячеслав Ив. Зубовский бульвар, 25. 407–77 (номер телефона. – Л.В.). Литератор». Дом сохранился.

5. 25 января (7 февраля) Мандельштам был в гостях у матери поэта М. Волошина. Е.О. Кириенко-Волошина жила тогда у В.Я. Эфрон: Малая Молчановка, д. 8, кв. 27. Дом сохранился.

6. Вероятно посещение Мандельштамом в 1916 году В.Ф. Ходасевича. В альбоме А.И. Ходасевич под заглавием «Зимний дворец» и с возможной датой записи: «Москва, 30 января 1916 год» имеется автограф стихотворения Мандельштама «Дворцовая площадь» («Императорский виссон…»). Альбом находится в РГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 127, л. 12. В.Ф. Ходасевич жил в то время неподалеку от Плющихи в несохранившемся д. 11 по 7-му Ростовскому пер.

7. В 1916 году Мандельштам бывал в Москве у Марии Романовны Сегаловой, жены знакомого врача Тимофея Ефимовича Сегалова, – она хлопотала о получении Мандельштамом места в банке в Москве или Петербурге. Вероятно, Мандельштам был у Сегаловых в их доме на ул. Плющиха (д. 37). «Вся Москва» на 1916 год: «Сегалов Тимофей Ефимович. Плющиха, 37. Тел. 262-63. Приют Московского

общества патронажа над несовершеннолетними преступниками, врач». А также в разделе «Практикующие врачи»: «Сегалов Тимофей Ефимович. Плющиха, 37. Тел. 262-63. Нерв. и внутр. бол. Прием ежедневно от 4 до 6 часов в.». Знакомство Мандельштама с Т.Е. Сегаловым могло быть как-то связано с Гейдельбергом: Мандельштам учился в местном университете зимой 1909–1910 годов, а Т. Сегалов был заметным членом российской колонии в этом университетском городе (его упоминает в своих мемуарах Ф.А. Степун). Дом сохранился.

8. По свидетельству поэта Т.В. Чурилина, Мандельштам, в числе других литераторов, слушал в марте 1916 года пьесу Чурилина «Последний визит» в доме «писателя Горбова, бывшего тогда еще студентом». В 1916 году Дмитрий Горбов, позднее литературный критик, член литературной группы «Перевал», жил по адресу: Пречистенка, 28 («Вся Москва» на 1916 год). Дом сохранился.

9. Весной 1916 года Мандельштам в компании московских литераторов, бывал в московском кафе «Сиу». Об этом упоминает поэт Т.В. Чурилин. Кафе «Сиу» находилось на Кузнецком мосту, в «пассаже Джамгаровых» (д. 12).

10. Гостиница «Селект». Упомянута в повести Мандельштама «Египетская марка». По мнению москвоведа Б.С. Мягкова, поэт мог жить в этой гостинице в один из первых приездов в Москву. Подтверждения этому предположению на данное время нет. Ул. Большая Лубянка, д. 21. Дом сохранился.

11. В 1917 году, летом, скорее всего проездом из Петрограда в Крым, Мандельштам остановился на Пресне у литератора и искусствоведа А.М. Эфроса [640] . Данных об адресе у автора книги нет. Позднее, в 1922-м и, возможно, в 1923 году Мандельштам бывал у А.М. Эфроса по другому адресу [641] : Эфрос жил в эти годы в Георгиевском пер. у Большой Никитской ул. (д. 7, кв. 2; пер. в советское время получил название Вспольный). Дом не сохранился.

12. Зимой 1917–1918 годов в доме поэта М.О. Цетлина (Амари) устраивались литературные вечера, в которых принимали участие Андрей Белый, М.И. Цветаева, В.В. Маяковский, А.Н. Толстой, Б.К. Зайцев, В.Ф. Ходасевич и многие др. писатели. По воспоминаниям И.Г. Эренбурга, у Цетлиных бывал и Мандельштам [642] . В связи с Цетлиными называются в это время два адреса: особняк на Поварской, ныне посольство Кипра, д. 9, – это владение Цетлиных, захваченное анархистами упоминает Эренбург (согласно публикации в газете «Раннее утро» от 20 февраля 1918 г., они обосновались в доме), – и дом в Трубниковском пер., неподалеку от Собачьей площадки (не

сохранился). О том, что Мандельштам бывал у Цетлиных в Трубниковском, можно говорить с большей вероятностью. Во всяком случае, в конце января 1918 года именно там прошла известная «Встреча двух поколений поэтов».

13. Гостиница «Метрополь» (Театральная пл.). Переехав в 1918 году в Москву, Мандельштам вскоре получил жилье в «Метрополе», который в то время был населен работниками советских учреждений, в номере 253. Госиница официально именовалась «Второй Дом Советов». Театральная пл. упомянута в стихотворениях «Когда в теплой ночи замирает…» и «Телефон» (оба – 1918), гостиница «Метрополь» – в очерке «Холодное лето» (1923). Здесь же, в «Метрополе», Мандельштам бывал у Н.И. Бухарина. В 1922 и 1923 годах поэт приходил сюда к Н. Бухарину в связи с хлопотами об освобождении арестованного брата Евгения. Бухарин жил тогда, по данным «Всей Москвы» на соответствующие годы, в номере 229. Мандельштам неоднократно обращался к Бухарину по разным поводам и позднее, в частности, в 1928 году – в связи с делом членов «Общества взаимного кредита». В то время поэт бывал у Бухарина на Тверской, в доме, где помещались редакции «Правды» и «Известий» (см. об этом адресе ниже).

14. В 1918 году Мандельштам сотрудничал в левоэсеровской газете «Знамя труда», где были напечатаны «Сумерки свободы» (номер от 11/24 мая 1918 года, впервые) и «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (26 мая/8 июня 1918 года, также первая публикация). Редакция находилась по адресу: Леонтьевский пер., д. 18. Ныне – здание посольства Украины. Мандельштам мог бывать и на квартире члена ЦК партии левых эсеров Вениамина Левина, который был одним из руководителей газеты и во многом определял содержание её литературного отдела. В. Левин жил тогда в гостинице «Националь».

15. В 1918–1919 годах Мандельштам работает в Наркомпросе. В связи с этой работой написана статья «Государство и ритм» (1918). Наркомпрос размещался в это время сначала на Остоженке, в д. 53 (бывший «Катковский лицей», сохранился), а затем – в огромном здании страхового общества «Россия» на Сретенском бул. (д. 6, сохранился).

16. В 1918 году Мандельштам виделся в Москве с Анной Ахматовой и по меньшей мере однажды был у нее. А.А. Ахматова жила тогда в 3-м Зачатьевском пер., д. 3 (доказано архивистом Л.А. Рыбиной, исследовавшей квартирную книгу этого дома). Встреча могла произойти не ранее 15 августа (день, когда Анна Ахматова и В.К. Шилейко поселились в этом доме). Дом сохранился.

17. Возможно, Мандельштам бывал у художника Б. Лопатинского, с которым работал в 1918-м – начале 1919 года в Наркомпросе. Позднее, в 1922–23 годах, когда Мандельштамы жили на Тверском бул. в Доме Герцена (см. ниже), Лопатинский бывал у них. Где проживал в это время Б. Лопатинский, не выяснено. В 1916 г., во всяком случае, он жил в д. 16 по Малому Казенному пер.: «Лопатинский Борис Львович, п. двор. М. Казенный, д. 16. Телефон: 341-62. 1-ый Моск. Кадетск. корп.; художн.» («Вся Москва» на 1916 год). Дом сохранился.

18. По свидетельству эсера-максималиста П. Зайцева, незадолго до левоэсеровского мятежа Мандельштам виделся с известным левым эсером Я.Г. Блюмкиным у гостиницы «Эллит», где тогда проживал Блюмкин. Состоялась эта встреча поэта и Блюмкина, видимо, до их известного столкновения. Гостиница «Эллит» – это, очевидно, «Элит-отель» в Петровских линиях. Здание сохранилось. «Вся Москва» на 1917 год (Торгово-промышленный отдел справочника, с. 140): «Элит-отель» (Альпийская Роза акц. об-во) – Петровские линии. Т.: 367-50 и 367-54.

19. Мандельштам бывал в кафе Всероссийского Союза поэтов («Кафе поэтов», «Кафе СОПО», кафе «Домино»). Читал здесь стихи [643] . Это кафе – одно из возможных мест столкновения поэта с Яковом Блюмкиным в конце июня или начале июля 1918 года: Тверская ул., д. 18 (по старой нумерации Тверской ул.) Кафе находилось примерно напротив современного здания Центрального телеграфа, на противоположной стороне Тверской. Дом не сохранился.

20. После столкновения с Я. Блюмкиным Мандельштам обратился за помощью к писательнице Л.М. Рейснер и ее мужу Ф.Ф. Раскольникову, известному революционеру. Л. Рейснер летом 1918 года жила в бывшей гостинице «Лоскутная» (в это время она называлась «Красный флот» и служила общежитием Народного комиссариата по морским делам) [644] . Гостиница находилась в начале Тверской ул. – Тверская, д. 3 (здание не сохранилось). «Особняк», в котором, судя по рассказу Мандельштама, фактически жили Л. Рейснер и Ф. Раскольников [645] , – это, вероятно, д. 9 по ул. Воздвиженка, где в 1918 году находился Наркомат по морским делам (до революции – дом нефтяного магната Асадуллаева). Л. Никулин в своих мемуарах упоминает о том, что вечером он провожал Л. Рейснер на Воздвиженку. Позднее Мандельштам бывал в доме на Воздвиженке в редакции «Крестьянской газеты» (см. ниже). Дом сохранился.

21. После столкновения с Блюмкиным Мандельштам и Ф.

Раскольников побывали в связи с этим инцидентом у Ф.Э. Дзержинского, главы ВЧК. В здание ГПУ – НКВД на Лубянской пл. к Дзержинскому Мандельштаму пришлось снова идти в 1922 году – с ходатайством об освобождении задержанного брата Евгения. Тут, на Лубянке, арестованный поэт содержался в 1934 и 1938 годах. Ныне – здание ФСБ.

22. Осенью 1920 года Мандельштам, вернувшийся с Кавказа, побывал в Доме печати. Оказавшийся там Я. Блюмкин угрожал поэту [646] . В Доме печати Мандельштам бывал и позднее: И.Л. Фейнберг вспоминал о том, как поэт читал ему в Доме печати свое стихотворение «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня…» (1931) [647] . Ныне – Дом журналиста. Никитский бул., д. 8.

23. В Камерном театре. Конфликт с поэтом В.Г. Шершеневичем весной 1921 года: Мандельштам вызывает Шершеневича на дуэль. Поэт бывал в Камерном театре и позднее. Тверской бул., д. 23. Ныне – Драматический театр имени А.С. Пушкина. Незадолго перед этим инцидентом поэт «снимал комнату на Воздвиженке» [648] .

24. Приехав в Москву весной 1922 года, Мандельштамы некоторое время жили у филолога Н.К. Гудзия. По данным «Всей Москвы» на 1923 год (приводятся данные 1922 года), официальный адрес Н. Гудзия был таким: Б. Знаменский, 8. (раздел «Журналисты и литераторы»). Дом сохранился. Но, судя по записи В. Хлебникова, он (Хлебников) приходил в это время к Мандельштаму в Даев пер. (у Сретенки). Возможно, Н.К. Гудзий действительно жил тогда по адресу, зафиксированному В. Хлебниковым; не исключено, однако, что Мандельштамы какое-то время проживали в Даеве пер. сами по себе и что этот адрес не имеет отношения к Н. Гудзию. «Сохранились записи голодного Хлебникова, подтверждающие, что в марте – мае 1922 года он не раз приходил к Мандельштаму обедать. На задней обложке одного из экземпляров своей литографированной книги “Ладомир” (Харьков, 1920) Хлебников сделал такую запись для памяти: “В субботу в 7 ч. К Мандель<штаму> и чай <?> Сретенка, Даев 9, 6”, а в записной книжке зафиксировал дату другой встречи: “Мандель<штам>, 8 мая” (14 мая он уехал из Москвы)» [649] . Вторая запись Хлебникова имеет отношение скорее всего уже не к Даеву пер., а к Дому Герцена на Тверском бул. (см. следующий пункт данного списка).

25. Дом Герцена. Тверской бул., д. 25. Мандельштамы жили в левом флигеле дома (левый – если стоять лицом к главному зданию ансамбля) с весны 1922-го по начало августа 1923 года. Позднее Мандельштамы жили в противоположном, примыкающем

к главному дому бывшей усадьбы, правом флигеле Дома Герцена (январь 1932 – октябрь 1933 годов). В эти периоды созданы многочисленные стихи и статьи, Дом Герцена попал на страницы «Четвертой прозы» (1929–1930). В правом флигеле, по свидетельству С.И. Липкина, Мандельштам читал антисталинские стихи ему и Г.А. Шенгели. В Доме Герцена 13 сентября 1932 года проходил товарищеский суд под председательством А.Н. Толстого по делу о конфликте Мандельштама с А. Саргиджаном (С.П. Бородиным).

10 ноября 1932 года здесь, в редакции «Литературной газеты», состоялся поэтический вечер Мандельштама.

В Доме Герцена в 1920 – 1930-е годы находилось и правление Литфонда, в котором поэт неоднократно бывал.

Ныне в Доме Герцена расположен Литературный институт им. А.М. Горького. На стене левого флигеля в 1991 году к столетию Мандельштама установлена мемориальная доска работы Д.М. Шаховского.

26. В 1922–1923 годах Мандельштам бывал в поэтическом кафе «Стойло Пегаса» (по воспоминаниям Н.Д. Вольпин и др.): ул. Тверская, д. 37 (по старой нумерации Тверской ул.). Кафе находилось на месте современного д. 17.

27. В кружке «Никитинские субботники». Ул. Огарева (так улица уже называлась в 1922 г.) – теперь снова Газетный пер, д. 3, кв. 7. Дом сохранился. Мандельштам был там 8 апреля 1922 года, читал «Золотистого меда струя из бутылки текла…» и др. [650]

28. В 1923 году (вероятно) Мандельштам был с В.П. Катаевым у Н.К. Крупской в Главполитпросвете [651] . Сретенский бул., д. 6, – доходный дом, выстроенный страховым обществом «Россия»; здание уже упоминалось в связи с работой Мандельштама в Наркомпросе. По данным «Всей Москвы» на 1924 год (данные 1923 года): «Главполитпросвет. Предс. Крупская Н.К. 4 подъезд, 2 эт.» (раздел «Центральные учреждения СССР»). Дом сохранился. В связи с этим посещением, по свидетельству В. Катаева, написана мандельштамовская эпиграмма «Есть разных хитростей у человека много…» (1923 или 1924).

29. Не раз бывал Мандельштам у заведующего Главлита П.И. Лебедева-Полянского. В первой половине 1920-х годов. Главлит находился там же, где Главполитпросвет, – в огромном доме на Сретенском бул. (д. 6). «Вся Москва» на 1924 год: «Главлит. Зав. Лебедев-Полянский П.И. 7 подьезд, 5 эт.» (раздел «Центральные учреждения СССР»).

30. В период проведения Первой международной крестьянской конференции Мандельштам побывал в здании Коминтерна на Воздвиженке (д. 1): см. очерк «Международная

крестьянская конференция» (1923). Возможно, здесь было взято Мандельштамом интервью у Нгуен Ай Куока (будущего Хо Ши Мина), который участвовал в Международной крестьянской конференции – см. «Нюэн Ай-Как. В гостях у коминтернщика» (1923). Здание сохранилось.

31. По меньшей мере однажды Мандельштам был в 1923 году в кафе-клубе «Странствующий энтузиаст». Бывший директор петербургского литературного кафе «Бродячая собака» Б.Н. Пронин устроил кафе-клуб в своей квартире на Большой Молчановке (д. 32, кв. 6) [652] . Кафе открылось в ночь на новый, 1923 год.

32. Во время НЭПа рядом с Театром Мейерхольда (ГосТИМ) на Садовом кольце (здание перестроено; ныне – Концертный зал им. П.И. Чайковского) помещалось казино «Монако». Имеются указания на то, что Мандельштам бывал в казино в начале 1920-х годов. (по утверждению В.В. Гудковой, публикатора и комментатора письма Зинаиды Райх А.М. Горькому; обоснование этого утверждения в работе В. Гудковой отсутствует) [653] . Дом не сохранился.

33. Мандельштам многократно бывал в Госиздате. В 1919–1923 годах Госиздат РСФСР размещался в бывшем особняке С.П. Рябушинского на Малой Никитской, в д. 6/2 (сохранился). 11 мая 1922 года Мандельштам заключил с Госиздатом договор на издание сборника «Аониды» (издание не состоялось). В июле 1923 года Госиздат выпустил в Москве тиражом 3000 экз. третье издание «Камня» (76 стихотворений, художник А.М. Родченко). С 1923 по 1930 годы Госиздат работал в д. 4/8 по ул. Рождественка, также хорошо знакомом Мандельштаму. Здесь он бывал, в частности, у руководителя Госиздата А.Б. Халатова. На месте, где стоял д. 4/8, в настоящее время находится универмаг «Детский мир».

34. В 1922 году Мандельштам бывал в редакции газеты «Московский понедельник». Газета начала выходить летом 1922 года, прекратила существование в сентябре того же года. Во втором номере газеты появилась публикация фрагмента мандельштамовского перевода пьесы Э. Толлера «Человек-масса». В «Московском понедельнике» опубликованы (не в первый раз) стихотворения О.М. «Декабрист» (14 августа 1922) и «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (11 сентября 1922). Газета выходила в Госиздате под редакцией П.И. Лебедева-Полянского, возглавлявшего Главлит: Малая Никитская, д. 6/2 (см. предыдущий пункт). По воспоминаниям П.Н. Зайцева, бывшего в то время секретарем редакции газеты, Главлит «ютился» тогда еще «в одной из маленьких проходных комнат Госиздата на

втором этаже» (в бывшем доме Рябушинского). «Наша редакция расположилась территориально под крылышком Госиздата…» «Аппартаменты… (так! – Л.В.) наши состояли из получердачной мансарды, похожей на склад…». П. Зайцев упоминает Мандельштама, который как-то «дал для газеты новые, только что написанные стихи» [654] .

35. Хорошо была знакома Мандельштаму московская редакция берлинской «сменовеховской» газеты «Накануне». Редакция располагалась в первом московском «небоскребе» – д. 10 по Большому Гнездниковскому пер. (так называемый «дом Нирнзее»), на первом этаже. Через эту редакцию прошли в 1922–1923 годах и были опубликованы на страницах «Накануне» в Берлине стихотворения Мандельштама «Ласточка», «Возьми на радость из моих ладоней…», «Грифельная ода», статья «О природе слова» (под заглавием «О внутреннем эллинизме в русской литературе»). Все вышеперечисленные произведения были уже напечатаны в разных изданиях до их появления в «Накануне». Стихотворение «Люблю под сводами седыя тишины…», статьи «Пшеница человеческая» («Накануне», 7 июня 1922 года) и «Гуманизм и современность» (20 января 1923 года, «Литературное приложение» к «Накануне» № 36) опубликованы в «Накануне» впервые.

Квартиру 609 дома Нирнзее занимал М. Долинов, представитель уральского журнала «Товарищ Терентий», в котором Мандельштам печатался в 1923–1924 годах.

Дом сохранился.

36. «Красная новь» (журнал и издательство). Существовали при Главполитпросвете. В журнале «Красная новь», редактором которого в 1921–1927 годах был А.К. Воронский, в 1922–23 годах были напечатаны мандельштамовские стихотворения «Декабрист», «Уничтожает пламень…», «Что поют часы-кузнечик…», «Феодосия», «Чуть мерцает призрачная сцена…», «Век» и рецензия «Андрей Белый. “Записки чудака”» (все – не впервые). В «Красной нови» в первый раз было напечатано стихотворение «Нашедший подкову» («Красная новь», № 2(12), март – апрель 1923 года).

Редакция «Красной нови» находилась в уже упоминавшемся в списке адресов бывшем доме страхового общества «Россия» (Сретенский бул., 6, или по Милютинскому пер., д. 22). По данным «Настольного справочника» «Вся Москва» (М., 1922), адрес редакции был таким: «Сретенский б., 6, 4-й под.». Помещалась редакция на 4-м этаже. В сборнике «авио-стихов» (так! – Л.В.) «Лёт», выпущенном издательством «Красная новь» в 1923 году, указана «контора издательства»: «Милютинский пер.,

22, угол Сретенского бул., 4 под., 4 эт., кв. 43». В сборнике опубликованы стихи Мандельштама в следующем порядке: «Война. Опять разноголосица…» (в этот текст как его часть вошли впервые опубликованные стихи «А небо будущим беременно…»); «Ветер нам утешенье принес…»; затем, под цифрой I: «Давайте слушать грома проповедь…»; II – «Как тельце маленькое крылышком…» (первая публикация); далее – под номером IV (так! – Л.В.) – «На круговом, на мирном судьбище…»; и под номером V – «Как шапка холода альпийского…». Несколько позднее, в 1920-е годы, редакция «Красной нови» помещалась в д. 14 по Кривоколенному пер., рядом с Мясницкой ул.

37. Одним из важнейших изданий, где публиковался Мандельштам в 1922–1924 годах, был журнал «Россия», руководимый И.Г. Лежневым. На страницах «России» в первый раз были напечатаны стихотворения «Кому зима – арак и пунш голубоглазый…» (1922, № 1, август), «Век» (1922, № 4, декабрь), перевод с французского «Сыновья Аймона» (1923, № 5, январь), «Концерт на вокзале» (1924, № 3). «Россия» впервые опубликовала статьи Мандельштама «А. Блок (7 августа 21 г. – 7 августа 22 г.)» – 1922, № 1; «Литературная Москва» (1922, № 2), «Литературная Москва. Рождение фабулы» (1922, № 3). Редакция в 1923 году была в «доме Нирнзее» (Б. Гнездниковский пер., 10), где И. Лежнев принимал «от 51/2 до 7 веч.», что и указано на последней странице шестого номера журнала за 1923 год. В 1924 году редакция помещалась на Страстном бул., в д. 4. Редакторские дела обсуждались и решались также непосредственно на квартире И.Г. Лежнева (Большая Полянка, 15, кв. 7). См. «Всю Москву» на 1925 год: «Лежнев И.Г. Бол. Полянка, 15, кв. 7. Телефон: 3-06-03 (журнал «Россия»)». Именно И. Лежнев заказал поэту книгу воспоминаний «Шум времени» (но потом отклонил предложенное сочинение).

38. В имажинистском журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (издавался в 1922–1924 году, журнал прекратил существование на номере четвертом), в № 1 за 1922 год (ноябрь) впервые были напечатаны стихотворения Мандельштама «Я не знаю, с каких пор…» и «Я по лесенке приставной…» (под общим заглавием «Сеновал»). В этом же номере – первая публикация статьи «Девятнадцатый век». По данным «Настольного справочника» «Вся Москва» (М., 1922), издательство имажинистов помещалось по адресу: Тверская, 37. Это адрес кафе «Стойло Пегаса», уже упомянутого в «Списке адресов». Позднее, в 1923 году, адрес редакции был иным: «Москва, Страстной бул., д. 12, кв. 2 – указан на последней странице второго номера журнала за 1923 год.

39. В 1923 году Мандельштам активно печатался в журнале «Огонек», издание которого в том же году было начато по инициативе М.Е. Кольцова. В «Огоньке» было опубликовано стихотворение «Париж» (1923, № 14, апрель, первая публикация). «Огонек» напечатал «московские» очерки «Холодное лето» и «Сухаревка» (№ 16 от 15 июля и № 18 от 29 июля соответственно), очерк «Первая международная крестьянская конференция. Набросок» (1923, № 31, 28 октября) и интервью с вьетнамским революционером «Нюэн Ай-Как. В гостях у коминтернщика» (1923, № 39, 23 декабря); в «Огоньке» появились «Меньшевики в Грузии» (1923, № 20, 12 августа) и «Армия поэтов» (1923, № 33 и 34–11 и 18 ноября). Вся вышеперечисленная проза публиковалась в «Огоньке» впервые. Э. Миндлин в своих мемуарах упоминает о том, что Мандельштам читал ему в редакции журнала свое стихотворение «Концерт на вокзале» [655] . Редакция «Огонька» в то время находилась в д. 3 в Благовещенском пер., неподалеку от Тверской ул. Дом сохранился.

40. Статьи Мандельштама «Буря и натиск» и «Vulgata (Заметки о поэзии)» впервые были напечатаны в 1923 году журналом «Русское искусство» (в кн. 1 за февраль и в кн. 2–3 соответственно). Журнал выпускался книгоиздательством «Творчество», владельцем которого был С.А. Абрамов. Издательство находилось по адресу: Трехпрудный, 5/15, кв. 17. Контора редакции была в Бол. Козихинском пер., д. 8/18, в «помещениях 20–22».

41. В вып. 3 (июль) за 1922 год журнала «Всемирная иллюстрация» появилось стихотворение Мандельштама «С розовой пеной усталости у мягких губ…», до того не публиковавшееся (под заглавием «Европа»). В вып. 5 того же года впервые было опубликовано стихотворение «Когда городская выходит на стогны луна…». «Всемирная иллюстрация» (редактор Н.Г. Шебуев) выходила при издательстве «Книгопечатник» (Тверская, 38, старая нумерация). Дом не сохранился. Редакция журнала помещалась, по воспоминаниям Э. Миндлина, «в Китай-городе, в здании у белой Китайгородской стены…», «но Шебуев предпочитал принимать авторов у себя дома», а квартировал Шебуев «в самых неожиданных местах»: «в одной из бывших келий Новодевичьего монастыря», «в комнате с окнами в Московский ботанический сад…» [656] .

42. Вышеупомянутое книгоиздательство «Творчество» выпускало и журнал «Москва». В издании с таким названием Мандельштам опубликовал в 1919 году в № 3 стихотворение «Когда на площадях и в тишине келейной…» (в этом же году, 3

февраля, эти стихи появились в московском «Знамени» – 1919, № 2). В 1922 году в № 6 «Москва» напечатала стихотворения Мандельштама «Холодок щекочет темя…» (первая публикация) и «С розовой пеной усталости у мягких губ…». Следующий, седьмой номер «Москвы» за 1922 год открывается стихотворением Мандельштама «Соломинка» («Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне…»), впервые опубликованным еще в 1917 году.

43. Хорошо был знаком поэту д. 48 по Тверской ул. Там находились редакции газет «Правда» и «Известия». 3 февраля 1922 года в «Правде» был напечатан (не в первый раз) очерк Мандельштама «Батум» («Весь Батум как на ладони…»). В «Известиях» 23 сентября 1922 года появилось стихотворение «Как растет хлебов опара…», в следующем году – очерки «Севастополь» и «Крымские впечатления» (все вышеперечисленные произведения публиковались впервые). Ныне дом имеет номер 18. 7 апреля 1929 года «Известия» вышли со статьей Мандельштама «Потоки халтуры». В это время редакция «Известий» была уже в другом здании – в построенном Г. Бархиным в 1927 году конструктивистском доме рядом со Страстным монастырем. Теперь это так называемое «старое» здание «Известий»: Пушкинская пл., д. 5.

44. В том же д. 48 (ныне 18) по Тверской ул. была и редакция журнала «Прожектор» (выходил под редакцией Н.И. Бухарина и А.К. Воронского). В № 13 за 1923 год были в первый раз опубликованы статья Мандельштама «Огюст Барбье» и стихотворение «Собачья склока» – перевод из О. Барбье.

45. Журнал «Сегодня». В первом номере (сентябрь) за 1922 год было опубликовано стихотворение Мандельштама «Московский дождик» (первая публикация). В № 2–3 журнала указано: «Редакция временно помещается: Пименовская ул., д. 8, кв. 6». Вероятно, имеется в виду Пименовский пер., отходящий от Тверской (так он назывался до 1922 года, потом – Старопименовский и ул. Медведева; ныне снова Старопименовский).

46. При Доме печати (Никитский бул., д. 8) существовал журнал «Печать и революция». В книгах 5 и 6 журнала за 1923 год были впервые напечатаны рецензии Мандельштама «Гергард Гауптман. Еретик из Соаны» и «Ан. Свентицкий. Книга сказания о короле Артуре и о рыцарях круглого стола».

47. Журнал «Театр и музыка». В 1923 году № 1–2 вышел со статьей Мандельштама «Революционер в театре» (о пьесе Эрнста Толлера «Человек-масса»), а № 36 – с другой статьей на театральную тему – «Художественный театр и слово» (обе напечатаны впервые). Редакция располагалась по адресу:

Неглинный пр., Александровский пассаж, № 38–41.

48. 31 декабря 1922 года «Рабочая газета» (№ 252) напечатала стихотворение Мандельштама «Кузнец» («В лазури месяц новый…»). Это была первая публикация стихотворения, написанного еще в 1911 году, 14 июля 1923 года в «Рабочей газете» появилась зарисовка о репертуаре московских кинотеатров «Генеральская». Редакция «Рабочей газеты» находилась по адресу: Охотный ряд, д. 7. Дом не сохранился. Позднее, в 1927 году, Мандельштам напечатал три своих работы (все – в первый раз) в «Экране “Рабочей газеты”»: в номерах за 20 марта и 22 мая очерки «Кисловодск весной» и «Ессентуки», а в номере за 3 июня – статью «Яхонтов».

49. «Московский» очерк Мандельштама «Пивные» появился в № 77 (19 ноября) 1923 года в газете «Трудовая копейка». Редакция газеты размещалась в Козицком пер., д. 2, а «контора» – по адресу Ильинка, д. 9.

50. Предприниматель и торговец П.Д. Ярославцев выпускал альманахи «Возрождение». Он жил по адресу Долгоруковская (с 1919 года официально – Каляевская) ул., 35, кв. 37. В 1922 году в томе 1 альманаха «Возрождение» (выпуск 1–2) было напечатано стихотворение Мандельштама «Среди священников левитом молодым…»; в 1923 году в томе 2 – «Холодок щекочет темя…», «Как растет хлебов опара…» и «Ветер нам утешенье принес…» (все публикации – не первые). Магазин Ярославцева, хорошо знакомый Мандельштаму [657] , находился на 1-й Тверской-Ямской ул., д. 21. Во «Всей Москве» на 1923 год (приводятся данные на 1 декабря 1922 года) в разделе «Бакалейно-колониально-гастрономические магазины»: «Ярославцев П.Д. 1-ая Тверская-Ямская, 21».

51. В журнале «Русский современник», руководство которого стремилось привлечь лучшие литературные силы (издавался «при ближайшем участии» М. Горького, Е. Замятина, А.Н. Тихонова, К. Чуковского и А. Эфроса), впервые было напечатано этапное стихотворение Мандельштама «1 января 1924» («Русский современник», 1924, № 2). Редакция и контора журнала имели отделения в Москве и Петрограде (Ленинграде). В № 3 за 1924 год указан московский адрес редакции: Мясницкая, 2–4. Дом не сохранился.

52. «Культура и жизнь» (редактор Ф. Кипарисов). Издавался книгоиздательством «Работник просвещения» (существовало при ЦК Всероссийского Союза работников просвещения и искусств). В мае 1922 году Мандельштам поместил в «Культуре и жизни» (№ 4) стихотворение «Феодосия», до этого уже публиковавшееся. Леонтьевский пер., д. 4. В этом доме 13 февраля 1922 года

открылся ЦДРПИ – Центральный Дом работников просвещения и искусств. 24 мая 1922 года здесь на собрании объединения «Литературный особняк» состоялось выступление Мандельштама. Поэт, судя по отчету неподписавшегося автора в «Литературном приложении» к газете «Накануне», произвел сильное впечатление на слушателей. (Отзыв цитировался в книге в главе «ПРИ ДОМЕ ГЕРЦЕНА. ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР, 25. 1922–1923».) Адрес издательства: Москва, Леонтьевский пер., 4. Дом сохранился, ныне – посольство Греции.

53. В «издании Г.Н. Семенцова» «Рупор» (редакция находилась по адресу: Москва, Сытинский пер., 4, кв. 10), в пятом номере за 1922 год появилось стихотворение Мандельштама «Мне Тифлис горбатый снится…», напечатанное в первый раз немногим ранее в петроградском альманахе «Цех поэтов».

54. В газете «На вахте» в номере от 26 января 1924 года был в первый раз напечатан очерк Мандельштама «Прибой у гроба», написанный в связи со смертью Ленина. Редакция «На вахте» располагалась по адресу: Солянка, 12, «Дворец труда», 3 эт., комн. 172. Дворец труда, бывший Воспитательный дом на Москве-реке (ныне здание принадлежит одной из военных академий), был хорошо знаком Мандельштаму, он бывал здесь в различных редакциях. Здание упомянуто в очерке «Холодное лето» (1923): «Безумный каменный пасьянс Воспитательного дома…».

55. Издательство «Круг», во главе которого до 1923 года стоял А.К. Воронский. В конце ноября 1922 года Мандельштам представил в это издательство рукопись своего сборника «Вторая книга». Сборник вышел в мае 1923 года тиражом 3000 экз. В книге указан адрес издательства: Леонтьевский переулок, 23. Дом сохранился.

56. В начале 1920-х годов и позднее Мандельштам бывал у поэта С.М. Городецкого [658] . С. Городецкий жил на Красной площади в старинном здании напротив Исторического музея (кв. 3), которое он считал палатами Бориса Годунова. Дом сохранился.

57. В 1922 году весной Мандельштам и Велимир Хлебников были у философа Н.А. Бердяева в Лавке писателей. Мандельштам пришел к Н. Бердяеву с намерением добиться жилья для Хлебникова при Доме Герцена [659] . Встреча с Бердяевым могла состояться не позднее 14 мая – в этот день Хлебников покинул Москву. Книжная лавка находилась неподалеку от Большой Никитской ул., в Леонтьевском пер. (д. 16). Дом сохранился.

58. Мандельштам бывал у литератора и искусствоведа И.А. Аксенова. По данным «Всей Москвы» на 1923 год, И. Аксенов проживал по адресу: Пречистенка, Обухов (позднее – Чистый. –

Л.В.) пер., 5, кв. 2. Дом сохранился.

59. Мандельштам был знаком с психиатром Евгением Константиновичем Краснушкиным и по крайней мере однажды посетил его (с художником Г. Якуловым) [660] . Е.К. Краснушкин, известный врач и любитель литературы и искусства, проживал на Верхней Масловке (д. 86, кв. 2). (Упомянут во «Всей Москве» на 1923 год, в списке «Медицинский персонал г. Москвы»: «Краснушкин Е.К. душ. б. Верхняя Масловка, 86, кв. 2».) Позднее адрес Краснушкина был другим: Старый Петровско-Разумовский пр., д. 25. В 1938 году Мандельштаму пришлось встретиться со своим знакомым начала 1920-х годов при других обстоятельствах. Е. Краснушкин участвовал, наряду с врачами Бергером и Смольцовым, в комиссии, которая осматривала 24 июня 1938 года заключенного внутренней тюрьмы НКВД Мандельштама на предмет душевного здоровья.

60. В 1920-е годы (начиная с 1922 года) Мандельштам бывал у художников Л.А. Бруни и А.А. Осмеркина: ул. Мясницкая, д. 21, кв. 99 (тогда – здание ВХУТЕМАСа). Дом сохранился. «Каторжный двор Вхутемаса» упомянут в очерке «Холодное лето». Адрес сообщен вдовой Л.А. Бруни Ниной Константиновной Бруни и подтверждается справочником «Вся Москва» на 1929 год.

61. У брата Н. Мандельштам Е.Я. Хазина. Мандельштамы жили у него в октябре 1923 года (около трех недель). См. письмо поэта к отцу (конец ноября 1923 года): «Приехав в Москву, мы три недели жили у Евгения Яковлевича на Остоженке. Это было довольно уютно и весело благодаря его милому характеру и тому, что он как раз перед этим развелся с женой, – но не очень удобно». Место проживания Хазина в это время определяется по письму Мандельштама во Всероссийский Союз писателей от 27 октября 1923 года, где он указывает свой адрес: «Остоженка, Савеловский переулок, д. 9. Е.Я. Хазину для О.Э. Мандельштама». Дом сохранился. Савеловский пер. с 1922 года официально уже назывался Савельевский – он был переименован в честь революционера А. Савельева (Шелехеса). С 1990 года именуется Пожарский пер.

62. Позднее, в 1920 – 1930-е годы Мандельштамы бывали у Е.Я. Хазина по другому адресу: Страстной бул., д. 6. Поэт в письме в редколлегию Госиздата от 26 апреля 1929 года сообщает адрес: «Москва, Страстной, д. 6, кв. 14». Однако в письме Н. Мандельштам Е.Я. Хазину от 12.07 [1947] приводится другой номер квартиры – «Страстной, 6, кв. 34» [661] . Номер квартиры «34» фигурирует и в других источниках; например, он указан в письме Н. Мандельштам прокурору Отдела по спецделам Прокуратуры СССР старшему советнику юстиции Н.Я. Лебедеву от

3 сентября 1955 года. Дом сохранился. Одно из тех мест, где хранились рукописи Мандельштама после его ареста и гибели в 1938 году.

63. Зиму 1923–1924 годов и первую половину 1924 года Мандельштамы прожили на Большой Якиманке «в наемной комнате»: Большая Якиманка (позднее – ул. Димитрова), д. 45, кв. 8. Адрес устанавливается по письмам Мандельштама (см. письмо А.В. Ширяевцу от 21 января 1924 г. и заявление о вступлении в члены Московского общества драматических писателей и композиторов от 28 мая 1924 года. Описание квартиры см. в письме поэта к отцу – конец ноября 1923 года). Дом не сохранился.

64. Зимой 1923–1924 годов в здании, где до революции выступала опера С.И. Зимина (ныне – Театр оперетты, Большая Дмитровка, д. 6), незадолго до собрания литераторов и других деятелей культуры, у Мандельштама произошел конфликт с имажинистом М. Ройзманом. Об этом инциденте упоминает литератор и лингвист Б.В. Горнунг [662] . Причина конфликта осталась мемуаристу неизвестной.

65. В 1922 году(?) Мандельштам заявил свой доклад на Литературной секции Государственной академии художественных наук (ГАХН; называлась также РАХН и ВАХН – Высшая академия художественных наук) – «Андре Шенье и жанр газетной статьи в эпоху французской революции». (См. статью «Заметки о Шенье».) Был ли действительно прочитан доклад, неизвестно. ГАХН располагалась в д. 32 по ул. Пречистенка. Дом сохранился.

66. В начале 1920-х годов Мандельштам был, наряду с Б. Пастернаком и В. Маяковским, членом Московского лингвистического кружка и, вероятно, периодически принимал участие в его собраниях. Б.В. Горнунг вспоминал о замысле Мандельштама организовать семинар по поэтике в рамках деятельности этого объединения: «Речь шла о его инициативе организовать “семинар по поэтике” для группы членов Московского Лингвистического кружка… Было (весной 1923 года), кажется, два собрания, и на этом дело кончилось: читали и обсуждали стихи, но записей никаких не велось» [663] . В письме к Б.В. Горнунгу <начало 1924 года> Мандельштам просит передать его извинения (за отсутствие на собрании) «Л.К.» (т. е. Лингвистическому кружку). Московский лингвистический кружок собирался в основном на квартире Р.О. Якобсона (и после его отъезда за границу) в «доме Стахеева» на Мясницкой ул. (ныне – Музей В. Маяковского): д. 3/6, кв. 10.

67. У В.И. Нейштадта, поэта, переводчика, шахматиста, члена Московского лингвистического кружка. По свидетельству его

дочери, Ирины Владимировны Фальк, Мандельштам бывал у Владимира Ильича Нейштадта в его доме на Варварке (дом 24, кв.18). В конфликтной комиссии, разбиравшей дело о переводе «Тиля Уленшпигеля», В. Нейштадт выступил в поддержку Мандельштама (Мандельштам и Нейштадт встречались в редакции издательства «Земля и фабрика»). За вышеприведенную информацию автор книги благодарит филолога, издателя и поэта В.В. Калмыкову.

Дом не сохранился, находился рядом с церковью Св. Георгия на Псковской горке (нумерация на Варварке изменена).

68. Мандельштамы были в Доме союзов в один из дней прощания с умершим Лениным; встретились с Б. Пастернаком. Впечатление от прощания с Лениным отразилось в очерке «Прибой у гроба» (1924). Здание существует.

69. В июле 1924 года поэт был у писательницы Софьи Федорченко (см. письмо Мандельштама С. Федорченко от 9 июля 1924 года). С. Федорченко жила на Пречистенке, д. 11. С 1920 года по настоящее время в доме располагается Литературный музей Л.Н. Толстого. «Вся Москва» на 1924 год: «Федорченко Соф. Зах. Пречистенка, 11, Толстовский музей».

70. У поэта Д.В. Петровского. Согласно воспоминаниям Марии Гонта, жены Д. Петровского, зимой 1925 года состоялась встреча литераторов с капитаном-революционером В. Кукелем. В квартире Д. Петровского собрались Б. Пастернак, Н. Асеев, Н. Тихонов, В. Шкловский; были Мандельштам и Надежда Яковлевна.

Д.В. Петровский жил в это время по адресу: Мертвый пер., д. 20, кв. 6 (см.: «Вся Москва» на 1924 год. Список постоянных жителей. С. 313). Мертвый пер. называется в настоящее время Пречистенский пер. Дом сохранился.

71. В 1920–1930-е годы Мандельштам бывал у художника А.Г. Тышлера: ул. Мясницкая (с 1935 года – ул. Кирова), д. 24, кв. 82. Адрес Тышлера, сообщенный его вдовой Ф.Я. Сыркиной, совпадает с данными «Всей Москвы» на 1929 год: «Тышлер Александр Григорьевич – Мясницкая, 24, кв. 82». Об интересе поэта к живописи Тышлера и о посещениях художника упоминает Н. Мандельштам. Дом сохранился.

72. 30 января 1923 года в Театре Революции состоялась премьера спектакля по драме Э. Толлера «Человек-масса» в переводе Мандельштама. Театр революционной сатиры («Теревсат») был создан в 1920 году. Активное участие в работе театра принимал В.Э. Мейерхольд. С 1922 года – Театр Революции, руководимый Мейерхольдом. Театр давал спектакли в д. 19 по Большой Никитской ул. Ныне в этом здании – Театр им.

В. Маяковского.

73. Мандельштам не раз бывал в 1920 – 1930-е годы у Б.Л. Пастернака: ул. Волхонка, 14, кв. 9. Дом не сохранился. Н. Мандельштам бывала у Б.Л. Пастернака на его даче в Переделкине: так, в 1937 году она привезла Б. Пастернаку воронежские стихи Мандельштама.

74. Интерес поэта к кинематографу выразился, в частности, в его публикациях в журнале «Советский экран»: в № 14 за 1926 год (6 апреля) была напечатана рецензия Мандельштама «Татарские ковбои» (на фильм Х. Херсонского и Л. Мура «Песнь на камне»), а в № 25 (21 июня) на страницах появился «отчет» Мандельштама о попытке создать сюжет для фильма – «Я пишу сценарий». Редакция журнала находилась в угловом доме на Тверской: Москва, Страстная пл., 2/42. Д. 42 по Тверской ул., где помещалось объединение Теакинопечать, – это нынешний сильно перестроенный дом на углу Тверской ул. и Пушкинской пл. (д. 16).

75. У братьев Б.В., Л.В. и Ю.В. Горнунгов [664] . Мандельштам бывал у Горнунгов в их доме на Садовнической набережной (д. 1, кв. 7 – адрес из «Всей Москвы» на 1927 год), консультировался у Б. Горнунга, который был внештатным редактором французского отдела издательства «Художественная литература». Б.В. Горнунг активно помогал поэту в разгар «дела о плагиате». С посещением Горнунгов связано написание мандельштамовской эпиграммы «У вас в семье нашел опору я…» (1927). Дом не сохранился.

76. В мае 1927 года Мандельштам, Бенедикт Лившиц, Б. Горнунг и Александр Ромм обсуждали у поэта Н. Асеева возможность создания «нового, очень широкого поэтического объединения» [665] . Н.Н. Асеев жил на Мясницкой ул., д. 21 (кв. 18). Дом сохранился. «Вся Москва» на 1927 год: «Асеев. Мясницкая, 21, кв. 18. (Театр “Синяя Блуза”)» («Алфавитный указатель адресов, упомянутых в справочнике»). Квартира, где жил Н. Асеев, находилась во дворовом корпусе хорошо знакомого Мандельштаму здания, в котором в 1921 году, на базе бывшего Училища живописи, ваяния и зодчества, начали работать Высшие художественно-технические мастерские, ВХУТЕМАС.

77. Издательство «Земля и фабрика» (ЗИФ), с которым Мандельштам был тесно связан в качестве переводчика. Издательство располагалось в течение некоторого времени во Псковском пер. в Зарядье (дом не сохранился); в конце 1920-х – начале 30-х годов находилось по адресу: Кузнецкий мост, 13; некоторые службы помещались на Ильинке, в д. 15. Здания сохранились.

78. Дважды, в 1928 и 1932 годах, Мандельштамы жили в санатории ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых) «Узкое». См., в частности, воспоминания Э.Г. Герштейн. Санаторий существует – Профсоюзная ул., 123 А, не очень далеко от станции метро «Теплый Стан».

79. В 1929 году, весной, Мандельштам некоторое время жил в общежитии ЦЕКУБУ в Москве (упомянутый в «Четвертой прозе» «караван-сарай ЦЕКУБУ»): Кропоткинская набережная, д. 5. Здание не сохранилось.

80. По воспоминаниям Б.В. Горнунга, он, Мандельштам и поэт Михаил Зенкевич обратились к И. Сельвинскому с просьбой о поддержке на предстоящем заседании в Союзе писателей, посвященном конфликту, возникшему в связи с переводом «Тиля Уленшпигеля». Это было, по словам Б. Горнунга, «до судебного разбирательства» – вероятно, до 21 мая 1929 года, когда состоялось заседание Исполбюро Федерации объединений советских писателей. Мандельштам, Зенкевич и Б. Горнунг были у И. Сельвинского на квартире «где-то у Мясницких ворот» [666] . По официальным данным и воспоминаниям, И. Сельвинский жил в Сытинском пер. (д. 6, кв. 3). «Вся Москва» на 1929 год: «Сельвинский Ил. Льв., поэт. Сытинский п., 6, кв. 3, Телефон: 1-30-07 (Лит. Центр “Конструктивисты”)» («Алфавитный указатель лиц, упомянутых в справочнике»).

81. В июне 1929 года Московский губернский суд (Мосгубсуд) не счел убедительными претензии В.Н. Карякина к Мандельштаму в связи с «делом о плагиате» и отказал ему в иске. Мосгубсуд находился по адресу: ул. Воровского (бывшая Поварская), д. 13.

82. В № 13 (июль) за 1929 год в журнале «На литературном посту» была опубликована статья Мандельштама «О переводах» (впервые). Редакция журнала РАППа, ответственным редактором которого был Л.Л. Авербах, находилась в Доме Герцена (Тверской бул., 25).

83. С осени 1929-го по начало 1930 года(?) Мандельштамы жили в квартире «ИТРовского работника», как сообщает Э.Г. Герштейн: ул. Малая Бронная, д. 18/13. Дом сохранился. Об этом адресе мандельштамовской Москвы упоминает также в своих мемуарах «Угль, пылающий огнем…» С.И. Липкин.

84. С конца лета 1929-го по январь 1930 года Мандельштам работал в газете «Московский комсомолец», где вел «Литературную страницу» и консультировал молодых поэтов (см. воспоминания Н. Мандельштам, Э. Герштейн, Н. Соколовой, сотрудников газеты). Эта работа отразилась в «Четвертой прозе» (1929–1930), а также, очевидно, в стихотворении «Квартира тиха,

как бумага…» (1933). Упомянутый в «Четвертой прозе» «лихач-хозяйственник Гибер» – Михаил Владимирович Гибер, один из руководителей издательского дела в те годы. По данным «Всей Москвы» на 1928 и 1929 годы, М.В. Гибер был членом президиума «Конвенции газетно-журнальных издательств» при Совете Съездов издательской промышленности и торговли СССР.

Редакция «Московского комсомольца» располагалась по адресу: ул. Тверская, д. 15. Ныне в этом здании – Театр им. М.Н. Ермоловой (современный адрес – Тверская, д. 5). Мандельштам консультировал молодых поэтов также и где-то на Старой Басманной (по свидетельству, например, С. Липкина). В «Московском комсомольце» опубликованы обращение Мандельштама к начинающим писателям с призывом присылать «литературный материал» – «От редакции» («“Московский Комсомолец” открывает…»), номер от 5 сентября 1929 года; «От редакции» («Вопрос о том…») – в номере от 19 сентября 1929 года; «Сквозь розовые очки…» – рецензия на «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева – в номере от 22 сентября 1929 года; «Перекличка с читателями» (26 сентября 1929 года) и «Письмо тов. Кочину» – о его «деревенской» прозе – 3 октября 1929 года. К этому времени, очевидно, относится воспоминание И. Фейнберга: «Встреча в редакции журнала “Октябрь” так в году 1930–31. Мандельштам: “Нет ли у вас материалу (то есть стихов). Я теперь зав. отделом газеты «Московский Комсомолец»” [667] . Упомянутая Фейнбергом редакция журнала «Октябрь», органа РАПП и МАПП, работала в д. 7 на Кузнецком мосту.

В январе 1930 года в связи с прекращением издания «Московского комсомольца» (а также будучи раздраженным данной ему характеристикой комиссии, проверявшей состав редакции: «Можно использовать как специалиста, но под руководством») поэт переходит в журнал «Пятидневка» и газету «Вечерняя Москва», чьи редакции находились в том же здании на Тверской. В газете «Вечерняя Москва» Мандельштам ведет рабкоровский кружок. В этом же доме находился тогда и Театр обозрений. Э. Герштейн в своих воспоминаниях о Мандельштаме упоминает его под названием «Театр Сатиры» и сообщает о посещении этого театра Мандельштамами.

85. После поездки на Кавказ (Абхазия – Грузия – Армения, весна – осень 1930 года), весной 1931 года Мандельштам побывал в Научно-исследовательском институте народов Советского Востока при ЦИК СССР (см. описание визита в «Путешествии в Армению», 1931–1932): Берсеневская набережная, д. 18 («палаты Аверкия Кириллова», современный адрес – д. 20). Дом сохранился. Здесь же, по данным «Всей Москвы», была и

библиотека института.

В целях изучения армянского языка Мандельштам побывал несколько раз у Марго Вартанян, дочери видного общественного деятеля Г. Вартаняна (взял у нее несколько уроков армянского).

86. По свидетельству Э. Герштейн, в 1930 году Мандельштам побывал у Л.Б. Каменева, известного деятеля ВКП(б) [668] . Встреча состоялась в квартире Л. Каменева по адресу: Манежная ул., 9, кв. 5 («Вся Москва»). Дом сохранился.

«Для Осипа Эмильевича, – пишет Э. Герштейн, – Каменев не сделал ничего».

87. Вернувшись из Армении, Мандельштамы в ноябре-декабре 1930 года жили у Эммы Герштейн, в квартире ее отца: ул. Щипок, д. 6–8. Это была служебная квартира главного врача больницы. Мандельштам бывал здесь и позднее. «…Хорошо помню лето 1937 года, белый высокий дом в тенистом саду, где жила тогда Эмма Герштейн (ее отец был врач, и квартира находилась при больнице), удлиненную комнату, направо от двери обеденный стол, в глубине письменный» (Н. Штемпель) [669] . «Вся Москва» на 1929 год: «Герштейн Григорий Моисеевич, врач-хир. Щипок, 8, больница им. Семашко, кв. гл. врача». Данными о сохранности дома не располагаем.

88. В конце 1920-х и в 1930-е годы Мандельштамы нередко бывали у брата поэта Александра. А.Э. Мандельштам с женой проживали в коммунальной квартире д. 10 по Старосадскому пер. (кв. 3). Мандельштам жил здесь у брата короткое время в декабре 1928 года, затем с середины января по июнь 1931 года (в мае – июне тут же жила и Н. Мандельштам). Одно из важнейших мандельштамовских мест в Москве. Здесь создан целый ряд этапных стихотворений 1931 года, в частности, проделана основная работа над так называемым «Волчьим циклом», начато стихотворение «Еще далеко мне до патриарха…». (см. воспоминания Н.Я. Мандельштам, С.И. Липкина, Б.С. Кузина, Э.Г. Герштейн и др.). Дом сохранился. В 2008 году рядом с домом открыт памятник Мандельштаму (скульпторы Е. Мунц и Д. Шаховской).

89. По свидетельству Э. Герштейн, в 1931 году Мандельштамы некоторое время жили в одном из Брестских пер. Там, по ее словам, было написано стихотворение «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» (1931, май – июнь). Точный адрес неизвестен.

90. У М.В. Талова, поэта и переводчика. В 1930 году М. Талов жил во 2-м Колобовском пер. (д. 12, кв. 6) – «Вся Москва» на 1930 год, раздел «Адреса лиц, упомянутых в справочнике», с. 578. В 1931 году Мандельштам побывал у Талова и сделал дарственную

надпись на форзаце своего сборника стихотворений, вышедшего в 1928 году: «Марку Владимировичу Талову на память о “галльской беседе” – О. Мандельштам. Москва. 13/IV/31.» [670] . В это время М. Талов жил уже в Петровском пер. (д. 5, кв. 16). Дом сохранился. Адрес приводится в воспоминаниях вдовы Талова М.А. Таловой [671] .

91. В 1931 году, незадолго до 21 мая (по свидетельству Л.В. Горнунга [672]), Мандельштам слушал у Рюрика Ивнева стихи молодых поэтов Арс. Тарковского, Н. Берендгофа и Арк. Штейнберга. Вероятно, это было в д. 10 по Большому Гнездниковскому пер. – уже упоминавшемся в данном списке «доме Нирнзее». Рюрик Ивнев жил в «доме Нирнзее» в кв. 608. По данным «Всей Москвы» на 1930 год: «Ивнев Рюрик Ал-др., поэт. Б. Гнездниковский переулок, 10, кв. 608. Телефон: 4-59-60, доб. 608 (“Всерос. Союз Поэтов”)».

Ранее, в послереволюционное время, Мандельштам бывал у Р. Ивнева по адресу: Трехпрудный пер., д. 10, кв. 5. Адрес приводится в справочниках «Вся Москва» (например, см. «Всю Москву» на 1923 год, раздел «Журналисты и литераторы»). Упоминание о посещениях Мандельштама содержится в автобиографическом романе Р. Ивнева «Богема». В очерке «Осип Мандельштам» Рюрик Ивнев называет еще один адрес, по которому Мандельштам нередко бывал у него «летом 1930 года»: квартиру В. Пудовкина, где Ивнев поселился с согласия кинорежиссера во время его отсутствия – «в доме на углу Тверской улицы и площади Маяковского».

92. В июне 1931 года Мандельштамы переехали из Старосадского пер. (очевидно, в связи с тем, что брат Александр Эмильевич с женой вернулись к себе из отпуска) на Большую Полянку, где поселились в квартире знакомого юриста Цезаря Рысса, неподалеку от Водоотводного канала: Большая Полянка, д. 10, кв. 20 [673] . Дом не сохранился. Ц.Г. Рысс занимался вопросами жилищно-кооперативного законодательства, его работы на эту тему имеются в Российской государственной библиотеке. См. упоминание о хозяине квартиры в «Путешествии в Армению», глава «Москва»: «…молодой белокурый юрисконсульт». На Большой Полянке было в основном написано стихотворение «Сегодня можно снять декалькомани…».

93. Осенью 1931 года Мандельштамы жили уже на Покровке, снимали жилье у попавшей в эпиграмму «вдовы Каранович» («Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович…»). На самом деле это была комната Н.Л. Фельдман, сестры Е.Л. Каранович: ул. Покровка, д. 29, кв. 23 [674] (см. об этом месте мандельштамовской Москвы воспоминания Н.Я. Мандельштам и

Э.Г. Герштейн). Здесь Мандельштам продолжает работу над ранее начатым «Путешествием в Армению» (1931–1932). Дом сохранился.

94. В третьем, мартовском номере журнала «Новый мир» за 1931 год появился цикл стихотворений «Армения» (с подзаголовком «Двенадцать стихотворений») – стихи, которыми начался новый творческий подъем Мандельштама после периода поэтического молчания второй половины 1920-х годов. Редактором журнала в то время был В.П. Полонский. В 1932 году, уже при И.М. Гронском, в «Новом мире» были опубликованы: в № 4 – «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..» и «О, как мы любим лицемерить…», в № 6 – «Рояль», «Ламарк», «Батюшков» и «Там, где купальни, бумагопрядильни…» (все – впервые).

Из воспоминаний Н. Смирнова: «Бывали здесь и поэты старшего, “акмеистического” поколения – в частности, Осип Эмильевич Мандельштам. Он тоже читал иногда, если был в духе, свои изысканно сжатые и певучие стихи – читал, конечно, нараспев, с поднятыми вверх глазами, звонким, но нервным, срывающимся голосом. В его лице, худощавом, остром и птичьем, как и в его малом росте и потрепанном костюме, сквозило что-то усталое, традиционно поэтическое, говорившее и о душевной боли, и о житейской “неприкаянности”. Крайне самолюбивый, подозрительный, он проявлял иногда неприятную заносчивость, проистекавшую, очевидно, из той же “неприкаянности”.

Так, он сказал одному молодому поэту, не проявившему, по его мнению, должной почтительности:

– Вы должны, юноша, не только слушать меня, но и внимать каждому моему слову, потому что каждое мое слово – для истории литературы» [675] .

Воспоминания И. Фейнберга: «Мандельштам с Наденькой в “Известиях” – в коридоре редакции “Нового мира”. Робко держал ее за руку. Скитальцы – беженцы – в мире» [676] .

Редакция «Нового мира» находилась в конструктивистском здании «Известий» (Пушкинская пл., д. 5).

95. Редакция «Литературной газеты». Находилась на третьем этаже Дома Герцена; 10 ноября 1932 года в ней состоялся поэтический вечер Мандельштама. 23 ноября на страницах «Литературной газеты» (№ 53) появились стихотворения «Ленинград», «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» и «К немецкой речи» (все – впервые). Это последняя прижизненная публикация стихотворений Мандельштама.

96. Мандельштам бывал в редакции «Крестьянской газеты» у Эммы Герштейн, о чем она упоминает в своих мемуарах: ул. Воздвиженка, д. 9. Дом сохранился. (Уже был упомянут в «Списке

адресов» в связи с посещением Л. Рейснер и Ф. Раскольникова в 1918 году.)

97. В санатории ЦЕКУБУ «Узкое» Мандельштамы познакомились с криминалисткой О.А. Овчинниковой и в 1930-е годы бывали у Ольги Андреевны и ее мужа, юриста Бориса Михайловича Овчинникова, по адресу: Большой Власьевский пер., д. 3, кв. 1 (данные из архива Московской коллегии адвокатов). Дом не сохранился. Э. Герштейн пишет, что «супруги О.», как они названы в ее мемуарах, жили в доме, где находился отдел ЗАГС. Но это, видимо, ошибка: ЗАГС располагался в соседнем доме. (В этом ЗАГСе регистрировали брак С. Есенин и Айседора Дункан и М. Булгаков – с Л. Белозерской и Е. Шиловской; Малый Могильцевский пер., д. 3.) О.А. Овчинниковой адресована эпиграмма Мандельштама «Не средиземною волной…» (1932). Овчинникова оставила краткие воспоминания о поэте – «Мои воспоминания о поэте Осипе Эмильевиче Мандельштаме».

98. В 1930 году в Ереване Мандельштам познакомился с Б.С. Кузиным, московским биологом, с которым у поэта возникли дружеские отношения. В Москве Мандельштамы бывали у Кузина по адресу: Большая Якиманка, д. 22, кв. 155. Дом не сохранился. Адрес находится, в частности, по справочникам «Вся Москва». Так, во «Всей Москве» на 1925 год упомянута живущая по этому адресу «Кузина Эмма Бернгардовна, зубной врач». Эмма Бернгардовна (Эмилия Бернардовна) – тетка Б.С. Кузина, сестра его матери и жена его дяди (отец Б.С. Кузина, Сергей Григорьевич, и его брат Михаил были женаты на сестрах). В квартире дяди Б.С. Кузин жил с матерью, сестрами и братом после смерти отца (С.Г. Кузин скончался в 1920 году). Дом упоминается в «Путешествии в Армению», в главе «Москва». Б.С. Кузин оставил важные воспоминания о поэте («Об О.Э. Мандельштаме»), неоднократно цитировавшиеся в книге.

99. Мандельштамы бывали у Б.С. Кузина и в Зоологическом музее: Большая Никитская ул., д. 6. Окна комнаты, которую занимал Б.С. Кузин по праву смотрителя музея, выходят на Никитский пер., первый этаж. В настоящее время, как и в прошлом, здесь помещается библиотека Зоологического музея. Б.С. Кузин жил здесь до 1930 года, но Мандельштамы бывали у него в этой библиотеке позднее: здесь написано стихотворение «Я скажу тебе с последней…» (1931).

100. У журналиста М.Ю. Левидова. По словам его дочери Майи Михайловны, вдовы известного литературоведа Э.Г. Бабаева, Мандельштамы бывали в доме ее отца – об этом ей говорила Н.Я. Мандельштам (бывали не ранее 1928 года, когда дом был выстроен кооперативом «Красный уголок»): ул. Арбат, д.

20, кв. 70. Дом сохранился. По словам Майи Михайловны, М. Левидов не был большим любителем поэзии, но очень высоко ценил стихи Мандельштама.

101. В 1932 году художник Л.А. Бруни получил две комнаты в коммунальной кв. 57 д. 44 на Большой Полянке. Мандельштамы бывали здесь у Л. Бруни. Дом сохранился. О.М. был знаком с Львом Бруни и его братом, поэтом Николаем Бруни, еще в дореволюционный, петербургский период. В 1918 году Н.А. Бруни стал священником – «отец Николай Бруни» упомянут в «Египетской марке». В начале 1920-х годов Н.А. Бруни жил при церкви в Николопесковском пер.; Мандельштам мог бывать у него. «Вся Москва» на 1923 год: «Бруни, Н.А. – Б. Николо-Песковский, 13/15, кв. 2» (раздел «Журналисты и литераторы»).

102. В 1927 году в Детском Селе под Ленинградом Мандельштамы познакомились с артистом В.Н. Яхонтовым и его женой, Е.Е. Поповой. Общение было продолжено в Москве. Мандельштамы бывали у Яхонтовых по разным адресам: в д. 8 по Варсонофьевскому пер., где в кв. 2 жила мать артиста (сохранился); в наемной комнате на Петровке (д. 19, кв. 13, сохранился) – вероятно, именно эту комнату, где Яхонтов и Попова работали над композицией к 20-летию Октября, имеет в виду Н. Штемпель, неточно указывая адрес: «кажется, в Столешниковом переулке»; но по большей части они приезжали к В. Яхонтову и Е. Поповой в дом на Новом шоссе, где у Поповой была маленькая комната (Новое шоссе, д. 1, кв. 1). Новое шоссе – ныне Тимирязевская ул. (дом не сохранился). Не исключено, что Мандельштамы могли бывать у Яхонтова и по адресу: Малая Бронная, д. 17/19, кв. 35, где артист жил осенью 1937 года. Адреса устанавливаются по архиву В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой (РГАЛИ, ф. 2440). К Е. Поповой обращены стихотворения «С примесью ворона – голуби…», «Стансы» («Необходимо сердцу биться…») и «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…» (все – 1937); искусству В. Яхонтова посвящен очерк «Яхонтов» (1927).

103. Мандельштам бывал у писателя Георгия Чулкова: Смоленский бул., д. 8. Дом не сохранился.

104. В 1930-е годы Мандельштам бывал у художника А.А. Осмеркина в д. 24 по ул. Мясницкой (с 1935 года – ул. Кирова, ныне – снова Мясницкая), кв. 105 (мастерская художника – кв. 118). В этом доме созданы А. Осмеркиным известные карандашные портреты Мандельштама 1937 года. Дом сохранился.

105. В эпиграмме начала 1930-х годов «Старик Моргулис – разумей-ка!..» (или «примечай-ка!..) упоминается поэт Н.К. Семейко, живущий на Трубной. Возможно, Мандельштам бывал

там у Н. Семейко и А.О. Моргулиса, своего близкого знакомого. Адрес неизвестен. Относительно Н.К. Семейко данные справочников «Вся Москва», включая 1931 год, иные: «Семейко Ник. Корнил., литератор» назван живущим по адресу: Новослободская, 59, кв. 14.

106. Мандельштам бывал у поэта Э.Г. Багрицкого в Кунцеве. По данным «Всей Москвы» на 1929 и 1930 годы, Багрицкий жил в д. 17 по ул. Пионерской (ныне – ул. Багрицкого). Дом не сохранился. Здесь Мандельштама встречал литератор И.С. Поступальский [677] . Здесь, по воспоминаниям Н. Мандельштам, сочинена мандельштамовская эпиграмма «Любил Гаврила папиросы…» (авторство Мандельштама оспаривается некоторыми исследователями, в частности А.Г. Мецем).

107. В 1931 году Н. Мандельштам начала работать в газете «За коммунистическое просвещение». В этой связи написана мандельштамовская эпиграмма-«моргулет» «Старик Моргулис под сурдинку…». Редакция газеты находилась по адресу: Большая Никитская, д. 12. Дом сохранился. В газете была впервые опубликована статья Мандельштама «К проблеме научного стиля Дарвина» (1932).

108. В 1932 или 1933 году поэт побывал со сценаристом Борисом Леонидовым на фабрике «Союзкино» (будущий «Мосфильм») – это была попытка привлечь Мандельштама к работе киностудии в качестве сценариста [678] . Фабрика «Союзкино» находилась на Потылихе (Воробьевы горы, ныне – ул. Мосфильмовская).

109. Политехнический музей. Здесь состоялся поэтический вечер Мандельштама 14 марта 1933 года. Имеются многочисленные воспоминания об этом вечере – Э. Герштейн, Н. Соколовой, Л. Горнунга, Л. Розенталя, Е. Осмеркиной-Гальпериной и др.

110. 3 апреля 1933 года состоялся поэтический вечер Мандельштама в клубе художников: Ветошный пр., д. 2. (за зданием ГУМа). Дом сохранился (см. воспоминания Л. Горнунга об этом выступлении) [679] .

111. Одним из близких знакомых Мандельштама был поэт Г.А. Шенгели. Мандельштам бывал у него – во всяком случае, в начале 1930-х годов. В это время Георгий Шенгели, по данным «Всей Москвы» на 1929–1931 годы, жил в Борисоглебском пер. – д. 15, кв. 10 [680] . Дом сохранился. С.И. Липкин в своих воспоминаниях «Вечер Шенгели» называет другой адрес – Малый Ржевский пер., комната в квартире, хозяйкой которой «в первые годы революции» была М. Цветаева [681] . Вероятно, это ошибка: есть сведения, что Г. Шенгели действительно жил в квартире М.

Цветаевой, но в 1922 г. (Борисоглебский пер., д. 6, кв. 3). Поскольку Большой Ржевский и Борисоглебский пер. соседствуют и идут параллельно друг другу, С.И. Липкин мог посчитать Борисоглебский Малым Ржевским.

112. Еще с дореволюционного «акмеистического» времени Мандельштам был дружен с поэтом Михаилом Зенкевичем. В начале 1920-х годов М.А. Зенкевич жил неподалеку от Пречистенки – в Обухове пер. (ныне – Чистый пер.), д. 8, кв. 9. Позднее М. Зенкевич проживал на Остоженке, д. 41, кв. 1. Дом сохранился. Последний адрес упомянут Мандельштамом в письме, написанном в середине мая [?] 1929 года в Федерацию объединений советских писателей и имеющем отношение к разбирательству конфликта вокруг перевода «Тиля Уленшпигеля». Мандельштам просил вызвать в качестве одного из свидетелей «редактора ЗИФа Михаила Александровича Зенкевича (Москва, Остоженка, д. 41)». «В ЗИФе Зенкевич содействовал Мандельштаму и Лившицу (имеется в виду поэт Бенедикт Лившиц. – Л.В.) в получении переводов, которые тогда были главным источником заработка обоих… Зенкевич был редактором и в “Новом мире”, где тоже помогал Мандельштаму в осуществлении публикаций…» (И.С. Поступальский [682]).

113. В 1933–1934 годах Мандельштам многократно бывал у сестер Марии Сергеевны и Екатерины Сергеевны Петровых. Марии Петровых, поэтессе и переводчице, адресовано стихотворение «Мастерица виноватых взоров…» (февраль 1934) и, возможно, «Твоим узким плечам под бичами краснеть…» (1934); к ней обращены шуточные стихотворения «Уста запеклись и разверзлись чресла…», «Большевикам мил элеватор…», «Марья Сергеевна, мне ужасно хочется…» и «Сонет» (все – <1933–1934>). М.С. Петровых жила в комнате своей сестры Екатерины по адресу: Гранатный пер., д. 2/9, кв. 22. Адрес устанавливается по устным воспоминаниям Е.С. Петровых и дочери М.С. Петровых А.В. Головачевой и подтверждается справочниками «Вся Москва» (квартира архитектора С.Б. Залесского). Дом сохранился. Э. Герштейн вспоминала, что поэт бывал у М. Петровых также и «где-то на Полянке, где жили ее родные…». Несомненно, имеется в виду 2-й Казачий пер., где М. Петровых жила у родителей до переезда (не позднее 1933 года) к сестре Екатерине.

114. Визит к С.И. Гусеву (Я.Д. Драбкину) (?), партийному деятелю, в ЦК ВКП(б). По свидетельству Н. Мандельштам, после 30 августа 1933 года Мандельштам обратился к С. Гусеву в связи с публикацией в «Правде» грубой и злобной статьи С. Розенталя о «Путешествии в Армению», незадолго перед тем появившемся в журнале «Звезда» (№ 5 за 1933 год). Однако поэт не мог

встретиться с С. Гусевым в это время, поскольку Гусев умер еще в июне 1933 года. Вероятно, Мандельштам побывал у какого-то другого партийного деятеля. Бывшее здание ЦК ВКП(б) – Старая пл., д. 4. Возможно, Мандельштам бывал здесь и у Н.И. Бухарина – например, в 1928 году, когда хлопотал об отмене смертного приговора членам правления «Общества взаимного кредита». Дом сохранился.

115. В Гранатном пер. Мандельштам бывал не только у М. Петровых, но и у поэта Н.А. Клюева (Гранатный пер., д. 12, кв. 3). Адрес упоминается в письмах Н. Клюева. Клюев жил здесь с 1932-го до ареста в 1934 году. О том, что Мандельштам бывал у Николая Клюева, сообщает, в частности, Э.Г. Герштейн. Дом не сохранился.

116. У С.В. Шервинского, поэта и переводчика, Мандельштам и Анна Ахматова слушали чтение трагедии Софокла «Эдип в Колоне» в переводе В.О. Нилендера. В связи с этим написана эпиграмма Мандельштама «Знакомства нашего на склоне…» (1934). Померанцев пер., д. 8, кв. 1.

117. 8 января 1934 года умер Андрей Белый. 9 января состоялась гражданская панихида в здании оргкомитета Союза советских писателей (ул. Воровского, д. 50; ныне улица снова носит досоветское название Поварская). В настоящее время – Центральный дом литераторов. Мандельштам присутствовал на гражданской панихиде, его впечатления отражены в цикле стихотворений на смерть Андрея Белого.

118. В феврале 1934 года Мандельштам посетил К.И. Чуковского в Кремлевской больнице. Об этом свидетельствует процитированная в книге запись в дневнике К. Чуковского от 10 февраля 1934 года. «Кремлевская больница» – ул. Воздвиженка, д. 6. Здание сохранилось.

119. В феврале – марте 1934 года Мандельштам вел переговоры с директором созданного в 1933 году Центрального музея художественной литературы, критики и публицистики (ЦМЛ) В.Д. Бонч-Бруевичем о продаже своего архива этому музею. Дело не состоялось; в связи с этой историей написана эпиграмма Мандельштама «На берегу эгейских вод…» (см. письмо Мандельштама В. Бонч-Бруевичу от 21 марта 1934 г.). Архив был представлен в отдел рукописей и фольклора музея, который находился по адресу: ул. Рождественка, д. 5. Дом сохранился.

120. Мандельштам бывал в Государственном еврейском театре (ГОСЕТ): ул. Малая Бронная, д. 4. Ныне в этом здании – Театр на Малой Бронной. Поэт высоко ценил игру ведущего артиста ГОСЕТа С. Михоэлса (см. очерк «Михоэльс» (1926)). Мандельштам мог бывать у Михоэлса и в его доме. Артист жил в

Большом Чернышевском пер. (позднее – ул. Станкевича, ныне – Вознесенский пер.), д. 12, кв. 3. Дом сохранился.

121. Театр Всеволода Мейерхольда (ГосТИМ). О посещениях этого театра упоминает Н. Мандельштам. Здание сохранилось в перестроенном виде – в настоящее время Концертный зал им. П.И. Чайковского.

122. Мандельштам любил Музей нового западного искусства, где мог видеть импрессионистов, Ван Гога, Сезанна и других близких ему художников: ул. Кропоткинская (ныне Пречистенка), д. 21. В настоящее время – Академия художеств. С посещениями этого музея связаны стихотворение «Импрессионизм» («Художник нам изобразил…», 1932) и глава «Французы» из «Путешествия в Армению».

123. Музей изобразительных искусств (до 1932 года – Музей изящных искусств; с 1937 года – Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Впечатления от живописи музея отразились в стихотворении «Еще далеко мне до патриарха…» (1931). Ул. Волхонка, 12.

124. Третьяковская галерея. О посещениях Третьяковской галереи Мандельштамом упоминают Э.Г. Герштейн и Н.Е. Штемпель. Лаврушинский пер., 10.

125. Мандельштам бывал в Московской консерватории. Л. Горнунг упоминает о том, что в консерватории он видел поэта в последний раз – это было 10 апреля 1933 года, когда А.Ф. Гедике играл Баха. В консерватории Мандельштам слушал В.В. Софроницкого, М.В. Юдину и других музыкантов. Ул. Большая Никитская, д. 13. Не исключено, что у знакомой ему пианистки М.В. Юдиной Мандельштам мог бывать и на дому. В конце 1920-х – начале 1930-х годов Юдина проживала в Сытинском тупике (д. 3, кв. 20; адрес из личного дела пианистки в архиве Московской консерватории).

126. Мандельштам не раз бывал в Марьиной Роще, где жили литературоведы В.Б. Шкловский (до 1937 года) и Н.И. Харджиев: Александровский (позднее – Октябрьский) пер., д. 43, кв. 4. Дом не сохранился. Соседом Н.И. Харджиева был также драматург Б.А. Вакс, «Вакс ремонтнодышащий…» (строка из несохранившегося шуточного стихотворения Мандельштама <нач. 1930-х годов>). Описание комнаты Н.И. Харджиева оставила Н.Е. Штемпель (цитировалось в книге).

127. Неподалеку от дома, где жили Шкловские и Харджиев, находилась и квартира поэта В.И. Нарбута, и Мандельштам бывал у него в 1920-е – начале 1930-х годов: Александровская (позднее – Октябрьская) ул., д. 8, кв. 18. Дом не сохранился. См. «Всю Москву» на 1927 год: «Нарбут Владимир Ив. Александровская ул.,

8, кв. 18. Телефон: 1-26-46 (издательство “Земля и фабрика” и ЦК ВКП)». Позднее Нарбут жил по адресу: Курсовой пер., д. 15, кв. 17 [683] (где и был арестован в ночь с 26 на 27 октября 1936 года; дом сохранился) – т. е. неподалеку от Мандельштамов, у которых часто бывал.

128. По свидетельству литературоведа С.А. Макашина, Мандельштам был у него в редакции «Литературного наследства» в период воронежской ссылки. Поэт приехал в Москву нелегально, в поисках заработка. (Нелегальный приезд в Москву маловероятен; возможно, воспоминание Макашина относится к другому периоду жизни поэта.) Редакция «Литературного наследства» размещалась на Страстном бул., д. 11. Надо, однако, отметить, что о нелегальных приездах Мандельштама в Москву упоминала и В.Г. Шкловская-Корди.

129. В самое тяжелое время, в 1937–1938 годах, Мандельштамы находили приют и помощь в доме В.Б. Шкловского. С 1937 года Шкловские жили в «писательском» доме в Лаврушинском пер. (д. 17, кв. 47). После гибели поэта двери дома Шкловских всегда были открыты для Н. Мандельштам. В 1964 году Шкловским удалось прописать ее у себя в квартире. Шкловские сделали все для того, чтобы Н. Мандельштам получила свое жилье в Москве, и в 1965 году их (а также иных друзей и доброжелателей) усилия увенчались успехом (см. воспоминания В.Б. Шкловского, В.Г. Шкловской-Корди и В.В. Шкловской-Корди).

В этом же писательском доме в Лаврушинском пер. Мандельштамы бывали у В.П. Катаева и некоторых других писателей. Дом сохранился.

130. Одним из тех, кто предоставил приют не имеющему права жить в Москве после воронежской ссылки поэту, был литератор И.И. Бернштейн (литературное имя – Александр Ивич): Руновский пер., д. 4, кв. 1. Дом не сохранился. С 1946 года здесь тайно хранились рукописи, которые отдала А. Ивичу Н. Мандельштам, а с 1948 года – те рукописи, которые ему передал ее брат Е.Я. Хазин.

131. Н. Мандельштам в своих мемуарах упоминает приход к И.Э. Бабелю, который посоветовал Мандельштамам поселиться в Калинине (1937 год). Она запомнила, что в доме вроде бы жили иностранцы. Имеется в виду двухэтажный деревянный дом в Большом Николо-Воробинском пер., где Бабель проживал вместе с австрийским инженером Бруно Штейнером, представителем фирмы «Элин» [684] . Дом не сохранился – стоял на месте нынешнего д. 4.

132. По свидетельству М.Я. Шагинян, дочери Мариэтты

Шагинян, она видела Мандельштама после воронежской ссылки в московской квартире В. Мейерхольда [685] . В.Э. Мейерхольд жил в Брюсовом пер., д. 12. Ныне в кв. 11 – Музей В.Э. Мейерхольда.

133. Мандельштамы могли рассчитывать на гостеприимство, а в трудное время – на помощь Льва Моисеевича Наппельбаума (архитектор, сын известного фотографа) и его жены, художницы Людмилы Константиновны: ул. Воровского (ныне снова Поварская), д. 12, кв. 1. Адрес сообщен вдовой Л.М. Наппельбаума Л.К. Наппельбаум (Корниловой). Н.Е. Штемпель вспоминала: «После концерта (В. Яхонтова, летом 1937 года. – Л.В.) мы вчетвером (Н.Е. Штемпель с мужем и Мандельштамы. – Л.В.), зайдя в гастроном и купив, кажется, ветчину и сухое вино, отправились на квартиру Наппельбаума, где остановились Мандельштамы (хозяева, очевидно, были на даче) [686] ». Дом не сохранился.

134. Последняя московская квартира Мандельштама: ул. Фурманова (до 1926 года – Нащокинский пер., старое название возвращено), д. 3–5, кв. 26. (В ряде источников дом проходит под номером 5.) Пятый этаж. Мандельштамы въехали в эту квартиру в конце 1933 года (не позднее октября). Здесь было написано стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933). С этим адресом связаны стихотворение «Квартира…» («Квартира тиха, как бумага…»), стихи памяти Андрея Белого, восьмистишия, редакция «Стихов о неизвестном солдате» (после возвращения из Воронежа в 1937 году) и др. (см. воспоминания Н.Я. Мандельштам, Э.Г. Герштейн, А.А. Ахматовой и другие мемуары). Здесь Мандельштам был арестован в мае 1934 года. Дом не сохранился.

135. Дом Союза советских писателей: ул. Воровского (ныне – снова Поварская), д. 52. Поэт бывал здесь у В. Ставского, А. Суркова и других руководителей писательского союза. Дом сохранился.

136. В 1930-е годы Мандельштам неоднократно бывал в Государственном издательстве художественной литературы (ГИХЛ) (см. воспоминания Н. Мандельштам, Л.А. Озерова и др.). Поэт выступал здесь на диспуте о так называемой «научной поэзии». В начале марта 1938 года Мандельштам писал В.П. Ставскому: «Уважаемый тов. Ставский! Сейчас т. Луппол объявил мне, что никакой работы в Гослитиздате для меня в течение года нет и не предвидится». И.К. Луппол был одним из руководителей ГИХЛа. ГИХЛ располагался по адресу: ул. Никольская (с 1935 года – ул. 25 Октября, ныне – снова Никольская), д. 10/2. Дом сохранился.

137. Бутырская тюрьма: Новослободская ул., д. 45. Здесь

Мандельштам пробыл около месяца в 1938 году. Он был помещен в тюрьму после вынесения приговора и находился в Бутырках до отправления по этапу в лагерь на Дальний Восток. Ныне – следственный изолятор (СИЗО) № 2.

138. Московская квартира Н. Мандельштам, где она прожила последние годы жизни (с 1965 по 1980) и писала свои воспоминания. Однокомнатную кооперативную квартиру удалось получить благодаря помощи друзей и доброжелателей. В 1960-е годы адрес Н. Мандельштам был таким: Большая Черемушкинская ул., д. 50, корпус 1, кв. 4. Современный адрес: Большая Черемушкинская ул., д. 14, корпус 1, кв. 4. (Нумерация дома была изменена не позднее начала 1970 года – см. письмо Н.Е. Штемпель Д.П. Заславскому от 31 января 1970 года [687] .) Дом сохранился.

139. Церковь Знамения Богородицы, где 2 января 1981 года отпевали Н. Мандельштам: ул. Фестивальная, д. 6, неподалеку от станции метро «Речной вокзал». Церковь действует.

140. Кунцевское кладбище (старая часть). Здесь находится могила Н. Мандельштам и установлен памятный камень (кенотаф) О. Мандельштаму. Деревянный крест на могиле и кенотаф работы скульптора Д.М. Шаховского. Сюда привезена из Владивостока и захоронена земля, извлеченная из братской могилы заключенных-лагерников. Кладбище расположено у Рябиновой ул.

Часть вторая

I. Кремль

Наиболее значимые упоминания в стихах: «В разноголосице девического хора…» (1916), «О, это воздух, смутой пьяный…» (1916), «Все чуждо нам в столице непотребной…» (1918), «Сегодня можно снять декалькомани…» (1931), «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933), «Средь народного шума и спеха…» (1937).

Проза: очерки «Первая международная крестьянская конференция. Набросок» и «Международная крестьянская конференция» (оба – 1923).

II. Красная пл.

Стихи: «Наушнички, наушники мои!..» (1935), «Да, я лежу в земле, губами шевеля…» (1935), «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» (1937).

Проза: «Четвертая проза» (1929–1930).

III. Воробьевы горы

Стихи: «На розвальнях, уложенных соломой…» (1916), «Сегодня можно снять декалькомани…» (1931).

Проза: «Борис Пастернак» (1922–1923).

IV. Театральная пл.

Стихи: «Когда в теплой ночи замирает…» (1918).

Проза: «Холодное лето» (1923).

V. Сухаревская пл.

Стихи: «Все чуждо нам в столице непотребной…» (1918).

Проза: «Сухаревка» (1923).

VI. Бульварное кольцо (в особенности Тверской бул.)

Стихи: «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» (1931), «Нет, не спрятаться мне от великой муры» (1931).

Проза: «Холодное лето» (1923), «Четвертая проза» (1929–1930).

VII. Музей нового западного искусства (Пречистенка, 21)

Стихи: «Импрессионизм» (1932).

Проза: «Путешествие в Армению» (1931–1932).

VIII. Музей изящных искусств

(ныне Музей изобразительных искусств им. Пушкина – Волхонка, 12)

Стихи: «Еще далеко мне до патриарха…» (1931).

IX. Замоскворечье

Проза: «Путешествие в Армению» (1931–1932).

X. Парк культуры и отдыха им. А.М. Горького

Стихи: «Там, где купальни, бумагопрядильни…» (1932).

XI. Москва-река

Стихи: «Все чуждо нам в столице непотребной…» (1918), «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..» (1931), «Сегодня можно снять декалькомани…» (1931), «Там, где купальни, бумагопрядильни…» (1932).

Проза: «Холодное лето» (1923), «Четвертая проза» (1929–1930), «Путешествие в Армению» (1931–1932).

XII. Станции первой линии метро

(от «Сокольников» до «Парка культуры»)

Стихи: «Наушнички, наушники мои!..» (1935).

Проза: «Стихи о метро» (1935).

XIII. Последняя квартира Мандельштама в Москве

Ул. Фурманова (ныне – Нащокинский переулок), д. 3–5

Стихи: «Квартира тиха, как бумага…» (1933).

Часть третья

А . Памятник О.Э. Мандельштаму (скульпторы Д.М. Шаховской и Е.В. Мунц, архитектор А.С. Бродский): ул. Забелина (вблизи перекрестка со Старосадским пер.). Открыт в 2008 г.

Б . Мемориальная доска О.Э. Мандельштаму (скульптор Д.М. Шаховской). Открыта в 1991 году. Литературный институт им. А.М. Горького: Тверской бул., 25.

В . Могила Н.Я. Мандельштам и кенотаф О.Э. Мандельштама

на Кунцевском кладбище (у Рябиновой ул.). Деревянный надгробный крест и камень-кенотаф (скульптор Д.М. Шаховской). Поставлены в 1981 году.

Г . Библиотека № 97 им. О.Э. Мандельштама. Звездный бул., 4.

Д . Мандельштамовское общество и Кабинет мандельштамоведения при Научной библиотеке Российского государственного гуманитарного университета. Главный корпус РГГУ (ул. Чаянова, д. 15, комн. 423).

Е . Российский государственный архив литературы и искусства. Крупнейшее в России хранение рукописей О.Э. Мандельштама. Имеется личный фонд поэта. Выборгская ул., д. 3, к. 2.

Ж . Отдел рукописных фондов Государственного литературного музея РФ. Место хранения рукописей О.Э. Мандельштама. Имеется личный фонд поэта. Денежный пер., д. 9/5.

З . Отдел рукописей Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук. Место хранения рукописей О.Э. Мандельштама. Имеется личный фонд поэта. Ул. Поварская, д. 25А.

И . Квартира Н.Я. Мандельштам. Большая Черемушкинская ул., д. 14, к. 1, кв. 4.

К . Место отпевания Н.Я. Мандельштам. Церковь Знамения Богородицы. Ул. Фестивальная, д. 6.

Примечания

1

Стихи Мандельштама, проза и письма (в том числе черновые варианты и т. п.) цит. по кн.: Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем в 3 т. / Сост. А.Г. Мец. М., 2009–2011.

2

Ардов М.В. Не «поэтесса». Поэт! Из бесед с Анной Ахматовой // Литературная газета. 1989. № 1 (4 января). С. 5.

3

Аверинцев С.С. «Город изгнания, город беды…» // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. Записки Мандельштамовского общества. М., 2010. Вып. 17. С. 132.

4

В тексте «Разговора о Данте» в Собрании сочинений Мандельштама в 4 т. (Т. 3. М., 1993–1997): «милые». – Здесь и далее примеч. авт.

5

В том же издании: «вытянуты в чудовищные кольца».

6

Курсив мой. – Л.В.

7

Сведения разделов «Исторический и городской фон» приводятся по материалам изданий: XX век: хроника московской жизни 1911–1920 гг. М., 2002; Хроника России. XX век. М., 2002; Вострышев М.И. Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись. М., 2008; Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (20–30-е годы). М., 2003; и др.

8

Мец А.Г. Комментарии // Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем в 3 т. М., 2009–2011. Т. 1. С. 554.

9

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М., 1999. С. 426.

10

Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. М., 1992. С. 18.

11

Милославский Ю.Г. Иерусалимская пасха // Литературная газета. 1991. № 13 (3 апреля). С. 15.

12

Швейцер В.А. Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 1992. С. 156–157.

13

Цветаева М.И. История одного посвящения // Осип Мандельштам и его время. М., 1995. С. 102.

14

Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. М., 1994–1995. Т. 1. С. 269.

15

Цветаева М.И. История одного посвящения. С. 91.

16

Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 1. С. 253–254.

17

Там же. С. 254–255.

18

Там же. С. 252.

19

Там же. С. 259.

20

Швейцер В.А. Быт и бытие… С. 162–163.

21

Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 1. С. 258–259.

22

Мец А.Г. Комментарии. С. 553.

23

Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 1. С. 265–267.

24

Тарановский К.Ф. Почва и судьба. Третий Рим. Молчание. Поэт в могиле // Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 170.

25

Аверинцев С.С. Пастернак и Мандельштам: опыт сопоставления // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. Записки Мандельштамовского общества. М., 2010. Вып. 17. С. 35.

26

Отметим одно из ключевых понятий для Мандельштама, особенно раннего, в этом тексте.

27

Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 15 т. Л., 1989–1996. Т. 8. С. 596.

28

Тоддес Е.А. Поэтическая идеология // Литературное обозрение. 1991. № 3. С. 33.

29

Бартенев С.П. Большой Кремлевский дворец, дворцовые церкви и придворные соборы: указатель к их обозрению. М., 1916. С. 91, 99.

30

XX век: хроника московской жизни. 1911–1920 гг. М., 2002. С. 325.

31

Цит. по кн.: Мец А.Г. Комментарии. С. 683.

32

Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 1. С. 263.

33

Цит. по кн.: Паламарчук П.Г. Сорок сороков. М., 1992. Т. 1. С. 91.

34

Цит. по кн.: Мандельштам О.Э. Собр. соч. в 4 т. Т. 1. М., 1993. С. 168.

35

Цит. по кн.: Швейцер В.А. Быт и бытие… С. 165.

36

О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова // Мандельштам О.Э. Камень. Л., 1990. С. 256. (Литературные памятники).

37

Цветаева М.И. История одного посвящения. С. 101.

38

О.Э. Мандельштам в записях дневника… С. 254–255.

39

Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина.

40

Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб., 2002. С. 389.

41

Чурилин имеет в виду свои встречи с Велимиром Хлебниковым (у Чурилина – Велемир); «Весна» – сборник Т. Чурилина «Весна после смерти», изданный в Москве в 1915 году.

42

Упоминание о последней встрече в марте противоречит тому, что было выше написано об апреле, но так у Т. Чурилина.

43

Чурилин Т.В. Встречи на моей дороге // Лица. Биографический альманах. СПб., 2004. Т. 10. С. 459–460.

44

В некоторых изданиях (см., например: Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. М., 2001) девятый стих звучит иначе: «Ее церквей благоуханны соты…».

45

Гинзбург Л.Я. Поэтика Осипа Мандельштама // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1972. Т. XXXI. Вып. 4. С. 309–326.

46

Первое ударение в стихотворении.

47

Последнее ударение в стихах.

48

Кюстин, А. де. Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника. М., 1910. С. 84–85.

49

Гаспаров М.Л. Примечания // Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 771.

50

Орфография и пунктуация газетной статьи.

51

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 39–40.

52

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений. При участии Д.И. Зубарева и Н.Л. Поболя. М., 2010. С. 46.

53

Там же.

54

Нерлер П.М. Мандельштам в Наркомпросе // Вопросы литературы. 1989. № 9. С. 276.

55

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 123–124.

56

Лекманов О.А. Осип Мандельштам: жизнь поэта. М., 2009. С. 103–104.

57

Dawn, twilight – рассвет, вечерние сумерки (англ.); Freiheitsdämmerung, Götterdämmerung – сумерки свободы, сумерки богов (нем.).

58

Ронен О. «Сумерки свободы». Опыт академического комментария / О. Ронен, М.Л. Гаспаров. // Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 130–131.

59

Чистова И.С. «Смерть поэта» // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 513.

60

Имеются в виду книги, которые были у Мандельштама вплоть до его второго ареста в 1938 году.

61

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 292–293.

62

Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1988. С. 109.

63

Там же. С. 90.

64

Ахматова А.А. После всего. М., 1989. С. 36.

65

Видгоф Л.М. Московская встреча с Анной Ахматовой; Рыбина Л.А. Дом в Третьем Зачатьевском // «Сохрани мою речь…». М., 2008. Вып. 4. Полутом 1. С. 183–202. (Записки Мандельштамовского общества).

66

Лукницкий П.Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. I. 1924–1925 гг. Paris, 1991. С. 34; Т. II. 1926–1927 гг. Париж – М., 1997. С. 78.

67

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М.; Torino, 1996. С. 136–137.

68

Ахматова А.А. Дополнения к «Листкам из дневника» // Requiem. М., 1989. С. 147.

69

Ахматова А.А. Листки из дневника // Requiem. С. 130.

70

Анреп Б.В. О черном кольце // Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 61.

71

Ахматова А.А. Requiem. С. 159.

72

Мец А.Г. Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. СПб., 2005. С. 75–76.

73

Ронен О., Гаспаров М.Л. «Сумерки свободы». С. 131.

74

Эренбург И.Г. Портреты современных поэтов. М., 1923. С. 52.

75

Цит. по кн.: Нерлер П.М. Мандельштам в Наркомпросе. С. 278.

76

Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 16.

77

Мандельштам цитирует поэму Пушкина «Цыганы»; речь идет об Овидии.

78

Осип Мандельштам в «Мемуарах» Рюрика Ивнева // «Сохрани мою речь…». М., 1991. Вып. 1. С. 43.

79

Левин В.М. Есенин в Америке. Цит. по ст.: Леонтьев Я.В. Человек, застреливший императорского посла. К истории взаимоотношений Блюмкина и Мандельштама // «Сохрани мою речь…». М., 2008. Вып. 4. Полутом 2. С. 132.

80

Мариенгоф А.Б. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 137.

81

Ходасевич В.Ф. Некрополь. Воспоминания. Цит. по ст.: Леонтьев Я.В. Указ. соч. С. 133.

82

Леонтьев Я.В. Указ. соч. С. 135.

83

Там же. С. 136.

84

Блюмкин.

85

В.А. Александрович входил в коллегию ВЧК от партии левых эсеров.

86

От ЦК левых эсеров.

87

Красная книга ВЧК. В 2 т. 2-е изд. М., 1989. Т. 1. С. 257.

88

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 131.

89

По сведениям из «Польского биографического словаря»: Polski Słownik Biograficzny. T. XXIX/2, Zeszyt 121. Wrocław: Warszawa: Kraków: Gdańsk: Łódź, 1986. S. 418–421.

90

Аброскина И.И. Литературные кафе 20-х годов // Встречи с прошлым: сб. материалов ЦГАЛИ СССР. М., 1978. Вып. 3. С. 174–175.

91

Анна Ахматова.

92

Гинзбург Л.Я. Из старых записей // Осип Мандельштам и его время. М., 1995. С. 275.

93

Леонтьев Я.В. Указ. соч. С. 135.

94

Красная книга ВЧК: Т. 1. С. 256.

95

Мариенгоф А.Б. Мой век, мои друзья и подруги. С. 130.

96

Краевский Б.П. Тверской бульвар, 25. М., 1982. С. 46.

97

Там же.

98

Чуковский Н.К. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 160–161.

99

Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 29.

100

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1999. С. 127.

101

Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме. С. 29–30.

102

Там же. С. 35.

103

Пришвин М.М. Сопка Маира // Осип Мандельштам и его время. М., 1995. С. 208–209.

104

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 98.

105

Писатель М.А. Булгаков; имеется в виду эпизод из романа «Мастер и Маргарита».

106

Там же. С. 125–126.

107

Жакт – жилищно-арендное кооперативное товарищество.

108

Иванов Е.П. Меткое московское слово. М., 1985. С. 279.

109

В собрании сочинений Мандельштама в 4 т. (Т. 2. М., 1993): «императрица».

110

Его «мыслящее тело» не умрет… Воспоминания Христины Бояджиевой о пяти встречах с Осипом Мандельштамом // Знамя. 2011. № 1. С. 178.

111

Шершеневич В.Г. Великолепный очевидец. Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги. С. 638–639.

112

Шумихин С.В. Комментарий // Мой век, мои друзья и подруги. С. 722–723.

113

Рогинский Я.Я. Встречи в Воронеже // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы… С. 43.

114

Кузин Б.С. Об О.Э. Мандельштаме // Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н.Я. 192 письма к Б.С. Кузину. СПб., 1999. С. 154–155.

115

Бессонов В.А., Янгиров Р.М. Большой Гнездниковский переулок, 10. М., 1990.

116

Миндлин Э.Л. Необыкновенные собеседники. М., 1979. С. 103–105.

117

Галушкин А.Ю. Из разысканий об О.Э. Мандельштаме // «Сохрани мою речь…». Записки Мандельштамовского общества. М., 2008. Вып. 4. Полутом 1. С. 174.

118

[Без подписи.] «Литературное приложение» к «Накануне». № 8, 1922. С. 11. Цит. по кн.: Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. М., 2005. Т. 1. Ч. 2: Москва и Петроград. 1921–1922 гг. С. 418.

119

Галушкин А.Ю. Из разысканий об О.Э. Мандельштаме. С. 174–175.

120

МАФ – Московская ассоциация футуристов, «Лирический круг» – литературное объединение, членами которого были, в частности, Анна Ахматова и Мандельштам.

121

Там же. С. 175.

122

Тарановский К.Ф. «Сеновал». О замкнутой и открытой интерпретации поэтического текста // О поэзии и поэтике. С. 41.

123

Фет А.А. Стихотворения. М., 1979. С. 149.

124

Тютчев Ф.И. Указ. соч. М., 1988. С. 53.

125

Гаспаров М.Л. «Сеновал» О. Мандельштама: история текста и история смысла // Тыняновский сборник. М., 2002. Вып. 11. Девятые Тыняновские чтения. С. 380.

126

Ронен О. Заумь за пределами авангарда // Поэтика Осипа Мандельштама. С. 80–95.

127

Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 1. С. 2.

128

Гороховская Е.А., Желтова Е.Л. Советская авиационная агиткампания 20-х гг.: идеология, политика и массовое сознание // Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 3. С. 64.

129

Там же.

130

Там же. С. 65.

131

Авиация. Энциклопедия. М., 1994. С. 390.

132

У Мандельштама.

133

Успенский Б.А. Анатомия метафоры у Мандельштама // Избр. труды. М., 1994. Т. 2. С. 251, 247.

134

Там же. С. 253.

135

«Красное и черное» (фр.).

136

Толлер.

137

Морозов А.А. Примечания // Мандельштам О.Э. Шум времени. Литературные мемуары. М., 2002. С. 283.

138

Стратановский С.Г. Что такое «щучий суд»? О стихотворении Мандельштама «1 января 1924» // Звезда. 2008. № 12. С. 185.

139

Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 166.

140

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 213.

141

См.: Ronen O. The Structure and Meaning of 1 January 1924 // O. Ronen. An Approach to Mandel'štam. Jerusalem, 1983.

142

Ахматова А.А. Десятые годы. М., 1989. С. 243.

143

Хлебников В.В. Творения. М., 1986. С. 165.

144

Булгаков М.А. Под пятой // Слово. 1995. № 7–8. С. 60.

145

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 135.

146

Брат Александр.

147

В Петрограде.

148

Мандельштам Е.Э. Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10. С. 157–158.

149

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 140–142.

150

Кузин Б.С. Об О.Э. Мандельштаме. С. 167.

151

«Вся Москва» на 1917 г. Раздел 4-й: Алфавитный список улиц города Москвы. Стб. 255.

152

Сегал Р.Л. Из воспоминаний // «Сохрани мою речь…». Записки Мандельштамовского общества. М., 1993. Вып. 2. С. 27.

153

Видгоф Л.М. Москва Мандельштама. М., 2006. С. 95–97.

154

Лобовская М.А. Путеводитель по еврейской Москве // Москва еврейская. М., 2003. С. 46.

155

Сегал Р.С. Указ. соч. С. 27.

156

«Любил, но изредка чуть-чуть изменял». Записки Н.Я. Мандельштам на полях американского «Собрания сочинений» Мандельштама // Philologica. М.: 1997. Т. 4, № 8–10. С. 183.

157

Сегал Р.С. Указ. соч. С. 27.

158

Нерлер П.М. Даты жизни и творчества [О.Э. Мандельштама] // Мандельштам О.Э. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. М., 1993–1997. С. 450.

159

Гурвич Э.С. Что помнится // «Сохрани мою речь…». М., 1991. Вып. 1. С. 39–40.

160

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 159–186.

161

Гладков А.К. Поздние вечера. М., 1986. С. 323.

162

Лукницкий П.Н. Из дневника // Лукницкая В.К. Перед тобой земля. Л., 1988. С. 81–82.

163

Имеется в виду здание редакции «Московского комсомольца».

164

Белицкий Я.М., Глезер Г.Н. Москва незнакомая. М., 1993. С. 317.

165

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. // Мандельштам Н.Я. Третья книга. / сост. Ю.Л. Фрейдин. М., 2006. С. 247.

166

Михайлов А.Д., Нерлер П.М. Комментарии // Мандельштам О.Э. Собр. соч. в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 509.

167

Катаев В.П. Растратчики // Собр. соч. в 10 т. Т. 2. М., 1983. С. 26, 58, 64, 107.

168

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 146.

169

Неточность Н.Я. Мандельштам: А.А. Мандельштам родился в ноябре 1931 года.

170

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. // С. 245–246.

171

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 545.

172

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 777.

173

Липкин С.И. Угль, пылающий огнем // Квадрига. М., 1997. С. 389.

174

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 204–206.

175

Черашняя Д.И. Поэтика Осипа Мандельштама. Субъектный подход // Записки Мандельштамовского общества. Ижевск, 2004. Вып. 12. С. 214–215.

176

Ходасевич В.Ф. Отплытие на остров Цитеру // Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 605.

177

Гаспаров М.Л. Примечания С. 778.

178

Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Новое собрание. М., 1999. С. 138.

179

Пастернак Б.Л. Собр. соч. в 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 401.

180

Тиртей – греческий поэт VII в. до н. э., певец воинской доблести.

181

Городецкий Л.Р. Текст и мир на листе Мебиуса: языковая геометрия Осипа Мандельштама versus еврейская цивилизация. М., 2008. С. 308.

182

Там же. С. 306.

183

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 253.

184

Сегал Р.С. Указ. соч. С. 27–28.

185

«Вся Москва» на 1929 г. Алфавитный указатель лиц, упомянутых в справочнике. С. 225.

186

Архив Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Ф. 726, оп. 305, д. 3945.

187

Липкин С.И. Указ. соч. С. 393–394.

188

Черашняя Д.И. Автор и герой: кто и что играл наизусть в стихотворении «Жил Александр Герцович…»? [статья написана в соавторстве с Ю. Толкачем] // Поэтика Осипа Мандельштама. Субъектный подход; Кац Б.А. В сторону музыки. Из музыковедческих примечаний к стихам О.Э. Мандельштама // Литературное обозрение. 1991. № 1; Кац Б.А. Песенка о еврейском музыканте: шутка или кредо? К подтекстам и интерпретациям стихотворения «Жил Александр Герцович…» // Музыкальные ключи к русской поэзии. СПб., 1997; Фэвр-Дюпэгр А. Осип Мандельштам – поэт-музыкант: представление новой книги [доклад на Мандельштамовских чтениях во Владивостоке, проходивших 18–20 сентября 2006 г.]; Faivre Dupaigre A. Poites-musiciens. Cendrars, Mandelstam, Pasternak. Rennes, 2006.

189

Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 106.

190

Полонский Я.П. Лирика. Проза. М., 1984. С. 54–55.

191

Маяковский В.В. Собр. соч. в 12 т. М., 1978. Т. 10. С. 23.

192

Сошкин Е.П. Жил Александр Герцович… Материалы для комментария // «Сохрани мою речь…». Записки Мандельштамовского общества. Выпуск 5. Полутом 2. М., 2011. С. 423–424.

193

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 163.

194

Villon Franзois. Poйsies complites. Paris, 1964. P. 188.

195

Вийон Ф. Полн. собр. поэтических соч. М., 1998. С. 416.

196

Фрейдин Г. Осип Мандельштам: история и миф (1930–1938) // Русская литература XX века. Исследования американских ученых. СПб., 1993. С. 354 (примеч. 31).

197

Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем в 3 т. Т. 2. С. 465.

198

Кац Б.А. Песенка о еврейском музыканте: шутка или кредо? С. 224–250.

199

Липкин С.И. Указ. соч. С. 376–377.

200

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 780.

201

Баратынский Е.А. Стихотворения и поэмы. М., 1982. С. 154.

202

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 780.

203

Ronen O. A Beam upon the Axe: Some Antecedents of Osip Mandel'stam's "Umyvalsja noc'ju na dvore…" // Slavica Hierosolimitana. 1977. Vol. 1. P. 176.

204

В этом месте «Жития», заметим, «струб» соседствует с плахой, как в стихотворении Мандельштама.

205

Житие протопопа Аввакума // Пустозерская проза. М., 1989. С. 47 и 75–76.

206

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 779.

207

Липкин С.И. Указ. соч. С. 381.

208

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 259–260.

209

Мандельштам Н.Я. Комментарии к стихам 1930–1937 гг. // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии… С. 210 (примеч. 1).

210

Врата молитвы (сидур [молитвенник]). Иерусалим; М., 5754–1993. С. 52, 33.

211

Липкин С.И. Указ. соч. С. 397.

212

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. М., 1995. С. 577–578.

213

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме // Наше наследие. 1989. Вып. V. С. 112.

214

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 272.

215

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 775.

216

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 107.

217

Мец А.Г. Комментарии. С. 601–602.

218

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 546.

219

Нерлер П.М. Даты жизни и творчества [О.Э. Мандельштама]. С. 453.

220

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 548.

221

Мец А.Г. Комментарии. С. 605.

222

Дутли Р. 1. Еще раз о Франсуа Вийоне. 2. Хлеб, икра и божественный лед: о значении еды и питья в творчестве Мандельштама // «Сохрани мою речь…». Сборник Мандельштамовского общества. Вып. 2. С. 77–80.

223

Липкин С.И. Указ. соч. С. 378 и 385.

224

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 547.

225

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 107.

226

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 51. Цит. по ст.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа // Вопросы литературы. 1990. № 4. С. 241.

227

Лесков Н.С. Повести и рассказы. М., 1981. С. 121.

228

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 209.

229

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 278.

230

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 107.

231

Предлагаемое С. Василенко прочтение стиха 54: «Есть блуд труда, как есть и блуд крови…»

232

Черашняя Д.И. Московские белые стихи как смысловое единство // Поэтика Осипа Мандельштама. Субъектный подход. С. 148.

233

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 107.

234

Алымов С.Я. В кругу Москвы // Красная нива. 1927. № 33. С. 8.

235

Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е годы. М., 2003. С. 16.

236

Черашняя Д.И. Московские белые стихи как смысловое единство. С. 166.

237

Левин И.И. Арбат. Один километр России. М., 1997. С. 132–133.

238

Фрейдин Ю.Л. Мандельштам (Хазина) Н.Я. // Осип Мандельштам, его предшественники и современники. Сб. материалов к Мандельштамовской энциклопедии (Записки Мандельштамовского общества). М., 2007. Вып. 11. С. 100.

239

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 109.

240

Мец А.Г. Комментарии. С. 600.

241

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 109.

242

Там же. С. 110.

243

Слово и судьба. Осип Мандельштам: исследования и материалы. М., 1991. С. 84.

244

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 109.

245

Горнунг Б.В. Заметки к биографии О. Мандельштама // «Сохрани мою речь…». Вып. 3. Ч. 2. С. 157–158.

246

В томе 3 собрания сочинений О. Мандельштама в четырех томах (М., 1993–1997) после посвящения Б.С. Кузину следует эпиграф:

Denn die Jahre fliehn,
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange glühn!

Ewald Christian Kleist

(«Друг! Не упусти [в суете] самое жизнь. / Ибо годы летят /И сок винограда / Недолго еще будет нас горячить!» Эвальд Христиан Клейст; нем.)

247

Киршбаум Г. «Валгаллы белое вино…». Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама. М., 2009. С. 279.

248

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 298.

249

Липкин С.И. Указ. соч. С. 390–391.

250

Мец А.Г. Комментарии С. 608–609.

251

Алымов С.Я. Указ. соч. С. 8.

252

Н. Мандельштам отсылает читателя к строке из стихотворения 1918 года «Все чуждо нам в столице непотребной»: «Удельной речки мутная водица».

253

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 280–281.

254

Милицейских.

255

Там же. С. 291, 295.

256

Цит. по кн.: Вострышев. М.И. Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись. М., 2008. С. 305. Связь между газетной заметкой в «Вечерней Москве» и стихами Мандельштама отмечена в книге О.А. Лекманова «Осип Мандельштам: жизнь поэта» (с. 217).

257

Успенский Ф.Б. Habent sua fata libellulae («Дайте Тютчеву стрекозу…») // Три догадки о стихах Осипа Мандельштама. М., 2008.

258

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 787.

259

Баратынский Е.А. Указ. соч. С. 36–37, 62, 101, 226, 146.

260

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 786.

261

Батюшков К.Н. Прогулка по Москве // Очерки московской жизни. М., 1962. С. 9, 13–14.

262

Там же. С. 13.

263

Имеется в виду В.В. Гиппиус, поэт и литературный критик, преподаватель Тенишевского училища в Петербурге, в котором Осип Мандельштам учился в 1899–1907 годах.

264

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 295.

265

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 111.

266

Горнунг Л.В. Встреча за встречей // Литературное обозрение. 1989. № 6. С. 71.

267

Жолковский А.К. Еще раз о мандельштамовском «Ламарке». Так как же он сделан? // Вопросы литературы. 2010. Вып. 2 (март – апрель). С. 150–182.

268

Игошева Т.В. Ламарк // Осип Мандельштам, его предшественники и современники. С. 86.

269

Иванов Г.В. Петербургские зимы // Осип Мандельштам и его время. М., 1995. С. 70.

270

Игошева Т.В. Указ. соч.; Корецкая И.В. Об одном стихотворении Мандельштама // Над страницами русской поэзии и прозы начала века. М., 1995.

271

Гаспаров Б.М. Ламарк, Шеллинг, Марр (стихотворение «Ламарк» в контексте переломной эпохи) // Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М., 1993. С.

190.

272

Игошева Т.В. Указ. соч. С. 87.

273

Так иронически переиначивает Белинский имя Гегеля: Георг Вильгельм Фридрих.

274

Белинский В.Г. Полн. собр. соч. в 13 т. М., 1956. Т. 12. С. 22–23.

275

Кузин Б.С. Об О.Э. Мандельштаме. С. 155.

276

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 106.

277

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников // Сост. О.С. Фигурнова, М.В. Фигурнова. М., 2002. С. 72.

278

Липкин С.И. Указ. соч. С. 380.

279

Там же. С. 380–381.

280

С. Бородин стал членом партии в 1943 году.

281

Саргиджан.

282

Имеется в виду Саргиджан.

283

Волькенштейн Ф.Ф. Товарищеский суд по иску Осипа Мандельштама // «Сохрани мою речь…». Вып. 1. М., 1991. С. 55–56.

284

Тагер Е.М. Из воспоминаний // Наше наследие. 1988. Вып. VI. С. 104.

285

Цит. по кн.: Михайлов А.Д., Нерлер П.М. Комментарии. С. 502.

286

Имеется в виду стихотворение «К немецкой речи».

287

Гладков А.К. Указ. соч. С. 321.

288

Попова Е.Е. Дневник и другие записи // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 130, 149.

289

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 428–429.

290

О том, что Мандельштам писал Сталину, нет сведений.

291

Цит. по кн.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 184–185.

292

Это явная описка, стихи написаны летом 1933-го.

293

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 47.

294

Так у С. Липкина.

295

Липкин С.И. Указ. соч. С. 398.

296

В это время В.Н. Яхонтов трудился над композицией «Петербург» по произведениям Пушкина, Гоголя и Достоевского.

297

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440, Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 7. С. 239–240.

298

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 133.

299

В комнату Мандельштамов на Покровке.

300

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 108.

301

Портной Петрович – персонаж повести Гоголя «Шинель».

302

В четырехтомнике О. Мандельштама, т. 2 (1993), с. 461: «удается».

303

Новый мир. 1995. № 1. С. 207.

304

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 325.

305

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 106.

306

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 285.

307

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 46.

308

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 82. Л. 1.

309

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 199.

310

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 51. Цит. по: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 241–242.

311

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 150. Цит. по кн.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 241.

312

Очевидно, имеются в виду стихи из «армянского» цикла.

313

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 151. Цит. по кн.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 240.

314

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 476. Л. 21.

315

Имеется в виду Союз писателей.

316

Так в рукописи; видимо, имеется в виду «голосом» или «с голоса».

317

В скобках примечание Поповой.

318

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 158. Л. 9–10. Цит. по кн.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 236–237. Частично текст письма Е. Поповой цитируется по архивной записи. Знаки препинания в приводимом в письме стихотворении Мандельштама расставлены публикатором, В.А. Швейцер.

319

Имеется в виду дом № 3–5 по ул. Фурманова – см. «Список адресов».

320

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 158. Л. 9–10.

321

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 143.

322

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 262.

323

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 428.

324

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1, Ед. хр. 58.

325

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1, Ед. хр. 58.

326

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 348–349.

327

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 166. Цит. по кн.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 252.

328

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 166. Цит. по кн.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 252.

329

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 158–159, 200–201.

330

Близится двадцатилетие Октябрьской революции.

331

Намек на повесть Мандельштама «Египетская марка».

332

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 154–155.

333

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 154–155.

334

Липкин С.И. Указ. соч. С. 398.

335

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме // Наше наследие. 1989. Вып. V. С. 108.

336

Намек на евангельский эпизод с отречением апостола Петра.

337

Филолог Д. Благой и веревка повесившегося Есенина.

338

Мец А.Г., Лоэст Ф., Добрицын А.А., Нерлер П.М., Степанова Л.Г., Левинтон Г.А. Комментарии // Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем в 3 т. Т. 2. С. 697.

339

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 103.

340

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка… С. 166.

341

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 275.

342

Художественная выставка XV лет РККА. Специальный выпуск Центрального органа Революционного Военного Совета СССР «Красная Звезда». М., 1933; XV лет Р.К.К.А. Художественная выставка. Русский музей. Л., 1933; Художественная выставка 15 лет РККА. Харьков, 1935.

343

[Рогачевский В.] Леонид Владимирович Шервуд. М., 1955. С. 23.

344

Фрейдин Ю.Л. Долгое эхо: поэтическое пространство Урала и воронежские стихи О. Мандельштама // Осип Мандельштам и Урал. М., 2009. С. 87.

345

Имеется в виду воронежское стихотворение «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…».

346

Гаспаров М.Л. О.Мандельштам: гражданская лирика 1937 года. М., 1996. С. 17–18.

347

Октябрьской революции.

348

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 425.

349

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 114.

350

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 611. Л. 58.

351

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 612. Л. 2.

352

Лурье А.С. Чешуя в неводе // Осип Мандельштам и его время.

С. 196.

353

Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы… С. 70.

354

Лахути Д.Г. Образ Сталина в стихах и прозе Мандельштама. Попытка внимательного чтения (с картинками). М., 2008. С. 131–132.

355

Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 166.

356

Тименчик Р.Д. Текст в тексте у акмеистов // Труды по знаковым системам. XIV. Тарту, 1981; Тименчик Р.Д. Руки брадобрея, или Шесть подтекстов в поисках утраченного смысла // Новое литературное обозрение. 2004. № 67.

357

Киршбаум Г. Указ. соч. С. 319.

358

Там же.

359

Мандельштам.

360

Так Б. Кузин именует мандельштамовского соседа.

361

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка… С. 170–171.

362

Надежда Яковлевна Мандельштам.

363

Палинодия – стихотворение, в котором автор отрекается от сказанного в другом стихотворении.

364

Гаспаров М.Л. Метрическое соседство «Оды» Сталину // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. Tenafly, 1994. С. 106–107.

365

Следователя.

366

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 47.

367

Лахути Д.Г. Указ. соч. С. 22–39.

368

Левинтон Г.А. Мандельштам и Гумилев. Предварительные заметки // Столетие Мандельштама. С. 40.

369
Гаспаров М.Л. Примечания. С. 812.
370
Мец А.Г. Комментарии. С. 663.
371
Как не вспомнить вождя и «бугры голов» из «Оды»? – Л.В.
372
Шелли П.Б. К жаворонку // Странники мира: произведения П.Б. Шелли в переводах К. Бальмонта. М., 2006. С. 47.
373
Ахматова А.А. Поэма без героя. М., 1989. С. 57.
374
Рогинский Я.Я. Указ. соч. С. 43.
375
Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 137.
376
Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 122.
377
Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 425. Л. 20.
378
То есть к 12 декабря 1937 года.
379
Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 133.
380
Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 476. Л. 25.
381
Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 134.
382
Штемпель Н.Е. Указ. соч. С. 20–21.
383
Ахматова А.А. Requiem. С. 143–144.
384
Там же. С. 144–145.
385
Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 108.
386
Либединская Л.Б. Зеленая лампа. М., 1966. С. 104.
387
Бруни Л.А. Натан Альтман // Новый журнал для всех. 1915. № 4. С. 37.

388

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 111.

389

Литературовед Б.М. Эйхенбаум произнес вступительное слово на вечере Мандельштама.

390

Мандельштаму показалось, что в своем вступительном слове Эйхенбаум оценил значение Маяковского в современной русской поэзии недостаточно высоко.

391

Розенталь Л.В. Бородатый Мандельштам // «Сохрани мою речь…». Вып. 1. С. 36–38.

392

Соколова Н.В. Кое-что вокруг Мандельштама // «Сохрани мою речь…» Вып. 3. Ч. 2. С. 89–92.

393

Цит. по ст.: Лямкина Е.И. Вдохновение, мастерство, труд (записные книжки Анны Ахматовой) // Встречи с прошлым. М., 1978. Вып. 3. С. 414.

394

Некрасова В.Б. О семье Бруни // «Сохрани мою речь…». Вып. 3. Ч. 2. С. 195.

395

Устные воспоминания Н.К. Бруни // Архив фонодокументов МГУ. Кассета № 84. Запись от 3.4.1969. Запись опубликована в книге: Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 68–74.

396

Либединская Л.Б. Указ. соч. С. 101.

397

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 380.

398

Рейн Т.М. Годы учения. Воспоминания // Панорама искусств. М., 1988. Вып. 11. С. 159.

399

Либединская Л.Б. Указ. соч. С. 101.

400

Некрасова В.Б. Указ. соч. С. 200.

401

Цит. по кн.: Некрасова В.Б. Указ. соч. С. 199.

402

Либединская Л.Б. Указ. соч. С. 102.

403

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1.

Ед. хр. 61. Л. 43.

404

Лурье А.С. Осип Мандельштам // Осип Мандельштам и его время. С. 198.

405

Мандельштам, по свидетельству Н.Е. Штемпель, восхищался иллюстрациями Делакруа к «Фаусту» Гете.

406

Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме. С. 32.

407

Вероятно, в комнате флигеля на Тверском бульваре, где стихи и написаны.

408

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 287.

409

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 262.

410

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 498.

411

1937 года.

412

Штемпель Н.Е. Указ. соч. С. 18.

413

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 107.

414

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 154.

415

Герштейн Э.Г. О гражданской поэзии Мандельштама // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии… С. 348.

416

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 155.

417

Там же. С. 156.

418

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 262.

419

Там же. С. 380.

420

Романюк С.К. Из истории московских переулков. М., 1988. С.

203.

421

Петровых Е.С. Мои воспоминания // Моя родина – Норский посад. Ярославль, 2005. С. 60–66, 114–115.

422

Красильников Г.В., Рутман А.М. Комментарии // Петровых Е.С. Указ. соч. С. 350.

423

Ахматова А.А. Requiem. С. 128.

424

Ссылки на устные воспоминания Е.С. Петровых содержатся в изданиях: Видгоф Л.М. О.Э. Мандельштам в Москве: новые материалы // «Отдай меня, Воронеж…». Третьи Международные Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995; Видгоф Л.М. «…В переулке Гранатном…»: Осип Мандельштам и Мария Петровых // Грани. 1996. № 182; Видгоф Л.М. Москва Мандельштама. Полностью воспоминания Е.С. Петровых («Мои воспоминания») напечатаны в книге: Моя родина – Норский посад. Ярославль, 2005; фрагмент воспоминаний, относящийся к О. Мандельштаму, вошел в сборник: Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. М., 2002.

425

Петровых Е.С. Указ. соч. С. 145–146.

426

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 116.

427

Это неточность, глаза у Марии Сергеевны были карие (по свидетельству ее сестры Екатерины Сергеевны и дочери поэтессы, А.В. Головачевой).

428

Хелемский Я.А. Ветви одного ствола // Петровых М.С. Черта горизонта. Стихи и переводы. Воспоминания о Марии Петровых. Ереван, 1986. С. 227.

429

Нейман Ю.М. Маруся // Там же. С. 286–287.

430

Озеров Л.А. Чистый голос // Там же. С. 316.

431

Нейман Ю.М. Указ. соч. С. 291.

432

М.С. Петровых занималась переводами.

433

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 116.

434

Élevé – «возвышенный» *(фр.)*

435

Так было в цитируемом тексте.

436

Петровых Е.С. Указ. соч. С. 150–151.

437

Там же. С. 150.

438

Из дневника М. Петровых 1967 г. // Петровых М.С. Избранное. М., 1991. С. 350.

439

Безродный М.В. Конец Цитаты. СПб., 1996. С. 129–135.

440

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 793.

441

На этот байроновский подтекст обратил внимание и Л.Ф. Кацис в книге «Смена парадигм и смена Парадигмы: очерки русской литературы, искусства и науки XX века» (М., 2012).

442

Байрон Дж. Г. Дон Жуан / Пер. Г.А. Шенгели. М., 1947. С. 205, 219.

443

Пушкин А.С. Избр. соч. в 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 278.

444

Маяковский В.В. Облако в штанах // Собр. соч. в 12 т. Т. 1. М., 1978. С. 246.

445

Черашняя Д.И. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 231–232.

446

Кузмин М.А. Стихотворения. Переписка. М., 2006. С. 33.

447

Гильдебрандт-Арбенина О.Н. Девочка, катящая серсо… Мемуарные записи. Дневники. М., 2007. С. 159.

448

Мец А.Г., Тименчик Р.Д. Комментарии // Там же. С. 283.

449

Гильдебрандт-Арбенина О.Н. Указ. соч. С. 163.

450

Фрейдин Ю.Л. Михаил Кузмин и Осип Мандельштам: влияние и отклики // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Тезисы и материалы конференции 15–17 мая 1990 г. Л., 1990. С. 28–30.

451

Галушкин А.Ю. Указ. соч. С. 175.

452

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 116–117.

453

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 255.

454

Гильдебрандт-Арбенина О.Н. Указ. соч. С. 162.

455

Левин Ю.И. Разбор шести стихотворений // Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 38.

456

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 160–162, С. 255.

457

Левин Ю.И. Указ. соч. С. 39.

458

Ронен О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама // Поэтика Осипа Мандельштама. С. 18.

459

Нейман Ю.М. Указ. соч. С. 291.

460

Левин Ю.И. Указ. соч. С. 44.

461

Кузмин М.А. Плавающие путешествующие. Романы, повести, рассказ. М., 2000. С. 345.

462

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 128.

463

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 337–338.

464

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 30.

465

Там же. С. 45.

466

Там же. С. 31.

467

Петровых Е.С. Указ. соч. С. 152–153.

468

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 31.

469

Герштейн Э.Г. Мемуары. СПб., 1998. С. 433.

470

Петровых М.С. Черта горизонта. Стихи и переводы… С. 100.

471

Липкин С.И. Указ. соч. С. 393.

472

Петровых М.С. Прикосновение ветра. М., 2000. С. 166.

473

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 142.

474

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 72.

475

Тарковский А.А. Земле – земное. М., 1966. С. 15–17.

476

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 142.

477

Гинзбург Л.Я. Из старых записей. С. 275–276.

478

Гладков А.К. Указ. соч. С. 324.

479

Мягков Б.С. Булгаковская Москва. М., 1993. С. 197.

480

Маркиш Э. Столь долгое возвращение… Тель-Авив, 1989. Цит. по: http://www.belousenko.com/books/markish/markish_dolgoe_vozvr.htm#09

481

М.А. – Михаил Афанасьевич Булгаков, Сережка – сын Елены Сергеевны, приемный сын Булгакова.

482

Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 38, 41–44, 47, 52.

483

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 160.

484

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 422.

485

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 113.

486

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 136.

487

М.В. Талов с женой.

488

Талов М.В. Воспоминания. Стихи. Переводы / Сост. и комментарии М.А. Таловой, Т.М. Таловой, А.Д. Чулковой; предисл. Рене Герра. М.; Париж, 2006. С. 71.

489

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 113.

490

Там же. С. 113.

491

Государственное издательство художественной литературы.

492

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 134–160.

493

Там же. С. 268.

494

Там же. С. 337.

495

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 422.

496

Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Т. 1. 1925 – июнь 1941 г. М., 2010. С. 255.

497

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 113–115.

498

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 152–153.

499

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 113.

500

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка… С. 167.

501

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 113.

502

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка… С. 170.

503

Там же. С. 168.

504

Нарбут В.И. Стихотворения. М., 1990. С. 322–323, 353–355.

505

Бялосинская Н.С., Панченко Н.В. Примечания // Нарбут В.И. Указ. соч. С. 433.

506

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 315. (В примечании к этому эпизоду из мемуаров Н. Мандельштам А.А. Морозов высказывает предположение, что упомянутое собрание происходило в декабре 1932 года. – Там же. С. 682.)

507

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 136.

508

Шумихин С.В. Судьба архива О.Э. Мандельштама // Вопросы литературы. 1988. № 3. С. 277.

509

Сергей Клычков: переписка, сочинения, материалы к биографии // Новый мир. 1989. № 9. С. 215.

510

Гонта М.П. Из воспоминаний о Пастернаке // Громова Н.А. Узел. Поэты: дружбы и разрывы. М., 2006. С. 538.

511

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 136.

512

Там же. С. 132.

513

Липкин С.И. Указ. соч. С. 392.

514

«Мы живем, под собою не чуя страны…» было впервые опубликовано в Мюнхене: «Мосты», книга 10, 1963.

515

Мец А.Г. Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. С. 186–187.

516

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 31.

517

Пушкин А.С. Избр. соч. Т. 2. С. 85–86.

518

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 39–40.

519

Тоддес Е.А. Антисталинское стихотворение Мандельштама (к 60-летию текста) // Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Рига, 1994. С. 208.

520

В «сатире» на Сталина.

521

Ронен О. О «русском голосе» Осипа Мандельштама // Поэтика Осипа Мандельштама. С. 63.

522

Толстой А.К. Полн. собр. стихотворений в 2 т. Л., 1984. Т. 1. Стихотворения и поэмы. С. 173–174.

523

Илья Муромец и Идолище в Киеве; Алеша и Тугарин в Киеве // Пламенное слово. Проза и поэзия Древней Руси. М., 1978. С. 24–26; 38–39.

524

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 791.

525

Неточная цитата из стихотворения Пушкина; в оригинале:

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…».

526

У Лермонтова в стихотворении «Спор»: «Пену сладких вин / На узорные шальвары / Сонный льет грузин».

527

Сурат И.З. Превращения имени // Мандельштам и Пушкин. М., 2009. С. 116.

528

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 153.

529

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка… С. 176–177.

530

А.П. Квятковский – литературовед, стиховед.

531

Мандельштамовские материалы в архиве М. Талова / Публикация М. Таловой при участии А. Чулковой; предисл. и коммент. Л. Видгофа // Вопросы литературы. 2007. № 6 (ноябрь-декабрь). С. 336–337.

532

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 136.

533

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 176–177.

534

Гинзбург Л.Я. Записные книжки. С. 138.

535

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 137.

536

Ронен О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама. С. 40–42; Гаспаров М.Л. Примечания. С. 790; Кушнер А.С. Мандельштам и Ходасевич // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. С. 44–55.

537

Видгоф Л.М. О «долгополой» шинели и «садовнике и палаче» в стихотворении О. Мандельштама «Стансы» // Вопросы литературы. 2010. № 2 (март-апрель). С. 194–197.

538

Некрасов Н.А. Полн. собр. стихотворений: в 3 т. Л., 1967. Т. 2. С. 177; Т. 1. Л., 1967. С. 508.

539

Успенский Ф.Б. Молоток Некрасова и карандаш Фета. О гражданских стихах О.Э. Мандельштама 1933 года // Цит. по электронному журналу Toronto Slavic Quarterly. № 28. Spring

2009.

540

Чуковский К.И. Дневник 1901–1969: в 2 т. М., 2003. Т. 2. С. 118.

541

Некрасов Н.А. Полн. собр. стихотворений. Т. 2. С. 18–20.

542

Там же. Т. 1. С. 99–101.

543

Имеются в виду «У нашей святой молодежи…» и «Татары, узбеки и ненцы…».

544

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 313.

545

Тургенев И.С. Письмо Я.П. Полонскому от 13(25) января 1868 г. // Полн. собр. соч. и писем в 28 т. Письма в 13 т. Л., 1964. Т. VII. 1867–1869. С. 30.

546

В четырехтомнике Мандельштама 1993–1997 гг. (т. 3): «чинить».

547

Успенский Ф.Б. Молоток Некрасова: «Квартира» О. Мандельштама между стихами о стихах и гражданской поэзией 1933 года // Дар и крест: памяти Натальи Трауберг. СПб., 2010. С. 325.

548

Вайман Н., Рувин М. Шатры страха. Разговоры о Мандельштаме. М., 2011. С. 95.

549

Михайлов А.Д., Нерлер П.М. Комментарии С. 535.

550

Мандельштам О.Э. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 404.

551

Там же. С. 82–83.

552

Спивак М.Л. О.Э. Мандельштам и П.Н. Зайцев (К вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла памяти Андрея Белого) // «Сохрани мою речь…». Вып. 4. Полутом 2. С. 528–529.

553

Там же. С. 540.

554

Цит. по кн.: Русская поэзия XIX века. Т. 2. М., 1974. С. 571.

555

Блок А.А. Стихотворения и поэмы. М., 1958. С. 269.

556

Андрей Белый. Золото в лазури. Репринтное воспроизведение издания 1904 г. М., 2004. С. 5, 20, 236.

557

Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Т. 1. 1925 – июнь 1941 г. М., 2010. С. 255.

558

Спивак М.Л. Указ. соч. С. 524.

559

Так у П.Н. Зайцева.

560

Г.А. Гуковский.

561

Цит. по ст.: там же. С. 517–518.

562

В четырехтомнике Мандельштама 1993–1997 (т. 3): «человечеству».

563

Там же. С. 530–532.

564

Видгоф Л.М. О стихотворении Осипа Мандельштама «Скажи мне, чертежник пустыни…» // Статьи о Мандельштаме. М., 2010.

565

Пушкин А.С. Езерский // Полн. собр. соч. в 10 т. Изд. 4-е. Л., 1977. Т. 4. С. 250.

566

Тарановский К.Ф. Черно-желтый свет. Еврейская тема в поэзии Мандельштама // О поэзии и поэтике. С. 96.

567

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 255.

568

«Долина, что жалобами моими полна…» *Петрарка.*

569

«Тот соловей, что так нежно оплакивает…» *Петрарка.*

570

«Когда небо, и земля, и ветер умолкают…» *Петрарка.*

571

«Дни мои легче любого оленя…» *Петрарка.*

572

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 789.

573

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 136.

574

Стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков…».

575

Там же. С. 137.

576

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 22, 27.

577

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 118.

578

Серое конструктивистское здание «Известий» на бывшей Страстной (с 1931 года Пушкинской) площади.

579

Гыдов В.Н., Нерлер П.М. Последние годы Осипа Мандельштама. Хроника. 1934 // Филологические записки. Воронеж, 1994. Вып. 2. С. 95–96.

580

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 45.

581

Там же.

582

Первоначально предполагалось, что задержание могло быть связано с пощечиной, которую незадолго до этого Мандельштам дал в Ленинграде А. Толстому.

583

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 118.

584

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 95.

585

Знающих стихотворение было, несомненно, больше.

586

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 118–119.

587

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 48.

588

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 29–30.

589

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 139.

590

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 40.

591

Гыдов В.Н. Указ. соч. С. 99.

592

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 39.

593

Максименков Л.В. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // Вопросы литературы. 2003. № 4. С. 250.

594

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 63.

595

Флейшман Л. Указ. соч. С. 241–242.

596

По его словам, во время допросов Мандельштаму направляли в глаза яркий свет лампы, от которого, возможно, воспалились веки. Он говорил также Надежде Яковлевне, что ему в глаза впускали какую-то едкую жидкость.

597

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 120.

598

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 137.

599

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 247.

600

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 795.

601

Тоддес Е.А. Антисталинское стихотворение Мандельштама. С. 203–204.

602

«Коммуна». Воронеж. 1934. № 158 от 8 июля.

603

Лахути Д.Г. Указ. соч. С. 123–124.

604

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 122–123.

605

Сергей Клычков: переписка, сочинения, материалы к биографии. С. 216.

606

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 80. В книге воспроизведена фотокопия просьбы В. Ставского к Н. Мандельштам о сдаче Н. Костареву комнаты в квартире Мандельштамов на оговоренный срок.

607

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 143–144.

608

Там же. С. 144.

609

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 360.

610

После возвращения из Воронежа.

611

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 122.

612

В. Шкловского и его жену.

613

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 409–411.

614

Штемпель Н.Е. Указ. соч. С. 18.

615

Е.Я. Хазина, брата Надежды Яковлевны.

616

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 414.

617

Н.Я. Мандельштам должна была уехать из Москвы в Ташкент, где в то время преподавала в университете.

618

Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 157–158.

619

Богатырева С.И. Завещание // Вопросы литературы. 1992. № 2.

620

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 98–99.

621

Там же. С. 97–98.

622

Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 150.

623

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 102.

624

Там же. С. 105.

625

Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь; точнее, пересыльный лагерь УСВИТЛ – Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей.

626

Видимо, ошибка в дате.

627

Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. М., 1997. С. 17.

628

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 149.

629

Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 422.

630

Ходасевич В.Ф. Кровавая пища // Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 466.

631

Е.Я. Хазин.

632

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка… С. 550, 555, 564.

633

Курсив в цитируемом тексте.

634

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 73.

635

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 124.

636

Поливанов М.К. Предисловие к публикации отрывка из воспоминаний Н.Я. Мандельштам // Юность. 1988. № 8. С. 35.

637

Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 475.

638

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 123–124.

639

Нерлер П.М. Даты жизни и творчества. С. 438.

640

Эфрос Н.Д. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 135.

641

Там же. С. 136; Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 128.

642

Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь // Собр. соч. в 9 т. М., 1988. Т. 8. Кн. 1. С. 119.

643

Вольпин Н.Д. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 90.

644

Никулин Л.В. Годы нашей жизни // Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. М., 1969.

645

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 131.

646

Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. С. 329.

647

Фейнберг И.Л. О Мандельштаме // Вопросы литературы.

1991. № 1.

648

Мандельштам Е.Э. Воспоминания. С. 154.

649

Парнис А.Е. Штрихи к футуристическому портрету О.Э. Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам. М., 1991. С. 192.

650

Галушкин А.Ю. Указ. соч. С. 174.

651

Катаев В.П. Алмазный мой венец. Повести. М., 1994. С. 232–233.

652

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 468; Андреевский Г.В. Москва. 20-е – 30-е годы. С. 222.

653

«Мы оказались в невероятном одиночестве». Письмо З.Н. Райх А.М. Горькому 20 июня 1928 года / Публикация, вступительный текст и примечания В.В. Гудковой // Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 3. М., 2004. С. 209.

654

Зайцев П.Н. Первая московская литературная газета «Московский понедельник» // Минувшее. Т. 13. М.; СПб., 1993. С. 59–60, 66.

655

Миндлин Э.Л. Указ. соч. 1979. С. 106.

656

Там же. С. 247–248.

657

Там же. С. 216–218.

658

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 40.

659

Там же. С. 100.

660

Там же. С. 128.

661

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка… СПб, 1999. С. 747.

662

Материалы к биографии О.Э. Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга // «Сохрани мою речь…». Вып. 3. Ч. 2. С.155.

663

Там же. С. 157.

664

Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме; Материалы к биографии О.Э. Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга; Горнунг Б.В. Поход времени. В 2 т. Статьи и эссе, стихи и переводы. М., 2001. Т. 2.

665

Материалы к биографии О.Э. Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга. С. 159.

666

Там же. С. 158.

667

Фейнберг И.Л. Указ. соч. С. 71.

668

Герштейн Э.Г. Перечень обид // Мемуары. СПб., 1998. С. 396.

669

Штемпель Н.Е. Указ. соч. С. 15.

670

Фотография дарственной надписи воспроизведена в книге: Талов М.В. Воспоминания. Стихи. Переводы.

671

Мандельштамовские материалы в архиве М. Талова. С. 332.

672

Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме.

673

Герштейн Э.Г. Мемуары. С. 14.

674

Мандельштам О.Э. Собр. соч. Т. 3. С. 442.

675

Смирнов Н.П. Первые годы «Нового мира» // Новый мир. 1964. № 7. С. 191.

676

Фейнберг И.Л. С. 71.

677

Поступальский И.С. Встречи с Мандельштамом // Тыняновский сборник. М., 1998. Вып. 10. Шестые – Седьмые – Восьмые Тыняновские чтения.

678

Румянцева В.Н. «От сырой простыни…». Осип Мандельштам и кино // «Отдай меня, Воронеж…»: сб. материалов Третьих международных мандельштамовских чтений. Воронеж, 1995.

679

Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе

Мандельштаме.

680

См. также: Шумихин С.В. Рудин из Брюсовского института (письма Г.А. Шенгели М.М. Шкапской. 1923–1932) // Минувшее. Т. 15. М.; СПб., 1994.

681

Липкин С.И. Указ. соч. С. 353.

682

Поступальский И.С. Указ. соч. С. 564: примеч. А.Г. Меца.

683

Бялосинская Н.С. Косой дождь [вступ. статья] / Н.С. Бялосинская, Н.В. Панченко // Нарбут В.И. С. 40–41.

684

См.: Пирожкова А.Н. Бабель в 1932–1939 годах (Из воспоминаний) // И. Бабель. Воспоминания современников. М., 1972.

685

Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом…». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама // Записки Мандельштамовского общества. Т. 5. М., 1994. С. 67.

686

Штемпель Н.Е. Указ. соч. С. 17.

687

«Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. М.; Воронеж, 2008. С. 119.